

Умберто

ЭКО



Маятник Фуко

супроизит

Annotation

Умберто Эко (род. в 1932) — один из крупнейших писателей современной Италии. Знаменитый ученый-медиевист, специалист по массовой культуре, профессор Эко известен российскому читателю прежде всего как автор романа «Имя розы» (1980).

«Маятник Фуко» — второй крупный роман писателя; изданный в 1988 году, он был переведен на многие языки и сразу же стал одним из центров притяжения мировой читательской аудитории. Блестящий пародийный анализ культурно-исторической сумятицы современного интеллигентного сознания, предупреждение об опасностях умственной неаккуратности, порождающей чудовищ, от которых лишь шаг к фашистскому «сперва — сознаю, а затем — и действую», делают книгу не только интеллектуально занимательной, но и, безусловно, актуальной.

На русском языке в полном объеме «Маятник Фуко» издается впервые.

-
- [Умберто Эко](#)
 -
 - [КЕТЕР](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [ХОХМА](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [БИНА](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [ХЕСЕД](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
- [ГЕБУРА](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)

- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)

○ [ТИФЕРЭТ](#)

- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)

- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [НЕЦАХ](#)
 - [107](#)
 - [108](#)
 - [109](#)
 - [110](#)
 - [111](#)
- [ГОД](#)
 - [112](#)
 - [113](#)
 - [114](#)
 - [115](#)
 - [116](#)
 - [117](#)
- [ЙЕСОД](#)

- [118](#)
 - [119](#)
 - [МАЛЬХУТ](#)
 - [120](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)

- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)

- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)

- [107](#)
 - [108](#)
 - [109](#)
 - [110](#)
 - [111](#)
 - [112](#)
 - [113](#)
 - [114](#)
 - [115](#)
 - [116](#)
 - [117](#)
 - [118](#)
 - [119](#)
 - [120](#)
 - [121](#)
 - [122](#)
 - [123](#)
 - [124](#)
 - [125](#)
 - [126](#)
 - [127](#)
 - [128](#)
 - [129](#)
 - [130](#)
 - [131](#)
 - [132](#)
 - [133](#)
 - [134](#)
 - [135](#)
 - [136](#)
 - [137](#)
 - [138](#)
 - [139](#)
-

Умберто Эко

МАЯТНИК ФУКО

Единственно ради вас, сыновья учености и познания, создавался этот труд. Глядя в книгу, находите намеренья, которые заложены нами в ней; что затемнено сею, то проявлено овами, да охватится вашей мудростью.

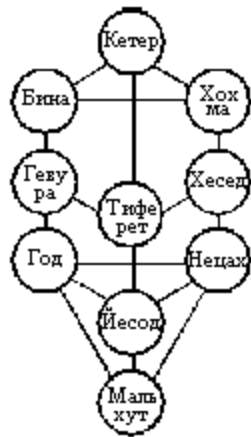
*Генрих Корнелий Агриппа
Неттесгеймский. Об оккультной
философии*

*/Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim.
De occulta philosophia, 3, 65/*

Суеверия приносят несчастье

*Раймонд Смиллиан, За пять тысяч лет до
нашей эры*

/Raymond Smullyan, 5000 B.C., 1.3.8/



KETEP

ב) והנה כהיות אור האיס נמשך.
 בכחיות והו קו ישר תוך החלל
 הניל, לא נמשך ונתפשט ^{ג) תיכף}
 עד למטה, אמנם היה מהפשט לאנ
 לאט רציני לימר, כי בתחילה הת-
 חיל קו האור להתפשט ושם תיכף
^{ד) בתחילת החפשטותי בסוף קו}
 נתפשט ונמשך ונעשה, כעין והו
 גלגל אחד עגול מסביב. [\[1\]](#)

И тут я увидел Маятник.

Шар, висящий на долгой нити, опущенной с вольты хора, в изохронном величии описывал колебания.

Я знал — но и всякий ощутил бы под чарами мерной пульсации — что период колебаний определен отношением квадратного корня длины нити к числу p , которое, иррациональное для подлунных умов, пред лицом божественной Рацио неукоснительно сопрягает окружности с диаметрами любых существующих кругов, как и время перемещения шара от одного полюса к противоположному представляет результат тайной соотнесенности наиболее вневременных мер: единственности точки крепления — двойственности абстрактного измерения — троичности числа p — скрытой четверичности квадратного корня — совершенства круга.

Еще я знал, что на конце отвесной линии, восстановленной от точки крепления, находящийся под маятником магнитный стабилизатор воссылает команды железному сердцу шара и обеспечивает вечность движения: это хитрая штука, имеющая целью перебороть сопротивление Материи, но которая не противоречит закону Фуко, напротив, помогает ему проявиться, потому что помещенный в пустоту любой точечный вес, приложенный к концу нерастяжимой и невесомой нити, не встречающий ни сопротивления воздуха, ни трения в точке крепления, действительно будет совершать регулярные и гармоничные колебания — вечно.

Медный шар поигрывал бледными переливчатыми отблесками под последними лучами, шедшими из витража. Если бы, как когда-то,

он касался слоя мокрого песка на плитах пола, при каждом из его касаний прочерчивался бы штрих, и эти штрихи, неуловимо изменяя каждый раз направление, расходились бы, открывая разломы, траншеи, рвы, и угадывалась бы радиальная симметричность, костяк мандалы,^[2] невидимая схема пентакула,^[3] звезды, мистической розы. Нет, нет. Это была бы не роза, это был бы рассказ, записанный на полотнах пустыни следами несосчитанных караванов. Повесть о тысячелетних скитаниях; наверное, этой дорогой шли атланты континента Му, в угрюмой, упорной решительности, из Тасмании в Гренландию, от тропика Козерога к тропику Рака, с острова Принца Эдуарда на Шпицберген. Касаниями шара утрамбовывалось в минутный рассказ все, что они творили в промежутках от одного ледового периода до другого и, скорее всего, творят в наше время, сделавшись рабами Верховников; вероятно, перелетая от Самоа на Новую Землю, этот шар нацеливается, в апогее параболы, на Агарту, центр мира. Я чувствовал, как таинственным общим Планом объединяется Авалон гипербореев с полуденной пустыней, оберегающей загадку Айерс Рок.

В данный миг, в четыре часа дня 23 июня, Маятник утрачивал скорость у края колебательной плоскости, безвольно отшатывался, снова начинал ускоряться к центру и на разгоне, посередине рассекал с сабельным свистом тайный четверугольник сил, определявших его судьбу.

Если бы я пробыл там долго, неуязвимый для времени, наблюдая, как эта птичья голова, этот копейный наконечник, этот опрокинутый гребень шлема вычерчивает в пустоте свои диагонали от края до края астигматической замкнутой линии, я превратился бы в жертву обольщения чувств, и Маятник убедил бы меня, что колебательная плоскость совершила полный оборот и возвратилась в первоначальное положение, описав за тридцать два часа сплюснутый эллипс — эллипс, обращающийся вокруг собственного центра с постоянной угловой скоростью, пропорциональной синусу географической широты. Как вращался бы тот же эллипс, будь нить маятника прикреплена к венцу Храма Соломона? Вероятно, Рыцари испробовали и это. Может быть, их расчет, то есть конечный результат расчета, не изменялся. Может быть, собор аббатства Сен-Мартен-де-Шан — это действительно истинный Храм. Вообще чистый эксперимент возможен только на полюсе. Это единственный случай, когда точка подвешивания нити

расположилась бы на продолжении земной оси, и Маятник заключил бы свой видимый цикл ровно в двадцать четыре часа.

Однако это отступление от Закона, к тому же предусмотренное самим Законом, эта погрешность против золотой нормы не отнимала чудесности у чуда. Я знал, что Земля вращается, и что я вращаюсь вместе с нею, и Сен-Мартен-де-Шан, и весь Париж со мною, и все мы вращались под Маятником, который, действительно, несколько не изменял ориентации своего плана, потому что наверху, где он к чему-то был привязан, на другом конце воображаемого бесконечного продолжения нити, в высоту и вдаль, за пределами отдаленных галактик, — находилась недвижимая и непреложная в своей вековечности Мертвая Точка.

Земля двигалась, однако место, к которому прикреплялся канат, было единственным неподвижным местом вселенной.

Поэтому мой взгляд был прикован не столько к земле, сколько к небу, осиянному тайной Абсолютной Неподвижности. Маятник говорил мне, что хотя вращается все — земной шар, солнечная система, туманности, черные дыры и любые порождения грандиозной космической эманации, от первых эонов до самой липучей материи, существует только одна точка, ось, некий шампур, Занебесный Штырь, позволяющий остальному миру обращаться около себя. И теперь я участвовал в этом верховном опыте, я, вращавшийся, как все на свете, сообщая со всем на свете, удостаивался видеть То, Неподвижное, Крепость, Опору, светоносное явление, которое не телесно, и не имеет ни границы, ни формы, ни веса, ни количества, ни качества, и оно не видит, не слышит, не поддается чувственности, и не пребывает ни в месте, ни во времени, ни в пространстве, и оно не душа, не разум, не воображение, не мнение, не число, не порядок, не мера, не сущность, не вечность, оно не тьма и не свет, оно не ложь и не истина.

До меня долетел пасмурный обмен репликами между парнем в очках и девицей, увы, без очков.

— Это маятник Фуко, — говорил ее милый. — Первый опыт проводили в погребе в 1851 году, потом в Обсерватории, потом под куполом Пантеона, длина каната шестьдесят семь метров, вес гири двадцать восемь кило. Наконец, в 1855-м подвешен тут, в уменьшенном масштабе. Канат протянут через нижнюю часть замка свода...

— А зачем надо, чтобы он болтался?

— Доказывается вращение земли. Поскольку точка крепления неподвижна...

— А почему она неподвижна?

— Потому что точка... Сейчас я тебе объясню... В центральной точке... любой точке, находящейся среди других видимых точек... В общем, это уже не физическая точка, а как бы геометрическая, и ты ее не можешь видеть, потому что у нее нет площади. А то, у чего нет площади, не может перекошиться ни влево, ни вправо, ни кверху, ни книзу. Поэтому она не вращается. Следишь? Если у точки нет площади, она не может поворачиваться вокруг себя. У нее нет этого самого себя...

— Но эта точка на Земле, а Земля вертится...

— Земля вертится, а точка не вертится. Можешь не верить, если не нравится. Ясно?

— Мне какое дело...

Несчастливая. Иметь над головой единственную стабильную частицу мира, то ни с чем не сравнимое, что не подвержено проклятию общего бега, — *panta rei* — и считать, что это не ее, а Его дело! Вслед за этим чета пошла прочь, он обнимая свой справочник, отучивший его удивляться, она — волоча свой организм, глухой к сердцебиению бесконечности, и оба — никак не пытаюсь закрепить в памяти опыт этой встречи, их первой и их последней — с Единым, с Эн-Соф, с Невысказуемым. Они не пали на колени перед алтарем истины.

Я глядел с вниманием и страхом, и мне поверилось, что Якопо Бельбо прав. Всегдашние его дифирамбы Маятнику я привык списывать на бесплодное эстетство, злокачественное, которое медленно разъедало его душу, и, бесформенное, перенимало форму его тела, незаметно перекодируя игру в реальность жизни. Однако если Бельбо был прав насчет Маятника, вероятно, он был прав и насчет всего прочего — и был План, и был Всеобщий Заговор, и было правильно, что я оказался здесь сегодня, накануне летнего противостояния. Якопо Бельбо — не сумасшедший, ему просто привелось во время игры, через игру, открыть истину.

Дело в том, что сопричастность Божескому не может продолжаться долго, не потревожив рассудок.

Тогда я постарался отвести взгляд, прослеживая дугу, которая от капителей расставленных полукругом колонн уходила, подпираемая гуртами свода, к ключу, повторяя уловку стрельчатой арки, умеющей опереться на пустоту — высшая степень лицемерия в статике, — и уговорить колонны, что они обязаны пихать вверх ребра свода, а ребрам, распираемым давлением замка, — внушить, чтоб они прижимали к земле колонны; но свод еще хитрее, он является и всем и ничем, и причиной и следствием в едином лице. Однако я моментально понял, что отворачиваться от Маятника, свисающего со свода, и размышлять вместо этого о своде — то же самое, что зарекаться от родника, но пить из источника.

Хор собора Сен-Мартен-де-Шан существовал лишь благодаря тому, что имел существование, в прославление Закона, — Маятник; а Маятник существовал только потому, что существовал собор. Не сбежишь от бесконечности, подумал я, удирая к другой бесконечности, не убережешься от встречи с тождественным, пытаюсь отыскать иное.

По-прежнему не отводя глаз от ключа соборного свода, я стал пятиться, отступая шаг за шагом; за время, прошедшее с момента прихода, я детально заучил расположение зала, да и мощные металлические черепахи, патрулировавшие стены, постоянно маячили в углу поля зрения. Пропятившись через весь неф, до входной двери, я снова оказался под сенью грозных птеродактилей из проволоки и тряпок, зловещих стрекоз, неведомо чьей оккультной волей посланных под потолок нефа. Они выступали метафорами знания, значительно более глубокими, чем, вероятно, замышлял дидакт, разместивший их в назидательной последовательности. Трепетание насекомых и рептилий мезозоя. Аллегория бесчисленных миграций Маятника над поверхностью земли. Архонты,^[4] извращенные эманации, они пикировали на меня, целясь археоптериковыми клювами, аэропланы Бреге, Блерио, Эсно, вертолет Дюфо.

Посетитель Консерватория Науки и Техники в Париже, пройдя через двор восемнадцатого века и после этого несколько коридоров, вступает в древнюю аббатскую церковь, врезанную в более новый комплекс зданий, подобно тому как прежде она была облеплена со всех сторон строениями приората. При входе сразу перехватывает дух от странного союза горней запредельной стрельчатости с хтоническим миром пожирателей солянки и мазута.

По низу тянется процессия самоходов, самокатов и паровых экипажей, сверху висят воздухоплавательные машины пионеров, одни предметы целы, другие ободраны, истрепаны временем, и все они вместе предстают под смешанным — естественным и электрическим — светом как будто в патине, в лаке коллекционной виолончели: иногда сохраняется только скелет, шасси, наворот приводов и рукоятей, и сулит неописуемые пытки, так и видишь себя прикрученным цепями к этому ложу откровенности, вот-вот оно шевельнется, пойдет копать твое мясо и рыться в жилах до полного и чистосердечного признания.

А за этой вереницей старых движков, ныне безвредных, с заржавелою душою, символов технологической суетности, с левого фланга под надзором статуи Свободы, уменьшенного макета той, которую Бартольди спроектировал для другого мира, а ежели повернуться направо — статуи Паскаля, — над всем этим высится хор, и в пустоте хора вокруг метаний маятника кружит и бьется бред сумасшедшего энтомолога: клешни, челюсти, усы, членики, крылья, ножки — мавзолей механических мумий, способных просыпаться в какие-то секунды, — магниты, однофазные трансформаторы, турбины, преобразователи частот, паровые машины, динамо; а в глубине за Маятником, в затененном трансепте — ассирийские, халдейские, карфагенские идолы, великие Ваалы, чье чрево беременно пламенем, Нюрнбергские девы, чье сердце усеяно гвоздями, оголено, — когда-то они были моторами самолетов, — хоровод моделей, распластавшихся в рабском обожании Маятника: се детища Разума и Света, приговоренные вечно оберегать Воплощение Предания и Познания.

Скучающие туристы, несущие девять франков в кассу, а по воскресеньям идущие бесплатно, таким образом могут подумать, что господу девятнадцатого века с бородами, желтыми от никотина, с воротничком, засаленным и мятым, с бантом черного цвета, в рединготе, пропахшем понюшками, с руками, потемневшими от щелочей, с мозгами, окисленными в академических интригах, карикатурные существа, зовущие друг друга «*cher maître*», разместили эти предметы под этим сводом из чистой любви выставляться, ради убоготворения как буржуазной, так и радикальной прослойки, во славу достижений знания и прогресса? Нет, нет, Сен-Мартен-де-Шан был запланирован, и на этапе аббатства, и на этапе революционного

музея, для хранения сверхсекретных данных, и самолеты, самоходные машины и магнитные скелеты, согласно заданию, ведут условный диалог, к которому я до сих пор не имею ключа.

Неужели предполагалось, что я поверю — как лицемерно подзуживал каталог музея, — что замечательная идея принадлежала господам из Конвента, а целью их было — приобщить массы к святилищу техники и искусств? При том что проект музея во всех мельчайших деталях, даже и в терминологии, совпадает с описанием Соломонова Дома в «Новой Атлантиде» Фрэнсиса Бэкона?

Может ли быть, что один только я — я и Якопо Бельбо, и Диоталлеви — распознали истину? Сегодня мне, вероятно, предстояло получить ответ. Для этого надо было остаться в музее после его закрытия и дожидаться двенадцати часов.

Как войдут в собор Те — мне было неизвестно, но я знал, что коллекторы парижской канализации — это катакомбы, значит, и музей сообщается с разными концами города — войдешь тут, а вынырнешь у ворот Сен-Дени. Но если бы сейчас вышел, то вряд ли сумел бы найти подземный ход обратно. Так что для меня единственное решение — спрятаться и ожидать здесь.

Я попробовал выпасть из романтического транса и проинспектировать помещение чисто практически, ища не откровения, а информации. Начнем с того, что в соседних залах еще труднее найти место, защищенное от внимания зрителей (а в их обязанности входит, перед закрытием, проверять залы на предмет затаившихся воров). Но в этом нефе, заставленном машинами, что может быть естественнее, чем угнездиться пассажиром в какой-нибудь из них? Обжиться в мертвом панцире. Мы так много играли, что глупо не поиграть еще немножко. Смелей, душа, сказал я, не думай больше о Знании и доверься Науке.

У нас есть странные и редкие часы, и часы идущие обратно, и вечные... У нас есть и Каморы обмана чувств, где любые чудеса Фиглярства, и Мнимых видений, Мороков и Блазнов... Таковы, о сын, богатства Дома Соломонова.

Francis Bacon,

New Allantis ed. Rawley, London, 1647, p.p. 41–42

Я взял себя в руки. В эту игру следовало играть с тем же юмором, что и до сих пор, и не дать запутать себя. Я в музее, и я доиграю свою рольку по возможности остро, умно, хитро.

В вышине самолеты зазывали влезть в кабину биплана и дожидаться ночи, паря над Ла-Маншем, предвкушая Почетный легион. Внизу имена машин напоминали прадетство. Испано-Сюиза 1932 года, само совершенство, удобство. Не годится, слишком близко к кассе. Хорошо бы, конечно, для обмана зрителя натянуть брюки гольф, застыть, придерживая дверцу автомобиля перед дамой в кремовом английском костюме, с длинным шарфом вокруг лебединой шеи, в шляпе раструбом, со стрижкой под мальчика. Ситроен С-6G 31 года имелся только в разрезе, прекрасная учебная модель, но никудышное укрытие. О паровой машине Кюньо не шло речи — она целиком состояла не то из бака, не то из котла, бог весть как называется эта штука. Правая стена была заставлена велосипедами на фигурных колесах, дрезинами с плоскими рамами, самокатами, отрадой господ в высоких цилиндрах, раскатывающих по Булонскому лесу, этих рыцарей прогресса.

Перед велосипедами — солидные автомобили, бесподобные убежища. Не обязательно первый попавшийся — непригоден Панар Динавия 1945 года, слишком сквозной, приплюснутый, аэродинамический, точеный. А вот высоченная Пежо 1909-го как раз вполне подошла бы: гарсоньерка, альков. В глубинах ее кожаных

диванов никто бы меня не нашел. Но трудно в нее забраться, смотритель уселся у дверцы, на скамеечке, спиной к бициклетам. Шагнуть бы на подножку, раздвигая полы шубы, и пусть он, в обтяжных по колено гетрах, почтительно сдернув кепку, подержит мне тяжелую дверь...

Я рассмотрел кандидатуру Обеиссана 1873-го: первое французское транспортное средство на механическом ходу, дюжина пассажиров. Если Пежо мы принимаем за шикарную квартиру, Обеиссан может считаться дворцом. Но как же в нем замаскироваться, если это центр всеобщего внимания? И вообще, как укрыться от сыщиков-разбойников посреди картинок с выставки?

Я снова обошел залу. Статуя Свободы высилась, «озаряя весь мир», на почти двухметровом пьедестале — на мощном корабельном носу, оборудованном ростром. Внутри было что-то вроде рубки, где через иллюминатор, выходящий на корму, можно было любоваться диорамой Нью-Йорка с залива. Прекрасный наблюдательный пункт для ночного времени: в полутьме мне будут видны весь хор слева и весь неф справа, с тыла меня прикроет огромный каменный памятник Грамму, вглядывающийся в дальние коридоры из своей ниши-трансепта. Но при свете дня внутренность рубки отлично просматривалась, и любой нормальный сторож, выпроводив посетителей, перед тем как закрывать, должен бросить взгляд сюда.

Времени было немного, в полшестого закрывали. Я углубился в часовенку-трансепт. Ни один из моторов не мог дать укрытия. Ни гигантские топки четырехпалубных судов — останки какой-нибудь «Лузитании», давно ушедшей в пучину, — ни газовый двигатель Ленуара, весь в зубчатых передачах. Нет. Свет убывал и совсем водянисто сочился сквозь витражи, и опять, сильнее чем прежде, мне становилось страшно: спрятаться на ночь среди этих тварей и потом наблюдать, как они оживают, в темноте, под лучом электрического фонарика, слушать земнородное бульканье их утроб, видеть кости и требуху без кожи, скрипучие и склизкие от масляного пота. Меня поражала непристойность этой картины: гениталии дизелей, вагины турбин, глубокие глотки, готовые изрыгать огни, дымы, шумы; чудища, надоедливо жужжащие, как майские жуки, стрекочущие, как цикады, а по другую руку — образцы чистой абстрактной практичности, автоматы, мнущие, жнущие, толкущие, бьющие,

нарезающие, ускоряющие, замедляющие, пожирающие, рыдающие всеми цилиндрами, развинчивающиеся на части, как кошмарные куклы, ворочающие барабанами, преобразующие частоты, Трансформирующие энергию, трясущие маховиками — какое мне было спасенье? Они напали бы на меня, науськиваемые Верховниками Мира, которые их используют для доказательства тезиса об ошибке творца, бедные бессмысленные механизмы, столь ценимые бедными повелителями нижнего мира, — о, мне-то как надеяться устоять, не дрогнув?

Надо бежать, надо бежать, это сумасшествие, я ввязался в игру, через которую Якопо Бельбо потерял разум, зачем же я...Фома недоверчивый...

Не знаю, правильно ли я поступил вчера, оставшись в этом зале. Если бы не остался, сегодня я знал бы начало истории, Но не знал бы конца. И не сидел бы здесь, один, в домике на взгорье, не вслушивался в тьяканье псов внизу под горою, не решал бы вопрос: так знаю я конец этой сказки или концу еще предстоит случиться — случиться со мною?

Итак, я решил остаться. Я вышел из капеллы, из церкви и за памятником Грамму двинулся налево, в галерею. В галерее была выставка паровозов, разноцветные модели локомотивов и вагонов стояли жизнерадостные, как игрушки: уголок Диснейленда, Страны Дураков, луна-парка. Я, похоже, привыкал к смене собственных настроений. Ужас, эйфория, тоска, снова облегчение... подозрительно похоже на известный синдром... МДП. Я втолковывал себе, что столь острая реакция на зрелище машин в церкви объясняется тем, что я начитался записей Бельбо, которые удалось расшифровать с огромным трудом, и которые, невзирая на мой труд, — бред. Здесь музей техники, бормотал я, я в музее техники, самое нормальное место, немножко занудное, но не более того; коллекция безобиднейших трупов, ты же знаешь, что такое музеи, никого еще не съела Джоконда, эта уродина-гермафродит, хотя для снобов она и Медуза. И еще меньше шансов, что тебя съест паровоз Ватта, его боялись только оссианические, неоготические аристократы, и поэтому у машины такой межеумочный вид: функциональность с коринфским шиком, рычаги с капителями, котлы с колоннадой, колеса с порталами. Якопо Бельбо из своего непрекрасного далёка норовил затащить меня в

мышеловку, погубившую его самого. Надо, сказал я себе, действовать по науке. Вулканологи не сторают, как Эмпедокл. Фрэзер не заблудился в Немейском лесу. Ладно, приятель, значит, недаром тебя зовут Сэм Спейд!^[5] Маленькая прогулка по притонам, такая уж у нас работенка. Женщина, с которой ты славно провел время, должна умереть, и прикончишь ее ты. Прощай, Эмили, детка, это было прекрасно, но тебе незнакомо слово «любить».

Однако за паровозной галереей следовал зал Лавуазье, после которого парадная лестница уводила на следующие этажи.

И все витрины по стенам, и алхимический алтарь по центру, изысканная макумба^[6] Века Просвещения — все здесь стояло не случайно, все было результатом специальной символической стратагемы.

Во-первых, засилье зеркал. Если имеется зеркало, это уж просто, по Лакану:^[7] вам хочется посмотреться в него. Но ничего на выходит. Вы меняете положение, ищете такого положения в пространстве, при котором зеркало вас отобразит, скажет: «вот ты, ты тут». И совершенно невозможно примириться с тем, что зеркала Лавуазье, выпуклые, вогнутые и еще бог весть какие, отказываются вести себя нормально, издеваются над вами; отступите на шаг — и вы в поле зрения, шагнете хоть чуть-чуть — и теряете себя. Этот катоптрический театрик создавался специально для разрушения вашей личности, то есть вашего самоощущения в пространстве. Вам как будто внушают: вы не только не Маятник, вы и не там, где Маятник. Появляется неуверенность не только в себе, но и во всем прочем. Исчезают вполне реальные вещи, которые вы видите рядом с собою. Разумеется, физика способна объяснить, что происходит: вогнутое зеркало фокусирует лучи, исходящие от предмета — сейчас этот предмет перегонный куб на медном чане, — а нормальное зеркало отражает получаемые из вогнутого лучи таким образом, что собственно предмета, очертаний его, в зеркале не видно, а ощущается нечто призрачное, мимолетное и к тому же перевернутое вверх ногами, где-то в воздухе, вне зеркала. Разумеется, стоит пошевелиться, и эффект пропадет. Взамен эффекта я увидел себя во втором зеркале — вниз головой. Невыносимо.

Что имел в виду Лавуазье, чего требовали от него основатели музея? Со времен арабского средневековья, с трактатов Альхацена изучена магия зеркал. Стоило ли городить огород — Энциклопедия,

Век Просвещения, Революция, — чтоб продемонстрировать: любое изогнутое стекло способно спровадить вас в Воображаемость. Да и нормальное зеркало наводит дурной глаз — каждое утро за бритьем мы глядим в глаза Двойнику, обреченному пожизненному левше. Стоило ли оборудовать зал для такого скромного сообщения, или нам что-то недоговаривают, и следует в новом свете рассмотреть все попутное — витринки, инструменты, приуроченные к зачаточной физике, к химии просветительства?

Кожаная маска для защиты лица во время опытов по известкованию. Да право? Неужто великий повелитель подколпачных свеч напяливал эту баутту и глядел помойною крысой из-под скафандра: инопланетянин боится повредить глаза? Oh, how delicate, doctor Lavoisier.^[8] Если вы хотите разработать кинетическую теорию газа, зачем так тщательно воссоздаете золипилу — краник на шарике, который от нагрева вертится и выбрасывает пар? Вы знаете, что первая золипила была изобретена Героном^[9] во времена Гнозиса и что она находится в основе говорящих статуй и прочих хитроумий египетских жрецов?

А прибор для наблюдения гнилостного брожения, 1789, напоминание о зловонных выблядках Демиурга? Переплетение стеклянных трубок, восходящих из пузыревидного лона к перепутанным сосудам и сочленениям, — семенные пути на узких вилочках-подпорах между двумя колбами, из одной в другую держит путь призрачная жидкость, тонкие дренажи расширяются в пустоту... Гнилостное брожение? Valneum Mariae,^[10] сублимация ртути, таинство совокупления, сотворение Эликсира!

Вот еще один прибор для брожения, на этот раз винного. Игра хрустальных радуг, переброшенных от атанора к атанору, выходящих из одного перегонного куба и в другой куб впадающих. А крошечные очки, миниатюрная клепсида, малюсенький электроскоп, линза, лабораторный ножик, похожий на клинописную литеру, лопаточка с рычагом-выхлопом, стеклянное лезвие, тигелек в три сантиметра из огнеупорной глины, чтоб плодить в нем гомункулов росточком с гнома, неразличимых размеров матка для микроклонирования, ларцы красного дерева, полные белых пакетиков, похожих на облатки в деревенской аптеке, завернутых в линованный пергамент с неразборчивыми надписями, и в этих пакетиках — минералогические

образчики, так обычно говорится, а на самом деле — обрывок Василидовой плащаницы, ковчежец с крайней плотью Гермеса Трисмегиста, длинный, тонкий молоточек мебельного обойщика, которому назначено отстучать сигнал к стремительному дню Страшного Суда, аукцион квинтэссенций для публики Малого Народа Эльфов Авалона, замысловатейший приборчик для опытов по сгоранию масел: стеклянные шары, сращенные, как лепестки четырехлистника, и соединенные с другими четырехлистниками, связанными между собой золотыми трубками, и четырехлистники с трубками из хрусталя и с медными цилиндрами, под которыми — очень далеко внизу — еще другой цилиндр из стекла и золота, и новые трубки, опять свисающие вниз, и от них отростки, железы, мошонки, гланды, гребни... И это химия нового времени? И за это надо было гильотинировать изобретателя, притом что вроде бы материя не образуется и не исчезает? Или все-таки его убили, чтоб он не мог никому рассказать то, что старался высказать в завуалированном виде, подобно быстрому разумом Невтону, который в свою очередь больше всего интересовался каббалой и ее качественными эссенциями?

Зала Лавуазье Консерватория Науки и Техники — это исповедь, шифровка, это резюме остального музея, насмешка над самоуверенной и жесткой рациональностью нового времени, шепоток иных тайн. Якопо Бельбо был прав, Разум был крив.

Я торопился, время поджимало. Вот метр, килограмм и меры, иллюзия гарантированных гарантий. Но я помнил из лекций Алье, что тайна пирамид раскрывается, только если вести расчеты не в метрах, а в локтях. Вот арифметические машины, по виду — триумфы количественности, на самом же деле — прославление оккультной качественности цифр, возврат к принципам Нотарикона, к учению раввинов, рассеянных по городам и весям Европы. Астрономические приборы, часы, автоматы; беда — вдумываться в эти новые откровения. Я проникал в сердцевину тайного текста, представленного в форме Театра Разума, хорошо, успеется, я еще обследую от закрытия до полуночи эти экспонаты, которые в мутных заходящих лучах восстанавливают свой подлинный облик — образов, а не орудий.

Так, теперь скорее через залы разных видов техники, энергии, электричества, все равно за их витринами не удалось бы мне укрыться. Чем лучше я постигал или угадывал смысл этих вещей, тем большая

тоска меня охватывала, поскольку я не успевал найти укрытие, чтобы ночью присутствовать при проявлении их таинственных характеров. Теперь я мчался, как загнанный — вслед за мною, как зверь, летела стрелка часов, чудовищно рос счет; земля неотвратно обращалась, время перло вперед, и меня вот-вот должны были отсюда выгнать.

Наконец, миновав галерею электрических устройств, я попал в зал стекла. Какая странная логика потребовала, чтобы в дополнение к самым дорогостоящим и сложным чудесам современной техники там находилась и выставка примитивного стекла, известного еще финикийцам? Зала подходила под определение «с миру по нитке»: китайский фарфор и вазы-андрогины Лалика, керамика, майолика, фаянс, муранское стекло, а в глубине, в гигантских размеров витрине, в натуральную величину и в трех измерениях, лев, убивающий змею. Формально присутствие этого экспоната оправдывалось, скорее всего, тем, что группа целиком была выполнена из стеклянной пасты, но эмблематический смысл коренился, надо думать, в ином... Я попытался вспомнить, где я уже видел эти фигуры. Потом я вспомнил. Демиург, отвратительное порождение Софии, первый из архонтов, Ильдабаот, ответственный за этот мир и за его основные недостатки, имел именно этот облик — змеи и льва, — и очи его испускали огненный свет. Можно предположить, что и весь Консерваторий является символический отображением мерзкого процесса, при котором от полноты первопринципа — Маятника — и от сиятельности Плеромы,^[11] от зона к зону, по мере расщепления Огдоада, все переходит к космическому царству, в котором торжествует Зло. Однако в этом случае и змея и лев свидетельствовали, что мое хождение по музею — инициация — к сожалению, а rebours^[12] — было окончено, и вскоре мне предстояло увидеть мир не каким он должен быть, а какой он есть.

И действительно я заметил, что в правом углу, напротив окон, открывается вход в будку Перископа. Я поднялся в нее и увидел большую стеклянную пластину, как бы экран командного пульта, на котором расплывалось изображение, крайне нечеткое, города с высоты. Вслед за этим я понял, что изображение передается с другого экрана, расположенного у меня над головой, куда оно поступает в зеркальном виде, и этот второй экран — окуляр допотопного перископа, сложенного, в сущности говоря, из двух кожухов, совмещенных под

прямым углом, из которых более длинный вытягивался, как труба, из будки и продолжался у меня над головой и за спиной, доходя до верхнего окошка, из которого, за счет внутренней игры линз, позволявшей очень широкоугольный обзор, и ловились картины внешней жизни. Я прикинул, на сколько метров мне пришлось подниматься в будку, и пришел к выводу, что при помощи перископа мы смотрим как бы сквозь верхние витражи абсиды Сен-Мартена — как бы вися на маятнике: мир глазами повешенного. Я постарался приспособить глаз к размытому изображению. Теперь можно было различить улицу Вокансон, куда выходил хор, и улицу Конте, в идеальном смысле продолжавшую неф. Улица Конте пересекалась с улицей Монгольфьер слева и с улицей де Тюрбиго справа, на том и на другом углу по кафе, «Уик-энд» и «Ротонда», а напротив — вывеска, бросавшаяся в глаза на фасаде дома, «Ателье Жаксам», с трудом прочитал я справа налево. Перископ. Не совсем очевидно, почему он должен был быть в стекольном зале, а не, скажем, в зале оптических приборов, значит, для кого-то имело значение, чтобы образы внешнего мира приходили именно сюда, в это помещение, именно с этой ориентацией, но кому и зачем — я не мог догадаться. Кому понадобилась эта каютка, позитивистская, жюльверновская, напротив многозначительной эмблемы — змеи и льва?

В любом случае, если мне хватит силы и смелости просидеть здесь еще двадцать-тридцать минут, может быть, зритель уйдет, а я останусь.

Я провел в своей субмарине полчаса, показавшиеся веком. Слышались шаги последних посетителей, шаги последних сторожей. Велико было искушение залезть под лавку, чтоб избежать случайного обнаружения, но я сказал себе: нельзя. Если меня заметут в стоячем положении, я смогу сойти за заглазевшегося растяпу.

Вскоре погасили свет и воцарилась полутьма. В будке сделалось светлее, потому что с потолка отсвечивал экран, мой последний канал связи с миром. Осторожности ради я должен был оставаться на месте стоя, а если заболят ноги — сидя, по меньшей мере два часа. Время закрытия музея, конечно, не означает конца работы служащих. Меня взял страх: что, если придут мести залы, перетирать каждый экспонат? Потом я подумал, что, так как музей открывается не самым ранним утром, скорее всего его убирают в утренние, а не в ночные часы.

Видимо, так и было, по крайней мере на верхних этажах больше никто не ходил. Только какие-то дальние шорохи, сухие щелчки, вероятно — захлопываемые двери. Надо было ждать. В церковь я успею перейти между десятью и одиннадцатью или даже позже, поскольку Верховники соберутся только к полуночи.

Тем временем компания молодежи вышла из кафе «Ротонда». Одна из девушек направилась по улице Конте, повернула на Монгольфьер. Место было не слишком оживленное, и предстояло довольно нудное времяпрепровождение: час за часом созерцать безлюдный мир у себя за спиной. Но все-таки перископ был зачем-то установлен здесь. Какое же зашифрованное сообщение мог он передавать? Мне начинало хотеться в уборную, разумеется от нервов, не надо об этом думать.

Чего только не лезет в голову, когда вы один, нелегально, в перископе. Примерно то же переживали подпольные эмигранты в трюме парохода. Мне, как и им, предстояло пробиться к статуе Свободы с диорамой Нью-Йорка. Одолевала дремота. Может быть, и вправду немного поспать. Нет, лучше не надо, просплю все на свете.

Еще опаснее было предощущение нервного срыва, то есть когда вот-вот завопишь как резаный. Перископ, подлодка, залегшая на дно, а слева и справа проскальзывают страшные глубоководные рыбы, черней черноты, а их не видно, а воздуха не хватает...

Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Надо собраться. Единственное, что не подводит никогда, — список обязательств. Чем необходимо заняться. Вспомнить мелкие дела, составить перечень, со всеми подробностями, со всеми последствиями. Я пришел к необходимости таких-то действий на основании таких-то и сяких-то предпосылок...

Навалились воспоминания, детальные, четкие, упорядоченные. Воспоминания последних диких трех дней, потом — последних двух лет, потом — предшествовавших сорока лет, в том виде, в каком они открылись, когда я вломился в электронный мозг Якопо Бельбо.

Я вспоминаю (вспоминал вчера) для того, чтобы ввести какой-то смысл в неразбериху нашего поспешного сотворения. Сейчас, как и вчера в перископе, я устанавливаю себя в некоей отдаленной точке сознания и раскручиваю из нее рассказ. Точно как с Маятником. Диоталлеви говорил мне, что первая сефира^[13] — это Кетер, Венец,

первопричина, первоначальная пустота. Сначала Он сотворил точку, которая стала Мыслью, где Он начертил все фигуры... Он был и Он не был, заточенный в имени и убежавший имени, не имел иного имени, кроме «Кто?», — одно только желание прозываться именем... В начале Он начертил знаки на воздухе, темный свет вышел из Его потаенной глубины, как бесцветный туман, дарующий форму бесформенному, и как только Он начал распространяться, в Его середине забили источники пламен, и пламена разлились и озарили нижние сефирот вплоть до самой нижней — сефиры Царства.

Однако, может быть, и в том tsimtsum, в том уединении, в одиночестве уже содержалось, как утверждал Диоталлеви, обещание возврата.

XOXMA

Un hanc utilitatem clementes angeli saepe figures, characteres, formas et voces invenenint propoeuenintque nobie mortalibus et ignotas et stupendas, nullius rei iuxta consuetum linguae usum significativas, sed per rationis nostrae summarn admirationern in aeiduam intelligibilium perveetigationemideinde in illorum ipeorum venerationern et amorem inductivas. [\[14\]](#).

Иоганн Рейхлин, О каббалистическом искусстве

/Johannee Reichlin, De arte caballica, Hagenhau, 1517, III/

Все закрутилось за два дня до того, утром в четверг, я еще не вылезал из постели. Накануне я вернулся из-за города, звонил в издательство, Диоталлеви был по-прежнему в больнице, и Гудрун была настроена мрачно: все то же, все хуже. Жутко было думать, что надо идти к нему.

Что касается Бельбо, его в конторе не было. Гудрун сказала, что он звонил и сказал, что исчезает по семейным обстоятельствам. Какая еще семья? Самое странное, что он забрал компьютер, под кодовой кличкой Абулафия, вместе с принтером. Гудрун сказала, что он хотел работать дома. Что за гонка? Почему не работать на работе?

Чувствовал я себя сиротливо. Лия с ребенком возвращалась только через неделю. Накануне вечером я наведывался к Пиладу, но и там было пусто. Меня разбудил телефон. Говорил Бельбо, издали, искаженным голосом.

— Вы где? Откуда вы звоните? Вас причислили к павшим под Аустерлицем...

— Не до шуток, Казобон, слушайте. Я в Париже.

— В Париже! Это же я собирался в Париж! Вы украли мой Консерваторий!

— Не шутите, прошу вас. Я звоню из автомата... Из кафе... Не знаю, смогу ли долго говорить...

— Если нет жетонов, переведите разговор на меня. Перезвоните, я подожду...

— Дело не в жетонах. У меня неприятности... — И он прокричал быстро, чтоб не дать мне себя перебить: — План. План существует на самом деле. Оказался правдой. Пожалуйста, не надо спорить. За мной охотятся...

— Да кто охотится? — я все еще не понимал.

— Храмовники, о господи, Казобон, вы не хотите верить, но все это правда! Они думают, что карта у меня, я у них на крючке, они заставили меня приехать в Париж. В субботу в полночь они ждут меня в Консерватории, в субботу, понимаете, в ночь Святого Иоанна! — он говорил бессвязно, следить было трудно. — Я не хочу идти, я попытаюсь бежать, Казобон, они убьют меня! Предупредите Де Анджелиса, или нет, бесполезно, не надо, не надо никакой полиции...

— Что же делать?

— Что делать — не знаю, прочтите дискетки на Абулафии, я записал туда все, что случилось за последний месяц. Вас не было, некому было рассказать, я писал трое суток... Вы слушаете? На работе, в ящике, в моем столе лежит пакет, в нем два ключа. Большой ключ вам не нужен, он от дома в деревне, а маленький — от миланской квартиры. Идите туда и все прочтите, а потом решайте или поговорим сейчас, господи, не могу сообразить, что делать...

— Хорошо, я прочту. Но вас-то где искать?

— Не знаю, я каждый день меняю гостиницу. Сегодня вы делаете, как я сказал, а завтра ждите с утра в моей квартире, я попытаюсь перезвонить, если смогу. Да, еще. Забыл сказать вам пароль...

Послышался шум, и голос Бельбо то приближался, то удалялся, то совсем исчезал, как будто кто-то вырывал у него трубку.

— Бельбо! Что происходит?

— Они выследили меня. Пароль...

Раздался удар, как выстрел. Наверно, упала трубка, ударилась о стену или о полочку под телефоном. Звуки драки. Потом кто-то повесил ее обратно — разумеется, не Бельбо.

Я встал и пошел под душ, чтобы совсем проснуться. Я ничего не мог понять. «План оказался правдой»! Что за чушь, мы сами его

сочинили. Кто схватил Бельбо? Розенкрейцеры, граф Сен-Жермен, Охранка, Рыцари-Храмовники, Ассасины? Все было равно возможно, потому что равно невероятно. Могло случиться, что у Бельбо поехала крыша, он последнее время жил в таком напряжении, непонятно из-за чего: то ли из-за Лоренцы Пеллегрини, то ли из-за все возраставшего увлечения своим собственным порождением. Вообще-то детище было не только его, План был общий, мой, его и Диоталлеви, но из нас троих именно он, по-видимому, втянулся сильнее прочих, больше, чем требовала игра. Строить дальнейшие предположения не имело смысла. Я побежал в издательство. Гудрун встретила меня кисло: ее оставили одну в лавке. Но я, не останавливаясь, промчался в нашу комнату, выхватил из ящика пакет с ключами и побежал к Бельбо.

Запах затхлости, стоялых окурков, все пепельницы переполнены, мойка завалена тарелками, ведро забито жестянками от консервов. В кабинете на столике три пустых бутылки от виски, в четвертой еще оставалось пальца на два. Квартира человека, который несколько дней сидел взаперти, ел что попадетя и работал абсолютно как ненормальный.

Всего там было две комнаты, в обеих книги занимали все полезное пространство и громоздились по углам, стеллажи стонали под их весом. Мне тут же бросились в глаза компьютер, принтер, коробки с дискетами. В тех немногих местах на стенах, где не было книг, висели картины, и в частности напротив стола — гравюра семнадцатого века в замечательной рамке, аллегорический сюжет, на которую я не обратил никакого внимания месяц назад, когда заходил к Бельбо выпить пива накануне отъезда в отпуск.

На столе — фото Лоренцы Пеллегрини, красовалась и дарственная надпись мелким кривоватым почерком подростка. Лицо крупным планом; выражение глаз — странное выражение глаз — волнующие глаза; из безотчетной деликатности — или ревности? — я отвернул снимок и не стал читать подпись.

Среди папок на столе большинство было — графики, распечатки издательских планов. Но довольно быстро мне попался связный текст, напечатанный на принтере. Судя по датировке файла, это были первые пробы работы на компьютере. Они так и назывались «Абу». Я тут же вспомнил первые дни, когда Абулафия только-только появился в нашем издательстве. Бельбо совершенно потерял покой, вел себя как

ребенок, Гудрун похмыкивала, Диоталлеви отпускал иронические замечания.

Файл «Абу» представлял собой открытое письмо Якопо Бельбо всем насмешникам его жизни. Письмо довольно сумбурное, «на новенького», выдающее невероятное комбинаторное исступление, с которым Бельбо набросился на электронную машину. Человек, который говорил о себе с обычной бескровной улыбочкой: однажды-де он понял, что ему не светит роль главного героя, и выбрал себе роль умного наблюдателя; бессмысленно писать, если нет серьезной мотивации, гораздо лучше переписывать уже написанное, то есть быть хорошим редактором, — этот человек обнаружил для себя в компьютере некий галлюциноген. Он брэнчал на клавиатуре, как подбирают собачью польку на стареньком домашнем пианино, когда никто не слушает и не судит. Творческая мысль не имела к этому отношения; затерроризированный письмобоязнью, он не воспринимал данный процесс как письмо, а только как пробу автоматического устройства, как физзарядку ума. И в то же время, освободившись от присущих фобий, он увидел в этой новой игре выход в подростковое состояние, столь любезное пятидесятилетним. В любом случае, каким-то образом, его природный пессимизм и сложные расчеты с прошлым как-то отступили на второй план перед возможностью контакта с памятью неорганической, вещной, покорной, безответственной, внеисторической, до того по-человечески бесчеловечной, что он на время переставал чувствовать собственную знаменитую «болезнь бытия».

Имя файла: Абу

О ясное утро конца ноября, в Начале было Слово, гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Муза прелестница, Муза печальница. Точка и новая строчка. Само идет на новую строчку.

Проба проба проба parakalew parakalew. Хорошая программа строит анаграммы. Если вы написали роман из жизни южных штатов, героя зовут Ретт Батлер, а героиню Скарлетт, а потом вам это не понравилось, надо только дать команду, и Абу поменяет всех Реттов Батлеров на князей Андреев, всех Скарлетт на Наташ, Атланту на Москву, и готова война и мир.

Абу все может. Сейчас я напишу фразу и заставлю Абу поменять все «а» на «акка» и все «о» на «улла» и получится по-фински.

Аккабу все муллажет. Сейчаккас я нааккапишу фракказу и заккастаккавлю Аккабу пулламенять все «акка» накка «аккаккакка» и все «улла» накка «уллакка» и пуллалучится пулла-фински.

О счастье, о головокружение неподобия, о мой идеальный читатель/писатель, обуреваемый идеальной «несонницей» (О поминки по Финнегану, о нежная, возвышенная тварь!). Не думает за тебя, а помогает тебе думать за него. Механизм стопроцентной духовности. Ежели пишешь гусиным пером, скрипя по засаленной бумаге и макая его ежеминутно в чернильницу, мысли опережают друг друга и рука не успевает за мыслью, если печатаешь на машинке, буквы перепутываются, невозможно поспеть за скоростью собственных синапсов, побеждает тупой механический ритм. А вот с ним (может быть, с нею?) пальцы пляшут как им угораздится, мозг объединен с клавиатурой, и порхаешь посреди неба, у тебя как у пташки крылья, ты сочиняешь психологический критический разбор ощущений первой брачной ночи.

А теаперь я вот что с делаю, напечатаю кучок вслепуб, в затем возьму эту кучу орфографияечких мо н *смов* и потребу= от малшины сдублировать ее и перенести во врепменную память, И песть после жтого снова выведется и из Лимба на эжокран, в хвосте за самой слбойю

Вот так, я напечатал кусок вслепую, а затем взял эту кучу орфографических монстров, и сдублировал свои ошибки, и перенес их во временную память, и снова воспроизвел всю кучу в хвосте за самой собою, но в выправленном виде, и теперь она — образец аккуратности, по амбарам поскребли, колобок нам испекли, и глаз любит и душа наслаждается.

Я мог бы, исправив текст, выкинуть предыдущий кусок: оставляю его только для демонстрации того, как на этом экране могут сосуществовать бытие и долженствование, случайность и необходимость. А мог бы убрать порочный кусок из видимого текста, но сохранить в виртуальной памяти, накапливая таким образом каталог предыдущих стадий, не лишая загребущих фрейдистов и асов

«критики вариантов» ни радостей научного сыска, ни профессионального удовлетворения, ни академических лавров.

Эта память лучше настоящей, потому что настоящая, вероятно благодаря суровой школе, научена запоминать, но не научена забывать. Диоталлеви самым сефардическим образом балдеет от своих дворцов с огромными лестницами, а потом там дальше, дальше — статуя воина, насилующего полонянку, и коридоры с тысячами комнат, и в каждой комнате — чудища подлы, позорны, и тревожные видения, странные призраки, оживающие мумии, и с каждым зрелищем сассоциирован в сознании некоторый факт, категория, какой-то элемент устройства космоса, то силлогизм, то не имеющий конца сорит — силлогизм в форме цепочки, — вереницы апофегм, ожерелья гипаллагов, розы зевгм, кадрили гистеронов-протеронов, апофантические речи, иерархии стихий, процессии равноденствий, параллаксы, гербарии, генеалогии гимнософистов — и далее до бесконечности, то Раймунд, то Камилл, достаточно отоспаться воображением к этим зрительным картинам и немедленно снова выстраивается великая цепь бытия, идешь направо love, идешь налево joy, — привет вам от Лавджоя, так «все, что разлисталось по вселенной», у вас в глубинах памяти «как в книгу совершенную сплелось», Пруст в сравнении с подобной штукой — детская бирюлька. Однако однажды мы с Диоталлеви сели изобретать *arg oblivionalis*^[15] — и не сумели сформулировать правила забвения. Это бесполезно: можно брести в поисках утраченного времени по самым хрупким следочкам, как Мальчик с Пальчик по лесной тропинке, но у вас не получится специально сбить с пути время обретенное. Мальчик с Пальчик возвращается как штык, с этим ничего не поделаешь. Не существует технологии забвения, в этом смысле мы все еще ждем от природы случайных милостей — мозговых кровоизлияний, амнезии, хирургии и что там еще может стрястись, ну, скажем: путешествия, пьянство, лечение сном, самоубийство.

А Абу вместо всего этого предлагает широкий выбор локальных мини-самоубийств, временных амнезий, безболезненных афазий.

Где ты была сегодня ночью, Л

Вот так вот, мой нескромный читатель, ты не узнаешь никогда, а ведь эта оборванная линия строкой выше, кончающаяся пустотой, не что иное как зачин одной ужасно предлинной фразы, которую я на самом деле написал, но потом захотел как бы никогда не иметь ее написанной (и никогда не иметь произнесенной даже про себя), потому что хотел, чтобы то, что я написал, никогда бы не бывало произошедшим. И достаточно простого нажатия клавиши, млечная пена захлестнула фатальный, нежеланный кусок текста, я шлепнул по «отмене сигнала» и текст исчез.

Но и это не все. Трагедия самоубийцы в том, что обычно, выпрыгнув из окна и пролетая между седьмым и шестым этажами, он всей душой взывает: «Ах, если бы я мог переиграть!» Но это дудки. Никто переиграть не может. Бац. А мой Абу милосерден, он позволяет обратный ход, я еще восстановлю мой исчезнувший текст, если только не слишком тянуть и сразу щелкнуть по клавише восстановления. Какое счастье. Исключительно потому, что всегда в нашей власти вспомнить — теперь мы умеем забывать.

Не пойду я больше по окрестным барам разносить в щепки неприятельские миноносцы боевыми снарядами, покуда алкоголь окончательно не развалит на обломки меня самого. Здесь гораздо интереснее: здесь можно расщеплять мысли. Здесь галактика из тысяч тысяч астероидов, все выстроились по ранжиру, беленькие-зелененькие, на выбор, все созданы вами. Фиат Люкс, Биг Бэн, семь дней, семь минут, семь секунд, и вот пожалуйста, сотворяется мир вековечной текучести, где не существует ни четких космологических линий, ни временных связей, здесь орднунг не мус зайн ^[16] и возможен поворот обратно, такожде и во времени, письма рождаются и тонут, идут ко дну и снова всплывают невозмутимо, выйдут из небытия и спокойно канут туда же, и ты волен их вызывать, переставлять, тасовать, и стирать и тереть их, они растворяются и снова гектоплазмируются в отведенном им месте, это субмаринная симфония перетягиваний и влажных разрывов, студенистый вальс самопожирающих комет, они как рыбина из Yellow Submarine, прикоснитесь подушечкой пальца и непоправимое поползет назад в пасть прожорливой вокабуле, так и ухнет в ее зубы, а она засосет и хрряп, мрак, не удержишь — сожрет самое себя, раздуется от собственного несуществования, Черная дыра Чешира.

А если пишешь такое, которое стыдно писать, можно вогнать все это в мягкую дискетку, а на дискетку наложить вето — придумать пароль, и никто не сумеет прочитать, что в ней зашифровано, это находка для шпионов, записал, запечатал и привет, можешь гулять с диском в кармане и никакой Торквемада не дознается, что там за секреты, будут знать только ты и он (и Он?). Пусть даже предположим, что тебя пытаются, ты соглашаешься стучать, сдать свой Секрет, настучать пароль, а вместо этого нажимаешь секретную кнопку и все, и пиши пропало, вся твоя криптограмма навеки перестает существовать.

Ой, тут было что-то написано, я нечаянно тюкнул пальцем, все исчезло. Что это было? Не помню. Знаю только, что очень важных Откровений там не было. Хотя за будущее не поручусь.

*Кто хочет проникнуть в Розовый Сад
Философов, не имея ключа, подобен тому, кто хочет
идти, не имея ног.* [\[17\]](#).

Михаэль Майер, Аталанта Бегущая

*/Michael Maier, Atalanta figiens, Oppenheim,
De Vgy, 1618, emblema XXVII/*

Больше ничего на поверхности не было. Предстояло разбираться в дискетах. Они были перенумерованы, и я начал с первой. Но Бельбо предупредил что-то насчет пароля. Он всегда был ревнив к секретам Абулафии.

И действительно, едва я зарядил машину, на экране появилась строка: «Вы знаете пароль?» Формулировка не обидная. Бельбо был тактичный человек. Машина вела себя безучастно, она знала, что требуется пароль, и, не получая пароля, скучала. Но в то же время как бы подзуживала: «Вот так-то! То, что тебя интересует, у меня тут, в брюхе, да только как ты ни пыхти, старый крот, все равно ничего не узнаешь». Вот теперь и посмотрим, сказал я себе, ты так любил играть в шарады с Диоталлеви, ты был Сэм Спейд издательского дела, лови теперь соколка, как сказал бы Якопо Бельбо (и Дэшил Хэмметт, разумеется само собой).

Пароль на Абулафии мог быть длиной в семь букв. Сколько шарад, сколько семерок способен дать наш двадцатипятибуквенный алфавит с учетом возможности повторов, ибо ничто не препятствует таинственному слову выглядеть как «кадабра»? Есть формула подсчета вариантов. В общем, результат будет где-то шесть миллиардов и хвостик. Допустим, берется здоровенная счетная машина, способная перебрать нужные шесть миллиардов со скоростью миллион в секунду, но все равно после этого придется закладывать их в Абулафию поштучно и смотреть, что будет, а так как при этом известно, что Абулафии требуется примерно десять секунд на вопрос и на прогонку ответа, имеем шестьдесят миллиардов секунд. Учитывая, что

календарный год в пересчете на секунды — это около тридцати одного миллиона, округлим до тридцати, выйдет, что на работу надо отдать примерно две тысячи лет. Не слабо.

Остается путь дедукций. Какое слово могло иметь особый смысл для Бельбо? И прежде всего — выбирал ли он это слово в самом начале, когда только затевал свой роман с машиной, или в последние дни — после того как понял, что в память заложены взрывоопасные вещи и игра перестает быть игрушкой, по крайней мере для него самого? Результаты, в первом и во втором случае, будут сильно отличаться. Пойдем от второй гипотезы. Бельбо попадает в тиски Плана, принимает План всерьез (судя по последнему его звонку) и, вероятно, выбирает какое-то слово, связанное с нашими делами.

А может быть, и нет: ведь нельзя забывать, что пароль, восходящий к Преданию, доступен и Тем... Вдруг я подумал, что Они свободно могли уже побывать в этой квартире, скопировать все дискетки, и в данную минуту в каком-нибудь другом доме, как и я, сидят, ломают голову над комбинациями. Вычислительная техника завтрашнего дня в Дракульем замке на Карпатах.

И очень глупо, возразил я себе. Этот народ далек от техники. Они вооружатся Нотариконом, Гематрией, Темурой, обратятся к дискеткам как к Торе. И потратят на толкование не меньше времени, нежели минуло со времен создания «Сефер Йецира»^[18]... Однако дедуктивный метод все равно имеет смысл. Исходим из того, что Они, если бы существовали, искали бы разгадку в каббале. Если, в свою очередь, Бельбо был убежден, что Они существуют, он вполне мог выбрать Их путь.

Для очистки совести я попробовал каждую из десяти сефирот: Кетер, Бина, Хохма, Гевура, Хесед, Тиферэт, Год, Нецах, Йесод, Мальхут, и в нагрузку подбросил еще Шекинах. Разумеется, ничего не получилось, ибо это была первая мысль, которая пришла бы в голову кому угодно.

И тем не менее слово-пароль должно было быть вполне очевидным, вытекающим из объективного хода вещей, потому что когда люди делают работу, да еще в таком безумном темпе, в каком работал Бельбо последние дни, они не способны отключиться от искусственного мира, в который погружены. Негуманно предполагать, что Бельбо мог совершенно сбрендить от этого Великого Плана и

начать думать, скажем, о Линкольне или о Момбасе. Нет, это должно было быть что-то связанное с делом. Только что?

Я попытался приобщиться к ментальным процессам Бельбо. Вот я работаю запоем, прикуриваю новую сигарету от предыдущей, подливаю себе виски и лишь изредка взглядываю по сторонам, Я отправился в кухню и выцедил себе последние капли виски в единственный чистый стакан, имевшийся в доме, возвратился к столу, откинулся на спинку стула, задрал на стол ноги, стал потягивать маленькими глотками (стопроцентный Сэм Спейд — а может быть, так вел себя не Сэм Спейд, а Марло?) и озираться по сторонам. До книжных полок было далеко, надписи на корешках не читались.

Я залил в рот последнюю дозу, прикрыл глаза, проглотил виски и снова воззрился перед собой. В фокусе оказалась старая гравюра. Семнадцатый век, типичнейшая для того времени розенкрейцерская аллегория, полная шифрованных сигналов — обращений к заговорившим собратьям по ордену. В середине был несомненный розенкрейцерский Храм — башня, увенчанная куполом, вариация иконографического канона эпохи Возрождения, как христианского, так и иудейского, согласно которому Иерусалимский Храм изображался по подобию мечети Омара.

Ландшафт вокруг этой башни был разорван и заселен странно, как в тех ребусах, где нарисованы дворец, жаба на первом плане, мул с вьюком, король, получающий дар от пажа. В данном случае в левом нижнем углу рисунка какой-то жантильом вылезал из колодца, уцепившись за трос, шедший через два роликовых блока, поверх довольно хлипких подпорок, прямо в круглое оконце башни-храма. В середине картины всадник и пешеход, справа — коленопреклоненный пилигрим, опирающийся на большой якорь, как на посох. На правой стороне, на уровне верха башни, — скала, с которой валится вниз человек, туда же летит его шпага, а на противоположной стороне, на горизонте — гора Арарат и на ее вершине — причаливший ковчег. В небесах, по углам гравюры, два облака, из коих каждое озарено звездой, испускающей на крышу башни мутные лучи, в которых парили два существа справа и слева — голый, обвитый змеей, и лебедь. В самом верху, в середине, нимб, увенчанный словом «ORIENS»,^[19] с надпечаткой еврейскими литерами; из нимба выходит длань Господня, держащая нить, на которой подвешена башня.

У башни имелись колеса и квадратное основание с окнами, дверью, подъемным мостом в правой стене; этажом выше — что-то вроде балюстрады с четырьмя наблюдательными вышками, на каждой стоял оружный чин со щитом, испещренным еврейскими буквами, и салютовал пальмовой ветвью. Этим оружным людям можно было видеть только трех, а наличие четвертого подразумевалось, он был заслонен восьмиугольным куполом, в центре которого возвышался венец, такой же восьмиугольный, и из венца высывалась пара огромных крыльев. Наверху еще один купол поменьше, с четырехугольным барабаном, открытым на четыре стороны света, состоящим из арок и тоненьких колонн, в середине которого просматривался колокол. И наконец, выше всего помещался четырехскатный купол, к которому крепилась нить, удерживаемая в облаках божественной рукой. По сторонам верхнего венца было написано «Fama».^[20] Над куполом на ленте: «Collegium fraternitatis».^[21]

На этом странности не кончались, так как из двух круглых окон башни торчали: слева — несуразно огромная рука, которая могла бы принадлежать разве что втиснутому внутрь башни гиганту, чьи были торчащие крылья; а справа — таких же масштабов труба. Труба, снова эти трубы...

Что-то подтолкнуло меня пересчитать отверстия в башне: в венцах — слишком частые и регулярные, в нижних стенах, наоборот — слишком произвольные. Башня была нарисована в две четверти, в ортогональной проекции, и оставалось только предположить, что постройка симметрична и что все двери, окна и проемы, показанные художником, присутствуют на тех же местах на остальных стенках. Таким образом: четыре арки колокольного венца, восемь окон в среднем ярусе, четыре башенки, шесть отверстий в восточной плюс западной стенах, четырнадцать в северной плюс южной. Подобьем счет. Тридцать шесть отверстий.

Тридцать шесть. Вот уже десять лет как меня преследует эта цифра. Вместе с цифрой сто двадцать. Это числа розенкрейцеров. Сто двадцать поделить на тридцать шесть — с точностью до седьмого знака — дает 3,333333. Это было бы чересчур красиво... Но все равно стоило попробовать. Я попробовал. Без толку.

Мне пришло в голову, что в удвоенном виде это число выглядело более или менее как 666. Число Зверя. Но и с этой догадкой, как показала практика, я перемудрил.

Мне снова бросился в глаза центральный ореол — обиталище Бога. Еврейские буквы в нем были настолько четки, что их можно было прочесть даже не вставая из-за стола. Но Бельбо не мог печатать на Абулафии по-еврейски! Я присмотрелся: буквы мне были знакомы, ну да, конечно, справа налево: йод, ге, вав, гет. Яхве, lahveh, Иегова. Имя Бога.

*И начал складывать это имя, имя УНУН,
сначала только это, а потом во всех сочетаниях, и
кружить его, и поворачивать, будто колесо...*

Абулафия, Хеше га-Нефеш

Abulafia, Haуuk ha-Nefes, Munchen 408

Имя Бога. Разумеется. Я вспомнил первую беседу Бельбо и Диоталлеви в тот день, когда Абулафию привезли к нам в контору.

Диоталлеви, привалившись к косяку кабинета, так и лучился снисходительностью. Снисходительность Диоталлеви обычно бывала обидной, но Бельбо до обид не снисходил.

— Что ты с ним будешь делать? Переписывать чужие рукописи? Ты же их не читаешь!

— На нем можно составлять указатели, вести библиографию, классифицировать. Можно писать что-нибудь свое. Почему обязательно чужое?

— Ты вроде божился, что не будешь писать свое.

— Я сказал, что не буду засорять мир новыми рукописями. Поелику роль главного героя мне не дают...

— ...ты удовлетворяешься ролью умного наблюдателя. Ну так как же?

— А так, что и умный наблюдатель, когда идет домой с концерта, насвистывает мотив, но это не значит, что он собирается выступать с ним в Карнеги-холл...

— Значит, ты собираешься насвистывать свои писания, чтоб убедиться, что не должен писать.

— Это будет по крайней мере честно.

— Ах да?

Диоталлеви и Бельбо были оба по происхождению пьемонтцами, а у пьемонтцев из приличных семей особенно ценится умение вежливо выслушать собеседника, глядя ему в глаза, и затем переспросить «Ах да?» тоном, полным живейшего интереса, но так, чтобы при этом

собеседник пожелал провалиться сквозь землю. Я же был чистый варвар, заявляли они, и подобные тонкости, разумеется, были мне недоступны.

— Варвар? — возмущался я. — Хоть я и родился в Милане, моя мама из Валь Д'Аосты!

— Наплевать, — стояли они стеной. — Пьемонтцы узнаются по скептицизму.

— Я же скептик!

— Нет. Вы Фома недоверчивый. Это другое. Я понимал, почему Диоталлеви не доверяет Абулафии. Он слышал, что компьютер может переставлять буквы в произвольном порядке, выворачивать слова наизнанку, и всполошился, потому что предвидел самые дьявольские последствия подобных манипуляций. Бельбо успокаивал его.

— Эта игра в перестановки, — говорил он — иначе называется Темура, ведь верно? Не этим ли путем правоверные раввины восходят ко вратам Сияния?

— Друг мой, — отвечал Диоталлеви, — ты никогда ничего не поймешь. Да, это правда, что Тора — я имею в виду, разумеется, видимую Тору — есть лишь одна из перестановок-пермутаций букв, составляющих вековечную Тору, какую создал ее Творец и какой ее дал Адаму. Пермутируя столетие за столетием буквы в этой Торе, возможно рано или поздно взойти к Торе изначальной. Но важен не результат. Важен процесс, то есть та истовость, с которой мы бесконечно обращаем жернова моления и писания, составляя истину из малых крупиц. Если же машина выдаст тебе правду немедленно, ты эту правду не примешь, ибо сердце твое не будет очищено продолжительным испытанием. И потом — в таком месте, в редакции! Как можно! Слова Книги произносятся шепотом, в закоулке гетто, там, где человек научается жить, горбясь и плотно прижимая локти к бокам; в ладонях же он держит Книгу, и той руке, которая листает, нет почти никакого пространства, и чтобы смачивать пальцы, приходится поднимать их к губам вертикально, как будто причащаясь хлеба неквашеного, и дыша еле-еле, чтоб не уронить ни единой крошки. Слова пережевываются медлительно; каждое слово, чтобы разобраться на частицы и снова составиться, должно быть распущено во рту, под языком; не приведи бог уронить каплю слюны на ткань кафтана, если утратится хоть одна буква, порвется та нить, которая связывает тебя с

высшими сефирот. Этому посвятил всю жизнь Авраам Абулафия, в то время как ваш Святой Фома из кожи вылезал, отыскивая Бога на своих пяти тропинках. «Хохмат га-Зеруф» Абулафии в равной степени явилась учением о пермутации литер и учением об очищении душ. Мистическая логика, мир букв и их коловращение в бесконечной взаимозаменяемости — это и есть мир блаженства. Наука сопоставлений — музыка для рассудка, однако имей в виду, надо двигаться осторожно, с особой медленностью. А твоя машина способна породить суматоху, а не экстаз. Многие ученики Абулафии не сумели удержаться на тонкой грани, разделяющей созерцание имен Бога от магической практики, от манипуляции именами с целью составления талисманов, орудий управления природой. И они не ведали, как не знаешь и ты и не знает твоя машина, — что всякая буква увязана с какой-либо частью организма, и если ты сдвинешь с места одну согласную, не понимая ее силы, один из твоих органов сойдет со своего места, игра природы, и тебя всего перекорежит как снаружи, на всю жизнь, так и внутри, на вечные времена.

— Слушай, — отвечал ему Бельбо в тот самый день, — ты меня не разубедил, а разохотил. Теперь в моих руках и в моей полной власти, как Голем у твоих любимых евреев, персональный Абулафия. Я решил назвать его Абулафия, сокращенно Абу. И представь себе, мой Абулафия работает даже аккуратнее, чем твой. Осторожнее. Как я понял, твоя проблема в том, чтобы испробовать все возможные комбинации букв в имени Бога? Прекрасно. Посмотри в учебник. Вот маленькая программа на Бейсике для подбора всех вариантов взаимоположения четырех букв. Как будто нарочно для нас, для IHVH. Хочешь, я ее запущу? — И он открыл страницу с программой, вот уж точно совершенной каббалой для Диоталлеви:

```
10 REM anagrams
20 INPUT L$(1),L$(2),L$(3),L$(4)
30 PRINT
40 FOR I1=1 TO 4
50 FOR I2=1 TO 4
60 IF I2=I1 THEN 130
70 FOR I3=1 TO 4
80 IF I3=I1 THEN 120
```

```

90 IF I3=I2 THEN 120
100 LET I4= 10-(I1+I2+I3)
110 LPRINT L$(I1);L$(I2);L$(I3);L$(I4)
120 NEXT I3
130 NEXT I2
140 NEXT I1
150 END

```

— Вот попробуй с I, H, V, H. Введи там, где написано Input, и запускай программу. Не хотелось тебя огорчать, но возможных вариантов получится только двадцать четыре.

— Великое открытие. Святые Серафимы! Ты открыл двадцать четыре имени Бога! Неужели ты думаешь, что наши мудрецы все это до сих пор не посчитали? Да возьми «Сефер Иецира», шестнадцатый параграф четвертой главы. А у них, заметь, не было счетных машин. «Из двух Камней складываются два Дома. Из трех Камней складываются шесть Домов. Из четырех Камней складываются двадцать четыре Дома. Из пяти Камней складываются сто двадцать Домов. Из шести Камней складываются семьсот двадцать Домов. Из семи Камней складываются пять тысяч сорок Домов. А дале и впредь ступай и мысли о том, что уста не рекут и чему уши не внемлют». Ты знаешь, как в наши дни называется то же самое? Расчет факториала. А знаешь, почему Предание предлагает прекратить счет и дальше не пытаться? Потому что если бы букв в имени Бога было восемь, вариантов получалось бы уже сорок тысяч, а если бы десять — три миллиона шестьсот тысяч, а анаграмм твоего несчастного имени можно было бы подобрать почти сорок миллионов, и скажи спасибо, что у тебя нет промежуточного инициала, как у американцев, иначе бы дело дошло до четырехсот миллионов с хвостиком. А если бы в имя Бога входили все двадцать семь букв, поскольку в еврейском алфавите нет гласных, а есть просто двадцать две согласных и пять знаков вокализации, имена Бога исчислялись бы двадцатидевятизначным числом. К этому следует прибавить и все варианты с повторениями, ибо нигде не сказано, что имя Бога не может быть Алеф,^[22] повторенный двадцать семь раз, и тогда одним факториалом обойтись уже невозможно и надо будет вычислять двадцать семь в двадцать седьмой степени; это дает, я полагаю, четыреста сорок четыре

миллиарда миллиардов миллиардов миллиардов возможных вариантов, плюс-минус погрешность, короче говоря, число из тридцати девяти знаков.

— Только не надо передергивать. Я тоже читал твою «Сефер Йецира». Основных букв известно двадцать две; из них, и только из них Бог образовал все сущее.

— Во-первых, не надо софизмов, потому что ты отлично понимаешь, что мы остаемся на тех же порядках величин, и если вместо двадцати семи в двадцать седьмой степени взять двадцать два в двадцать второй, все равно наберется что-то вроде трехсот сорока миллиардов миллиардов миллиардов. С простой человеческой точки зрения, разница пренебрежима. Я могу предложить тебе начать с единицы — один, два, три — и считать дальше по цифре секунду. Чтобы дойти до миллиарда, до какого-то вонючего миллиардик. знаешь, сколько тебе потребуется? Тридцать два года. Но дело обстоит еще сложнее, нежели ты думаешь. Каббала не сводится к «Сефер Йецира». Если хочешь, я могу объяснить, почему в хорошей работе по пермутации Торы должны все-таки учитываться двадцать семь букв, а не двадцать две. Ты правильно утверждаешь, что пять конечных знаков, попадая при перестановке в середину слова, превращаются в свой нормальный эквивалент. Но это не в ста процентах случаев. Возьми Исайю девять-шесть-семь, слово LMRBH — Лемарбех — которое, кстати, обрати внимание, значит «умножение». Здесь в середине слова пишется «мем» конечная.

— Почему?

— Потому что каждой букве соответствует число, причем нормальна «мем» значит сорок, а конечная «мем» — шестьсот. Но в данном случае приобретает определяющее значение не Темура — трактат о пермутации, а Гематрия, посвященная наблюдению тончайших связей между словами и их цифровыми смыслами. С конечной «мем» слово LMRBH начинает значить не 277, а 837, что соответствует по сумме словосочетанию «Тат Цаль», что означает «обильно одаривающий». Из этого следует, что необходимо принимать в расчет все двадцать семь букв, ибо важны не только звучания, но и количественные значения слов, А теперь вернемся к моему расчету. Пермутаций Торы может быть четыреста с чем-то миллиардов миллиардов миллиардов. Известно ли вам, сколько

времени надо, чтобы просмотреть их все, по одной в секунду, допуская даже, что некая электронная машина, разумеется не твоя маломощная дрянь, способна на такое? Пропуская по одной в секунду, ты будешь этим заниматься семь миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов минут, сто двадцать три миллиона миллиардов миллиардов миллиардов часов, немногим более пяти миллионов миллиардов миллиардов миллиардов дней, четырнадцать тысяч миллиардов миллиардов миллиардов лет, сто сорок миллиардов миллиардов миллиардов веков, четырнадцать миллиардов миллиардов миллиардов тысячелетий. А если бы у тебя бы компьютер, способный подбирать по миллиону комбинаций в секунду, ты только подумай, какой выигрыш во времени, при таком электронном пулемете ты бы разделался со всем этим всего за четырнадцать тысяч миллиардов миллиардов тысячелетий! Однако на самом деле настоящее имя Бога, тайно имя, длинно, как вся целиком Тора, и не существует на свете машины, способной подобрать все пермутации его, потому что и Тора сама по себе — это уже результат пермутации двадцати семи букв с учетом повторений, и наук Темуры гласит о необходимости пермутировать не двадцать семь литер алфавита, а все до одного знаки Торы, из коих каждый знак имеет восприниматься как если бы он был самостоятельной буквой, даже если он появляется: бесконечное количество раз в других местах и на других страницах, то есть этой точки зрения, к примеру, два «ха» в имени ИВН — две разные буквы. По этому если ты соберешься просчитать все возможные пермутации всех возможных знаков, составляющих целую Тору, тебе не хватит всех на свете нулей. Давай, давай, старайся со своей бухгалтерской машинкой. Истинная Машина, разумеется, существует, но она создавалась не в какой-то силикатной долине, эта Машина — Святая Каббала или, иначе говоря, Предание, и раввины на протяжении столетий разрабатывали то, что ни одной машине разработать не по силам и, надеюсь, даже не придет ей в голову. Ибо буде пермутация задумана и осуществлена, результат должен оставаться секретом, и в любом случае мироздание на этом скончало бы свой цикл — и мы полыхнули бы и погасли в вековечном забвении, во славу великого Метатрона.

— Аминь, — заключил Бельбо.

Однако с тех самых пор благодаря дорогому другу Диоталлеви в душе Бельбо поселился опасный интерес к вечному и бесконечному. Не раз и не два вечерами после работы он оставался и гонял на компьютере программы в тайной надежде доказать Диоталлеви, что Абу способен наглядно представить истину за несколько секунд, без ручных подсчетов, без желтых пергаментов, без допотопных систем счисления, которые — кто их разберет? — возможно, вообще обходились без нулей или еще как-нибудь в этом духе. Но все было без толку, Абу по любому поводу норовил ответить экспонентными формулами, и Бельбо никак не удавалось поразить Диоталлеви зрелищем экрана, целиком заполненного нулями, что было бы хотя и бледной, но иллюстрацией размножения комбинаторных миров и взрывного распада всех возможных универсумов...

Но в любом случае теперь, после всего, что имело место, и пред лицом розенкрейцерской гравюры, невозможно предположить, чтобы Бельбо не подумал, изобретая пароль, о пермутациях имени Бога. И, вероятно, он обратился в первую очередь к цифрам тридцать шесть и сто двадцать, ибо, судя по всему, эти цифры стали и его наваждением; а если так, значит, он отправлялся не от четырехбуквенного еврейского слова ЯХВЕ, а от какого-то другого, ибо из четырех камней максимум, что можно построить, это двадцать четыре дома.

Естественнее всего было взять за основу итальянскую транскрипцию ИЕГОВА. Шесть букв — это уже семьсот двадцать пермутаций. Из них он мог употребить для пароля тридцать шестую или сто двадцатую.

Я пришел сюда в одиннадцать, теперь был час дня. Требовалось срочно составить программу анаграммирования шести букв, то есть, вернее, переработать уже имеющуюся программу для четырех.

Голова была мутная; чтоб развеяться, я спустился на улицу, зашел в ближайший бар, купил бутербродов и новую бутылку виски.

Поднявшись в квартиру, я оставил бутерброды около двери, а виски немедленно откупорил, задвинул в компьютер системную дискету Бейсик и начал сочинять программу для шести букв — разумеется, по методу проб и ошибок, так что вместо пяти минут я убил на это прорву времени, но где-то в половине третьего программа наконец пошла и на экране поползли передо мною семьсот двадцать вариантов имени Бога.

Иегова Иегоав Иегвоа Иегвао Иегаов Иегаво Иеогва Иеогав
Иеовга
Иеоваг Иеоагв Иеоавг Иевгоа Иевгао Иевога Иевоаг Иеваго
Иеваог
Иеагов Иеагво Иеаогв Иеаовг Иеавго Иеавог Игеова Игеоав
Игевоа
Игевао Игеаов Игеаво Игоева Игоеав Иговеа Иговае Игоаев
Игоаве
Игнеоа Игвеао Игвоеа Игвоае Игваео Игваое Игаеов Игаево
Игаоев
Игаове Игавео Игавое Иоегва Иоегав Иоевга Иоеваг Иоагв
Иоеавг
Иогева Иогеав Иогвеа Иогвае Иогаев Иогаве Иовега Иовеаг
Иовгеа
Иовгае Иоваег Иоваге Иоаегв Иоаевг Иоагев Иоагве Иоавег
Иоавге
Ивегоа Ивегао Ивеога Ивеоаг Ивеаго Ивеаог Ицгеоа Ивгеао
Ивгоеа
Ивгоае Ивгаео Ивгаое Ивоега Ивоеаг Ивогеа Ивогае Ивоаег
Ивоаге
Иваего Иваеог Ивагео Ивагое Иваоег Иваоге Иаегов Иаегво
Иаеогв
Иаеовг Иаевго Иаевог Иагеов Иагево Иагоев Иагове Иагвео
Иагвое
Иаоегв Иаоевг Иаогев Иаогве Иаоегв Иаовге Иавего Иавеог
Иавгео
Иавгое Иавоег Иавоге Еигова Еигоав Еигвоа Еигвао Еигаов
Еигаво
Еиогва Еиогав Еиовга Еиоваг Еиоагв Еиоавг Еивгоа Еивгао
Еивога
Еивоаг Еиваго Еиваог Еиагов Еиагво Еиаогв Еиаовг Еиавго
Еиавог
Егиова Егиоав Егивоа Егивао Егиаов Егиаво Егоива Егоиав
Еговиа
Еговаи Егоаив Егоави Егвиоа Егвиао Егвоиа Егвоаи Егваио
Егваои
Егаиов Егаиво Егаоив Егаови Егавио Егавои Еоигва Еоигав

Еоивга
Еоиваг Еоиагв Еоиавг Еогива Еогиав Еогвиа Еогваи Еогаив
Еогави
Еовига Еовиаг Еовгиа Еовгаи Еоваиг Еоваги Еоаигв Еоаивг
Еоагив
Еоагви Еоавиг Еоавги Евигоа Евигао Евиога Евиоаг Евиаго
Евиаог
Евгиоа Евгиао Евгоиа Евгоаи Евгаио Евгаои Евоига Евоиаг
Евогиа
Евогаи Евоаиг Евоаги Еваиго Еваиог Евагио Евагои Еваоиг
Еваоги
Еаигов Еаигво Еаиогв Еаиовг Еаивго Еаивог Еагиов Еагиво
Еагоив
Еагови Еагиоо Еагвои Еаоигв Еаоивг Еаогив Еаогви Еаовиг
Еаовги
Еавиго Еавиог Еавгио Еавгои Еавоиг Еавоги Гиеова Гиеоав
Гиевоа
Гиевао Гиеаов Гиеаво Гиеова Гиеоав Гиовеа Гиовае Гиоав
Гиоаве
Гивеао Гивеао Гивоеа Гивоае Гинаео Гиваое Гиаеов Гиаево
Гиаоев
Гиаове Гиавео Гиавое Геиова Геиоав Геивоа Геивао Геиаов
Геиаво
Геоива Геоиав Геовиа Геоваи Геоаив Геоави Гевьоа Гевьоа
Гевьоа
Геоаи Геоаио Геоаои Геаиов Геаиво Геаоив Геаови Геавио
Геавои
Гоиева Гоиеав Гоивеа Гоивае Гоиаев Гоиаево Гоива Гоивав
Гоевиа
Гоеваи Гоеаив Гоеави Говиеа Говиае Говеиа Говеаи Говаие
Говаеи
Гоаиев Гоаиве Гоаеив Гоаеви Гоавие Гоавеи Гвиеоа Гвиеао
Гвиеоа
Гвиеае Гвиеае Гвиеае Гвиеоа Гвиеао Гвиеоа Гвиеоаи Гвиеао
Гвиеао
Гвоиеа Гвоиае Гвоеиа Гвоеаи Гвоаие Гвоаеи Гваиео Гваиео
Гваиео

Гваеои Гваоие Гваоеи Гаиеов Гаиево Гаиоев Гаиове Гаивео
Гапвое
Гаеиов Гаеиво Гаеолв Гаеови Гаевио Гаевои Гаоиев Гаоиве
Гаоеив
Гаоеви Гаовие Гаовеи Гавиео Гавиое Гавеио Гавеои Гавоие
Гавоеи
Оиегва Оиегав Оиевга Оиеваг Оиеагв Оиеавг Оигева Оигеав
Оигвеа
Оигвае Оигаев Оигаве Оивега Оивеаг Оивгеа Оивгае Оиваег
Оиваге
Оиаегв Оиаевг Оиагев Оиагве Оиавег Оиавге Оеигва Оеигав
Оеивга
Оеиваг Оеиагв Оеиавг Оегива Оегиав Оегвиа Оегваи Оегаив
Оегави
Оевига Оевиаг Оевгиа Оевгаи Оеваиг Оеваги Оеаигв Оеаивг
Оеагив
Оеагви Оеавиг Оеавги Огиева Огиеав Огивеа Огивае Огиаев
Огиаве
Огеива Огеиав Огевиа Огеваи Огеаив Огеави Огвиеа Огвиае
Огвеиа
Огвеаи Огваие Огваеи Огаиев Огаиве Огаеив Огаеви Огавие
Огавеи
Овиега Овиеаг Овигеа Овигае Овиаег Овиаге Овеига Овеиаг
Овегиа
Овегаи Овеаиг Овеаги Овгиеа Овгиае Овгеиа Овгеаи Овгаие
Овгаеи
Оваиег Оваиге Оваеиг Оваеги Овагие Овагеи Оаиегв Оаиевг
Оаигев
Оаигве Оаивег Оаивге Оаеигв Оаеивг Оаегив Оаегви Оаевиг
Оаевги
Оагиев Оагиве Оагеив Оагеви Оагвие Оагвиеи Оавиег Оавиге
Оавеиг
Оавеги Оавгие Оавгеи Вигоа Вигоао Вигога Вигоаг Вигоао
Вигоаг
Вигоа Вигоао Вигоае Вигоае Вигоае Вигоае Виога Виогаг
Виогеа
Виогае Виогаг Виогаге Виогаго Виогаг Виогае Виогаг

Виаоге
Веигоа Веигао Веиога Веиоаг Веиаго Веиаог Вегиоа Вегиао
Вегиаа
Вегоаи Вегаио Вегаои Веоига Веоиаг Веогиа Веогаи Веоаиг
Веоаги
Веаиге Веаиог Веагио Веагои Веаоиг Веаоги Вгиоа Вгиоао
Вгиоае
Вгиоае Вгиаео Вгиаое Вгеиоа Вгеиао Вгеоиа Вгеоаи Вгеаио
Вгеаои
Вгоиае Вгоиае Вгоеиа Вгоеаи Вгоаие Вгоаеи Вгаиео Вгаиое
Вгаеио
Вгаеои Вгаоие Вгаоеи Воиога Воиоаг Воиога Воиогае Воиаег
Воиаге
Воиога Воиоаг Вогиа Вогаи Воаиг Воаги Вогиае Вогиае
Вогеиа
Вогеаи Вогаие Вогаеи Воаиег Воаиге Воаеиг Воаеги Воаиге
Воагеи
Ваиего Ваиеог Ваигео Ваигое Ваиоег Ваиоге Ваеиге Ваеиог
Ваегио
Ваегио Ваеоиг Ваеоги Вагиео Вагиоае Вагеио Вагеои Вагоие
Вагоеи
Ваоиег Ваоиге Ваоиге Ваоги Ваоиге Ваогеи Аиегов Аиегво
Аиеогв
Аиеогв Аиеиге Аиевог Аигеов Аигево Аигоев Аигове
Аигвео Аигвое
Аиеогв Аиеогв Аиогеи Аиогве Аиоегв Аиогве Аивегио
Аивеог Аивгео
Аивгео Аивоег Аивоге Аеигов Аеигво Аеиогв Аеиогв Аеивго
Аеивог
Аегиов Аегиво Аегиов Аегиов Аегвио Аегвои Аеогв Аеогв
Аеогив
Аеогви Аеовиг Аеовги Аевиго Аевиог Аевгио Аевгои Аевоиг
Аевоги
Агиеов Агиево Агиеов Агиеове Агивево Агивое Агеиов
Агеиво Агеоив
Агеови Агевио Агевои Агоиев Агоиве Агоевв Агоеви Аговие
Аговей

Агвиео Агвиое Агвеио Агвеои Агвоие Агвоеи Аоиегв Аоиевг
Аоиигв
Аоиигве Аоиивег Аоиивге Аоиигв Аоеивг Аоегив Аоегви Аоевиг
Аоевги
Аогиев Аогиве Аогевв Аогевви Аогвие Аогвев Аовиег Аовиге
Аовеиг
Аовеги Аовгие Аовгеи Авиего Авиеог Авигео Авигое Авиоег
Авиоге
Авеиго Авеиог Авегио Авегои Авеоиг Авеоги Авгиео
Авгиое Авгеио
Авгеои Авгоие Авгоеи Авоиег Авоиге Авоеиг Авоеги
Авогие Авогеи

Я сгреб отпечатанную ленту бумаги, не разделяя ее на страницы; будем пользоваться муляжом свитка первобытной Торы. Попробовал имя номер тридцать шесть. Никакого эффекта. Последний глоток виски, и вслед за тем трясущимися пальцами я набрал имя номер сто двадцать. Тишина.

Я был готов повеситься. Что делать? Я старался перевоплотиться в Якопо Бельбо, а Якопо Бельбо несомненно рассуждал именно так, как сейчас рассуждаю я. Но где-то закралась ошибка, маленькая, гаденькая ошибочка, совсем ничтожненькая, малюсенькая, и все полетело псу под хвост. Я был близко-близко, что же делать, может быть, Бельбо по каким-то странным причинам начинал счет не с начала, а с конца?

Казобон, кретин злополучный, сказал я себе. Разумеется, он считал с конца. То есть справа налево. Бельбо заложил в компьютер имя Бога в латинской транскрипции, ввел туда две гласные, это ясно, но так как слово все-таки еврейское, он написал его не слева направо, а справа налево. Таким образом, Input выглядел не как IАНVЕН, а как НЕVНАІ. О чем я думал раньше! Естественно, что таким образом порядок пермутации выйдет обратный. Значит, надо было считать с конца. Я отсчитал и попробовал. Никакой реакции.

Выходит, ошибочной была посылка. Я купился на красивую, но ложную гипотезу. Бывает с самыми лучшими учеными.

Какие к черту лучшие? С самыми худшими, как мне блистательно удалось продемонстрировать. Обсуждалось же нами недавно, что за последние несколько месяцев вышло как минимум три романа, где главный герой ищет имя Бога в компьютере. Бельбо не мог унизиться до такой пошлости. И потом вообще, если подумать минуточку, ну кто возьмет для пароля такую труднозапоминаемую абракадабру? Наоборот, нужно самое простое из возможных слов, чтобы оно набиралось спонтанно, инстинктивно. ИОВГЕА! Как же, жди! Ему бы пришлось освоить весь Нотарикон и всю Темуру и составить какой-нибудь невероятный акростих, чтобы только запомнить это слово. «Имельда Отомстила Врагам Гирама, Его Абидевшим...»

Кроме того, с какой стати Бельбо мыслил бы каббалистическими категориями Диоталлеви? Для Бельбо важнее всего был План, а в План мы ввели, слава Богу, и Розенкрейцерство, и Синархию, и Гомункулов, и Маятник, Башню, Друидов, Эннойю...

К слову, об Эннойе. Я подумал о Лоренце Пеллегрини. Я потянулся к фотографии и повернул ее лицом к себе. В память лезло неуместное воспоминание той ночи в Пьемонте... Подпись выглядела так: «Ибо я семь первая и я последняя, я чтимая и я хулимая, я блудница и я святая. SOPHIA».

Вероятно, писано после вечера у Риккардо. SOPHIA. Шесть букв. Да нет. Какой смысл их анаграммировать? Это у меня извращенное мышление. Бельбо любит Лоренцу, любит именно за то, что она такая, какая есть, а она есть София — и подумать только, что в эту самую минуту она, наверно... Нет, надо учесть, что у Бельбо гораздо более извращенное мышление. Мне снова вспомнились слова Диоталлеви: «Во второй сефире сумрачный Алеф превращается в Алеф светоносный. Из Темной Точки выходят наружу буквы Торы. Тело — согласные, дыхание — гласные, а все вместе сопровождают пение благочестивого. Когда мелодия звуков движется, движутся с нею согласные и гласные. Созидается Хохма, Мудрость, Познание, первоначальная идея, в которой все содержание лежит как бы в укладке и готово распространиться по всему сотворенному. В Хохме содержится сущность всего того, что будет...»

А что есть Абулафия со своим тайным банком файлов? Укладка всего, что Бельбо знал или думал, что знает; его София. Бельбо избрал таинственное имя, открывающее доступ к Абулафи, к предмету его

любовных ласк (единственному!), но лаская его, он воображает Лоренцу, он ищет слово, которое поможет ему владеть Абулафией, но в то же время и Лоренцей, ищет талисман, он хочет проникнуть в сердце Лоренцы и понять его, как понимает сердце Абулафии; он хочет, чтобы Абулафия оставался непроницаем для всех, как для него самого — Лоренца, он верит, что способен охранить, объять и овладеть тайной Лоренцы, как овладел тайной Абулафии...

Все это было крайне сомнительно, но я старался убедить себя, что мыслью в верном направлении. Как и в случае Плана, я принимал желаемое за действительное.

Но так как я все-таки был пьян, я снова пододвинулся к компьютеру и отбил СОФИЯ. Машина вежливо переспросила: «Вы знаете пароль?» Глупая машина, тебя не волнует даже мысль о Лоренце.

*Juda Leon se dio a permutaciones
De letras y a complejas variaciones
Y al fin pronuncio el Nombre que es la Clave,
La Puerta, el Eco, el Huesped yel Palacio...
[\[23\]](#)*

J. L. Borges, El Golem

На этот раз от ненависти к Абулафии, к его тупым приставааниям — «Есть у вас ключевое слово?» — я рявкнул: «Нет».

Экран вздрогнул и начал заполняться буквами, линиями, списками, излились хляби слов. Я взломал Абулафию.

Я так обезумел от своей победы, что даже не задумался: а почему Бельбо выбрал именно это слово? Теперь-то я понимаю почему и понимаю, что он в некую минуту озарения понял то, что понимаю теперь я. Но в четверг я думал только об одном: победа!

Я плясал, бил в ладоши, орал армейские песни. Когда наконец буря стихла, я скомандовал себе: марш в ванную и умыться. Потом приступил к печатанию последнего файла, который Бельбо кончил перед самым броском в Париж. Пока принтер похрюкивал, я взялся за бутерброды и налил себе еще виски.

Потом я прочел напечатанное, и содрогнулся, и стал мучительно решать: разоблачительный материал или бред безумца? Что я в сущности знал о Якопо Бельбо? Что я понял в нем за те два года, которые мы провели бок о бок, видясь ежедневно? В какой степени мог я верить дневнику человека, писавшего, по его же признанию, в исключительных обстоятельствах, одурманенного алкоголем, курением, страхом, три дня и три ночи отрезанного от всяких контактов со внешним миром?

Была уже ночь. Двадцать первое июня. Глаза слезились. С утра перед глазами маячил только экран и муравьиная мелкота точечной печати. Истинны или ложны догадки — в любом случае Бельбо

собирался позвонить на следующее утро. Значит, надо ждать его звонка. Кружилась голова.

Шатаясь, я переполз в спальню и улегся на чужую постель. Около восьми я пробудился от крепчайшего липкого сна и поначалу не мог понять, где нахожусь. Слава богу, в банке было немного кофе, я выпил две или три чашки. Телефон не звонил. Выйти за продуктами я не решался: вдруг Бельбо доберется до телефона именно в это время.

Я опять включил машину и стал печатать другие дискеты, в хронологическом порядке. Обнаружил игры, упражнения, рассказы о вещах, известных мне независимо. Увиденные глазами Бельбо, эти вещи рисовались в новом свете. Дневник, интимные записи, наброски и пробы пера, педантично каталогизированные — с педантизмом смирившегося неудачника. Я находил там портреты людей, которых знал, и их лица здесь приобретали совершенно другое выражение, очень трагическое; а может быть, трагическим было прочтение? Способ, которым я укладывал намеки, случайные кусочки в чудовищную мозаику?

Особенно меня поразил файл, состоящий из одних цитат. Они относились к чтениям недавнего времени, я узнавал каждую, о, сколько книг в этом духе прошло мимо нас с Бельбо за последние месяцы... Цитаты были пронумерованы: ровно сто двадцать. Число со значением. Или, если совпадение — странное совпадение. И почему Бельбо выбрал именно эти фразы?

Прошло несколько дней; сегодня без помощи этого файла я уже не мог бы объяснить ни писания Бельбо, ни ужасную историю, в которой участвуем мы все. Я перебираю цитаты, как бусины богохульных четок, и чем дальше, тем яснее вижу, что многие из них могли бы прозвучать для Бельбо сигнальным звоночком, указать путь спасения.

А может быть, дело во мне? Может быть, это я не способен отличить логику от буйного бреда? Я все твержу, что именно моя версия — правильная, но не далее как несколько часов назад — именно мне, а не Бельбо — было сказано: вы ненормальный.

Луна неторопливо восходит над горизонтом, за Брикко. Большой дом заселен кем-то шуршащим — видимо, сверчки, мыши... скелет дядинога врага Аделино Канепы... Мне страшно пересечь коридор, я сижу в кабинете дяди Карло, смотрю в окошко. Время от времени подхожу к балкону, чтобы проверить, не поднимается ли кто-то по

склону горы. Я чувствую себя как в кино, какая тоска: «Сейчас они появятся...»

Но гора спокойна в сиянии летней ночи.

Насколько же более беззаветна, лиха, весела была моя гипотеза, выработанная в тот вечер, с пяти до десяти, чтобы обмануть время и спасти жизнь, — как я вил цепочки догадок, притаившись в перископе, потапывая затекающими ногами в ритме афро-бразильской пляски!

Передумать все недавние годы, отдаваясь мерному перестукиванию «атабаке»... Чтобы свыкнуться с мыслью о том, что наши фантазии, разыгранные как в механическом балете, ныне, в этом храме механики, пресуществятся в ритуал, в обладание, в богоявление и во владычество бога Эшу?

Тогда в перископе у меня еще не было доказательств, что рассказанное компьютером — правда. Я мог еще защищаться сомнением. К полуночи следовало бы, наверно, признать как безусловный факт, что я прискакал в Париж, затаился, яко тать, в невиннейшем техническом музее, словом — наделал кучу глупостей только потому, что поддался на простую приманку — макумбу для туристов, дал себя одурманить ароматами «перфумадорес», ритмами «понтос»...

Скептицизм, сострадание, подозрительность поочередно правили моими воспоминаниями, складывали мозаику, и это состояние духа, раздираемого между обаянием интриги и предощущением капкана, я бы хотел сохранить в себе и сегодня, когда на значительно более свежую голову передумываю то, о чем думал ночью в музее, и снова возвращаюсь к документам, лихорадочно читанным перед этим, и тогда утром в аэропорту, и во время перелета в Париж.

Я пытался объяснить хотя бы сам себе ту безответственность, с которой мы — я, Бельбо и Диоталлеви — осмелились переписывать мироздание и, как выразился бы Диоталлеви, переоткрывать те части Книги, что напечатлены пламенем белым, то есть пробелы, оставленные саранчю черного пламени, населяющей — и изъясняющей — Тору.

Теперь, когда я здесь, когда достиг — надеюсь — спокойствия и *amor fati*,^[24] я могу начать историю, которую пытался выстроить в тревоге и в надежде — ах, скорее всего, обманной! — два вечера назад в перископе, историю, прочитанную за два дня до того в квартире

Якопо Бельбо и прожитую мною самим, не всегда сознавая это, в течение последних двенадцати лет на фоне стойки «Пилада» и запыленных стеллажей «Гарамона».

БИНА

Не ждите слишком многого от конца света.

*Станислав Ежи Лец, Афоризмы, фразы.
«Непричесанные мысли»*

*/Stanislaw J. Lec, Aforysmy, Fraszki Krakow,
Wydawnictwo Licrackie, 1977, «Mysli
Nieuczesane»/*

Поступить в университет через два года после шестьдесят восьмого — было таким же невезеньем, как в академию Сен-Сир в девяносто третьем. Основное ощущение — что ты опоздал родиться. Хотя Якопо Бельбо, будучи на пятнадцать лет старше меня, впоследствии уверял, что это чувство свойственно каждому поколению. Все всегда рождаются не под своей звездой, и единственная возможность жить по-человечески — это ежедневно корректировать свой гороскоп.

По-моему, наибольшее воспитательное значение для ребенка имеет то, что он слышит от родителей, когда они его не воспитывают; роль второстепенного огромна. Мне было десять лет, я хотел, чтоб родители подписали меня на журнал, где печатались знаменитые литературные произведения в виде комиксов. Не по скупости, а из недоверия к комиксам мой папа мялся и выжидал.

— Цель этого органа, — произнес я тогда, будучи мальчиком велеречивым и хитрым и цитируя рекламный проспект, — распространение знаний в легкодоступной форме.

— Цель этого органа, — отвечал отец, не подымая глаз от газеты, — та же, что у остальных, — увеличить тираж. С этого дня я стал Фомой недоверчивым.

То есть я пожалел, что когда-либо бывал доверчив. Что поддавался одной из страстей разума. Доверчивость — это страсть.

Недоверчивый Фома не то чтобы не верит ни во что: он верит не во все. Он верит в первое, а во второе — лишь в той мере, в которой оно вытекает из первого. Недоверчивый близорук, методичен, далеко

не загадывает. Если даны две взаимопротиворечащие вещи, верить и в ту, и в другую, предполагая гипотетическую третью, которая их объединяет, — это уже доверчивость.

Недоверчивость не исключает любопытства. Наоборот. Я мог не верить в сочленение идей, но ценил многоголосие идей. Достаточно не верить ни во что — и две идеи, равно неверные, дают вам возможность совместить их посредством хорошего интервала и сотворить *diabolus in musica*. Я не уважал идеи, за которые требовалось класть жизнь, но из двух или трех не уважаемых мною идей можно было образовать чудную мелодию. Или чудесный ритм, лучше всего джазовый. Пройдут годы, и Лия мне скажет:

— Ты живешь поверхностностями. Твоя глубина — это напластование множества поверхностностей, такого множества, что они создают впечатление плотности, однако будь это настоящая плотность, ты бы не выдержал собственного веса.

— Значит, по-твоему, я поверхностен?

— Нет, — отвечала Лия. — Просто то, что обычно имеют в виду под глубиной, это тессеракт — четырехмерный куб. С одного боку входишь, из другого выходишь, и оказываешься в измерении, которое с твоим не сообщается.

(Лия, не знаю, суждено ли нам увидеться теперь, когда Они вошли не с того боку и заполонили твой мир, и виноват во всем я: это я убедил их, что там есть бездна — бездну-то они и ищут, в своей жалкости.)

О чем же я действительно думал пятнадцать лет назад? Убежденный, что не верю, я чувствовал вину перед теми, кто верил. Поскольку я ощущал, что правы они, я положил себе верить, как в других случаях полагается принимать аспирин. Вреда от него нет, а на душе становится легче.

Я оказался в гуще революции (как минимум, это была самая очаровательная из всех симуляций революции) именно потому, что приискивал себе порядочную веру. Я считал, что приличный человек обязан ходить на собрания, участвовать в уличных шествиях и манифестациях; я кричат, вместе со мне подобными «фашистские гады, буржуям нет пощады!» («*fascisti, borghesi, ancora pochi mesi!*») и не швырял порфириновых кубиков и металлических шаров только по той причине, что всегда опасался, как бы ближний не сделал мне того же,

что я делаю ближнему; однако испытывал невероятный внутренний подъем, улепетывая по узким улочкам центра от дышащих в затылок полицейских. Я возвращался домой с чувством выполненного долга. На собраниях мне не удавалось одушевиться групповой психологией; мешало подозрение, что достаточно одной правильно выбранной цитаты, чтобы из этой группы пришлось уходить в противоположную. Я этим и занимался про себя — подбирал цитаты. И так проводил время.

Поскольку в ходе вышеупомянутых уличных шествий я подстраивался то к одному, то к другому транспаранту, если там обозначалась девица, радовавшая взоры, я сделал вывод, что для многих моих товарищей по борьбе политическая деятельность является родом секса, а секс является страстью. Мне же хотелось до страсти не доходить и ограничиваться любопытством. Хотя, в то же время, занимаясь храмовниками-тамплиерами и многообразными половыми извращениями, которые приписывали им, я попал на цитату из Карпократы^[25] — насчет того, что чтобы быть свободным от тирании ангелов, захвативших наш космос, необходимо предаваться всяким непотребствам, освобождаясь тем самым от долговых обязательств перед универсумом и собственным телом, и что только таким путем душа способна отмежеваться от страстей и обрести первоначальную чистоту. Когда мы вырабатывали План, я обнаружил, что многие запойные заговорщики, чтобы добыть озарение, следуют этому рецепту. Однако Алейстер Кроули, которого полагается считать самым извращенным человеком всех времен и всех народов и который для этого творил все возможное и невозможное с верующими обоих полов, имел, по свидетельству биографов, только очень некрасивых женщин (думаю, что и мужчины, судя по тому, что они писали, были не лучше), и у меня есть сильное подозрение, что он ни разу не занимался любовью по полной программе.

Должна существовать связь между волей к власти и половым бессилием. Маркс симпатичен мне: чувствуется, что он и его Женни занимались любовью с энтузиазмом. Это ощущается по умиротворенности его стиля и по неизменному юмору. В то же время, как я заметил однажды в коридоре университета, если спать с Надеждой Константиновной Крупской, человек потом с железной неотвратимостью напишет что-то жуткое, типа «Материализма и

эмпириокритицизма». Мне пригрозили чугунной дубиной и заклеили фашистом. Меня клеймил длинный парень с татарскими усами. Я его прекрасно помню. Сейчас он стал бритоголовым, живет в коммуне, они зарабатывают плетением корзин.

Я реконструирую нравы того времени только для того, чтобы описать, с каким внутренним багажом я предстал перед коллективом «Гарамона» и завел дружбу с Якопо Бельбо. Я был из тех, кто принимает участие в беседах о смысле жизни лишь для того, чтоб быть готовым править верстку на эту тему. Я полагал, что основная проблема, связанная с изречением «Аз есмь СЫЙ»,^[26] состоит в соотношении прописных и строчных букв.

Поэтому политический выбор я сделал в пользу филологии. Миланский университет в те годы был единственным в своем роде. В то время как во всей остальной стране захватывали аудитории и нападали на профессоров, требуя, чтобы они участвовали в пролетарской науке, у нас, за исключением мелких эксцессов, соблюдалась конвенция, иными словами, был проведен территориальный раздел мира. Революция проходила во дворах, в актовом зале и главных коридорах, а официальная культура гнездилась в безопасном и тихом месте — во внутренних коридорах и на верхних этажах, и там продолжала существовать точно так, как будто никакой революции не было.

Я проводил утра внизу, судача о пролетарской науке, а вечера — наверху, наторев в аристократических умствованиях, замечательно освоился в параллельных мирах и не ощущал ни малейшего раздвоения. Я, как и все, считал, что мир стоит на пороге справедливого общества, но при этом полагал, что в справедливом обществе должны будут действовать (и эффективнее, чем в предыдущем), к примеру, железные дороги. Однако окружавшие меня санкюлоты вовсе не учились загружать уголь в топку, подсовывать башмаки и согласовывать расписание. Кого они собирались приставлять к поездам — непонятно.

Не без некоторого смущения я ощущал себя маленьком Сталиным, который усмехается в усы и думает: «Давайте, давайте, большевички, я пока что поучусь в тифлисской семинарии, все равно потом пятилетними планами буду заниматься лично я».

Непонятно отчего — по контрасту с утренним энтузиазмом? — во второй половине дня я отождествлял знание с недоверием. Поэтому хотелось изучать что-то такое, что позволило бы опереться на факты, в противовес утренним материям, которые можно было только брать на веру.

По причинам в высшей степени случайным я пристал к семинару по средневековью и начал писать диплом о судебном процессе по делу ордена тамплиеров. История тамплиеров очаровала меня с первой минуты, как только я увидел первый документ. В тот период, когда все были против властей, меня чистосердечно возмутило это стародавнее судопроизводство, мягко говоря, подтасованное от первого до последнего слова, в результате которого многие тамплиеры пошли на костер. Но кроме этого, я обнаружил, что в самом скором времени после того, как всех их отправили на костер, толпы Охотников за чудесам начали находить тамплиеров повсеместно, как правило, без единого доказательства. Эти визионерские излишества бесили мою недоверчивую натуру, и я решил не терять время на охотников за чудесами, ограничив свой материал только документами эпохи. Храмовники-тамплиеры — для меня это понятие охватывало конкретный монашеско-рыцарский орден, существовавший постольку, поскольку он был признан церковью. Когда же церковь его распустила, а это она сделала около семисот лет назад, тамплиеры больше не могли существовать, а те, кто существовал, не были тамплиерами. По этому принципу я выписал около сотни книг, однако в конце концов прочитал только тридцать.

Мои отношения с Якопо Бельбо завязались именно благодаря тамплиерам, в баре «Пилад», в эпоху, когда я сочинял свой диплом, в самом конце тысяча девятьсот семьдесят второго года.

Пришедший от света и от богов, вот я в изгнании, отделенный от них.

Фрагмент Турфа'н М7

Бар «Пилад» в те далекие времена являл собою порто-франко, галактическую таверну, в которой пришельцы с Офиука, осаждавшие в те времена Землю, встречались совершенно беспрепятственно с людьми Империи, охранявшими пояса ван Аллена.^[27] Это был старый бар около канала, со стойками из цинка, бильярдом и всеми трамвайщиками и ремесленниками района, собиравшимися по утрам для приема первой порции беленького. В шестьдесят восьмом и в последующие годы «Пилад» превратился в «Рикс Бар», где активист студсовета играл в карты с журналистом, прислужником желтой прессы, только что подписавшим передовицу и явившимся за своим законным «виски-беби», в то время как первые грузовики разъезжались по городу развозить капиталистическую пропаганду. У Пилада почему-то все акулы пера объявляли себя эксплуатируемыми пролетариями, производителями прибавочной стоимости, прикованными к идеологическому конвейеру. Студенты жалели и прощали их.

От одиннадцати вечера до двух утра — это было время издательских работников, архитекторов, хроникеров, мечтавших дорости до отдела культуры, художников из Бреры, сочинителей средней Талантливости и дипломников вроде меня.

Минимальная степень алкогольного опьянения являлась обязательной, и старичок Пилад, продолжая держать бутылки крестьянского белого для трамвайщиков и аристократов, учел новый контингент, уничтожил как класс лимонад и портвейн и завел у себя марочные игристые вина для демократических интеллектуалов и виски для революционеров. На примере пиладовских виски, я берусь проследить развитие политической истории с тех пор и до нашего времени с хронологической привязкой сначала — к красной этикетке

«Джонни Уокера», потом — к «Баллантайну» двенадцатилетней выдержки и, наконец, — к мальто.

С появлением новой публики Пилад не тронул старого бильярда, на котором теперь художники с трамвайщиками играли в кегли, однако установил еще и флиппер.

Когда играл я, шарик жил так недолго, что, можно сказать, совсем не жил. Я считал, что виной тому рассеянность, неловкость — но настоящую причину я понял значительно позднее, когда увидел, как играет Лоренца Пеллегрини. Сначала я не заметил Лоренцу, но потом не мог не обратить на нее внимания, проследивши за взглядом моего друга Якопо Бельбо.

Бельбо в баре обычно имел такой вид, будто впервые вошел минуту назад, между тем он обитал там уже не менее десяти лет. Иногда он участвовал в разговорах как у стойки, так и за столиками, однако почти всегда подавал не более двух реплик, охлаждавших любой энтузиазм, чем бы энтузиазм ни был вызван. Для замораживания собеседника использовалась специальная техника вопроса. Некто рассказывал нечто, занимая внимание публики, а потом Бельбо подымал свои водянистые очи, донельзя рассеянные, держа бокал где-то на бедре, как будто он давно о нем позабыл, и в такт вежливо переспрашивал: «И на самом деле это случилось?» или «И он действительно так сказал?» Не могу точно объяснить механику, но после двух подобных вопросов кто угодно начинал сомневаться в сообщаемой информации, в первую очередь рассказчик. Возможно, дело в пьемонтском выговоре, из-за которого утвердительная интонация звучала как вопросительная, а вопросительная как издевательская. Безусловно пьемонтской была у Бельбо эта манера держаться, не встречаясь взглядом с собеседником, но и не отводя глаза. Взгляд Бельбо не устранился от диалога. Он попросту прогуливался по пространству и отыскивал точку конвергенции параллельных, которая до тех пор не ощущалась как таковая, благодаря чему у вас появлялось чувство, будто все предыдущее время вы тупо пялились в то единственное место, которое не имеет никакого значения.

Бельбо работал не только взглядом. Он мог и жестом, и одним междометием отправить вас куда угодно. К примеру: предположим, вы пытаетесь убедить свой столик, что Кант произвел коперникианский

переворот в философии нового времени, и многие надежды возлагаете на успех этого выступления. Бельбо, сидящий против вас, в какой-то момент начинает разглядывать ногти или колено или прикрывает усталые веки, на устах показывается этрусская улыбка; или он замирает на секунду с разинутым ртом, глаза в потолок, а потом шелестит самым ласковым шепотком: «Вот чего мы не ждали бы от Канта...» Если же вами описывался де-факто сокрушитель системы трансцендентального идеализма, Бельбо переспрашивал: «Он действительно был такой буйный?» Потом великодушно взирал на вас, как будто вы, а вовсе не он, развалили все обаяние теории, и говорил: «Интересно, интересно. Я вас перебил, извините. В этом что-то есть... Определенно. Большой фантазии был человек...»

Периодически, когда он сильно бесился, он проявлял себя беспардонно. Поскольку единственным, что могло его взбесить, была беспардонность ближнего, его собственная ответная беспардонность носила внутренний, частный характер. Он закатывал глаза, качал головой и произносил вполголоса: «Вынул бы пробку». Кому же был неизвестен смысл этого пьемонтского выражения, он мог и объяснить: «Надо иногда вынимать пробку. Чтобы избежать взрыва. Надутый человек находится в опасности. Вытащив пробку из зада, п-ш-ш-ш, вы возвращаетесь в натуральное состояние».

Подобные реплики подчеркивали тщету всего, и я очаровывался. Однако извлекал ложные выводы. В ту пору фразочки Бельбо мне казались образцом высшего презрения к банальности чужих истин.

Только теперь, после того как я взломал, вместе с секретом Абулафии, секрет психологии Бельбо, я вижу: то, что я принимал за высшую трезвость и что считал принципом жизни, было проявлением подавленности. Депрессивным интеллектуальным либертинажем он маскировал неутоленную жажду абсолюта. Это было трудно уловить с первого взгляда, потому что в Бельбо моменты бегства, колебания, отчужденности компенсировались моментами безудержной говорливости, когда он, в экстазе от собственного неверия, создавал альтернативные абсолюты. Это было, когда он вдвоем с Диоталлеви выдумывал учебники невозможного, миры навыворот, библиографические тератологии. И видя его энтузиазм, страсть, с которой строил он свою раблезианскую Сорбонну, невозможно было

догадаться, насколько болезненно переживал он свой уход с факультета теологии — на этот раз с настоящего.

Я только потом понял, что я-то вычеркнул из своей жизни адрес этого факультета, а он не вычеркнул, а потерял, и это не давало ему покоя.

Среди файлов Абулафии я обнаружил много страниц псевдодневника, который Бельбо доверил дискетам, убежденный, что они не выдадут его и не развенчают настойчиво создаваемый им образ обыкновенного наблюдателя. Некоторые были датированы давними годами. Ясно, что Бельбо переписал в компьютер старые заметки — то ли просто так, из сентиментального чувства, то ли собираясь их как-то литературно обработать. Другие отрывки относились к последним нескольким годам, когда он уже познакомился с верным Абу. Бельбо писал ради механического упражнения, ради одинокой «работы над ошибками», уверяя себя, что не «творит» и не имеет никакого отношения к творчеству, так как творчество, даже когда порождает ошибку, всегда диктуется любовью к кому-то, кто не является нами. Однако Бельбо, сам того не зная, обходил сферу с другой стороны и приходил в ту же точку. Он творил, хотя лучше бы было ему не творить; и в этом берет начало его любовь к Плану — именно из потребности написать Книгу, пусть даже состоящую из только — исключительно и всецело — намеренных ошибок. Кувыркаясь в своей пустоте, вы можете убеждать себя, будто состоите в общении с Единым; но как только вы начали возиться с глиной, пускай даже электронной, вы — демиург, и от этого никуда не деться, а кто собирается сотворить мир, тот неизбежно уже запятнан и ошибками и злом...

*Имя файла: Три донны к сердцу подступили
вместе^[28].*

Вот так вот:

toutes les femmes que j'al rencontrues
se dressent aux horizons
— avec les gestes piteux et les regards tristes

des sumaphores sous la pluie... [29]

Бери повыше, Бельбо. Первая любовь — Пречистая Дева. Мама держит меня на коленях и укачивает, хотя я уже вышел из возраста колыбельных, но все равно прошу ее, чтоб она мне пела, потому что люблю ее голос и запах лаванды от ее груди: «О царица в эмпиреях — ты, чистейшая, святая, — славься, дева, славься, мать, — мать господа Христа».

Итак, первая жена в моей жизни была не моей, как, с другой стороны, следует заметить, не была и ничьей, по определению. Первым делом я влюбился в единственную жену, способную целиком и полностью обходиться без меня.

Потом была Марилена (Мерилена? Мэри-Лена?). Лирически описать сумерки, золотые пряди, голубой бант. Я, вытянувшийся по струнке, задравши нос, перед скамейкой, — она, прогуливающаяся по верху спинки, раскинув руки, чтобы регулировать колебания (обольстительные экстрасистолы). Юбочка легонько колыхнется вокруг розовых ног. Высота, недоступность.

Наплыв: тот же вечер, мама, присыпающая борotalьком розовые округлости моей сестры. Я спрашиваю, когда у сестры наконец отрастет пистолетик, и мне сообщается в ответ, что у девочек ничего не отрастает, они так и живут без этого. В тот же миг у меня перед глазами снова Мэри-Лена, белизна ее белья, видного под куполом голубой юбки, когда эта юбка развевалась, и я понимаю, что она белокура и надменна, потому что принадлежит к иному миру, с которым нет и не может быть никакого контакта, принадлежит к иной расе.

Третья жена сразу же низверглась в пропасть, где погребена. Только что она усопла во сне, бледненькая Офелия в цветах, в своем девическом гробе, и священник вычитывает над нею поминальную молитву, как вдруг она столбом встает над катафалком, насупленная, белая, мстительная, воздев перст, пещерным голосом: «Отче, не молись за меня. Этой ночью, до сна, я зачала нечистый помысел, единственный в моей жизни, и посему я — душа проклятая». Надо найти учебник, который я зубрил перед первым причастием. Была в нем картинка или все это — целиком моя фантазия? Разумеется,

нечистая мысль перед смертью отроковицы относилась ко мне, нечистый помысел — был я, нечисто мысливший о Мэри-Лене, неприкосновенной, иного бо назначения, рода. Я виновник ее проклятия, я виновник проклятия всех, кто проклят, и поделом мне, что не моими были три жены: это наказание за то, что я их желал.

Оставим первую, потому что она в раю, вторую, потому что она в чистилище грустно алчет мужественности, которая у нее не отрастет никогда, и третью, потому что она — в аду. Теологически закруглено. Так уже писал до меня один господин.

Но была еще Цецилия, и Цецилия никуда с нашей грешной земли не делась. О ней я помышлял засыпая, я поднимался на гору, я шел за молоком на ферму, а партизаны с противоположной горы открывали стрельбу по контрольно-пропускному пункту, и тут я приходил на помощь, я спасал Цецилию от своры черных полицаев, которые гнались за нею с автоматами наизготовку... Златоглавее Мэри-Лены, притягательнее гробовой отроковицы, чище и святее Пречистой Девы. Цецилия земная и доступная, чуть-чуть еще, и я мог бы заговорить с нею, я был убежден, что она способна полюбить существо моей породы, тем более что она уже любила такое существо, именовавшееся Папи, с белыми всклокоченными волосами на крошечном черепе, годом старше меня, и обладавшее саксофоном. У меня же не было и трубы. Я ни разу не видел их вместе, но ребята в классе шушукались, толкая друг друга локтями, подхихикивая, что эти двое «живут». Разумеется, они все выдумывали, эти крестьянские малолетки, похотливые, словно козы. Больше всего им хотелось уверить меня, что она (Она — Пресветлая Мэри Цецилия суженая и супруга) до такой степени доступна, что каждый, кто угодно, может сблизиться с нею. Исключая, и в данном случае — в четвертом по очереди, — исключая меня.

Пишут ли романы о подобных вещах? Может быть, надо писать, наоборот, о тех женщинах, которых я избегаю, потому что их я мог иметь? Или мог бы. Иметь. Или первое и второе — стороны одной медали?

В общем, когда неизвестно даже о чем писать, лучше редактировать труды по философии.

И в его деснице труба золотая.

*Иоганн Валентин Андреаэ, Алхимическое
бракосочетание Христиана Розенкрейца*

*/Johann Valentin Andreae, Die Chymische
Hochzeit des Christian
Rosencreutz, Strassburg, Zetzner, 1616./*

В этом файле примечательно упоминание трубы. Позавчера, сидя в перископе, я еще не понимал, до чего это важно. Тогда я располагал только одним контекстом, довольно бледным, маргинальным.

...В долгие гарамонтские вечера, бывало, Бельбо, замученный рукописью, подымал глаза от бумаги и начинал говорить, а я слушал, перетасовывая дряхлые офорты Всемирной выставки в макете очередной книги, — он импровизировал на вольную тему, но мгновенно захлопывал раковину при малейшем подозрении, что его могут принять всерьез. Имели место воспоминания прошлого, но единственно в басенной функции: иллюстрации того, как не следует поступать.

— Конец наш приходит, — пробормотал он однажды.

— Закат Европы?

— Да пусть закатывается... Нет, я насчет пишущих масс. Третья рукопись за неделю. Одна о византийском праве, другая о *Finis Austria*^[30] и третья о порнографических сонетах Баффо.^[31] Казалось бы, разные вещи, вы не находите?

— Нахожу.

— Ну вот, а во всех трех рассуждается о терминах Желания и Предмета Любви. Великая сила мода. Я еще понимаю Баффо, но византийское право...

— Киньте в корзину.

— Да нет, все это печатается за счет Центра научных исследований, и вообще не так уж плохо. В крайнем случае позвоню

всем по очереди и спрошу, согласны ли они расстаться с этими абзацами. В их же интересах.

— А как он вставил предмет любви в византийское право?

— Нашел как вставить. Как вы понимаете, если в византийском праве и был предмет любви, он был не тот, который думает автор. Предмет любви всегда не тот.

— Что значит не тот?

— Не тот, какой думают. Когда-то, в возрасте не то пяти не то шести лет, мне приснилась труба. Златая. В общем, один из тех снов, в которых будто мед бежит по жилам — что-то вроде ночной поллюции до достижения половой зрелости. Полагаю, что ни разу впоследствии в жизни я уже не был так счастлив. Никогда. Разумеется, после пробуждения я осознал отсутствие трубы и стал реветь, как теленок. Проплакал весь день. Что я могу сказать? Наверно, действительно до войны, а это было в тридцать восьмом, мир был очень нищ. Потому что сегодня, если бы у меня был сын и я увидел его в такой печали, я сказал бы ему: пошли, купим тебе трубу, какую пожелаешь. В конце концов речь шла об игрушке, сколько уж там она могла стоить. Но у моих родителей и в мыслях такого не было. К деньгам относились с серьезностью. И с той же серьезностью внушали чадам: не все, что захочется, можно получить. Вот я, например, не люблю капустный суп — ну что в этом преступного, боже мой, разваренную капусту я в рот взять не могу... Но в ответ не говорилось: дело твое, живи сегодня без супа, съешь второе (а мы жили не бедно, у нас каждый день было первое, второе и компот). Но не на тех напали, никаких капризов, ешь, что дают. Единственное, на что они соглашались в порядке компромисса — это чтобы бабушка вытащила водоросли из моей тарелки, и она тянула их, нитку за ниткой, червяка за червяком, соплю за соплей, и я должен был глотать этот разминированный суп, еще более мерзкий, чем раньше, — однако даже и такие послабления мой папа весьма не одобрял.

— А труба? Он посмотрел на меня с подозрением.

— Почему вам надо знать про трубу?

— Мне ничего не надо. Это вы заговорили про трубу, что-то про предмет любви, что он всегда не тот.

— Труба. Должны были приехать дядя и тетя из ***. У них детей не было, я был любимый племянник. Они узнали, что я оплакиваю эту

призрачную трубу, и сказали, что берутся все уладить. Что завтра мы пойдем в торговый центр, где есть целый прилавок игрушек, и я выберу трубу, какую захочется. Ночь я не спал, все утро следующего дня тряся. Наконец мы пошли в универмаг и там были трубы как минимум трех конфигураций. Латунная штамповка — но мне они казались кипящей медию земли обетованной. Там был походный горн, тромбон с раздвижной кулисой и некая псевдотруба, потому что у нее был раструб и она была золотая, но с клавишами от саксофона. Я не знал, какую выбрать, потратил много времени — в этом была, видимо, моя ошибка. Мне нравились все три, а им могло показаться, что ни одна не нравится. Тем временем, скорее всего, дядя и тетя посмотрели на ценники. Они были не жадные, однако, вероятно, они поняли, что есть вещь и подешевле — кларнет из бакелита, черный, с серебряными клапанами. «Может быть, тебе это хочется?» — спросили они, указывая на кларнет. Я попробовал кларнет, он блял как положено кларнету, я попытался внушить себе, что кларнет — это то, что надо, а в это время мой мозг работал на высоких скоростях и приходил к выводу, что дядя и тетя уламывают меня на кларнет, потому что он дешевле, труба же, как я начинал думать, стоила целое состояние и я не мог требовать от дяди и тети такой жертвы. Меня всегда учили, что когда тебе предлагают что-то хорошее, надо сразу ответить «спасибо, нет», и даже не один раз, не тянуть руку сразу вслед за «нет», а дожидаться, чтобы даритель настоял, сказал: пожалуйста, возьми, доставь мне удовольствие. Только после этого благовоспитанный ребенок сдается. Поэтому я сказал, что, наверно, мне не так уж и хотелось трубу. Что, наверно, кларнет тоже хорош, если им так кажется. И снизу заглянул им в лицо, надеясь, что они переспросят. Они не переспросили. Царствие им небесное. Они были просто счастливы, что могут подарить мне кларнет, раз уж — сказали они — мне именно кларнета так хотелось. Пути обратно не было. Мне купили кларнет. Он глянул на меня с подозрением:

— Хотите знать, снилась ли мне потом опять труба?

— Нет, — сказал я. — Хочу знать, кто был предметом любви.

— А, — отозвался он, снова берясь перелистывать рукопись. — Видите, вот и вы зациклены на этом предмете любви. В данных вопросах обычно все врут как могут. Да... Ну а если бы мне купили трубу? Был бы я на самом деле счастлив? Что вы скажете, Казобон?

— Вам бы приснился кларнет.

— Нет, — сухо сказал он. — Кларнетом я только владел. Ни разу не играл.

— Кларнеты детям не игрушка...

— Я на кларнете не играл, — отчеканил он, и я почувствовал себя паяцем.

*И наконец, не иное выводится каббалистически из *vinum*, как *VIS NUMerorum* (сила чисел), от которых и зависит сказанная Магия.*

Цезарь дела Ривьера, Магический мир Героев.

/Cesare della Riviera, Il mondo magico degli Eroi Mantova, Osanna, 1603, pp. 65–66/

Но я говорил о первой встрече с Бельбо. Мы виделись и раньше, перекидывались репликами в пиладовском баре, знал я о нем мало — только что он работал в «Гарамоне», книги этого издательства я читал в университете. Издательство маленькое, серьезное. Юноше, трудящемуся над дипломной работой, обычно импонирует знакомство с сотрудником престижного издательства.

— А вы чем занимаетесь? — спросил он однажды вечером, притиснутый рядом со мной к дальнему углу цинковой стойки Пилада в жуткой давке по случаю праздничного нашествия посетителей. В ту эпоху все обращались друг к другу на ты, студенты к преподавателям и преподаватели к студентам. Что уж говорить об аборигенах «Пилада». — Закажи и мне выпивку, — бросал студент в битловке главному редактору крупной газеты. Похоже было на Петербург молодости Шкловского. Одни Маяковские и ни одного Живаго. Бельбо не сопротивлялся общепринятому «ты», однако было ясно, что для него это синоним всего самого отвратительного. Он принимал игру в «ты», как бы чтобы продемонстрировать, что отвечает на хамство хамством, но что при этом имеется пропасть между дружбой и амикошонством. Настоящее «ты», которое, как в старину, выражало дружбу либо любовь, на моей памяти у него находилось для считанных людей. Для Диоталлеви и двух-трех женщин. К тем, кого он уважал, но знал не слишком давно, он обращался на «вы». Так он разговаривал и со мной все то время, что мы проработали вместе, и я гордился этой честью.

— А вы чем занимаетесь? — обратился он ко мне, и, как я теперь понимаю, это был знак высшей симпатии.

— В жизни или на этой сцене? — отозвался я, обводя взглядом пиладовские подмости.

— В жизни.

— Учусь.

— Ходите в университет или учитесь?

— Смешно сказать, но одно не всегда исключает второе. Я пишу диплом о тамплиерах.

— Ой, как нехорошо, — отозвался Бельбо. — Разве это не тема для сумасшедших?

— Почему? Сумасшедшими я как раз и занимаюсь. Они герои большинства документов. Вы что, соприкасались с этой темой?

— Я служу в издательстве, а в издательствах одна половина посетителей нормальные, другая — сумасшедшие. Задача редактора — классифицировать с первого взгляда. Кто начинает с тамплиеров, как правило, — псих.

— Можете не продолжать. Их имя легион. Однако не все безумцы начинают с тамплиеров. Как вам удастся опознавать прочих?

— Есть технология. Могу вас научить, как младшего товарища. Кстати говоря, как вас зовут?

— Казобон.

— А это не герой «Миддлмарч»? [\[32\]](#)

— Не знаю. В любом случае был такой филолог в эпоху Возрождения. Но он мне не родственник.

— Ладно, замнем. Выпьете еще что-нибудь? Еще две порции, Пилад. Спасибо. Итак. Люди делятся на кретинов, имбецилов, дураков и сумасшедших.

— Кто-нибудь остается?

— Я-то уж точно. Хотя и вас обижать не хочется. Если сформулировать точнее, любой человек подпадает под все категории по очереди. Каждый из нас периодически бывает кретином, имбецилом, дураком и психом. Исходя из этого, нормальный человек совмещает в разумной пропорции все эти компоненты, иначе говоря, идеальные типы.

— Идеальтупен.

— А. Вы и по-немецки можете.

— Приходится. Все библиографии по-немецки.

— В мои времена, кто знал немецкий, никогда не защищался. Так и проводил всю жизнь — зная немецкий. Теперь это, кажется, происходит с китаистами.

— Я не сильный спец в немецком. Так что не теряю надежды защититься. Но вернемся к вашей типологии. Что делать с гениями — с Эйнштейном, например?

— Гений — это тот, кто играет всегда на одном компоненте, но гениально, то есть питая его за счет всех остальных. — Он поднял свой стакан и к кому-то обратился: — Привет, красавица. Ты опять травилась?

— Нет, — отвечала прохожая. — Я теперь в коммуне.

— Молодец, — похвалил ее Бельбо и опять повернулся ко мне. — Что хорошо в коммуне. Отбивает любые желания.

— Вы говорили о сумасшедших.

— Надеюсь, вы не собираетесь уверовать в меня, как в бога. Я не открываю смысл жизни. Я говорю конкретно — о поведении умалишенного в издательстве. Это теория ad hoc, ^[33] договорились?

— Договорились. Теперь моя очередь платить.

— Валяйте. Пилад, пожалуйста, поменьше льда. Иначе я слишком быстро напьюсь. Так вот. Кретин лишен дара речи, он булькает, пускает слюни и не попадает мороженым в рот. Он входит в вертящуюся дверь с обратной стороны.

— Это невозможно.

— Ему — возможно. Исключаем кретина из круга интересующих феноменов. Кретин легко узнаваем и по издательствам не ходит. Отбросим.

— Отбросим.

— Имбецилу жить труднее. Подразумевается комплекс социального поведения. Имбецил — это тот, кто попадает пальцем в лужу.

— Пальцем в небо.

— Нет, пальцем в лужу. — И он погрузил палец в озерцо спиртного на буфетной стойке. — Когда хочет попасть в стакан. Рассуждает о содержании стакана, но так как в стакан не попал, в результате рассуждает о содержимом лужи. Попросту говоря, это

специалист по ляпсусам, он спрашивает, как здоровье супруги, как раз у кого сбежала жена. Я передал идею?

— Передали. Знакомый тип.

— Имбецилы очень ценны в светских ситуациях. Они конфузят всех, но находят неисчерпаемые поводы для разговоров. Один безвредный подвид имбецила часто выступает дипломатом. Он способен говорить только о луже, не о стакане, и поэтому если «гафф» совершили другие, имбецил автоматически переключает тему. Это удобно. Однако и он нас не интересуется, он не самостоятелен, его ставят только на подачу мячей, он рукописи по издательствам не носит. Имбецил не говорит, что кошки лают, он просто говорит о кошках, когда люди говорят о собаках. Он путается в светской беседе и когда обделается как следует — восхитителен. Это вымирающий вид, средоточие дивных буржуазных добродетелей. К нему требуется салон Вердюренов или даже Германтов. Нынешнему студенчеству знакомы эти фамилии?

— Что-то знакомое.

— Имбецил — это Жоашен Мюрат, выплясывающий на кровном жеребце перед офицерским строем. Вдруг он видит одного, в орденах, с Мартиники. «Вы негр?» — обращается к нему Мюрат. «Так точно, высокопревосходительство!» На что Мюрат: «Молодцом! Продолжайте, продолжайте!» Знаете эту байку? Прошу извинить, но сегодня я отмечаю исторический поворот моей судьбины. Я бросаю пить. Еще по одной? Не реагируйте, а то мне станет очень стыдно. Пилад!

— А дураки?

— Да. Специфика дурака затрагивает не сферу поведения, а сферу сознания. Дурак начинает с того, что собака домашнее животное и лает, и приходит к заключению, что коты тоже лают потому, что коты домашние... Или что все афиняне смертны, все обитатели Пирея смертны, следовательно, все обитатели Пирея афиняне.

— Что верно.

— По чистой случайности. Дурак способен прийти к правильному умозаключению, но ошибочным путем.

— А что, лучше приходить к ошибке, но рационально?

— Еще бы, а иначе зачем было делаться с таким трудом рациональными животными?

— Крупные человекообразные обезьяны произошли от низших форм жизни, люди происходят от низших форм жизни, следовательно, люди являются крупными человекообразными обезьянами.

— Для начала неплохо. Вы уже почти уверены, что есть какой-то логический сбой, но, конечно, вам надо еще поработать, чтобы понять, где... Дураки коварны. Имбецилы опознаются моментально, не говорю уж о кретинах, в то время как дураки рассуждают похоже на нас с вами, не считая легкого сдвига по фазе. От дурака редактору нет спасения, приход его, как правило, длится вечность. Дураки публикуются легко, потому что с первого наскока выглядят убедительно. Издательский редактор не стремится выявлять дураков. Если их не выявляет Академия наук, почему должен редактор?

— Философия тоже для дураков открыта. Онтологическое доказательство Святого Ансельма — глупость. Бог обязан существовать потому, что я могу вообразить его как существо, обладающее всеми совершенствами, в том числе существованием. Он перепутал существование представления с существованием сущности.

— Хотя не менее глупо опровержение Гонилон. Я вполне могу думать об острове в море даже если этого острова нет. Второй дурак перепутал представление случайности с представлением необходимости.

— Турнир дураков.

— Вот-вот, а Господь Бог рад до безумия. Он специально сделался невысказанным, только чтобы доказать, что Ансельм и Гонилон оба дураки. Ничего себе высшая цель творения. То есть я хочу сказать, того деяния, во славу коего Господь Бог сотворил себя. Отлов дураков в космическом масштабе.

— Мы окружены дураками.

— И спасения нет. Дураки все, кроме вас и меня. Ну не обижайтесь! Кроме вас одного.

— По-моему, здесь применима теорема Геделя.

— Не знаю, я кретин. Пилад! — Сейчас очередь моя.

— Ладно, ваша следующая. Эпименид Критский утверждает, что все критяне лгуны. Если это говорит критянин, и если он хорошо знает критян, он говорит правду.

— Еще одна глупость.

— Святой Павел, Послание к Титу. Пошли дальше. Все, кто полагает, что Эпименид — лгун, по логике должны доверять критянам, но сами критяне не доверяют критянам, следовательно, ни один обитатель Крита не думает, что Эпименид — лгун.

— Это глупость или не глупость?

— Как скажете. Я же говорю, что дурака идентифицировать трудно. Дурак свободно может взять Нобелевку.

— Тогда дайте подумать... Некоторые из тех, кто не верит, что Господь сотворил мир в течение семи дней, не являются фундаменталистами, но некоторые фундаменталисты верят, что — Господь сотворил мир в течение семи дней. Следовательно, ни один не верящий, будто Господь сотворил мир в течение семи дней, — фундаменталист. Это глупость или нет?

— Господи помилуй... Как раз тот случай. Не знаю. А вам как кажется?

— В любом случае глупость, даже если все так. Здесь нарушается основной закон силлогизмов. Нельзя выводить универсальные заключения из двух частных посылок.

— А если бы дураком оказались вы?

— Попал бы в большое и хорошее общество.

— Это верно, глупость нас окружает. И так как наши логики обратны, наша глупость — это их мудрость. Вся история логики сводится к выработыванию приемлемого понятия глупости. Она слишком грандиозна. Всякий крупный мыслитель — рупор глупости другого.

— Мысль как когерентная форма глупости.

— Нет. Глупость мысли есть некогерентность другой мысли.

— Глубоко. Уже два, Пилад хочет закрываться, а мы еще не дошли до сумасшедших.

— Сейчас дойдем. Сумасшедших опознавать нетрудно. Это дураки, но без свойственных дуракам навыков и приемов. Дурак умеет доказывать свои тезисы, у него есть логика, кособокая, но логика. Сумасшедшего же логика не интересует, по принципу бузины в огороде любой тезис подтверждает все остальные, зато имеется идея фикс, и все, что попадает под руку, идет в дело для ее проталкивания. Сумасшедшие узнаются по удивительной свободе от доказательств и

по внезапным озарениям. Так вот, вам может это показаться странным, но раньше или позже сумасшедшие кончают тамплиерами.

— Все?

— Нет, есть сумасшедшие без тамплиеров. Но которые с тамплиерами, опаснее. Сначала вы их не узнаете, вам кажется, что они говорят, как нормальные, но в одну прекрасную секунду... — Он потянулся было заказать еще виски, передумал и попросил счет. — Кстати к слову. О тамплиерах. Вчера там у нас один оставил очередную рукопись. По виду он именно сумасшедший, но, как говорится, с человеческим лицом. Угодно ознакомиться?

— С удовольствием. Может быть, найду что-нибудь полезное.

— Не думаю. Но если будет свободных полчаса, загляните к нам. Улица Синчero Ренато, 1. Мне это нужнее, чем вам. Вы мне скажете, есть ли смысл в этой рукописи или нет.

— Почему вы доверяете мне?

— С чего вы взяли, что доверяю? Когда придете, начну доверять. Я доверяю тем, кто проявляет интересы.

Вошел студент с взволнованным видом:

— Товарищи! Около канала показались фашисты с цепями!

— Где моя дубинка, — сказал тот парень с татарскими усиками, который грозился расправиться со мной за Ленина. — Пойдем со мной, товарищи! — и все поспешно вышли.

— Надо бы пойти? — шепнул я, снедаемый совестью.

— Не надо, — ответил Бельбо. — Это просто Пилад освобождает помещение. Так как сегодня первый вечер, что я бросаю пить, чувствую я себя погано. Должно быть, начинается ломка от воздержания. Все, что я вам говорил в течение вечера, включая и данное высказывание, является ложью и только ложью. Спокойной ночи.

Его бесплодие было безгранично. Оно доходило до экстаза.

Э. М. Сьоран. Дурной demiurge.

/E. M. Cioran. Le mauvais demiurge. Paris, Gallimard, 1969 Pensées étranglées/

В «Пиладе» я имел дело с «Бельбо для посторонних». Наблюдательный человек догадывался, что его сарказм идет от меланхолии. Непонятно, было ли все это маской, или, может быть, маской был другой вариант — дружеская доверительность. В сарказме «на публику» чувствовалась такая настоящая печаль, что ее трудно было замаскировать — и от себя самого — печалью напускною.

Читая этот файл, я нахожу в олитературенной форме все то, что на научном языке мы обсуждали на следующий день в «Гарамоне»: письмобоязнь в сочетании со страстью к письму и горечь редакторской работы — вечно пишешь от лица подставных лиц, и тоска по несбывшемуся творчеству, и интеллектуальная стыдливость, побуждавшая его казнить и грызть себя за то, что ему хотелось того, на что, по собственному мнению, он не имел права — казнить, выставляя это желание в смешном олеографическом свете. Никогда не видел, чтобы себя жалели с таким презрением.

Имя файла: Лимонадный Джо

Завтра повидать юного Чинти.

1. Монография удачная, новаторская. Чуть-чуть слишком академична.

2. В заключении. Сравнительный анализ Катутла, poetae novi^[34] и современного авангарда. Самое лучшее в тексте.

3. Не пустить ли как введение.

4. Постараться убедить. Он скажет, что в филологической серии эффектный зачин — научный руководитель не стерпит. Еще чего

доброе снимет свое предисловие. Поставить под вопрос карьеру. Гениальная идея, будучи на последней странице, пролетит безболезненно, а на первой притянет внимание и раздражит зубров.

5. Ответ. Но достаточно набрать это место курсивом, что-то вроде взгляда и нечто, отсоединить от ряда собственно исследовательского. Гипотеза останется гипотезой, без ущерба серьезности работы, а читатель сразу будет завоеван, увидит книгу в другой перспективе.

Если разобраться по совести — делаю я подарок этому парню или пишу его руками собственную книгу?

Изменять весь текст с помощью двух-трех поправок. Демиург на чужом горбу. Чем подготавливать сырую глину, мять и выделывать ее, — несколько легоньких щелчков по терракоте, из которой уже сформована статуя. Добавь последний штришок, дай разок молотком по голове, она превратится в Моисея, заговорит.

Должен зайти в издательство Уильям Ш.

— Просмотрел вашу вещь, очень, очень неплохо. Умело выстроено, есть напряжение, драматизм. Это у вас первый опыт?

— Нет, я вообще-то уже написал одну трагедию про двух любовников из Вероны, которые...

— Лучше поговорим о вашей новой работе. Я вот думаю, почему действие должно разворачиваться обязательно во Франции. А не в Дании, например? Условно говоря? Не так уж много пришлось бы менять. Два-три топонима. Замок Шалон-на-Марне превращается, ну скажем, в замок Эльсинор... Северный колорит, протестантство, витает тень Кьеркегора, такое, знаете, экзистенциальное напряжение...

— А может, вы и правы.

— Мне кажется так. Потом тут надо бы немножко пройтись по стилю. Чуть-чуть, несколько мелких поправок, вроде как делает парикмахер прежде чем приставить зеркало к затылку... Вот, к слову, призрак отца героя. Почему он выходит в конце? Я бы, откровенно говоря, выпустил его в начале. Так, чтобы отцовский дух постоянно потом присутствовал и влиял на поведение его сына, принца. Тогда будет яснее и конфликт с матерью.

— В этом что-то есть. И надо только одну сцену перенести.

— Вот именно. Наконец, вопрос стиля. Возьмем любой кусок на пробу, например, когда молодой герой выходит на просцениум и заводит это свое рассуждение насчет действия и бездействия.

«Действовать или нет? Вот что надо бы мне решить; сносить бесконечные нападки злобной судьбы...» Почему это только ему надо решить? Я сказал бы, в этом вообще состоит вопрос, понимаете, не его личная проблема, а основной вопрос экзистенции. Так сказать, выбор между бытием и небытием, быть или не быть...

Населяешь мир детищами, которые будут носить чужие фамилии, и никто не узнает, что они твои. Господь Бог в штатском. Ты Господь, ты гуляешь по городу и слушаешь, что о тебе толкуют. Господь да Господь, да какой замечательный мир ему удалось сработать, и какая смелая идея всемирное тяготение, и ты улыбаешься в усы, придется, видимо, ходить в накладной бороде, или нет, наоборот, без бороды, по бороде сразу догадаются, что, ты Господь Бог. Ты бормочешь себе под нос (солипсизм Господа — настоящая трагедия): «Так это же я и есть, а никто меня не знает». На улице тебя толкают, могут даже и послать подальше, а ты смущенно извиняешься, увертываешься и проходишь себе своей дорогой, на самом деле все-таки ты Бог, а это не шутки, по одному твоему чиху мир превратится в головешку. Но ты настолько всемогущ, что можешь себе позволить даже быть добрым. Роман о Господе Боге инкогнито. Никакой надежды. Раз пришло в голову мне, значит, уже пришло и еще кому-нибудь.

Другой вариант. Ты литератор, хороший или плохой — ты пока не знаешь. Любимая тебе изменила, жизнь перестала иметь смысл, и в некий день, ища забвения, ты грузишься на «Титаник» и терпишь крушение в южных морях. Ты единственный кто спасся, питаешься пеммиканом, тебя подобрала индейская пирога и долгие годы ты, неведомый миру, проводишь на острове в обществе одних папуасов, их девушки напевают тебе песни, которые слаще меда, и покачивают грудями, полуприкрытыми гирляндой из цветов пау. Ты прижился на острове, тебя называют Джо, как всех белых, девушка с кожей цвета янтаря приходит вечером к тебе в шалаш и говорит «я — ты — твоя». В общем это прекрасно — вечером на веранде вглядываться в небо, глядеть на Южный крест, голова у нее на коленях, ее ладони порхают над твоими волосами.

Ты живешь календарем рассветов и закатов и не ведаешь иного. Однажды появляется моторная лодка с голландским экипажем. От них ты узнаешь, что миновало десять лет. Они зовут тебя уехать с ними. Ты колеблешься, ты предпочитаешь заняться бартерным обменом кокосов

на мануфактуру, ты руководишь сбором лимонов и открываешь производство лимонада, даешь работу местным индейцам, начинаешь путешествовать с островка на островок, отныне ты сделался в этом мире Джо Лимонадом. Авантюрист португалец, полуразрушенный алкоголем, нанимается на работу к тебе и исправляется, о тебе теперь говорят повсюду в морях Зондского архипелага, ты становишься советником магараджи Брунея в его войне против речных даяков, тебе удается вернуть к жизни старую пушку времен Типпа Сагиба, ты заряжаешь ее железной мелочью, набираешь роту преданных малайцев с зубами почерневшими от бетеля, и в схватке около Кораллового рифа старый Сампан, с зубами почерневшими от бетеля, закрывает тебя собственным телом. — Я рад умереть за тебя, Лимонадный Джо. — Бедный старый Сампан, ты был настоящим другом.

Отныне ты знаменит на этом архипелаге от Суматры до Порт-о-Пренса, у тебя дела с англичанами, в порту Дарвин ты приписан под вымышленным именем Курц, и теперь ты для всех белых Курц и Лимонадный Джо для всех индейцев. Но в один прекрасный вечер, когда девушка тебя ласкает на веранде и Южный Крест сияет так ярко, как никогда до этого не сиял, — до чего он не похож на Медведицу, — ты понимаешь, что должен вернуться. Ненадолго, только чтобы посмотреть, что сохранилось от тебя в том, другом мире.

Ты доезжаешь до Манилы в своей моторной лодке, там тебя берут на вертолет, направляющийся в Бали. Потом Самоа, Адмиральские острова, Сингапур, Тананариве, Тимбукту, Алеппо, Самарканд, Бассора, Мальта — и ты дома.

Прошло восемнадцать лет. Жизнь тебя переменяла. Лицо загорело под пассатами и муссонами, ты возмужал, очень хорош собою. И вот ты возвращаешься на родину и видишь, что во всех книжных витринах выставлены твои книги, причем в академических изданиях, и твое имя выбито на фасаде старой школы, где тебя учили читать и писать. Ты Погибший Поэт, совесть поколения. Романтические девушки кончают с собою над твоей пустой гробницей.

А потом я встречу тебя, моя любовь, со многими морщинками у глаз, и лицо твое, все еще красивое, будет печальным от воспоминаний и от запоздалого раскаяния. Я чуть не задел, проходя, тебя на тротуаре, вот я здесь, в двух шагах, и ты посмотрела на меня так же, как глядишь ты на всех, выискивая в облике каждого встречного — тень того, кого

ищешь. Я заговорил бы с тобою, зачеркнул прошедшие годы. Но для чего мне это? Разве я не получил от жизни все, чего можно желать? Я — Бог, я равен Богу одиночеством, равен тщеславию, равен отчаянием из-за того, что сам не являюсь, как другие, моим созданием. Все живут в моем свете, а сам я живу в непереносимом сверкании моих сумерек.

Ступай, ступай же в мир, о Уильям Ш.! Ты знаменит, ты проходишь рядом со мной и меня не видишь, я бормочу себе под нос: Быть или не быть? и говорю себе: неплохо, Бельбо. Хорошо сработано. А ты валяй, старичок Уильям Ш., и получай что тебе причитается. Ты ведь только создал. А переделывал я.

Мы, рождающие чужими родами, как актеры, не имеем права лежать в освященной земле. Но грех лицедеев — что они внушают людям, как будто бы наш мир на самом деле устроен иначе. А мы внушаем людям, как будто наш мир бесконечен и бесконечны иные миры, и неограниченно количество возможных миров.

Как может быть жизнь такой щедрой, выдавать такую неоценимую награду — посредственности?

Sub umbra alarum tuarum, Iehova.^[35]
Fama Fraternitatis^[36].

*цит. по: Всеохватная и всеобщая Реформа
 всего целого Мира*

*/Allgemeine und general Reformation der
 ganzen weiten Welt Cassel, Wessel, 1614, fine/*

На следующий день я пошел в «Гарамон». Ворота дома номер один по улице Синчеро Ренато открывались в мусорную подворотню, за которою виднелся двор, а во дворе — мастерская по ремонту стульев. Направо подъезд с лифтом — экспонатом музея индустриальной археологии. От лифта изошло несколько подозрительных подрагиваний, и никакого движения вверх. Тогда благоразумия ради я поднялся пешком на два этажа по лестнице исключительно обрывистой, в этом смысле приближающейся к винтовой, и невероятно грязной. Как мне сказали впоследствии, господин Гарамон обожал помещение редакции, потому что оно напоминало ему парижские издательства. На площадке виднелась табличка «Издательство Гарамон А/О». Открытая дверь вела в холл: ни телефонистки, ни секретаря, однако войти было невозможно так, чтобы не быть замеченным из кабинетика напротив, и я немедленно был атакован человеческим существом, похожим на женщину, непонятного возраста и такого роста, который [1] принято называть «ниже среднего».

Она напала на меня на языке, который мне показался знакомым, через некоторое время я понял, что это итальянский, но из которого изъято почти сто процентов гласных. В ответ я сказал «Бельбо». После чего был оставлен подождать в коридоре, а затем бюстительница повела меня в дальний конец, Бельбо встретил меня радостно. — А, так вы серьезный человек. Проходите. — Меня усадили напротив его

стола, такого же дряхлого, как и вся обстановка, и так же заваленного папками, как стеллажи по стенам.

— Вас не напугала Гудрун, — сказал он.

— Гудрун? Эта мадам из коридора?

— Мадемуазель. На самом деле она не Гудрун. Мы ее так зовем за брунгильдистость и тевтонский акцент. Она синтезирует большинство морфем и экономит на гласных. Но у нее есть чувство симметрии. Когда пишет на машинке, экономит на согласных.

— Что она у вас делает?

— К сожалению, все. В каждом издательстве должно быть лицо абсолютно незаменимое, которое одно в состоянии найти вещи в том бардаке, который само творит. При этом хотя бы, когда теряется рукопись, понятно, на кого орать.

— Она еще и рукописи теряет?

— Все теряют. Во всех издательствах теряют рукописи. Я думаю, это основное, что с ними делают в издательствах. Поэтому нужен козел отпущения. Я огорчен только тем, что она теряет не те. Это вредит процессу, который мой друг Бэкон называл the advancement of learning. [\[37\]](#)

— А куда ж они теряются?

Бельбо в ответ развел руками: — Прошу прощения, вопрос какой-то странный. Если бы знали куда, их бы находили.

— Логично, — отвечал я. — А кстати. Издания «Гарамона» подготовлены так тщательно, и книги выходят непрерывно. Сколько человек у вас в редакции? Вы много даете делать на сторону?

— Насчет сколько человек. Напротив через коридор технический отдел. За стеной сидит мой коллега Диоталлеви. Он занимается учебниками, всяким долгостроем, тем, что долго делают и долго продают, то есть что теоретически остается в продаже всегда. Научную серию всю делаю я. Но вы не думайте, это не так уж неподъемно. Нет, конечно, с некоторыми книгами приходится сильно возиться, рукописи надо читать, но в основном это все товар надежный и с бюджетной и с научной точки зрения. Публикации института имени Такого-то, материалы конференций,готавливаемые и финансируемые университетами. Если автор начинающий, научный руководитель дает к нему предисловие и ответственность вся на научном руководителе. Автор правит верстки, первую и вторую, сверяет все цитаты,

примечания, и все это бесплатно. Потом книгу выставляют в магазинах, продают за несколько лет от тысячи до двух тысяч экземпляров, покрывают расходы... Все спокойно, все идет в актив.

— А вы что же делаете?

— Да немало. Прежде всего — надо их отбирать. Кроме того, есть еще книги, которые мы публикуем от себя, как правило, это переводные престижные книги, чтобы держать марку. Наконец, самотек, то, что приносят никому не известные люди. Это, как правило, несъедобно, но всякий раз лучше посмотреть, не судить заранее.

— Вам нравится эта работа?

— Не то чтобы нравится. Это единственное, что я хорошо умею. Разговор был оборван появлением человека лет сорока, одетого в пиджак с чужого плеча, с белесыми редкими волосами, которые свисали у него на лоб поверх таких же блондинистых бровей. Говорил он нежным голосом, как обычно разговаривают с детьми.

— Тяжелый случай этот Спутник Налогоплательщика. Его надо целиком переписывать, нет сил. Не помешал?

— Это Диоталлеви, — сказал Бельбо, и мы познакомились.

— А, пришли читать тамплиеров? Несчастный человек. Слушай, я предлагаю. Цыганская урбанистика.

— Какая прелесть, — с восхищением сказал Бельбо. — А я думал об ацтекском коневодстве.

— Чудесно. А куда — в супосекцию или в несусветную?

— Погоди, — ответил Бельбо, порылся в ящике и достал оттуда листки. — Супосекция, — разъяснил он, видя мой удивленный взгляд, — как легко понять, это технология нарезания супа. Так ведь дело-то в том, — продолжил он, обращаясь к Диоталлеви, — что супосекция это не подсекция, а одна из наук наряду с механической предкоавгурацией или же с пилокатавасией, все это — на факультете какопрагмософии.

— Какопраг... — пробормотал я.

— Неприкладного умствования. На этом факультете студенты получают многие неприменимые знания и умения. Так, механическая предкоавгурация есть конструирование автоматов для поздравления дядей и тетей. Можно автоматически поздравить готтентотенпотентатенаттентейторстанте. Тетушку человека,

покушавшегося на вождя готтентотов... Мы вот с коллегой еще не решили, оставлять ли в учебном плане пилочкатавасию, то есть искусство быть на волосок от. Это, может быть, не совсем ненужно.

— Ну пожалуйста, ну очень прошу, еще немножко, — клянчил я в восхищении.

— Дело в том, что мы с Диоталлеви планируем обновление науки. Организуется университет сравнительных ненужностей, где изучаются науки либо ненужные, либо невозможные. Цель учебного заведения — подготовка кадров, способных открывать и исследовать как можно большее количество новых ненужных научных проблем — НННП.

— Сколько же там факультетов?

— Пока что четыре, но они могут объять все неинтеллигибельное. Факультет какопрагмософии проводит подготовительные курсы, воспитывая в учащих наклонность и тягу к ненужностям. Крупные научные силы сосредоточены на несусветном факультете, большая их часть — на кафедре невозможностей. Примеры: вот как раз цыганская урбанистика или коневодство у ацтеков. Сущность наук, как правило, состоит в выявлении глубинных оснований их ненужности, а для программы несусветного факультета — невозможности. Чтобы дать вам несколько примеров. Морфология азбуки Морзе. История хлебопашества в Антарктиде. Живопись острова Пасхи. Современная шумерская литература. Самоуправление в специнтернатах. Ассировоавилонская филателия. Колесо в технологиях доколумбовых цивилизаций. Иконология изданий Брайля. Фонетика немого кино.

— Как насчет социологии Сахары?

— Ничего, — сказал Бельбо.

— Очень даже ничего, — веско повторил Диоталлеви. — Вас надо бы привлечь. Юноша уловил, правда, Якопо?

— Да, я сразу сказал, что он улавливающий. Вчера он доказывал ерунду очень изящно. Но продолжим, учитывая, что тема вас увлекла. Что мы там относили к кафедре оксюмористики, а то я куда-то задевал листок?

Диоталлеви вытащил листок из своего кармана и приятно посмотрел на меня.

— Под оксюмористикой, как и следует из названия, понимаются обоюдопротиворечивые предметы. Вот почему, с моей точки зрения, цыганской урбанистике самое место здесь...

— Нет, — тут же возразил Бельбо. — Только если урбанистика кочевых племен. Надо различать. Несусветность предполагает эмпирическую невозможность, а оксюмористика — терминологическую.

— Ну ладно. Что у нас тогда в оксюмористике? А, вот. Революционные постановления... Парменидова динамика, Гераклитова статика, спартанская сибаритика, учреждения народной олигархии, история новаторских традиций, психология мужественных женщин, диалектика тавтологии, Булева эвристика...

Я почувствовал, что дальше отсиживаться невозможно, и поднял перчатку.

— Могу я предложить грамматику анаколупфов?

— Хорошо! Хорошо! — отозвались один и другой и принялись куда-то записывать.

— Есть загвоздка, — остановил их я.

— Какая?

— Как только о вашем проекте станет известно, к вам повалит народ и захочет публиковаться по этим темам.

— Я тебе говорил, что мальчик острый, слышишь, Якопо, — произнес Диоталлеви. — Именно в этом и состоит наша главная проблема. Против собственного желания нам удалось создать идеальную модель реальной науки. Мы доказали необходимость возможного. Лучше нам не обнародовать проект. Я должен идти.

— Куда? — спросил Бельбо.

— Пятница, вечер.

— О Господи милосердный, — сказал на это Бельбо. Потом обратился ко мне: — Тут напротив через улицу живет несколько семей правоверных евреев, знаете, таких, в черных шляпах, с бородами, с пейсами. Их в Милане почти совсем нету. Сегодня пятница и после заката начинается суббота. В это время в доме напротив как раз готовятся, чистят семисвечники, жарят и варят, все так раскладывают, чтобы назавтра можно было бы ничего не делать и не зажигать ни свет, ни газ. Даже телевизор работает у них с ночи, только приходится примириться с тем, что нельзя переключать каналы. Наш друг Диоталлеви через свою подзорную трубу бессовестно подглядывает из окна за евреями и тает от восторга, воображая себя тоже там, по ту сторону улицы.

— А почему? — спросил я.

— Потому что наш друг Диоталлеви настойчиво утверждает, будто он еврей.

— То есть как это утверждаю? — обидчиво спросил Диоталлеви. — Я еврей. Вы что-то имеете против евреев, Казобон?

— Кто, я?

— Диоталлеви, — решительно вмешался Бельбо. — Ты не еврей.

— Не еврей? А как же моя фамилия? «Храни тебя Бог». Наряду с Грациадио.

— «Богу хвала», Диосиаконте — «С тобой Бог», — все это переводы с еврейского, это имена из гетто, типа Шолом Алейхем, что тоже означает «с вами Бог».

— Диоталлеви — самое обыкновенное имя, которое давали в приютах подкидышам. А твой дедушка был подкидыш.

— Еврейский подкидыш.

— Диоталлеви, у тебя розовая кожа, горловой голос и ты почти альбинос.

— Есть же кролики альбиносы, могут быть и евреи альбиносы.

— Диоталлеви, нельзя стать евреем по собственному желанию, как становятся филателистами или свидетелями Иеговы. Евреем можно только родиться. Успокойся, ты такой же язычник, как и все вокруг.

— Нет, я обрезан.

— Опять за свое. Каждый может обрезать из гигиенических соображений. Достаточно договориться с фельдшером, у которого есть термокаутер. С какого возраста ты обрезан?

— Не будем уточнять.

— Ну почему же. Как раз лучше бы уточнить. Евреи всегда все уточняют.

— Никто не докажет, что мой дедушка не был еврей.

— Разумеется, раз он был подкидыш. Но с таким же успехом он мог бы быть и наследником византийского трона, и побочным сыном Габсбургов.

— Никто не докажет, что мой дедушка не был еврей. Его нашли около гетто.

— Но твоя бабушка не была еврейкой, а счет родства у евреев ведется по материнской линии.

— Да, но есть голос крови, а голос крови подсказывает мне, что у меня изысканно талмудичный склад ума. Надо быть подлым расистом, чтобы утверждать, будто какие-то язычники способны на такую талмудическую изысканность, на какую способен я.

С этими словами он вышел. Бельбо сказал: — Не обращайтесь внимания. Этот разговор повторяется постоянно, и я каждый раз выдвигаю по одному новому аргументу. Дело в том, что Диоталлеви помешался на каббале. Не хочет слышать, что бывают и каббалисты-христиане. А вообще, знаете, Казобон, если Диоталлеви в конце концов так уперся быть евреем, что я с этим могу сделать?

— Ничего. У нас демократия.

— У нас демократия.

Он закурил сигарету. Я вспомнил о цели своего визита.

— Вы говорили о тамплиерской рукописи, — сказал я.

— Ах да. Сейчас. Она была в папке из кожзаменителя. — Он прошелся пальцами по пирамиде рукописей и попробовал вытащить одну из середины, при этом не нарушив равновесия. Рискованный замысел — и действительно половина рукописей рухнула на пол. В руках у Бельбо осталась папка «под кожу».

Я просмотрел оглавление и вступление. — Речь идет об аресте храмовников. В 1307 году Филипп Красивый решил арестовать всех храмовников Франции. Легенда, однако, гласит, что за два дня до того как были подписаны ордера на арест, некий воз, груженный свежим сеном и влекомый быками, выехал из ворот Храма, в Париже, и взял неизвестный курс. Говорили, что в нем спряталась группа рыцарей под водительством некоего Омона и что они укрылись в Шотландии, объединившись вокруг ложи каменщиков в Килвиннинге. Согласно этой легенде, рыцари-храмовники внедрились в бригады каменщиков, которым и передали секреты Храма Соломона. Именно это я и предвидел. Этот человек тоже пытается приурочить зарождение масонства к моменту бегства храмовников в Шотландию. Эта версия муссируется вот уже два века. Она ни на чем не основана. Доказательств нет. Я могу положить вам на стол пятьдесят книг, и во всех рассказывается именно это, и все передирают друг у друга. Смотрите сюда, вот я открыл на случайном месте: «Доказательство высадки тамплиеров в Шотландии состоит в том факте, что даже и сейчас, через семьсот пятьдесят лет, в мире сохраняются тайные

ордена, которые считают себя наследниками Гвардии Храма. Как иначе объяснить подобную преемственность?» Видели? Как можно сомневаться в существовании маркиза Карабаса, если кот утверждает, что он у него на службе?

— Все ясно, — сказал Бельбо. — Рукопись вон. Однако это дело с тамплиерами, по-моему, любопытное. Раз в жизни мне попался информированный человек, и было бы глупо так просто вас отпустить. Объясните мне, почему все занимаются храмовниками и никто не занимается мальтийскими рыцарями. Нет, сейчас не начинайте. Уже поздно. Мы с Диоталлеви через несколько минут должны ехать ужинать с господином Гарамоном. Но где-то в пол-одиннадцатого все это кончится. Я охотно увиделся бы с вами в «Пиладе», постараюсь привести также и Диоталлеви, хотя он непьющий и ложится рано. Вы будете там?

— Где мне еще быть? Я ведь потерянное поколение, и если кто меня хочет найти — пусть ищет там, где собираются все потерянные... Буду вас ждать.

*Li frere, li mestre du Temple
 Qu'estoient rempli et ample
 D'or et d'argent et de richesse
 Et qui menoient tel noblesse,
 Ou sont ils? que sont devenu?*^[38]

Chronique a la suite du roman de Fauvel

Et in Arcadia ego.^[39]

«Пилад» тем вечером представлял собой типичную картину золотого века. Буквально в воздухе витало предчувствие, что революция не только назрела, но и нашла себе спонсора — Союз Промышленников. Владелец трикотажной фабрики (битловка, борода) играл в подкидного дурака с будущим террористом в двубортном костюме и галстук. Ломалась парадигма. Еще в начале шестидесятых годов борода была признаком фашизма — шкиперская, в духе Итало Бальбо;^[40] в шестьдесят восьмом она стала означать революционность, а потом приобрела нейтральный смысл в духе «я выбираю свободу». В любую эпоху борода заменяет маску; фальшивую бороду лепят, чтобы не быть узванными; но в те времена, в начале семидесятых, можно было маскироваться настоящей. Прикрывать бородой свою исконную бородатость: пред лицом подобной бороды вряд ли могла пройти бравада бородою. Однако этим вечером самая искренняя борода рисовалась даже и на бритых лицах, ее не носивших, но намекающих, что непременно бы носили, да дух противоречия не позволяет.

Бог с ним. Наконец предо мною предстали Бельбо и Диоталлеви. Вид у них был мученический, и они не могли говорить ни о чем, кроме перенесенного ужина. Я тогда еще не представлял себе ужины с господином Гарамоном.

Бельбо потребовал ежевечернюю дозу, Диоталлеви долго и подозрительно принохивался и расхрабрился на стакан минеральной.

Мы нашли столик в глубине зала, еще не остывший после двух шоферов, которые отправились по домам, потому что назавтра вставать было рано.

— Ну, ну, — начал с ходу Диоталлеви. — Тамплиеры.

— Не надо, умоляю. Это можно прочесть в любом учебнике.

— Мы любим сказовый стиль, — сказал Бельбо.

— Это более мистично, — сказал Диоталлеви. — Бог создал мир с помощью слова, Заметьте, не телеграммы.

— Да будет свет тчк подробности письмом, — отозвался Бельбо.

— Не письмом, а посланием к фессалоникийцам, — сказал я.

— Давайте о тамплиерах, — сказал Бельбо.

— Значит, — начал я.

— Со значит начинать неграмотно, — запротестовал Диоталлеви.

Я сделал вид, что встаю со стула. Никто не стал умолять сесть. Я сел сам.

— Так вот, это вообще известные вещи. Первый крестовый поход. Готфрид, как известно из Тассо, Господен гроб почтивши, снял обет. Бодуэн становится первым королем в Иерусалиме. Христианское царство в Святой Земле. Но один разговор Иерусалим, другое дело остальная Палестина. Сарацин побили, но они не угомонились. Жизнь в тех краях не слишком спокойная ни для новопоселенцев, ни для паломников. И в этот момент, в 1118 году, во время правления Бодуэна II, девять человек, под командой некоего Гуго де Пейнса, образуют ядро Ордена Бедных Рыцарей Креста: орден монашеский, но с ношением оружия. Три обычных обета бедности, воздержания и послушания. Плюс к тому обязательство давать защиту паломникам. Король, епископ и прочая иерусалимская верхушка немедленно отстегивают деньги. Им выделяют помещение — в одной из пристроек при старом Храме Соломона.^[41] Так они становятся Рыцарями Храма.

— Что это были за люди?

— Скорее всего, романтики крестового похода. Но потом это переменялось. Начали прибиваться к компании Иваны-дураки, младшие сыновья без наследства. Иерусалим — это была та же Аляска, туда ехали за деньгами. В основном те, кому дома ждать было нечего, или прежде судимые. Иностраннный легион. Такой плакатик: ты записался в тамплиеры? Ждут тебя дальние страны, крепких и

сильных душой. Кормежка, одежка казенная, под расчет еще и спасение души. Разумеется, с хорошей жизни на это не шли. Жить в пустыне, в палатке, годами не видя человеческих лиц, если не считать других тамплиеров и нескольких турецких рож, потом еще жара, жажда и обязанность вечно потрошить сарацин...

Я перевел дух.

— Получается какой-то вестерн. Прошу прощения. На самом деле орден пережил три эпохи, и на уровне третьей этих проблем уже не было и в него записывались даже те, кто отнюдь не бедствовал. Потому что стало не обязательно вербоваться в Святую Землю, можно было работать на материке. Вообще что касается тамплиеров, мне они не вполне ясны. Иногда кажется, что это просто банда, иногда, наоборот, в них есть какое-то изящество. Этнические чистки они проводили по-рыцарски. Они, конечно, били мусульман, потому что это была их работа... Но когда посол эмира Дамасского прибыл с визитом в Иерусалим, тамплиеры предоставили ему мечеть для отправления культа, невзирая на то, что ее уже успели переделать в христианскую церковь. Он себе молится, в этот момент заходит какой-то франк, видит неверного в святом месте и вышвыривает его. Тамплиеры наказали виновного, а перед мусульманином извинились. Это джентльменское отношение к противнику их и погубило, не зря на суде им шили связь с эзотерическими мусульманскими сектами. Может быть, связь и была, точно так же как авантюристы прошлого века заболели Африкой. Тамплиеры были люди без систематического образования, они не понимали многих идейных тонкостей и не думали о них, а одевались в духе Лоуренса Аравийского... Вообще понять причины их действий для меня не легко, потому что христианские историки, Гийом Тирский и прочие, при каждом случае поливают их грязью...

— Почему?

— Потому что тамплиеры слишком усилились, и притом слишком быстро. Все началось со Святого Бернарда. Вы представляете себе, кто такой Святой Бернард? Гениальный организатор, реформатор бенедиктинского ордена. Из всех церквей велел вынести статуи и украшения. Когда ему не нравится коллега, например Абельяр, он с ним ведет себя по-маккартистски, а в принципе предпочел бы сжечь. Если

нельзя, то хотя бы сжечь его книги, что он и сделал. Потом начал агитировать за крестовые походы. Вперед, Святая Земля зовет...

— Симпатияга, — подытожил Бельбо.

— Ненавижу. По мне, его не в святые надо бы, а в самый глубокий круг ада. Но он умел себя подать, посмотрите, на какой пост его определил Данте, пресс-секретарем Пречистой Девы. А с такими суперсвязями и канонизовали его потом быстро. Когда Бернард прослышал о тамплиерах — сразу спикировал на эту идею. Благодаря ему девять авантюристов превратились в Militia Christie^[42] так что можно сказать что тамплиеров как героический миф изобрел он. В 1128 году он созывает собор в Труа именно для того, чтоб легитимировать этот новый орден монахов-солдат, а через несколько лет пишет более чем положительный отзыв на их деятельность и сочиняет статут в семидесяти двух параграфах, где чего только нет. Месса ежедневно, и нельзя иметь связи с рыцарями, отлученными от церкви, однако если те попросят о принятии их в орден — реагировать по-христиански. Видите, я не случайно проводил параллель с Иностранным легионом. Формой будет белая накидка, простая, без меховой оторочки, позволятся только ягнячий или же бараний мех. Запрещено носить гнутую или тонкую по моде обувь, спать следует в рубахе и портах, на тьюфяке и с простыней и одеялом...

— В жарком климате, могу вообразить эту вонь, — сказал Бельбо.

— О вони поговорим особо. Есть иные жесткие ограничения: питаться двоим из одной миски, трапезовать в молчании, мясная пища трижды в неделю, строгий пост по пятницам, вставать на рассвете, если накануне день выдался трудный, разрешается пролежать еще не более часу, но в этом случае надо прочитать в постели тринадцать отченашей. Главным в ордене является магистр; имеется иерархия младших по званию, на нижних ступенях — прапорщики, оруженосцы, денщики и слуги. Каждый рыцарь владеет тремя конями и оруженосцем, запрещено украшать стремяна, седла и поводья, оружие должно быть простое, но отличного качества, никакой охоты, за исключением львиной, словом — жизнь военная, богоспасаемая. Не говорю уж о воздержании, на которое сочинитель статута напирает особенно. А ведь наши герои живут не в монастыре, а на Людях, если можно звать людьми тот сброд, который тогда наводнял Святую Землю. В уставе сказано, что общества женщин надобно избегать,

насколько возможно, и не целовать никого, кроме матери, сестер и теток.

Бельбо вставил: — Насчет теток я бы поостерегся. К слову, тамплиеров разве не обвиняли в содомии? Я помню в книге Клоссовского, «Бафомет»^[43]... Бафомет — какой-то дьявольский идол, которого они чтили...

— Сейчас дойдем. Ну посудите по логике. Жили они по-матросски, месяц за месяцем в пустыне, у черта на рогах. Представьте себе: по ночам ледяной ветер, вы в палатке вместе с другом, с которым едите из одной тарелки, страшно, голодно, холодно, хочется к маме. Что дальше?

— Фиванский легион, мужественное обьятие, — предположил Бельбо.

— Подумайте об этом адском положении, бок о бок с солдатней, которая никаких обетов не давала, врываясь в город, добыча солдата — мавританочка, золотой нежный живот и ресницы как бархат, а что достается тамплиеру в ароматной тени ливанских кедров? Оставьте ему хотя бы маленького мавра. Понятно вам теперь, кстати, откуда идет выражение «пить и ругаться как тамплиер»? Их удел напоминает мне положение войскового капеллана, который жрет спирт и богохульствует со своими неотесанными подопечными. Уж одного того хватило бы... А тут еще печати. На печатях тамплиеры изображаются по двое, на одной и той же лошади. С чего бы это, если учесть, что по уставу каждому положено три коня? Конечно, Бернард мог считать это удачной находкой в качестве эмблемы бедной жизни или символа двойственного служения: рыцарство-монашество... А теперь представьте себе, как все это выглядело в глазах простого человека: ничего себе монах, гляди-ка, присоседился даже на скаку! Вполне возможно, что все это домыслы...

— Но, безусловно, они сами нарывались, — продолжил Бельбо. — А что, Святой Бернард был такой глупый?

— Не сказал бы... Но он монах тоже, а в те времена монахи странно представляли себе смирение плоти. Я только что извинялся, что мой рассказ слишком походит на вестерн, но вообще такой подход не вполне несправедлив... Я захватил с собой выписку из нашего любимого Бернарда, вот как он описывает идеал поведения тамплиера: «Они презирают и ненавидят мимов, шутов, площадных жонглеров,

неблаголепные песни и фарсы, они обрезают волосы коротко, потому что апостол сказал, что не подобает мужчине заботиться о прическе. Их никогда не встречают причесанными, очень редко мытыми, их борода клочковата, они покрыты пылью, грязны от ношения брони и от жаркой погоды...»

— Не хотел бы я жить в их квартале, — произнес Бельбо.

Диоталлеви добавил:

— Отшельник всегда культивировал здоровую грязь, чтобы унижить собственное тело. Кажется, это святой Макарий жил на столбе и, когда с его тела падали черви, подбирал их и навешивал обратно, говоря при этом, что сии создания Божий тоже имеют право на радость в жизни?

— Этим столпником был святой Симеон, — сказал Бельбо — и, по-моему, он взобрался на столб для того, чтобы было удобнее плевать на головы проходящих внизу.

— Ненавижу ясные умы, — проворчал Диоталлеви. — Не важно, Макарий или Симеон, — существовал столпник, который, как я уже сказал, так и кишел червями; но я не специалист в данной области, поскольку меня интересуют выходы лишь разумных людей.

— Чистенькими же были твои раввины из Жероны, — поддел его Бельбо.

— Они жили в ужасных трущобах, потому что такие умники, как вы, загнали их в гетто. Ну а тамплиеры сами себе выбрали грязь.

— Не будем сгущать краски, — сказал я. — Вам приходилось когда-либо видеть колонну новобранцев после марша? Я говорю вам обо всем этом для того, чтобы вы лучше понимали противоречивость сути тамплиеров. Тамплиер должен быть таинственным, аскетичным; он не объедается, не напивается, не прелюбодействует, но при этом носится по пустыне, рубит головы врагам Христа, и чем больше голов он срубит, тем больше приобретет входных билетов в рай; с каждым днем он становится все более растрепанным, от него все больше воняет, и, кроме того, Бернард требует, чтобы, войдя в завоеванный город, он не набрасывался ни на девочек, ни на старушек и чтобы в безлунные ночи, когда по пустыне гуляет знаменитый самум, его близкий соратник по оружию не оказывал ему никаких услуг такого рода. Как соединить в себе качества монаха и головореза, потрошить врагов и воспевать хвалу Богородице, не иметь права смотреть в лицо

двоюродной сестре, а затем однажды, после многодневной осады ворваться в город и видеть, как другие крестоносцы на ваших глазах наслаждаются с женами халифа, а прекрасные мавританки распахивают корсеты и умоляют: возьми, возьми меня, только сохрани мне жизнь?.. Но тамплиер должен оставаться непоколебимо растрепанным и зловонным, как того хотел святой Бернард, и продолжать молиться... Кстати, достаточно взглянуть на «Retraits»...

— А это еще что такое?

— Устав Ордена, написанный достаточно поздно, когда Орден, образно говоря, уже обул тапочки. Нет ничего хуже скуки в армии после окончания войны. Наступает момент, когда, например, запрещается драться, наносить рану христианину из чувства мести, что-либо покупать или продавать женщинам, клеветать на собратьев. Нельзя терять рабов, приходить в гнев и выкрикивать: «Я уйду к сарацинам!», губить лошадь из-за халатности, дарить животных, за исключением кошек и собак, покидать Орден без разрешения, нарушать печать магистра, выходить за пределы лагеря по ночам, швырять в ярости свою одежду наземь.

— По этим запретам можно сделать вывод о том, чем тамплиеры обычно занимались — заявил Бельбо — Это дает понятие об их ежедневной жизни.

— Представим себе — сказал Диоталлеви, — тамплиера, раздраженного словами или поступками своих собратьев, покинувшего из-за этого лагерь ночью и без разрешения, скачущего на лошади в сопровождении хорошенького сарацинского мальчика, с тремя каплунами, привязанными к седлу; он направляется к девице легкого поведения и вступает с ней в запрещенную законом связь, оплачивая ее услуги каплунами... Затем, во время пирушки мавританок убегает верхом на лошади, а наш тамплиер, еще более грязный, потный и растрепанный, чем обычно, поджав хвост возвращается обратно и, чтобы его проделки остались незамеченными, передает деньги (собственность Храма) неизменному ростовщику-еврею, который ожидает его, сидя на табурете, подобно грифу, подстерегающему добычу...

— Ты бы еще назвал его Каиафой — усмехнулся Бельбо. — А далее — шаблонная ситуация. Тамплиер пытается вернуть себе если не мавра, то хотя бы хоть какое-то подобие лошади. Но один из его

собратьев уже смекнул, в чем дело, и с наступлением вечера, когда ко всеобщему удовольствию подают мясо, при всех делает далеко не прозрачные намеки (известно, что в подобных братствах всегда имеет место зависть). Капитана охватывают подозрения, а подозреваемый в ярости выхватывает нож и бросается на собрата...

— На доносчика.

— На доносчика, это верно: так вот, он набрасывается на беднягу и ножом уродует его лицо. Тот хватается за меч, начинается невероятный скандал, капитан пытается их успокоить, плашмя ударяя мечом, а братья зубоскалят...

— Пить и ругаться, как тамплиеры... — пробормотал Бельбо.

— Черт возьми, сто чертей, тысяча чертей! — принялся подсказывать я.

— Несомненно, наш тамплиер впадает в гнев... и он... что, черт возьми, может сделать разъяренный тамплиер?

— Лицо его наливается кровью, — предположил Бельбо.

— Да, лицо его, как ты сказал, наливается кровью, он срывает с себя плащ и швыряет его на землю...

— Можете забрать себе этот вонючий плащ вместе с вашим поганым Храмом! — включился я. — Да еще со злости ударом меча разбивает герб и кричит, что уйдет к сарацинам.

— Таким образом, он одним махом нарушил по крайней мере восемь запретов.

Дабы лучше проиллюстрировать свою мысль, в заключение я сказал:

— Так вот, представьте себе этих типов, которые кричат, что они готовы уйти к сарацинам, в день, когда их арестовывает королевский балый и заставляет взглянуть на раскаленные докрасна орудия пыток. Говори, негодяй, признавайся, что вы вставляете себе в зад! Мы? Да плевал я на твои клещи, ты еще не знаешь, на что способен тамплиер, да я тебя самого в зад поимею, а если мне попадется под руку папа, — то и папу, и самого короля Филиппа!

— Сознался, он сознался! Так это и происходило, — затараторил Бельбо. — И, хлоп! — его бросают в карцер и натирают каждый день маслом, чтобы он лучше горел на костре.

— Вы совсем как дети, — заметил Диоталлеви.

Наш разговор был прерван появлением девушки с мясистым индюшиным носом, которая держала в руках какие-то листки бумаги. Она поинтересовалась, подписали ли мы уже петицию об освобождении арестованных аргентинских товарищей. Бельбо не читая поставил свою подпись.

— Во всяком случае, им живется хуже, чем мне, — сказал он Диоталлеви, который сидел с отсутствующим видом. Затем обернулся к девушке:

— Мой друг не сможет подписаться: он принадлежит к индейскому меньшинству, а у них запрещено подписываться своим именем. Многие из них сейчас находятся в тюрьмах, потому что терпят правительственные преследования.

Девушка долго с сочувствием смотрела на Диоталлеви, а потом подала лист мне.

— А кто они такие?

— Как это — кто такие? Аргентинские товарищи.

— Да, но из какой группировки?

— Может, из Такуары?

— Но ведь Такуара, насколько мне известно, это фашистская группировка, — заметил я.

— Фашистская, — злобно прошипела девица. И ушла.

— В общем, тамплиеры были оборванцы, — подытожил Диоталлеви.

— Да нет, — ответил я. — Это я перестарался, впечатление получилось одностороннее. Рядовые действительно ходили примерно в этом виде, но орденкак таковой с самого начала стал получать субсидии, чем дальше — тем больше, по мере того как открывались капитанства на территории Европы. Вот к примеру, только от одного Альфонса Арагонского тамплиеры получили в подарок целую страну, то есть он оформил на них завещание и оставил им королевство при условии, если умрет без прямых наследников. Тамплиеры предпочли не полагаться на случай и переоформили документы, получив синицу в руки еще при жизни дарителя, а синица представляла собой полудюжину крепостей по всей Испании. Король Португалии подарил им лес. Лес этот вообще-то был сарацинский, но тамплиеры взялись за его чистку, в два счета выбили оттуда мавров и между делом основали Коимбру. И это только отдельные зарисовки... В общем, картина такая:

боевики едут сражаться в Палестину, но ядро ордена расположено на родине. Какие это открывает возможности? Да такие, что если кто-либо направляется в Палестину, и не хотел бы путешествовать с золотом и драгоценностями в кармане, он попросту заходит к рыцарям-тамплиерам, в их французские, испанские или итальянские гарнизоны, вносит деньги, берет квитанцию и получает по ней в Палестине.

— Аккредитив, — сказал Бельбо.

— Именно. Это они изобрели систему чеков. Задолго до флорентийских банкиров. Теперь вам должно быть ясно, что на основании добровольных пожертвований, военных контрибуций и поступлений от финансового посредничества орден превратился в международный концерн. Подобная структура могла держаться только на менеджерах высокого класса. Эти люди сумели убедить Иннокентия II предоставишь им экстраординарные льготы: орден имел право оставлять себе всю военную добычу, и по имущественным вопросам не должен был отчитываться ни перед королем, ни перед епископами, ни перед патриархом Иерусалимским, а только перед папой. Таким образом, они были освобождены от уплаты десятины, но сами имели право облагать десятинной пошлиной все контролируемые территории... В общем, мы имеем дело с фирмой, которая при постоянно активном балансе недоступна никакой налоговой инспекции. Понятно, почему епископы и коронованные особы не могли их любить, но и без них не могли обходиться. Крестовые походы организуются с бухты-барахты, народ едет воевать не зная куда и каким образом, а тамплиеры — свои люди в тех краях, понимают, с кем они воюют и чего ждать от противника, прекрасно знают местность и ведение боя на этой местности... Хотя, судя по хроникам, способны увлекаться и нагородить кучу глупостей. Время от времени какие-то абсурдные кавалерийские наскоки... Странно, до чего не сочетается их политическая и управленческая серьезность с лихостью их боевых привычек. Летят сломя голову, не проверяя обстановку, попадают в ловушку и погибают ни за что ни про что. Возьмем, к примеру, историю осады Аскалона...

— Возьмем, — согласился Бельбо. до этого отвлекшийся для того, чтобы с подчеркнутым сладострастием поприветствовать некую Долорес. Та под села к нам:

— Я тоже хочу услышать эту историю.

— Итак, однажды французский король, германский император, король Иерусалима Бодуэн III и два великих магистра Ордена Тамплиеров и Ордена Госпитальеров решили осадить Аскалон. Все вместе они отправились к городским стенам: король и его двор, патриарх, священники с крестами и штандартами, архиепископы Тира, Назарета и Цезарии, в результате — великое празднество с шатрами, разбитыми у стен неприятельского города, орифламмами, большими щитами и боем барабанов... Аскалон был укреплен ста пятьюдесятью башнями, а его обитатели заранее подготовились к осаде: в стенах каждого дома были пробиты бойницы, и каждое жилище представляло собой как бы крепость в крепости. Я повторяю, тамплиеры, будучи сильными и сведущими в военном искусстве, должны были бы знать такие вещи. Но ничего подобного. Они принялись лихорадочно сооружать деревянные башни на колесах и черепахи, знаете, такие, которые подводят под неприятельские стены и которые выбрасывают огонь, камни, стрелы, тогда как катапульты бомбардируют издалека каменными глыбами... Защитники Аскалона попытались было поджечь башни, но ветер подул в их сторону, огонь охватил стены, и они начали обрушиваться, по крайней мере в одном месте. Пролом! Тут же все нападавшие ринулись туда разом, но здесь случилось нечто странное. Великий магистр тамплиеров устроил у пролома затор, и в город вошли только его воины. Злые языки утверждают, что это было сделано для того, чтобы вся добыча досталась одним лишь тамплиерам, их доброжелатели возражают: целью этого поступка было проверить, нет ли там засады, для чего были отобраны самые храбрые воины. Во всяком случае, я не доверил бы этому магистру права руководить военным училищем: сорок тамплиеров промчались сквозь весь город со скоростью сто восемьдесят километров в час и остановились у стены с противоположной стороны, затормозив в облаке пыли; они посмотрели друг на друга, не поняв, зачем они это сделали, и повернули обратно, пытаясь прорваться сквозь полчища мавров, осыпавших их сквозь бойницы камнями и стрелами и добивших наконец их всех, включая Великого магистра. Затем они заделали брешь в стене, повесили на ней тела убитых и свернули из их пальцев фиго, которые были направлены в сторону христиан, что вызвало крики негодования у последних.

— Мавры известны своей жестокостью, — подтвердил Бельбо.

— Как и дети, — заметил Диоталлеви.

— Плохие командос из этих твоих тамплиеров, — сказала Долорес, которую мой рассказ впечатлил.

— Серьезные люди, но мечутся немножко как три поросенка, — подытожил Бельбо.

Мне стало совестно. На самом деле я сожительствовал с тамплиерами вот уже два года и очень любил их. В угоду снобизму моих знакомых я вел свой рассказ действительно в духе детского мультфильма... А может быть, виноват был Гийом Тирский, злораднейший из историографов. На самом деле они не такими были, кавалеры Храма, бородатые, горячие, с огненным крестом на полотне покрывала, летящие на звонких конях под сенью черно-белого знамени, зовущегося Босеан. Они были великолепны, призванные на пир самопожертвования и смерти, и та патина пота, о которой мы знаем от Святого Бернарда, вероятно, придавала бронзово-ярое благородство усмешке их ужасного лица... Львы на арене боя, как описывает их Жак де Витри, и нежнейшие агнцы в дни мира, лихие в бою, самоотверженные в молитве, безжалостные с врагами, внимательные к собратьям, избравшие черный и белый цвета для стягов, так как белый — цвет чистоты друзей Христу, а черный — это немилосердие к неприятелю...

Милые поборники веры, последние истинные паладины на излете рыцарской эпохи, разве они заслужили, чтоб я над ними хихикал, как какой-нибудь там Ариосто? Я, который мог бы стать их новым Жуанвилем.^[44] Мне вспомнились страницы о тамплиерах в «Истории Людовика Святого», сочинении, автор которого, воин и писец, ходил вместе с королем Людовиком в Святую Землю. К тому времени тамплиеры существовали уже более ста пятидесяти лет, и крестовых походов уже состоялось предостаточно, чтобы разочароваться в каких бы то ни было идеалах; Развеялись, как сон, призраки королевы Мелисенды и Бодуэна, прокаженного короля, на время стихли междуусобицы и распри в Ливане, где уже тогда земля горела под йогами. Уже однажды пал Иерусалим, Барбаросса утонул в Киликии, Ричард Львиное Сердце, разбитый наголову и покрытый позором, возвратился на родину, переодетый, кстати говоря, в накидку тамплиера. Христиане проиграли свою войну, а у мавров оказалось

совсем иное представление о конфедерации политических субъектов, самостоятельных, но объединенных во имя защиты цивилизации: это были люди, читавшие Авиценну, никакого сравнения с невеждами европейцами. Возможно ли было в течение двух столетий, постоянно соприкасаясь с толерантной, мистичной, либертинской культурой, не поддаться ее обаянию — в особенности имея для сравнения культуру Запада, грубую, низкую, варварскую и германскую? В 1244 году Иерусалим пал в последний и окончательный раз, война, начавшаяся за сто пятьдесят лет до того, была христианами проиграна, и отныне им нечего было делать с мечом на мирных равнинах, в ароматной тени ливанских кедров, бедные мои тамплиеры, для чего, для кого все ваши жертвы?

В нежности, в грусти, в бледном отсвете одряхлающей славы — не склоняется ли слух к таинственным ученьям мусульманских мистиков, взор — к иератическому созерцанию потаенных сокровищ? Не тогда ли родилось легендарное представление о рыцарях Храма, до сих пор живущее в разочарованных, жаждущих умах, — повесть о безграничной могущественности, не знающей, к чему ей применить свою мощь... Однако на закате славы Ордена появляется Людовик Святой, король, который делил трапезы с Фомой Аквинским и еще верил в крестовые походы, несмотря на двухвековую историю их неудач, обусловленных глупостью победителей. Стоит ли пробовать еще раз? Но Людовик Святой говорит, что стоит; тамплиеры выносливы и не оставят его в случае поражения, крестовые походы стали их ремеслом, да и как оправдать существование Храма, если нет крестовых походов?

Людовик напал на Дамием со стороны моря; на берегу, занятом противником, сплошными рядами сверкали пики и алебарды, развевались знамена, блестели на солнце щиты, кривые турецкие сабли и позолоченное оружие кавалерии; все эти люди, как свидетельствует Жуанвиль, представляли собой великолепное зрелище. Людовик мог бы выждать удобный момент, но он решил произвести высадку во что бы то ни стало. «Верноподданные мои воины, объединившиеся милостию Божию, мы будем непобедимы. Если же мы проиграем сражение, то станем мучениками во имя Христа. Если победим, слава Господня от того преумножится». В это трудно было поверить, но тамплиеры были возвращены в духе истинного

рыцарства и должны были поддерживать сложившееся о них представление. И они последовали за королем в его необъяснимом безумии.

Высадка, о чудо, удалась, сарацины, о чудо, оставили Дамиет, да так неожиданно, что король опасался входить в город, не веря в возможность подобного бегства противника. И тем не менее все произошло именно так: город был его, ему принадлежали все сокровища и сотня мечетей, которые Людовик тотчас же приказал превратить в церкви. Теперь предстояло сделать выбор: наступать на Александрию или на Каир? Наиболее разумным решением было бы взять Александрию и тем самым лишить Египет жизненно важного порта. Но одним из руководителей экспедиции был ее злой гений в лице брата короля Роберта д'Артуа, амбициозный, страдающий манией величия, жаждущий славы, и немедленно — как всякий младший брат. Он настоял на походе на Каир, сердце Египта. Ранее проявлявшие осмотрительность тамплиеры становятся неуправляемыми. Король запретил разобщенные стычки, но магистр Ордена нарушил приказ. Увидев отряд султанских мамелюков, он вскричал: «Вперед, на них во имя Господне, я не смогу вынести позора их присутствия!»

В Мансурахе сарацины закрепились на другом берегу реки, и французы принялись насыпать дамбу, чтобы перейти ее вброд под прикрытием своих передвижных башен, однако сарацины переняли у византийцев искусство владения греческим огнем. Снаряды с греческим огнем были огромны, словно винные бочки, за ними тянулся напоминающий огромную стрелу огненный шлейф: они рассекали воздух словно молния и были похожи на огненных драконов. Снаряды извергали такое пламя, что ночью в лагере было светло, как днем.

Лагерь христиан был объят огнем, и в это время какой-то вероломный бедуин за триста византийских монет указывает королю место переправы. Король решил перейти в наступление. но переправа оказалась опасной, многие рыцари утонули, а оставшихся в живых уже ждал на противоположном берегу отряд из трехсот конных сарацинов. Однако основным силам христиан все же удалось выбраться на сушу, по приказу первыми ринулись в бой тамплиеры, за ними последовал граф д'Артуа. Мусульманские всадники бросились наутек, а

тамплиеры стали дожидаться подхода остальных своих частей. Граф же д'Артуа со своим отрядом ринулся за неприятелем.

Опасаясь быть заклейменными позором, тамплиеры тоже двинулись на штурм неприятельского лагеря, но успели туда уже после того, как д'Артуа произвел в нем большое опустошение. Мусульмане обратились в бегство в направлении Мансураха. Легкая победа опьянила д'Артуа, и он решил преследовать их. Тамплиеры пытались было его остановить, а их командующий, Великий магистр брат Жиль даже прибег к лести, говоря, что граф одержал восхитительную, величайшую из побед, которые когда-либо знала история завоевания заморских территорий, Но заносчивый и жаждущий славы д'Артуа стал обвинять тамплиеров в измене, говоря, что если бы они и Орден Госпитальеров действительно захотели, то эта земля уже давным-давно была бы завоевана и что сам он только что подал пример того, чего может добиться полководец, у которого в жилах течет кровь, а не вода. Эти слова задевали честь тамплиеров. Храм никому не уступит первенства, и все вместе они ринулись к городу, ворвались в него, и лишь у дальней стены осознали, что допустили ту же самую ошибку, что и при взятии Аскалона, Христианское войско и тамплиеры не успели овладеть султанским дворцом, вокруг которого собрались неверные, чтобы затем, словно падальщики, наброситься на разрозненные отряды грабителей, Неужели алчность опять ослепила тамплиеров? Однако из некоторых источников известно, что перед тем как последовать за д'Артуа на штурм города, брат Жиль твердо сказал ему: «Ваше высочество, ни я, ни мои братья не испытываем страха и последуем за вами. Но знайте: мы сомневаемся в том, что кто-то из нас сможет оттуда вернуться». Как бы то ни было, д'Артуа, а с ним немало храбрых рыцарей, в том числе и двести восемьдесят тамплиеров, пали на поле боя.

Это нечто большее, чем поражение, это — бесчестье, которое еще хуже поражения. Однако даже Жуанвиль не так представляет эту историю: бывает, в этом прелесть войны.

Под пером господина Жуанвиля большинство сражений выглядит таким милым балетом, в котором иногда слетает несколько голов и слышны отчаянные призывы к Господу, да еще порой король всхлипнет по своим верным умирающим вассалам, но все это происходит словно в цветном фильме — среди красных доспехов,

золотых уздечек, сверкающих на желтом солнце пустыни шлемов и мечей, у бирюзовых морских вод — и как знать — может, каждое побоище для тамплиеров было именно таким.

Взгляд Жуанвиля перемещается сверху вниз или снизу вверх, в зависимости от того, падает он с коня или же поднимается в седло, он описывает отдельные сцены сражения, а не общий план битвы, и создается впечатление, что решающее место занимают отдельные дуэли, исход которых зачастую непредсказуем и зависит от воли случая. Так, Жуанвиль бросается на помощь графу де Ванону, какой-то турок наносит ему удар копьем, лошадь падает на колени, Жуанвиль перелетает через ее голову, затем поднимается с мечом в руке, и мессир Герард де Сивери («да простит его Господь») подает ему знак укрыться в разрушенном доме, по пути к которому их едва не втаптывает в землю турецкий отряд; полуживыми они добираются до дома, баррикадируются, а турки забрасывают их копьями через пробитую крышу. Мессир Феррис де Лупе ранен в оба плеча, «и рана была столь велика, что кровь текоша, словно родник», Сиврей ранен обломком сабли в лицо так, что «нос падоша на уста». И так далее, наконец прибывает подмога, покидаем дом и переносимся на другое поле сражения, новые батальные сцены, очередные убитые и спасенные *in extremis*, громкие молитвы, обращенные к святому Иакову. А в это время душка граф де Суассон, не переставая размахивать двуручным мечом, выкрикивает: «Сударь Жуанвиль, пусть вопят эти каналы, но клянусь Господом, мы еще будем вспоминать об этом дне в одном из будуаров!» А король жаждет известий о своем брате, проклятом графе д'Артуа, и брат Анри де Роннэ, предводитель рыцарей Ордена Госпитальеров, отвечает, что «известия хорошие, ибо уверен, что братия и граф д'Артуа в раю пребудут». Король говорит, что пусть благославлен будет Господь за все, что ему посылает, и на глаза ему наворачиваются крупные слезы.

Однако этот ангельско-кровавый балет не всегда так прекрасен: умирает Великий магистр Гийом де Сонак, заживо сожженный греческим огнем, христианскую армию, задыхающуюся от трупных испарений и испытывающую недостаток в провианте, поражает цинга; армия Людовика Святого в растерянности, а сам король измучен дизентерией, причем до такой степени, что вынужден вырезать сзади брюки, чтобы не терять времени в битве. Дамьет сдан, и королева

должна вести переговоры с сарацинами, в результате которых она выплачивает пятьсот тысяч фунтов, чтобы сохранить себе жизнь.

Что же, следует признать полный провал крестовых походов. Между тем в Акке Людовика принимают как победителя, и весь город, включая духовенство, женщин и детей, выходит ему навстречу. Тем временем тамплиеры, знающие подлинный результат его экспедиции, пытаются вступить в переговоры с Дамаском. Это становится известно Людовику, который терпеть не может, чтобы его в чем-то опережали. Он низлагает нового Великого магистра тамплиеров в присутствии мусульманских послов, и Великий магистр вынужден взять назад слово, данное неприятелю, он становится перед королем на колени, прося у него прощения. Нельзя сказать, чтобы рыцари Ордена плохо дрались или были корыстны, однако король Франции, дабы усилить свое могущество, подвергает их унижениям, и чтобы утвердить свое могущество, его наследник Филипп, полвека спустя отправит их на костер. В 1291 году пал последний форпост христиан на Святой Земле — оплот иоаннитов, Акка. Акка была завоевана маврами, все обитатели перерезаны. Христианское царство в Иерусалиме окончилось. Орден тамплиеров в этот час состоятельнее, многочисленнее и мощнее, чем когда бы то ни было прежде, но они, рожденные для сражений в Святой Земле, — не могут больше оставаться в ней.

Похоронив себя заживо в великолепных капитанствах Европы и в Тампле Парижа, они все еще грезят о нагорье вокруг Иерусалимского Храма во времена их звенящей славы, с дивной церковью Святой Марии Латеранской, вотивными капеллами, короной трофеев, вспоминают горячую возню в кузницах, в шорных лавках, кучи тканей, ворохи зерна, конюшню на две тысячи голов, беготню оруженосцев, адъютантов, турецкий палаточный городок, красные кресты на белых эпанчах, коричневые подрясники служек, посланцев султана в грандиозных тюрбанах и в золотых шлемах, пилигримов, стройное движение сторожевых нарядов, эстафет, курьеров и счастье ломящихся закровов, переполненных сейфов портового города, откуда разлетаются распоряжения и приказы и отправляются грузы по назначениям: замки родной страны, острова, прибрежные крепости Малой Азии... Все кончено, мои дорогие тамплиеры. И тут я обнаружил, тем самым вечером, в «Пиладе», на стадии пятого виски,

подносимого мне заботливой рукою Бельбо, что я, похоже, грезил наяву, однако же вслух и с чувством (стыд какой, Господи!), что-то рассказывал собутыльникам, причем Диоталлеви, взбудораженный до предела двумя стаканами тоника, серафически возводил очи горе, а вернее сказать, к совершенно не сефиротному потолку забегаловки и бормотал: — Таковы они и были, души святые и души пропащие, ковбои и рыцари, ростовщики и полководцы...

— Они были своеобразные, — подытожил Бельбо. — А вы, Казобон, ведь их любите?

— Я пишу о них диплом. Кто пишет диплом о сифилисе, в конце концов полюбит и бледную спирохету.

— Красиво, как в кино, — сказала Долорес. — А теперь мне пора идти, потому что к утру нужно размножить листовки. На заводе Марелли готовится забастовка.

Бельбо усталым жестом пригладил волосы и заказал, как он выразился, последнее виски.

— Скоро двенадцать, становится поздно. Конечно, не для взрослых, а для Диоталлеви. И тем не менее я хотел бы еще кое-что узнать, в частности о процессе. Когда, как, почему...

— *Cur, quomodo, quando*, — подхватил Диоталлеви. — Да, да, пожалуйста...

Утверждает, что за день до того он видел, как пятьдесят четыре брата его по ордену были возведены на костер, потому что не пожелали признаться в вышеуказанных заблуждениях, и он слышал, что они были сожжены, и сам он, не будучи уверен, что проявит должную крепость в случае, если его станут жечь, намерен признаваться, из опасения смерти, в присутствии господ комиссаров и кого еще угодно, если бы его допросили, что все заблуждения, приписывавшиеся ордену, действительно имели место, и, когда был бы к тому побуждаем, сознался бы даже и в том, что убил Господа нашего Иисуса Христа.

Из протокола допроса Эмери де Вилье-ле-Дюка, 13.5. 1310

Процесс тамплиеров полон недомолвок, противоречий, загадок и глупостей. Глупости бросаются в глаза прежде всего, и своей необъяснимостью граничат с загадками. В те счастливые дни я еще думал, будто глупость порождает загадку. А недавно в перископе я, напротив, предположил, что самые ужасные загадки, чтобы не выглядеть загадками, прикрываются безумием. Наконец, сейчас мне кажется, что мир — это доброкачественная загадка, которую делает злобной наше безумие, ибо старается разрешить ее исходя из собственных истин.

У тамплиеров больше не было цели. Вернее говоря, они сделали целью — средства, они сосредоточились на управлении своими несметными сокровищами. Естественно, что централизующий монарх, такой, как Филипп Красивый, относился к ним неприязненно. Мог ли он держать под контролем суверенный орден? Великий Магистр по рангу был равен принцу крови, он командовал армией, распоряжался необъятными земельными владениями, избирался как император и имел в своих руках неограниченную власть. Сокровища короны

находились не в руках короля, а на хранении в Парижском Храме. Тамплиеры были контролерами, распорядителями и администраторами текущего счета, формально принадлежащего королю. Они вносили на этот счет средства, снимали средства, играли на процентных ставках, вели себя, как колоссальный частный банк, но с такими льготами и привилегиями, которыми располагают банки государственные... При этом казначей короля был опять-таки тамплиер. Подите поцарствуйте в такой обстановке.

Не можешь победить — объединяйся... Филипп попросился в почетные тамплиеры. Получил отказ. Обиду намотал на ус. Тогда он предложил папе слить тамплиеров с госпитальерами и передать новый орден под управление одного из своих сыновей. Тут Великий Магистр Ордена, Жак де Молэ, с великой помпой пожаловал на материк с Кипра, где он в то время проживал, как монарх в изгнании, чтобы вручить папе меморандум, в котором как будто анализировал преимущества, но на самом деле в первую очередь выявлял недостатки подобного объединения. Без всякого стеснения Молэ, в частности, напирал на тот факт, что тамплиеры более богаты, нежели госпитальеры, и что при слиянии одни должны обеднеть для того, чтоб обогатились, другие, что нанесло бы суровый ущерб состоянию духа его кавалеров, И Молэ выиграл первую расписку начавшейся партии — дело отправили в архив.

Оставалось действовать клеветой. Тут у короля были на руках все козыри — сплетен о тамплиерах гуляло более чем достаточно. Что, по-вашему, говорили об этих «десантниках» добропорядочные обыватели, видя, как те собирают дань с колоний и никому ничего отдавать не обязаны, не обязаны даже — с некоторых пор — рисковать своей кровью, охраняя Гроб Господен? Они, конечно, французы, но не вполне, — то, что сейчас называют «черноногие», а в те времена «roulains». Совершенно не исключено, что эти «черные» предаются восточному разврату, кто их знает, — уж не говорят ли между собой на языке арапов? По уставу они монахи, но для всех вокруг очевидны их развязные манеры, и вот уж сколько лет назад папа Иннокентий III принужден был бороться с ними буллой «О дерзновениях храмовников». Ими даден обет бедности, а сами роскошны, как наследственные аристократы, скарены, как нарождающееся купеческое сословие, и неукротимы, как команда мушкетеров.

Немного нужно, чтобы от ворчания перейти к досадливым наговорам. Мужеложцы! Еретики! Идолопоклонники, обожающие бородатого болвана, взявшегося неведомо откуда. Уж только не из иконостаса богобоязненного христианина! Вероятно, они причастны секретам исмаилитов. Не исключено, что и водят шашни с Ассасинами Горного Старца. Филипп и его советники подхватили эти пересуды и довели дело до суда.

За спиной Филиппа маячат его любимые головорезы Мариньи и Ногаре. Мариньи — это тот, кто в конце концов наложит лапу на тамплиерское имущество и получит право управления им в интересах короля, вплоть до дня, когда оно должно перейти к госпитальерам, а до тех пор так и непонятно, в чью пользу набегают проценты. Ногаре, хранитель королевской печати (министр юстиции) — тот, кем разрабатывался сценарий знаменитого скандала в Ананьи, в 1303 г., когда Шарра Колонна надавал оплеух Бонифацию Восьмому и тот, не оправившись от перенесенного унижения, скончался в течение месяца.

В определенный момент появляется некто Эскье де Флуаран. Он был в тюрьме по неизвестному нам делу и дожидался высшей меры, как тут его подсадили в камеру к раскаявшемуся тамплиеру, также ожидавшему петли, и тамплиер поделился с ним леденящими душу признаниями. В обмен на отмену приговора и на некоторую сумму денег Флуаран пересказал все, что слышал. А слышал он примерно те же побаски, которые были аа устах у всех. Только в данном случае они были оформлены в виде следственного протокола. Король известил об этих сенсационных разоблачениях папу. В папской должности в тот год мы видим Климента V, того самого, который перенес престол в Авиньон. Папа и верит и не верит, но он безусловно понимает, что тамплиеры — очень крепкий орешек. Наконец в 1307 году он вынужден санкционировать судебное расследование. Молэ об этом информируют. Он заявляет, что совершенно спокоен. Он продолжает участвовать, наряду с королем, в отправлении официальных Церемоний — князь среди князей. Климент V тянет резину, королю кажется — что ради того, чтобы дать тамплиерам время свернуть дела. Но тамплиеры и не думают ничего сворачивать. Они продолжают пить и браниться в своих капитанствах, они ничего не подозревают — вот, кстати, первая из загадок Этой истории.

14 сентября 1307 года король рассылает запечатанные депеши всем приказным своего королевства, требуя массовых арестов и конфискации имущества тамплиеров. От рассылки ордеров до ареста, который состоялся 13 октября, проходит еще месяц. Тамплиеры ничего не подозревают. Утром условленного дня они все оказываются в мешке и — еще одна неразгаданная загадка — сдаются, не оказав сопротивления. Заметьте кстати, что в непосредственно предшествовавшие дни офицеры короля, дабы ни одна крупица добра не ускользнула от экспроприаторов, провели полную инвентаризацию имущества тамплиеров, пользуясь совершенно неправдоподобными предложениями. А тамплиеры ничего, проходите, господа, описывайте что хотите, чувствуйте себя как дома.

Папа, когда услышал о массовых арестах, попытался что-нибудь сделать, но было уже слишком поздно. Королевские уполномоченные пустили в дело огонь и железо, и многие тамплиеры, по применению пытки, начали каяться. Назад уж пути быть не могло, полагалось передавать их в распоряжение инквизиции, инквизиторы в то время к огню еще не прибегали, но эффективная методология у них была. Покаяние приняло массовый характер.

И вот перед нами третья по счету загадка. Конечно, верно, что пытка применена, и довольно серьезно, так что тридцать шесть Подсудимых от нее умерли, но ведь это были нескгибаемые люди! Привыкшие не тушеваться перед лютыми турками! Оказавшись перед прокурором, все тушуются. В Париже только четверо рыцарей из четырехсот отказались давать показания. Остальные признавались во всем, в том числе и Жак де Молэ.

— В чем во всем? — спросил Бельбо.

— Они признавались именно во всем том, что было сформулировано в ордере на арест. Очень мало чем отличаются одни показания от других, по крайней мере, во Франции и в Италии. В Англии же, напротив, где следователи работали ленивее, в протоколах фигурируют такие же канонические обвинения, но приписываются свидетелям, не входившим лично в орден, и в основном цитируются понаслышке. В общем, тамплиеры признаются только там, где кто-то очень сильно хочет этого, и только в том, в чем хотят, чтоб они признались.

— Нормальный инквизиционный процесс. Не первый и не последний, — заметил Бельбо.

— Однако поведение подсудимых несколько нестандартное. В главных пунктах обвинения утверждается, что рыцари во время ритуалов инициации троекратно отрекались от Христа, плевали на распятие, разоблачались и были целуемы в нижние части спины. То есть попросту говоря в зад, а также в пуп и в рот, «поносно человеческому достоинству», а также предавались взаимному смыканию, как свидетельствует текст. Это оргия. Потом им показывали бородатого идола, и они обожали его. Что же отвечают сами допрашиваемые на подобные обвинения? Жоффруа де Шарнэ, тот, которого сожгут на костре вместе с Молэ, говорит, что да, дело было, он отрекался от Христа, но лишь на словах, а не в сердце, и не помнит, плевал ли он на распятие, потому что в тот вечер все торопились. Относительно поцелуев в заднюю часть, это тоже было, и он слышал, как прецептор Оверньский говорил, что естественнее сочетаться брату с братом, нежели осквернять себя с женщиной, однако лично он никогда себя не допускал до плотского греха с остальными кавалерами. Итак, в общем все оказываются виноваты, но у всех получается, что все делалось как бы понарошку, что никто на самом деле не придавал ничему значения, если кто и натворил дел, то не я, я просто не мог уйти из вежливости. Жак де Молэ — не последняя спица в колеснице! — показывает, что, когда ему протянули распятие — плюнь-ка, — он плюнул мимо, на землю. Он соглашается, что инициационные церемонии обстояли примерно так, как говорит господин судья, однако — вот незадача! — сам бы он не мог описать их в подробностях, потому что лично он инициировал за всю жизнь очень мало кого. Еще один подсудимый допускает, что поцелуи действительно были, но он лично никого не целовал в зад, а только в рот, но другие его целовали и в зад, это правда. Некоторые признают даже больше, нежели требуется. Не только отрекались от Христа, но и утверждали, что Христос преступник, отказывали в девственности Деве Марии, а на распятие так даже мочились, и не только во время обряда инициации, а и в течение всей Страстной недели, и не веровали в таинства, и обожествляли не только Бафомета, а даже и дьявола в кошачьем обличье. И тут начинается скорее гротескное, чем невероятное действо, похожее на балет, между королем и папой. Папа

хочет взять дело в свои руки — король желает вести процесс единовластно, папа хочет убрать Орден только временно, заклеив позором виновных, а затем восстановить его в первоначальной чистоте — король мечтает, чтобы скандал разгорелся сильнее, чтобы процесс скомпрометировал весь Орден, что привело бы к полному его крушению, политическому, религиозному, а главное — финансовому.

В этот момент появляется документ, являющийся своего рода шедевром. Магистры теологии постановляют, что обвиняемым нельзя предоставлять защитников, потому что они могут отречься от своих признаний; а поскольку они сознались, не стоит даже начинать процесс — король может воспользоваться своей властью, судебное разбирательство назначают только в сомнительных случаях, а здесь нет и тени сомнений. «Зачем им защитники — оправдать то, в чем они сознались, приняв во внимание, что очевидность фактов делает преступление явным?»

Но поскольку существовал риск, что инициатива ускользнет из рук короля и перейдет в руки папы, король и Ногаре выносят на свет Божий громкое дело: епископ из Труа обвиняется в колдовстве по доносу неизвестного доброхота, некоего Ноффо Деи. Позже выяснилось, что Деи клеветал, и его приговаривают к повешению, но до этого на бедного епископа наваливают публичные обвинения в содомском грехе, святотатстве и ростовщичестве. То есть его обвиняют в грехах тамплиеров. Вероятно, король хотел показать сынам Франции, что церковь не имеет права судить тамплиеров, будучи уличенной в их же грехах, или просто он решил таким образом бросить вызов папе. В общем, история темная, игра полиции и секретных служб, утечка информации и доносы... Папа прижат к стене и соглашается допросить семьдесят два тамплиера, которые подтвердили признания, сделанные под пытками. Однако папа принимает их раскаяние и дарует им свое прощение. После этого наступает совсем другой этап — и здесь я вижу одну из первостепенных проблем, которые хочу разрешить в дипломе. Стоило папе, превеликими трудами, отбить своих храмовников у короля — как неожиданно он отправляет их обратно. Никак я не могу понять, что же там у них стряслось в это время. Сначала Молэ берет назад все данные на допросах показания. Климент предоставляет ему возможность оправдаться и посылает трех кардиналов для контрольной проверки. 26 ноября 1309 года Молэ

выступает с пламенной защитой ордена, отстаивает его чистоту, доходит даже до прямых угроз обвинителям. После этого к нему приближается посланный короля, Гийом де Плэзан, которого Молэ считает своим другом, и де Плэзан дает ему какой-то непонятный совет. 28 числа того же месяца Молэ подписывает робкое, очень путаное заявление, в котором говорится, что он бедный солдат, наукам не учен, и после того перечисляются достижения храмовников, к тому времени сильно устаревшие: благотворительная деятельность, военные заслуги — покорение Святой Земли — и далее в этом роде. Ко всем прочим напастям тут возникает еще и Ногаре со своими воспоминаниями о том, как орден поддерживал связи, и самые дружеские, с Салахад-Дином. Начинает пахнуть государственной изменой. Оправдания Молэ на этом допросе не выдерживают критики, чувствуется, что у человека за плечами два года тюрьмы, они хоть кого превратят в тряпку... Но наш Молэ походил на тряпку и на второй день после ареста!

Третий публичный допрос — в марте следующего года. Третий вариант поведения Жака де Молэ. На этот раз он отказывается отвечать перед кем бы то ни было, кроме самого папы.

Смена декораций, и мы присутствуем при эпилоге высокой трагедии. В апреле 1310 года сто пятьдесят тамплиеров требуют слова и выступают в защиту чести ордена. Они заявляют о пытках, которым были подвергнуты те, кто оговорил себя. Они опровергают все обвинения, доказывают их абсурдность. Но король и Ногаре тоже знают свою профессию. Тамплиеры берут назад показания? Тем лучше, это характеризует их как опасных рецидивистов, или же *упорствующих* — *relapsi* — самое страшное обвинение, по тем временам. Значит, они нагло отрицают то, что уже раз признали перед судом? Так вот, мы прощаем тех, кто покался и признал свои ошибки, но не тех, кто каяться не желает, опровергает свои признания и утверждает, кощунствуя, что ему каяться не в чем. Сто пятьдесят кощунов приговариваются к смерти.

Можно легко представить психологическую реакцию других арестованных тамплиеров. Признавшие свою вину попадают на галеры, но остаются в живых. А пока ты жив — есть надежда. Те же, кто не сознается, или, что еще хуже, отказывается от прежних

показаний, идет на костер. Пятьсот отказавшихся берут назад свои отказы.

Раскаявшиеся хорошо все просчитали, потому что в 1312 году те, кто не признал свою вину, были осуждены на вечное тюремное заключение, а те, кто признал, прощены. Филипп не желал резни, он хотел лишь уничтожить Орден. Освобожденные рыцари, разбитые духовно и физически после четырех или пяти лет тюрьмы, растворились в других орденах, они хотели только одного — чтобы о них забыли, и факт их исчезновения долго опровергал легенды о подпольном выживании Ордена.

Молэ продолжал настаивать на том, чтобы его выслушал папа. Климент созывал в 1311 году церковный Собор в Вене, но не пригласил Молэ. Он санкционировал упразднение Ордена Тамплиеров и передачу его имущества госпитальерам, несмотря на то, что в тот момент этим богатством распоряжался король.

Проходит еще три года, и наконец по согласованию с папой, 19 марта 1314 года на паперти собора НотрДам Молэ приговаривают к пожизненному заключению. Слушая этот приговор, Молэ чувствует себя оскорбленным. Он ожидал, что папа позволит ему оправдаться, а теперь осознает, что его предали. Он очень хорошо понимает, что если снова откажется от своих показаний, то его объявят клятвопреступником и рецидивистом. Что творится в его сердце после семи лет, проведенных в тюрьме в ожидании приговора? Получит ли он поддержку от своих старших братьев? Полностью сломленный, имея перспективу закончить свою жизнь заживо замурованным и обесчещенным, он решает, что лучше принять славную смерть. Он свидетельствует о своей невиновности и невиновности своих братьев. Тамплиеры совершили только одно преступление, говорит он, — предали Храм из малодушия. Но он не станет этого делать.

Ногаре потирает руки: преступлению общественного значения надо вынести общественный приговор, и несомненно, чем скорее, тем лучше. Но куратор Нормандии от Ордена Жоффруа де Шарнэ вел себя так же, как Молэ. Решение было принято королем в тот же день: кострище будет возведено в центре острова Ситэ. На закате солнца Молэ и Шарнэ были сожжены.

Легенда утверждает, что Великий Магистр перед смертью напроорочествовал разруху своим гонителям. И действительно, папа,

король и Ногаре умерли в течение следующего года. Что касается Мариньи, он после смерти короля подозревался в растратах. Его враги объявили его чернокнижником и подвели под петлю. Уже тогда многие люди начали представлять себе Молэ как мученика. Данте вторит общественному мнению, заклеив тех, кто преследовал тамплиеров.

Тут начинается легенда — история кончается. Один исторический анекдот рассказывает, будто незнакомец в тот день, когда гильотинировали Людовика XVI, вскочил на помост и закричал: «Жак де Молэ, ты отомщен!»

Что-то в этом духе я рассказывал тогда вечером в «Пиладе», хотя меня злостно перебивали.

Бельбо вмешивался с фразочками типа: — Простите, по-моему, это уже что-то из Оруэлла или Кестлера... — или: — Знаем, довольно известная история о... как его там звали... во время культурной революции... — Диоталлеви однообразно философствовал, что история — учитель жизни. Бельбо в ответ: — Ты же каббалист. Каббалисты не верят в историю. — Тот отбивался: — Именно каббалист. Все повторяется по кругу, история учитель, потому что учит, что ее нет. Невеликую важность имеют пермутации.

— Но в конце концов, — подвел черту Бельбо, — кто такие тамплиеры, кем они были? Сначала вы мне их представили как сержантов из фильма Джона Форда, затем — как негодяев, еще позже — как рыцарей с миниатюры, потом — как банкиров Бога, которые добывали свои богатства нечистым путем, затем — как разгромленную армию, спасающуюся бегством, затем — как адептов дьявольской секты и, наконец, как мучеников свободной мысли... Кем же они были?

— Должно быть, существовали причины, благодаря которым они стали легендой. Скорее всего, множество факторов сыграло в этом свою роль. Если бы какой-нибудь историк с Марса из третьего тысячелетия нашей эры задал себе вопрос, что представляла собой католическая церковь — тех мучеников христианства, которых пожирали львы на аренах римских цирков, или тех, кто убивал еретиков, то ответ был бы: и тех и других одновременно, не так ли?

— Но в конце концов, совершали тамплиеры все то, в чем их обвиняли?

— Самое интересное то, что их последователи, я имею в виду неотаплиеров различных эпох, утверждают, что да. Оправданий их деятельности существует множество. Первый тезис их защитников касается ритуалов посвящения в рыцари Ордена: если хочешь стать тамплиером, покажи, что ты мужчина, плюнь на распятие и посмотри, покарает ли тебя Бог за это; если ты становишься членом этого братства, ты должен полностью принадлежать братьям, что ты и доказывал, позволяя поцеловать себя в зад. Второй тезис: их склоняли к отрицанию Христа, чтобы посмотреть, как бы они вели себя, если бы сарацины захватили их в плен. Это уже совсем идиотское объяснение, поскольку при пытках почти всегда добиваются признания в том, что нужно пытающему, пусть чисто символически. Третий тезис: на Востоке тамплиеры вошли в контакт с еретиками-членами секты манихеев, которые презирали крест, считая его орудием мучений Всевышнего, они проповедовали, что нужно отречься от мира и обесславить повсюду брак и деторождение. Старая идея, типичная для многочисленных ересей первых тысячелетий, которая перейдет к катарам — существует целая традиция, которая считает, что тамплиеры были пропитаны катаризмом. В этой ситуации можно понять причину содомского греха, пусть даже совершаемого братьями чисто символически. Предположим, что рыцари связались с этими еретиками; разумеется, они не были интеллектуалами, благодаря наивности, снобизму и духовной склонности они создали собственный фольклор, который отличал их от других крестоносцев. Они создали ритуалы как своего рода опознавательные знаки, не вдаваясь в подробности их реального значения.

— А какую роль во всем этом играет идол Бафомет?

— Видите ли, во множестве признаний говорилось о *figura Baffometi*, но, возможно, это была ошибка первого переписчика, а в процессе манипуляций с протоколами она могла перейти во все последующие документы. В другом случае речь идет о Магомете (*istud caput vester deus est, et vester Mahumet*), то есть о том, что тамплиеры создали для себя синкретистскую литургию. В некоторых признаниях говорится о том, что их призывали возвещать слово «йалла», что должно было означать «Аллах». Но дело в том, что мусульмане не обожествляют изображений Магомета, тогда кто же оказывал влияние на тамплиеров? Из признаний обвиняемых следует, что многие видели

головы идолов, иногда речь идет о покрытой золотом деревянной фигурке идола с курчавыми волосами и всегда с бородой. Создается впечатление, что расследовавшие дело нашли эти головы и показывали их допрашиваемым в процессе дознания, но к концу дознания головы исчезали, все их видели, и никто их не видел. Совсем как в истории с котом: кто-то утверждает, что он был серый, кто-то — что рыжий, а кто-то — что черный. Но представьте себе допрос с пристрастием, с применением докрасна раскаленных щипцов: так ты видел кота во время посвящения? Как ответить «нет», если усадьба тамплиера с урожаем, который надо уберечь от крыс, была полна котов?

В те времена в Европе кота не признавали домашним животным, как это было в Египте. Кто знает, возможно, тамплиеры как раз и держали в своих домах котов вопреки обычаям добропорядочных христиан, которые смотрели на котов с подозрением как на исчадь дьявола. Подобное произошло с головами Бафомета. Наверное, это были какие-то реликвии в форме головы, которые были почитаемы в те времена. Естественно, есть люди, которые утверждают, что Бафомет — это фигура алхимика.

— Везде появляется алхимия, — сказал Диоталлеви с уверенностью. — Вероятно, тамплиеры знали секрет изготовления золота.

— Несомненно, они его знали, — подтвердил Бельбо. — Они атаковали какой-нибудь сарацинский город, перерезали горло женщинам и детям, грабили все, что попадалось под руку, Неудивительно, что вся наша так называемая история — всего лишь огромный бордель.

— И вероятно, такой же бордель был у них в головах, понимаете, если они навязывали споры по поводу доктрин. История полна такими элитными группками, которые создавали свой собственный стиль, немного хвастливый, немного мистический, да они и сами не осознавали, что делали. Конечно, имеется и эзотерическая интерпретация всего этого: они-де прекрасно знали обо всем, были адептами восточных таинств и даже поцелуй в зад имел ритуальное значение.

— Объясните мне, пожалуйста, ритуальное значение поцелуя в жопу, — попросил Диоталлеви.

— Некоторые современные эзотеристы считают, что тамплиеры исповедывали индийские доктрины. Поцелуй в зад должен был пробудить змея мудрости Кундалини, космическую силу, которая находится в основании позвоночного столба, в половых железах, а после пробуждения достигает шишковидной железы...

— Той, что у Картезия?

— Да, и с ее помощью во лбу открывается третий глаз, способный видеть во времени и пространстве. Вот почему секреты тамплиеров до сих пор изучают.

— Филиппу Красивому надо было сжечь современных нам эзотеристов, а не тех бедняг.

— Конечно, но современные эзотеристы не имеют ни гроша. — Что за истории я сегодня выслушиваю? — произнес Бельбо. — Теперь я понимаю, почему эти тамплиеры стали навязчивой идеей безумцев, которые ко мне приходят.

— Я думаю, что эта история напоминает ваши размышления в тот вечер. Все, что с ними произошло, — не что иное как вычурный силлогизм. Вооружись глупостью — и ты навечно станешь недосыгаемым. Абракадабра, Manel Tekel Phares, Pape Satan Pape Satan Aleppe, le vierge le vivace et le bel aujourd'hui, незначительное урчание в животе, произведенное однажды неким поэтом, проповедником, вождем или магом, — и человечество тратит века на расшифровку этих так называемых посланий. Тамплиеры остаются нерасшифрованными по причине их умственного помешательства. Именно поэтому так много людей их обожествляет.

— Это позитивистское объяснение, — заметил Диоталлеви.

— Да, — согласился я, — вероятно, я позитивист. Если бы хирург удалил у тамплиеров шишковидную железу, то они могли бы стать госпитальерами, иначе говоря, нормальными людьми. Война приводит к расстройству мозговых функций, должно быть, из-за пушечной стрельбы или греческого огня... Подумайте только о генералах.

Слово за слово, уже давно была ночь, Диоталлеви шатался, сраженный своей минералкой. Мы стали прощаться. Тогда мы не понимали, что началась наша крупная игра — игра с огнем, который и жжет и губит.

Герард де Сивери сказал мне: «Сир, если вы рассудите, что от того нам не выйдет бесчестья, я пойду за подмогою к графу д'Анжу, которого вижу там на поле битвы». Я отвечал ему: «Мессир Герард, полагаю, вы совершите дело чести, пойдя за подмогой ради наших жизней и подвергнув вашу собственную жизнь неизвестности».

Жуанвиль, История Людовика Святого

/Joinville, Histoire de Saint Louis, 46, 226/

После наших тамплиерских бдений мы почти не виделись с Бельбо, только раскланивались в баре — я занимался дипломом.

Потом в один прекрасный день была объявлена антифашистская демонстрация. Их обычно объявляли университетские студенты, а участвовала вся прогрессивная интеллигенция в широком смысле. Полицейских согнали много, но вид у них был мирный. Типичная раскладка для тех лет: недозволенное шествие/демонстрация, но до тех пор, пока осложнений нет, полиция не вмешивается, а следит, чтобы левые не нарушали границ своей зоны обитания, ибо по негласной конвенции центр Милана был поделен. С нашей стороны был заповедник левых, за площадью Аугусто и во всем районе Сан-Бабила окопались фашисты.

Если кто-то нарушал невидимую границу, доходило до инцидентов, но в остальном сохранялось спокойствие, как между львом и его укротителем. Обычно мы считаем, что лев угрожает укротителю, и весьма яростно, и что в нужный момент тот его умиряет, высоко вздымая свой бич и делая выстрел из пистолета. Это ошибка: лев уже находится во власти снотворного, поэтому он спокойно входит в свою клетку и не желает ни на кого нападать. Как и всякое животное, он обладает своей безопасной территорией, за пределами которой могут происходить самые невероятные события, а он будет оставаться спокойным. Когда укротитель вторгается во

владения льва, тот рычит; тогда укротитель поднимает свой бич, но на самом деле он делает шаг назад (словно беря разбег для прыжка), и лев успокаивается. Игра в революцию должна разыгрываться по своим собственным правилам.

Я примкнул к компании журналистов, издательских людей и художников, прогуливавшихся по площади Санто-Стефано: бар «Пилад» в полном составе поддерживал демократическое мероприятие. Бельбо был с дамой, с ней же я его часто видел в баре, потом она куда-то растворилась, куда — я узнал впоследствии, прочитав файл о докторе Вагнере.

— И вы тут? — спросил я.

— Что вы хотите. Все для спасения бессмертной души. *Crede firmiter et pecca fortiter.*^[45] Это вам ничего не напоминает, я имею в виду эту сцену?

Я посмотрел вокруг. Это был один из прекрасных дней в Милане, с послеполуденным солнцем, с желтыми фасадами домов и со слегка металлическим оттенком неба. Напротив нас стояли полицейские в шлемах и со щитами из пластика, отсвечивающими стальным блеском; комиссар в гражданской одежде, но перепоясанный ярким трехцветным поясом, важно расхаживал перед строем своих подразделений. Я оглянулся, чтобы посмотреть на голову шествия: толпа двигалась ровным строем, ряды соблюдались, но неравномерно, напоминая вытянувшуюся змею, казалось, что масса оцетинилась пиками, штандартами, транспарантами, палками. Группки нетерпеливых манифестантов то и дело ритмично выкрикивали лозунги; по флангам процессии шествовали бродяги, закрыв свои лица красными платками, в разноцветных рубашках, с утыканными заклепками поясами, поддерживающими джинсы, знававшие много дождей и много солнца; импровизированное оружие, которое они сжимали в руках, замаскированное свернутыми знаменами, — все казалось элементами какой-то наляпанной картины; я в тот момент подумал о Дюфи и его веселости. По ассоциации от Дюфи я перешел к Гийому Дюфэ. У меня было такое ощущение, что передо мной некая миниатюра; в маленькой толпе, сбоку от процессии, я увидел нескольких дам, настолько старых, что потеряли все отличия пола, они предвкушали обещанный большой праздник. Все это наподобие

молнии пронзило мое сознание, я чувствовал, что переживаю нечто, ранее уже происходившее, но что — не мог вспомнить.

— Вам не напоминает это тамплиеров перед налетом на Аскалон?

— Клянусь святым Иаковом, великим и милосердным, — воскликнул я, — это действительно похоже на битву крестоносцев! Держу пари, что некоторые из участников этой осады сегодня вечером окажутся в раю!

— Да, — подтвердил Бельбо, — но проблема в том, чтобы узнать, с какой стороны находятся сарацины.

— Полиция представляет, конечно, тевтонов, — заметил я, — значит, мы могли бы сойти за войска Александра Невского, но я, кажется, запутался в текстах. Посмотрите-ка туда, на ту группу, что напоминает подданных графа д'Артуа, они грозят начать битву, поскольку не могут вынести оскорбления, и уже направляются к позициям врага, подогревая себя криками, в которых звучит жажда мести.

Тут произошло непредвиденное. Демонстрация, топтавшаяся на месте, вдруг пришла в движение, и находившиеся в передних рядах боевики, с тряпками на лицах и цепями в руках, подались в сторону полицейского заслона, к площади Сан-Бабила. Послышались агрессивные выкрики. Полицейские расступились, из-за их спин высунулись водометы. Из толпы полетели первые гайки, булыжники — в ответ полицейская цепь, защищенная шлемами и щитами, двинулась вперед и активно заработала дубинками. Удары наносились нещадные, толпа пришла в волнение, в этот момент сбоку, от площади Лагетто, послышался какой-то выстрел. Это могла быть проколовшаяся шина, могла быть петарда, а могла быть и самая настоящая предупреждающая стрельба из группы ребят вроде тех, кто через несколько лет перешел на регулярное употребление Питона-38. [\[46\]](#)

Это был сигнал к началу паники. Полиция полезла за пистолетами, а наша толпа разделилась на две — те, кто собирался помахать кулаками, и те, кто считал свою миссию оконченной. Я опомнился на бегу — ноги несли меня по виа Ларга, в бешеном страхе, что какой-либо контузящий предмет отправится мне вслед и, чего доброго, настигнет. Как ни странно, на одной скорости со мной

перемещались и Бельбо, и его дама. Они неслись, но паники на лицах я не увидел.

На углу улицы Растрелли, Бельбо придержал меня за локоть.

— Поворачиваем, — сказал он.

Я был удивлен. Широкая виа Ларга казалась спасительнее, там были люди, а сплетение улочек между виа Пекорари и архиепископским дворцом таило массу опасностей и в частности — налететь на полицию. Но Бельбо дал мне знак к молчанию, повернул за угол, снова за угол, постепенно снизил скорость, и мы вынырнули уже шагом — а не бегом — на задах Собора, где текла нормальная жизнь и куда не доносились отзвуки сражения, бушевавшего в двухстах метрах отсюда. Все в той же тишине мы обогнули Миланский собор и вышли на площадь перед фасадом у входа в пассаж. Бельбо купил мешочек овса и с серафически-благостным видом принялся кормить голубей. Мы ничем не отличались от прочих участников субботнего променада — я и Бельбо в пиджаках и галстуках, наша дама в униформе миланской синьоры: серый джемпер и нитка бус, жемчужных или под жемчуг. Бельбо представил нас друг другу:

— Это Сандра. Знакомьтесь.

— Видите ли, Казобон, — начал после этого Бельбо. — Удирать нельзя по прямой линии. Взявши пример с Турина, с Савойцев, Наполеон распотрошил Париж и превратил его в сетку бульваров, что превозносится всеми как образец урбанистики. Однако прямые улицы прежде всего нужны для разгона толпы. При малейшей возможности и боковые улицы, как на Елисейских Полях, лучше строить широкими и прямыми. Стоит недосмотреть — например, в Латинском квартале, — вот вам, пожалуйста, парижский май шестьдесят восьмого. Никакая сила не способна удержать под контролем переулки. Полицейские сами не хотят туда соваться. Если вы встречаетесь с ними один на один — по молчаливому соглашению оба улепетываете в разные стороны. Собираясь на публичное собрание в незнакомой местности, имеет смысл за день до того провести рекогносцировку.

— Вы проходили революционную подготовку в Боливии?

— Технику выживания изучают в подростковом возрасте. Кроме случаев, когда взрослый человек завербовывается в спецвойска. Когда шла партизанская война, я находился в ***, — он произнес название городка между Монферрато и областью Ланги. — Мы эвакуировались

из города в сорок третьем, гениальный расчет, чтобы наклепать на свою голову и облавы, и эсэсовцев, и перестрелки вокруг дома. Помню один вечер, меня отправили за молоком на ферму, ферма была на горе, и вдруг свистит над головой, между вершинами деревьев: пиу, пиу-у. И тут я понимаю, что это с дальней горы, к которой я как раз направляюсь, жарят из пулемета по железной дороге, которая проходит в долине за моей спиной. Инстинкт подсказывает: бежать или броситься на землю. Я допускаю ошибку, бегу вниз, и через Некоторое время слышу в поле с обеих сторон чак-чак-чак. Это были не попавшие в меня пули. Тут-то я понял, что если стреляют с горы, с высокого положения, удирать надо навстречу стреляющим: чем выше избегаешь, тем круче траектория пуль у тебя над головой. Моя бабушка во время одного боя между фашистами и партизанами, перестрелка велась в кукурузе, оказалась на тропинке в этом кукурузном поле и поступила совершенно правильно, улегшись на землю на самой демаркационной линии боя — самое безопасное место. Так она пролежала с десятков минут, вжавшись носом в землю, уповая, что ни одна из сторон не станет слишком сильно побеждать. Когда подобные примеры изучаются с малолетства, формируются безусловные рефлексы.

— Значит, вы у нас герой Сопротивления.

— Созерцатель Сопротивления, — угрюмо поправил он. — В сорок третьем мне было одиннадцать, когда кончилась война — тринадцать лет. Слишком мало, чтобы участвовать, достаточно, чтобы наблюдать, запоминая почти фотографически. Или чтобы удирать — как сегодня.

— Сейчас вы могли бы рассказывать запомненное, вместо того чтоб исправлять чужие рассказы.

— Все уже рассказано, Казобон. Если бы мне тогда было двадцать, в пятидесятые годы я предался бы «литературе воспоминаний». Бог меня спас, и когда я мог начинать писать, мне уже не оставалось другой дороги, кроме исправления чужих писаний. С другой стороны, я на самом деле мог схватить пулю в том пейзаже военных лет.

— От которых? — выпалил я и спохватился. — Простите, глупая шутка.

— Ничего не глупая. Сейчас я, конечно, знаю, от которых. Но это сейчас. А тогда, если честно? Можно промучиться всю жизнь из-за того, что не выбрал пусть даже ошибку, в ней хоть можно раскаиваться, — нет, из-за того, что не выбрал ничего не имел возможности доказать самому себе, что ошибку бы не выбрал... Я был потенциальным предателем. Какое право могу я иметь говорить об истине и писать о ней для других?

— Одну минуточку, — перебил я. — Потенциально вы могли стать Джеком Потрошителем. Этого вы не сделали. Невроз и больше ничего. Или ваши самообвинения основаны на конкретных уликах?

— Что может выступать уликой в подобном вопросе? Кстати о неврозах. У меня сегодня ужин с доктором Вагнером. Пойду на стоянку такси на площади Ла Скала. Идешь, Сандра?

— Доктор Вагнер? — повторил я, прощаясь с ними. — Собственной персоной?

— Да, он в Милане на несколько дней, и я надеюсь получить у него что-нибудь неизданное для сборника статей.

Значит, уже в те времена Бельбо виделся с доктором Вагнером. Интересно — в тот ли вечер этот Вагнер (ударение на последнем слоге) провел свой бесплатный сеанс психоанализа, о котором не догадались ни один, ни другой. Тогда или в другой вечер — но он его провел.

В тот день Бельбо впервые заговорил о своем детстве в ***. Забавно, что эта сага о разных бегствах — почти что венчаных славой, ибо славно воспоминаемое, — встрепенулась в памяти в тот момент, когда он, вместе со мною, однако впереди меня и опять-таки бесславно, совершенно бесславно, снова предавался бегству.

После чего брат Стефан из Провзна, приведенный перед судьями, на вопрос, намерен ли он отстаивать свой орден, ответил, что не намерен, а магистры, если они намерены, пусть отстаивают, он же до ареста пробыл в ордене только девять месяцев.

Протокол от 27.11.1309

Повести о других бегствах Бельбо, постыдных бегствах детства я нашел в недрах Абулафии. Позавчера вечером, сидя в перископе, я вспоминал эти рассказы, в черных потемках, наполненных цепочками шуршаний, поскрипываний, попискиваний, — а я ушептывал свой трепет: поспокойнее, это только трепотня, это музеи и библиотеки и старинные постройки так забалтываются по ночам, это старые шифоньеры покряхтывают, это рамы распадаются от предвечерней волглой стыни и облупливается штукатурка, по миллиметру за век — и позевывает кладка. Ты-то не побежишь, уговаривал я себя, ведь ты пришел, чтоб понять, что случилось с вечно бежавшим, решившим на этот раз не бежать — в безумии безрассудной (или безнадежной) отваги, — а шагнуть навстречу реальности — сколько раз он по трусости откладывал эту встречу!

Имя Файла: Канальчик

Я убежал от полиции или опять от истории? Какая разница?! Я отправился на манифестацию, сделав моральный выбор, или снова хотел испытать себя Его Превосходительством Случаем? Ну хорошо, я упустил большие возможности, потому что они появлялись или слишком рано или слишком поздно, но вину за это несет ЗАГС. Я хотел очутиться на том лугу и стрелять, даже если бы я мог попасть в бабушку. Я не принял в этом участия не из-за трусости, а по причине своего возраста. Ладно с этим ясно. А случай с манифестацией? Это разница поколений: такой способ борьбы мне не нравится. Но я мог бы

рискнуть, даже без энтузиазма, чтобы просто доказать, что там, на лугу, я смог бы сделать выбор. Есть ли смысл в том, чтобы избрать неподходящий случай, зная наверняка, что когда-нибудь выпадет Случай счастливый? Кто знает, сколько было тех, которые поступили подобным образом, а сегодня примирились с позором. Ведь неподходящий случай — это отнюдь не счастливый Случай.

Можно ли считаться трусом, если мужество других кажется вам неадекватным пустяковым обстоятельствам? Вот когда мудрость делает человека трусом. Счастливый Случай не настигает тех, кто живет, поджидая удобного Случая и думая об этом. Случай чуют инстинктивно, даже не зная в тот момент, что это — Случай. Возможно, я однажды ухватил его и даже не догадался об этом? Можно ли чувствовать угрызения совести или считать себя трусом потому, что ты родился в плохом десятилетии? Отвечаю: ты чувствуешь себя трусом, потому что однажды ты струсил. А если и на этот раз я пропустил Случай, чувствуя его неадекватность?

Описать дом в ***, одинокий на холме среди виноградников — нельзя ли сказать «холм в виде женской груди»? — а дальше дорога, которая ведет за городок, к концу последней жилой улицы — или первой (это трудно выяснить, пока не определишь точку отсчета). Маленький беглец, который оставляет семейный кокон и попадает в щупальца путешествия, шагает по этой дороге, со страхом и завистью глядя на нее.

Тропинка была местом сборища компании с Тропинки. Деревенские мальчишки, грязные, крикливые. А я — слишком городской, и лучше держаться от них подальше. Но чтобы добраться до площади, киоска с газетами и писчебумажного магазина, избежав почти субтропического и малопривлекательного путешествия, надо было пройти через Канальчик. Так называлась бывшая бурная река, превратившаяся в зловонный сток, который протекал по самой бедной околице. Парни с Тропинки были маленькими джентльменами по сравнению с бандой с Канальчика. Ребята с Канальчика были по-настоящему грязны, жестоки и нищи.

Тот, кто относился к компании с Тропинки, не мог рассчитывать, что вернется с Канальчика целым и невредимым. Вначале я не знал, что был с Тропинки, я ведь только приехал, но те с Канальчика, сразу же навесили мне клеймо врага. Они увидели, что я иду через их

владения, читая журнал для детей, и погнались за мной. Я побежал, продолжая читать, чтобы держать фасон, а они мчались за мной по пятам, бросая в меня булыжниками. Один камень попал в журнал. Я спас свою жизнь, но потерял журнал. А назавтра я решил вступить в банду с Тропинки.

Когда я предстал перед их синедрионом, меня встретили извительным смехом. В те времена я был обладателем шевелюры, стоявшей дыбом и торчавшей во все стороны, как в рекламе карандашей фирмы «Пресбитеро». Образцом внешнего вида, который мне предлагали кино, общественное мнение и воскресные прогулки после мессы, были молодые люди в двубортных пиджаках с широкими плечами, с маленькими усиками и напомаженными волосами. В народе эта прическа называлась «мандолина». Я хотел такую же. Я покупал на рынке за сумму, смехотворную для биржи ценных бумаг, а для меня почти невообразимую, баночки с бриллиантином, напоминавшим по цвету мед, и часами смазывал им волосы, пока они не начинали лосниться, как свинцовое покрытие, как папская скуфья. Затем я натягивал на голову сеточку, чтобы уложить прическу. Шпана с Тропинки уже видела меня с этой сеточкой и осыпала ругательствами на своем оскорбительном диалекте, на котором я не разговаривал, хотя понимал его. В тот день, продержав дома два часа волосы под сеточкой, я снял ее, проверив великолепный эффект перед зеркалом, и отправился на встречу с теми, кому собирался дать клятву верности. Когда я уже приближался к ним, склеивающее действие бриллиантина закончилось и мои волосы начали медленно принимать вертикальное положение. Оборванцы с Тропинки были полны воодушевления; они окружили меня тесным кольцом, толкая при этом друг друга локтями. Я попросил принять меня в их компанию.

К несчастью, я говорил по-итальянски, а значит, был чужаком. Главарь банды, Мартинетта, который тогда мне показался огромным, как башня, подошел ко мне, перебирая босыми ногами. Моим испытанием были сто ударов ногой в зад. Вероятно, они хотели пробудить змея Кундалини. Я согласился и, опершись о стену, поддерживаемый с обеих сторон добровольными адъютантами главаря, получил сто ударов босой ногой. Мартинетти выполнил свою задачу хорошо: он бил сильно, натренированно. со знанием дела, не носком, а пяткой, чтобы не сломать пальцы. Бандиты хором считали на

своим диалекте. Потом они решили запереть меня в клетке с кроликами, а сами тем временем вели переговоры на гортанном языке. Меня выпустили, когда я стал жаловаться на мурашек в ногах. Но я был горд тем, что с честью прошел обряд посвящения у дикарей. И сам превратился в скотину.

В то время в местечке *** расположились тевтонцы XX века, не очень бдительные, потому что партизан у нас еще не было — ведь был конец сорок третьего или начало сорок четвертого. Во время одной из первых вылазок несколько наших проникло к ним в казарму, другие в это время обхаживали часового, громилу-ломбардца, который уплетал возмутительно огромный (таким он нам показался) бутерброд с салями и повидлом. Пока одна наша группа отвлекала внимание немцев, расхваливая их оружие, другая украла несколько палочек тротила. Мартинетти задумал произвести на поле взрыв, просто ради пиротехнического эффекта. Позже немцев сменили моряки из Децима Мае. Они установили контрольный пост у реки — на перекрестке, где в шесть часов вечера проходили девушки из школы Святой Марии. Надо было уговорить молодежь из Децима (а им было не более восемнадцати лет) вырвать чеки из связки немецких ручных гранат с длинными рукоятками, чтобы взрыв произошел в реке именно в тот момент, когда появятся девушки. Мартинетти хорошо знал, что делать и как рассчитать время. Он все это объяснил солдатам, так что эффект получился колоссальный: раздался взрыв, столб воды поднялся на гребне волны и обрушился с грохотом грома в тот момент, когда девушки вышли к перекрестку. Всеобщее бегство сопровождалось пронзительными криками, а мы и моряки лопались от смеха. Об этих славных днях помнили так же, как о сожжении де Молэ.

Большим развлечением для парней с Тропинки было собирать гильзы от патронов и остатки обмундирования, которых после восьмого сентября хватало повсюду: старые каски, патронташи, вещевые мешки, иногда и целые патроны. С патронами поступали так: держа гильзу в руке, пулю вставляли в замочную скважину, ударяли по гильзе, пуля вылетала и присоединялась к коллекции других пуль. Из пороха, добытого из гильзы (иногда это были пластинки взрывчатого вещества), прокладывали узкие пороховые змейки и поджигали. Гильзы, особенно новые, служили ценным пополнением «Армии». У хорошего коллекционера было их множество, он играл гильзами,

расставляя их по фактуре, цвету, форме и высоте, Существовали полки пехотинцев, то есть гильзы от автоматических пистолетов, знаменосцы и кавалерия — карабины и ружья девяносто первого калибра (их можно было увидеть только у американцев), и наконец, предмет наивысшего вождения — главный штаб, то есть гильзы от пулеметов.

Мы были поглощены этими мирными забавами, но однажды Мартинетти заявил, что момент настал. Банде с Канальчика был брошен вызов, который она приняла. Битва должна была состояться на нейтральной территории, за вокзалом. В тот же вечер, в девять часов.

День, наполненный волнующим ожиданием, клонился к закату. Каждый из нас готовился к битве так, чтобы предстать в ней самым угрожающим образом: подбирали палки, удобные для сражения, набивали патронташи и вещевые мешки большими и маленькими камнями. Кто-то из ремня карабина сделал себе кнут, страшное оружие, если им владеет уверенная рука. В эти вечерние часы мы чувствовали себя героями, а я — более других. Это было возбуждение перед боем — печальное и великолепное, — прощай, моя милая, прощай, быть воином — тяжелый и сладкий труд, мы приносим в жертву свою молодость, так учили нас в школе еще до восьмого сентября.

Мартинетти подготовил очень мудрый план: мы пересечем железнодорожную насыпь севернее станции и, неожиданно зайдя сзади, практически выиграем. Итак, финал схватки предрешен, пощады не будет.

Как только сгустились сумерки, мы одолели крутой откос насыпи, но с большим трудом: очень тяжелым было наше вооружение — камни и палки. На вершине насыпи мы увидели, что наши противники заняли позиции за станционными туалетами. Они нас тут же заметили, потому что смотрели вверх, догадываясь, что мы появимся именно с этой стороны. Нам ничего другого не оставалось, как продвигаться вперед.

Нам не выдавали водку перед атакой, но мы и без нее с ревом устремились на противника. То, о чем я хочу рассказать, произошло в сотне метров от станции. Там начинались первые дома, которые, хоть их было немного, образовывали сеть узких улочек. Случилось так, что наиболее яростная группа наших бесстрашно бросилась вперед, в то

время как я, а к счастью, и несколько других замедлили шаг и заняли позиции за углами домов, наблюдая издали, причем моя позиция была самая дальняя.

Если бы Мартинетти заранее организовал нас в авангарде и арьергарде, мы бы с честью выполнили любое задание, но поскольку этого не произошло, мы разделились спонтанно. Смелчаки спереди, трусливые сзади. Но до сражения дело не дошло.

Остановившись в нескольких метрах друг от друга, две группы скрежетали зубами в ожидании, тогда как оба главаря вышли и начали переговоры. Настоящая Ялта. Они договорились все разделить на зоны влияния и, в случае необходимости, разрешать проходить через свои территории, совсем как христиане и мусульмане на Святой Земле. Рыцарская солидарность взяла верх над перспективой неизбежной битвы. Каждый проявил себя с наилучшей стороны. В обоюдном согласии главари отошли к своим. В таком же согласии разошлись и банды. Каждая в свою сторону.

Теперь я уговариваю себя, что не бросился в атаку, потому что мне хотелось смеяться. Но в то время я так не думал. Я чувствовал себя трусом, вот и все.

А теперь еще более трусливо я говорю себе, что я ничем не рисковал, если бы кинулся вперед с остальными, а только бы выиграл на многие годы вперед. Я упустил Случай тогда, в двенадцать лет. Так же, как и отсутствие эрекции во время первой близости может привести к импотенции.

Месяц спустя, когда условленная граница была случайно нарушена, Тропинка и Канальчик опять стали лицом к лицу в поле и начали метать друг в друга комья земли. И я, возможно, успокоенный ходом предыдущей битвы, а может быть, представив себя неким мучеником, выдвинулся в первый ряд сражения. Схватка была бескровной, но не для меня. Комок земли, в середине которого, по-видимому, был камень, рассек мне губу. С плачем я убежал домой, и мама должна была пинцетом очищать от земли рану. На память об этом остался узелок на месте зарубцевания раны, и когда я провожу по нему языком, то чувствую вибрацию, все тело содрогается. Однако этот узелок не служит мне оправданием, потому что я подсуден не совести, а мужеству. Я провожу языком по губе, и что же дальше? Я пишу. Но плохая литература не искупает вины.

После памятной ретирады в день демонстрации, я не виделся с Бельбо около года. Я влюбился в Ампаро и не бывал более у Пилада, вернее, те несколько раз, когда я заходил с Ампаро к Пилладу, Бельбо там не было. Ампаро туда ходить не любила. Ее политический и моральный кодекс, несокрушимый как ее краса и почти что как ее гордыня, утверждал, что «Пилад» есть оплот демократического дендизма, а демократический дендизм в ее глазах выступал одной из скрытых, значит, и самых коварных, личин капиталистической идеологии. Весь тот год был дико прогрессивный, очень серьезный, страшно милый. Я даже находил время что-то делать для диплома.

Однажды я столкнулся нос к носу с Бельбо на набережной канала возле «Гарамона».

— Вот это да, — весело начал он. — Любезнейший из тамплиеров! Мне как раз подарили один дистиллят незапамятной выдержки. И еще мне даны природой: картонные стаканчики, свободный вечер.

— Прекрасная зевгма, — оценил я.

— Прекрасный бурбон, залитый в бутылку, полагаю, еще до «бостонского чаепития»^[47]

Не успели мы поднести к устам нектар, как Гудрун оповестила нас, что дожидается посетитель. Бельбо хлопнул себя по лбу. Он совсем позабыл об этом типе, но — заметил он с улыбкой — это как раз ваш случай. Господин был по поводу книги — вы не поверите — о тамплиерах.

— Я его ликвидирую в две минуты, надеюсь на вашу научную поддержку.

Точно подмечено — это был именно мой случай. Я и заметить не успел, как оказался в ловушке.

Таким образом исчезли члены ордена Храма вместе с их секретом — под покровом тайны жила их прекрасная надежда на некий земной град. Однако Абстракция, к которой были прикованы их усилия, продолжала в недостижимых краях свою недоступную жизнь... И не раз, в течение разных времен, она питала вдохновением те души, которые были способны воспринять его.

Виктор Эмиль Мишле, Тайна рыцарства

/Victor Emile Michelet, Le secret de la Chevalerie, 1930, 2/

Человек с лицом как из сороковых годов. На снимках в старых газетах, найденных мною в подполе, у всех было это лицо, видимо, из-за некалорийного тогдашнего питания. Щеки западали, обрисовывались скулы, глаза блестели лихорадочно и ярко — такие лица в кадрах расстрелов мы видим и у жертв и у палачей. В те времена люди с одинаковыми лицами расстреливали друг друга.

Посетитель был одет так: темный костюм, белая рубашка, серый галстук; он в штатском, инстинктивно подумал я. Волосы подозрительной черноты, напомаженные, хотя умеренно, на висках зализаны, на макушке лысина. Лицо покрыто загаром и изборождено геройскими складками самого колониального вида. Бледный шрам тянется через левую щеку, от угла рта до уха, черный длинный ус в духе Адольфа Менжу частично прикрывает его, и видно только, что губа когда-то была взрезана и зашита. Дуэль студиозусов — мензур — или касательная пуля?

— Полковник Арденти, к вашим услугам. — Бельбо досталось рукопожатие, а мне легкий кивок, в соответствии с рангом, как младшему редактору.

— Полковник действительной службы? — спросил Бельбо. Арденти оскалил великолепную вставную челюсть. — На пенсии или,

если хотите, в запасе. По виду не скажешь, но я отнюдь не молод.

— По виду не скажешь, — отреагировал Бельбо.

— Вот. А за спиной четыре войны.

— Вы начали при Наполеоне?

— Я начал лейтенантом в Эфиопии — добровольцем. Затем капитаном — добровольцем — в Испании. Получил майора в новом африканском походе. В сорок третьем... Скажем так: встал на сторону проигравших и сам проиграл все, кроме чести. Нашел в себе мужество начать с нуля. Иностраный легион. Специальное подразделение. В сорок шестом году — сержант, в пятьдесят восьмом — полковник под началом у Массю.^[48] Как видите, я часто выбирал сторону проигравших. Когда пришли к власти левые — де Голль, — я вышел в отставку. Жил во Франции. Благодаря еще алжирским контактам, я открыл фирму импорта-экспорта в Марселе. Тот редкий случай, когда мой выбор оказался к моей выгоде... Сейчас я живу на ренту и посвящаю все время своему хобби — выражаясь сегодняшним языком. В последние годы я занес на бумагу результаты работы. Вот они, — и вытащил объемистую папку, по-моему, красного цвета.

— Короче говоря, — подвел итог Бельбо, — исследование о тамплиерах?

— Так точно, — кивнул полковник. — Моя страсть с юношеских лет. Мы одной крови — рыцари удачи, искавшие счастья за Средиземным морем.

— Господин Казобон занимается тамплиерами, прекрасно знает материал. Так что можете рассказывать.

— Настоящие герои. Их цель была — установить человеческий порядок у дикарей обоих Триполи...

— Их противники были в общем не такие уж дикари, — мягко возразил я.

— Вас когда-нибудь держали в плену магрибские мятежники? — последовал саркастический вопрос.

— Пока нет, — парировал я.

Он пронзил меня взором, и я возблагодарил бога, что не служил в его роте.

— Я хотел бы сразу поставить точки над «и», — отчеканил он, обнимая папку. — Я беру на себя часть расходов по изданию и не собираюсь приносить вам убытки. Если вам нужны научные отзывы, я

принесу. Только что, два часа назад, я встречался с крупнейшим специалистом по вопросу, он специально прибыл из Парижа. Он даст предисловие. — Встретившись с вопросительным взглядом Бельбо, он полуприкрыл глаза, давая понять, что имя эксперта будет названо в свой срок.

— Доктор Бельбо! — торжественно продолжил он. — Эти страницы содержат настоящую интригу. Лучше американских детективов. Я обнаружил такие вещи... Важные вещи, но это только начало. И теперь я решился обнародовать все, что знаю, в надежде, что те, кто способен дополнить и разрешить головоломку, — откликнутся. Я решил закинуть приманку. И не могу терять время. Был человек, знавший то же, что и я. Он погиб — скорее всего, его убили, чтобы закрыть ему рот. Я обнародую то, что знаю, двухтысячным тиражом, и после этого убивать меня будет непродуктивно. — И добавил после паузы:

— Вы представляете себе обстоятельства ареста тамплиеров?

— Да, Казобон рассказывал нам, что они были захвачены врасплох и не сопротивлялись.

Полковник тонко улыбнулся.

— Вот-вот. Хотя довольно-таки странно, что люди, превосходившие могуществом французского короля, дали так легко себя подловить и не знали в доскональности, что какие-то мерзавцы наущничают о них королю, а король все передает папе... Как бы не так. Мы имеем дело с планом. С очень хитрым планом. Предположите, что храмовники ставили себе целью завоевание мира и что они отыскивали источник неисчерпаемой власти, некий секрет, стоивший того. Чтобы принести ему в жертву весь квартал тамплиеров в Париже, и все их владения во французском королевстве и в Испании, Португалии, в Англии и в Италии, и урочища в Святой Земле, и колоссальные денежные суммы. Король Филипп, безусловно, почувал опасность, иначе необъяснимо, для чего он уничтожил красу и гордость своих вооруженных сил. И тамплиеры, безусловно, узнали о том, что Филипп все знает, и поняли, что Филипп постарается их уничтожить, в связи с чем они решили, что открытое сопротивление бесперспективно, а для выполнения программы им требовалось время: то ли источник могущества надо было еще дополнительно расследовать, то ли задействовать его можно было только поэтапно...

И тайный руководящий центр ордена тамплиеров, существование которого в наше время общеизвестно...

— Общеизвестно?

— Конечно. Как можно предположить, чтобы такая крепкая организация просуществовала столько веков без эффективного тайного руководства...

— Железный аргумент, — пропел Бельбо, косясь на меня.

— И железные выводы, — продолжал свою речь полковник. — Великий Магистр, разумеется, входит в совет тайных руководителей ордена, но он нужен им, в основном, в качестве крыши. Готье Вальтер, в труде «Рыцарство и тайны истории», пишет, что годом окончательной реализации Программы был намечен год двухтысячный! До тех пор храмовники решают перейти на подпольное положение, а для этого лучше всего, если орден в глазах всего мира перестанет существовать. Они принесли себя в жертву идее. Все, включая Великого Магистра. Конечно, многие приняли смерть. Скорее всего, они были назначены по жребию. Другие получили иные приказы — раствориться, Прибегнуть к мимикрии. Что случилось с многочисленными рядовыми членами, жившими в миру, со «стрельцами», со «стекольщиками»? Они составили собой человеческий материал будущего Братства вольных каменщиков — об этом хорошо известно. В Англии же король якобы сумел противостоять давлению папы и спокойно отправил тамплиеров на пенсию. А те якобы спокойно это восприняли и удалились на заставы доживать свой век. Вам кажется это логичным? Мне — нет. В Испании орден укрывается под новым именем — Монтесов, ордена Монтесской богоматери. Им ничего не стоило надавить на испанского короля, у них в сейфах денег было столько, что королю гарантировалось банкротство за неделю. Король Португалии тоже торговался недолго. Договоримся так, любезнейшие компаньоны, зовитесь не рыцарями Храма, а рыцарями Креста, и мне от вас ничего не надо. Посмотрим теперь в Германии. Один-два показательных процесса, чисто формально провозглашается запрет на тамплиеров, но тут же на месте есть превосходное прикрытие — тевтонский орден, государство в государстве, точнее, государство государств, по типу нынешней советской империи и не меньшего размера, которое досуществует до конца пятнадцатого века, покуда не сшибется с монголами — но тут

уже начало новой повести, современной повести, монголы до сих пор с мечом у наших границ... но не будем отклоняться...

— Не будем, — отозвался Бельбо. — Вперед, вперед!

— Вперед. Как опять же известно, за два дня до того, как Филипп скомандует брать всех, и за месяц до того, как всех действительно возьмут, из ограды Храма отправляется некий воз сена, влекомый волами в неизвестном направлении. Об этом читаем, в частности, у Нострадамуса в одной из центурий... — он полистал папку. — Вот:

Souz la pasture d'animaux ruminant
par eux conduits au ventre herbipolique
soldats caches, les armes bruit menant... [49]

— Телега с сеном — легенда, — сказал я. — А Нострадамус как исторический документ...

— Многие люди, в том числе и постарше вас, господин Казобон, с вниманием относились к пророчествам Нострадамуса. С другой стороны, я и не пытаюсь выдать свидетельство о возе за чистое золото. Этот воз — символ. Это символ того неопровержимого факта, что в преддверии близкого ареста Жак де Молэ передает руководство и все секретные инструкции своему племяннику графу де Божо, и тот становится подпольным магистром подпольного, отныне, ордена...

— Имеются исторические свидетельства?

— История, молодой человек, — ответил полковник Арденти, и глаза его наполнились печалью, — пишется победителями. С точки зрения официальной истории люди, подобные мне, не существуют. Но они существовали, и под сенным камуфляжем скрывались лица, сумевшие восстановить свою организацию в глубокой тайне, в спокойном месте. Что ж вы не спрашиваете — где?. А ведь ему удалось нас зацепить.

— Где? — вскрикнули мы хором.

— Ладно, скажу вам. Где зарождается тамплиерство? Откуда происходит Гуго де Пейнс? Из Шампани, из-под Труа. И там же правит известный Гуго Шампанский, который через несколько лет после основания ордена, в 1125 году, присоединится к ним в Иерусалиме. Потом, по возвращении, он убедит аббата Сито приступить к

обработке и переводам некоторых еврейских сочинений. Вообразите только! Бургундских ребе зовут в Сито к белым бенедиктинцам, и кто же зовет? Святой Бернард, чтобы толковать какие-то тексты, найденные Гуго в Палестине. Гуго же предоставляет в распоряжение брата Святого Бернарда целый лес в Барсюр-Об, и там будет построено аббатство Клерво. Что делал Святой Бернард?

— Поддерживал тамплиеров, — сказал я.

— А почему он это делал? Ведь при его помощи тамплиеры стали сильнее бенедиктинцев! Бенедиктинцам он запретил получать в дар земли и постройки, и эти земли и постройки отходили к тамплиерам! Вы представляете себе Восточный Лес возле Труа? Там невообразимо что делается, капитанства, заставы! А тем временем, вы знаете, что рыцари в Палестине перестают сражаться? Обосновавшись в Храме, они вместо того, чтоб убивать мусульман, с ними подружились и вышли напрямую на тех мусульманских «посвященных». В общем так: Святой Бернард при экономической поддержке шампанских графов учредил орден, непосредственно завязанный на тайные арабские и еврейские секты Святой Земли. Я побывал там, куда не совался ни один ученый. Там, где тамплиеры правили свой бал в течение двух столетий, чувствуя себя как рыба в воде...

— Так говорил председатель Мао: революционер должен чувствовать себя в народе как рыба в воде, — вставил я.

— Правильно говорил ваш председатель. Но тамплиеры работали на настоящую великую революцию, не то что ваши коммунисты с косичками.

— Они теперь без косичек.

— Тем хуже для них. А храмовники, повторяю, могли искать себе укрытие только в Шампани. Но где — в Пейнсе, в Труа, в Восточном лесу? Нет, нет и опять нет. Пейнс — деревушка, один несчастный замок, где уж там прятаться. Труа — большой город, но в нем слишком много людей короля. Лес — по определению заповедник тамплиеров, там их стали бы искать в первую очередь, как потом и случилось. Нет, сказал я себе: Провэн! Если было место для них на этой земле, это место — Провэн!

Ежели бы мы были способны провидеть насквозь и узреть под землю всю ее глубь от остия полунощного до полуденного или же от наших ног и до самых антиподов, с ужасом видели бы пронизанные недра вдоль и поперек расщелинами и кавернами.

Т. Бернет, Священная теория земли

/T. Burnet, Telluns Theoria Sacra, Amsterdam, Wolters, 1694, p.38/

— Почему Провэн?

— Вы бывали в Провэне? Волшебные места. Даже и сегодня еще чувствуется. Поезжайте, Да, волшебные места, до сих пор благоухают тайною. Между прочим, в одиннадцатом столетии это резиденция шампанских графов, и долгое время затем Провэн остается свободной зоной, где центральная власть практически не имеет силы. Тамплиеры там свои люди, даже сейчас имеется улица, названная их именем. Церкви, дворцы, крепость, откуда просматривается вся равнина. Большие, большие деньги, множество купцов, устраиваются ярмарки, в этой суете легко запутать следы. Но самое главное в городе — известные с доисторических времен катакомбы. Сеть подземных ходов, пронизывающих собою всю гору, многие из них открыты для посещения и в настоящее время.

Если бы во время одного из тайных собраний сюда вторглись враги, заговорщики могли бы скрыться в считанные секунды Бог его знает куда, зная все ходы, они легко вышли бы неизвестно где, снова вошли бы с противоположной стороны, словно коты спрыгнули бы на плечи нахалам и устроили бы им в темноте настоящую резню. Боже мой, могу вас заверить, милостивые государи, что эти туннели словно специально вырыты для командос, быстрых и невидимых, можно проскользнуть туда в ночи с кинжалом в зубах и двумя гранатами в руках, чтобы придушить супостатов как мышей!

Глаза его блестели.

— Вы теперь представляете, господа, каким прекрасным укрытием может быть Провэн? Группа конспираторов тайно собирается под землей, а жители города, если даже что-то и знают об этом, — молчат. Конечно же, люди короля приезжали в Провэн, арестовывали тамплиеров, которые показывались наверху, и забирали их в Париж. Рано де Провэн был подвергнут пыткам, но ничего не сказал. Совершенно очевидно, что согласно секретному плану он должен был быть арестован, чтобы показать, что в Провэне тоже наведены порядки, и в то же время подать сигнал: Провэн не сдается. Провэн становится местопребыванием новых тамплиеров — сошедших в подземелье... Галереи тянутся от дома к дому — можно войти в зернохранилище или на склад, а выйти из какой-нибудь церкви. Колонны поддерживают туннели с каменными сводами, и по сей день в верхней части города в каждом доме есть погреб со стрельчатым сводом, и каждый погреб, нет, что я говорю, подземный зал, а таких должно быть более сотни, был соединен с подземельем.

— Это лишь ваши предположения — пожал я плечами.

— Нет, господин Казобон. Есть тому доказательства. Вы же не видели галереи Провэна. Зал за залом в самом сердце Земли, и везде полно надписей, которые в основном можно увидеть в боковых ячейках, как их называют спелеологи. Это — обрядовые рисунки друидского происхождения. Они были выбиты еще до прихода римлян. Цезарь шел поверху, а под его ногами зрел заговор, испытывались чары, готовились казни, западня. Там есть также знаки катаров, а как же, господа, катары заселяли не только Прованс, провансальцы были разбиты, а эти, что в Шампани, выжили и тайно встречались в этих катакомбах ереси. Сто восемьдесят три из них были сожжены на поверхности, а другие выжили внизу. Хроники их определяют как *bougres et manichéens* — будьте внимательны — *bougres*, или богомилы, — это катары болгарского происхождения, а французское слово *bougre* вам ничего не говорит? Первоначально оно означало содомита, потому что считали, что за болгарскими катарами водился этот грешок... А кто еще обвинялся в подобном пороке? Правильно, тамплиеры... Любопытно, не так ли?

— Только до некоторой степени, — ответил я. — В те времена, если хотели ликвидировать еретика, то обвиняли его в содомии...

— Конечно, но не думайте, что я считаю тамплиеров... Наоборот, это были воины, а мы, военные, любим красивых женщин, несмотря на то что присягаем мужчинам. Но я вспоминаю об этом, поскольку мне не кажется случайным, что в среде тамплиеров нашли пристанище катары из еретиков, так или иначе, но именно от них тамплиеры узнали, как пользоваться подземными убежищами.

— Однако, — вмешался Бельбо, — вы не продвинулись далее гипотез.

— Гипотезы — отправная точка. Я вам объяснил причины, по которым начал поиски именно в Провэне. Вернемся же к теме разговора. Глаза полковника сверкали.

— Сейчас мы приближаемся к самому главному пункту. В центре Провэна имеется большое готическое здание, называемое Ла Гранж-о-Дим, что означает Десятинные закрома. Вы помните, что одно из главных преимуществ положения тамплиеров — право собирать десятинную пошлину, не делаясь с государством. Под закромами, как и под всеми остальными зданиями города, множество подземных галерей, в настоящее время совершенно заброшенных. Так вот, в архиве Провэна мне попала подшивка городской газеты за 1894 год. И представьте себе, что в одном из номеров была заметка о том, как два драгуна, Камиль Лафорж, уроженец Тура, и Эдуар Ингольф, уроженец Петербурга (да, господи, Петербурга!) совершали экскурсию с гидом в подземельях Ла Гранж и, спустившись в один из подземных залов, на второй ярус, заметили, что шаги по полу звучат гулко. Согласно этой хронике, отважные драгуны тут же, обвязавшись веревками и зажав в зубах лампы, продираясь через непроходимые лазы, проникли в большое боковое подземелье с камином и колодецем в самой середине. Спустив веревку с камнем в колодець, они намерили одиннадцать метров. Через неделю они возвратились с более прочными канатами и в то время как гид со вторым драгуном страховали, Ингольф спустился в колодець и обнаружил еще одну большую палату каменной кладки, десять метров на десять, высотой пять. По очереди спускались и те двое добровольцев, и исследовали эту палату на третьем уровне от поверхности почвы, на глубине тридцать метров. Что видели и что делали эти трое на дне колодца, осталось неизвестно. Репортер добавляет, что когда он сам посетил это место, ему не хватило смелости спуститься в колодець. История эта

меня взволновала, и я ощутил горячее желание посетить то место. Однако за годы, прошедшие с конца прошлого века, многие подземные галереи рухнули, и если этот колодец когда-либо и существовал, теперь никто не знает, где его искать. Мне же запала в голову идея, что драгуны могли что-нибудь обнаружить там, в подземелье. Я незадолго до этого читал книгу о тайне Ренн-ле-Шато, связанной, в частности, с тамплиерами. Один кюре, нищий и без всяких перспектив, затеял ремонт в своей церкви — приходская церковь в деревушке населением двести душ, — он поднимает плиту и находит сундучок, полный древнейших рукописей. Так говорит сам кюре. Но были ли там только рукописи? Неизвестно. Мы знаем только, что в последующие несколько лет этот человек становится непомерно богат, швыряется деньгами, ведет распущенную жизнь, попадает под церковный трибунал... Что, если какой-нибудь из драгунов, или оба, нашли нечто подобное? Ингольф спускался первым. Предположим, он наткнулся на какой-либо ценный предмет небольших габаритов. Он сует его под мундир и выходит, тем, другим, ничего не сообщает... В общем, я человек упрямый, если бы не был так упрям, жизнь моя повернулась бы по-другому. — При этих словах он потрогал свой шрам. Потом провел рукой от виска к затылку, чтоб убедиться, что все волосы прилегают куда надо.

— Я направился в Париж, на центральный телефонный узел, и просмотрел справочники всей Франции в поисках имени Ингольф. Нашел только одного абонента, в городе Оксер, и написал туда как бы от имени археологического общества. Через две недели я получил ответ. Мне писала старая акушерка, дочь того самого Ингольфа. Она очень заволновалась, узнав, что я интересуюсь ее родителем, и более того, умоляла меня ради Бога поделиться с ней всем, что мне известно. Как так? Я поспешил в Оксер. Мадемуазель Ингольф живет в маленьком домике, опутанном плющом, с деревянной калиточкой, запираемой на гвоздь. Седая, прибранная, подтянутая старушка, довольно ограниченная. Она сразу стала расспрашивать, что мне известно о ее отце, на что я ответил, что знаю только об одной его подземной экспедиции в Провэне и что работаю над историческим очерком о тех местах. Она вне себя от изумления: понятия не имела, что отец когда-либо бывал в Провэне. В драгунах он служил, это правда, но оставил свою службу в 1895 году, то есть до ее рождения.

Купил этот домик в Оксере и в 1898 году женился на местной девушке с небольшим приданым. Мать умерла в 1915 году, когда нашей мадемуазели было только пять лет. Что же касается отца, то его не стало в 1935-м. Не стало в буквальном смысле. Он уехал в Париж, как уезжал регулярно не менее чем дважды каждый год, и с того отъезда не подавал о себе известий. Местное жандармское управление наводило справки в Париже. Он испарился. Выдали свидетельство о предполагаемой кончине. Так что наша мадемуазель осталась одна и пошла работать, потому что отец оставил ей не так уж много. Разумеется, она не нашла себе мужа, и из некоторых вздохов я понял, что имел место роман, единственный за всю жизнь, и он кончился плохо. «И всегда со мною эта печаль, господин Арденти, эта постоянная грусть — ничего не знать о бедном папе, не знать, где находится его могила, и есть ли она вообще на этом свете». Она охотно рассказала об отце: заботливый, спокойный, методичный и очень ученый. Целые дни он проводил в своем кабинете, наверху в мансарде, читал и писал что-то. Кроме этого ковырялся в саду, время от времени разговаривал с местным аптекарем. Аптекарь тоже сейчас умер. Иногда Ингольф, как уже было сказано, навещался по делам в Париж. Каждый раз покупал в Париже книги. Книги до сих пор в его кабинете, можно посмотреть. Мы поднялись. Комнатка в чистоте, в порядке, мадемуазель еженедельно протирает там пыль. Маме она носит цветы на могилу, для папы может делать только это. Все в комнате точно так, как было при ее папе, жаль, что она мало училась, а то бы могла читать его книги, но все книги напечатаны на старофранцузском, на латыни, по-немецки и даже на русском языке; дело в том, что папа родился и провел свое детство в России, его отец работал во французском посольстве. Библиотека насчитывала около сотни томов, большая часть которых — к моему восторгу — относилась к следствию над тамплиерами, как, например, «*Monumens historiques relatifs a la condamnation des chevaliers du Temple*» Рейно, изданная в 1813 году, это была антикварная вещь. Много работ о тайнописи — серьезное собрание по криптологии — несколько томов по палеографии и дипломатии. Была там и старая приходо-расходная книга, и, листая ее, я буквально подскочил, наткнувшись на запись о продаже ларца. Без подробностей, без имени покупателя. Стоимость сделки тоже не была указана, но имелся год — 1895-й, а далее

подробные, точные записи о том, как этот аккуратный человек распорядился своим небольшим капиталом. Несколько записей о приобретении книг у парижских букинистов. Так все более прояснялась предо мной механика событий. Ингольф обнаруживает в крипте золотую шкатулку с драгоценными инкрустациями, недолго раздумывая укладывает ее за пазуху, выбирается на свет божий и товарищам ни гу гу. Дома он открывает ларец и находит в нем пергамент, это очевидно. Он едет в Париж, обращается к антиквару, к ростовщику, к коллекционеру — в общем, продает ларец, и хотя не за полную цену, тем не менее он становится вполне состоятельным человеком. Но этого ему недостаточно. Он оставляет службу, переселяется на жительство в деревню и начинает покупать и читать книги, с тем чтобы разгадать пергамент. Наверное, в его душе издавна вызревала эта страсть — охотника за сокровищами, — иначе бы он не погружался на третий ярус подземельных катакомб в Провэне, и он достаточно подготовлен, чтобы попытаться открыть секрет найденного им клада. Он работает тихо, одержимо, скажем даже маниакально. Проходит более тридцати лет. Делился ли он с кем-либо тайной своей жизни? Неизвестно. Однако в 1935 году, скорее всего, он знал уже достаточно много или же, наоборот, оказался в таком тупике, что принял решение обратиться к некоему лицу, или чтобы поделиться тем, что знает, или чтобы спросить о том, чего не знал. Однако то, о чем он дознался, таинственно и ужасно — до такой степени, что человек, к которому он обращается, уничтожает его... В любом случае, вернемся к мансарде. Прежде всего, я должен был понять, остались ли какие-либо следы работы Ингольфа. Я сказал той милой женщине, что надеюсь, просмотрев книги ее отца, найти какие-то следы открытия, сделанного им в Провэне, и тогда в моем исследовании его имени будет отведено заслуженное место. Она воодушевилась, бедный папа должен быть отмечен по достоинству, и мне было сказано, что я могу оставаться до вечера и возвратиться на следующий день, если, конечно, понадобится. Она принесла мне кофе, зажгла лампу и вернулась в свой сад, предоставив мне свободу действий. Комната имела стены белые и гладкие, в ней не имелось шкафов, сундуков, ларей, где я мог бы порыться, но все, что в ней было, я проверил, осмотрел сверху, снизу и внутри немногочисленную мебель, стоявшую там, а также платяной шкаф, почти пустой, в котором было всего

несколько костюмов, за подкладкой которых — ничего кроме нафталина. Ни за, ни под рамками трех-четырех эстампов, висевших на стенах, тоже ничего не скрывалось. Не буду утомлять вас подробностями, заверю только, что работал я на совесть, например мягкая мебель должна быть не только ощупана, но и исследована длинными иглами, чтобы удостовериться, что в набивке не присутствуют посторонние тела...

Я подумал, что полковник явно обучался не только технике рукопашного боя.

— Оставалось обработать книги, переписать все их названия, проверить, нет ли в них маргиналий, подчеркиваний, каких-либо помет... И вот в одну прекрасную минуту я решительно потрянул старый большой том в тяжелом переплете, том упал, и из него выскочил листок с записями. По сорту бумаги — это был листок из тетради — и по чернилам можно было датировать документ как не слишком старый. Он, скорее всего, относился к последним годам жизни Ингольфа. Краем глаза я увидел запись «Провэн 1894» и был потрясен. Вы можете вообразить, какие чувства овладели мною. Я понял, что оригинал — пергамент Ингольф увез в Париж, а дома он оставил копию. Я не колебался ни минуты. Мадемуазель Ингольф протирала эти книги годами, но она никогда не видела листка — иначе бы о нем упомянула. Прекрасно, она его никогда и не увидит. Мир делится на тех, кто выигрывает, и тех, кто проигрывает. Я мою долю проигрыша уже получил сполна. Известно, как надо обходиться с победой — хватать ее за чуб. Я отправил листок в карман. Я откланялся милейшей старой даме, сказавши ей, что ничего достойного не обнаружил, но что ее отца я упомяну, если соберусь написать что-нибудь, и она меня благословила на прощанье. Господа, человек действия, человек, пожираемый страстью, которая пылает в его груди, не испытывает слишком больших моральных затруднений пред лицом серого и жалкого существа, обиженного природой.

— К чему оправдываться, — сказал Бельбо. — Взяли так взяли. Рассказывайте же.

— Я покажу вам этот текст. С вашего позволения, ксерокопию. Не от недоверия. Чтобы не трепать оригинал.

— То, что переписал Ингольф, не оригинал, — сказал я, — а копия с предполагаемого оригинала.

— Господин Казобон, когда оригиналы все уничтожены, оригиналом становится последняя копия.

— Но Ингольф мог скопировать неправильно.

— Вы прекрасно знаете, что не мог. А я знаю, что записи Ингольфа передают истину, потому что в противном случае не вижу, что тогда должно считаться истиной. Следовательно, копия, сделанная Ингольфом, — оригинал. Есть у нас согласие по этому поводу или будем заниматься интеллигентским крохоборством?

— Только не крохоборство! — отвечал Бельбо. — Посмотрим вашу оригинальную копию.

После смерти Божо Орден ни на минуту не переставал существовать, и нам известна, с момента смерти Омона, непрерывная последовательность Великих Магистров Ордена с тех пор и до наших дней и, даже если имя и местонахождение истинного Великого Магистра, так же как имена и местонахождение истинных Старшин, управляющих Орденом и заведующих его возвышенной деятельностью, остаются в секрете, открытом только для немногочисленных посвященных, содержащемся в глубочайшей тайне, это из-за того, что время Ордена еще не настало и час еще не пробил...

*Рукопись 1760 года, цит. в:
Г. А. Шиффман, Образование рыцарской степени в франкмасонстве в середине XVIII столетия*

/G. A. Schiffmann, Die Entstehung der Rittergrade in der Freimauerei um die Mitte des XVIII Jahrhunderts, Lipsia, Zechel, 1882, S. 178–190/

Это была первая наша встреча с Планом. В тот день я мог бы оказаться в совершенно другом месте. Если бы в тот день я не встретился на улице с Бельбо, сейчас бы я мог... Продавать на рынке в Самарканде кунжутное семя. Готовить в печать издания произведений классической литературы для слепых по Брайлю. Возглавлять филиал Ферст Нейшнл Бэнк на Земле Франца Иосифа... Условно-противительные предложения с недостоверной посылкой всегда истинны, благодаря тому что ирреальна предпосылка. Но в тот день я был не где-нибудь, а там, так что теперь я действительно здесь.

Театральным жестом полковник выкинул на стол листок. Он до сих пор хранится среди моих бумаг, в целлофановой корочке, пожелтевший, полинявший по сравнению с тем разом — ксерокопии делались в ту пору на специальной термической бумаге. На листочке было две записи — вверху мелкая и частая, ниже что-то вроде стихотворения, строчки в столбик.

Первый отрывок содержал демонские заклинания на каком-то псевдосемитском языке:

Kuabris Defrabax Rexulon Ukkazaal Ukzaab Urpaefel Taculbain
Habrak
Nacoruin Maquafel Tebrain Hmcatuin Rokasor Himesor
ArgaabU Kaqaan Docrabax
Relsaz Relsabrax Decalquan Olquaquil Zaitabor Qaxaop Dugraq
Xaelobran
Disaeda Magisuan Raitak Huldal Uscolda Arabaorn Zipreus
Mecrim Cosmae
Duquifas Rocarbis

— Я не все понял, — сказал Бельбо.

— Ах, не все? — ядовито переспросил полковник. — Да я бы всю жизнь просидел над этой штукой, если бы однажды, совершенно случайно, я не увидел на книжном лотке книгу о Тритемии и мне не попался бы на глаза образец одного из шифров: «Pamersiel Oshurmy Demulson Thafloyn...» Это был след, и я начал копать в глубину. Имя Тритемия мне ничего не говорило, но в Париже я разыскал издание его труда «Стеганография (тайнопись)» — *Steganographia, hoc est ars per occultam scripturam animi sui voluntatem absentibus aperiendi certa*, Франкфурт, 1606. Искусство открывать при помощи тайнописи секреты своей души далеким людям. Великолепная личность, этот Тритемий. Бенедиктинский аббат из Шпаннгейма, живший на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков, ученый человек, знавший в совершенстве еврейский и халдейский языки, а также восточные языки, такие, как татарский, имевший контакты с теологами, каббалистами, алхимиками, несомненно с великим Корнелием Агриппой Неттесгеймским и вероятно с Парацельсом... Тритемий

маскирует свои откровения относительно тайнописи с помощью туманных намеков на ритуалы некромантов, он говорит, что следует составлять зашифрованные послания наподобие того, которое сейчас перед вашими глазами, а адресат в первую очередь должен будет вызывать ангелов, таких, как Памерсиель, Падиель, Доротиель и прочие, и ангелы помогут ему понять истинное сообщение. Однако примеры, которые он приводит, сплошь и рядом представляют собой военные корреспонденции, а книга посвящается пфальцграфу и герцогу баварскому Филиппу, и являет собой один из первых примеров учебников шифрования, которыми пользуются в секретных спецслужбах.

— Но прошу прощения, — вмешался я. — Если я вас верно понял, Тритемий жил по меньшей мере сто лет спустя после даты составления записи, которую мы разбираем...

— Тритемий был членом Кельтского Единства, в котором изучались философия, астрология, пифагорейская математика. Улавливаете связь? Тамплиеры — секретный орден, наука которого восходит, в частности, к мудрости древних кельтов, что в наши дни не требует доказательства. Не удивительно, что Тритемию стали известны те же криптографические системы, которыми пользовались тамплиеры.

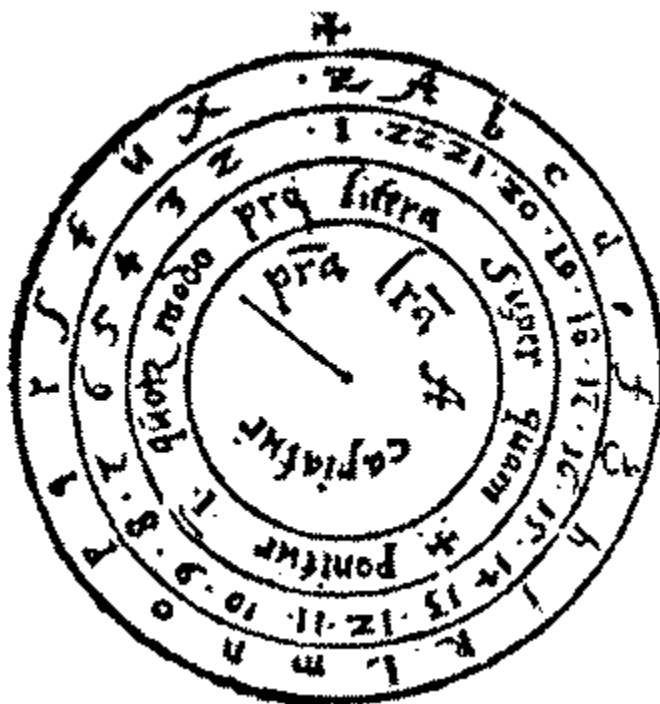
— Очень логично, — сказал Бельбо. — А расшифровка тайного послания, как она выглядит?

— Одну минуточку, господа. Тритемием опубликовано сорок больших и десять меньших криптосистем. Мне повезло, а может быть, тамплиеры из Провзна не стали особенно мудрить, будучи уверенными, что никто не подберет ключа к их шифру. Я попробовал применить первую же из сорока больших криптосистем, то есть отправился от гипотезы, что в этом тексте имеют значение только первые буквы слов...

Бельбо взял в руку листок и бросил взгляд на надпись: — Но и в этом случае выходит набор букв без всякого смысла: kdruuth...

— Разумеется, — снисходительно процедил полковник. — Тамплиеры не собирались особенно мудрствовать, но они не были такими уж невероятными лентяями. Этот первый набор букв является в свою очередь очевидной шифровкой, и тут я моментально подумал о втором подразделе, о десятке меньших криптосистем. Видите ли, в

этом втором подразделе Тритемий использует концентрические круги, и первый по порядку чертеж у Тритемия таков...



Он вытащил из своей красной папки еще одну ксерокопию, пододвинул стул поближе к столу и начал показывать последовательность чтения, касаясь букв закрытой шариковой ручкой.

— Это самая простая из всех схем. Смотрите только на внешний круг. Берем каждую букву исходного сообщения и заменяем предыдущей буквой алфавита. Вместо А пишем Z, вместо В пишем А и так далее. Для профессионального разведчика это детсадовский уровень, но в те времена считалось чуть ли не чернокнижием. Разумеется, для чтения используется обратный принцип и каждую букву шифровки надо заменять следующей буквой алфавита. Я попытался и, повторяю, мне невероятно повезло — шифр был угадан с первой же попытки. Вот конспиративный текст.

И он написал фразу: «Les XXXVI Invisibles separez en six bandes». «Тридцать шесть невидимых, разделенных на шесть отрядов».

— А что это значит?

— На первый взгляд ничего. Это девиз, обрядовая формула, объявляющая об основании общества и записанная потайным языком,

по ритуальным соображениям. В остальном же наши тамплиеры, будучи уверенными, что помещают свои записи в недостижимый тайник, ограничились французским языком четырнадцатого столетия. Вот перед вами второй текст.

a la... Saint Jean
36 p charrete de fein
6... entiers avec salel
p... les blancs mantlax
r... s... chevaliers de Prulns pour la... j. nc.
6 fols 6 en 6 places
chascune folz 20 a... 120 a...
Iceste est l'ordonatlon
Al donjon II premiers
It II secunz joste iceus qui... pans
It al refuge
It a Nostre Dame de l'autre part de l'lau
It a l'ostel des popellcans
It a la plerre
3 fols 6 avant la feste... la Grant Pute.

— Это, стало быть, нешифрованное сообщение? — спросил Бельбо и хихикнул.

— Совершенно ясно, что, переписывая текст, Ингольф ставил точки там, где не мог разобрать буквы или слова, то есть на тех местах, где пергамент был испорчен... И теперь, господа, я наконец ознакомлю вас с моей собственной версией, в которую введены конъектуры, осмелюсь заявить, блестящие и безупречные. Я сумел вернуть древнему тексту его первоначальное великолепие. Вот он перед вами.

Быстрым жестом, как фокусник, он перевернул ксерокопию и мы увидели несколько строк, написанных печатными буквами.

A LA (NUIT DE) SAINT JEAN
36 (ANS) P(OST LA) CHARRETTE DE FOIN
6 (MESSAGES) ENTIERS AVEC SCEAU
P(OUR) LES BLANCS MANTEAUX

R(ELAP)S(I) CHEVALIERS DE PROVINS POUR LA
(VAIN)J(A)NC(E)
6 FOIX 6 EN 6 PLACES
CHACUNE FOI 20 A(NS FAIT) 120 A(NS)
CECI EST L'ORDONNATION:
AU DONJON LES PREMIERS
IT(ERUM) LES SECONDS JUSQU'A CEUX QUI (ONT?)
PAINS
IT(ERUM) AU REFUGE
IT(ERUM) A NOTRE DAME DE L'AUTRE PART DE L'EAU
IT(ERUM) A L'HOTEL DES POPELICANS
IT(ERUM) A LA PIERRE
3 FOIX 6 AVANT LA FETE (DE) LA GRANDE PUTAIN

— Я приблизил орфографию к нашему времени. Как видите, текст стал вполне постижим и означает следующее:

В НОЧЬ СВЯТОГО ИОАННА
ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ ПОСЛЕ СЕННОГО
ВОЗА
ШЕСТЬ ПОСЛАНИЙ ПОД ЦЕЛЫМИ ПЕЧАТЯМИ
ДЛЯ РЫЦАРЕЙ В БЕЛЫХ МАНТИЯХ
УПОРСТВОВАВШИХ В ПРОВЭНЕ РАДИ МЩЕНИЯ
6 РАЗ ПО 6 В 6 КРАЕВ
ВСЯКИЙ РАЗ ПО 20 ЛЕТ ВСЕГО 120 ЛЕТ
ВОТ ПЛАН:
ПЕРВЫЕ ПОЕДУТ В ЗАМОК
ЗАТЕМ (ВНОВЬ ЧЕРЕЗ 120 ЛЕТ) ВТОРЫЕ СОЕДИНЯТСЯ
С ТЕМИ, КТО У ХЛЕБА
ЗАТЕМ СНОВА В УБЕЖИЩЕ
ЗАТЕМ СНОВА К НАШЕЙ ГОСПОЖЕ ЗА РЕКОЙ
ЗАТЕМ СНОВА В ПРИЮТ ПОПЛИКАН
ЗАТЕМ СНОВА К КАМНЮ
3 РАЗА ПО 6 (666) ПЕРЕД ДНЕМ ВЕЛИКОЙ БЛУДНИЦЫ

— Темно как ночью, — подытожил Бельбо.

— Конечно, это нуждается в толковании. Но Ингольф несомненно сумел разгадать все шарады. Точно так же, как сумел я. Смысл менее загадочен, чем кажется, для тех, кто не новичок в истории этого ордена.

Повисло молчание. Полковник попросил стакан воды и снова взялся за свою запись, начиная с первого слова.

— Итак. Ночь Святого Иоанна, через тридцать шесть лет после сенного воза. Тамплиеры, избранные для сохранения секретов ордена, спасаются от ареста в сентябре 1307 года, укрывшись в повозке с сеном. В ту эпоху года отсчитывались от Пасхи до Пасхи. Значит, 1307 год кончается приблизительно тогда, когда по нашим понятиям была Пасха 1308-го. Попробуйте отсчитать тридцать шесть лет после конца 1307 (то есть после нашей Пасхи 1308-го) — что это нам даст? Год 1344-й. Условленные тридцать шесть лет прошли, 1344 год настал, и грамоту торжественно поместили в крипту, укрыв в драгоценный ларец, в знак вечной памяти об основании тайного ордена, в ночь Святого Иоанна — то есть 23 июня 1344 года.

— Почему 1344-го?

— Я полагаю, что с 1307-го по 1344-й орден реформировывался и вырабатывал программу, к исполнению которой было приступлено именно в день, указанный на этой хартии. Надо было выждать, пока обстановка придет в норму, а также установятся стабильные связи между тамплиерами пяти или шести стран. С другой стороны, тамплиеры выжидают именно тридцать шесть лет, а не тридцать пять или тридцать семь, потому что цифра тридцать шесть определенно обладает для них мистическим характером. Это подтверждается и в зашифрованной записке. Внутренняя сумма тридцати шести составляет девять... Не знаю, должен ли я напоминать вам сокровенное значение этой цифры...

— Мне можно? — послышался из-за наших спин тихий голос Диоталлеви, бархатный, как шаги провэнских тамплиеров.

— Это из твоей оперы, — подвинулся Бельбо, освобождая ему место. Он бегло представил нового собеседника, появление которого, кажется, вовсе не смутило полковника, жаждавшего многочисленной и внимательной аудитории. Он продолжил объяснение, а Диоталлеви

впитывал, просто-таки исходя слюной от подобных нумерологических разносолов. Чистой воды Гематрия.

— Перейдем теперь к печатям, — продолжал полковник. — Шесть посланий под целыми печатями. Ингольф как раз и находит ларчик, вероятнее всего запечатанный. Кому же адресовались запечатанные ларчики? Белым Накидкам, то есть — тамплиерам. Затем мы видим в послании букву г, несколько вытертых букв, а затем s. Я предлагаю читать relapsi. Почему? Потому что мы все знаем, что этот термин употреблялся для обозначения лиц, которые на процессе прежде каялись, а потом брали обратно свои показания. Фактор рецидива немало повлиял на тяжесть приговора в процессе над тамплиерами. Тамплиеры из Провзна носят прозвище рецидивистов с гордо поднятой головой. Своим актом они подчеркнули, что не желают иметь ничего общего с позорной комедией процесса. Итак, речь идет о relapsi из Провзна, готовых... к чему? Те немногие буквы, которые имеются в нашем распоряжении, подсказывают прочтение vainjance — к вендетте, к отмщению.

— Отмщение кому?

— Господа! Вся мистика тамплиеров, от дня суда и казни и до настоящего времени, тяготеет вокруг желания отомстить за Жака де Молэ. Я невысокого мнения о масонских ритуалах, но и масоны, эта мещанская карикатура на рыцарственное храмовничество, как бы то ни было — тоже детища, хотя и выморочные, давней, древней идеи. Одна из степеней масонства по шотландскому обряду называется Рыцарь Кадош, по-еврейски это рыцарь мщения...

— Хорошо, тамплиеры готовятся отомстить. Что же происходит после?

— После... надо нам понять, на какой период рассчитан план отмщения. Обратимся к зашифрованному девизу, и он разъяснит нам нешифрованный текст. Пусть появятся шесть паладинов шесть раз в шести местах, итого тридцать шесть, разделенных на шесть отрядов. Потом говорится «Всякий раз двадцать», а потом идет что-то, что в передаче Ингольфа напоминает букву А. ANNO — год, всякий раз по двадцать лет, догадался я, что даст сто двадцать лет. Остальное сообщение содержит попросту список этих шести мест, или же шести тайных заданий. Рыцарям дается ordonation — План, проект, информация к исполнению. Говорится, что первые должны будут

следовать в донжон, или укрепление, замок, вторые еще куда-то, и так вплоть до шестых. Значит, документ оповещает нас о том, что должны где-то иметься еще шесть документов, охраняемых печатями, укрытых в различных местах. И мне кажется очевидным, что печати должны были вскрываться именно в указанном порядке, каждая через сто двадцать лет после вскрытия предыдущей...

— Но почему «всякий раз двадцать лет»? — спросил Диоталлеви.

— Рыцари мщениа были призваны исполнять свою миссию каждые сто двадцать лет в предуказанном Планом месте. Таким образом запрограммирована своего рода эстафета. Понятно, что после Ивановой ночи 1344 года шесть кавалеров разъезжаются по шести концам земли, как предусмотрено в Плане. Но хранитель первой печати, естественно, не может оставаться в живых в течение ста двадцати лет. Значит, каждый хранитель каждой печати должен оставаться на посту двадцать лет, после чего передоверять свое служение следующему. Двадцать лет — разумный срок, таким образом, у каждой печати чередуются шесть хранителей, из которых каждый несет стражу по двадцать лет, что является гарантией того, что в конце сто двадцатого года хранитель печати вскроет ее, прочтет инструкцию и передаст указания первому хранителю второй печати. Вот почему в документе употреблено множественное число, первые пусть едут туда, вторые сюда... Каждое место контролируется, скажем так, за сто двадцать лет шестью ответственными. Посчитайте: от первой до шестой печати имеется пять переходов, то есть должно пройти шестьсот лет. Прибавьте к 1344 шестьсот — и выйдет 1944. Это подтверждено, в частности, и последней строчкой. Ясно как день.

— Почему как день?

— В последней строке говорится: «три раза по шесть перед днем Великой Блудницы». Здесь, в частности, учтен нумерологический аспект, потому что внутренняя сумма 1944 дает как раз восемнадцать. Восемнадцать равно трижды шести, и это новое примечательное совпадение натолкнуло тамплиеров на еще одну тончайшую загадку. 1944 — год, когда должен увенчаться План. В предвидении чего? Разумеется, двухтысячного года! Тамплиеры полагали, что конец второго тысячелетия будет означать пришествие их Нового Иерусалима, Иерусалима земного, Антииерусалима. Они видели себя гонимыми как еретики — и в законной ненависти к официальной

церкви сдентифицировали себя с Антихристом. Кроме того, им известно, что 666 в оккультной традиции отождествляется с апокалиптическим Зверем. Год шестьсот шестьдесят шестой — год Зверя — для них это двухтысячный, в который наконец должно восторжествовать мщение за тамплиеров. Антииерусалим — это Новый Вавилон, и поэтому 1944 — это год триумфа Великой Любодейцы, той самой, о которой говорится в Апокалипсисе! Отсчет на основании числа 666 — это, конечно, вызов, бравада отважных духом... Неординарное решение, вы согласны?

Он глядел на нас влажноватыми глазами, губы и усы увлажнились, руки поглаживали папку.

— Допустим, — сказал Бельбо. — Здесь указываются этапы исполнения Плана. Но какого?

— Вы слишком много от меня хотите. Если бы я знал какого — не забрасывал бы свою наживку. Я знаю только одно. Что в какой-то момент произошел сбой, и программа не завершилась, иначе, позвольте вас уверить, мы с вами об этом бы знали... Можно даже представить себе, почему План не состоялся. 1944-й был не самым простым годом, тамплиеры не могли тогда предполагать, что мировая война так перепутает карты, затруднив перемещения и контакты между отдельными лицами.

— Простите, что я вмешиваюсь, — послышался голос Диоталлеви. — Если я правильно понял, после вскрытия каждой печати династия ответственных за нее не исчезает. Она продолжает свое служение впредь до вскрытия последней печати, поскольку тогда потребуется участие всех вообще представителей тайного ордена? И это значит, что каждое столетие, точнее, каждые сто двадцать лет, в деле участвуют по шесть человек на каждое место, итого общей суммой тридцать шесть.

— Так точно, — подтвердил Арденти.

— Тридцать шесть кавалеров на каждом из шести постов составляет 216, внутренняя сумма этого числа равна 9. А так как столетий 6, умножим 216 на 6, и получим 1296, внутренняя сумма которого равна 18, то есть трижды шесть — шестьсот шестьдесят шесть...

Бельбо старался остановить Диоталлеви взглядом, но полковник, несомненно, уже признал в нем родную кровь. — Это чудесно,

восхитительно, все, что вы сказали, коллега! Учтите также, что девять лежит в основании всего, потому что именно девять рыцарей основали ядро ордена в Иерусалиме!

— Великое Имя Господне, представленное в тетраграмматоне — Элоим, состоит из семидесяти двух букв, а семь плюс два составляют собой девять. Еще минуточку, если позволите. Согласно пифагорейской традиции, которую каббала продолжает (вернее, которой вдохновляется): сумма нечетных чисел от одного до семи дает шестнадцать, а сумма четных от двух до восьми дает двадцать, что в сумме составляет тридцать шесть.

— Боже мой, коллега, — вибрировал полковник. — Я предполагал, я догадывался. Как вы мне помогаете, если бы вы знали... Я так близок к истине!

Так я и не понял, была ли для Диоталлеви арифметика верой, или вера арифметикой, или же и то и другое — для атеиста, организовавшего экскурсию на седьмое небо... Он мог бы отдаться рулеточной религии (и было бы перспективнее для него) — а предпочел стать неверующим раввином.

Не помню уж как мы вышли из положения, кажется, вмешался Бельбо со своим пьемонтским здравым смыслом, все вспомнили, что полковник не объяснил до конца остальные строчки, а было уже шесть вечера. Шесть — подумал я — вернее сказать, восемнадцать...

— Хорошо, — сказал Бельбо. — По тридцать шесть за раз, все эти кавалеры стараются открыть камень. Но что это за камень? — Ну знаете! Это и спрашивать незачем. Разумеется, Грааль!

Средневековье ожидало героя Грааля, благодаря чему глава Священной Римской Империи представал бы образом и воплощением самого Властителя мира... Невидимый Император превращался в то же время в Императора воплощенного, а Серединная Эпоха... становилась также Эпохой Центральной... Невидимый, недостижимый центр, властитель, которому предстоит воскресение, образ героя — мстителя и восстановителя — это не фантазии мертвого прошлого, более или менее романтического; это истина тех, кто, единственные, в наше время сегодня могут по праву именоваться живыми.

Юдиус Эвола, Тайна Грааля

/Julius Evola, Il mistero del Graal, Roma, Edizioni Mediterranee, 1983, с. 23 e Epilogo/

— А, так тут не без Грааля, — вздохнул Бельбо.

— Разумеется. И это сказано не мной. Думаю, излишне напоминать здесь историю легенды о Граале, я имею дело с достаточно образованными людьми. Рыцари круглого стола, мистический поиск волшебного предмета, который в глазах одних представляет собою кубок, принявший в себя кровь Христа и доставленный во Францию Иосифом Аримафейским, в глазах других — камень, обладающий сверхъестественной силой. Часто Грааль описывают и в виде ослепительного света... Речь идет о символе силового поля, какой-то энергии неслыханной мощности. Она способна питать организмы — залечивать раны — ослеплять — испепелять. Что это? Лазерный луч? Кое-кто предполагал, что Грааль — то же, что философский камень алхимиков, но даже если это так, одно другого не исключает: что есть философский камень как не символ источника космической энергии? Литература по этому вопросу необъятна, однако на первом плане

прежде всего некоторые неопровержимые доказательства. Почитайте «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха,^[50] и вы убедитесь, что Грааль в этой книге сберегается в замке тамплиеров! Может быть, Эшенбах был посвящен в орден? По неосторожности выболтал то, о чем следовало хранить тайну? Мало того. Этот охраняемый храмовниками Грааль определяется в книге как lapis exillie — камень, упавший с неба. То есть на самом деле возможны два толкования: упавший с неба — ex coelis — или привезенный из изгнания — ex exilio. В любом случае доставлен он издалека. Были предположения, что Грааль — метеорит. В любом случае то, что нас интересует, сказано ясно: это камень. Чем бы ни был Грааль на самом деле, для тамплиеров он — и предмет и цель их плана.

— Извините, — вмешался я. — По логике этого документа, там назначается последняя встреча около камня или на камне, а не предлагается найти камень.

— Еще одна хитроумная уловка и блистательная мистическая аналогия! Да, конечно, шестое свидание назначено на камне, и сейчас мы дойдем до этого места и увидим, о каком камне речь. Но на этом камне, исполнив все этапы Плана и взломав шестую печать, рыцари узнают, где же находится их Камень! Учтем и евангельскую параллель — «Ты, Петр,^[51] и на сем камне...» На камне вы найдете Камень.

— Теперь мы видим, что иначе быть не могло, — подвел итоги Бельбо. — Рассказывайте же конец, прошу вас. Казобон, не надо перебивать все время. Очень хочется услышать конец этой истории.

— Так вот, — начал вновь полковник, — очевидная связь с Граалем навела меня на мысль, что сокровище, о котором идет речь, — это колоссальное хранилище радиоактивных материалов, может быть, занесенное с других планет. Подумайте например, в той же самой легенде, о таинственной ране короля Амфортаса... Больше всего напоминает физика, получившего облучение. И действительно, Граалья запрещено касаться. Почему? Подумайте только, какие чувства, должно быть, охватили тамплиеров, когда они достигли берега Мертвого моря, вы, конечно, знаете, что вода в этом море тяжелая, смолянистая, тело болтается на поверхности, как пробка, и доказано целебное влияние этой воды. Они могли обнаружить в Палестине залежи радия или ураня, и осознали, что не в состоянии сразу же использовать их. Связь между Граалем, храмовниками и катарами^[52]

была научно доказана одним немецким офицером, кстати, человеком огромной личной храбрости. Его звали Отто Ран, оберштурмбаннфюрер СС, посвятивший всю жизнь кропотливому исследованию европейской и арийской природы Грааля. Не имеет смысла рассказывать, как и почему его жизнь в 1939 году оборвалась, но и тут есть место предположениям... Можно ли скинуть со счетов пример смерти Ингольфа? Ран проследил взаимосвязь золотого руна аргонавтов и Грааля. В общем, совершенно ясно, как сопрягаются между собой мистический Грааль из легенды, философский камень и тот источник неограниченного могущества, к которому стремились люди, верные идеалам Гитлера, с самого кануна войны и до последней капли крови. Скажу вам еще, что в одном из вариантов легенды аргонавты наблюдают чашу — повторяю, чашу, — зависшую над Мировой Горой, где растет Дерево Света. Аргонавты находят золотое руно, и их корабль чудодейственно переносится на Млечный Путь, в небеса южного полушария, где в окружении созвездий Креста, Треугольника и Алтаря торжествует и утверждает световую природу Бога. Треугольник символизирует Троицу, Крест — высочайшее самопожертвование во имя любви и, наконец, Алтарь — это стол Вечери, несущий на себе Кубок Воскресения. Несомненно кельтское, чисто арийское происхождение этих образов.

Полковник, по-видимому, находился в той же самой героической экзальтации, как та, которая довела до высочайшего самопожертвования его любимого оберштурмунддранга или как его к чертям звали. Приходилось вернуть полковника к грубой действительности.

— Приблизимся к выводам, — предложил я.

— Господин Казобон, вы что, сами не в состоянии сделать выводы? Речь велась о Граале как о Люциферовом камне, этот образ сближался с фигурой Бафомета. Грааль представляет собой источник энергии, тамплиеры — хранители тайны неисчерпаемой энергии, вот они и намечают свой суперсекретный План. Каковы их опорные пункты? Тут-то, уважаемые господа, — и полковник окинул нас многозначительным взглядом, как будто мы конспирировались с ним в одну шайку, — я расследовал одну версию, ошибочную, но нужную. Один сочинитель, который, надо думать, каким-то образом оказался в курсе некоторых тайных данных, по имени Шарль-Луи Каде-Гассикур

(в частности, его сочинение имелось и в библиотеке Ингольфа), в 1797 году издал труд под названием «Гробница Жака де Молэ или Тайна заговорщиков, стремившихся знать все», где он утверждает, что Молэ перед смертью основал четыре тайных общества — в Париже, в Шотландии, в Стокгольме и в Неаполе. Эти четыре ложи якобы имели своей целью уничтожить всех коронованных особ и свергнуть власть римского папы. Безусловно, Гассикур перегибает палку, но я использовал общие очертания его идеи для того, чтоб установить, где же на самом деле тамплиеры собирались разместить свои опорные пункты. Я не мог бы разгадать загадки их завещания, если бы у меня отсутствовала руководящая идея... само собой разумеется. Но она у меня была, и она состояла в уверенности, основанной на бесчисленных очевидных фактах, что природа храмовничества — кельтская, друидическая по происхождению, — содержала в себе дух северного арийства, который по традиции обычно сопрягается с островом Авалон, центром подлинной гиперборейской цивилизации. Вы, конечно, знаете, что у различных авторов Авалон отождествляется то с садом Гесперид, то с Ultima Thule,^[53] то с Колхидой золотого руна. И совсем не случайно, что самая почетная рыцарская награда в истории носит имя «Золотое руно». Таким образом, становится понятно, что закодировано под обозначением «донжон», замок. Гиперборейский замок, в котором тамплиеры охраняли свой Грааль, — то же самое, что Монсальват легенды!

Он выдержал паузу. Он хотел, чтоб мы впились в него выжидательным взором. Мы впились.

— Теперь второе указание. Хранители печати должны отправиться туда, где имеется некто или нечто связанное с хлебом. Этот адрес сам по себе довольно ясен. Грааль — чаша с кровью Христовой, хлеб — плоть Христа, место причащения хлебу — место, где состоялась Тайная Вечеря, то есть Иерусалим. Невозможно допустить, чтобы тамплиеры, после сарацинского завоевания, не сохранили за собой в Иерусалиме какие-то тайные явки. Честно говоря, поначалу меня беспокоило вторжение иудейского элемента в План, выдержанный целиком в духе арийской мифологии. Потом же я, продумав эту позицию, пришел к выводу, что мы напрасно продолжаем представлять себе Христа порождением иудейской религии, как хотела бы представить это римская церковь. Тамплиеры

же придерживались мнения, что Иисус — это кельтский миф. Все евангельское повествование — это герметическая аллегория возрождения, приходящего на смену растворению в недрах земли, и так далее и тому подобное. Христос есть не что иное как Эликсир алхимиков. С другой стороны, как всем известно, Троица — арийское представление, и именно поэтому уложение храмовничества, составленное испытанным друидом, каким был Святой Бернад, основывается на цифре три.

Полковник выпил большой глоток воды. Голос его звучал хрипло. — Перейдем же к третьему этапу. Убежище. Тибет.

— Почему Тибет?

— Потому что прежде всего фон Эшенбах говорит, что тамплиеры оставили Европу и перенесли свой Грааль в Индию. Колыбель арийства. Убежище — это Агарта, местожительство правителя всего мира, подземный город, в котором Старшины Мира определяют историю человечества и повелевают ею. Тамплиеры разместили один из своих опорных пунктов там, у самых источников собственной духовной силы. Вам известны взаимосвязи между царством Агартой и Синархией...

— Честно сказать, не вполне...

— Тем лучше для вас. Некоторые знания могут быть смертельны. Не станем отклоняться. В любом случае, всем известно, что Агарта была основана шесть тысяч лет назад, на заре эры Кали-Юга, в которой мы пребываем до сих пор. Задачей рыцарских орденов искони было поддержание контактов с этим таинственным центром, активный взаимообмен между мудростью Востока и мудростью Запада. И таким образом ясно, где намечалась состояться четвертая встреча. В другом святилище друидов, в городе Девы — то есть в Шартрском соборе. Шартр по отношению к Провэну располагается на другом берегу крупнейшей реки Иль-де-Франса — Сены.

Мы не поспевали за нашим гуру. — Но каким образом попадает Шартр в ваш кельтский друидический маршрут?

— А вы как думаете, откуда происходит образ Приснодевы? Первые девственницы, появившиеся в Европе, это черные девы кельтов. Святой Бернад в молодости преклонял колена в церкви в Сен-Вуарле перед черной девой, и у той из сосцов выделились три капли молока и упали на губы будущего основоположника тамплиеров.

Отсюда повелись романы о Граале — как прикрытие для крестовых походов, и начались крестовые походы — как прикрытие для поисков Грааля. Что бенедиктинцы — духовные наследники друидов, это известно всем.

— Но где же находятся эти черные девы?

— Их уничтожили те, кому выгодно было извратить северную традицию и преобразить кельтскую религию в средиземноморскую, используя придуманный ими же миф о Марии Назаретянке. Тех, которых не удалось уничтожить, замаскировали, обезобразили — таковы те черные мадонны, которые и в наши дни часто являются предметом массового фанатичного поклонения. Однако если вы примете всерьез святые изображения в соборах, как принял знаменитый Фульканелли, вы увидите, что они открытым текстом передают взаимосвязь между кельтскими девами — и алхимической традицией тамплиерского происхождения, которая видит в черной деве символ первородного вещества, с которым работали искатели философского камня, который в свою очередь, как мы уже знаем, не что иное как Грааль. Теперь призадумайтесь, из каких источников черпал вдохновение знаменитый выученик друидов, Магомет, заложив черный камень в Мекке? В Шартре кому-то понадобилось замуровать крипту, которая ведет в подземную молельню, где до сих пор находится древняя языческая статуя, а если хорошо поискать, в этом соборе можно найти и черную деву Нотр-Дам дю Пиллье, высеченную каноником-одинистом. Статуя имеет в руке магический цилиндр великих жриц бога Одина, а слева от нее высечен магический календарь, на котором были изображены — я говорю были, потому что эти скульптуры не избегли разрушения от рук вандалов, правоверных каноников, — были изображены священные животные одинизма, собака, орел, лев, белый медведь и вурдалак. С другой стороны, ни от кого, кто интересуется готическим эзотеризмом, не укрылось, что там же в Шартре находится статуя, держащая в руках чашу Грааля. Эх, господи, если бы до сих пор было принято видеть Шартрский собор не в том свете, в котором его пытаются представлять туристские путеводители, католические, апостолические, римские, а глазами Предания, ту истинную историю, которую рассказывает эта крепость Эрец...

— Но надо переходить к попликанам.

— Да. Катары. Один из терминов для обозначения еретиков. Павликиане или попликане. Провансальских катаров к тому времени уничтожили, я не настолько наивен, чтобы верить в пресловутый слет на руинах Монсегюра. Однако секта не погибла, мы располагаем всей географией подпольного катаризма, из которого произошли и Данте, и поэты «Дольче стиль нуово», и секта Преданных любви. Значит, пятая назначенная встреча имела место где-то в северной Италии либо в южной Франции.

— А последняя?

— Камень? Что же это может быть, если не самый старый, самый славный, самый крепкий из всех кельтских камней, святилище солярных божеств, лучшая из обсерваторий, в которой соберутся для завершения Плана потомки провэнских тамплиеров и сопоставят, на своем великом съезде, все тайны, скрытые под всеми шестью печатями, и в конце концов откроют способ использования бесконечного могущества, которое связано с владением Святым Граалем? Конечно, это Англия, это магическая окружность Стоунхенджа! Что же еще?

— *O basta !?!* — произнес Бельбо. Только пьемонтцы способны понять весь смысл этого выражения, вежливо обозначающего крайнюю степень удивления. Ни один из эквивалентов в других языках или диалектах (*что ты говоришь! dis donc, are you kidding?*) не способен передать это фатальное чувство, когда вы внезапно теряете к разговору интерес, а ваш собеседник становится для вас безнадежно скучным.

Однако полковник никогда не жил в Пьемонте, и реакция Бельбо ему польстила.

— Ну да! Вот вам весь план, вот ordonation в своей прекрасной простоте и логике! Заметьте еще: если взять карту Европы и Азии и провести на ней линию этапов осуществления плана с севера до дворца в Иерусалиме, от Иерусалима до Агарты, от Агарты до Шартра, от Шартра до берегов Средиземного моря, а оттуда — до Стоунхенджа, получится руническая линия следующей формы.



— И что из этого? — поинтересовался Бельбо. — А то, что в точности такими линиями можно соединить в воображении некоторые из главных центров эзотеризма тамплиеров: Амьен, Труа, королевство святого Бернарда на опушке Восточного Леса, Реймс, Шартр, Рэн-ле-Шато и гору Сен-Мишель, древнейшее место друидского культа. И этот же рисунок напоминает созвездие Девы!

— Астрономия — это моя страсть, — робко признался Диоталлеви, — насколько я помню, в созвездие Девы входят одиннадцать звезд и рисунок его совершенно иной... Полковник снисходительно улыбнулся. — Господа, господа, вы знаете лучше меня, что все зависит от того, как вы проводите линию: по желанию может получиться Воз либо Медведица, и вам известно, как трудно решить, относится ли к этому созвездию одна из звезд или нет. Давайте еще раз посмотрим на Деву, примем Колос за точку отсчета, соответствующую берегу Прованса, и возьмем только пять звезд — сходство будет поразительным.

— Осталось только определить, какие звезды не берутся в расчет, — сказал Бельбо.

— Именно так, — подтвердил полковник.

— Послушайте, — спросил тогда Бельбо. — Почему вы исключаете, что встречи регулярно происходили и что рыцари уже приступили к своему делу, только нас об этом не поставили в известность?

— Нет, я не вижу признаков подобного, и позвольте мне добавить «к несчастью». Цепочка оборвалась; тех, которым было предназначено завершить ее, скорее всего, уже нет на этом свете. Отряды тридцати шести рассеялись в результате какой-то планетарной катастрофы. Но некая группа, некий отряд, располагающий правильной информацией, мне кажется, мог бы и подхватить оборванные судьбой нити. Я ищу правильных людей. Для этого я хочу опубликовать свою книгу — чтобы стимулировать их активность. В то же время мне хотелось бы встретиться и с теми, кто способен помочь мне найти какие-либо

подсказки в дебрях традиционной науки. Сегодня я встречался с крупнейшим экспертом по данному вопросу. Однако, увы, хотя речь идет о мировом светиле, он не смог сообщить мне ничего, хотя и явно заинтересовался моей работой и обещал написать предисловие...

— Но извините, — перебил его Бельбо. — Не было ли опасно делиться подобной тайной с этим господином? Вы ведь сами говорили о неосторожности Ингольфа и чем это кончилось...

— Помилуйте, — возразил ему полковник. — Ингольф был легкомыслен. Я же вышел на связь с лицом, находящимся вне каких бы то ни было подозрений. С ученым, который остерегается непроверенных гипотез. До такой степени, что сегодня он просил меня отложить встречу с издателями, не представлять материал, покуда в нем остаются хотя бы минимальные неясности или несоответствия... Я не хотел лишаться его симпатии и поэтому не сказал ему, что намерен посетить вас немедленно. Но вы, безусловно, поймете, что после стольких трудов я испытываю законное нетерпение. Это лицо... Ладно, оставим недомолвки, назовем вещи своими именами, а то вы можете подумать, что здесь пустое бахвальство. Так вот: мой собеседник был Раковски... И он обвел нас глазами.

— Кто? — переспросил Бельбо, явно разочаровав полковника.

— Как! Раковски! Крупнейшее имя в традиционной науке, бывший главный редактор «Журналь дю секрэ»!

— А-а, — промычал Бельбо. — Да-да, я слышал, Раковски, конечно...

— В любом случае, я оставляю за собой право внести окончательные поправки в рукопись после серии консультаций с этим лицом. Но пока что, дабы сэкономить время, я предпочитаю завершить все предварительные формальные стадии с вашим издательством... Повторяю, время не терпит, я должен как можно скорее опубликовать это, вызвать ответные реакции, собрать данные... Есть люди, которые много знают, но молчат. Господа! Невзирая на то, что уже было известно, что война проиграна, как раз около 1944 года Гитлер заговорил о секретном оружии, которое позволило бы ему радикально изменить соотношение сил. Говорили, что он безумен. А если он не был безумцем? Вы следите за моей мыслью? — Лоб его был усеян потом, усы торчали как у кота. — В общем, — заключил он, — я заброшу наживку. Посмотрим, кто на нее отзовется.

По тому впечатлению, которое успело у меня сложиться, я мог ожидать, что Бельбо двумя-тремя вежливыми фразами избавится от него. Вместо этого я услышал:

— Знаете что, полковник, это мне кажется в высшей степени интересным. Нужно только подумать, что имеет для вас наибольший смысл — иметь дело с нашим издательством или с каким-либо другим. У вас есть еще десять минут?

Затем Бельбо обратился ко мне: — Мы продержали вас массу времени, Казобон. Большое вам спасибо. Давайте увидимся завтра, хорошо?

Меня выставляли. Диоталлеви подхватил меня под руку и сказал, что он тоже уходит. Мы распрощались. Полковник с жаром пожал руку Диоталлеви, а мне достался полупоклон и прохладная улыбка.

Пока мы спускались по лестнице, Диоталлеви прервал молчание:

— Вы, наверное, удивились, когда Бельбо вас выпроводил. Не обижайтесь. Он просто должен сделать полковнику конфиденциальное издательское предложение. Конфиденциальность — главный принцип господина Гарамона. Я тоже не присутствую на подобных переговорах.

Как я понял впоследствии, Бельбо замыслил толкнуть полковника прямо в пасть Мануцио. Я повлек Диоталлеви к Пиладу, где заказал себе кампари, а Диоталлеви — ликер из ревеня, который он воображал почему-то напитком монашеским, архаичным и почти тамплиерским. Я спросил, что он думает о полковнике.

— В издательствах, — отвечал Диоталлеви, — сосредотачивается вся глупость мира. Но так как эта глупость осияна мудростью Всесоздателя, мудрец наблюдает за глупцом со смирением. — И тут же начал прощаться. — Меня ожидает пир. — сказал он.

— Идете в ресторан? — переспросил я... Он явно был фраппирован моей легковесностью.

— «Зогар», ^[54] — пояснил он. — «Легх Легха». Доныне неистолкованный отрывок.

*... des grales, der so swaere wigt
daz in du valschlich menscheit
nimmer von der stat getreit.* [\[55\]](#)

Woltram von Escherbach Parzival, IX, 477

Полковник мне не понравился, но запомнился. Можно ведь долго и с восхищением наблюдать, скажем, за гадюкой. Видимо, я впитывал тогда первые испарения того яда, который, действуя много лет, отравил нас всех, довел до гибели.

На следующий день я зашел к Бельбо и мы поболтали о вчерашнем посетителе. По мнению Бельбо, типичный буйный бред. — Как он говорил о своем Рокоссовском, Ростроповиче, вроде это по меньшей мере Кант?

— И бред начался бог весть когда, — добавил я. — Сначала один псих, Ингольф, уверовал в свою бумажку, а сейчас этот псих полковник верит в бумажку Ингольфа.

— Это было вчера. Во что он верит сегодня — не знаю. Скажу вам, что под конец я устроил ему встречу в одном солидном издательстве... неважно, в общем, оно иногда публикует книги за счет авторов. Он вроде был счастлив от этой перспективы. Так вот — его прождали сегодня все утро, он и не появился и не позвонил. А у нас он забыл свою драгоценную ксерокопию. Раскидывает тамплиерские секреты как фантики. Несерьезные люди нас окружают. Именно в эту минуту звякнул телефон. Бельбо поднял трубку. — Да, я Бельбо. Да, это «Гарамон». Слушаю вас... Да, он был вчера вечером. Предлагал нам рукопись. Извините, здесь проблема издательской этики. Если вы мне можете объяснить...

Несколько секунд он молча слушал, потом поднял на меня глаза, бледнея: — Полковника убили, или что-то в этом роде... — Затем он вернулся к своему собеседнику: — Извините, это я говорю Казобону, нашему сотруднику, он вчера присутствовал при разговоре... Да, полковник Арденти вчера предложил нам рукопись, исследование,

которое мне показалось довольно надуманным, о поиске предполагаемых сокровищ тамплиеров. Это средневековый рыцарский орден...

Тут он невольно прикрыл рукой микрофон, как бы собираясь сообщить что-то мне по секрету, помедлил, убрал руку и продолжил свою речь необычно оживленным голосом.

— Нет, комиссар Де Анджелис. Этот господин рассказывал что-то о книге, которую только собирался написать. Нечто весьма туманное... Что? Вместе с ним, оба? Прямо сейчас? Ладно, говорите адрес.

Затем он повесил трубку и несколько секунд барабанил пальцами по столу. — Вот что, Казобон, вы должны меня извинить, я просто не подумал и ввязал вас в эту историю. Просто от неожиданности. Комиссар полиции Де Анджелис. Вроде бы этот полковник жил в пансионе, и кто-то утверждает, что видел его труп вчера вечером...

— Утверждает? А что комиссар — не знает?

— Да, это непонятно, но комиссар не знает. Якобы нашли в его ежедневнике мое имя и запись о встрече. Кажется, это их единственный след. Поздравляю. Надо идти.

В такси Бельбо взял меня за локоть.

— Казобон, скорее всего это совпадение. Но в любом случае... в наших краях не любят называть имена. Помню одно рождественское представление на диалекте — волхвы спрашивают у пастуха, как зовут его хозяина. Он говорит: Джелиндо. В каждой пьемонтской деревне сто Джелиндо. Ну ладно. Когда хозяин узнает, что батрак сказал волхвам его имя, он колотит батрака и приговаривает: помни, каналья, имя нельзя открывать кому попало... Наверное, лучше не забивать комиссару голову. Если вы не возражаете, полковник ничего нам не говорил ни об Ингольфе, ни о послании из Провэна.

— Чтобы с нами не произошла такая же досадная неприятность, — подхватил я, стараясь улыбнуться.

— Повторяю: чистая глупость с моей стороны. Но от некоторых вещей лучше держаться подальше.

Я сказал, что согласен, но в глубине души волновался. Как ни крути, я учился в университете, время от времени участвовал в демонстрациях — входить в отношения с полицией мне не улыбалось. Мы доехали до пансиона, не первой категории и далеко от центра. Нам сразу показали квартиру — там номера назывались квартирами. На

лестнице полиция. Поднялись в номер двадцать семь (два плюс семь — девять, автоматически отметил я). Спальня, коридор со столиком, угол для готовки, душевая без занавески, дверь была полуприкрыта, так что не видно, есть ли биде, но в подобных местах биде, вероятно, это первое и единственное удобство, которого требуют все клиенты. Обстановка жалкая, личных вещей мало, но все перекопано и перевернуто — кто-то вывалил вещи в спешке из шкафов и чемоданов. Может быть, те же полицейские, которых, как в униформе, так и в штатском, я насчитал человек десять.

Навстречу нам двинулся достаточно молодой мужчина с достаточно длинными волосами.

— Де Анджелис. Доктор Бельбо? Доктор Казобон?

— Я еще не доктор. Только кончаю университет.

— Кончайте его, кончайте. Пока не защититесь, вас не возьмут работать к нам в полицию. Не представляете, как это увлекательно. — Вид у него был раздраженный. — Кончим кстати и с предварительными формальностями. Вот паспорт, принадлежавший жильцу этой комнаты, зарегистрированному как полковник Арденти. Вы его опознаете?

— Это он, — ответил Бельбо. — Но объясните мне, в чем дело. По телефону я не понял, он погиб или...

— Это я предпочел бы узнать от вас, — произнес комиссар, и лицо его передернулось. — Но вы, безусловно, имеете право на более полную информацию. Так вот, господин Арденти, именующий себя полковником, въехал в пансион четыре дня назад. Вы, наверное, отметили, что здесь не Гранд Отель. Есть швейцар, который уходит спать в одиннадцать, потому что жильцам выдаются ключи от нижней двери, одна-две уборщицы, работающие по утрам, и старый пьяница, который носит чемоданы и выпить клиентам в номер, когда они вызывают. Пьяница, повторяю еще раз, и в придачу склеротик. Допрашивать его — дикая мука. Швейцар утверждает, что у того особое пристрастие к привидениям и что он уже напугал не одного клиента. Вчера вечером, около двадцати двух, швейцар видел, как Арденти возвратился в номер с двумя гостями. Здесь можно приводить хоть по десять перелицованных шлюх, так что два нормальных человека не могли привлечь интереса, хотя швейцар утверждает, что заметил у них иностранный акцент. В половине одиннадцатого

Арденти вызвал старца и заказал виски, бутылку минеральной и три стакана. Около часу, может быть в полвторого, старик услышал из двадцать седьмого, что кто-то обрывает звонок. Но судя по тому, в каком виде мы его застали сегодня, к тому моменту старичина уже здорово поднабрался какой-то дряни. Он якобы идет в номер, стучит, не отвечают, он открывает дверь универсальным ключом и видит беспорядок, а полковник лежит на кровати с вытаращенными глазами и с проволокой вокруг шеи. Тот удирает со всех ног, будит швейцара, ни тот ни другой больше идти туда не желают, хватаются за телефон, но линия повреждена. Утром сегодня линия работала превосходно. Но будем верить тому, что они говорят. Тогда швейцар бежит на угол в телефон-автомат и звонит в квестуру, в то время как старичок тащится на квартиру к врачу. В общем, они отсутствуют около двадцати минут, приходят обратно и сидят у себя внизу, перепуганные, доктор тем временем одевается и поспекает в пансион одновременно с машиной полиции. Все поднимаются в двадцать седьмой номер, где на кровати никого нет.

— Как никого нет? — переспросил Бельбо.

— Вот так, трупа нет. После чего врач возвращается к себе домой, а мои коллеги осматривают то же, что видите и вы. Снимают показания с портье и с этого старика. Куда девались двое, приходившие к Арденти? А кто их разберет, могли уйти и от одиннадцати до часу, никто бы не обратил внимания. Были они еще в номере, когда туда поднялся старик? А как можно знать, он пробыл одну минуту, не заглядывал ни в кухонный угол, ни в туалет. Могли они уйти, когда эти два остолопа отправились за помощью, и вынести мертвеца? И это вполне возможно, к тому же имеется лестница, выходящая во двор, а из двора выезд на параллельную улицу. Но прежде всего, кто мне скажет, был ли на самом деле этот труп или полковник удалился до наступления ночи с двумя своими знакомыми, а остальное все старику приснилось? Швейцар твердит, что этому типу не впервой видеть призраков и что несколько лет назад он уже докладывал, будто видел одну постоялицу повешенной в голом виде, а через полчаса она спустилась из номера свежая как цветок, а на раскладушке старика был обнаружен садомазопорнографический журнал, скорее всего, у него родилась великолепная идея подсмотреть за той дамой в замочную скважину и он увидел занавеску,

развевающуюся на ветру. Единственный точный факт, которым мы располагаем, это что комната в непотребном виде и что Арденти испарился. Вот я вам рассказал что мог, теперь слово за вами, доктор Бельбо. Единственный имеющийся у нас след — этот листок, найденный под столом. 14–00, отель Принц Савойский, господин Раковски. 16–00, «Гарамон», доктор Бельбо. Вы подтвердили, что он приходил к вам. Теперь расскажите, как было дело.

*al des grales pflihtgesellen
von in vregens niht enwellen.* [56]

Wolfram von Eschenbach, Parzival, XVI, 819

Бельбо говорил недолго, он повторил то же, что было сказано по телефону, почти без новых деталей, не считая второстепенных: что полковник рассказал невнятную историю, как будто он напал на след неких сокровищ, на основании документов, найденных во Франции. Не более того. У нас, сказал Бельбо, сложилось впечатление, что он считает свой секрет опасным, и хотел бы рано или поздно обнародовать его, чтобы не быть единственным хранителем. Он ссылался на опыт каких-то предшественников, которые якобы после разгадки секрета таинственно исчезали. Он готов был показать нам документы, но только после подписания контракта, а Бельбо не мог подписывать контракт, не посмотрев на материалы, и стороны разошлись, договорившись увидеться в будущем. Полковник действительно упоминал о встрече с неким Раковски, добавив, что тот — бывший главный редактор «Журналь дю секрэ». Собирался обратиться к тому за предисловием. Раковски, кажется, советовал ему не торопиться с публикацией. Полковник скрыл от Раковски, что собирается в «Гарамон». Все.

— Ясно, ясно, — сказал Де Анджелис. — Какое он произвел впечатление?

— Человека неуравновешенного. Явно страдает ностальгией по былым геройствам, по иностранному легиону.

— Да, он геройствовал в легионе, и не только там. Мы вообще-то за ним давно присматривали, хотя не очень строго. Знали бы вы, сколько у нас таких молодцов. Его на самом деле зовут не Арденти, хотя французский паспорт — настоящий. Он уже несколько лет появляется в Италии наездами и был опознан, но не стопроцентно, как некий капитан Арковеджи, приговоренный к смертной казни заочно в 1945 году. Сотрудничество с СС, бог знает сколько народу отправлено

им в Дахау. Во Франции за ним тоже наблюдали, он был судим за мошенничество и выкрутился чудом. Предположительно, повторяю, предположительно, но не точно, он есть и то лицо, которое под именем Фассотти в прошлом году жульнически предлагало одному мелкому миланскому промышленнику войти с ним в долю для разыскания сокровищ Муссолини. Фассотти утверждал, что знает, где именно перед расстрелом в Донго дуче успел опустить в озеро Комо сундуки с золотом, драгоценностями и документами, и что достаточно нескольких десятков тысяч долларов, чтобы нанять водолазов и катер... Получив деньги, исчез. Теперь и от вас я слышу, что сокровища — его пунктик.

— Что насчет Раковски? — спросил Бельбо.

— Уже запросили. В «Принце Савойском» действительно зарегистрировался Раковски, Владимир, с французским паспортом. Почтенный господин, особых примет не имеется. Словесный портрет совпадает с тем, который получен от тутошнего швейцара. В аэропорту говорят, что он был зарегистрирован на сегодняшнем раннем рейсе на Париж. Я задействовал Интерпол. Маурицио, есть новости из Парижа?

— Пока что нет, комиссар.

— Вот вам. В общем, полковник Арденти, или кто там за него, появился в Милане четыре дня назад, чем он занимался первые три — поди угадай, вчера в два предположительно встретился с Раковским у того в гостинице, скрыл от того, что направляется к вам... Это существенная деталь. Вечером он возвращается в гостиницу, скорее всего с тем же Раковским и еще с каким-то субъектом. После чего наступает полный туман. Если даже его и не убили, в любом случае номер обыскали. Чего ради? Что они ищут? В его пиджаке — да, вот еще, если он ушел действительно на своих ногах, то в любом случае без пиджака, пиджак с паспортом остался в номере, но не думайте, что этим дело облегчается, потому что старец клятвенно утверждает, что на кровати труп лежал в пиджаке, но что это могла, с другой стороны, быть комнатная куртка, попробуйте работать с подобными показаниями. Ладно, я говорил про пиджак. Там оказалось довольно много денег, я бы сказал, чересчур много... Значит, эти люди искали не деньги. Единственную подсказку в данном деле я могу получить от вас. У полковника были какие-то документы? Как они выглядели?

— Коричневая папка, — сказал Бельбо.

— А по-моему, красная, — вмешался я.

— Коричневая, — повторил Бельбо. — Но я не очень запомнил.

— Красная или коричневая, — сказал комиссар, — но здесь нет никакой. Вчерашние посетители унесли ее. Значит, именно эта папка — ядро детектива. Я думаю, что ваш Арденти совсем не собирался публиковать книгу. Он накопил какие-то данные, чтобы шантажировать Раковского, и пытался использовать издательские контакты как пружины давления на того. Вполне в его стиле. Что дает нам возможность выдвинуть новые гипотезы. Парочка уходит, ограничившись угрозами. Арденти перепуган и решает оторваться, бросает все на свете и забирает только папку. И неизвестно ради какой цели устраивает так, чтобы старик засвидетельствовал, что видел его труп. Хотя это немного слишком романтично и не объясняет перерытую комнату. С другой стороны, если те двое его убили и забрали папку, зачем им забирать еще и труп? Ладно, будем разбираться. Извините, мне необходимы ваши документы. Он повертел мой студенческий билет. — Философия, так, так.

— Не я один, — парировал я.

— Лучше бы вас было меньше. Значит, занимаетесь тамплиерами. Что я должен читать, чтобы понять все про этих тамплиеров?

Я назвал ему две книги, популярные, но достаточно серьезные. Добавил, что настоящие сведения о тамплиерах относятся только к периоду до процесса, все что было потом — голословные измышления.

— Понятно, понятно, — сказал он. — Еще и тамплиеры на мою голову. На эту группировку у меня еще досье не было.

Появился Маурицио с телефонограммой. — Только что получено из Парижа.

Комиссар прочитал. — Очень прекрасно. В Париже Раковского знать не знают, паспорт с этим номером украден два года назад. Очень превосходно. Господина Раковского на свете нет. Вы говорили про как его там... — он заглянул в свои записи, — «Журналь дю секрэ». Запросим информацию. Но я и без нее знаю, что либо такого журнала нет вовсе, либо он прекратил выходить еще при царе Горохе. Хорошо, господа. Спасибо вам за сотрудничество, может быть, мне придется еще раз другой вас потревожить. А кстати, последний вопрос. Этот

Арденти намекал на свои связи с какими-либо политическими объединениями?

— Нет, — сказал Бельбо. — Намекал, что оставил политику ради сокровищ...

— ...а не был вытурен за бездарность. — Комиссар повернулся ко мне: — Вам, наверно, полковник не понравился.

— Этот тип людей мне несимпатичен, — ответил я. — Но я не давлю их железными проволоками. Разве что мысленно.

— Конечно, конечно. Возиться вам лень. Не беспокойтесь, господин Казобон, я не из тех, кто считает, что все студенты террористы. Идите с богом. Счастливого диплома.

Прощаясь, Бельбо спросил: — Простите, комиссар, просто чтоб знать. Вы из угрозыска или из органов?

— Тонкий вопрос. Мой коллега из угрозыска был тут ночью. Так как потом в архивах обнаружилось кое-что на вашего друга Арденти, к делу подключили меня. Я из органов. Но не знаю, хорошо ли подхожу на свое место. Жизнь не так проста, как можно подумать по детективам.

— Я и сам догадывался об этом, — процитировал старый комикс Бельбо. Пожал руку комиссару и вышел.

Мы ушли, но определенную неловкость я продолжал ощущать. Не в комиссаре было дело, он как раз оказался неплохим, — а во мне самом, я впервые в жизни очутился в скользком положении. Лгал. И Бельбо лгал тоже. При прощании у подъезда «Гарамона» обоим было не по себе. — Да ничего мы страшного не сделали, — сказал Бельбо виноватым голосом. — Будет комиссар знать об Ингольфе и катарах или не будет — что это меняет? Зачем повторять такой бред? Полковник мог улетучиться по тысяче причин. Может быть, Раковский из Моссада и наконец восстановил справедливость. Может быть, он работает на какого-нибудь крутого босса, которого наш полковник обжулил. Может быть, это старый дружок по Иностранному легиону и они что-нибудь не доделили. Или киллер из Алжира. Скорее всего, погоня за тамплиерскими кладами занимает второстепенное место в судьбе полковника. Да, я понимаю, исчезла только та папка, красная или коричневая... М-да. Хорошо, что вы мне возразили, тем самым твердо дали понять, что я видел ее только краем глаза... Я молчал, а Бельбо не знал, как ему закончить.

— Ну, скажите, что я опять сбежал, как тогда на демонстрации.

— Глупости какие. Все правильно. Я пойду. Мне было его жалко, потому что он чувствовал себя подлецом. Я же не чувствовал, потому что меня еще в школе научили, что полиции надо врать. Из принципа. Но правы те, кто говорит, что от нечистой совести дружба портится.

С того дня мы не встречались. Я был бы для него ходячим упреком, он — для меня.

Но этот случай еще раз доказал ту закономерность, что студент всегда выглядит подозрительнее, нежели выпускник университета. Я проработал еще год и написал двести пятьдесят страниц о суде над тамплиерами. В те времена защита диплома равнялась свидетельству о лояльности по отношению к государству, и поэтому на защите со мной обошлись мягко.

Через несколько месяцев многие студенты приступили к вооруженным акциям, эпоха больших демонстраций под открытым небом заканчивалась.

У меня было ужасно мало идеалов. Но имелось алиби: в лице Ампаро я обнимал стопроцентное воплощение третьего мира. Ампаро отличалась красотой, марксистской идеологией, бразильским подданством, энтузиазмом, раскованностью. Все было при ней: восхитительно перемешанная кровь и годовая стажировка в Италии, увы, близившаяся к концу.

Мы встретились на одной вечеринке и я повел себя спонтанно, предложив ей сразу же заняться любовью. Предложение имело успех. Спустя некоторое время та же Ампаро переслала мои бумаги в университет Рио, где как раз требовался преподаватель итальянского. Со мной заключили контракт на два года при возможности продления. В Италии мне становилось тесно, и я уезжал с удовольствием. К тому же в Новом Свете, сказал я себе, не будет тамплиеров.

Какая ошибка, прокомментировал я эту мысль в субботу вечером в музее, в перископе. Взойдя по ступеням «Гарамона», я был введен во Дворец. Говорил же Диоталлеви: Бина есть Дворец, который вырастает из первоначального замысла, Заложеного в сефире Хохма. Хохма — это источник, Бина — река, берущая начало из него, до тех пор, куда все не ввергнутся в великое море последней из сефирот, а в сефире Бина уже заранее оформлены все формы.

ХЕСЕД

Аналогия противоположных есть взаимоотношение света к тени, пика к бездне, полного к пустому. Аллегория, мать любых догм, есть замена отпечатка — следом, действительности — тенью; она есть ложь истинности и истинность лжи.

Элифас Леви, Догма высокой магии.

/Eliphas Levi, Dogme de la haute magie, Paris, Bailire, 1856, XXII, 22/

Я попал в Бразилию из любви к Ампаро и остался из любви к стране.

Я никогда не понимал, почему эта дочь потомков голландцев, которые поселились в Ресифи и смешались с индейцами и суданскими неграми, девушка с лицом жительницы Ямайки и манерами парижанки носила испанское имя. Я никогда не мог осилить бразильские имена. Их не найдешь в ономастических словарях, и существуют они только в Бразилии.

Ампаро говорила, что в их полушарии, когда вода всасывается в водослив раковины, струя, образующая воронку, вращается не в ту сторону, как у нас.

Я не мог проверить, так ли это на самом деле. Не только потому, что в нашем полушарии никому и в голову не взбретет следить, в каком направлении завихряется вода, стекаемая в умывальник, но и потому, что после моих различных опытов в Бразилии я осознал, что это очень трудно заметить. Всасывание происходит слишком быстро, чтобы можно было уследить за ним, а его направление зависит, наверное, от силы и наклона струи, формы умывальника или ванны. И потом, если бы это было правдой, то что происходило бы тогда на экваторе? Вода лилась бы, вероятно, прямо вниз, не завихриваясь, или не текла бы совсем?

В те времена я решил не драматизировать эту проблему, но в субботу вечером, в перископе, мне поверилось, что все действительно зависит от теллурических глубинных токов и что Маятник бережет именно этот секрет. Ампаро была непреклонна в своей вере. «Неважно, каков будет результат опыта, — говорила она, — речь идет об идеальном законе, который можно проверить в идеальных условиях, то есть не проверить нигде. Но факт остается — закон правдив». В Милане Ампаро привлекала своей разочарованностью. В Бразилии же, ощущая праисток родной земли, она стала какой-то недостижимой, экстравагантной, способной к подкожному рационализму. Я чувствовал, что ею владеют древние страсти, но она всегда обуздывала их, патетическая в своем аскетизме, принуждавшем ее отказываться от соблазнов.

Я оценивал яркую противоречивость ее натуры, наблюдая за дискуссиями с товарищами. Собrania проходили в бедно обставленных домах, украшениями в которых служили пара плакатов, множество предметов народного творчества, портреты Ленина, северо-восточная терракота, которую обожали *sangaseiro*, или индейские фетиши. Я прибыл в Бразилию в смутное с точки зрения политики время, и, имея богатый опыт, приобретенный в своей стране, решил держаться в стороне от идеологии, особенно там, где ее не понимал. Речи товарищей Ампаро только усилили мое чувство неуверенности, хотя и открыли новые просторы для интересов. Естественно, они все были марксистами и, на первый взгляд, говорили почти как все европейские марксисты, но на самом деле речь шла об иных вещах; во время какой-нибудь дискуссии о борьбе классов они вдруг начинали рассуждать о «бразильском каннибализме» или о революционной роли афро-американских культов.

Итак, слушая речи о культах, я пришел к убеждению, что здесь даже идеологическое движение идет в обратном направлении. Они обрисовали мне в общих чертах панораму внутренних маятниковых миграций, когда обездоленные с севера направлялись на промышленный юг, становились люмпен-пролетариатом в огромных метрополиях, задыхающихся в облаках смога, потом, потеряв всякую надежду, возвращались на север, чтобы через год снова предпринять побег на юг; но во время этих колебаний многих из них всасывали в себя большие города и, поглощаемые многочисленными автохтонными

церквами, они отдавались сеансам спиритизма, взыванию к африканским божествам... И здесь товарищи Ампаро расходились во мнениях: для одних культы были возвращением к корням, противостоянием миру белых, для других — наркотиком, при помощи которого господствующий класс укрощал огромный революционный потенциал, еще для кого-то это было горнилом, в котором белые, индейцы и негры расплавлялись, обретая смутные перспективы и неясную судьбу. Ампаро верила, что религия (и особенно псевдотуземные культы) всегда была опиумом для народов. Позже, когда я держал ее за талию в Школе Самбы, пристраиваясь к серпантину танцующих, которые чертили синусоиды в невыносимом ритме барабанов, для меня стало очевидным, что она примыкала к этому миру всем своим естеством — мышцами живота, сердцем, головой, ноздрями... А потом мы выходили, и каждый раз она первая с сарказмом и горечью препарировала глубокую оргиастическую набожность, медленное, неделя за неделей, месяц за месяцем, сторание в ритуале карнавала. «Это те же племенные и шаманские нравы, — говорила она с революционной ненавистью — как и в футболе, когда проигрывающие расходуют энергию, которая пригодилась бы им для борьбы, подавляют чувство мятежа, чтобы применить заклинания и колдовство, вымаливая у богов всех возможных миров смерть для защитника противников, забывая о власти, которая доброжелательно наблюдает за их исступлением и энтузиазмом, и добровольно обрекая себя на жизнь в мире иллюзий».

Постепенно у меня исчезло ощущение различия. В этой вселенной лиц, несущих на себе отпечаток столетней истории неконтролируемой гибридизации, я привыкал не различать расы. Я отказался определять, чем отличается прогресс от бунта или — как говорили товарищи Ампаро — от заговора капитала. Разве мог я думать по-прежнему как европеец, когда узнавал, что надежды крайних левых поддерживает некий епископ Нордеста, подозреваемый в том, что в молодости симпатизировал фашистам; а сейчас он с неутомимой верой высоко возносит факел восстания, ставя все с ног на голову, чем повергает в ужас Ватикан и барракуд с Уолл Стрит, подогревая ликующий атеизм пролетарских мистиков, покоренных грозным и очень добрым ликом Богоматери, которая, одолеваемая семью скорбями, наблюдала страдания своего народа.

Однажды утром, побывав с Ампаро на ее любимом семинаре по классовой структуре люмпен-пролетариата, мы отправились на машине в сторону взморья. На пляже тут и там виднелись подношения, свечи, ритуальные белые корзины. Ампаро сказала, что это подарки Иеманже, матери вод. Машину мы остановили. Ампаро медленно подошла к кромке прибоя. Я спросил, верит ли она во все это. Она огрызнулась, что верить в это невозможно. Потом добавила: «Бабушка водила меня сюда на пляж и просила богиню вырастить меня красивой, умной и счастливой. Какой это ваш философ рассуждал о черных кошках, коралловых рожках, в смысле „это неверно, но я верю“? Ну так вот: лично я в это не верю — но это верно».

Тогда-то я и решил подэкономить на зарплатах и попытаться съездить в Баию.

Именно в то время, и я это знаю точно, меня начало убаюкивать ощущение сходства: все имеет таинственные аналогии со всем.

Возвратясь в Европу, я трансформировал эту метафизику в механику и поэтому попал в западню, из которой и сегодня не нахожу выхода. Но тогда я действовал в потемках, где различия стирались. Как и подобает расисту, я думал, что верования других могут превратить сильного человека в кроткого мечтателя.

Я изучил чужие ритмы, способы релаксации тела и ума. Я осмыслил все это в тот вечер в перископе: чтобы бороться с мурашками в конечностях, я двигал ими так, словно стучал в агогон. «Подумай только, — говорил я себе, — чтобы освободиться от власти неведомого, чтобы доказать себе, что не веришь в него, ты принимаешь его очарование». Как атеист, который видит ночью дьявола и рассуждает так: дьявола, конечно же, не существует, это только иллюзия, порожденная возбужденным сознанием, или, возможно, расстройством пищеварения, но дьявол не знает этого, ведь он верит в свою теологию наизнанку. Что могло в нем, таком убежденном в своем существовании, вызвать страх? Вы креститесь, и он, наивный, исчезает во вспышке серы.

Со мной произошло то же, что и с одним умником-этнологом, который в течение многих лет изучал каннибализм и, бросая вызов тупоумию белых, рассказывал всем, что человеческое мясо имеет изысканный вкус. Безответственное высказывание, так как никто не

сможет продегустировать это мясо. Но в конце концов кто-то, жаждущий правды, захочет проверить это на нем самом. А когда его сожрут кусок за куском, он уже не узнает, кто прав, — остается лишь слабая надежда на то, что все пройдет в соответствии с ритуалом, чтобы как минимум оправдать собственную смерть. Так же и я в тот вечер должен был поверить, что План подлинный, в противном случае в течение последних двух лет я был бы всемогущим творцом злобного кошмара. Лучше бы кошмар оказался действительностью: если вещь настоящая, то она настоящая, и ничего с этим не поделаешь.

*Sa uvez la faible Aischa dee vertiges de Nahash,
sauvez la plaintive
Heva des mirages de la sensibilite, et que les
Kherubs me gardent.* [\[57\]](#)

Жозефен Пеладан, Как становятся феями

*/Josephin Peladan, Comment on devient
Fie Paris, Chamuel, 1893, p XIII/*

Пока я блуждал в сумрачном лесу подобий, получилось письмо от Бельбо.

Дорогой Казобон,

я не знал вплоть до вчерашнего дня, что Вы в Бразилии, я как-то потерял Вас из виду и даже не знал, что Вы защитились (мои поздравления), хорошо, что ваши друзья в «Пиладе» смогли дать Ваш адрес. Я считаю, что следует поставить Вас в известность о некоторых новостях, касающихся дурацкой истории с полковником Арденти. Прошло уже больше двух лет, если не ошибаюсь, но все равно мне хочется еще раз попросить у Вас прощения за то, что, неподумав, припутал Вас к этому делу.

Я почти забыл об этом злосчастном эпизоде, но две недели назад я совершал прогулку по Монтефельтро и, в частности, побывал замке Святого Лео. В восемнадцатом веке, кажется, это было папское владение, в общем папа именно туда сослал Калиостро, заточив его в камеру без двери (туда попадали, в первый и единственный раз, через люк в потолке) и с окошком, сквозь которое приговоренный мог видеть только две приходские церкви. Там на нарах, где Калиостро спал и умер, я увидел букет роз и мне объяснили, что у него досих пор масса поклонников, паломничающих по калиостровекиим местам.

Самые настырные из пилигримов — члены «Пикатрикса», тот миланский кружок специализацией по мистериософии, выпускающий, в частности, журнал, который называется — оцените фантазию — «Пикатрикс».

Так как я любопытен и досуж, по прибытии в Милан я приобрел номер этого самого «Пикатрикса», из которого почерпнул, что через несколько дней у них намечалось собрание, звездом которого по программе было пришествие духа Калиостро. Я пошел посмотреть.

Штаб-квартира имеет следующий вид. Сплошные транспаранты скаббалистическими знаками, куча сычей, филинов, ибисов и скарабеев, а также сомнительных восточных божеств. В глубине виднеется трибуна, на просцениуме — горящие факелы, вместо подставок неотесанные поленья, в самом конце алтарь, на алтаре треугольной формы покров и статуэтки Озириса и Изиды. Вокруг расставлены: Анубис, ^[58] бюст Калиостро (я так думаю; кого же еще?), позолоченная мумия марки «Хеопс», два пятисвечных канделябра, гонг, подпертый двумя переплетенными асидами, столик, на столике платок с иероглифами, а на нем — пюпитр. Еще там были две короны, две треноги, чемоданного вида саркофаг, трон, кресло под семнадцатый век, четыре разрозненных стула — в общем, гостиная Робин Гуда. Свечи, свечонки, свечуги, сплошное пылание, понятное дело, интеллекта.

Выходят на сцену семь отроков в подрясниках цвета ясного, жара алого — цвета красного, следом за ними главный заклинатель, который в то же время исполняет обязанности заведующего «Пикатриksom» и имеет трогательную фамилию Брамбилла, общую для большинства миланских булочников. Мотая по полу розовой с прозеленью мантией, Брамбилла выводит за собою звезду программы: девицу-медиума.

Выйдя, Брамбилла увенчал сам себя тройною короной с полумесяцем, вытащил ритуальный меч, начертал на просцениуме магические фигуры, адресовался к каким-то ангельским духам, кончающимся на «эль», что

сразу напомнило мне псевдосемитскую абракадабру в полковничьем — если помните — послании Ингольфа. Но потом я об этом забыл, потому что затевалось нечто невероятное, микрофоны, стоявшие на подмостках, подключили к синтонизатору, чтобы перехватывать звуковые волны, блуждающие в пространстве. Оператор, к сожалению, справлялся неважно, и в динамиках сначала был слышен джаз, а потом «Радио Москвы». Брамбилла раскрыл свой саркофаг, вытащил оттуда «гримуар»,^[59] саблю и кадило и завыл «Придет царствие», да так, что «Радио Москвы» действительно заглохло, хотя потом, в самый драматический момент, оно бабахнуло снова, причем хором веселых казаков, знаете, которые стригут задницами по земле. Брамбилла нашел в своей книге заклинание «Ключ Соломонов», поджег пергамент на треноге, слава богу, обошлось без пожара, покричал еще каких-то божеств из храма Карнака, упрашивая, чтоб они оставили его на кубический камень Есода, а потом стал домогаться какого-то Товарища 39, и чувствуется, что этот товарищ хорошо знаком всей собравшейся публике, потому что по рядам прошло рыданье. Одна слушательница авала в транс и закатила глаза, торчали белки. «Врача, — закричали, — врача». Брамбилла тогда обращается к Высокому Могууществу Пентакулов, идевица, которую тем временем посадили в лжесемнадцативечное кресло, начинает трястись, подскакивать, Брамбилла насаждает на нее с воплями, требуя выхода на связь, точнее, требуя связи от Товарища 39, который, как к тому времени я догадался, не кто иной как сам Калиостро.

И тут-то начинается неприятная часть рассказа. Девушка в самом жалком виде, она, скорее всего, действительно страдает, с нее льет пот, она рычит, корчится, корячится и изрыгает какие-то несвязанные выкрики — не то храм, нето врата, открыть, создать пучину силы, взойти на Великую Пирамиду, Брамбилла клубится по сцене, жонглирует гонгом и зычно кличет Изиду, явзираю на все это, и вдруг девушка, на переходе от

бульканья к реву, выдаетна-гора шесть печатей, сто двадцать лет ожидания и тридцать шесть неведомых.

То есть никакого сомнения быть не может. Она имела в виду записку изПровэна. Я так и замер. Но в это время девица выдохлась, рухнула как куль,Брамбилла успокаивал ее, поглаживая виски, благословлял собравшихся своимкадиллом и говорил, что собрание окончено.

Отчасти от неожиданности, отчасти от любопытства, я приближаюсь кдевице, которая тем временем пришла в себя и уже надела потертый макинтош. Итут меня кто-то берет под локоть. Поворачиваюсь — комиссар Де Анджелис. Говорит мне оставить девицу в покое, от нас она не убежит. А мнепредлагается пройти с ним, выпить кофе. Я бреду за ним, ощущаю, что менявзяли с поличным. В баре он меня спрашивает, что я делал там и почему хотелговорить с девицей. Я негодую, говорю, что у нас еще пока не тоталитаризм ия могу ходить куда угодно и разговаривать с кем угодно. Комиссар извиняетсяи объясняет: в расследовании дела полковника у них полный штиль, но онипопробовали понять, чем он занимался первые два дня в Милане. Через год, вообразите себе, благодаря счастливейшему совпадению показаний, обнаружилось, что кто-то видел, как Арденти выходил из штаб-квартирыПикатрикса с этой вот девицей. С другой стороны, дама представляет собойинтерес и для отдела борьбы с наркобандами, как сожительница одного из их «героев».

Ну, я сказал ему, что забрел на этот шабаш совершенно случайно, но былудивлен, услышав от этой девушки одну фразу о шести печатях, которую в свое время произносил и полковник. Он заметил, что довольно интересно, что черездва года я так детально помню фразы, которые произносил полковник, а тогда, на следующий день после встречи, мог припомнить только невнятный разговор осокровищах тамплиеров. Я сказал ему на это, что именно о сокровищахполковник и произнес эту фразу и что сокровище это скрыто что-то вроде подшестью печатями, и что в

тот момент мне не показалась эта информация ценной для полиции, учитывая, что все сокровища запечатываются шестью печатями изолотыми скарабеем. Комиссар мне на это говорит, вот именно, не понимаю почему вас настолько поразили слова медиума, если на всех сокровищах припечатывают по шесть скарабеев. Тут я протестую против тона и говорю, что перед ним не рецидивист и ранее не судимый, и вообще хотелось бы понять... Он меняет тон, с широкой улыбкой начинает делиться соображениями. По его мнению, не странно, что Арденги подучивал девушку говорить именно это, он, видимо, хотел ее использовать как средство связи в поисках своих астральных контактов. Такая бесноватая — будто простая губка, фотографическая пластинка, ее подсознание больше всего похоже на луна-парк, товарищи из «Пикастрикса» промывают ей мозги каждый божий день, и не удивительно, что в состоянии транса — а в транс она действительно впадает по-настоящему, у нее психикой большие проблемы — ей припоминаются какие-то речи, которые она слышала в давние времена.

Казалось бы, хорошо, да только через два дня Де Анджелис появляется у меня в конторе и говорит мне: вы подумайте только, он пошел вчера проведать эту девушку, а ее дома нет. Он спрашивает у соседей, никто ее не видел с вечера накануне, приблизительно со времени выступления. Комиссар встопорщивается, чует неладное, ломает дверь в квартиру, там все вверх тормашками, простыни на полу, подушки в коридоре, повсюду мятые газеты, ящики выкинуты. Исчезла и она, и ее сутенер — содержатель — сожитель или как хотите называйте.

Он говорит, что если я хоть что-нибудь знаю, лучше, если я заговорю немедленно, потому что довольно странно, что девушка испарилась, и причин этому может быть, по его мнению, две: либо стало заметно, что комиссар Де Анджелис ею интересуется, либо кто-то увидел, что доктор Якопо Бельбо хочет с ней поговорить. А это значит, что все рассказанное ею в транс, не исключено, имеет

достаточно серьезную подоплеку, и, возможно, даже сами Они, Те, непонятно кто, прежде не отдавали себе отчета в том, что девицана столько информирована. «Вообразите кстати, что какому-либо моему коллеге западает в голову, что уколошили ее вы, — добавляет Де Анджелис с ласковой улыбкой. — И вы убедитесь, что лучше нам с вами маршировать в ногу». Тут мое терпение начало лопаться. Бог свидетель, что это со мной бывает не так уж часто, но я, видимо, дал это почувствовать и заодно спросил полковника, скакой стати человек, которого не оказывается дома, непременно должен быть кем-то убит, неважно, мною или не мною. Тот в ответ спросил, а помню ли я эпизод с трупом полковника. Я на это сказал, что убил я ее или похитил, но произошло это тогда, когда я находился в его обществе. Он сказал, что странно, что я так хорошо знаю, когда это произошло, и что в любом случае он наблюдал меня только до полуночи, а что случилось потом, ночью — за это он не отвечает. Я его спросил, всерьез ли он говорит всю эту нелепицу. Он меня спросил, читал ли я в своей жизни когда-нибудь детективы. И знаю ли я, соответственно, что полиция должна подозревать всех и любого, у кого не имеется на данный случай алиби блистательного, как Хиросима. Что он предлагает свою голову для пересадки сию же самую минуту, если я способен предоставить алиби на период с полуночи того вечера до следующего утра.

Что мне сказать вам, Казобон. Может быть, лучше было бы выложить ему все. Но в нашей деревне любят стоять на своем, а давать задний ход не любят.

Я пишу Вам потому, что точно так же, как я отыскал Ваш адрес, способен отыскать его и комиссар. Если он захочет связаться с Вами, Вы как минимум будете знать, какой линии придерживался я. Но так как эта линия мне кажется не самой лучшей, если Вы считаете для себя возможным, расскажите ему все. Мне очень совестно, простите за откровенность. Я чувствую себя замешанным сам не знаю в чем, и ищу любого оправдания, хотя бы в минимальной степени достойного, и не нахожу.

Наверное, действительно сказываются геныдеревенских предков. Упрямы и тупицы. Мерзкий народ.

*Вся новелла кажется мне — как говорил знакомый доктор из Вены — *unheimlich*.^[60]*

Ваш Якопо Бельбо

... и все причастные тайн, многочисленные, преданные, объединенные: иезуитизм, магнетизм, мартинизм, философия камня, сомнамбулизм, эклектизм — все родилось от них.

Ш.-Л. Каде-Гассикур, Гробница Жака де Моле

/С.-Л. Cadet-Gassicourt, Le tombeau de Jacques de Molay, Paris, Desenne, 1797, p. 91/

Письмо обеспокоило меня. Не из-за того, что меня мог бы начать разыскивать Де Анджелис, тоже мне опасность, на другом полушарии, а из каких-то других, более неуловимых причин. Тогда я решил: вероятно, из-за того, что оно рывком возвращало меня в ту жизнь, которую я оставил. Теперь-то я знаю, что смутила меня очередная цепочка совпадений, подозрение на аналогию. Инстинктивная реакция была — раздражение: все тот же Бельбо, все с теми же комплексами. Я решил вытеснить это из памяти и Ампаро ничего не рассказал.

Хорошо, что пришло второе письмо через два дня, в котором Бельбо меня успокаивал.

История с бесноватой обрела рациональное объяснение. Один осведомитель известил полицию о том, что любовник девчонки оказался в эпицентре неприятной разборки по поводу партии наркотиков, которую он распродал в розницу вместо того, чтобы передать честному оптовику, оплатившему все авансом. Таких штук у них очень не любят. Так что они просто уносили ноги.

Копаясь в газетах и журналах, разбросанных у них по квартире, Де Анджелис нашел кое-какие «Пикатрикссы» с жирными красными подчеркиваниями. В одном месте речь шла о сокровищах тамплиеров, в другом о розенкрейцерах, которые жили не то в замке, не то в пещере, как бы то ни было, там была надпись POST 120 ANNOS RATEBO^[61] и об этой компании говорилось, что они — «тридцать

шесть незаметных». Таким образом, у Де Анджелиса больше не было вопросов. Бесноватую подпитывали этой литературой (кстати, ею же питался и наш полковник), чтобы она бормотала это и подобное, когда впадала в транс. Расследование закрывалось и передавалось в отдел наркобанд.

Письмо Бельбо прямо дышало облегчением. Гипотеза Де Анджелиса выглядела наиболее экономичной.

В тот вечер в перископе я говорил себе, что, возможно, все произошло абсолютно иначе: медиум действительно процитировала несколько фраз, услышанных из уст Арденти, но речь шла о том, о чем журналы никогда не писали и о чем никто не должен был знать. В среде «Пикатрикса» был кто-то, заставивший замолчать полковника, убрав его; этот кто-то заметил, что Бельбо хотел поговорить с медиумом, и устранил девушку. Затем, чтобы направить расследование по ложному пути, он убрал также ее любовника и внушил наводчику версию о побеге.

Это просто при условии, что существовал План. Но был ли он на самом деле, если мы сами его изобрели, причем гораздо позже? Возможно ли, чтобы реальность не только превзошла вымысел, но и опередила его, иначе говоря, бежала впереди и исправляла ошибки, которые вымысел еще допустит.

И все же тогда, в Бразилии, это письмо вызвало у меня совсем другие мысли. Снова я остро ощутил, что всякая вещь имеет сходство с некоей другой. Я думал о путешествии в Баию и посвятил полдня посещению книжных магазинов, магазинов с предметами культа, а также мест, которые раньше обходил десятой дорогой. Я открыл для себя маленькие магазинчики, почти законспирированные, и торговые центры, переполненные статуэтками и деревянными идолами. Я купил «перфумадорес» Иеманжи, благоухающие ладаном таинственные фигурки, благовонные палочки, бутылки с приторно-сладкой жидкостью для распыления под названием «Священное сердце Иисуса», дешевые амулеты. И множество бестолково подобранных книг: одни для верующих, другие для тех, кто изучал верования вперемешку с заклинаниями злых духов, «Como adivinhar o future na bola de cristal» и учебники по антропологии. А также монография о розенкрейцерах.

От этого всего в моей голове был сплошной хаос, Сатанинские и мавританские обряды в Иерусалимском храме, африканские шаманы и люмпен-пролетариат с северо-востока, послание из Провэнса со своими ста двадцатью годами и сто двадцать лет розенкрейцеров.

Стал ли я странствующим шейкером, годным только для перемешивания различных напитков, или вызвал короткое замыкание, ибо ноги беспорядочно блуждали в переплетении разноцветных проводов, которые запутывались сами по себе в течение длительного времени? Я добыл книгу о розенкрейцерах. Затем я сказал себе, что если останусь в этих книжных лавках еще на несколько часов, то встречу как минимум дюжину полковников Арденти и столько же медиумов.

Я вернулся домой и официально заявил Ампаро, что мир полон дегенератов. Она обещала меня утешить, и мы закончили день вполне естественно.

Время близилось к концу 1975 года. Я решил больше не заниматься подобиями и уделить свою энергию работе. В конце концов меня наняли преподавать итальянскую культуру, а не тамплиерство.

Я углубился в философию гуманизма и обнаружил, что, не успевши выбрести из сумерек Средневековья, люди светского современного мышления не нашли ничего лучшего, как ухватиться за каббалу и чародейство.

Прообщавшись два года с гуманистами, читавшими заклинания, чтобы принудить природу сделать то, что она совсем не собиралась делать, я получил новые сообщения из Италии. Оказалось, что мои давние друзья, если не все, то многие, стреляли в затылок тем, кто с ними был не согласен, чтобы принудить людей сделать то, что они совсем не собирались делать.

Я не в состоянии был это постичь. Я решил, что, значит, отныне составляю собою часть третьего мира и что поездка в Баию назрела. Я положил в чемодан историю культуры Возрождения и давно мною купленную книгу о розенкрейцерах, пылившуюся на стеллаже.

Все предания на земле должны рассматриваться как переводы материнского, исконного предания, которое с самого Начала было поверено согрешившему человеку и его чадам.

*Луи-Клод де Сен-Мартен, О духе вещей
(«О духе традиций вообще»)*

/Louis-Claude de Saint Martin, De l'esprit des choses, Paris, Laran, 1800, II, «De l'esprit des traditions en general»/

И мне открылся Салвадор, Салвадор да Баня де Тодос ос Сантос — Всех Святых, «черный Рим» с тремястами шестьюдесятью пятью церквами, осыпающими собой склоны и приникающими к морю, и прославляющими всех богов африканского пантеона.

У Ампаро нашелся знакомый художник, примитивист, он рисовал на крупных деревянных досках мириады библейских и апокалиптических видений, раскрашенных, как средневековые миниатюры, щедро используя как коптские, так и византийские мотивы. Он, разумеется, исповедовал марксизм, революцию полагал неизбежной, а в основном нежилась целыми днями в ризницах святилища Носсо Сеньор де Бомфим (Господа Заступника), где в пароксизме *horror vacui*^[62] стены и потолок были облиты золотом, обметаны камнями, плетеницы благодарственных даров свисали с потолка, дико и прекрасно сочетались между собою серебряные сердечки, деревянные костыли, руки, ноги, изображения чудесных избавлений от среброблещущих штормов — смерчей — мальстремов — ураганов. Он привел нас в дарохранительницу соседнего храма, наполненную древней утварью из пахучей жакаранды.

— Кто изображен на этой картине, — спросила Ампаро у пономаря, — Святой Георгий?

Пономарь покосился заговорщицки.

— Считается, что Георгий, лучше так, а то каноник больно злится. А вообще это Ошосси.

Два дня художник водил нас от паперти к паперти, из капеллы в капеллу, перед нами громоздились фасады, изукрашенные, как серебряная посуда, почерневшие от времени. В церквях нами занимались морщинистые, хромоногие служки, дарохранительницы изнывали от золота и мельхиора, от перегруженных ларей и бесценных окладов. Там вдоль стен в хрустальных гробах агонизировали натуральной величины святые, сочащиеся кровью, с разверстыми язвами, усеянными рубиновой росой, и Христы, искореженные мукой, их ноги были алы от кровотечений. Из всего этого златозарного барокко вдруг проглядывали ангелы с этрусскими лицами, романские грифоны и восточного вида сирены подмаргивали с капителей.

Я не мог оторваться от старых улиц с их поющими именами — Руа да Агониа, Авенида дос Аморес, Травесса де Шико Дьябо. Мы попали в Салвадор как раз в период, когда правительство, или кто там за него, приняло решение оздоровить старый город, искоренив тысячи борделей, но процесс был еще на полупути. От подножия церквей, безлюдных и истомленных, как проказой, собственным великолепием, растягивались во все стороны вонючие переулки, а в них кишели пятнадцатилетние негритянские шлюхи, старухи, торговавшие африканскими сладостями, перегораживали улицы, сидели с кипящими котлами, жгли костры, и тут же оравы юных сутенеров отплясывали на пяточке между сточными канавами под транзистор из бара. Древние дворцы, построенные колонизаторами, увенчанные гербами, которые уже никто не мог бы распознать, давно стали тут домами терпимости.

На третий день у нашего художника была деловая встреча, и мы пошли вместе с ним в бар одной гостиницы в Верхнем городе, в отреставрированном квартале, где было полным-полно шикарных антикварных магазинов. Встреча была с одним господином, итальянцем, собиравшимся приобрести за хорошую цену большую картину, три метра на два, на которой несметные ангельские рати готовились задать трепку легионам нечистой силы.

Так состоялась наша встреча с господином Алье. Он был в приличнейшем сером костюме, невзирая на жару, в золотых очках, с розовыми щеками и серебрищейся шевелюрой. Он поцеловал руку Ампаро, как будто ему были незнакомы другие способы сказать

здрасте, и заказал шампанское. Художник торопился, Алье вручил ему пачку тревеллер-чеков и попросил доставить картину в гостиницу. Мы же задержались поболтать, Алье вполне владел португальским, но говорил с лиссабонским произношением, чем усиливался его старосветский шарм. Он расспрашивал о нас, поделился соображениями о возможных женевских корнях моей фамилии, потом поинтересовался семейной историей Ампаро и непонятно откуда угадал, что ее род происходит из Ресифи. Что же касается его собственного происхождения, он выразился туманно. — Мои истоки очень, очень отдаленны, и во мне смешались гены бесчисленных рас. Я ношу итальянское имя по названию итальянского имения одного из предков. Да, так называемая голубая кровь, но кто в наше время обращает на это внимание. В Бразилию меня привело любопытство. Меня манят все формы Предания.

Потом он сказал, что в Милане, где он проживает уже несколько лет, у него богатая библиотека по религии. — Приходите посмотреть, когда вернетесь на родину. У меня есть интересные издания — от афро-бразильских ритуалов до культов Изиды в период поздней Империи.

— Обожаю культы Изиды, — произнесла Ампаро, которой нравилось морочить людей, изображая светскую дуру. — Вы, наверное, знаете культы Изиды в совершенстве?

Алье отвечал, скромно поклонившись:

— Я знаю то немногое, что сам видел.

Ампаро попыталась отыгаться.

— А это было не две тысячи лет назад?

— Я ведь не так молод, как вы, — усмехнулся Алье.

— Вы как Калиостро, — сказал тогда я. — Ведь это он, кажется, проходя мимо распятия, громко сказал кому-то из сопровождающих: «Говорил же я в тот вечер этому иудею: будь осторожнее! Он не послушал, и вот что вышло».

Алье напрягся, и я понял, что пошутил неуместно. Естественно, я стал извиняться, но наш хозяин перебил меня с успокоительной улыбкой. — Калиостро был лгуном, ибо о нем прекрасно известно, когда и где он был рожден, и ему, к слову, не удалось прожить даже одну порядочную жизнь. Все это бахвальство.

— Да уж я думаю...

— Бахвальство и ничего более, — настойчиво продолжал Алье. — Однако это не означает, что не существовали — в частности они и ныне существуют — некие лица, способные прожить не одну, а несколько жизней. Наука пока еще настолько мало осведомлена о процессе старения, что я не исключаю, что смерть является просто — на просто результатом неправильного воспитания. Калиостро был хвастуном, однако граф Сен-Жермен^[63] хвастуном не был, и когда он утверждал, что обучился многим химическим секретам древнейших египтян, он нисколько не преувеличивал. Но так как, когда он упоминал подобные эпизоды, никто ему не верил, он из вежливости к собеседникам делал вид, будто говорит в шутку.

— Вот вы делаете вид, что говорите в шутку, чтобы уверить нас, что говорите правду, — сказала Ампаро.

— Вы не только прекрасны, но еще и необыкновенно восприимчивы, — ответил Алье. — Однако заклинаю, не верьте моим словам. Если бы я действительно предстал перед вами в огнедышащем мареве моих истинных столетий, ваша краса в тот же час бы увяла, и я никогда бы не смог себе этого извинить.

Ампаро была завоевана, я же ощутил покалыванье ревности. Я перевел разговор на церкви, на того Святого Георгия-Ошосси, которого мы недавно видели. Алье на это сказал, что нам обязательно нужно попасть на праздник кандомбле.

— Не ходите туда, где берут деньги за вход. Настоящее кандомбле — то, где вас ни о чем не просят, не просят даже верить. Только наблюдать, уважительно, конечно, в духе той же толерантности ко всем верам, с которой они принимают вас самих вместе с неверием вашим. Некоторые «матери святого» или «отцы святого» на вид только что вышли из хижины дяди Тома, но обладают культурой доктора теологии из Грегорианского института.

Ампаро накрыла рукою его руку.

— Возьмите нас с собой! — сказала она. — Меня водили только один раз, много лет назад, в шатер умбанды, но я ничего не помню, помню только ужасное волнение...

Алье, судя по всему, был растревожен этим прикосновением, но руки не отнял. Только, как я имел возможность наблюдать неоднократно в будущем, движением, характерным для минут его раздумья, другой рукой он вынул из жилета крохотную шкатулочку из

золота и серебра, вроде табакерки, с агатовой крышкой. На столике бара была зажжена небольшая свеча, и Алье, как бы не нарочно, приблизил к огню свою коробочку. Мы увидели, что от жара агат сделался бесцветным, и на его месте возникла тончайшая миниатюра зеленыю, лазурью и золотом, изображающая пастушку с корзиною цветов. Он повертел свою штучку в пальцах с рассеянным видом, как люди перебирают четки. Заметил, что я смотрю внимательно, усмехнулся, спрятал безделушку в карман.

— Волнение? Не хотелось бы мне, моя нежная госпожа, чтобы кроме восприимчивости вам была свойственна также чрезмерная чувствительность. Это изысканнейшее свойство, в особенности когда сочетается с красотой и с обаянием ума, но опасное для тех, кто отправляется в такое место, не зная, чего ищет и что его ждет... С другой стороны, прошу вас, не путайте умбанду и кандомбле. Во втором случае мы имеем дело с автохтонным афро-бразильским культом, первое же — достаточно поздний цветок, распустившийся, когда привили к туземным ритуалам побеги европейской эзотерической культуры, полной мистицизма, я бы сказал, тамплиерства...

Тамплиеры, похоже, гонялись за мною повсюду. Я сказал Алье, что ими занимался. Он посмотрел на меня с интересом.

— Любопытное совпадение, мой дорогой друг. Здесь, на широтах Южного Креста, встреча с юным тамплиером...

— Я не хотел бы, чтоб вы меня сочли адептом...

— Ну что вы, дорогой Казобон. Знали бы вы, сколько несерьезности бытует в этой сфере.

— Знаю, знаю.

— Тогда о чем говорить. Но мы должны увидеться до вашего отъезда. И мы назначили друг другу встречу на другой день, с тем чтобы отправиться вместе на исследование грандиозного портового базара.

Мы встретились там на следующее утро. Это был рыбный рынок, арабский базар, ярмарка отпущения грехов, которая пожирала все, как рак, это был Лурд, который оказался под властью зла, где заклинатели дождя сосуществуют с экстатическими и заклеяменными капуцинами, и все это среди искупительных мешочков с молитвой, зашитых в подкладку, рук из полудрагоценного камня, показывающих фиги,

коралловых рогов, распятий, звезд Давида, фаллических символов доиудейских религий, гамаков, ковров, сумок, сфинксов, священных сердец, колчанов племени Бороро, ожерелий из ракушек. Вырождающаяся мистика европейских завоевателей растопилась в органической обрядности рабов настолько, что цвет кожи каждого здесь присутствующего мог поведать историю утраченной генеалогии.

— Вот, — сказал Алье, — образ того, что в учебниках по этнологии называется бразильским синкретизмом. Слово безобразное, если воспринимать его по канонам официальной науки. Но в более высоком смысле синкретизм — это признание единого Предания, которое пересекает и питает все религии, все знания, все философии. Мудрец не тот, кто различает, а тот, кто сопоставляет полосы света, откуда бы они ни исходили... Итак, эти рабы или потомки рабов мудрее этнологов из Сорбонны. Хотя вы меня понимаете, моя прекрасная дама?

— Не умом, — ответила Ампаро — нутром. Простите, но мне кажется, что граф де Сен-Жермен не выразил бы таким образом свои мысли. Я хочу сказать, что родилась в этой стране, и даже то, чего я не знаю, находит отклик вот здесь... — Она прикоснулась к груди.

— Что сказал однажды вечером кардинал Ламбертини даме, декольте которой украшал роскошный крест, покрытый бриллиантами? Какое счастье умереть на этом распятии! И я хотел бы произвести эти слова. Вы оба должны извинить меня. Ведь я родом из эпохи, в которой каждый готов был навлечь на себя проклятье, лишь бы воздать почести очарованию. Вы хотите остаться одни? Мы будем поддерживать связь.

— Он мог бы быть твоим отцом, — сказал я Ампаро, увлекая ее в пестроту выставленных товаров.

— И даже дедушкой. Он дал нам понять что ему как минимум тысяча лет. Ты ревнуешь к мумии фараона?

— Я ревную к тому, что зажигает в твоей голове светильник.

— Прекрасно, ведь это любовь.

Рассказывая однажды, что он встречался с Понтием Пилатом в Иерусалиме, он досконально описал жилище наместника и перечислил блюда, поданные к столу. Кардинал де Роган, полагая, что слушает вымышленный рассказ, обратился к камердинеру графа Сен-Жермена, седоволосому и с виду почтенному: «Друг мой, сказал он, мне трудно верить всему тому, что рассказывает ваш патрон. Что он чревоугодник, это я допускаю; что он умеет изготавливать золото — пусть и так; но что ему лет уже две тысячи и что он обедал с Понтием Пилатом — это для меня чересчур. Это ведь шутка, не правда ли?» — «Не могу знать, милостивый государь, — отвечал с наивным видом камердинер, — я на службе у господина графа всего только четыреста лет».

Коллен де Планси, Инфернальный словарь

/Collin de Plancy, Dictionnaire infernal, Paris, Mellier, 1844, p. 434/

Шли дни, я был целиком захвачен Салвадором. В гостинице я бывал немного. Перелистывая именной указатель книги о розенкрейцерах, я обнаружил там графа Сен-Жермена. Смотри-ка, сказал я сам себе, прямо как на заказ.

Вольтер писал о нем: «человек, никогда не умиравший, который знал все», но Фридрих Прусский был с ним не согласен и именовал Сен-Жермена «смехотворный граф». Хорас Уолпол полагал, что это был некий итальянец, или испанец, или поляк, разбогатевший в Мексике, а после этого бежавший в Константинополь вместе с драгоценностями жены. Самые достоверные сведения о нем содержатся в воспоминаниях мадам Оссе, камеристки маркизы де Помпадур (хорошая рекомендация, скептически вставила Ампаро). Он

сменил великое множество имен: в Брюсселе был Сюрмоном, в Лейпциге Уэллдоном, в других местах — маркизом Эмар, Бедмар, Бельмар, графом Салтыковым. До своего ареста в Лондоне в 1745 году, он был там славен как музыкант, играл по салонам на скрипке и на клавесине. Через три года в Париже он предложил свои услуги Людовику Пятнадцатому в качестве специалиста по красителям, взамен истребовав себе резиденцию в замке Шамбор. Король использует его для дипломатических поручений в Голландии, там он впутывается в некрасивую историю и вынужден снова бежать в Лондон. В 1762 году он в России, потом — опять в Бельгии. Там его встречает Казанова, который рассказывает о том, как граф превратил монету в золото. В 1776 году он при дворе Фридриха II, показывает тому разнообразные химические проекты, а через восемь лет после этого умирает в Шлезвиге, у ландграфа Гессенского, для которого устраивал фабрику для производства красок.

Ничего экстраординарного, стандартная карьера авантюриста восемнадцатого века, меньше амуров, чем у Казановы, и надувательства не так театральны, как у Калиостро. В конечном счете, за вычетом нескольких провалов, в глазах сильных мира его репутация не так уж плоха, он ловит их всех на алхимическую наживку, однако с промышленным уклоном. Но именно вокруг его фигуры, безусловно в результате его же направленных усилий, складывается легенда о бессмертии. Не раз и не два в салонной беседе от него слышали рассказы о событиях глубоко древних так, как будто он их видел собственными глазами. Он создавал свой миф непринужденно, под сурдинку.

В книге цитировался также «Гог» Джованни Папини, где описана ночная встреча героя на палубе трансатлантического парохода с Сен-Жерменом. Истомленный тысячелетним возрастом и воспоминаниями, переполняющими память, граф находится в отчаянии, как знаменитый борхесовский Фунес^[64] — только текст Папини написан раньше, в 1930 году. «Не думайте, что наша участь так завидна, — говорит Гогу граф. — Столетия два проходит, и невыразимая доука охватывает собою несчастных бессмертных. Мир монотонен, история ничему не учит людей и в каждом поколении все те же страхи, все те же страсти, события не повторяются, но одно напоминает другое... новости, открытия, откровения — все изживает себя Я могу признаться только

вам, сейчас, когда нас двоих слышит только Красное море: мое бессмертие мне надоело. Земля уже не готовит мне секретов, а на мне подобных я не надеюсь».

— Любопытный персонаж, — сказал я Ампаро. — Ясно, что наш друг Алье работает под него. Зрелый, даже перезревший джентльмен, с деньгами все в порядке, свободное время есть, как и склонность к сверхъестественному...

— Реакционный склад ума, достаточно смелый, чтобы стать на грань декадентства. На самом деле я предпочитаю этот тип демократическому буржуа, — доложила Ампаро.

— Вимен пауэр, вимен пауэр, ^[65] а потом пускаете слюни от того, что вам чмокнули ручку.

— Это вы нас довели. Доводили в течение многих столетий. Дайте нам время как следует эмансипироваться. Я же не говорю, что хочу за него замуж.

— И на том спасибо, — сказал я.

На следующей неделе Алье позвонил сам. Он договорился на сегодняшний вечер, что нас примут на террейро де кандомбле. К ритуалу нас не допустят, потому что иалориша не доверяет туристам, но она собственной персоной встретит нас до начала церемонии и проведет экскурсию по террейро.

Алье заехал за нами на машине и мы покатали по направлению к фавелам — бедняцким пригородам, с другой стороны горы. Здание, у которого мы остановились — какой-то брошенный фабричный павильон, — охранялось старым негром, он и ввел нас на территорию, предварительно окурив какую-то очистительной смолой. По ту сторону забора виднелся жиденский сад, посреди которого стояла огромная корзина из пальмовых листьев, наполненная божьими лакомствами — *comidas de santo*.

Внутри в огромном цеховом помещении все стены были увешаны картинами, благодарственными подношениями, африканскими масками. Алье пояснил нам, как организован зал. В глубине поставлены скамьи для непосвященных, ближе к середине — помост с музыкальными инструментами, стулья для оганов.

— Оганы, так называются почитаемые люди, не обязательно верующие, но уважающие культ. Тут в Баие великий Жоржи Амаду —

оган на одном террейро. Его назначила Иансун, повелительница войны и ветра.

— А откуда возникли эти божества? — спросил я.

— Они прошли сложный путь. Прежде всего, важное значение имеет суданская ветвь, которая укоренилась на севере на самом раннем этапе завоза рабов. Из этого этнического куста берет свое начало кандомбле, прославляющее африканских божеств ориша. В южных штатах Бразилии сначала преобладало влияние групп банту, но потом смешивания самого разного рода в геометрической прогрессии привели к полной неузнаваемости исходного материала. Поэтому на севере культы исповедуются в соответствии с африканскими религиями, а на юге примитивная макумба волюционировала, приведя к появлению умбанды, в которой присутствуют и католицизм, и кардецизм, и европейский оккультизм...

— Не слышу тамплиеров. Слава Аллаху.

— Тамплиеров я упомянул ради метафоры. В любом случае сегодня вы действительно о них не услышите. Но пути синкретизма почти что неисповедимы. Вы видели перед дверью, рядом с Божией снедью, железную статуэтку, напоминающую черта с рогатиной, у его ног — множество вотивных^[66] подношений? Это Эшу, имеющий огромную силу в умбанде, но не в кандомбле. И тем не менее в кандомбле его почитают в качестве как бы промежуточного божества, аналога пониженному в должности Меркурию. Эшу вселяется в участников умбанды, но не кандомбле. Но все-таки Эшу почитается и здесь. Смотрите, там под стенкой... — и он показал нам на раскрашенные статуи: индейца и старого негра, присевшего покурить трубку. Негр был в белой повязке, индеец — голый. — Это «прето вельо» и «кабокло», духи покойников, на умбанде они главные герои. Что они делают здесь? Принимают почести, но в радении не участвуют, потому что во время кандомбле восстанавливается связь только с африканскими божествами, ориша; тем не менее и этих не забывают.

— А есть что-то общее в двух культах?

— Скажем так: для всех афро-бразильских религий в любом случае характерно, что во время ритуала участники впадают в транс и в их тело входит сверхъестественная сила. На кандомбле — ориша, в умбанде — духи усопших.

— Я забыла свою страну и свою расу, — сказала Ампаро. — Боже милостивый, немножко Европы и немножко исторического материализма — и у меня из головы вытеснилось все. А ведь об этом в свое время мне рассказывала бабушка...

— Немного исторического материализма? — усмехнулся Алье. — Мнится мне, я что-то об этом слышал... Как же, как же, апокалиптическое верование, открытое уроженцем Трира...

Я прижал к себе локоть Ампаро.

— Но пасаран, любовь моя.

— Вот это да, — охнула она.

Алье, вероятно, расслышал наш полусшепотный разговор.

— Могущество синкретизма почти что неисповедимо, моя дорогая. Если вам больше нравится, я могу предложить политическую интерпретацию того же самого процесса. Законы девятнадцатого века возвратили рабам их свободу, но в стремлении искоренить следы бывшего позора были уничтожены любые, в том числе документальные свидетельства времен работорговли. Рабы становятся вольными, но у них нет прошлого. Исходя из этого, они стремятся восстановить хотя бы коллективное самосознание, поскольку родового и семейного они лишились. Этим и обусловлен возврат к корням. Таков их специфический способ противостоять, как выражается ваше юное поколение, давлению верхов.

— Но если вы только что сами говорили, что в дело замешаны эти европейские секты... — возразила Ампаро.

— Моя милая, чистота — роскошь, а рабам достается что дают. Но они мстят. И мстя, захватывают в плен больше белых, чем вы можете подумать. Изначальные африканские культы отличались всеми слабостями, свойственными религиям, были привязаны к месту, к этносу, не имели будущего. Но соприкоснувшись с мифами колонизаторов, они сумели воспроизвести античное чудо: вдохнули новую жизнь в мистериальные культы второго и третьего веков нашей эры, возникшие в Средиземноморском регионе из религии одряхлевающего Рима и из тех древних заквасок, которые бродили в Персии, Египте, доиудейской Палестине... Во времена поздней Империи в Африку попадают огромные заряды средиземноморской религиозности, и Африка их аккумулирует, накапливает, конденсирует. Европу загубило христианство, настоящее на «государственном

интересе», в то время как Африка принимала в себя сокровища знания и тихо копила их с древнейших пор, те самые сокровища, которыми во времена египтян она поделилась с греками, а те бессмысленно промотали свое богатство....

Есть тело, которое объемлет весь единый мир, и представляй его в круговой форме, ибо это есть форма Всего... Вообрази теперь, что в круге этого тела пребывают 36 деканов, в центре между кругом всеобщим и кругом солнопу-тъя, разделяя эти два круга и как бы ограничивая зодиак, увлекаемые вдоль зодиака с планетами... Смена царей, рост городов, голод, чума, отливы морей, земной тряс, ничто из этого не бывает помимо влияния деканов....

Герметический корпус.

/Corpus Hermeticum, Stobaeus, excerptum VI/

— Да что это за сокровища такие?

— Вы представляете себе, как грандиозна была эпоха второго — третьего веков после пришествия Христова? Не роскошами империи на излете ее владычества, а тем, что попутно расцвело в средиземноморском бассейне. В Риме преторианцы потрошили императоров, а в Средиземноморье звенела слава Апулея, вершились мистерии Изида, наблюдался великий возврат духовности — неоплатонизм, гностицизм... Благословенные времена, когда христиане еще не захватили власть в свои руки и не начали посылать на смерть еретиков. О дивная эпоха, царствование Нуса,^[67] поэзия экстаза, присутствие явлений, эманаций, даймонов и ангельских когорт. Это знание диффузное, несвязное, древнее, как древен мир, оно восходит ко временам ранее Пифагора, к брахманам Индии, к евреям, к волхвам, к гимнософистам и даже к варварам самого крайнего севера, к друидам Галлии и Британских островов. В свое время греки называли этих пришельцев варварами, потому что те бормотали бур-бур, вар-вар, не умели изъясниться, их наречия для изнеженного уха звучали как песий лай. А в ту эпоху, о которой сейчас речь, наоборот, считалось, что варвары гораздо более сведущи, чем эллины, именно потому, что их языки скрытны. Вы думаете, все, кто будет плясать

сегодня, знают тайный смысл всех песен и магических имен? К счастью, нет, каждое непонятное слово для них — упражнение для дыхания, мистические вокализы. О, эпоха Антонинов... Мир был полон поразительных совпадений и тончайших подобий, следовало проницать их, проницаться ими, обращаться ко снам, оракулам, волшебу, что позволяло воздействовать на природу и на ее силы, подвигая подобное подобным. Мудрость неуловима, летуча, неподвластна ни одной мере. Вот почему в ту эпоху бог-победитель — это Гермес, изобретатель любых уловок, бог перекрестков и воров, одушеводитель писательства, искусства уклончивого и гибкого, покровитель навигации, уводящий вдаль за все границы, туда, где все смешалось на горизонте, бог подъемных лебедек, помогающих отрывать камни от почвы, и оружия, умеющего претворять жизнь в смерть, бог водяных насосов, вздымающих в воздух жидкую стихию, бог философии, которая обманывает и манит... Знаете, где живет Гермес в наше время? Да тут, за дверью, его называют Эшу, он у богов на посылках, посредник, коммерсант, не ведающий различий между злом и добром.

Взгляд его стал лукавым, почти вызывающим.

— Вы считаете, что я слишком свободно перераспределяю богов — как Гермес свои товары? Взгляните на эту брошюру, я купил ее утром в известном книжном магазине в Пелуриньо. Магия и таинства святого Киприана, рецепты, как приворожить любимого или насладиться смертью на врага, мольбы к ангелам и Святой Деве. Популярная литература для мистиков черного цвета. Речь идет о святом Киприане Антиохийском, о котором существует огромная литература Серебряного века. Родители хотели, чтобы он был всесторонне образован, познал все, что происходит на земле, в воздухе и морской пучине, они отправили его в самые дальние страны, чтобы он постиг все таинства, понял, как рождаются и разлагаются травы, изучил свойства растений и животных, не те, которым учит естествознание, а те, о которых говорят тайные науки, глубоко скрытые в архаических пропастях и далеких традициях. И Киприан в Дельфах посвятил себя Аполлону, познал таинства Митры, в пятнадцать лет в сопровождении пятнадцати иерофантов он участвовал на Олимпе в ритуале заклинания Князя мира сего, чтобы контролировать его интриги, в Аргосе был посвящен в таинства Геры, во Фригии обучился

пророчеству, гепатоскопии, и не было ничего на земле, в море и на небе, чего бы он не знал; его пониманию теперь доступны привидения, любые объекты знаний, любые ухищрения, даже искусство превращения при помощи колдовства писаний. В подземных храмах Мемфиса он узнал, как демоны общаются с земными объектами, какие места вызывают у них отвращение, какие предметы они любят, как они живут во мраке, как противодействуют в некоторых сферах, как умеют завладеть душой и телом и что им дают высшие знания, он постиг память, страх, иллюзии, искусство вызывать землетрясения и влиять на подземные течения... Потом, увы, он обратился в новую веру, но крохи его знаний сохранились. И сейчас мы обнаруживаем их здесь, на устах и в умах этих убогих, которых вы окрестили идолопоклонниками.

— Моя милая, только что вы посмотрели на меня с мыслью: он из «бывших». Но кто на самом деле — вы или я — живет в прошлом? Вы, желающая подарить своей стране все ужасы трудящегося, индустриального века, или я, желающий, чтобы наша бедная Европа снова переняла естественность и веру у детей рабов?

— Господи, — вздохнула Ампаро, — вам хорошо известно, что это только способ, чтобы они сидели тихо...

— Не чтобы сидели тихо, а чтобы и дальше культивировали ожидание. Без чувства ожидания не существует даже рая, не этому ли учили вы, европейцы?

— Вы считаете меня европейкой?

— Важен не цвет кожи, а вера в Предание. Чтобы вернуть чувство ожидания Западу, парализованному благосостоянием, эти язычники, возможно, страдают, но им еще доступен язык духов природы, воздуха, вод, ветров...

— Вы опять хотите нас эксплуатировать?

— Опять?

— Да, и вы должны были этому научиться в восемьдесят девятом году, граф. Это все у нас вот где сидит! — Сказала Ампаро, ангельски улыбаясь, и прямой красивой ладонью полоснула себя по горлу.

Я хотел ее всю, с ног до головы.

— Драматично — молвил Алье, доставая из жилетного кармана табакерку и нежно поглаживая ее. — Так вы меня узнали? Но в восемьдесят девятом году не рабы лишались голов, а храбрые буржуа,

которых вы, должно быть, ненавидите. Впрочем, граф Сен-Жермен в течение многих веков видел столько скатившихся с плеч и столько возвратившихся на плечи голов. Но вот к нам идет мать святого, иалориша.

Встреча с аббатисой здешнего террейро состоялась в спокойной, сердечной, народной и в то же время интеллигентной обстановке. Это была огромная негритянка с эмалевыми зубами. На первый взгляд — торговка, а поговорив с ней немного, вы начинаете понимать, почему именно такие бабы занимают главенствующее положение в культурной жизни Салвадора.

— К примеру, ориша — это существа или силы? — спросил я ее.

Мать святого ответила, что конечно же, это силы: вода, ветер, листья, радуга. Но разве помешаешь простонародью видеть в них своеобразные отображения воинов, женщин, святых католической церкви? Вот вы, сказала она, не почитаете ли космическую энергию в облики девственницы? Самое важное — поклоняться неким силам. Форма же представлений в конкретных случаях соответствует уровню восприятия каждого.

Потом она вывела нас в сад за павильоном, чтобы осмотреть часовни до начала священнодействия. В саду нам показали дома ориша. Команда негритяночек в баиянских костюмах суетилась там в пылу последних приготовлений.

Дома ориша были разбросаны по саду в беспорядке, как капеллы на святой горе, и на каждом было вывешено изображение соответствующего святого. Внутри каждой хижины, если заглянуть, выделялись резкие, яркие цвета венков, статуй, свежеприготовленных лакомств, поднесенных богам. Белый для Ошала, голубой и розовый для Иеманжи, красный и белый для Шанго, желтый и золотой для Огуна... Посвященные становились на колени, целовали порог, осеняли себя прикосновением ко лбу и за ухом.

— Все же, думал я, Иеманжа — это то же, что Пречистая Дева Непорочного Зачатия, или нет? Шанго — Святой Иероним?

— Не задавайте чересчур трудных вопросов, — предостерег меня Алье. — В случае умбанды ответить было бы еще сложнее. В родословную Ошала входят святой Антоний и святые Козьма и Дамиан. Иеманжа включает в себя сирен, ундин, кабокло как морских, так и речных, поверия о духе моряков, о путеводных звездах. В

восточную линию входят инду, врачи, ученые, арабы и марокканцы, японцы, китайцы, монголы, египтяне, ацтеки, инка, жители Карибского региона, римляне. Ошосси объемлет солнце, луну, кабокло водопадов и кабокло негров. В линии Огуна преобладают Огун Бейра-Мар, Ромпе-Мато, Иара, Меже, Наруээ... В общем, в разных случаях по-разному.

— Вот это да, — снова выдохнула Ампаро.

— Нужно говорить «Ошала», — шепнул я, слегка касаясь ее уха. — Спокойно, но пасаран.

Иалориша показала нам серию масок, которые церковные служки носили в храме. Это были маски-шлемы из соломы или капюшоны, которыми должны покрывать голову медиумы во время того, когда они впадали в транс и их забирали в свои владения божества.

— Это своего рода форма стыдливости, — объяснила она, — в некоторых террейро избранные танцуют с открытым лицом, не скрывая своей страсти от присутствующих. Но посвященный всегда защищен, окружен уважением и избавлен от любопытства профанов и тех, кто не с состоянием постичь внутреннее ликование и благодать. Таков обычай террейро, и поэтому туда неохотно допускают чужих. Но, может быть, со временем вам удастся проникнуть, кто знает.

Нам осталось только попрощаться. Однако она не хотела нас отпускать, не предложив попробовать — не из *corbeille*, которые должны оставаться нетронутыми до конца обряда, а со своей кухни — немного *comidas de santo*. Она повела нас за террейро, и было это настоящее многоцветное пиршество: маниок, перец, кокосы, миндаль, имбирь, *moquesa* из *siri mole*, *vatara*, *efo*, *caruru*, черная фасоль с *farofa* и все это с нежным ароматом африканских кореньев, сладковатых и пикантных тропических приправ. Мы сосредоточенно пробовали пищу, осознавая, что едим с древними суданскими богами. Иалориша сказала, что каждый из нас, не зная об этом, есть ребенок одного из ориша и часто можно определить, кто чей. Я смело спросил, чей я сын. Иалориша вначале уклончиво заметила, что нельзя точно сказать, затем принялась рассматривать мою ладонь, провела по ней пальцем, посмотрела мне в глаза и сказала: — Ты сын Ошалы.

Я был горд этим. Ампаро, уже успокоившись, предложила определить, чей сын Алье, но он ответил, что предпочитает этого не знать.

Когда мы вернулись домой, Ампаро сказала мне:

— Ты видел его руку? Вместо линии жизни у него множество линий, прерванных подобно ручью, который, встречая на своем пути камень, огибает его и течет на метр ниже. Это линия жизни человека, который умирал много раз.

— Международный чемпион длительного метемпсихоза — сказал я.

— Но пасаран, — засмеялась Ампаро.

В силу того простого обстоятельства, что они меняют и укрывают свои имена, и лгут о своем возрасте, и таково их желание, что они приходят неузнанными, — ни один логик не может опровергнуть, что необходимо следует, что они действительно существуют.

Генрих Нейгауз, Благочестивое и наипоследнейшее предостережение о членах Братства Розы и Креста, именно: существуют ли они? каковы они? и что за имена они себе приписывают.

/Heinrich Neuhaus, Pia ed ultimissima admonestatio de Fratibus Roseae-Crucis, nimirum: an sint? quales sint? unde nomen illud sibi asciverint, Danzig, Schmidlin, 1618 — ed. fr. 1623, p. 5/

Говорил Диоталлеви, что Хесед — это сефира благодати и любви, белый пламень, ветерок с юга. Позавчера в перископе мне думалось, что последние дни, проведенные в Баие, когда я был с Ампаро, протекали именно под этим знаком.

Я вспоминал — сколько же вещей вспоминается одновременно тому, кто ждет, зажатый в тесноте, в темном месте, час за часом, — один из тех последних золотых вечеров. Ноги у нас гудели от нескончаемых баиянских маршрутов, и мы улеглись рано, но не спали. Ампаро угнездилась в подушках, свернувшись клубком, и притворялась, будто читает один из моих учебников по умбанде, который находился у нее где-то между пяток. Но я мешал ей многими способами, а кроме того, в частности, громко делился впечатлениями о моих розенкрейцерах, так как именно это сочинение я наконец вознамерился изучить. Вечер был чудесен, но, как выразился бы Бельбо в своих упражнениях по чистописанию, «не чувствовалось

дуновения ветерка». Гостиница у нас была первоклассная, под окном шелестело море, а в полурастворенном предбанничке возвышалась огромная корзина тропических фруктов, которые мы утром притащили с рынка.

— Не спи, а слушай. В 1614 году в Германии выходит анонимное сочинение «Allgemeine und general Reformation», или же «Всеохватная и всеобщая Реформа всего целого мира, совокупно со Славою Братства — Fama Fraternitatis — Глубокоуважаемого Братства Розенкрейцеров, обращенное ко всем ученым и к правителям Европы, купно с краткой отповедью Господина Хазельмайера, который за сие деяние был отвергнут иезуитами в узилище и прикован железами на галере. Ныне выдано в печати и для каждого искреннего сердца отвергнуто. Выдано в Касселе Вильгельмом Весселем».

— Длинноватенькое название у кессельвесселя.

— В семнадцатом веке носили длинное. Заказывали Лине Вертмюллер... Кессельвессель — сатирическое сочинение вроде сказочки о всемирном переустройстве человечества и списано, кажется, с «Парнасских ведомостей» Траяно Боккадини. Однако туда приплетен еще небольшой трактатик на дюжину страниц — эта самая «Слава Братства», которую на следующий год перепубликовали отдельным изданием, и присовокупили другой манифест, этот уже по латыни, «Confessio» — «Исповедание Братства Розы и Креста, всем эрудитам Европы».

В обоих представлено братство розенкрейцеров и слышен голос создателя, таинственного С.Р. Позже и из других источников станет известно, что речь идет о Христиане Розенкрейце.

— Почему не указано его полное имя?

— Смотри, это настоящий разгул инициалов; здесь никого не называют полным именем, все представлены как G.G., M.P., I., а те, к кому особое отношение, именуется P.D. Здесь рассказывается о первых годах формирования личности С.Р. Он сначала посещает Гроб Господен, затем плывет к Дамаску, затем входит в Египет и оттуда — в Фес, который в то время был святой святых мусульманской мудрости. Там наш Христиан, который знал уже греческий и латынь, изучает восточные языки, физику, математику, естественные науки, аккумулирует всю тысячелетнюю мудрость арабов и африканцев, не исключая Каббалу и магию, даже переводит на латинский язык

таинственную «Liber M.» и познает, таким образом, все тайны макро — и микрокосмоса. В течение двух веков все восточное в моде, особенно то, что не понятно.

— Они всегда так это повторяют. Вы голодны, обмануты, вас эксплуатируют? Просите кубок тайны! Вот...

— Ты тоже хочешь потерять голову?

— Но я знаю, что речь идет о химии и не более того. Ни для кого это не секрет, даже те, кто не знают древнееврейского языка, свихнулись, стремясь все постичь. Иди сюда.

— Подожди. Затем Розенкрейц едет в Испанию, там также постигает оккультные доктрины и говорит, что продвигается все ближе и ближе к Центру познания. И во время этих путешествий, которые для интеллектуала той эпохи были действительно походом за тотальной мудростью, он понял, что необходимо создать в Европе общество, которое смогло бы указать правителям путь науки и добра.

— Оригинальная мысль! Стоило так усердствовать! Я хочу охлажденную мамайю.

— Она в холодильнике. Будь добра, возьми сама, я работаю.

— Если ты работаешь, значит, ты муравей, если ты муравей, то и веди себя как муравей — иди за провизией.

— Мамайя — это роскошь, поэтому за ней должна сходить стрекоза. Если я пойду, тогда ты читай.

— Избавь, Господи. Ненавижу культуру белых. Я схожу.

Ампаро шла к кухне, а я наблюдал за ней с вожделением. Тем временем С.Р. возвратился в Германию и вместо того, чтобы заняться превращениями металлов, что позволяли его огромные знания, решил посвятить себя духовным преобразованиям. Он создал братство, изобрел магический язык и письмо, которые станут основой науки мудрости для будущих братьев.

— Нет, я испачкаю книгу, положи мне ее в рот, да нет, не дурачься... вот так. Господи, как хороша мамайя, resencreutzliche Mutti-ja-ja...

А знаешь, что эти послания розенкрейцеров призваны были просветить мир, алчущий истин?

— И просветили?

— То-то и штука, что истину было решено в манифесте не открывать. Пообещали и передумали. Потому что эта истина такая

важная, такая важная, что открывать ее никак нельзя.

— Сволочи. И ты тоже.

— Нет, нет, я не виноват, перестань, щекотно! В общем, розенкрейцеров тогда было на белом свете множество, но тут же они решили разъехаться во все концы света и дали обет бесплатно лечить болящих, не носить одежд, по которым их могут опознать, прилаживаться к обычаям каждого государства, встречаться между собою ежегодно и оставаться в глубокой тайне сотню лет.

— Но извини, какой реформы им было надо, если ее как раз в то время проводили? Лютер-то зачем старался?

— Да нет, выходит, что розенкрейцеры — это еще до протестантства. Тут сказано в примечании, что из внимательного изучения «Fama» и «Confessto» очевидно.

— Кому очевидно?

— Говорят очевидно, значит должно быть и твоим очам видно. Не приставай. Эй! Прекрати немедленно! Идет серьезный разговор, понимаешь...

— Понимаешь, это ты не понимаешь...

— Я сейчас отползу, с тобой опасно... Очевидно, как было заявлено! Что предтеча розенкрейцерства — Христиан, как ты уже догадалась, Розенкрейц! Который вряд ли существовал... родился в 1378 году и умер в 1484 в цветущем возрасте ста шести годов, и нетрудно догадаться, что секретное общество Розы и Креста немало способствовало проведению реформации, которая в 1615 праздновала столетний юбилей. Добавим к этому, что на персональном гербе Лютера мы находим как розу, так и крест.

— Простенько и со вкусом.

— А что ты хотела бы чтобы Лютер держал у себя на гербе — горящую жирафу или растаявшие часы?^[68] Всякому дизайну свое время. Всяк шесток знай свой свер... Знаю, какой тебя шесток интересует... Слушай лучше. Около 1640 года розенкрейцеры решили отремонтировать свой дворец или как его, тайный замок. И вот они обнаружили плиту, в середине которой был забит большой — большой гвоздь. Дерни за гвоздик — плита вынулась, а за нею оказалась большая-большая дверь, а на двери было написано большими-большими буквами POST CXX ANNOS PATEBO.^[69] Хотя я и был подготовлен письмом Бельбо, все же я подскочил. — Ого!

— Что с тобой?

— Тот же текст в тамплиерском завещании...Я тебе никогда не рассказывал один случай, с одним полковником...

— Ну так значит тамплиеры переписали у розенкрейцеров.

— Да тамплиеры были раньше...

— Значит, розенкрейцеры переписали у тамплиеров.

— Радость моя, без тебя я бы сел и заплакал.

— Радость моя, тебя сглазил этот Алье, ты тоже начал искать откровений.

— Ничего подобного, никаких откровений я не ищу.

— Ну и молодец, а то будь начеку — опиум для народов!

— Пуэбло унидо хамас сера венсидо?^[70]

— Смейся, смейся. Лучше расскажи, что дальше писали эти идиоты.

— Эти идиоты, как нам объяснял Алье, стажировались у вас в Африке.

— На стажировке их обучали утрамбовывать в трюмы таких, как я.

— Скажи спасибо, что тебя вовремя утрамбовали и вывезли в Бразилию, а то жить бы тебе в Претории, бедная чернявочка. — После поцелуев я продолжал: — За большой-большой дверью обнаружилась гробница о семи углах и — кто б мог подумать — семи сторонах! великолепно освещенная искусственным солнцем. В середине был круглый алтарь весь разужоренный девизами и эмблемами, например NEQUAQUAM VACUUM...

— Не-ква-ква? Кря-кря?

— Это латынь, глупая макака. Означает: пустоты не существует.

— Ну это еще слава богу. А я боялась...

— Можешь включить вентилятор, анимула вагула бландула?^[71]

— Сейчас зима.

— Это у вас на обратном полушарии, дитя мое. Сейчас не может быть зима, сейчас июль. Очень тебя прошу, включи вентилятор, не потому что женщина должна обслуживать, а потому что он с твоей стороны. Мерси. Так вот, под алтарем находилось нетленное тело первооснователя. В руке оно держало «Книгу I», исполненную невыразимой премудрости. Жалко что миру эта книга не может быть открыта, добавляет манифест, а то бы такое было! такое было!

— Ой.

— Вот именно, В конце манифеста обещается некое сокровище — его еще предстоит обнаружить — и потрясающие откровения в области взаимоотношений между макро и микромиром. Не думайте только, что имеете дело с ничтожными алхимиками, которые только и способны — научить, как делать золото. Мы предлагаем вам по-настоящему стоящую вещь! Мы метим гораздо выше, во всех смыслах! Мы распространяем наш буклет «Fama» на пяти языках, не говоря уж о «Confesslo» — в самом скором времени поступит в продажу! Ждем ответов и впечатлений от ученых и от неучей. Пишите и звоните нам по телефону, сообщайте о себе, а мы рассмотрим, подходит ли ваша кандидатура для участия в наших тайнах, которые пока что мы вам только приоткрыли! *Sub umbra alarum tuarum Iehova.*

— Это еще что?

— Под сению крил твоих, Господи. Заставка конца передачи. Переходим на прием. В общем, создается впечатление, что этим розенкрейцерам нейдет поделить тем, что они открыли, и ищут они только достойного собеседника. Но пока что ни гу гу о том, что же это такое.

— Как на объявлениях, где под фотографией какого-нибудь типа подписано: пришлите десять долларов, и я научу вас, как стать миллионерами.

— Он, кстати, и действительно может научить. Делайте как он. А лучше как я...

— Слушай, надо бы почитать дальше. От тебя спасенья нет, можно подумать, ты меня до сих пор никогда не видел.

— Каждый раз с тобой как первый раз.

— Даже еще хуже. В первый раз я не доверяю посторонним мужчинам. И еще скажи, пожалуйста, ты что, решил в этом специализироваться? То тамплиеры, теперь розенкрейцеры... Ты, скажем, Плеханова почему не читаешь?

— Я через сто двадцать лет поеду искать его гробницу. Если Сталин ее не закатал каким-нибудь бульдозером... — Вот балда. Не читай минутку, я схожу в ванную.

Еще знаменитое побратимство Розы и Креста предупредило, что весь подлунный мир охвачен бредовыми провозвестиями. И действительно, как только появился этот призрак (хотя в «Фата» и в «Confessio» доказывается, что дело шло об обыкновеннейшей забаве для досужих умов) тут же он породил и надежду на всеохватную реформу, и породил явления частично смехотворные и абсурдные, а частично невероятные. И от этого честные и порядочные люди самых различных стран взялись потешаться и насмехаться над ними, дабы они открыто выступили бы в свою защиту, или чтоб убедиться, что те способны появляться перед названными побратимами... при помощи Зеркала ли Соломона, или иным оккультным способом.

Христоф фон Безольд (?), Дополнение к Фоме Кампанелле, в изд.: Об испанской монархии.

/Christoph von Besold (?), Appendice a Tommaso Campanella, Von der Spanischen Monarchy, 1623./

Дальше было еще интереснее, и к возвращению Ампаро я готов был вкратце изложить ей все, что происходило после публикации манифестов.

— Это невероятно. Манифесты появились в то время, когда литература подобного рода изобиловала повсюду, всех увлекало возрождение, золотой век, обетованная земля духа. Кто роется в магических текстах, кто не дает покоя печам для приготовления металлов, тот стремится управлять звездами, еще один потеет над тайными алфавитами и универсальными языками. Прагу Рудольф II превращает двор в алхимическую лабораторию, он приглашает

Коменского и Джона Дии, придворного астролога королевы Англии, который раскрыл все тайны космоса на нескольких страницах «*Monas hieroglyphica*» Клянусь, это название труда, а *monas* означает «монада».

— Разве я что-то сказала?

— Врачом Рудольфа II был Михаэль Майер, который написал книгу визуальных и музыкальных эмблем, «Аталанта Бегущая», истинный праздник философских яиц, драконов, кусающих себя за хвост, и сфинксов. Нет ничего яснее тайных цифр, все есть иероглиф чего-то другого. Ты только подумай, Галилей бросает камни с Пизанской башни, Ришелье играет в «монополию» с половиной Европы, а тут все таращат глаза, чтобы прочитать мировые письма. Но обрати внимание, дорогая, что кроме свободного падения физических тел, внизу (или, лучше, вверху) имеют место и другие явления. Имя этому — *abracadabra*. Торричелли создавал барометр, а они — балеты, фонтаны и фейерверки в Императорском саду в Гейдельберге. И тридцатилетняя война вот-вот должна была разразиться.

— Что за радость для матушки Кураж!

— Но и они не всегда веселились. Придворный избранник в 1619 году принимает корону Богемии только потому, я думаю, что просто умирает от желания править в Праге, магическом городе. Но через год Габсбурги достали его под Белой горой. В Праге доходит до резни протестантов, Коменский видит, как горят его дом, библиотека, как убивают его жену и сына, сам он бежит от одного двора к другому, провозглашая, как велика и полна надежды идея розенкрейцеров.

— Бедняга, ты хотел, чтобы он порадовал тебя барометром? Но извини, ты же знаешь, что мы, женщины, не такие, как мужчины, и не сразу все схватываем: кто написал манифесты?

— Самое интересное, что это не известно. Дай мне подумать... почешу мне розакрест... нет, между лопатками, нет, выше, левее, вот здесь. Итак, в этой немецкой среде можно встретить невероятные личности. Например, Симон Стьюдион, который написал «*Naometria*», оккультный трактат об измерениях Храма Соломона. Генрих Кунрат — автор «*Amphitheatrum sapientiae aeternae*», вещи, изобилующей аллегориями, с древнеиудейским алфавитом и каббалистическими пещерами, вдохновившими создателей «*Fama*». Эти, последние, вероятно, были вхожи в одно из десяти тысяч тайных обществ

утопистов христианского возрождения. Молва гласила, что автором был некий Иоганн Валентин Андреа, год спустя он опубликовал «Химическое бракосочетание Христиана Розенкрейца», но он написал это в молодости, то есть когда у него в голове вертелась идея о розенкрейцерах. Однако в его окружении в Тюбингене были и другие энтузиасты, мечтавшие о республике Христианополь, возможно, они все объединились в этом. Хотя, кажется, они это сделали шутки ради, создание пандемониума не входило в их планы. Андреа затем всю оставшуюся жизнь доказывал, что не он написал манифесты, что это был *lusus, ludibnum*, студенческая шалость, он ставит на карту свою академическую репутацию, впадает в ярость, говорит, что если розенкрейцеры и существуют, то это самозванцы. Ничто не помогает. Как только манифесты вышли (казалось, люди только этого и ждали), ученые со всей Европы начинают писать братству Розы и Креста. А поскольку они не знают, где найти розенкрейцеров, то отправляют открытые письма, публикуют брошюры, книги. Майер в этом же году издает «*Arcana arcanissima*» (Тайная тайных). Правда, он не упоминает о розенкрейцерах, но все убеждены, что речь идет именно о братстве и что он уже сам не знает, что пишет. Некоторые болтают, что прочли рукопись «*Fama*». Я не думаю, что в то время было легко издать книгу, тем более с гравюрами, но Роберт Фладд в том же 1616 году (он писал в Англии, а издавался в Лейде; прибавь еще время на поездки для корректуры издания) распространяет «*Apologia compendiarie Fraternalitatem de Rosea Cruce suspicionis et infamiis maculis aspersam, veritatem quasi Fluctibus abluens et abstergens*», чтобы защитить розенкрейцеров и счистить их от подозрений и «пятен», которыми их замарали, а это значит, что разгорелись яростные дебаты, что аргументы блуждают между Богемией, Германией, Англией, Голландией, во всем этом участвуют конные курьеры и странствующие мудрецы.

— А что же розенкрейцеры?

— Гробовое молчание. По-моему, этот период ожидания длился 120 лет. Наблюдали из небытия своего храма. Я считаю, что именно их молчание подогревало умы. Если не отвечают, значит, действительно существуют. В 1617 году Фладд написал «*Tractatus apologeticus integritatem societatis de Rosea Cruce defendens*», а в «*De Naturae*

Secretis», появившемся в 1618 году, говорится о том, что наступил момент открыть тайну розенкрейцеров.

— И они ее открыли.

— Подумай сама. Они ее лишь усложнили, ибо обнаружили, что если от 1618 года отнять 188 лет, обещанных розенкрейцерами, то получается 1430 год, то есть год создания Ордена Золотого Руна.

— А какая здесь связь?

— Я не понимаю, почему 188 лет, ведь должно быть 120, но когда ты должен производить мистические вычеты и прибавления, то всегда становишься с ног на голову. Что касается Золотого Руна, то тут речь идет об аргонавтах, и я узнал из надежного источника, что их что-то связывает со Священным Граалем, а также, если позволишь, с тамплиерами. Но это еще не все. Между 1617 и 1619 годами Фладд, который публиковал больше, чем Барбара Картленд, сдает в печать четыре книги, среди которых «Всеобщая история Космоса» — что-то типа кратких заметок о Вселенной, иллюстрированных только розами и крестами. Майер набирается мужества и издает «Silentium post clamores» (Молчание после кличей), где утверждает, что братство существует и связано не только с Золотым Руном, но и с Орденом Подвязки. Однако человек этот слишком мало значит в обществе, чтобы к его мнению прислушивались. Представь себе ученых Европы. Если эти люди не принимают даже Майера — значит, речь идет о деле действительно исключительном. И поэтому все особы меньшего калибра играют фальшивыми картами, чтобы быть принятыми.

— В общем, все уверены, что розенкрейцеры существуют, все при этом готовы поклясться, что сами никогда их не видали, все наперебой пишут и печатают, как будто бы назначая встречу, ни у кого не хватает нахальства заявить: это я и есть. Некоторые говорят, что розенкрейцеров нет в природе, потому что они никогда не отвечают на призывы, а другие говорят, что они существуют именно для того, чтобы их призывали.

— А сами розенкрейцеры глухо молчат.

— Как в танке.

— Открой рот хоть ты. Увидишь зачем. Открой. Молодец. Вот тебе мамайя.

— Вкусно. Тем временем начинается тридцатилетняя война. Иоганн Валентин Андреаз пишет сочинение «Turris Babel» —

«Вавилонская башня», где обещает, что в срок до одного года Антихрист будет разбит наголову. В то же время какой-то Иреней Агност издает «Tintinnabulum sophorum»...

— Как здорово тинтиннабулум!

— То есть бубенчик мудрецов, и бубнит не поймешь что, но в ответ ему Кампанелла, что кстати тоже значит колокольчик, выступает с сочинением «Monarchia Spagnola» — «Об испанской монархии» — и утверждает, что вся история с розенкрейцерами — это забава для развращенных умов. А потом все. Между 1621 и 1623 годами все прекращается.

— Вообще?

— Вообще. Они устали. Как битлы. Но это касается только Германии. Потому что во Франции все только начинается. В точности как радиоактивное облако: розенкрейцеров передуло влево. В одно прекрасное утро 1623 года Париж проснулся — а на стенах развешаны плакаты розенкрейцеров: уважаемые граждане, розенкрейцеры вашего участка собирают подписи у населения по адресу... Другое свидетельство гласит, однако, что в манифестах говорится о тридцати шести невидимках, разосланных по всему миру делегациями по шесть, и что они обладают властью одарять всех адептов невидимостью. Опять тридцать шесть на шесть. Что за хрен.

— Ты о чем?

— О тамплиерском завещании.

— Люди без фантазии. Рассказывай, что было потом.

— Потом распространяется коллективное безумие, одни выступают в их защиту, другие хотели бы с ними познакомиться, третьи обвиняют их в дьявольщине, алхимии и всех ересьях и что якобы Астарот замешан в дело и благодаря ему-де розенкрейцеры богаты, всемогущи и перемещаются по воздуху с одного места на другое. В общем, они становятся модой сезона.

— Очень правильно со стороны розенкрейцеров. Дебют в Париже — пропуск в мир высокой моды.

— Кажется, ты совершенно права, потому что послушай что дальше будет, мама дорогая, ну и времечко. Декарт, и никто другой, в предыдущие годы побывал в Германии и разыскивал их там. Но, говорит один его биограф, Декарт их там не нашел, потому что, как мы теперь понимаем, они не открывали своего обличья. Когда же Декарт

воротился в Париж, несолоно хлебавши, после появления розенкрейцерских манифестов он понял, что все его считают розенкрейцером. Погоды стояли такие, что это выглядело не самой лучшей рекомендацией. Это не понравилось и его другу Мерсенну, который розенкрейцеров уже разносил в печати не раз и не другой, обзывая их ничтожествами, революционерами, волхвами, каббалистами и проводниками враждебных течений. Что же тогда делает Декарт? Он появляется везде где только может. Поскольку все его видят, считает он, все убедятся, что он не невидим, а следовательно, что он не розенкрейцер.

— Это и есть «метод».^[72]

— Это и есть метод, но как выяснилось, метода мало. Все это привело к тому, что, если навстречу тебе выходил человек и говорил: добрый вечер, я розенкрейцер, это означало, что он не розенкрейцер. Уважающий себя розенкрейцер никогда так не скажет. Наоборот, он отрицает это как может.

— Но нельзя сделать вывод, что всякий отрицающий, что он розенкрейцер, им является, потому что вот я, например, отрицаю, что я розенкрейцерша. Но и действительно ею не являюсь.

— Однако подобное отрицание вызывает подозрение.

— Нет. Потому что — что должен делать порядочный розенкрейцер, когда он понимает, что люди не верят тем, кто заявляет, что они розенкрейцеры, и подозревают тех, кто утверждает, что они не розенкрейцеры? Он начинает говорить, что он розенкрейцер, чтобы сделать вид, что он не розен...

— Мать честная. Твое открытие означает, что все, кто говорит, что он розенкрейцер, на самом деле лгут, и, следовательно, они на самом деле розенкрейцеры! Если так, Ампаро, я отказываюсь идти у них на поводу. Поскольку у них везде шпионы, и в частности под этой нашей кроватью, пусть они понимают, что мы их понимаем. И пусть начнут говорить, что они не розенкрейцеры.

— Ты знаешь, мне стало страшно.

— Ничего не бойся, малютка, ведь с тобой я, а я очень глуп. Если они скажут, что не розенкрейцы, я и впрямь подумаю, что они розенкр... кры... и их развенчаю. Развенчанный розенкрыц совершенно безвреден, его можно выгнать в форточку газетой.

— А Алье? Он пытается убедить нас, что он на самом деле Сен-Жермен. Разумеется, это ему нужно, чтобы мы думали, что он не он. Так значит, он розенкрыц. Или нет?

— Слушай, Ампаро, мы будем спать. Или нет?

— Нет, теперь я хочу знать, чем кончилось.

— А ничем. Все куда-то делись. В тысяча шестьсот двадцать седьмом году выходит «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона и читатели решают, что он ее пишет о стране розенкрейцерства, даже если он ее ни разу не называет. Бедный Иоганн Валентин Андреа умирает, продолжая клясться то в том, что это был не он, то что если это и был он, то трепал языком просто так для смеху, однако дело сделано. Ободрившись тем, что их не существует, розенкрейцеры распространяются повсюду.

— Как Бог.

— О какая чудная идея. Посмотрим: Матфей, Лука, Марк и Иоанн — компания бездельников, собравшихся на тусовку, они устраивают соревнование, выдумывают главного героя, коротенько проговаривают сюжет — и вперед. Остальное зависит от способностей каждого. Потом четыре варианта разбираются всей командой на семинаре. Матфей довольно реалистичен, но переживает линию мессианства. Марк — очень неплохо, но нестройно, Лука пишет лучше всех, невозможно не признать этого, у Иоанна перекося в философскую сторону... В общем, к семинару присоединяются и другие, берут почитать их курсовые работы, когда ребята понимают, к чему все это привело, уже слишком поздно, Павел уже съездил в Дамаск, Плиний начал свое расследование по поручению обеспокоенного императора, легион сочинителей апокрифов делают вид, что они тоже достаточно много знают... читатель-апокриф, мой брат и мой двойник^[73]... Петр слишком много берет себе в голову и излишне серьезно относится к себе, Иоанн угрожает, что расскажет все, как было на самом деле, Петр и Павел подстраивают, чтоб его арестовали, заковали в цепи на острове Патмос, и у бедняжки начинаются галлюцинации, кузнечик садится на спинку кровати — уберите саранчу, заглушите эти трубы, откуда столько крови... Его начинают славить: пьянчуга, склеротик... Что если на самом деле все было именно так?

— Все было именно так. Читай «Манифест», а не манифесты.

— Ампаро, рассветает!

- Мы обалдели.
- Что-то куда-то там лезет заря розоперстая Эос...
- О как приятно. Иеманжа очень хочет, чтоб мы занялись именно этим...
- ... и самым неоккультным способом...
- ...да возрадуется тинтиннабулум...
- ...куда ты, аталанта фугиенс?
- ...к туррис вавилонской башне...
- ... скорее к тайному тайных, золотому руну, оно бледно, розово как раковина в подводной глуби...
- ... тише... *Silentium post clamores*, ^[74] — прошептала она.

Вероятно, что большинство предполагаемых розенкрейцеров, широко известных в качестве таковых, на самом деле является всего лишь розенкрейцерцами... И, более того, совершенно очевидно, что они не являются розенкрейцерами ни в какой степени, по простой той причине, что входят в эти объединения, что может показаться парадоксальным и на первый взгляд противоречивым, но тем не менее вполне умопостижимо....

Рене Генон, Обозрение об инициации

/Rene Guenon, Aperçu sur l'initiation, Paris, Editions, Traditionnelle, 1981, XXXVIII, p. 241/

Мы вернулись в Рио, я вернулся на работу. Однажды в иллюстрированном журнале я обнаружил, что, оказывается, в городе существует Старый и Принятый Орден Розенкрейцеров. Я предложил Ампаро сходить посмотреть, она неохотно согласилась.

Орден помещался на какой-то небольшой улице, наружу выходила витрина, уставленная хеопсами, нефертити и сфинксами.

Пленарное заседание как раз сегодня вечером. «Розенкрейцеры и умбанда». Выступает профессор Браманти, референдарий ордена в Европе, Тайный Кавалер Великого приората в регионах Родоса, Мальты и Фессалоник.

Мы решили войти. Обстановочка была та еще, все завешано тантрическими миниатюрами, изображающими змеюку Кундалини, ту самую, которую тамплиеры старались разбудить при помощи поцелуев в зад. К концу заседания я убедился, что в конечном счете не стоило пересекать Атлантический океан — все то же я вполне мог бы получить в миланской штаб-квартире «Пикатрикса».

За столом, покрытым красным сукном, перед немногочисленной и сонной публикой стоял Браманти, тучный господин, которого, если бы не размеры его тела, можно было принять за тапира. Говорил он гладкими фразами, но, очевидно, не долго, так как речь шла о братстве Розы и Креста времен восемнадцатой династии, то есть в период правления Яхмоса I.

Четыре Скрытых Бога следили за эволюцией расы, которая за 25 тысяч лет до основания Фив создала цивилизацию в Сахаре. Под их влиянием фараон Яхмос создал Великое Белое Братство — хранителя допотопной мудрости, которая хранилась в мизинце египтян. Браманти утверждал, что располагает документами (естественно, недоступными простым смертным), которые относятся ко времени мудрецов из Карнакского храма и их тайных архивов.

Символ розы и креста позже принял фараон Эхнатон. «У одного человека есть папирус, повествующий об этом, — говорил Браманти, — но не спрашивайте, у кого».

В улее Великого Белого Братства формировались Гермес Трисмегист, влияние которого на итальянское Возрождение было неопровержимым, как и на гностицизм Принстона, Гомер, галльские друиды, Соломон, Солон, Пифагор, Плотин, Иосиф Аримафейский, Алкуин, король Дагобер, святой Томас, Бэкон, Шекспир, Спиноза, Яков Беме, Дебюсси, Эйнштейн. Ампаро прошептала, что ей кажется, здесь не хватает только Нерона, Камбронна, Иеронима, Панчо Вилла и Бастера Китона.

Что касается влияния истинных розенкрейцеров на христианство, то Браманти заявил каждому, кто до сих пор не мог докопаться до глубины этой истории, что не случайно по легенде Христос умер на кресте.

Именно мудрецы Великого Белого Братства основали первую масонскую ложу во времена царя Соломона. О том, что Данте был розенкрейцером и масоном, как, впрочем, и святой Томас, свидетельствует каждая буква в его произведениях. В XXIV и XXV песнях «Рая» запечатлены тройной поцелуй принца Розового Креста, пеликан, белые одежды, как у стариков в Апокалипсисе, три теологические добродетели масонских капитулов — Вера, Надежда, Любовь.

Фактически символический цветок Ордена Розы и Креста (мифическая белая роза из XXX и XXXI песен) был принят римской церковью как символ Матери Спасительницы — отсюда и «Rosa Mystica» в литаниях.

И о том, что Орден Розы и Креста существовал в средние века, свидетельствует не только факт проникновения их к тамплиерам, но и конкретные документы. Браманти цитировал некоего Кизеветтера, который в конце прошлого века доказал, что розенкрейцеры в средние века произвели четыре центнера золота для принца-курфюрста Саксонии, приводил доказательства этого на страницах «Химического Театра», напечатанного в Страсбурге в 1613 году. Однако мало кто заметил намек на тамплиеров в легенде о Вильгельме Телле: Телль вырезал свою стрелу из ветки омелы, растения, которое встречается в арийской мифологии, и попал в яблоко — символ третьего быстрого глаза змея Кундалини, — а известно, что арийцы пришли из Индии, где скрывалось братство Розы и Креста после того, как покинуло Германию.

Что касается различных движений, которые утверждают, что имеют отношение к Великому Белому Братству, то Браманти признавал ортодоксальным «Братство Розенкрейцеров» Макса Хайнделя, но только потому, что в этой среде сформировался Аллен Кардек. Всем известно, что Кардек — отец спиритизма и что на основе его теософии, которая предполагает контакты с душами умерших, сформировалась духовность умбанды — слава благородной Бразилии. В этой теософии «Aum Vhanda» является санскритским выражением, которое относится к Божественному принципу и источнику жизни («Они опять нас обманули, — прошептала Ампаро, — даже „umbanda“ — не наше слово, оно только по-африкански звучит»). Корень «Aum», или «Ugn» адекватен буддистскому «Om», это имя Бога на языке Адама. «Um» — это слог, который, если его произнести определенным образом, превращается в могущественную мантру и вызывает флюидные потоки гармонии, которые проникают в душу через siakra, или лобовое сплетение.

— Что такое «лобовое сплетение»? — спросила Ампаро —
Неизлечимая болезнь?

Браманти предупреждал, что необходимо отличать настоящих розенкрейцеров, наследников Великого Белого Братства, конечно,

скрытых под завесой Ордена Древнего и Принятого, который он недостойно представляет, от розенкрейцеров, то есть всех тех, кто с позиций личного интереса черпали вдохновение в мистике розенкрейцеров, не имея на это права. Он советовал обществу не верить ни одному розенкрейцеру, который твердит, что он розенкрейцер.

Ампаро заметила, что все представители братства Розы и Креста являются друг для друга «розенкрейцерами».

Один наглец из публики встал и спросил, как может Орден его, Браманти, претендовать на подлинность, если нарушает правило молчания, обязательное для истинного последователя Великого Белого Братства. Браманти в свою очередь поднялся и ответил:

— Я не знал, что и сюда проникли наемные провокаторы, безбожники-материалисты. В таких условиях я больше ничего не скажу. И он величественно вышел.

Вечером позвонил Алье, расспросил о новостях и предупредил, что завтра мы наконец сможем участвовать в обряде. А пока он предложил пойти чего-нибудь выпить. Ампаро была на политическом собрании со своими приятелями, и я пошел один.

Valentiniani... nihil magis curant quam occultare quod praedicant: si tamen praedicant, qui occultant... Si bona fide quaeres, concrete vultu, suspenso supercilio — altum est — aiunt. Si subtiliter tentes, per ambiguitates bilingues communem fidem affinnant. Si scire te subostendas, negant quidquid agnoscunt... Habent artificium quo prius persuadeant, quam edoceant. [75].

Tertullian, Adversus Valentinianos

Алье позвонил известить о том, что на следующий день нас будут ждать в павильоне умбанды, а пока что пригласил меня посетить одно место, где еще и сейчас делают настойку «батыду» именно так, какую ее помнят люди, не имеющие возраста. Это было в нескольких шагах от братства Кармен Миранды, и я оказался в сумрачном лесу, где прокопченные люди курили листья табака, жирные, как шматы сала, закрученные, как корабельные швартовы. Они разминали жгуты подушечками пальцев, покуда те не превращались в широкие прозрачные пластины, а потом заворачивали в промасленную бумагу. Поджигать это дело приходилось каждую минуту, но зато можно было понять, что представлял собою табак до того, как он был открыт сэром Уолтером Рейли.

Я рассказал ему о давешней лекции.

— Теперь еще и розенкрейцеры? Ваша жажда познаний прямо-таки ненасытна, мой юный друг. Не склоняйте ваш слух к рассказам глупцов. Все они ссылаются на неопровержимые документы, но никто и никогда их не видел. Этот Браманти мне известен. Он живет в Милане, когда, разумеется, не рыщет по свету, распространяя свою доктрину. Он безвреден, хотя до сих пор верит Кизеветтеру. Все розенкрейцерцы цитируют знаменитую страницу из «Химического театра». Однако если вы обратитесь непосредственно к оригиналу — а в моей скромной миланской библиотечке это издание имеется, — вы увидите, что цитаты там нет.

— Шутник этот господин Кизеветтер.

— Вы попали в десятку. Это потому, что в XIX веке даже оккультисты стали жертвами духа позитивизма: вещь не является таковой, если ее нельзя доказать. Вспомните дебаты по поводу «Герметического корпуса». Когда в XV веке он проник в Европу, Пико делла Мирандола, Фичино и многие другие мудрые мужи установили истину: это, должно быть, труд очень древний, старше египтян, старше, чем Моисей, так как в нем есть мысли, которые позже слетели с уст Платона и Иисуса.

— Как это — позже? Таковы же доводы Браманти о Данте-масоне. Если «Корпус» повторяет идеи Платона и Иисуса, это означает, что он был написан после них!

— Вот именно! Вы тоже поняли. И фактически таким был аргумент современных филологов, которые прибавили к нему свой туманный лингвистический анализ в подтверждение того, что «Корпус» был написан между II и III веками нашей эры. Это все равно что сказать, будто Кассандра родилась после Гомера, так как знала уже о гибели Трои. Верить, что время непрерывно и направленно, что оно идет от А к Б — это современная иллюзия. Оно может также идти от Б к А, и тогда следствие порождает причину... Что означает констатация, что нечто происходит до или после? Ваша великолепная Ампаро появилась до или после своих неизвестных предков? Она слишком красива, — если вы не возражаете против объективной оценки человека, который мог бы быть ей отцом. Значит, она появилась до и есть таинственным началом того, что способствовало ее сотворению.

— Но с этой точки зрения...

— Собственно, концепция «точки зрения» ошибочна. Точки были придуманы наукой после Парменида, чтобы определять, откуда и куда все движется. Ничего не движется. Существует только одна точка, из которой в один и тот же миг появляются все остальные точки. Наивность оккультистов XIX века и нашего времени состоит в том, что они стремятся доказать правду правды методами научного обмана. Рассуждать следует не по законам логики времени, а следуя логике Предания. Все времена символизируют друг друга, а значит, невидимый храм розенкрейцеров существует и существовал всегда, независимо от поворотов истории, вашей истории. Время последнего откровения — это время, определяемое не часами. Его связи

упрочиваются в процессе «утонченной истории», когда научные «до» и «после» значат очень мало.

— Но фактически все те, кто проповедуют вечность розенкрейцеров...

— Шуты-ученые, так как пытаются доказать то, что надо знать без доказательств. Вы полагаете, что верующие, которых мы увидим завтра вечером, знают, или в состоянии доказать то, что им сказал Кардек? Они знают потому, что они готовы принять знание. Если бы мы все сохранили эту чувствительность к тайне, нас бы озарило откровение. Не обязательно хотеть, достаточно быть готовым.

— Прошу прощения за прямоту, но все-таки: розенкрейцеры существуют или нет?

— Что значит существовать?

— Скажите вы.

— Великое Белое Братство, зовите его розенкрейцерством, зовите духовным рыцарством (одним из частных воплощений которого являются тамплиеры), это когорта мудрецов; их мало, очень мало, избранных, проходящих через столько веков, через всю историю человеческого рода, и обороняющих твердыню вековечного знания. История развивается не случайно. Она есть творение Верховников Света, от которых ничто не укрыто. Разумеется, Верховники Света защищают себя завесой тайны. И поэтому ежели перед вами тот, кто утверждает, что он верховник, розенкрейцер или тамплиер, знайте, что это ложь. Таким образом, их отыскать невозможно.

— Но коли так, значит, их история продолжается бесконечно?

— Бесконечно. Такова премудрость этих Старейшин Мира.

— Но что они могут сообщить людям?

— Что имеется Тайна. В противном случае — для чего жить, если все именно таково, каким представляется?

— А что это за тайна?

— Она — то, чего религии откровения не умели высказать. Тайна — в другом месте.

Видения бывают белые, синие, белые с ярко-алым. В конце концов они смешиваются и все становятся светлыми, цвета пламени белой свечи, вы увидите искры, почувствуете, как мурашки побегут по телу, все это означает начало увлечения, которое охватывает тех, кто осуществляет Деяние.

Папюс, Мартинес де Паскуалли.

/Papus, Martines de Pasqually, Paris, Chamuel, 1895, p. 92/

Наступил ожидаемый вечер. Как было и в Сальвадоре, Алье заехал за нами. Шатер, в котором проводилось радение, называемое «жира», был практически в центре, если существует понятие центра применительно к городу, который языками простирается на много километров во все стороны по долинам, а с одной стороны стелется вдоль моря таким образом, что при обзоре сверху, при вечернем освещении, напоминает шевелюру, пораженную темным лишаем.

— Как вы знаете, сегодня вы увидите умбанду. Там в радеющих вселяются не ориша, а огуны, то есть духи тех, кто умер. И еще они во власти Эшу, африканского Гермеса, вы его видели в Баии, и подруги Эшу, Помбы Жира. Эшу — это божество йоруба, демон, склонный к издевательствам, насмешкам, однако глумливое божество существовало и в мифофольклоре американских индейцев.

— А как называются призраки мертвых?

— «Прето вельо» и «кабокло». Претос вельос — «старые жрецы» — мудрецы, старейшины африканцев, руководившие народом во время депортации, легендарные знаменитости — Рей Конго, Пай Агостиньо... Они сделались символами в последний, сравнительно смягченный период рабовладельчества, когда негр переставал быть скотиной, а превращался уже скорее в дедушку — дядюшку — друга дома. Кабоклос — это, наоборот, привидения индейцев,

целомудренные силы, чистота первородной природы. При камлании в умбанде африканские ориша остаются на втором плане, они теперь полностью ассимилировались с католическими святыми, а главную роль в этом культе играют кабокло и прето вельо. Именно они приводят людей в транс; медиум, так называемый «кавало», при танце внезапно ощущает, что в него вселился высший дух, и теряет контроль над собой. Потом он пляшет, куда высший дух из него не выходит, после чего ему становится легко, прозрачно — он полностью очистился.

— Везет человеку, — сказала Ампаро.

— Действительно, везет, — откликнулся Алье. — Представьте себе, сподобиться непосредственного контакта с матерью землей. Ведь этой вере в свое время обрубали корни, выхватили ее, швырнули в огнедышащие горны городов, пережгли самую душу — но, как нас учит Шпенглер, меркантильный Запад в кризисную эпоху снова обращается за помощью к миру земли.

Между тем мы приехали. Капище выглядело обыкновенным цехом. Сюда тоже входили через жухлый садик, еще скромнее, чем тот, что в Баие, а перед дверью этого барака, который назывался «барракао», возвышалась статуэтка Эшу, окруженная корзинами подношений.

Перед самым входом Ампаро оттащила меня в сторонку.

— С ними мне все понятно. Ты слышал, как тот носорог, читавший лекцию, напирал на эпоху ариев? Ну, а этот говорит о закате Европы, Блют унд Боден, земля и кровь, — это нацизм чистой марки!

— Все не так просто, любовь моя, мы на обратном континенте.

— Спасибо за объяснение. Великое Братство Белых! Дошли уже до того, что едите вашего бога.

— Едят католики, милая, это совсем другой разговор.

— Тот же самый разговор, ты что, не слышал? Пифагор, и Данте, и Дева Мария, и масоны. Все они против нас. Наше дело умбанда и сидеть тихо.

— От вас дожدهшься тихо. Пойдем, уже начинается. Это тоже культура, надо ее понять.

— По мне только та хороша культура, чтобы повесили последнего попа на кишках последнего розенкрейцера.

Алье поманил нас от входа. Снаружи здание было очень тускло, но зато внутри полыхали невероятные яростные краски. Зала была квадратной, посередине была приготовлена площадка для пляски кавало с алтарем в глубине, вся обнесенная решетчатой оградой, и прямо около ограды возвышался помост для барабанов и атабаке. Ритуальное пространство было совершенно пусто, а с внешней стороны решетки топталась разношерстная толпа — верующие и любопытствующие, белые и черные, выделялись группки медиумов с их ассистентами, «камбонос», одетыми в белые ткани, кто босиком, кто в кедах. Алтарь поражал своим видом. Там были претос вельос, кабокрос с разноцветным оперением, святые, походившие на марципановые куклы, если бы не их пантагрюэльские размеры, Святой Георгий в своей сверкающей кирасе, в мантии, крашеной багрянницей, Святые Козьма и Дамиан, Мадонна, пронзенная мечами, и Христос бесстыдно гиперреалистического стиля, с раскинутыми руками, как Спаситель с горы Корковадо, только очень раскрашенный. Не видно было ориша, но их присутствие ощущалось в выражениях лиц бывших в зале, в сладком духе сахарного тростника и заготовленной пищи, в едковатом запахе пота множества людей, растомленных духотою и возбужденных близящейся жирой.

Вышел «отец святого», сел возле алтаря и принял нескольких верующих и гостей, обдавая их густыми клубами дыма от своей сигары, благословляя их и угощая какой-то жидкостью, причем это все напоминало поспешный обряд евхаристии. Я опустился на колени вместе с моими спутниками и выпил: когда «камбоно» наливал жидкость из бутылки, я заметил, что это обычное «Дюбоне», но заставил себя пить его маленькими глотками и с благоговением, как если бы это был эликсир жизни. Со стороны сцены доносился глухой шум атабаке, и посвященные запели искупительный гимн Эшу и Помба Жире:

Сеу Транка Руас э Можуба!
Э Можуба, э можуба!
Сете энкрузильядас э можуба!
Э Можуба, э можуба!
Сеу марабоз э можуба!
Сеу Тирири, э можуба!

Эшу Велудо, э можуба!
А Помба Жира э можуба!

Начал распространяться тяжелый запах индийского ладана, поскольку «отец святого» взял кадило и начал кадить, произнося молитвы Ошале и Святой Деве.

Атабаке ускорили ритм, «кавалос» завоевали пространство перед алтарем и уже начали поддаваться магическому действию «понтос». Большинство из них были женщины, и Ампаро не преминула высказать ироничные замечания по поводу слабости своего пола («Мы более восприимчивы, не так ли?»).

Среди женщин было несколько европейек, Алье указал нам на блондинку, немецкого психолога, которая участвовала в обрядах уже многие годы. Она все испытала, но если человек не предрасположен и ему не отдано предпочтение, то это бесполезно: она никогда не впадала в транс. Она танцевала, и взгляд ее был устремлен в пространство, в то время как атабаке не давали передышки ее и нашим нервам, а терпкий дым ладана заполнял зал, окуривая танцующих и зрителей, и, казалось, вызывал у всех — а у меня точно — спазмы в желудке. Но со мной такое случалось в «школах самбы», в Рио; я знал о психологическом воздействии музыки и шума, даже того, которому поддается на субботних дискотеках наша лихорадочная молодежь. Немка танцевала с вытаращенными глазами, каждым членом своего истеричного тела как бы призывая всех забытья. Постепенно другие женщины впадали в экстаз: запрокидывали головы, метались, раскачивались, плыли по морю забытья, а она почти плакала, потрясенная и напряженная, как будто безнадежно стремилась испытать оргазм, и возбуждалась, и неистовствовала, но не достигала желаемого. Стремясь потерять власть над собою, она, сама того не желая, контролировала себя каждую минуту.

В этот момент избранные осуществляли прыжок в пустоту. Их взгляды все более затуманивались, конечности напрягались, движения становились механическими, но не случайными, поскольку отражали природу сущности, поселившейся в них: некоторые приобрели болезненный вид, свесив безжизненно ладони, они исполняли движения всей рукой, имитируя плаванье, другие, согнувшись,

двигались медленно, и камбонос покрывали их белой льняной тканью, чтобы скрыть от глаз толпы тех, кого коснулся совершенный дух...

Некоторые кавалос неистово тряслись, а эти одержимые претовельос издавали глухие звуки — гум, гум, гум, двигали телами, наклоненными вперед, как у стариков, опирающихся на палку, выпячивали челюсти — и их лица становились изможденными и беззубыми. Одержимые кабокло, наоборот, издавали пронзительные крики воинов — хиахоу!!! — и камбонос изощренно поддерживали тех, кто не сопротивлялся насилию дара свыше.

Лупили барабаны, ритмы «понтос» возносились в воздух, перенасыщенный дымом. Я держал Ампаро под руку и вдруг заметил, что ладони ее влажнеют, сотрясается все тело, губы полуоткрыты.

— Что-то мне неважно, — прошептала она. — Давай выйдем.

Алье увидел, что с Ампаро, и помог нам пробиться к выходу. В вечерней свежести ей стало лучше.

— Ничего, — сказала она, — что-то я не то съела. И жара, и этот запах...

— Нет, — возразил «отец святого», проводивший нас по залу. — У нее восприятие медиума, я сразу обратил внимание. Вы хорошо отвечаете на «понтос».

— Хватит! — выкрикнула Ампаро и добавила еще что-то на наречии мне незнакомом. Я увидел, как «пай де санто» побледнел, вернее, как обычно писали в приключенческих романах о людях с темной окраской кожи, «посерел». — Хватит с меня всего этого! Меня просто тошнит, я где-то отравилась... Ради бога, оставьте меня в покое, я немного подышу, возвращайтесь все обратно. Я побуду одна, я еще не инвалидка.

Мы отправились в шатер, но когда я вошел в помещение, после чистого воздуха, снова грохот, и чад, и этот пот, который уже напитал все поры и проникал в любую среду и в любое тело, и этот насыщенный воздух подействовали на меня как глоток алкоголя на человека, пьющего после долгой отвычки. Я как мог тер себе лоб рукою, и какой-то старик протянул мне агогон — позолоченный музыкальный инструмент, треугольную раму с колокольцами, по которой надо было бить палочкой. «Взойдите на помост, — сказал он, — и играйте, вам станет лучше».

Его совет полагался на какой-то гомеопатический принцип. Так и случилось: я бил по своему агогону, стараясь как мог подлаживаться к ритму тамбуринов, и постепенно превращался в неотъемлемую частицу происходящего, и включаясь в него, я подчинял его себе, избывал то, что меня распирало, выводил напряжение — подрыгивая руками и ногами, освобождался от внешнего давления — вызывая его на себя, подгоняя его, приветствуя. Несколько позже, ночью того же дня, мы вернулись к этому в разговоре с Алье — о различиях между тем, кто познает, и тем, кто претерпевает.

Один за другим медиумы впадали в состояние транса и камбонос подводили их к стульям, стоящим у ограды, усаживали, раскуривали для них сигары и трубки. Верующие, которые не умели познать состояние одержимости, к ним подбегали, спешили усесться у их изножья, или нашептывали им что-то в ухо, добивались каких-то советов, впитывали благотворные токи, поверяли им исповедные признания, в общем, пытались причаститься. Кто-то даже убеждал себя и других, что транс нисходит и на него, на что камбонос отвечали сдержанным одобрением и отправляли людей обратно в ряды толпы, удовлетворенных и успокоенных.

На площадке плясунов металась целая толпа алкавших экстаза. Немецкая туристка, помешанная на умбанде, неестественно дергалась, просила у вышней силы забвенья, но все было бесполезно. В кого-то вселялся сам злобный бог Эшу, и они извивались с видом диким, угрожающим, коварным, скачками и толчками, как дергунчики.

И тогда я увидел Ампаро.

Теперь я знаю, что Хесед — сефира не только благодати и любви. Как напоминал Диоталлеви, это также и фаза экспансии божественного вещества, овладевающего всею бескрайней периферией. Это внимание живых людей к своим мертвым, но кем-то было не зря замечено, что в то же время и мертвые могут испытывать опасное внимание к живым.

Постукивая по агогону, я уже не следовал тому, что в это время происходило в зале, как делал прежде, когда старался сохранить что-то вроде самоконтроля и руководиться темпами музыки. Ампаро возвратилась в залу, должно быть, уже около десяти минут назад, и безусловно испытала то же самое ощущение, которое навалилось на меня, со свежа вошедшего. Но ей не сунули в ладони спасительный

агогон, а может быть, она бы его и не захотела. Вызываемая глубинными голосами, она отбросила всякие попытки самозащиты.

Я видел, что она, как в воду, врезалась в самую гущу пляски и поплыла неподвижно, запрокинув окаменелое лицо, выставив твердо шею, а потом как бы вся изломалась и растворилась без оглядки в бешеной похотливой сарабанде. Руки скользили по телу, тело себя предлагало. «А Помба Жира, а Помба Жира!» — выкрикивала толпа, восхищенная чудом, потому что в этот вечер дьяволица до тех пор еще не приходила. Теперь дьяволица была с ними.

— О сеу манто э де велюдо,
ребордадо тодо эм оуро,
о сеу гарфо э де прата,
муйто гранде э сеу тезоро...
Помба Жира дас Альмас, вем тома шу шу...

Я не осмеливался вмешаться. Вероятно, мой металлический фаллос все усиленнее бился о раму, и я спаривался с моей самкой, или с тем хтоническим духом, который она воплощала.

Ею занялись камбонос, облачили в ритуальную одежду и поддерживали, покуда длился ее транс, скоротечный, но интенсивный. Потом они подвели ее к сиденью, всю покрытую капельками пота и дышавшую через силу. Она отказалась принимать верующих, которые ринулись к ней как к оракулу, а вместо этого заплакала.

Жира подходила к концу, и я спрыгнул с насеста и заторопился к ней, с нею рядом уже стоял Алье и легонько поглаживал ей виски.

— Что за стыд, — повторяла Ампаро. — Я в это не верю, я не хотела, как я могла?

— Бывает, бывает, — утешал ее Алье тихо и нежно.

— Но это ведь значит, что нет спасенья, — плакала Ампаро. — Я все еще рабыня. Убирайся к черту, — яростно обратилась она ко мне, — я грязная нищая негритянка, где мой хозяин, я ничего другого не заслужила!

— Бывало и у белокурых ахейн, — утешал ее Алье. — Такова человеческая природа...

Ампаро попросила проводить ее к туалету. Радение уже заканчивалось. Только немка посередине зала танцевала до сих пор, провожая завистливым взглядом Ампаро, познавшую транс. Но в движениях немки уже почти не чувствовалось никакой надежды.

Ампаро вернулась минут через десять, тем временем мы благодарили пай де санто и с ним прощались, он же не мог нарадоваться сногшибательному успеху нашего первого знакомства со вселенною мертвых.

Алье вел машину в молчании, ночь была уже глубокой, у подъезда нашего дома он остановился. Ампаро сказала, что ей хотелось бы побыть сейчас одной.

— Почему бы тебе не прогуляться, — обратилась она ко мне. — Вернешься, когда я буду спать, я приму таблетку. Извините меня оба. Я уже говорила раньше, что, должно быть, отравилась. Все эти бабы чем-то нехорошим отравились. Ненавижу свою страну. Спокойной ночи.

Понимая трудность моего положения, Алье предложил мне пойти посидеть в баре на пляже Кобакабана, где кабаки не закрывались до утра.

Я молчал. Алье настойчиво предлагал мне попробовать изумительную батиду, потом все же затеялся разговор, прервавший тягостное молчание.

— Раса, или же, если хотите, культура, составляет область нашего подсознательного. С ней соседствует другая область, населенная архетипическими фигурами, которые едины для всех людей и во всех исторических эпохах. Сегодня вечером атмосфера и обстановка ослабили наши внутренние защиты — вы это испытали на собственном примере. Ампаро обнаружила, что ориша, которых она полагала уничтоженными в своем сердце, продолжали обитать в ее чреве. Не думайте, что я считаю это положительным фактом. Вы слышали, что я говорил с уважением о той сверхъестественной энергии, которая вибрирует вокруг всех нас, попадающих в эту страну. Но не думайте, что мне так уж симпатичны проявления одержимости. Инициация — не то же, что мистицизм. Отнюдь не одно и то же — быть причащенным и быть одержимым. Инициация есть интуитивное причащение тайнам, которые разум не в состоянии изведать, это головокружительный процесс, постепенное преображение как духа,

так и тела, которое может привести к проявлению надмирных качеств и даже к достижению бессмертия, но это нечто внутреннее, это тайна. Она не выражается вовне, она стыдлива, и в особенности эта тайна замешена на ясности и остранении. Поэтому Верховники Мира — причащенные, но они не снисходят до мистицизма. Мистик для них — это раб, это место явления Богоподобного, он есть то, через что есть возможность наблюдать проявления тайны. Причащенный воодушевляет одержимого, пользуется им, как можно пользоваться телефоном, чтобы осуществлялась связь на расстоянии, как химик пользуется лакмусовой бумажкой, чтоб убедиться, что в какой-то среде действует определенное вещество. Мистик полезен, потому что он лицедействует, выставляет себя напоказ. Инициаты же дают знать о себе только друг другу. Инициат контролирует те силы, которые действуют на мистика. В этом отношении не существует разницы между одержимостью кавалос и экстазом Святой Терезы Авильской или Святого Хуана де ла Крус. Мистицизм — выродившаяся форма контакта с божеством. Инициация — результат бесконечной аскезы разума и сердца. Мистицизм демократичен, если не демагогичен. Инициация аристократична.

— Умственна и бесплотна?

— В определенном смысле. Ваша Ампаро яростно обороняла свой ум, но только не от собственного тела. Атеисты уязвимее, чем мы.

Было очень поздно. Алье сказал, что скоро уезжает из Бразилии. Он оставил мне свой миланский адрес.

Я поднялся в квартиру и увидел, что Ампаро спит. Молча я растянулся с нею рядом и провел бессонную ночь с ощущением, что сбоку от меня на кровати спит незнакомое существо.

На следующее утро Ампаро кратко оповестила меня, что уезжает в Петрополис к подруге. Мы кое-как распрощались.

Она отбыла со своей тряпичной сумкой и с учебником политэкономии под мышкой.

Два месяца от нее не было вестей, а я ее не искал. Потом я получил от нее короткое письмишко, где ни о чем не говорилось. Только что ей нужно некоторое время, чтоб все обдумать. Я не ответил.

Я не чувствовал ничего, ни страсти, ни ревности, ни ностальгии. Внутри я был пуст, звонок, чист — как алюминиевая кастрюля.

Я пробыл в Бразилии еще один год, но уже как бы в предотъездном состоянии. Не встречался с тех пор ни с Алье, ни с друзьями Ампаро, проводил долгие часы на пляже, принимая солнечные ванны.

И запускал воздушных змеев. В Бразилии потрясающие воздушные змеи.

ГЕБУРА

Beydelus, Demeymes, Adulex, Metucgayn, Atine, Ffex, Uquizuz, Gadix, Sol, Veni cito cum tuis spiritibus.
[\[76\]](#)

Picatrix, Ms. Sloane 1305, 152, verso

Растрескивание сосудов. Диоталлеви нам часто рассказывал о поздней каббалистике Исаака Лурии, в которой теряется упорядоченное соединение сефирот. «Творение, — говаривал он, — это процесс вдыхания и выдыхания, словно бы Бог дышал беспокойно, тревожно, это что-то, наводящее на мысль о мехах».

— Великая Астма Бога, — прокомментировал Бельбо.

— Попробуй сам творить из ничего. Такое удается только раз в жизни. Бог, чтобы выдуть мир, как выдувают стеклянную колбу, должен был сжаться, чтобы вдохнуть, и затем с протяжным и светыщимся свистом явить десять сефирот.

— Со свистом или со светом?

— Бог подул, и стал свет.

— Множество способов.

— Но свечения сефирот необходимо собрать в емкости, способные выдержать их блеск. Сосуды, предназначенные для хранения высших сефирот — Кетер, Хохмы и Бины — противостояли их сиянию, но в случае с низшими сефирот — Хесед, Год, Нецах, Йесод — свет и вздох вырвались сразу и с огромной силой, сосуды разбились. Осколки света разлетелись по Вселенной, из них родилась грубая материя.

Растрескивание сосудов — продолжал Диоталлеви озабоченно, — это серьезная катастрофа. Нет ничего менее пригодного для жизни, чем неудавшийся мир. Должно быть, с самого начала космос имел какой-то дефект, однако даже наимудрейшим раввинам не удалось полностью его объяснить. Может быть, в тот момент, когда Бог делал выдох, в первоначальной емкости осталось несколько капель масла, материальный осадок, *reshimu*. и Бог распространился вместе с этим

осадком. Или же раковины, *qelippot*, бактерии разрушения, поджидали где-то, затаясь.

— Липкие ребята эти *qelippot* — вмешался Бельбо, — агенты дьявольского доктора Фу Манчу... Ну, а потом?

— А потом, — спокойно объяснял Диоталлеви, — в свете Сурового Суда, Гевуры, называемой также Пехад, или Страх, в свете сефиры, где, согласно Исааку Слепому, Зло выставляется напоказ, раковины обрели реальное существование.

— И находятся среди нас, — подсказал Бельбо.

— Только посмотри вокруг — добавил Диоталлеви.

— Но можно ли из них выйти?

— Скорее можно в них войти, — ответил Диоталлеви. — Все эманурует из Бога, в сжатии *tsimtsum*. Наша задача — осуществить *tiqqun*, возвращение, реинтеграцию, по Адаму Кадмону. Тогда мы все реконструируем в уравновешенной структуре *partsufirn* лиц, или, иначе говоря, форм, которые займут место сефирот. Восхождение души — это как шелковая веревочка, которая позволяет благочестивому намерению найти, как бы на ощупь, в темноте, путь к свету. Так мир в каждую минуту, комбинируя буквы Торы, пытается обрести естественную форму, которая бы вывела его из ужасного помешательства.

И именно это я делаю сейчас, глубокой ночью, заточенный в неестественном спокойствии этих холмов. Но в тот вечер, в перископе, меня еще обволакивала липкая слизь раковин, которые я чувствовал вокруг себя, этих незаметных улиток, прилипших к хрустальным водоемам Консерватория, рассыпанных среди барометров и заржавевших колес часов, пребывающих в глухой спячке. Я думал, что если действительно дошло до растрескивания сосудов, то первая трещина, наверное, образовалась тем вечером в Рио, во время обряда, однако взрыв произошел после моего возвращения на родину. Медленный взрыв, без грохота, но все мы оказались увязшими в иле грубой материи, где самозарождаются и выводятся червеобразные создания.

Я вернулся из Бразилии и не знал, кто я. Подходило тридцатилетие. В моем возрасте мой отец был отцом, знал, кто он и где ему жить.

Я очень долго пробыл далеко от страны, в ней произошли очень важные вещи, я же существовал в мире, набитом невероятностями, потому и итальянские новости читались в фантастическом свете. Покидая обратное полушарие, перед отъездом я раскошелился на авиакруиз над лесами Амазонии, при посадке в Форталесе на борт прибыли газеты, в каком-то местном издании на первой странице я увидел знакомую физиономию с подписью «Человек, убивший Моро». В свое время мы с ним выпили вместе немало белого у стойки славного Пилада.

Разумеется, по возвращении мне объяснили, что Моро он не убивал. Дай такому пистолет, он выстрелит себе в челюсть, чтобы проверить его исправность. Он просто находился в той квартире, куда ворвалась политическая полиция и обнаружила три пистолета и взрывчатку под кроватью. Он в это время находился в великой агитации на этой же кровати, ибо кровать была единственной обстановкой в квартире, которую в складчину снимала компания выходцев из шестьдесят восьмого года, и служила всем поочередно для утоления плотских желаний. Если бы единственным украшением стен не выступал плакат чилийской политической рок-группы «Инти Иллимани», можно было бы даже назвать эту квартиру гарсоньеркой. Один из квартиросъемщиков оказался связан с группой тоже политической — но уже не рок — а террористской. Остальные ничего не знали, но оплачивали явочную квартиру, так что всех замели и посадили на год.

Насчет Италии на новом этапе, я понимал на редкость мало. Я уехал отсюда на самой грани огромных перемен, почти что с комплексом вины из-за того, что сбегаю, когда приходит наконец-то время посчитаться. До отъезда мне хватало двух или трех фраз, цитаты, тона речи, чтобы уяснить политическое лицо. Но по возвращении я уже не разбирался, кто за кого. Уже не говорили о революции, говорили о Желании, так называемые левые цитировали Ницше и Седина, правая пресса больше всего занималась революцией в третьем мире.

Я снова оказался в «Пиладе». Неразведанная зона. Бильярд оставался, картины тоже были те же, но не та была фауна. Я узнал, что бывшие завсегдатаи пооткрывали школы трансцендентальной медитации и макробиотические рестораны. Я спросил, открыта ли уже

где-нибудь палатка умбанды. Ах, еще нет, значит, я, поскольку стажировался в стране, смогу получить эксклюзив?

Чтоб потрафить давнишней клиентуре, Пилад не выкинул флиппер старинной модели, к тому же эти флипперы начали до того походить на картины Лихтенштейна, что их уже приобретали антиквары. Но бок о бок с флиппером теперь стояли новые машины с флуоресцентным экраном, где когортами проплывали бронированные игуаны, шли в атаку камикадзе из Сторонней Державы и лягушка сигала из пустого в порожнее, огрызаясь по-японски. Пилад теперь освещался синюшными сполохами, и не исключая, что перед галактическими экранами имела место, совсем недавно, вербовка в Красные Бригады. Флиппер, конечно же, все забросили, потому что в него играть невозможно, если за ремнем или в кармане штанов у тебя засунут пистолет.

Это я начал понимать, проследив за направлением взгляда Бельбо, сфокусированного на Лоренце Пеллегрини. Тогда и появилось у меня смутное представление о том, что сумел Бельбо сформулировать гораздо более аналитично в одном из своих файлов. Лоренца не упомянута, однако несомненно, что говорится о ней: только она играла в эту игру так.

Имя файла: Флиппер

Во флиппер играют не только руками, но и лобком. Проблема состоит не в том, чтобы остановить шарик до того, как он закатится в лунку, и не в том даже, чтобы запулить его на середину поля сильным брыканием штырька, а в том, чтобы он взобрался на самую вершину игровой площадки, там где светящиеся мишени многочислейнее всего, и перепрыгивал бы с одной на другую, вращаясь беспорядочно и безумно, по велению собственной воли. А этого можно достичь не стрелянием по шару, а подачей целенаправленных вибраций на саму коробку поля, но только очень плавно, чтобы шарик не заподозрил недоброе и не затырился в каком-либо месте. Этого можно добиться только нажимая на коробку тазом, более того — подавая нужный импульс боками так, чтобы лоно не билось, а терлось о бортик, не доходя ни в коем случае до оргазма. И поэтому даже не утроба, а, притом что бедра колыхаются, согласно природе, ягодицы выдвигают

вперед до упора твое тело, нежно-нежно; когда сила толчка достигает лона — толчок уже смягчился, доза должна быть гомеопатической — чем вы больше сотрясали колбочку с раствором, чем меньше вещества практически там оставалось в пропорции ко всей воде, которую вы помаленьку подливали в склянку, тем исцелительней и сильнее действие пошла. Вот так-то от твоего лона неуловимейшие токи передаются на корпус-коробку, и флиппер подчиняется не невротично, и шарик бежит, бежит против природы, против инерции и против гравитационной тяги, против закона динамики и хитрости выдуманного конструктора, опьяняясь движущей силой — *vis movendi* — ведет игру все это памятное, о, незапамятное время. Но потребен для этого дела только женский таз, без полых и пористых, пустотных членов, стиснутых между чреслами и машиной, никаких эректируемых тканей, одни только кожа, нервы, кости, обтянутые парочкой джинсов, и сублимированный фурор эротикус, сводящая с ума фригидность, безразличная готовность ответа на чувствительность партнера и воля к распадению его желания без растраты, перерасхода собственного; амазонка доводит до беспамьтства флиппер и заранее смакует наслаждение той минуты, когда бросит его.

Думаю, что Бельбо влюбился в Лоренцу Пеллегрини в ту минуту, когда понял, что Лоренца способна ему предложить счастье, но не позволить его. И еще благодаря Лоренце в нем укоренилось понимание эротизма автоматического мира, машины как метафоры космического тела и механической игрушки как диалога с талисманом. Он уже тогда начинал одурманиваться Абулафией, и скорее всего, обдумывал знаменитый проект «Гермес». Вне всякого сомнения, он уже видел Маятник. Лоренца Пеллегрини, не знаю через какое там короткое замыкание, обещала ему такой Маятник.

Поначалу мне стоило больших усилий снова прижиться в «Пиладе». Шаг за шагом, и даже не каждый вечер, я в лесу посторонних мне лиц открывал те, знакомые, лица выживших, чуть запотевшие от моей опознавательной одышки: текстовик в рекламном агентстве, консультант по налоговым вопросам, торговец книгами в рассрочку — если раньше он пристраивал сочинения Че Гевары, ныне перешел на торговлю траволечением, буддизмом и астрологией. Я увидел: кто-то начинал шепелявить, в волосах появились частые серые

пряди, но в руке зажат стаканчик виски, так и кажется, будто этому стакану лет десять, и из него выпивается только одна капелька в месяц, насыщая по глоточку в год.

— А ты чем занят, почему не показываешься у нас? — спросил один из них.

— А что значит нынче «у нас»?

Он посмотрел на меня, как будто я исчезал из страны на сто лет: — Отдел культуры горсовета. Сколько смешного случилось без меня — обалдеть можно.

Я решил изобрести себе дело. Я не располагал ничем, кроме кучи отрывочных познаний, разнонаправленных, но которые мне удавалось увязать между собой как угодно, ценой нескольких часов в библиотеке. В мое время принято было иметь теорию, а я жил без теории, и я страдал. Теперь же было вполне достаточно располагать просто данными, и всем ужасно нравились сведения, по возможности менее актуальные. То же самое я увидел в университете, куда было сунулся, чтобы понять, найдется ли там для меня применение. В аудиториях было тихо, студенты скользили по коридорам, как тени, ксерокопировали друг у друга плохо составленные библиографии. Я мог бы составлять хорошие библиографии.

Однажды один дипломник, перепутав меня с доцентом (доценты с некоторых пор были в одном возрасте со студентами, вернее наоборот), спросил, что написал Лорд Чандос, которого изучали в спецкурсе по циклическим кризисам в мировом хозяйстве. Я просветил его, что лорд Чандос — не экономист, а персонаж Гофмансталя.

В тот же самый вечер я был в гостях у друзей и повстречал у них старого знакомого. Теперь он работал в издательстве. Он пошел работать к ним вслед за тем, как они прекратили печатать романы французских коллаборационистов и занялись албанской политической литературой. Вот, как видишь, пояснил он мне, политизированные издательства существуют, но теперь на дотациях государства. Лично они, впрочем, всегда рады одной-двум стоящим книгам по философии. Традиционного типа, уточнил он.

— Кстати, — сказал этот человек. — Ты как философ...

— За философа спасибо, но...

— Ладно ладно, я сейчас редактирую текст о кризисе марксизма и нашел там цитату из какого-то Ансельма Кентерберийского. Кто он? Нигде нету, даже в энциклопедическом словаре.

— Я отвечал ему, что речь идет об Ансельме из Аосты, но у англичан он называется по-другому, потому что у них все не как у людей.

Все волшебным образом прояснилось в моей голове. Для меня отыскалась профессия. Я решил, что открою культурно-информационное агентство. Буду сыщиком от науки.

Вместо того чтобы совать нос в кабаки, бары и в бордели, я буду шнырять по книжным магазинам, библиотекам, по коридорам научных институтов. А потом возвращаться в свой офис и, задрвав ноги на стол, потягивать виски из бумажного стакана, прикупив и то и другое в лавчонке на углу. Тут звонит некто и говорит: «Я перевожу одну книгу и напоролся на какого-то — или каких-то — Мотокаллемин. Прошу вас, займитесь этим».

Ты не знаешь, с чего начать, но неважно, просишь на расследование двое суток. Прежде всего — дряхлый университетский каталог. Потом ты предлагаешь сигарету парню из справочного отдела — намечается что-то вроде следа. Вечером ты приглашаешь в бар аспиранта по исламу. О йес! Берешь ему кружку пива, другую, потихоньку теряется бдительность, и он отдает информацию, необходимую до зарезу, просто за так, бесплатно! После чего набираешь номер клиента: «Значит так, мотокаллемины — в исламе богословы радикальных убеждений во времена, когда жил Авиценна, утверждавшие, что мир являет собою, как бы это выразиться, что-то вроде туманности случайностей, а загустевает он в конкретных формах только ради мгновенного и временного осуществления божественной воли. Стоит Господу отвлечься на полчаса, и весь мир развалится. Полная анархия атомов без всякой взаимосвязи. Этого хватит? Я проработал три дня, посчитайте сами».

Мне подфартило отыскать две комнаты с крошечной кухней в старом доме на периферии Милана, где до недавних пор была фабрика. В административном крыле все перестроили под квартиры и вывели входные двери в общий длинный коридор. Моя квартира находилась между агентством по продаже недвижимости и лабораторией набивальщика чучел (А. Салон — таксидермист). Все до чертиков

походило на американский небоскреб начала тридцатых, еще бы застеклить верх двери — и я бы был вылитый Марло. Во второй комнате я поставил диван-кровать, а в первой устроил контору. Построил два ряда полок и загрузил их атласами, энциклопедиями, каталогами, которые пополнял постепенно. В самом начале мне приходилось идти на компромиссы с совестью. Признаюсь, что не отвергал и написания дипломов для студентов. Это было нетрудно, поскольку я передирал с дипломов десятилетней давности. Вдобавок друзья издатели периодически подкидывали внутренние рецензии и книжки на иностранных языках для обзоров, разумеется — самые нудные и по самым низким расценкам.

Но я накапливал знания и умения и ничего не выбрасывал. Составлял конспекты на все. Я не вел тогда банк данных в компьютере (первые из них поступали в продажу как раз в эти годы, и Бельбо был пионером), у меня было ремесленное оборудование, но я создал нечто вроде банка памяти, состоящего из хрупких картонных карточек с перекрестными отсылками. Кант... туманность... Лаплас, Кант, Кенигсберг, семь мостов Кенигсберга... теоремы топологии... Больше всего это походило на ту игру, в которой надо добраться от сосиски до Платона за пять переходов, она называется «игра в ассоциации». Посмотрим. Сосиска — свинтус — щетина — кисть — маньеризм — идея — Платон. Это легко. Любая жвачная рукопись давала мне возможность заполнить двадцать карточек для будущей игры в пирамидку. Критерий был очень жесткий, я думаю, что этот же критерий применяется обычно спецслужбами: нет лучших или худших сведений, сведения нужны любые, а затем начинается поиск связей между ними. Связи существуют всегда, надо только захотеть их найти.

Проработав примерно два года, я был вполне доволен собою. Впервые, мне это нравилось. И вдобавок я повстречал Лию.

Чтоб всякий ведал, как я названа, Я — Лия, и прекрасными руками Плетя венок, я здесь брожу одна. [77].

Чистилище XXVII, 100–102

Лия. Сейчас я мучаюсь мыслью, что ее не увижу, но я мог бы ее вообще не встретить, и это бы было хуже. Если бы она была со мной, держала бы мою руку, в то время как я восстанавливаю этап за этапом своей гибели. Она ведь все предугадала. Но я не могу ее ввязывать в эту историю, ни ее, ни ребенка. Надеюсь, что они задержатся с переездом и вернуться, когда все уже будет кончено, как бы оно ни кончилось.

Это было 16 июля восемьдесят первого года. Милан уже почти опустел и в справочном зале библиотеки не было никого.

— Прошу прощения, но том 109 собиралась взять я.

— Почему же он тогда стоял тут?

— Потому что я отошла на минутку взять выписку.

— Это не причина.

Она уже улепетывала к столу со своей добычей. Я уселся напротив, надеясь рассмотреть ее лицо.

— И удастся читать что-нибудь, кроме Брайля? — спросил я. Она подняла голову, но все равно было неясно, лицо это или затылок.

— Что? — переспросила она. — А-а. Я все прекрасно вижу. — Но при этих словах она отодвинула челку, и глаза у нее были зеленые.

— Зеленые глаза, — сказал я.

— Да, а что, это плохо?

— Почему же плохо. Наоборот...

Так это начиналось.

— Ешь, а то худой, как скелет, — сказала она за ужином. Пробыло полночь, мы все еще находились в греческом ресторане около «Пилада», и свеча почти совершенно оплыла на горлышко бутылки, и мы рассказывали все. У нас была одинаковая профессия. Она редактировала статьи для энциклопедии.

Я торопился выговориться. В половине первого она отодвинула челку, чтобы лучше меня рассмотреть, и тут я выставил палец, как пистолет, изображая прямое попадание, и пропищал:

— Пиф. Паф.

— Как интересно, — сказала она. — Я тоже.

Так мы стали плотию от единой плоти, и с того вечера меня начали именовать Пифом.

Мы не могли позволить себе новую квартиру, поэтому я ночевал у нее, а днем она приходила ко мне в контору или же отправлялась на охоту, и безусловно, она была ловчее меня, распутывая загадки, и знала, какие связи надо подмечать и делиться со мной.

— Есть у нас где-то фиговенький конспект на розенкрейцеров? — говорила она.

— Да, надо мне этим заняться, когда будет время. Это конспект бразильских записей.

— Так вот, поставь отсылку на Йейтса.

— Причем тут Йейтс?

— Притом, что я читаю вот здесь, что он входил в розенкрейцерское общество, которое называлось «Утренняя Звезда».

— Что бы я без тебя делал, подумать страшно.

Я снова начал посещать «Пилад», теперь это была для меня биржа, в «Пиладе» я находил заказчиков.

Однажды я там увидел Бельбо, он, кажется, тоже до того времени не часто рассиживался в «Пиладе» и вернулся только с тех пор, как узнал Лоренцу Пеллегрини. Все такой же, седины немного больше и немного похудевший, но не слишком.

Он отреагировал на меня сердечно (применительно к его буйному темпераменту). Несколько быстролетных фраз о старом времени, обоюдное умолчание о последней серии событий, в которых участвовали мы вдвоем, и об эпистолярном продолжении этой серии. Комиссар Де Анджелис больше не показывался. Дело сдали в архив или вроде того. Я рассказал ему о своей работе, и он, кажется, заинтересовался.

— Честно говоря, мне тоже хотелось бы заниматься чем-то в этом роде, Сэм Спейд от культуры, двадцать долларов в день плюс командировочные.

— Но не приходят обольстительные и загадочные леди и никто не спрашивает о мальтийском соколе, — сказал я.

— Не теряйте надежды. Вам нравится эта работа?

— Не то чтобы нравится, — ответил я цитатой из него самого. — Это единственное, что я, может быть, хорошо умею.

— Good for you, [\[78\]](#) — отвечал он.

Мы встречались еще не раз, я рассказывал ему о бразильских впечатлениях. Однако взгляд его при этом вечно как-то витал, более чем обычно. Когда в баре не было Лоренцы Пеллегрини, взгляд сгущался и повисал над входной дверью, а когда она была, он беспокойно перелетал по залу вслед за ее перемещениями. Как-то вечером перед самым закрытием он проговорил, как всегда отсутствуя глазами:

— Слушайте, нам, скорее всего, понадобится ваше сотрудничество, причем на длительное время. Вы могли бы работать на нас по полдня, скажем, несколько раз в неделю?

— Надо подумать. О чем идет речь?

— Крупная металлургическая фирма заказывает книгу о металлах. Иллюстрации должны преобладать над текстом. В общем, популярно, но серьезно. Вы понимаете, в каком жанре. Металлы в истории человечества, от железного века до сплавов, употребляемых в ракетостроении. Нам нужен кто-то для поисков в библиотеках и в архивах, для подбора иллюстративного материала, высококлассного: старые миниатюры, гравюры из альбомов прошлого века на разные темы, ну не знаю, литье, громоотводы.

— Ладно, я завтра зайду и поговорим.

Тут подошла Лоренца Пеллегрини.

— Отвезешь меня домой?

— Почему сегодня я? — спросил Бельбо.

— Потому что ты мужчина всей моей жизни.

Он покраснел как мог покраснеть только он — и взгляд его был направлен в еще более странную, чем обычно, точку. Потом сказал ей:

— Присутствовали свидетели.

И мне:

— Я мужчина всей ее жизни. Лоренца Пеллегрини.

— Добрый вечер.

— Добрый вечер. Он поднялся и прошептал ей что-то на ухо.

— С какой стати? — отвечала она. — Я попросила тебя отвезти меня на машине до дома.

— А, — сказал Бельбо. — Извините, Казобон, я работаю таксистом вот у этой дамы неизвестно чьей жизни.

— Балда, — ласково сказала она и поцеловала его в щеку.

*Позвольте тем временем советовать
грядущему, или же настоящему читателю, если он
подвержен меланхолии. Пусть не ищет знаков или
провозвестий в том, что сказано ниже, дабы не
причинилось ему беспокойства, и не вышло более зла,
нежели пользы, если он применит это к себе... как
большинство меланхоликов.*

*R. Бартон, Анатомия меланхолии,
Вступление*

*/R. Burton, Anatomy of Melancholy, Oxford,
1621, Introduzione/*

Было ясно, что Бельбо и Лоренца Пеллегрини связаны. Я только не знал, насколько тесно и насколько давно. Файлы Абулафии тоже не помогают реконструировать сюжет.

В частности, не датирован файл об ужине с доктором Вагнером. Знакомство с доктором, с одной стороны, существовало еще до моего отъезда в Бразилию, с другой — продолжалось после моего прихода в «Гарамон»; соприкасался с доктором и я, а значит, ужин с Вагнером мог иметь место как до, так и после того вечера в «Пиладе». Если до — представляю себе смущение Бельбо и его подавленное отчаяние.

Доктор Вагнер из Вены, с многолетней практикой в Париже, чем обуславливалось ударение в фамилии на последнем слоге, чем щеголяли его знакомцы, вот уже лет десять наезжал в Милан по приглашению двух революционных групп — реликтов шестьдесят восьмого года. Группы устраивали с ним дискуссии и, разумеется, каждая предлагала альтернативную радикалистскую трактовку его взглядов. Зачем и почему этот известный человек спонсоририровался у экстрапарламентариев, я никогда не мог понять. Теории Вагнера сами по себе не носили политической окраски, и захоти он, мог бы ездить по приглашениям университетов, клиник, академий. Наверное, дело в том, что условия революционеров были для него выгоднее остальных,

а главными качествами доктора являлись эпикурейство и привычка к княжескому шику. Частные же организации платили щедрее, чем государственные, следовательно, доктор Вагнер мог приезжать в первом классе, останавливаться в лучшем отеле, а счета за лекции и семинары выписывать по тарифам психиатрических сеансов.

Каким образом, со своей стороны, революционные группы находили идеологическое вдохновение в теориях господина Вагнера — это другой разговор. Хотя в те годы психоанализ Вагнера развивался по линии настолько деконструктивистской, диагональной, либидинозной и некартезианской, что из него и впрямь могла браться теоретическая подпитка любой, в том числе революционной деятельности.

Правда, не было понятно, как переварит эти идеи рабочий класс; обе реву группы оказались на перепутье — выбирать рабочий класс или Вагнера, и выбрали Вагнера. Была проведена идеологическая поправка, согласно которой движителем новой революции выступал не рабочий класс, а интеллигенция.

— Чем интеллектуализировать пролетариат, легче опролетарить интеллигенцию, а зная тарифы профессора Вагнера, ждать придется недолго, — сказал мне на это Бельбо.

Вагнерианская революция была самой дорогостоящей в истории человечества.

В издательстве «Гарамон» по субсидии одного психологического института был переведен и издан сборник мелких статей профессора, узкоспециальных, но ценных для поклонников Вагнера именно в силу давности и редкости. Вагнер прибыл в Милан, чтоб провести презентацию, тогда-то и началось их общение с Бельбо.

Имя файла: Доктор Вагнер

Дьявольский д-р Вагнер
Серия двадцать шестая
Кто в это серое нахмуренное утро

Во время обсуждения я выступил с замечанием. Сатанический старец раздражился, но не выказал. Отвечал, наоборот, обольстительно.

Так Шарлюс витает над Жюпьеном,^[79] пчела над венчиком. Гений не выносит нелюбимости. Он должен обольстить нелюбящего, влюбить его. Сделано: я полюбил Вагнера. Но, вероятно, Вагнер меня не простил, потому что в вечер развода нанес мне смертельный удар. Не сознавая, инстинктивно: не сознавая обольщал, не сознавая решил меня покарать. В контексте деонтологии^[80] он психоанализировал меня бесплатно. Подсознательное кусает и своих надсмотрщиков.

Похоже на историю с маркизом Лантенаком в девяносто третьем. Корабль вандейцев попадает в грозу у бретонского берега, внезапно орудие отскакивает от лафета, и в то время как корабль роет волны то носом, то кормой, пушка мечется обезумело от форштевня до вахтерштевня, сокрушая все на пути. Канонир корабля (увы, именно тот, чьей нерачительностью было вызвано опасное происшествие) с беспримерной храбростью, с цепью в руках кидается наперерез чудовищу, грозящему убить, одолевает его, связывает, возвращает в мирное русло, спасает корабль, экипаж, задание. Следует возвышенно-литургическое действие по сценарию ужасного Лантенака. Команду строят на квартердеке, отличившегося вызывают перед строем, командир награждает его высшей военной наградой, сняв орден с собственной шеи, обнимает, лобызает, а орава оглашает воздух бесчисленными ура.

После этого нестигаемый Лантенак провозглашает, что именно этот, не знающий страха, был виновником аварийной обстановки, и что он должен быть расстрелян.

О дивный Лантенак, о доблестный, справедливый, неподкупный! Так же поступил со мною доктор Вагнер, я горжусь его дружбой, он убил меня, одарив меня истиной, убил меня, объяснив мне, чего именно я желаю, объяснил мне, чего я, желая, боюсь.

История начинается по кафе и барам. Потребность влюбиться. Есть вещи, которые предчувствуются. Невозможно влюбиться вдруг. А в периоды, когда влюбление назревает, нужно очень внимательно глядеть под ноги, куда ступаешь, чтобы не влюбиться в совсем уж не то.

Почему во мне назревало влюбление именно в этот период? Наверное, от того, что я как раз бросил пить. Работа сердца связана с работой печени. Новая любовь дает чудный повод запить снова. Снова двинуться по барам и кафешкам.

Бар быстролетен, вороват. Бар вытекает из сладкого ожидания в течение целых суток, покуда не окунешься в полумрак кожаных полукресел, в шесть часов вечера там нет ни единого человека, омерзительные завсегдатаи сползутся к вечеру, когда будут играть музыку. Предпочитаю малоприличный американ-бар, пустынный в предвечернюю пору, официант подходит только после третьего зова с готовым новым мартини.

Мартини — залог всего. Не виски, а именно мартини. Субстанция белого цвета, поднимешь стакан и внутри увидишь оливку. И разность между лицезрением возлюбленной через мартини-коктейль, налитый в треугольный бокал — он непростительно мал — и ее же лицезрением сквозь джин мартини on the rocks, который подают в широком стакане, и лик дробится кубиками льда, дробленный лик двоятся, когда вы сдвигаете стаканы и прижимаетесь челом каждый к своему охлаждающему стеклу — годятся на это стаканы, а бокалы не годятся никак.

Так мимолетен бар. Потом жди, дрожа, следующего дня. Нет уверенности — шантажа.

Кто влюбляется по барам, не нуждается в совершенно собственной женщине. Пусть некто вас одалживает друг другу.

Фигура этого некто. Он дает ей огромную свободу, будучи вечно в отъезде. Подозрительно либерален. Я мог звонить тебе в двенадцать ночи, он был дома, а ты нет, он говорил, что тебя нету, более того, кстати к слову, вы не знаете случайно, где она может быть? Единственные моменты ревности. Но именно таким образом я отбивал Цецилию у саксофониста. Любить или только думать, что любишь, как вечный священнослужитель той стародавней мести.

С Сандрой все осложнилось. На этот раз она почувствовала, что у меня это серьезно, и отношения нашей совместной жизни сделались напряженными. Нам надо расстаться? Тогда расстанемся. Нет, подожди, обсудим. Нет, так продолжаться не может. В общем, проблема была в Сандре.

Когда встречаешься по барам, драма твоей страсти фокусируется не на том, с кем ты встречаешься, а на том, с кем расстаешься.

В то время имел место ужин с доктором Вагнером. На лекции в тот день им было дано, в ответ на провокационный вопрос, определение психоанализа:

— La psychanalyse? C'est qu'entre l'homme et la femme... chers amis... ca ne colle pas^[81]

Речь шла об отношениях пары, о разводе как иллюзии закона. Захваченный собственными проблемами, я участвовал в дискуссии с жаром. Мы позволили себя втянуть в диалектическую чехарду, говорили сами, в то время как Вагнер молчал. Мы забыли, что перед нами сидит оракул. Вдруг с задумчивым видом он вдруг с полууснувшим видом он вдруг с грустно-равнодушным видом он вдруг как будто совсем некстати Вагнер вступил в разговор (я хочу в точности передать его слова, они врезались в мою память совершенно точно, в данном случае я безусловно не ошибаюсь):

— За всю мою жизнь я ни разу не имел пациента, невротизованного собственным разводом. Причиной страдания всегда выступает развод Другого.

Доктор Вагнер даже в устной речи ставил заглавную Д в слове Другой. В любом случае я подскочил как будто уязвленный аспидом.

Виконт подскочил как будто уязвленный аспидом ледяной пот жемчужными каплями выступил на его челе барон наблюдал за виконтом сквозь ленивые колечки дыма тончайших русских сигарет.

— Вы имеете в виду, — спросил я, — что депрессия охватывает человека не из-за его собственного развода, но из-за возможного или невозможного развода того третьего лица, которое ответственно за кризисное состояние той пары, членом которой этот человек выступает?

Вагнер посмотрел на меня с изумлением обывателя, впервые имеющего дело с умственным расстройством. И спросил, что я хочу этим сказать.

Действительно, что бы я ни хотел сказать, выразился я глупо. Тогда я попытался конкретизировать умозаключение. Я разложил на скатерти приборы.

— Вот, это я, Нож, женатый на Ложке. Есть еще Вилочка, замужем за Ножиком, за другим, чем я, за Мекки Мессером. Так вот, я, Нож, думаю, что переживаю из-за того, что собираюсь оставить свою супружницу Ложку, и в то же время не желаю этого, в то время как я люблю Вилочку, но меня вполне устраивает, если бы она оставалась себе со своим Ножичком. Вы же, доктор Вагнер, говорите мне, что на

самом деле я страдаю из-за того, что Вилочка не расстается с Ножичком. Это так?

Вагнер уведомил сидевшего с нами сотрапезника, что никогда не говорил ничего подобного.

— Как это не говорили? Вы же сказали, что никогда не видели, чтобы люди были невротизованы собственным разводом, а всегда разводом кого-то другого.

— Может быть, не помню, — отвечал доктор Вагнер скучливо.

— А если вы это говорили, имели ли вы в виду то, что имел в виду сейчас я?

Вагнер выдержал паузу в несколько минут.

Бывшие за столом замерли, не решаясь даже сглотнуть. Вагнер сделал знак, чтобы ему налили в бокал вина, внимательно посмотрел жидкость на свет и только потом заговорил.

— Если вы поняли в этом смысле, значит, вы хотели в этом смысле понять.

Потом он отвернулся в другую сторону, пожаловался, что ему жарко, помурлыкал оперную арию, дирижируя сухарем, как будто бы перед невидимым оркестром, зевнул, сосредоточился на сливочном торте, а потом, после нового припадка немоты, попросил препроводить его в гостиницу.

Все смотрели на меня так, как будто я испортил им вечерю, на которой могло быть возглашено Окончательное Слово.

И действительно мне была возглашена Истина.

Я тебе позвонил. Ты была дома, с Другим. Я не спал всю ночь. Все стало ясно: я не мог переносить, чтобы ты была с ним. Сандра не имела отношения.

Последовали душераздирающие полгода. Я гнал тебя как дичь, преследовал, дышал в шею, требовал, чтобы прекратилось твое сожительство с Другим, внушал, что ты мне необходима вся, целиком, пытался убедить, что ты ненавидишь Другого. У вас с ним пошли ссоры, Другой становился требовательным, ревнивым, не уходил по вечерам, а когда уезжал, то звонил два раза в день и посередине ночи. Однажды он тебя ударил. Ты попросила у меня денег, тебе надо было бежать, я снял то небольшое, что имелось в банке. Ты покинула супружеский кров, подалась в горы с какими-то друзьями, адреса не оставила. Другой в отчаянии звонил мне, спрашивал, знаю ли я, куда

ты уехала, я не знал, а выглядело это будто я обманываю, потому что ему-то ты сказала, что бросаешь его ради меня.

По возвращении, сияющая, ты оповестила меня, что написала Другому прощальное письмо. В этот момент у меня промелькнула мысль, что придется что-то решать насчет нас с Сандрой, но ты не дала мне времени серьезно беспокоиться. Ты сказала, что познакомилась с одним человеком, у него шрам через всю щеку и очень богемная квартира. И теперь ты будешь жить у него.

— А меня ты не любишь?

— Наоборот, ты мужчина всей моей жизни, но после всего, что имело место, мне необходимо прожить этот этап, не веди себя по-детски, постарайся понять, в конце концов я ради тебя оставила мужа, пусть время сделает свою работу.

— Как ради меня? Ты говоришь, что уходишь к другому!

— Ты интеллигентный человек, к тому же прогрессист, не веди себя как мафиозо. Скоро увидимся.

Я кругом обязан доктору Вагнеру.

Кто бы ни рассуждал о четырех вещах, лучше бы он не родился, суть: что над, что под, что прежде и что после.

Талмуд, Хагига 2.1

Я объявился в «Гарамоне» как раз в тот день, когда принесли устанавливать Абулафию, и когда Бельбо и Диоталлеви устраивали знаменитое прение об именах Бога, а Гудрун подозрительным взором сверлила незнакомых мужчин, внедрявших что-то беспокойное в дебри ее любимых пыльных рукописей.

— Садитесь, Казобон, вот вам проекты и заявки по истории металлов.

Заведя меня к себе в кабинет, Бельбо выложил на стол рукопись, предметный указатель, наброски художественного оформления. От меня требовалось читать текст и подбирать иллюстрации. Я сказал, что в миланских библиотеках, судя по всему, можно найти подходящий материал.

— Этого недостаточно, — сказал Бельбо. — Вам придется поездить. Например, в музее науки в Мюнхене замечательная фотоколлекция. Потом, конечно, Париж, Консерваторий Науки и Техники. Мне бы самому хотелось туда съездить, да времени нет.

— Хороший музей?

— Тревожный музей. Триумф механицизма в готическом соборе... — Он поколебался, подровнял стопку бумаг на столе. Потом, как будто опасаясь, чтоб не прозвучала чересчур серьезно его откровенность: — Там Маятник.

— Какой маятник?

— Маятник Фуко.

Он рассказал мне о маятнике Фуко именно то, что я думал и видел недавно, в субботу, в Париже, а может быть, в Париже в субботу я понимал все и видел таким образом именно из-за того, что меня подготовил Бельбо. Но в первый раз, после его рассказа, я не выразил

сильного энтузиазма, и Бельбо посмотрел на меня как на человека, который в Сикстинской капелле спрашивает: «И это все?»

— Дело, что ли, в атмосфере этой церкви — уверяю вас, вы ощутите сильнейшее чувство. Мысль о том, что все течет, но при этом у вас над головою — единственная стабильная точка универсума... В ком нет веры, тем это позволяет снова обрести Бога, не ставя под удар свое неверие, потому что Бога в данном случае можно назвать Нулевым Полюсом. Для людей моего поколения, сытых разочарованием по горло, это довольно заманчиво.

— Моему поколению пришлось разочаровываться не меньше вашего.

— Вот это мания величия. Да ведь вы-то разочаровывались только один сезон. Запели «Карманьолу», глядь, а вокруг сплошная Вандея. Скоро вам полегчает. С нами было другое. Сначала фашизм, хотя мы были в то время почти детьми, воспринимали его как сыщики-разбойники; тем не менее точка отсчета — судьбы храбрых — нами была от фашизма получена. Потом другая точка отсчета, Соппротивление, особенно для того, кто, как я, наблюдал его со стороны. Для нас Соппротивление стало такой же непреложностью, как путь злака, как коловращение времен года, как равноденствие... или солнцестояние, я всегда их путаю... Для одних существует Бог, для других рабочий класс, а для многих и то и другое. Как утешительно для интеллектуалов было знать, что существуют рабочие, красивые, здоровые, сильные и готовые перестроить мир. А потом — это, кстати, застали уже и вы — рабочие продолжали существовать, а рабочий класс не продолжал. Его, очевидно, убили в Венгрии. Появились вы. Для вас, наверное, все выглядело естественным и даже праздничным. Моему же возрасту казалось наоборот. Можете объяснять как вам угодно: сведение счетов, угрызение, раскаяние, регенерация. Мы потеряли время, между тем появились вы — носители энтузиазма, храбрости, самокритичности. Тогда мы, тридцатипяти-сорокалетние, испытали прилив надежды, пусть унижительной, но надежды. Мы возмечтали обучиться у вас, только что пришедших. Даже ценой того, чтобы все начинать с нуля. Мы перестали носить галстуки, мы выбросили приличные плащи и купили куртки на барахолке, и кое-кто из нас уволился с работы, чтобы не прислуживать классу хозяев...

Он закурил сигарету и притворился, что притворяется взволнованным — это был его способ выбираться из патетических положений.

— ...в то время как вы сдали все, сразу на всех фронтах. Мы, с нашими искупительными паломничествами на Ардеатинские братские могилы, отказались сочинять рекламные лозунги для кока-колы, потому что были антифашистами. Мы согласились на пожизненное побирушничество у Гарамона, потому что книги, как минимум, демократичны. А вы с тех пор и по сегодняшней день придумываете как бы отомстить буржуям, которых вам не удалось повесить. Вы публикуете для них кассеты и буклеты, превращаете их в кретинков, сплавляете им свой подержанный дзен-буддизм, свои хипповые мотоциклы, в придачу с техруководствами по их самостоятельному, ха-ха, техобслуживанию. Вы перепродали нам по антикварным ценам ваши цитатники Мао и на эти средства стали устраивать балы новой культуры. И не постыдились. Мы же стыдимся всю жизнь. Вы нас обманули, вы не были носителями очищения, вы были носителями юношеской прыщевой сыпи. Вы нас стыдили за то, что у нас не хватило духу стать подпольщиками в Боливии. А сами придумали стрелять в спину мирным соотечественникам, шедшим домой с работы. За десять лет до того нам приходилось лгать, чтобы вас не сажали в тюрьмы. А потом вы лгали в свою очередь — чтобы сажать в тюрьмы ваших же друзей. Вот почему мне так симпатична эта машина. Она глупа, сама не верит, от меня не просит веры, делает что я говорю, дурак я — дура и она... или он. Честное взаимоотношение.

— Я...

— Вы ни при чем, Казобон. Вы удрали на другое полушарие вместо того, чтобы швыряться камнями, вы защитили диплом, вы ни в кого не стреляли. И при всем при том, вообразите, сколько-то лет назад я ощущал шантаж и с вашей стороны. Поймите правильно, ничего личного. Поколенческие циклы. Когда же я увидел Маятник, в прошлом году, я осознал все.

— Все?

— Почти все. Видите ли, Казобон, Маятник тоже лжепророк. Вы на него смотрите, вы верите, будто бы он единственная стабильная на свете точка, но если вы отцепите его от купола Консерватория и перевесите в бордель, он не утратит своей силы. Есть и другие

маятники, один в Нью-Йорке, во дворце ООН, еще один в Сан-Франциско в музее науки, и не знаю, сколько еще. Маятник Фуко неподвижен, земля вращается под маятником — в какой бы точке он ни был установлен. Каждая точка мира становится точкой отсчета, стоит только привесить к ней маятник Фуко.

— Бог повсеместно?

— В определенном смысле да. Поэтому Маятник так меня тревожит. Он мне сулит беспредельность, однако я ответственен за решение: где я ее размещу, эту беспредельность. Значит, недостаточно обожать Маятник там, где он находится, необходимо каждый раз брать на себя ответственность, искать для него истинное место. И все же...

— И все же?

— И все же — надеюсь, вы не воспринимаете все это серьезно? Впрочем, я зря беспокоюсь, таких, как я, всерьез не воспринимают... И все же, как было только что сказано, мне кажется, что в течение жизни мы привешиваем Маятник в великое множество мест, и никогда это не действует по-настоящему, а действует только в Консерватории... Может быть, в универсуме существуют места более лучшие и менее лучшие? Может быть, самое лучшее — потолок этой комнаты? Нет, никто не поверит. Необходима атмосфера. Не знаю. Может быть, мы ищем да ищем совершенное место, а оно рядом с нами, а мы его не видим, а чтоб его найти, надо во все это по-настоящему верить... Пойдемте к господину Гарамону.

— Повесим Маятник у него?

— О суетность. Идемте делать серьезное дело. Чтобы вам заплатили, надо, чтобы хозяин вас повидал, понюхал, пощупал и полюбил. Подойдите под руку хозяина. Она излечивает от чесотки. [82]

Тайный Магистр, Магистр Совершенный, Магистр Любознательности, Распорядитель Строений, Избранный из Девяти, Кавалер Царского Ковчега Соломонова или Магистр Девятого ковчега. Великий Шотландец Священного Свода, Рыцарь Востока, или же Меча, Князь Иерусалимский, Рыцарь Востока и Запада, Князь-Кавалер Златорозового креста и Рыцарь Орла и Пеликана, Великий Прелат или Верховный Шотландец Небесного Иерусалима, Достопочтенный Пожизненный Великий Магистр Всех Лож, Рыцарь Прусский и Патриарх Ноева колена, Кавалер Королевской Секиры или Князь Ливана, Князь Кущей, Рыцарь Медного Змия, Князь Сочувствия или же Благодати, Великий Рачитель Храма, Рыцарь Солнца или Князь-Адепт, Рыцарь Св. Андрея Шотландского или Великий Магистр Света, Рыцарь Великоизбранный Кадош и Кавалер Белого и Черного Орла.

Высшие посвящения Массонства Древнего и Принятого Шотландского Обряда

Мы двинулись по коридору, он оканчивался тремя ступеньками и дверью с рифленным стеклом. За дверью открывалась новая вселенная.

Насколько темны, закопчены и пыльны были помещения у нас за плечами, настолько же пространство впереди походило на дипломатический зал аэровокзала. Приглушенная музыка, голубоватая окраска стен, уютная приемная великолепного дизайна, стены увешаны портретами господ депутатского вида, вручающих крылатые победы господам сенаторского вида. На журнальном столике небрежно брошены, как в приемной зубного врача, лакированные журналы «Литературная изысканность», «Поэтический Атанор», «Роза и Шип», «Италийский Парнас», «Верлибр»... Ни одного из них я никогда не

видал до того, и теперь мне известна причина: эти журналы распространяются только среди клиентов «Мануция».

Сперва я подумал, что передо мною административная часть издательства «Гарамон», но довольно скоро я понял, что речь идет о совершенно другом издательстве. В прихожей «Гарамона» торчала маленькая грязноватая витринка с их последними публикациями, книжки были неказистые, с неразрезанными листами, с серенькой обложкой — что-то вроде французской университетской прессы, бумага такого сорта, который желтеет за несколько лет и создает впечатление, будто автор, при всей своей молодости, начал публиковаться бог знает когда. А здесь имелась большая красивая витрина с внутренним светом, в ней были выставлены книги издательского дома «Мануций», некоторые распахнуты — глядят наружу просторные, воздушные развороты. Белоснежная, легкая, дублированная прозрачным пластиком, очень элегантная серийная обложка, рисовая бумага, дивной четкости офсет.

Серии «Гарамона» назывались серьезно и специально, например «Гуманитарные исследования» или «Философия». Серии же «Мануция» носили изнеженные и поэтичные имена: «Цветник несбиранный» (поэзия), «Терра Инкогнита» (проза), «Час Олеандра» (для изданий типа «Записки больной девочки»), «Остров Пасхи» (по моему — очеркистика), «Новая Атлантида» (последней новинкой этой серии выступало издание «Koenigsberg Redenta — Вновь обретенный Кенигсберг, пролегомены к любой грядущей метафизике, которая представлялась бы двойственной системой трансцендентности и наукой о феноменальном ноумене»). На всех переплетах была эмблема издательского дома — пеликан под пальмой с подписью «Владею тем, что дарую».

Бельбо был краток в своих пояснениях: господин Гарамон владеет двумя издательствами, вот и все. В дальнейшем мне стало ясно, что связь между «Гарамоном» и «Мануцием» составляет сугубо частный, конфиденциальный факт. Парадный вход «Мануция» был расположен по улице Маркиза Гуальди, и на улице Гуальди не было ничего похожего на зловонное кишение улицы Ренато Синчеро. Все наоборот: надраенные фасады, просторные тротуары, холлы с лифтами из алюминия. Никому не пришло бы в голову, что из квартиры в облезлом доме по улице Синчеро Ренато можно пройти, преодолев всего только

три ступеньки между уровнями, в один из шикарных палаццо на улице Гуальди. Не знаю, что сделал господин Гарамон, чтобы получить разрешение. Кажется, за него хлопотал один автор — член отдела охраны памятников.

Нами занялась госпожа Грация, жакет и юбка подобраны в цвет стен, поступь матроны, шелковый платок от известного модельера. Со сдержанной улыбкой она препроводила нас в зал, украшенный глобусом.

Зал был не так уж велик, но походил на кабинет Муссолини в римском Дворце Венеции, около входа размещался огромный глобус, письменный стол красного дерева стоял у дальней стены, посетитель его видел как будто в перевернутый бинокль. Гарамон дал знак, чтобы мы приблизились, и меня сразу проняло почтением. Позднее, при появлении Де Губернатиса, Гарамон поднялся с места и собственной персоной поспешил ему навстречу; столь сердечное проявление еще раз подчеркнуло величие хозяина и великолепие обстановки, поскольку посетитель сперва дождался, как в балете, приближения Гарамона по зеркальному паркету зала, а затем и сам проделал тот же путь в обратном направлении об руку с гостеприимным Гарамоном, благодаря чему пространство кабинета волшебным образом удвоилось.

Гарамон усадил нас напротив, был решителен и сердечен.

— Доктор Бельбо прекрасно отзывается о вас, доктор Казобон. Нам нужны квалифицированные сотрудники. Разумеется, речь не идет о постоянной ставке, этого мы себе не можем позволить. Будет компенсирован в должном объеме ваш труд, скажу даже — ваша добросовестность, ибо наша профессия есть служение.

Он назвал сумму моего гонорара, рассчитанную из условных рабочих часов, по тем временам цифра мне показалась разумной.

— Превосходно, дорогой Казобон. — Научный титул мгновенно отпал с той секунды, как я был принят на жалованье. — Эта история металлов. Она должна быть великолепна, более того — прекрасна. Общедоступность, простота, и в то же время научный уровень. Пусть поражает воображение читателя, но на научном уровне. Приведу вам один пример. Я прочитал в начале рукописи описание одного шара, ну как его, Магдебургского, два полушария составили вместе и в середину накачали пневматическую пустоту. К полушариям припрягли по две пары норманнских лошадей, одну пару к одному, другую к

другому, одна пара тянула в одну сторону, другая в другую, а два полушария не рассоединились. Так вот, к этому сводится научная информация. Но ваше дело выделить ее среди остальных, менее живописных. Как только вы ее выделили, вы должны мне найти ее изображение, фреску, картину, что-нибудь такое. А потом мы напечатаем потрясающий разворот в цветном офсете.

— Я знаю одну гравюру, — сказал я.

— Ну вот, видите? Молодец. Так и надо. На разворот ее, в четыре цвета.

— Гравюру можно только в один, — сказал я.

— Да? Ну тогда в один цвет. Точность есть точность. Все-таки дадим в два. Дадим золотой фон. Пускай читатель поразится. Должен возникать буквально эффект присутствия в тот день, в том месте, где они проводили эксперимент. Ясно? Научный уровень, реалистичность, эмоциональность. Вот наше девиз. Можно остаться на научном уровне и в то же время держать читателя за кишки. Есть ли что-либо более театральное, драматичное, скажу даже занимательное, нежели мадам Кюри, когда она заходит вечером к себе домой и видит в темноте флуоресцентный луч! Боже! Что это могло бы быть... Углерод, голконда, флогистон или как там он называется, шут с ним, в общем, вуаля, Мария Кюри изобрела рентген-лучи. Оживляйте материал. Но ради бога, соблюдайте научную строгость.

— Но как связан рентген с металлами?

— А что, радий — не металл?

— Радий — металл, — согласился я.

— Ну вот. Но не только радиация нас интересует. Весь мир знания каким-либо манером можно увязать с металлами. Как мы собирались назвать эту книгу, Бельбо?

— Солидно и спокойно. Металлы и материальная культура.

— Так и надо. Солидно и спокойно. Но должна там чувствоваться этакая изюминка, этакая хитринка, говорящая о многом... Посмотрим... Вот «Всемирная история металлов». Там про китайцев есть?

— Про китайцев-то есть...

— Тогда всемирная. Мы не гонимся за шиком — это требование истины. А то еще лучше: «Невероятные приключения металлов».

Как раз в этот момент госпожа Грация объявила о приходе коммендатора Де Губернатиса. Господин Гарамон замялся, с сомнением поглядел на меня. Бельбо ободрительно кивнул, как будто подтверждая, что отныне мне можно доверять как своему. Гарамон провозгласил, что посетителя можно вводить, и сам вышел из-за стола, чтобы двинуться к нему навстречу. Посетителя ввели, он был в двубортном костюме, с розеткой в петлице, с авторучкой в кармане, со свернутой газетой в кармане пиджака и с папкой под мышкой.

— Дорогой коммендаторе, прошу вас садиться, мой друг Де Амброзиис много рассказывал мне о Вас. Достоинейший пример, вся жизнь без колебаний отдана государственной службе. И затаенная поэтическая жилка, я угадал, не правда ли? Покажите же, дайте же мне это сокровище, которое вы сжимаете в руках... Познакомьтесь, здесь присутствуют двое из моих генеральных директоров. Он усадил гостя напротив книжного стола, заваленного рукописями, и разгладил дрожащими от нетерпения пальцами первый лист врученного ему сочинения. — Вы можете не рассказывать мне ничего, я обо всем наслышан. Вы родом из Випитено, великого и славного города. Вся жизнь без колебаний отдана службе на таможне. И тайно от всех, день за днем, ночь за ночью, слагались эти страницы, осененные духом поэзии. Поэзия... Ею опалена была юность Сапфо, ею же взлелеяны гетевские седины... Древние греки называли «фармаком» как яды, так и лекарства. Разумеется, мы прочитали его, это ваше создание, прочитали и перечитали, у нас в заводе как минимум три предварительные рецензии, одна внутренняя и две выполняемые нашими консультантами. Они выполняются анонимно, увы, иначе нельзя, дело идет о слишком известных в обществе людях. «Мануций» не публикует книг, пока не убедится в абсолютной их качественности. А качественность, вам это известно, конечно же, лучше чем мне, это нечто неосязаемое, неуловимое, ощущаемое шестым чувством, зачастую книга бывает несвободна от несовершенств, от шероховатостей, Свево тоже писал плохо, могли бы сказать Вы, и были бы правы! Но господи боже мой, идея, ритм, стиль, в этом ошибиться невозможно! Я знаю, вы можете не говорить мне ничего, бросив один только взгляд на самое начало этих страниц, я уже почувствовал, что тут витает это самое нечто, однако я не хотел бы судить самовластно, невзирая на то, что зачастую — о, знали бы вы, насколько часто! —

внутренние рецензии бывали не слишком хвалебными, но я стоял на своем, потому что невозможно решать судьбу автора, не звеня, так сказать, одной струною с ним, вот например, скажем, я открываю эту рукопись и взгляд мой касается строки «как осень, лебедь отошальный» — прекрасно, я не хочу знать, каково все остальное, мне достаточно этого образа, очень часто хватает только этого — экстаз, восхищение, а затем... Cela dit, мой дорогой друг, Бог свидетель, если бы удавалось делать то, чего мы хотим! Но, к сожалению, издательства — такие же промышленные предприятия, как и прочие. Более благородные, нежели прочие, и тем не менее промышленные. А известно ли вам, во сколько обходится в наше время одна только печать? А бумага? Откройте, посмотрите в сегодняшней газете, насколько поднялась на сегодняшнее утро учетная ставка на Уолл-стрит. Вы хотите сказать, что это не имеет к нам непосредственного отношения? Представьте себе, что имеет! И самое непосредственное! Вам известно, что теперь они облагают налогом даже складированную продукцию? Что если что-то не продается, они облагают налогом остатки? Я плачу даже за неуспех, оплачиваю голгофу каждого гения, непонятого филистерами. Вот эта папиросная бумага... с вашей стороны на редкость изысканно, позвольте заметить, это просто находка — отпечатать текст на столь тонкой и прозрачной бумаге, чувствуется настоящий поэт, бездарный нахал использовал бы высокосортную, чтобы пустить пыль в глаза и отвлечь внимание души. Нет, перед нами совсем другой случай, это — настоящая поэзия, от сердца идущая, о, слова тяжелы как камни, они способны перевесить любую вещь в мире! О, эта папиросная бумага в конечном счете обойдется мне как банкнотная!

Тут зазвонил телефон. В дальнейшем я узнал, что на этом этапе господин Гарамон нажимает на подстольную пупочку и госпожа Грация зажигает у него немую линию.

— Дорогой Маэстро! Как? Изумительная новость! Настоящий праздник! Вашу новую книгу сочли событием сезона! Ну конечно, и наш издательский дом «Мануций» счастлив, польщен, скажу сильнее — рад иметь Вас в числе постоянных авторов! Вы видели, как отзываются газеты о Вашей последней эпической поэме. Это достойно Нобелевской премии. Как жаль, что вы опередили свое время. Мы с трудом распродали три тысячи экземпляров...

Коммендатор Де Губернатис побелел: три тысячи экземпляров в его представлении оставались недостижимым, не мечтанным даже рубежом.

— ...и не перекрыли стоимости производства. Приходите, загляните к нам, посмотрите, сколько народу работает у меня в редакции. В наше время, чтобы окупить книжку, требуется продавать не менее десяти тысяч экземпляров. К счастью, многие из наших книг продаются гораздо шире, однако существуют писатели, как бы это выразиться, иного профиля. Бальзак был великий талант и продавал свои книги как пирожки, Пруст был не менее великий талант, а печатался за собственный счет. Вы попадете в школьные хрестоматии, но не в стационарные киоски. С Джойсом вышла та же самая история, он публиковался за собственный счет, как Пруст. Таких книжек, как ваша, я могу позволить себе одну-единственную за два или три года. Теперь мне потребуются новых три года... — последовала затяжная пауза. На лице Гарамона обозначилось горестное смущение.

— Как? За ваш собственный счет? Нет, нет, расход не так велик, цифру можно свести до минимума... Нет, дело в другом, в «Мануции» это не принято... Конечно, как Вы могли бы сказать, и Джойс с Прустом тоже... Понимаю, понимаю...

Еще одна выдержанная пауза.

— Хорошо, давайте действительно поговорим. Я с вами был совершенно откровенен, вы полны нетерпения, давайте попробуем то, что называется совместным предприятием, джойнт венчер, как говорят американцы... Приходите к нам завтра, и мы ориентировочно подсчитаем смету... Мое почтение и мое восхищение.

Гарамон поднял на нас глаза, как будто выходя из глубокого сна, и провел по лицу ладонью, потом вздрогнул всем телом, вспомнив о присутствии посетителя.

— Простите. Это был Писатель, настоящий Писатель, я думаю — великий. И что же? Именно поэтому... Как часто испытываешь стыд, занимаясь нашей профессией. Если бы не было так сильно призвание... Но вернемся к нашей беседе. Все уже сказано. Я отвечу вам в течение месяца. Рукопись оставьте у нас, она в надежных руках.

Коммендатор Де Губернатис вышел так и не произнеся ни слова. Он знал: он ступил одной ногою в кузницу литературной славы.

Рыцарь Небесных Сфер, Князь Зодиака, Высочайший Герметичный Философ, Несравненный Коммендатор Светил, Великий Прелат Изиды, Князь Священного Холма, Философ Самофракийский, Титан Кавказский, Отрок Златолирный, Кавалер Истинного Феникса, Кавалер Сфинкса, Высочайший Мудрец Лабиринта, Князь Брахман, Мистический Надзиратель Святилища, Зодчий Таинственной Башни, Высочайший Князь Священной Завесы, Толмач Иероглифов, Орфический Доктор, Надзиратель Трех Очагов, Хранитель Невысказуемого Имени, Величайший Эдип Высших Секретов, Возлюбленный Пастырь в Оазисе Тайн, Доктор Священного Огня, Рыцарь Сиятельного Угольника.

Посвящения Древнего и Первобытного Мемфисско-Мисраимского Обряда

«Мануций» было издательством для ПИССов.

ПИССом именовался на техническом наречии «Мануция»... Но почему «именовался»? Именуется, существует и сейчас, все продолжается там у них как ни в чем не бывало, это просто я перевожу рассказ в недостижимо отдаленное прошлое, потому что то, что случилось позавчера вечером, прочертило как будто разлом во времени; в нефе Сен-Мартен-де-Шан прервалась связь времен. А может быть, это оттого, что позавчера я сам внезапно состарился на десятилетия? Или же страх, что Эти Самые доберутся до меня, подсказывает мне такую интонацию, как будто я пишу историю империи периода упадка, историю распростертой в ванне, со вскрытой веной, выжидающей, когда она захлебнется в моей крови...

ПИСС значит Писатель, Издающийся на Собственный Счет. «Мануции» — одна из тех фабрик славы, которые в англоязычных странах называют «vanity press.». Прекрасный товарооборот, никаких

накладных расходов. Штат: Гарамон, госпожа Грация, бухгалтер в чуланчике в конце коридора с табличкой «замдиректора по хозяйственной части», пенсионер-инвалид Лучано на должности экспедитора, распоряжающийся обширным складом в полуподвальном этаже.

— Никогда я не мог уяснить, как умудряется Лучано паковать книги одной рукой, — говаривал Бельбо. — Видимо, пускает в ход зубы. Хотя, если подумать, пакует он не так уж много. В нормальных издательствах рассылают товар для реализации, у нас отправляют только посылки авторам. «Мануций» читателями не интересуется. Самое важное, считает господин Гарамон, чтобы нас любили писатели. Без читателей прожить можно.

Бельбо восхищался господином Гарамоном. Гарамон в его глазах олицетворял силу, в которой ему, Бельбо, было отказано.

Система «Мануция» отличалась простотой. Немногочисленные рекламные объявления в провинциальных газетах, в специальных журналах, в городских литературных альманахах, в периодических изданиях, которым не суждено прожить больше трех выпусков. Объявления скромного формата, с фотографией автора и подписью «высочайший голос нашей поэзии» или «новая захватывающая повесть автора романа „Флориана и ее сестры“».

— Таким образом расставляются силки, — продолжал Бельбо, — и ПИССы падают в них гроздьями, если, конечно, грозди могут попадать в силки, но так как неопрятная метафорика характерна для авторского коллектива «Мануция», она отчасти передалась и мне, так что прошу простить.

— Ну и?

— Ну и возьмем к примеру Де Губернатиса. Через месяц, дав пенсионеру хорошо повариться в собственном соку, поступит звонок от Гарамона с приглашением на ужин, где будут и другие авторы. Вечер состоится в арабском ресторане, для своих, без вывески; надо прямо звонить и говорить в домофон свою фамилию. Шикарная обстановка, рассеянный свет, экзотические мелодии. Гарамон здоровается за руку с метрдотелем, обращается на ты к официантам и возвращает в погреб бутылки, потому что год разлива его не устраивает, или же говорит: извини меня, дорогой, но разве это кускус, как готовят в Марракеше? Де Губернатиса знакомят с комиссаром

Таблетки, все наземные службы аэропорта под его контролем, но главное в нем — что он изобретатель, апостол нового языка Косморанто, это язык мира во всем мире и сейчас он стоит на повестке дня в ЮНЕСКО. Потом — профессор Пилюлли, настоящая крепкая проза, лауреат премии Петруцеллис делла Кукуцца 1980-го года, светило медицинской науки. Сколько лет у вас преподавательского стажа, профессор? В те времена студенты действительно учились. А вот и наша утонченная поэтесса, Теодолinda Клистери-Клизмони. Та самая, которой принадлежат «Целомудренные касания», вы, конечно, читали.

Бельбо признался мне, что долго не мог уяснить, почему женщины-ПИССицы подписываются двойной фамилией. Почему, господи боже, у нормальных литераторш, как правило, одна фамилия, а то и вообще нет ее, как у Колетт, а у ПИССессы всегда имя вроде Капитолина Облигащи-Депозите? Дело, конечно, в том, что нормальный сочинитель пишет из интереса к своей работе, и ему не так уж важно, если прославится не он, а псевдоним, как например было с Нервалем; а для ПИССов и ПИССих важнее всего, чтобы их узнавали соседи, как по нынешнему району, так и в районе, где они жили раньше. Мужчине хорошо, у него всегда одно имя, а даме необходимо чтобы дошло как до тех, кто знал ее в девицах, так и до знакомых через мужа. Поэтому она не может обойтись без двух фамилий.

— В общем, что вам сказать, ужины эти очень насыщены в интеллектуальном смысле. У Де Губернатиса сложится впечатление, что он нахлебался коктейля из ЛСД. Он наслушается сплетен от соседей по столу, узнает смачный анекдот про великого писателя, известного импотента, да и, между нами, как писатель — не такого уж великого. Он вопьется влажным от волнения взором в новое издание Энциклопедии Знаменитых Итальянцев, которая по мановению Гарамона появится внезапно и сногсшибательно, для того чтобы показать комиссару, как выглядит статья о нем, вот и вы вошли в пантеон, дорогой коллега, как же, как же, это настолько соответствует вашим заслугам.

Бельбо показал и мне эту энциклопедию.

— Час назад я читал вам мораль, теперь мне стыдно, потому что никто не чист. Энциклопедию пишем мы вдвоем с Диоталлеви. Но,

клянусь вам, не ради постраничной оплаты. Это одно из самых смешных на свете занятий. Каждый год выходит новое переработанное издание. Статьи о литераторах расположены квадратно-гнездовым способом. Одна статья про существующего писателя, одна про ПИССа. Много времени, как правило, отнимает возня с алфавитом. Невыгодно терять пространство между двумя знаменитыми писателями. Приходится работать филигранно... вот например посмотрите на Л.

ЛАМПЕДУЗА, Джузеппе Томази ди (1896–1957). Сицилийский писатель. Долго не пользовался признанием и стал знаменитым лишь после своей смерти как автор романа «Леопард».

ЛАМПУСТРИ, Адеодато (1919-). Писатель, воспитатель, боец (бронзовая медаль за восточноафриканскую кампанию), мыслитель, прозаик и поэт. Ею фигура выситя на фоне итальянской словесности текущею столетия. Дар Лампустри выявился с особой силой после 1959 года, когда был создан первый том всеобъемлющей трилогии «Братья Карамасси», в которой в неприкрыто реалистичной и в то же время подкупающе лиричной манере повествуется о нелегкой судьбе семьи рыбаков из Лукании. Это произведение, которому была заслуженно присвоена в 1960 году премия Петруцеллис делла Кукуцца, было продолжено созданными в последующие годы романами «Освобождение из тюрьмы» и «Пантера с глазами без ресниц», которые возможно, еще более выразительно, чем первое творение, подчеркивают эпический размах, искрометное воображение, лирическую струю, отличающие многогранное творчество этою одаренною художника. Ценный сотрудник министерства, Лампустри пользуется уважением среди коллег по работе как цельная личность, образцовый отец и муж, тончайший оратор.

— Де Губернатис, — продолжал Бельбо, — возжаждет оказаться в энциклопедии, даром что он всю жизнь говорил, что Энциклопедия Знаменитых Итальянцев — суета сует, что она захвачена сговорившимися критиками. Но всего важнее, что в этот вечер перед ним открывается перспектива войти в общество писателей, которые являются в то же время директорами государственных предприятий, банкирами, аристократами, юристами. Внезапно оказывается, что он может резко расширить и обогатить круг своих знакомств, и если ему понадобится обратиться по делу, теперь он будет знать, к кому.

Господин Гарамон своей властью может вытащить Де Губернатиса из провинциального болота, возвысить его до неслыханных высот. Приблизительно к концу вечера Гарамон шепнет ему, чтобы тот зашел наутро к нему в издательство.

— И на следующий день он побежит.

— Можете не сомневаться. После бессонной ночи, исполненный мечты о славе Адеодато Лампустри.

— А потом?

— Потом, то есть на следующее утро, Гарамон начнет так: я не упоминал об этом вчера за ужином, чтобы не смущать остальных, но что за чудо вы написали! Не говорю уж о том, что внутренние рецензии полны восторгов, более того, положительны, да я и сам лично посвятил всю ночь, не отрываясь, чтению этих страниц. Книга уверенно идет на литературную премию. Великая, великая вещь. Потом Гарамон вернется к своему столу и хлопнет ладонью по рукописи, затрепанной, зачитанной до дыр по меньшей мере четырьмя энтузиастами рецензентами. Затрепывать рукописи входит в служебные обязанности госпожи Грации. И возведет на ПИССа растерянный взор: — Что будем делать?

— Как что будем делать? — переспросит Де Губернатис. А Гарамон ответит, что относительно ценности сочинения он не имеет никаких даже минимальных сомнений, но вещь безусловно опередила свое время, и в отношении количества экземпляров невозможно вообразить более двух тысяч, ну двух тысяч пяти, не более этого. С точки зрения Де Губернатиса, двух тысяч экземпляров вполне достаточно, чтобы покрыть всех знакомых ему людей, ПИСС не мыслит в планетарных категориях, вернее, его планета состоит из известных лиц, школьных товарищей, директоров банков, коллег, преподающих вместе с ним в одной и той же средней школе, из полковников на пенсии. Всех этих людей ПИСС намеревается втянуть в свой поэтический универсум, даже тех, кто этого не хотели бы, как зеленщик или участковый полицейский. Опасаясь больше всего, как бы Гарамон не подался на попятный, притом что уже все в доме, на работе, на главной площади городка извещены, что он передал рукопись крупнейшему издателю в Милане, Де Губернатис лихорадочно подсчитывает в уме. Можно снять все с книжки, занять в кассе взаимопомощи, оформить ссуду в банке, продать те несколько

облигаций, которые у него имеются, Париж в данном случае стоит мессы. Он решается заикнуться насчет участия в расходах. Гарамон реагирует взволнованно, в «Мануции» это не принято, а потом — ну допустим, вы меня убедили, в конце концов и Пруст и Джойс должны были склоняться выи пред жестокой необходимостью, стоимость производства книги составит столько-то, мы для начала напечатаем две тысячи, но в контракте проставим как потолок десять тысяч. Имейте в виду, что двести экземпляров издательство дарит вам бесплатно, вы сможете преподнести их кому найдете нужным, еще двести мы разошлем по газетам, потому что это тот случай, когда стоит шарахнуть рекламную кампанию как для «Анжелики маркизы ангелов», а в торговлю отправим пока что тысячу шестьсот. В данном случае, как вы понимаете, невозможно говорить об авторском гонораре, но если книга пойдет, допечатаем тираж и вы получите двенадцать процентов с продажи.

Потом я видел этот типовой контракт, который подобный Де Губернатис, в поэтическом трансе, подписывает, разумеется, не читая. Замдиректора по финансам в эту минуту громко сетует, что господин Гарамон занижил производственные расходы. Десять страниц нонпарелью, сотни параграфов условий, копирайт на границу, права на использование образов, условия создания театральных — и киноверсий, условия исполнения в радиопередачах, оговорки относительно изданий алфавитом Брайля для слепых, ситуация в случае уступки сокращенного варианта в Ридерс Дайджест, параграф о создании журнального варианта, гарантии в случае судебного процесса по обвинению в диффамации, права автора на окончательное утверждение редакторской и корректорской правки, клаузула о передаче дела в арбитражный суд города Милана в случае невозможности полюбовного разрешения спора... Абсолютно вымотанный, плавая в рассеянном тумане грядущей славы, ПИСС добирается до последних закорючек контракта, где говорится, что максимальным уровнем тиража является десять тысяч, но что является минимумом, не говорится, а сказано, что выплачиваемая сумма не связана непосредственным образом с тиражом, который будет установлен в устном соглашении, а кроме этого — что издатель имеет право через год отослать нераспроданный тираж под нож, в случае

если автор не пожелает выкупить экземпляры по стоимости половины цены обложки. Дата, подпись.

Рекламный запуск производится с сатрапическим размахом. Пресс-релиз на десять страниц, биография автора, критический разбор. Никакого подобия стыдливости, поскольку мы уверены, что в редакциях всех журналов и газет пресс-релиз немедленно выбросят в корзину. Печатается тираж: тысяча экземпляров в листах, из них триста пятьдесят переплетаются. Двести переплетенных экземпляров направляются автору, пятьдесят — в малоизвестные «фирменные» книжные лавки, пятьдесят в журналы провинции, в которой обитает автор, еще тридцать на всякий случай в газеты, потому что иногда бывает, что сообщениями о них затыкают дырки на полосах «Поступило в редакцию». Один экземпляр, как правило, передается в дар больнице или исправительному заведению, и понятно, с каким скрипом после этого там идет как лечение, так и перевоспитание.

Летом присуждается премия Петруцеллис делла Кукуцца, порождение Гарамона. Расходы на премию: полный пансион для членов жюри в течение двух дней, Ника Самофракийская из красного гранита. Поздравительные телеграммы от авторов издательства «Мануций».

Наконец настает время для момента истины, приблизительно через полтора года. Господин Гарамон пишет автору письмо: Мой любезный друг, я предвидел это, вы явились миру с пятидесятилетним опережением. Рецензии, как вы сами видели, суперхвалебные, премии, восхищение критики, все это вам известно, и не стоит повторяться. Однако продано, увы, совсем немного экземпляров, публика не подготовлена. Мы вынуждены освободить свои склады в соответствии с клаузулой контракта (прилагается). Или под нож, или вы приобретаете остатки по половине цены обложки, вам предоставлено контрактом подобное право. Де Губернатис теряет голову от горя, родственники его утешают, тебя просто не сумели понять, конечно, если бы ты был как все эти, если бы сунул кому следует взятку, тебя бы похвалили даже в «Коррьере делла сера», это все мафиози, надо принимать вещи как они есть. От дарственных экземпляров осталось только пять штук, а между тем они всегда могут понадобиться, сколько людей еще не охвачено, не допустим же мы, чтобы твоя книга пошла в макулатуру и из нее сделали туалетную

бумагу, посмотрим, сколько мы сумеем наскрести, в любом случае это оправданная трата, жизнь дается нам только один раз, напиши, что забираешь пятьсот экземпляров, а что касается остальных, сик транзит gloria mundi.

У «Мануция» лежат на складе 650 экземпляров в листах, господин Гарамон переплетает пятьсот и отправляет их наложенным платежом. Результат: автор авансом оплатил стоимость производства двух тысяч экземпляров, из которых издательство отпечатало тысячу и переплело 850, из которых 500 были оплачены автором вторично. Пять десятков авторов в год, и бюджет «Мануция» закрывается с хорошим активом.

И без угрызений совести: ведь это продается счастье.

Трус умирает много раз до смерти.

Shakespeare. Julius Caesar, II, 2

Я всегда усматривал противоречие между самоотдачей, с какой Бельбо работал над творениями почтенных авторов «Гарамона», стремясь к тому, чтобы гордиться выпущенными книгами, и разбойным коварством, с которым он не только помогал обводить вокруг пальца бедняг, приходящих в «Мануций», но и отправлял на улицу Гуальди тех, кого считал неподходящими для «Гарамона» — именно это он на моих глазах пытался проделать с полковником Арденти.

Работая с ним, я часто задавал себе вопрос, почему он соглашается участвовать в таких инсинуациях. Думаю, что не ради денег. Он достаточно хорошо знал свое дело, чтобы найти высокооплачиваемую работу. Я долгое время считал, что он это делал потому, что ему представлялся случай наиболее полно исследовать человеческую глупость, причем с идеального наблюдательного пункта. То, что он называл глупостью, недоступный паралогизм, преступный бред, скрытый под маской безупречной аргументации — все это завораживало его, и он то и дело это повторял. Но это тоже была маска. Диоталлеви — тот занимался этим шутки ради, может быть, в надежде, что какая-нибудь книга «Мануция» подарит ему однажды новую комбинацию Торы. И я сам втянулся в это чисто для развлечения, ради смеха, из любопытства, особенно после того, как Гарамон запустил проект «Гермес».

С Бельбо дело обстояло по-другому. Я ясно осознал это, только порывшись в его файлах.

Имя файла: мечь, страшная мечь

Она приходит так. Если даже в кабинете есть люди, она хватается меня за воротник куртки, приближает ко мне свое лицо и целует меня,

Анна, которая, чтобы поцеловать, становится на цыпочки. Она целует меня, будто играет на флиппере.

Она знает, что меня это стесняет. Но подставляет меня. Она никогда не лжет.

— Я тебя люблю.

— В воскресенье увидимся?

— Нет, я провожу выходные с другом...

— Ты хочешь сказать, с подругой.

— Нет, с другом, ты его знаешь, это тот, который на прошлой неделе был со мной в баре. Я пообещала, ты же не хочешь, чтобы я забирала свои слова назад?

— Не забирай, но не устраивай мне... Прошу тебя, я должен принять автора.

— Гений, которого надо запустить?

— Несчастный, которого надо уничтожить.

Несчастный, которого надо уничтожить.

Я зашел за тобой к Пиладу. Тебя не было. Я долго ждал, потом пошел один, чтобы успеть до закрытия галереи. Я делал вид, будто рассматриваю картины — все равно, как говорят, искусство мертво со времен Гельдерлина. Мне понадобилось двадцать минут на то, чтобы вычислить ресторан, потому что художники всегда выбирают те, что станут знаменитыми только месяц спустя.

Ты была там, среди привычных лиц, рядом с человеком со шрамом. Ты ни на секунду не смутилась. Посмотрела на меня красноречиво и одновременно — как тебе это удастся? — вызывающе, как бы говоря: ну и что? Самозванец со шрамом уставился на меня как на самозванца. Остальные, которые ориентировались в ситуации, выжидали. От меня требовался повод, чтобы затеять ссору. Я бы легко выпутался, даже если б он меня поколотил. Они все знали, что ты пришла сюда с ним, чтобы спровоцировать меня. Независимо от того, позволю я себя спровоцировать или нет, моя роль была predetermined. В любом случае я давал представление.

Представление — так представление, я выбрал легкую комедию и любезно принял участие в разговоре, надеясь, что кто-нибудь восхитится моим самоконтролем. Единственный, кто мною восхищался — это был я сам.

Ты трус, когда чувствуешь себя трусом. Мститель в маске. Как Кларк Кент, я забочусь о молодых непонятых гениях и, как Супермен, наказываю старых гениев, справедливо непонятых. Я помогаю эксплуатировать тех, которые не были так смелы, как я, и не сумели ограничиться ролью зрителя.

Возможно ли это? всю свою жизнь наказывать людей, которые никогда не узнают, что были наказаны? Ты захотел стать Гомером? Держись, бедняк, и верь.

Я ненавижу того, кто пытается продать мне любезную иллюзию страсти.

Если мы вспомним, что Даат располагается в точке, где Бездна отсекает Срединный Столп, и что расстояние от начала Срединного Столпа до его конца — это Путь Стрелы... и что там покоится Кундалини, мы увидим, что Даат заключает в себе тайну как зарождения, так и возрождения, ключ к проявлению всех вещей через различия противоположных пар и их соединение в Третьем Члене.

Dion Fortune. The mystical Qabalah, London, Fraternity of the Inner Light, 1957, 7.19

Как бы там ни было, я должен был заниматься не издательством «Мануций», а чудесными приключениями металлов. Я стал прочесывать миланские библиотеки. Отправной точкой послужили учебники, я выписывал из них библиографию, и от нее поднимался к более или менее древним первоисточникам, где мог наткнуться на интересные иллюстрации. Нет ничего хуже, чем иллюстрировать главу о космических путешествиях фотографией последнего американского зонда. Господин Гарамон научил меня, что, когда не можешь найти выход, как минимум нужен ангел Гюстава Доре.

Я собрал богатый урожай любопытных репродукций, но их было недостаточно. При подготовке иллюстрированного издания, чтобы выбрать хорошую картинку, нужно просмотреть по меньшей мере еще десяток.

Я получил согласие на четырехдневную поездку в Париж. Маловато, чтобы обойти все архивы. Я отправился туда с Лией, прибыл в четверг, а обратный билет заказал на вечер понедельника. Я сделал ошибку, запланировав посещение Консерватория на понедельник — именно в этот день Консерваторий закрыт. Слишком поздно, я вернулся оттуда ни с чем.

Бельбо был этим раздосадован, но я собрал много интересных материалов, и мы представили их господину Гарамону. Он просмотрел

привезенные мной иллюстрации, многие из которых были цветными. Затем взглянул на счет и присвистнул: Дороговато, дороговато. Разумеется, мы выполняем миссию, работаем во имя культуры, *за va sans dire*, но мы — не Красный, крест, более того, мы не ЮНИСЕФ. Так ли необходимо было покупать весь этот материал? Возьмем хотя бы это, я вижу какого-то усатого господина в кальсонах, вроде д'Артаньяна, окруженного абракадабрами и козерогами, это что, Мандрейк?

— Начало медицины. Влияние Зодиака на разные части тела и соответствующие лекарственные растения. И минералы, включая металлы. Доктрина космических знаков. Это были времена, когда границы между магией и наукой были еще зыбкими.

— Интересно. Ну, а на этом фронтисписе что написано? «Philosophia Moysaica». При чем здесь Моисей, не слишком ли это первобытно?

— Это диспут о *unguentum armarium*, иначе говоря, *weapon saive*. Выдающиеся медики пятьдесят лет спорят, выясняя, может ли эта мазь, если ею смазать оружие, которым нанесли удар, исцелить рану.

— Бред сумасшедшего. И это наука?

— Не в том смысле, в котором мы ее понимаем. Они обсуждали этот вопрос потому, что только недавно открыли чудесные свойства магнита и убедились, что возможно действие на расстоянии. Как учила и магия. А раз уж действие на расстоянии... Понимаете, они-то ошибались, но Вольта и Маркони — нет. Что такое электричество и радио, если не действие на расстоянии?

— Нет, ну вы только посмотрите! Хитер наш Казобон. Наука и магия рука об руку, а? Великая мысль. Ну тогда валяйте, уберите немного этих отвратительных динамо-машин и добавьте еще Мандрейка. Несколько дьявольских заклинаний, или — что там еще, на золотом фоне.

— Я не хотел бы перегибать палку. Речь идет о чудесных приключениях металлов. Всякие диковины хороши, только когда они кстати.

— Чудесные приключения металлов должны быть прежде всего историей ошибок. Помещаем красивую диковину, а из подписи следует, что это не соответствует истине. Тем не менее она помещена,

и читатель приходит в восторг, потому что видит, что великие люди тоже допускают ошибки, как и он.

Я рассказал о странном случае, который приключился со мной на берегу Сены, неподалеку от набережной Сен-Мишель. Я вошел в книжный магазин, две симметричные витрины которого уже знаменовали собой шизофрению. С одной стороны книги о компьютерах и о будущем электроники, с другой — сплошь оккультные науки. То же и внутри: «Эппл» и Каббала.

— Невероятно! — изумился Бельбо.

— Очевидно, — возразил Диоталлеви — Во всяком случае, ты, наверное, последний, кого это удивляет, Якопо. Мир машин пытается раскрыть секрет творения: буквы и числа.

Гарамон не проронил ни слова. Он сложил руки будто в молитве и устремил взгляд к небесам. Затем хлопнул в ладоши:

— Все, что вы сегодня сказали, утверждает меня в одной мысли, которая уже несколько дней... Но всему свое время, я должен еще над этим поразмыслить. Пока что — вперед. Bravo, Казобон, ваш контракт мы пересмотрим, вы оказались ценным кадром. И давайте, вставляйте побольше Каббалы и компьютеров. В компьютерах используется кремний. Или я ошибаюсь?

— Нет, но кремний — это же не металл, а металлоид.

— Кто обращает внимание на такую мелочь, как окончания? А что же тогда *gosa gosagum*? Компьютер. И Каббала.

— Которая тоже не металл, — настаивал я.

Он проводил нас до двери. У порога он сказал мне:

— Казобон, издательское дело — это искусство, а не наука. Не будем играть в революционеров, это время прошло. Давайте Каббалу. Да, кстати, что касается вашего отчета о расходах, я позволил себе вычеркнуть спальный вагон. Не из жадности, я надеюсь, вы в этом не сомневаетесь. А потому, что для поиска полезен, как бы это сказать, некоторый спартанский дух. Иначе теряется вера.

Он вновь собрал нас несколько дней спустя. «У меня в кабинете, — сказал он Бельбо — сидит посетитель, с которым я хотел бы вас познакомить».

Мы пришли. Гарамон беседовал с жирным, лишенным подбородка господином, похожим на тапира, с двумя светлыми усиками под большим, как у животного, носом. Мне он показался

знакомым, потом я вспомнил — это профессор Браманти, референдарий, или какое там у него было звание, который выступал в Рио с докладом на тему об Ордене Розенкрейцеров.

— Профессор Браманти, — сказал Гарамон — утверждает, что сейчас самое время для опытного издателя, чувствующего культурную атмосферу, открыть серию книг, посвященную оккультным наукам.

— Для... издательства «Мануций», — подсказал Бельбо.

— А для кого же еще? — с хитрой улыбкой подтвердил господин Гарамон — Профессор Браманти, которого кроме прочих мне порекомендовал дорогой друг, доктор Де Амичис, автор блестящих «Летописей Зодиака», опубликованных нами в этом году, обеспокоен тем, что существующие немногочисленные серии по этим темам — почти во всех случаях выпущенные издателями несерьезными и не внушающими доверия, известными своей поверхностностью, неискренностью, некорректностью, более того, не заботящимися о точности — не воздают в полной мере должного богатству и глубине этого поля исследований...

— После краха утопий современного мира настало время переоценить культуру прошедших эпох, — заявил Браманти.

— Святые слова, профессор. Но вы должны простить нам — ну, не скажу, игнорирование, но, по крайней мере, зыбкость наших представлений об этом вопросе: что лично вы имеете в виду, говоря об оккультных науках? Спиритизм, астрологию, черную магию?

Браманти оборвал его протестующим жестом: — Помилуйте! Это как раз и есть та пустая болтовня, которой упиваются простаки. А я говорю о науке, пусть и тайной. Конечно, и об астрологии тоже, если это необходимо, но изучаемой не для того, чтобы предсказать машинистке, что в ближайшее воскресенье она встретит мужчину своей жизни, скорее, речь идет о серьезном исследовании, посвященном, скажем, Деканам.

— Я понимаю. Чисто научный подход. Это, конечно, соответствует нашей линии, но нельзя ли немного поточнее?

Браманти разлегся в кресле и начал блуждать взглядом по комнате, словно в поисках астрального вдохновения.

— Конечно, лучше всего воспользоваться примерами. Я бы сказал, что идеальный читатель серии такого типа должен быть последователем розенкрейцеров и, кроме того, знатоком *in magiam, in*

necromantiam, inastrologiam, in geomantiam, in pyromantiam, in hydromantiam, in chaomantiam, in medicinam adeptam, я цитирую книгу Азота — ту, которую таинственная девушка дала Ставрофору, дьякону, несущему в процессии крест, как рассказывается в «*Raptus philosophorum*». Но знания адепта охватывают и другие области, есть среди них, например, физиогностика, касающаяся оккультной физики, статики, динамики и кинематики, астрология или эзотерическая биология и изучение духов природы, герметическая зоология и биологическая астрология. Добавьте сюда космогностику, которая изучает астрологию, но в астрономическом, космологическом, физиологическом, онтологическом аспектах, или антропологию, изучающую гомологическую анатомию, пророческие науки, флюидную физиологию, психургию, социальную астрологию и герметизм истории. Есть еще качественная математика и, как вы сами знаете, арифмология... Но на предварительном этапе познания надо постичь космографию невидимого, магнетизм, изучить ауры, сны, флюиды, психометрию и ясновидение — и в целом познать пять сверхнатуральных чувств — не говоря уже о гороскопической астрологии, которая становится карикатурой на познание, если не обращаться с ней осторожно, далее: физиогномика, чтение мыслей, искусство гадания (Таро, сонник), вплоть до таких высших ступеней, как пророчество и экстаз. Потребуется достаточное количество информации об управлении флюидами, алхимии, спагирии, телепагии, экзорцизме, обрядовой и заклинательной магии, основах теургии. Что касается истинного оккультизма, я посоветовал бы разрабатывать такие области, как первоначальная Каббала, брахманизм, гимнософия, мемфисская иероглифика...

— Тамплиерская феноменология — осторожно вставил Бельбо.

Лицо Браманти озарилось.

— Без всякого сомнения. Но я чуть не забыл: до начальных понятий из области некромантии и колдовства небелых рас существуют ономантии, пророческие исступления, произвольное чудотворство, внушение, йога, гипнотизм, сомнамбулизм, алхимия Меркурия... Вронский советовал мистикам не забывать о технике луденских одержимых, о страдающих конвульсиями из Сен-Медара, о мистических напитках, египетском вине, эликсире жизни и aqua tofana. Что касается злого начала (а я понимаю, что тут мы добрались до

самого заповедного раздела этой серии), я сказал бы, что нужно поближе познакомиться с тайнами Вельзевула как с истинным саморазрушением, и Сатаны как свергнутого князя, и еще с тайнами Эвринома, Молоха, инкубов и суккубов. Что касается доброго начала, то это небесные тайны святых Михаила, Гавриила и Рафаила и добрых демонов. Затем мистерии Изида, Митры, Морфея, самофракийские и элевзинские мистерии, естественные мистерии мужского начала — фаллоса, Древо жизни, Ключ к наукам, Бафомет, молот, естественные мистерии женского начала, Церера, Ктеис, Патера, Кибела, Астарта.

Господин Гарамон наклонился вперед с заискивающей улыбкой.

— Вы, конечно, не забудете о гностиках...

— Конечно, нет, хотя по этой специфической теме выпущено много хлама, и все это несерьезно. Как бы там ни было, всякий здоровый оккультизм — это форма гнозиса.

— Я это и имел в виду, — вмешался Гарамон.

— И это все? — спокойно спросил Бельбо, Браманти надул щеки, сразу превратившись из тапира в хомяка.

— Это все... для того, чтобы посвятить себя созданию серии, а не посвящению... — простите за игру слов. Но уже с полусотней томов вы могли бы, господа, притянуть, как магнитом, тысячи читателей, которые только и ждут уверенного слова... Вложив несколько сот миллионов — я пришел именно к вам, господин Гарамон, ибо знаю, что вы расположены к самым щедрым предприятиям — и выделив мне скромный процент, как редактору серии...

Браманти сказал достаточно и уже не представлял интереса для Гарамона. Он был спешно отослан не без великих обещаний. Как обычно, комитет советников внимательно взвесит предложение.

Но знайте, что мы всегда согласны между собою, что бы мы ни говорили.

Спор философов. Turba Philosophorum

После посещения профессора Браманти, когда тот вышел, Бельбо заметил, что ему не мешало бы вытащить пробку. Господин Гарамон не знал смысла выражения, и Бельбо потратил некоторое время на подыскание пристойных парафразов, однако успеха не имел.

— В любом случае, — сказал господин Гарамон, — ломаться нам незачем. Этот господин пяти слов не сказал, как я уже знал, что он нам не клиент. Он лично платить не собирается. Но совершенно другое дело те, на кого он ссылался, и писатели, и читатели. Этот Браманти возник как раз в такой период, когда я и без него уделял внимание некоторым размышлениям в данном русле. Вот, господа. — И театральным жестом он выложил из ящика три книги.

— Все эти сочинения вышли в последние годы и пользовались успехом. Первое из них по-английски и я его не читал, но автор — знаменитое имя. О чем же он пишет? Видите, подзаголовок: гностический роман. А теперь посмотрите на эту книгу. На первый взгляд, это детектив, бестселлер. О чем тут рассказывается? О какой-то гностической церкви недалеко от Турина. Вы знаете, наверное, кто такие эти гностики... — Он остановил нас движением руки: — Неважно, неважно, мне достаточно знать, что это что-то потустороннее... Да, да, я понимаю, что сознательно обобщаю какие-то вещи, но сейчас я рассуждаю не как вы, я рассуждаю как этот Браманти. В настоящий момент перед вами издатель, а не профессор гносеологии или как там она у вас называется. Что я вижу для себя интересного, многообещающего, зовущего, скажу даже, любопытного в рассуждениях Браманти? У него, кстати, удивительная способность собирать все в одну кучу... он не называл гностиков, но, согласитесь, вполне мог бы и назвать их наряду с геомантией, геровиталем и радамесом на меркурии. ^[83] Почему я останавливаюсь на этом? Потому что тут у меня имеется еще одна книга, на этот раз книга знаменитой

журналистки, которая рассказывает о невероятных вещах, происходящих в Турине. Еще раз повторяю, в Турине, в центре автомобилестроения! Ведовство, черные мессы, заклинания бесов, и всем этим занимаются состоятельные люди, не кликуши полудикие с дальнего юга. Казобон, Бельбо рассказывал мне, что вы родом из Бразилии и что там вы участвовали в сатанических обрядах местных дикарей... Хорошо, потом вы меня поправите, но это неважно. Бразилия среди нас, господа! Я лично посетил несколько дней назад книжный магазин, как его, не имеет значения, в общем, книжную лавку, где шесть-семь лет тому назад торговали текстами анархистов, революционеров, тупамаров, террористов, скажу даже — марксистов. Ну и что же? Какой у них теперь уклон? Торгуют теми изданиями, о которых говорил тут Браманти. Согласен, сейчас вообще время большой путаницы, если вы пойдете в католический книжный магазин, где раньше продавали только катехизис, теперь вы там найдете и переосмысление учения Лютера, но все-таки они не предлагают вам книжек, в которых говорится, что религия сплошное вранье. А в лавках, которые я имею в виду, все смешано, и за и против, лишь бы дело касалось предметов, как бы это сказать...

— ...герметичных, — подсказал Диоталлеви.

— Вот именно. Это правильное слово. Я у них видел чуть ли не десять книжек о Гермесе. Так что мы можем начинать разговор о «Проекте Гермес». Эта новая ветвь...

— ...золотая ветвь, — сказал Бельбо.

— Вот именно. — Гарамон явно не уловил намек на книгу Фрэзера. — Даже золотая жила. Я почувствовал одно — эти люди съедят что угодно, лишь бы было герметично, вот и Диоталлеви соглашается со мною. То есть лишь бы было наперекор тому, что сказано в школьных учебниках. Я думаю даже, что это наш культурный долг. Я не занимаюсь исключительно благотворительностью, но в наши смутные времена предложить людям опору, веру, выход в сверхъестественное... Учитывая, что «Гарамону» присуща научная ориентация...

Бельбо мгновенно напрягся.

— Я думал, что речь идет о «Мануции».

— И о том и о другом. Послушайте меня. Я покопался в том книжном магазине, а потом пошел в другой, на этот раз в серьезный, и

там имелся великолепный стеллаж, посвященный оккультизму. По этим вопросам существуют как исследования на университетском уровне, так и книжонки, состряпанные людишками вроде Браманти. Теперь учтем следующее. Этот Браманти никогда в глаза не видел университетских авторов, но он их читает, и читает таким образом, как будто бы они — такие же, как он. Это тип людей, которые что бы ни говорилось, полагают, что речь идет о них, как в том анекдоте про кота, который, когда хозяева ругались по поводу развода, думал, что они не могут решить, какую требуху дать ему на ужин. Вы и сами видели это, Бельбо, стоило вам только заикнуться об этой тамплиерской истории, как он тотчас же: окей, сюда же и тамплиеров, в ту же кучу что каббалу, спортлото и гаданье на кофейной гуще. Эти люди всеядны. Абсолютно всеядны. Вы же видели лицо этого Браманти: грызун. В потенциале — огромная публика, состоящая из двух категорий, я их так прямо и вижу, как они маршируют колоннами, имя им легион. Во-первых, те, кто сочиняет эти книги, и тут наготове «Мануций» с распростертыми объятиями. Их приманить ничего не стоит, достаточно учредить престижную серию, с каким-нибудь таким названием вроде...

— Скрижаль измарагда, — подсказал Диоталлеви.

— Как-как? Нет, слишком трудно. Мне, например, это название не говорит ничего. Нужно что-то такое, что бы напоминало о чем-то...

— Изида без покрывал, — сказал я.

— Изида без покрывал! Прекрасно звучит, молодец Казобон, здесь у нас и Тутанхамон, и скарабеи, и пирамиды. Изида без покрывал, с приятной умеренно игривой эмблемой, но не слишком. Решено. Идемте дальше. Есть потом вторая категория: те, кто покупает. На этот счет, дорогие друзья, у вас, конечно же, имеется мнение, что «Мануций» в покупателях не заинтересован. А почему, собственно, мы так в этом уверены? А вот на сей раз мы попробуем продавать «Мануция», господа, мы совершим качественный скачок! И наконец, остаются еще исследования подлинно научного характера, и здесь настает очередь «Гарамона». Наряду с историческими монографиями и с университетскими сериями, мы найдем серьезного консультанта и станем публиковать по три-четыре книги в год, в серьезной, строго выдержанной подборке, с названием однозначным, но никак не фигуральным...

— Hermetica, — подсказал Диоталлеви.

— Прекрасно. Классично, благородно. Вы спрашиваете меня, зачем расходовать деньги в «Гарамоне», если можно их зарабатывать в «Мануции». Но ведь серьезная серия вызывает уважение и притягивает понимающих людей, а они многое могут подсказать, могут указать направление, а если туда же потянутся и прочие, подобные Браманти, они будут нами отсортированы и переправлены в «Мануции». Мне кажется идея абсолютно великолепной, дадим ей кодовое название «Проект Гермес», операция чистейшая, доходная, укрепляющая идеальную взаимосвязь между двумя издательствами. За работу, господа. Посещайте библиотеки, составляйте библиографии, запрашивайте каталоги, посмотрите, что выпускается за границей... И еще. Кто знает сколько людей маячило прямо перед вашим носом, предлагало вам настоящие сокровища, в своем роде, разумеется, а вы их выпроводили ни с чем... Так что имейте в виду на будущее. Кстати, Казобон, в истории металлов, прошу вас, отыщите место для некоторого количества алхимии. Золото — металл, надеюсь, вы не станете спорить. Комментарии потом, вы знаете, что я открыт для дружеской критики, для конструктивных отзывов, замечаний, как бывает между культурными людьми. Проект вступает в силу с настоящей минуты. Госпожа Грация, введите этого господина, который ожидает в прихожей чуть ли не два часа, мыслимо ли так обращаться с Авторами! — провозгласил он, распахивая дверь, громовым голосом, чтобы было слышно в зале ожидания.

Люди, которых мы встречаем на улице... втайне предаются занятиям черной магией, связываются или по меньшей мере пытаются связаться с Духами Тьмы, чтобы удовлетворить свою жажду тщеславия, ненависти, любви, одним словом, чтобы творить Зло.

J. K. Huysmans. Предисловие к: J. Bois, Le satanisnie et la magie, 1895, с.VIII–IX

Я думал, что «Проект Гермес» — это едва намеченная идея. Я еще не знал господина Гарамона. В последующие дни, пока я просиживал в библиотеках, выискивая иллюстрации о металлах, в «Мануции» уже кипела работа.

Два месяца спустя я нашел на столе у Бельбо свежееотпечатанный номер «Энотрийского Парнаса» с длинной статьей «Возрождение оккультизма», где широко известный герметист доктор Мебиус — новенький, с иголки, псевдоним Бельбо, заработавшего таким образом свои первые сребреники на «Проекте Гермес» — говорил о чудесном возрождении оккультных наук в современном мире и сообщал, что издательство «Мануций» собирается ступить на этот путь, открывая серию «Изида без покрывал».

Тем временем господин Гарамон написал ряд писем в различные журналы по герметизиму, астрологии, Таро, уфологии, подписываясь первым попавшимся именем и интересуясь новой серией, объявленной издательством «Мануций». В результате редакторы этих журналов начали ему звонить, желая получить информацию, а он, напустив на себя таинственный вид, отвечал, что пока не может сообщить названия десяти первых книг, уже, между прочим, находящихся в производстве. Таким образом, мир оккультистов, несомненно сильно взбудораженный непрерывным гулом тамтама, уже был осведомлен о «Проекте Гермес».

— Замаскируемся под цветочки, — сказал господин Гарамон, собрав нас в зале с картой мира, — и пчелки слетятся.

Но это было еще не все. Гарамон показал нам буклет (буклет, как он его называл — так говорят во всех миланских издательствах, как, впрочем, и ситроен, и рено): ничего необычного, четыре страницы, но на мелованной бумаге. На первой странице воспроизводился рисунок обложки будущей серии, что-то вроде золотой печати (пятиконечная звезда Соломона, объяснил Гарамон) на черном фоне, край страницы окаймлен декоративным узором, напоминающим множество сплетенных свастика (азиатская свастика, уточнил Гарамон, ориентированная по солнцу, а не нацистская, направленная по часовой стрелке). Вверху, где должно помещаться название соответствующего тома, надпись: «Есть многое в небесах и на земле»... На внутренних страницах буклета восхвалялись заслуги издательства «Мануций» на культурной ниве; затем при помощи нескольких броских лозунгов констатировалось, что современному миру требуются более глубокие и светлые знания, чем может дать наука: «Забытая мудрость Египта, Халдеи, Тибета — для духовного возрождения Запада».

Бельбо спросил, кому предназначены буклеты, и Гарамон улыбнулся, по выражению Бельбо, улыбкой пропащей души раджи Ассама.

— Я выписал из Франции ежегодный справочник всех тайных обществ, существующих на сегодняшний день в мире, и не спрашивайте меня, откуда взялся общедоступный справочник тайных обществ; он просто существует, вот оно, издание Анри Верье, с адресами, номерами телефонов, почтовыми индексами. Вы, Бельбо, просмотрите его и вычеркните общества, не представляющие для нас интереса, я вижу там и иезуитов, и Опус Деи, и карбонариев, и «Ротари Клуб», выписывайте все, что имеет оккультный оттенок, я уже некоторые отметил. Он полистал справочник:

— ...абсолютисты (верят в метаморфозы), «Aetherius Society» в Калифорнии (телепатическая связь с Марсом), «Astara» из Лозанны (клятва полной сохранности великой тайны), «Atlanteans» в Великобритании (поиски утраченного счастья), «Builders of the Aduytum» в Калифорнии (алхимия, Каббала, астрология), «Кружок Е.Б.» из Перпиньяна (посвященный Хатор, богине любви и хранительнице Горы Мертвых), «Кружок Элифаса Леви» из Муле (я не знаю, кто этот Леви, должно быть, это тот французский антрополог, или кто он там по специальности), «Рыцари Союза Тамплиеров» из

Тулузы, «Колледж Друидов Галлии», «Спиритический Конвент Иерихона», «Cosmic Church of Truth» во Флориде, «Традиционалистский семинар Есфпе» в Швейцарии, мормоны (этих я даже однажды нашел в каком-то телефонном справочнике, но, может быть, их уже там нет), «Церковь Митры» в Лондоне и Брюсселе, «Церковь Сатаны» в Лос-Анджелесе, «Объединенная Церковь Люцифера» во Франции, «Розенкрейцерская Апостольская Церковь» в Брюсселе, «Дети Тьмы», или «Зеленый Орден» из Кот-д'Ор (этих, наверное, не надо, кто знает, на каком языке они изъясняются), «Западная герметическая школа» в Монтевидео, «Национальный институт Каббалы» с Манхэттена, «Центральный храм герметической науки штата Огайо», «Tetra-Gnosis» из Чикаго, «Древние Братья Розы и Креста» из Сен-Сир-сюр-Мер, «Иоан-нитское Братство за Тамплиеровское Воскресение» в Касселе, «Международное Братство Изиды» в Гренобле, «Древние баварские иллюминаты» из Сан-Франциско, «Святылище Гнозиса» из Шермен Оукс, «Американский фонд Грааля», «Sociedade do Graal do Brasil», «Герметическое братство Луксора», «Лекторий розенкрейцеров» в Голландии, «Движение Грааля» в Страсбурге, «Орден Анубиса» в Нью-Йорке, «Храм черной пятиконечной звезды» в Манчестере, «Общество Одина» во Флориде, «Орден Подвязки» (к ним, кажется, имеет отношение даже английская королева), «Орден Вриля» (неонацистское масонство, без адреса), «Ополчение Храма» из Монпелье, «Высший Орден Солнечного Храма» в Монте-Карло, «Роза и Крест» из Гарлема (до чего дошло, теперь уже негры), «Викка» (люциферовское общество кельтского послушания, они призывают 72 духа Каббалы)... в общем, надо ли продолжать?

— Они все действительно существуют? — спросил Бельбо.

— Это еще не все. За работу, составьте окончательный список и будем рассылать. Даже если это иностранцы. Среди этих людей новости быстро распространяются. Остается сделать только одно. Надо обойти хорошие книжные магазины и поговорить не только с продавцами, но и с клиентами. Упоминайте в разговорах, что существует такая-то и такая-то серия.

Диоталлеви заметил, что они не могут так засвечиваться, нужно найти более неприметных коммивояжеров, и Гарамон велел ему таких поискать.

— Главное, чтоб они работали бесплатно.

— Ну и требования! — прокомментировал Бельбо, когда мы вернулись в свою рабочую комнату. Но подземные боги нас хранили. Именно в этот момент вошла Лоренца Пеллегрини, более солнечная, чем когда бы то ни было, Бельбо просиял, а она, увидев буклеты, проявила любопытство.

Когда она узнала о плане соседнего издательства, лицо ее озарилось.

— Великолепно, у меня есть один ужасно симпатичный друг, бывший уругвайский тупамаро, который работает в журнале под названием «Пикатрикс», он всегда водит меня на спиритические сеансы. Я подружилась с одной очаровательной эктоплазмой, теперь она всегда спрашивает меня, как только материализуется!

Бельбо взглянул на Лоренцу, будто хотел о чем-то спросить, но передумал. Наверное, он уже привык не удивляться тому, что Лоренца посещает самые подозрительные места, и решил беспокоиться только тогда, когда это могло омрачить их любовные отношения (любил ли он ее?). А в этом намеке на «Пикатрикс» он усмотрел не столько призрак полковника, сколько фигуру слишком симпатичного уругвайца. Но Лоренца уже говорила о другом, рассказывала, что часто посещает эти маленькие книжные лавочки, где торгуют книгами, которые собирается опубликовать «Изида без покрывал».

— Там есть что посмотреть, знаете, — объясняла она. — Я нахожу там лечебные травы и инструкции по созданию гомункулуса, в точности как Фауст с троянской Еленой, ой, Якопо, давай сделаем, я бы так хотела иметь гомункулуса от тебя, потом будем держать его дома как таксу. Это легко; в этой книге было сказано, что достаточно собрать в колбу немного человеческой спермы, надеюсь, что для тебя труда не составит, да не красней, дурачок, потом смешать ее с гипоменом, это, кажется, жидкость... секретируемая... сикретирующая... как это сказать?..

— Секретируемая, — подсказал Диоталлеви. — Да? Ну в общем, то, что выделяют беременные кобылы, мне кажется, что это очень трудно, если бы я была беременной кобылой, то вовсе не хотела бы, чтобы у меня брали гипомен, особенно незнакомые мне люди, но думаю, что его можно найти в готовом виде, как agarbatties. А потом сливаешь все это в сосуд, настаиваешь сорок дней и наконец видишь,

как постепенно образуется фигурка, мини-зародыш, который еще через два месяца становится прелестным гомункулусом, выходит из сосуда и начинает тебе служить, по-моему, они никогда не умирают — подумай только, он будет носить тебе цветы на могилу, когда ты умрешь!

— А что еще ты видела в этих лавках? — поинтересовался Бельбо.

— Фантастических людей — людей, которые говорят, как ангелы, которые делают золото, а также профессиональных магов с физиономиями профессиональных магов...

— И как выглядят эти профессиональные маги?

— У них обычно орлиный нос, брови, как у русских, и хищный взгляд; они носят длинные волосы, как раньше художники, и бороду, но не густую — несколько прядей седины между подбородком и щеками, а усы у них немного торчат и спадают на верхнюю губу космами, и это хорошо, потому что губа слишком вздернута, у бедняжек торчат зубы, которые все немного находят друг на друга. Такие зубы, конечно, надо скрывать, но они улыбаются, причем очень нежно, а их глаза (хищные, как я вам сказала, да?) пронизывают вас волнующим взглядом.

— Герметическое лицо, — прокомментировал Диоталлеви.

— Да? Ну вот видите. Когда кто-то заходит и спрашивает книгу, допустим, с заклинаниями против злых духов, они тотчас же подсказывают продавцу нужное название, и как раз такое, которого в магазине нет. Но если ты с ними в дружеских отношениях и спросишь, действительна ли эта книга, они опять понимающе улыбаются, как будто разговаривают с детьми, и отвечают, что к таким вещам надо относиться осторожно. Потом они рассказывают случаи с чертями, которые делали ужасные гадости своим друзьям, ты пугаешься, а они ободряют тебя, говоря, что часто это просто истерия. Короче, никогда не поймешь, верят они в это или нет. Часто продавцы дарят мне благовонные палочки; однажды один подарил маленькую руку из слоновой кости против сглаза.

— Так вот, если наткнешься на такого, — сказал ей Бельбо, — когда будешь там слоняться, спроси, известно ли ему об этой новой серии «Мануция», и даже можешь показать буклет.

Лоренца ушла, прихватив десяток буклетов. В последующие недели она, должно быть, тоже хорошо поработала, но я и не представлял себе, что все будет развиваться так быстро. Несколько месяцев спустя госпоже Грации уже не удавалось сдерживать напор бесноватых, как мы определили ПИССов с оккультными интересами. Имя им — легион, так уж следует из их природы.

Он призывает силы Скрижали Союза, следуя Высшему Ритуалу Пентаграммы, с Активным и Пассивным Духом, с Эхиех и Агла. Он возвращается к алтарю и читает следующий призыв к Еноховым духам: Ol Sonuf Vaorsag Goho lad Balt, Lonsh Calz Vonpho, Sobra Z-ol Ror I Ta Nazps, od Graa Ta Malprg... Ds Hol-q Qaa Nothoa Zimz, Od Commah Ta Nopbloh Zien...

Israel Regardie. The Original Account of the Teachings, Pites and Ceremonies of the Hermetic Order of the Golden Dawn. Ritual for Invisibility, Sent-Paul, Llewellyn Publications, 1986, С.423

Нам повезло, и у нас состоялся первый разговор на наивысшем уровне, если учесть уровень нашего посвящения.

Наше трио, Бельбо, Диоталлеви и я, было в полном составе; мы чуть не вскрикнули от изумления, когда вошел наш гость. У него было герметическое лицо, описанное Лоренцей Пеллегрини, а кроме того, он был одет в черное.

Он вошел, осторожно оглядываясь, и представился (профессор Каместр). На вопрос «профессор чего?» ответил неопределенным жестом, как бы призывая нас к сдержанности.

— Извините, — сказал он, — я не знаю, занимаетесь ли вы этой проблемой только с чисто технической, коммерческой точки зрения или связаны с какой-нибудь группой посвященных... Мы успокоили его.

— Это вовсе не чрезмерная осторожность с моей стороны — заявил он, — но я не хотел бы иметь отношения с кем-то из ПХВ — и пояснил, видя наше недоумение: — Порядок Храма Восточного, община последних якобы приверженцев Алейстера Кроули... Я вижу, господи, что вы не знакомы с... Это к лучшему, с вашей стороны не будет предубеждений. — Он согласился присесть. — Потому что,

видите ли, труд, который я сейчас хотел бы вам представить, смело возражает Кроули. Все мы, и я в том числе, еще храним верность откровениям «Liber AL vel legis», которая, как вам, наверное, известно, была продиктована Кроули в 1904 году в Каире высшим разумом по имени Айвасс. Сторонники ПХВ и сегодня изучают текст во всех четырех изданиях, первое из которых вышло за девять месяцев до начала войны на Балканах, второе — за девять месяцев до начала первой мировой войны, третье — за девять месяцев до китайско-японской войны, четвертое — за девять месяцев до бойни гражданской войны в Испании...

Я невольно скрестил пальцы. Он заметил это и мрачно улыбнулся.

— Мне понятна ваша нерешительность. Приняв во внимание то, что я сейчас принес вам пятую версию этой книги, вы можете задаться вопросом: что же произойдет через девять месяцев? Успокойтесь, ничего, ибо то, что я вновь предлагаю вам — это дополненная «Liber legis», поскольку мне оказал честь своим посещением не простой высший разум, а сам Эл, высшее начало, которого иначе называют Хойор-паар-Краат — двойник или мистический близнец Ра-Хоор-Кхута. Единственное, что меня волнует — хотя бы для того, чтобы избежать пагубных влияний, — будет ли у меня возможность опубликовать мой труд к зимнему солнцестоянию.

— Можно попробовать — успокоил его Бельбо.

— Я удовлетворен. Книга наделает шуму в кругах посвященных, ибо, как вы можете понять, мой мистический источник более серьезен и достоин доверия, чем источник Кроули. Я не знаю, как Кроули мог «оживить» ритуалы Зверя, пренебрегая литургией Меча. Только обнажив меч, понимаешь, что такое Махапраляя, иначе говоря, Третий глаз Кундалини. Кроме того, в своем учении о числах, целиком опирающемся на число Зверя, он не предусмотрел 93, 118, 444, 868 и 1001 — Новые Числа.

— Что они означают? — заинтересовался Диоталлеви.

— Ну, — объяснил профессор Каместр, — как говорилось уже в первой «Liber legis», каждое число бесконечно, и между ними разницы нет!

— Понимаю, — сказал Бельбо. — Но не кажется ли вам, что все это немного непонятно среднему читателю?

Каместр чуть не подпрыгнул на стуле.

— А иначе и быть не может. Абсолютно. Тот, кто понял бы эти секреты без соответствующей подготовки, провалился бы в бездну! Даже публикуя их в завуалированном виде, я уже рискую, поверьте. Я разрабатываю область поклонения Зверю по более радикальным образцам, чем Кроули, вы увидите страницы, посвященные *congressus cum daemone*, предписания, касающиеся храмовых предметов и плотского союза с Багряной Невестой и Зверем, на Котором Она Восседает. Кроули остановился на так называемом противоестественном плотском соединении, а я стараюсь перенести ритуал по ту сторону Зла, как мы его себе представляем, я касаюсь непостижимого, абсолютной чистоты Гозтии, крайнего порога Бас-Аумн и Са-Ба-Фт.

Бельбо оставалось только прозондировать финансовые возможности Каместра. Окольными путями ему удалось достичь цели, и в конце концов стало ясно, что наш гость, как и Браманти, нисколько не намерен финансировать издание своих трудов. Тогда наступила фаза отчаливания, с культурно обставленной просьбой оставить рукопись на неделю для изучения, а потом будет видно. Но при этих словах Каместр прижал рукопись к груди, заявляя, что никогда еще к нему не относились с таким недоверием, и вышел, дав понять, что располагает особыми возможностями, чтобы заставить нас пожалеть о том, что мы его оскорбили.

Тем не менее вскоре в нашем распоряжении уже был десяток добротных рукописей ПИССов. Нужен был хотя бы минимальный отбор, учитывая, что мы хотели их еще и продавать. Прочесть все представлялось совершенно невозможным, поэтому мы бегло просматривали оглавления и затем делились друг с другом своими открытиями.

Из этого вытекает невероятное предположение: египтянам было известно электричество?.

Петер Колозимо, Земля без времени

/Peter Koloeimo, Terra senra tempo, Milano, Sugar, 1964, p. 111/

— Я нашел один текст о погибших цивилизациях и загадочных странах, — докладывал Бельбо, перекопав десятки новопоступивших ПИССовских рукописей. — Выходит, что в Начале... до сотворения мира... был континент Му, где-то около Австралии, и оттуда ответвились крупнейшие мигрирующие течения. Одно пошло в направлении острова Авалон, другое на Кавказ, еще одно к истокам Инда, потом возникли кельты, основатели египетской цивилизации и наконец Атлантида...

— Какое старье. Этих господ, пишущих книги о континенте Му, можно набирать по лукошку в день, — сказал я.

— Да, но тут один нетипичный, он, кажется, готов платить. А кроме того, там есть прелестная глава относительно греческих экспедиций на Юкатан, рассказывается о барельефе воина в Чечен-Ица, который как два капли воды похож на римского legionera.

— Поскольку шлемы бывают либо с перьями, либо с гривами, третьего не дано, — сказал Диоталлеви. — Шлем не считается доказательством.

— У него считается. Кроме того, он обнаруживает обожание змей во всех цивилизациях и приходит к выводу, что цивилизации имеют общее происхождение.

— Все обожали змея, я согласен, — подтвердил Диоталлеви. — Только у нас его ненавидели. В Избранном народе.

— Ненавидели змея, обожали тельца.

— В минуту слабости. Я бы этого типа гнал в шею. Даже если он платит. Кельтизм и арианство, Кали-Юга, закат Европы и духовность

СС. Пусть я параноик, но он, мне кажется, фашист.

— Для Гарамона это не является противопоказанием.

— Да, но есть предел всему. Я тут тоже листал рукопись о гномах, ундилах, саламандрах, эльфах, сильфидах, феях... Снова притягивают за уши ко всему «арийскую духовность». Их послушать, так эсэсовцы родились от семи гномов.

— Не от семи гномов, так от Нибелунгов.

— Нет, тут не Нибелунги. Эти гномы, о которых рассказывает автор, называются Малый ирландский народец. Причем плохие были только феи, малышата хорошие, хотя и проказливые.

— Отложи ее, ради бога. У вас, Казобон, какой улов?

— Маловато. Только рукопись о Христофоре Колумбе. Произведя анализ колумбовой подписи, в ней находят, представьте себе, указание на пирамиды. Целью жизни Колумба было восстановить Храм Соломона в Иерусалиме, поскольку сам он был гроссмейстером тамплиеров в изгнании. А так как отлично известно, что по происхождению Колумб португальский еврей и следовательно, изодранный каббалист, он прибежал... мм... к талисманическим заклинаниям... так там сказано! чтобы успокаивать бури и излечивать цингу. Рукописи по каббале я не трогал, потому что безусловно их все посмотрел Диоталлеви.

— И нашел повсюду перевернутые еврейские буквы, ксерокопированные из гадальных книжонок.

— Понятно. Но мы все-таки должны учитывать, что мы отбираем книги для «Изиды без покрывал», а не для филологической серии. Может быть, нашим «одержимцам»... предлагаю этот термин для одержимых оккультными идеями... нашим одержимцам больше понравятся перевернутые еврейские буквы, чем настоящие. Надо уважать чужие вкусы. Я вот что не знаю — что делать с сочинениями по теме масонства. Господин Гарамон мне наказал в этом смысле рисковать как можно меньше, он не желает ввязываться в мелкие дразги между различными их подвидами. Но все же у меня нет сил отказаться от исследования о масонской символике в Лурдском гроте. А это тоже жалко выбрасывать, прелестная работа насчет участия некоего джентльмена, предположительно графа Сен-Жермена, приятеля Франклина и Лафайета, в дизайне флага США. Только к

сожалению, при том что превосходно объяснена символика звездочек, автор пасует, когда дело доходит до полосок.

— Граф Сен-Жермен! — сказал тут я. — Вишь ты!

— А что, это и ваш приятель? — заинтересовались мои собеседники.

— Ну да. Но вы мне не поверите, так что не будем об этом. Далее. Тут у меня чудовищный талмуд на четыре сотни страниц, избличающий грехи современной науки: атом, жидомасонские козни, заблуждение Эйнштейна и мистическая тайна энергии, ошибки Галилея и нематериальная природа света и солнца.

— Кстати о науке, — подхватил Диоталлеви. — Я тоже тут припас очаровательное обозрение фортианской науки.

— Какой-какой?

— Это наука Чарльза Гоя Форга, который насобирал здоровенную коллекцию необъяснимых явлений. Дождь из лягушек в Бирмингеме. Отпечатки сказочного животного в Девоне. Таинственные лестницы и отпечатки присосков на хребтах некоторых гор. Нерегулярность прецессии равноденствий. Надписи на метеоритах, черный снег, кровавые грозы, крылатые существа на высоте восьми тысяч метров в небе над Палермо, светящиеся колеса в море, остовы гигантов, гигантский листопад во Франции, выпадение каких-то живых существ на Суматре, и, конечно, окаменелые отпечатки в храмах Мачу-Пикчу и на других вершинах южноамериканских гор, которыми доказывается факт приземления сверхмощных космических кораблей в доисторическую эпоху. Так что мы не одиноки во вселенной.

— Неплохо, — согласился Бельбо. — Что мне лично не дает покоя — это вон те пятьсот страниц на тему о пирамидах. Ведь вы не знали до сих пор, что пирамида Хеопса располагается аккурат на тридцатой параллели, которая из всех параллелей перерезает наибольшее количество суши? Что геометрические пропорции пирамиды Хеопса равны пропорциям памятника Педра Пун-тада в Амазонии. И кстати об Амазонии, в Египте обнаружено два пернатых змея, один на троне Тутанхамона, другой — на пирамиде в Сахаре, и это наводит на мысль о Кетцалькоатле?

— Какое имеет отношение Кецалькоатль к Амазонии, если он бог мексиканского пантеона? — сказал я.

— Да? Извините, отклонился от темы. С другой стороны, как иначе объяснить тот факт, что статуи с острова Пасхи являются мегалитами, равно как и кельтские статуи? Один из полинезийских богов именовался Я, и это, ясное дело, отсылает нас к Йоду у евреев, а также к древневенгерскому Иов, громадному и доброму богу. Старинная мексиканская рукопись изображает Землю в виде квадрата, окруженного морем, а в центре Земли установлена пирамида, на основании которой нанесена надпись Ацтлан, что напоминает нам как атлас, так и Атланта, а вместе с тем Атлантиду. Почему на обоих берегах Атлантического океана выстроены пирамиды?

— Потому что пирамиду легче построить, нежели сферу. Потому что ветер надувает дюны в форме пирамид, а не в форме Парфенона.

— Ненавижу этот ваш просвещенческий дух, — отозвался Диоталлеви.

— Я продолжу, если вы не возражаете. Культ бога Ра не встречается в древнеегипетской религии в период до Нового царства, а следовательно, этот культ наследуется прямым путем от кельтов. Подумайте о Св. Николае, который превратился в Санта-Клауса и возит новогодние подарки на санках. А теперь узнайте, что в доисторическом Египте колесницу солнца рисовали в виде саней! Поскольку в Египте снега нету, эти сани безусловно имеют нордическое происхождение...

Я не отступался:

— До изобретения колеса сани использовали всюду, особенно на песке!

— Не перебивайте. В книге говорится, что первичная цель состоит в выявлении аналогий, а уж вторичная — в поиске объяснений. А потом говорится, что найденные объяснения по определению являются научными. Древние египтяне пользовались электричеством, иначе они не могли бы достичь того, чего они достигли. Один немецкий инженер, строивший канализацию в Багдаде, нашел вполне еще годные электробатарейки, восходившие к Сасанидам. В раскопках Вавилона были обнаружены аккумуляторы, сработанные четыре тысячи лет назад. И наконец, ковчег Завета (где экспонировались скрижали завета, жезл Аарона и баночка с манной небесной) представлял собой что-то вроде сейфа с электрозащитой, способного давать разряды порядка пятисот вольт.

— Я это уже видел в одном фильме.

— Ну и что? Вы думаете, откуда черпают свои идеи сценаристы? Ковчег был из дерева акации и обшит золотыми пластинами снаружи и изнутри. Тот же самый принцип, что у электрических конденсаторов: два проводящих слоя, разделенные слоем изолятора. Кроме этого, ковчег был окружен гирляндой тоже из золота. Все это размещалось в сухой местности, где магнитное поле могло достигать 500–600 вольт на вертикальный метр. Еще говорится, что Порсенна прибег к помощи электричества, чтобы очистить вверенное ему царство от присутствия отвратительного зверя по имени Вольт.

— А, вот почему Алессандро Вольта выбрал себе такой экзотический псевдоним. До этого он называл себя просто Шчмрзлин Краснапольский.

— Ничего смешного не вижу. Не знаю, понимаете ли вы, что кроме этих рукописей, у меня тут еще охапка писем, в которых предлагаются невероятные исследования о взаимосвязях Иоанны д'Арк с сивиллиными книгами,^[84] талмудического демона Лилит с Великой матерью-гермафродитом, генетического кода с марсианской письменностью, тайного разума растений с космическим возрождением и с психоанализом, Маркса с Ницше в контексте новейшей — ангелологии, Золотого числа со скальным городом Матерой, Канта с оккультизмом... а также объяснения элевксинских мистерий через джаз, Калиостро через атомную энергию, гомосексуализма через гнозис, Голема через классовую борьбу. А на закуску восьмитомное сочинение о Граале и Святом Сердце.

— А каков главный тезис? Что Грааль — аллегория Святого Сердца или что Святое Сердце — аллегория Грааля?

— Улавливаю эту дистинкцию и восхищаюсь вашей тонкостью, но должен ответить, что для сочинителя, по-моему, равны оба варианта. В общем, на данной стадии я совершенно не знаю, что делать. Надо будет спросить мнение господина Гарамона.

Мы пошли к Гарамону за мнением. Он ответил, что в принципе не следовало бы отбрасывать никого и надо бы иметь в виду всех.

— Но большинство повторяет те книжонки, которые продаются в киосках на вокзалах, — сказал я. — Все эти авторы, как в рукописных, так и в напечатанных работах, сдуют друг у друга, каждый

опирается на чье-то утверждение и все вместе опираются на коронную цитату из Ямвлиха^[85] или кого-нибудь в этом роде.

— Ну и что? — ответил на это Гарамон. — Вы хотите продавать читателям что-либо, о чем они никогда не слыхали? Для нас жизненно важно, чтобы книги этой серии говорили точно то же, что уже высказано другими. Это и будет подтверждать, что высказывания верны. Боже упаси от оригинальности.

— Ладно, — сказал Диоталлеви. — Однако необходимо понимать, что действительно является общим местом, а что нет. Нам нужен консультант.

— Какого рода?

— Я не знаю. Не такой одержимый, как все они, но при этом — знаток в данной области. Вдобавок, он должен был бы подсказывать нам кое-что и для Hermetica. Какой-нибудь серьезный специалист по возрожденческому герметизму.

— Великолепно, — сказал Бельбо. — Как только ты подсунешь ему Святое Сердце и Грааль, он плюнет тебе в рожу и убежит.

— Не обязательно.

— Я, наверное, знаю такого человека, — сказал я. — Он безусловно эрудирован, принимает подобные вещи достаточно серьезно, но с изяществом, я бы даже сказал, с иронией. Мы познакомились с ним в Бразилии, но сейчас, я думаю, он находится в Милане. Где-то у меня имелся его телефон.

— Поговорите с ним, — сказал Гарамон. — Только поосторожнее, все зависит от цены. И попробуйте заодно подключить его к невероятным приключениям металлов.

Алье, похоже, обрадовался моему звонку. Он поинтересовался здоровьем прелестной Ампаро, я смущенно дал ему понять, что в этом отношении все в прошлом, он извинился и мило пошутил насчет свежести и молодости, которым свойственно открывать все новые и новые главы биографии. Я бегло рассказал ему о проекте нашего издательства. Он как будто заинтересовался, сказал, что был бы рад увидаться с нами, и мы назначили встречу у него дома.

Со дня рождения «Проекта Гермес» и до той минуты я безмятежно развлекался по поводу доброй половины мира. Пробил час, и Они начали составлять на меня счет. Я тоже был пчелой, и я кружил над цветком, да только не замечал этого.

В течение дня ты приблизишься к жабе многократно и произнесешь слова поклонения. И попросишь ее осуществить чудеса, которых жаждешь... Тем временем вырежешь крест, на котором принесешь ее в жертву.

Ритуал Алейстера Кроули

Алье обитал около площади Суза: маленькая тихая улица, особнячок конца прошлого века с растительным декором. Нам открыл пожилой дворецкий в полосатой ливрее, провел в небольшую приемную и просил ждать господина графа.

— Так он граф, — прошептал Бельбо.

— Да, а что, я не сказал? Воскресший граф Сен-Жермен.

— Он не может быть воскресшим, так как никогда не умирал, — вмешался Диоталлеви. — Ведь он же Агасфер, то есть Вечный жид?

— Да, по многим источникам граф Сен-Жермен, это также и Агасфер.

— Видите?

Вошел Алье, безупречный как обычно. Он пожал нам руки и извинился: докучливое дело, совершенно непредвиденное, задерживало его еще минут на десять в кабинете. Он распорядился подать нам кофе и попросил быть как дома. И вышел, отогнув тяжеленную кожаную портьеру. Стены не существовало, и до нас донеслись обрывки взволнованной беседы из-за занавеса. Сначала мы подчеркнуто громко переговаривались, чтобы заглушить разговор из той комнаты, но Бельбо заметил, что так мы, вероятно, мешаем. Тогда мы примолкли, и донесся обрывок запортьерной речи, пробудивший в нас живейшее любопытство. Диоталлеви встал с места, заинтересовавшись старинной гравюрой, висевшей прямо около занавески. На гравюре была изображена пещера в горном склоне, куда спускались по семи ступенькам паломники. Через несколько секунд вся наша троица увлеченно изучала рисунок.

Слышанный нами голос несомненно принадлежал Браманти и говорил он следующее: — Ну, в общем, я никому на квартиру бесов не насылал!

Тут, кстати, стало очевидно, что Браманти был вылитый тапир не только лицом, но и голосом.

Другой голос принадлежал человеку незнакомому, с сильнейшим французским акцентом. Резкий, истеричный тон. Иногда в их перебранку вплеталось журчание Алье, мягкое и примирительное.

— Господа, господа, — говорил Алье. — Раз вы прибегли ко мне как к судье, чем я польщен, разумеется, — выслушайте же меня. Позвольте прежде всего заметить, что вы, драгоценный Пьер, проявили по меньшей мере неосмотрительность, написав подобное письмо...

— Эта афера проста, мой граф, — отвечал француз, — этот господин Браманти пишет артикль, статью в журнал, у которого большой престиж, и мы находим там иронию о таких люсифэрьянах, которые претендуют манипулировать с гостями, но не видят в них трансцендентальную субстанцию, желают из них достать себе серебро и тра-ля-ля и ту-ру-ру в подобном жанре. Прекрасно, но сейчас все знают, что единственная Церковь Люсифэра, которая признается, это та, в которой я, если мне позволите, Тавроболиаст, то есть Быкобоец, и также Психопомп, и известно, что в моей церкви не имеется вульгарного сатанизма и сумбура с гостями, а это стиль каноника Докра в Сен-Сюльпис. Я в письме отвечал, что мы не сатанисты старого типа, какие обожают Великого Заведующего Злом, Grand Tenancier du Mal, и что мы не имеем резона обезьянничать от римской церкви, со всеми теми атрибутами и как они называются, те финтифлюшки. Мы скорее палладиане, но это же знает весь мир! И для нас Люсифэр — се принцип добра, скорее сказать Адонай — се принцип зла, потому что сей мир креатура Адоная, а Люсифэр его оппонировал...

— Хорошо, — выкрикивал Браманти в возбуждении. — Даже если я повел себя легкомысленно, вы меня облыжно обвинили в чародействе!

— Но посмотрите же! Но это же была моя метафора! Но вы, напротив, в ответ сделали маневр, послали на меня порчу!

— Да что за чушь, делать нам нечего больше, что ли! Ни я, ни мои собратья колдовством не занимаемся! Наша специальность — Догма и Ритуал Высокой Магии, а не дурацкая ворожба!

— Господин граф, я взываю к вам. Достоверно известно, что господин Браманти поддерживает отношения с аббатом Бутру, а вы же хорошо знаете, что ходят слухи, будто этот священник приказал вытатуировать себе на подошвах распятие, чтобы, о Боже, топтать нашего Господа или своего... Так вот, неделю назад встречаю я этого так называемого аббата в книжной лавке Дю Сангреаль, вы ее знаете, он улыбается мне, такой же скользкий, как его одежда, и говорит: «Ну-ну, дэ... мы с вами поладим в один из ближайших вечерков»... Но как это понимать — «в один из ближайших вечерков»? А понимать это надо так, что — послушайте-ка, через два дня начинаются визиты: я собираюсь ложиться спать — и вдруг, дэ... чувствую, как меня по лицу шлепают флюидами, ну, вы же знаете, что эти эманации легко распознать.

— Вы, наверное, потеряли подошвами о коврик.

— Вы думаете? Но тогда почему летали все безделушки? Один из моих алембиков стукнул меня по голове, гипсовый Бафомет — подарок моего бедного отца — дэ... свалился на пол, почему на стене появились красные надписи — всякая чушь и грязь, которую я не смею повторить? Вы же знаете, что не более года назад покойный господин Гро обвинил этого аббата в том, что он делает припарки, простите, из фекалий, а аббат приговорил его к смерти, и спустя две недели, дэ... бедняга господин Гро умер при таинственных обстоятельствах. А то, что этот Бутру имеет дело с ядовитыми веществами, так это установил даже почетный суд, созданный лионскими мартинистами...

— Основываясь на клевете... — вставил Браманти. — Будет вам, знаете! Дела такого сорта всегда строятся на косвенных уликах...

— Пусть так, но суд почему-то умолчал о том, что господин Гро был алкоголиком и имел последнюю стадию цирроза.

— Да не прикидывайтесь вы ребенком! Колдовство действует естественным путем, и, если кто-то болен циррозом, его бьют по больному органу, — это азбука черной магии...

— Так, значит, если кто помирает от цирроза, так это дело рук добропорядочного Бутру? Не смешите меня!

— Вот как! Тогда расскажите же, что происходило в Лионе в эти две недели! Заброшенная капелла, гостия с тетраграмматомом, и там ваш дорогой друг аббат Бугру, на нем красная роба, у него опрокинутый крест, и там же мадам Олкотт, она его персональная медиум, чтоб не сказать вам хуже, и у ней возникает трезубец на лбу, и пустые бокалы наполняются кровью, и аббат плюет адептам в рот. Все это справедливо, не так ли?

— Вы слишком начитались Гюисманса, дорогуша! — заржал Браманти. — Это было культурное мероприятие, историческая реконструкция, как те что организуют в школе Уикка и в друидических коллежах!

— О да! Венесьянский карнавал!

Дальше послышался какой-то грохот, как будто Браманти кинулся крушить противника, а Алье его оттаскивал.

— Вы это видите, вы это видите, — пронзительно вопил француз, — но будьте внимательны, Браманти, спросите вашего дорогого Бутру, что ему произошло! Вы этого еще не знаете, но он в госпитале, спросите, кто ему разбил физиономию! Я не практикую такое ваше вредительство, но я немножко о нем понимаю тоже, и когда я видел, что в моем апартаменте дьяволетты, я сделал на паркете круг для протекции, а так как я в это не верю, но ваши дьяволетты да, я взял кармелитанский капюшон, и я сделал ему реприманд, обратную порчу, о да. У вашего аббата произошел неприятный момент!

— Вот, вот! — неистовствовал Браманти. — Видите теперь, что колдую не я, а он?

— Господа, ныне довольно. — Голос Алье прозвучал вежливо, но твердо. — Будьте добры выслушать меня. Вы знаете, до чего высоко я ценю, в познавательном плане, подобные обращения к устаревшим ритуалам. Я уважительно отношусь к люциферианской церкви и к религии Сатаны независимо от демонологических частных. Как вы знаете, я настроен несколько скептически в этом отношении, но в конце концов все мы принадлежим к одному и тому же духовному рыцарству, что в свою очередь требует от нас минимальной солидарности. И кроме того, господа, можно ли припутывать Князя Тьмы к мелким персональным дрызгам! Что за мальчишество! Бросьте, все это рассказы оккультистов. Вы ведете себя как обыкновенные франкмасоны. Бутру отстал от нас, будем откровенны, и хорошо бы

вы, милый Браманти, посоветовали Бутру перепродать какому-нибудь старьевщику всю его бутафорию, она подойдет для постановки оперы Гуно...

— А, а, ловко сказано, — подхихикивал француз, — антураж как в оперетт...

— Не будем придавать значения мелочам. Состоялась дискуссия по вопросам, которые принято называть литургическими формальностями, и запольхали страсти... Не будем же материализовать духов! Поймите только, друг мой Пьер, что мы ни в малой степени не ставим под сомнение возможность потусторонних явлений в вашем доме, это одна из самых естественных в мире вещей, но при минимальном здравом смысле многое можно объяснить полтергейстами.

— Ну, это не исключено, — отозвался Браманти, — так как астральная конъюнктура в настоящий период...

— Ну вот именно! Теперь пожмите друг другу руки, обнимитесь по-братски!

Зашелестели взаимные извинения.

— Да вы и сами знаете, — говорил Браманти, — что иногда чтобы связаться с теми, кто действительно ищет посвящения, необходимо прибегать к фольклору. Даже торгаши из «Великого Востока», которые ни во что не верят, прибегают к определенному ритуалу.

— О да, натурально, ритуал...

— И будем помнить, что сейчас не времена Кроули, ладно? — подвел итог Алье. — Простите, я должен вас покинуть, у меня гости.

Мы спешно возвратились на диван и встретили Алье в непринужденных и свободных позах.

Итак, высочайшее наше усилие было в том, чтоб найти порядок для этих семи мер, надежный, достаточный, достойный, и который держал бы постоянно чувства пробужденными и память потрясенной... Подобная высочайшая и несравненная расстановка не только имеет целью сохранить для нас доверенные вещи, слова и умения... но она еще сообщает истинное познание....

*Юлий Камилл Дельминий, Идея театра.
Вступление*

*/Giulio Camillo Delminio, L'idea del Theatre,
Firenze, Torrentino, 1550, Introduzione/*

Через несколько минут к нам вышел Алье.

— Прошу извинить меня, дорогие друзья. У меня был неприятный разговор, и это еще мягко сказано. Наш друг Казобон знает, что я отношу себя к почитателям истории религии, и потому люди нередко прибегают к моим познаниям, может быть, даже, скорее, к моему здравому смыслу, чем к учености. Любопытно, господа, но иногда среди адептов изучения премудрости можно увидеть чрезвычайно странные личности... Я не говорю о вечных искателях трансцендентальных утешений или о меланхоликах, но ведь встречаются и глубоко знающие люди, с тончайшим интеллектом, которые отдаются ночным химерам и теряют чувство грани между традиционной истиной и архипелагом удивительного. Собеседники, с которыми я только что расстался, вели дискуссию, опираясь на детские догадки. Увы, такое случается, как говорят, в лучших семьях. Но, прошу вас, пройдемте в мой маленький рабочий кабинет — для беседы атмосфера там более благоприятная. Он приподнял кожаную портьеру и пропустил нас в соседнюю комнату. Нам вряд ли пришло бы в голову называть ее маленьким кабинетом — столь просторно было это

помещение, обставленное изысканными старинными шкафами, которые были заполнены красиво переплетенными книгами наверняка почтенного возраста. Но больше, чем книги, меня поразили застекленные стеллажи со странными предметами, похожими на камни, и зверьками, причем нельзя было понять, были это чучела, мумии или же хорошо выполненные фигурки. И все это словно было погружено в неясный сумеречный свет. Он исходил, казалось, из большого двустворчатого окна в глубине комнаты, из витражей со свинцовыми ромбовидными переплетами, пропускавших сквозь себя лучи цвета янтаря, однако свет из окна смешивался со светом лампы, стоявшей на усеянном картами столе красного дерева. Была это одна из тех ламп, которые встречаются иногда в старых читальных залах. С куполообразным зеленым абажуром, она отбрасывала овал белого света на стол, тогда как остальное пространство зала оставалось в опаловой полутьме. Вся эта игра одинаково неестественных лучей света все же в какой-то мере оживляла, а не приглушала многоцветность потолка.

В кабинете Алье потолок был выгнут сводом, который по прихоти хитроумного декоратора как бы опирался на четыре красно-коричневые колонны с позолоченными капителями, но к этому визуальному эффекту прибавлялись многочисленные обманы, trompe-l'œil в росписи; покрывавшей потолок, провисавший, как шатер, под их тяжестью, благодаря чему вся зала преисполнялась мрачного величия и напоминала гробовую капеллу, в которой неощутимая кощунственность сочеталась с чувственной меланхолией. — Вот мой театрик, — сказал Алье, — в духе фантазий Возрождения, в те времена был развит вкус к наглядным энциклопедиям, рисованным пересказам мира. Более даже чем обиталище, это машина воспоминаний. Нет ни одного изображения из наблюдаемых тут вами, которое бы, должным образом сопоставленное с другими, не открывало бы и не объясняло бы какой-либо из мировых загадок. Процессия фигур, которую вы видите над собою, воспроизводит фреску Мантуанского герцогского дворца, и на ней запечатлены тридцать шесть деканов, властелинов мира. Я же из чувства верности, из уважения к традиции, найдя тут эту изумительную панораму мира, унаследованную мною неведомо от кого, решил расположить в витринах вдоль стен и несколько скромных реликвий, соотносящихся с картинами потолка и связанных с

четырьмя основными стихиями универсума: воздухам, водой, землей, огнем; к огню относится эта прелестная саламандра, шедевр одного моего друга-мумификатора. Обратите внимание, в частности, на очаровательную миниатюрную модель эолипилы Герона, увы, довольно позднего производства. Содержащийся в сфере воздух, когда поджигают спирт в этой миниатюрной горелке, которая находится под сферой и обнимает ее, как раковина, нагревается, выходит из боковых клювиков, и сфера начинает вращаться. Магический инструмент, который использовали еще египетские жрецы в их святилищах, как явствует из многих знаменитых описаний. Они использовали подобные устройства для симуляции чудес, и толпы поклонялись чуду. Но истинное чудо состояло в знании золотой пропорции, на коей основывается секретная, хоть и несложная механика, пропорция слияния стихий — воздуха и огня. Вот истинное знание, свойственное предшественникам нашим, известное ученым-алхимикам и скрытое от строителей циклотронов. Мне же стоит обратить взоры к моему театрику памяти, который — дитя многих иных более обширных театров, очаровывавших великие умы прошлого, — и я знаю. Знаю больше так называемых знатоков. Знаю, что внизу, то же и наверху. А больше знать нечего.

Он угостил нас кубинскими сигарами странной формы, гнутыми, наморщенными, толстыми и жирными. Мы отреагировали восторженно, Диоталлеви отошел к стеллажам.

— О, моя минимум-библиотека, — сказал Алье. — Как видите, в ней не более двух сотен томов, в моем родовом имении собрание более обширное. Но рискну утверждать, что все они отличаются редкостью и ценностью, и расставлены, конечно же, не в случайном порядке, последовательность трактуемых предметов — та же, которая объединяет как фрески в этом зале, так и экспонаты коллекции.

Диоталлеви робко дотронулся до корешков.

— Пожалуйста, прошу вас, — ободряюще улыбнулся Алье. — Это «Эдип Египетский» Афанасия Кирхера. Как вам известно, он первый после Горуполлона пытался интерпретировать иероглифы. Обворожительный человек, мечталось бы мне, чтоб моя кунсткамера хоть отдаленно походила на собранную им коллекцию чудес, которая ныне считается утерянной, потому что те, кто не умеют искать, те не находят... Изысканнейший из собеседников. Каким гордым он

выглядел в день, когда обнаружил, что этот иероглиф означает «чудеса божественного Озириса вызываются сакральными церемониями и вереницей гениев». Потом пришел прощельга Шамполион, отвратительный тип, поверьте, движимый инфантильным тщеславием, и настойчиво утверждал, что этот рисунок означает имя фараона — и больше ничего. С какой изобретательностью Новое время старается опоганить сакральные символы! Книга это, впрочем, не очень дорогая, ее цена ниже цены «Мерседеса». Поглядите лучше вот на эту, перед вами первое издание 1595 года «Амфитеатра вечного познания» Хунрата. Считается, что в мире сохранилось два экземпляра. Перед вами третий. А это — первая публикация «Священной теллурической теории» Бернета. Вечерами, когда я рассматриваю иллюстрации в этой книге, меня охватывает мистическая клаустрофобия. Глуби нашего глобуса... Неожиданно, не правда ли? Вижу, что доктор Диоталлеви очарован еврейскими надписями в «Трактате о шифрах» Виженера. Тогда взгляните: первое издание «Каббалы без одежд» Кнорра Христиана фон Розенрота. Господа, полагаю, помнят, что эта книга впоследствии была переведена на английский, неполно и неточно, в самом начале нашего века этим ничтожным МакГреггором Матерсом... Разумеется, господам кое-что известно о некоей скандальной секте, пользовавшейся немалым успехом у британских эстетов, о «Золотой заре». Эта банда фальсификаторов масонских бумаг не могла оставить по себе здоровое наследство, и действительно ее преемники дегенеративны, будь то «Утренняя звезда» или сатанинские церкви Алейстера Кроули, который заклинал демонов с единственной целью добиться благоволения некоторых господ, подверженных «английскому пороку», *vice anglais*... Знали бы вы, дорогие мои друзья, как много людей, мягко выражаясь, сомнительных приходится встречать тому, кто посвящает себя подобным штудиям. Вы тоже почувствуете это, когда начнете публиковать связанные с этим материалы.

Бельбо воспользовался последней фразой, чтобы перевести разговор. «Гарамон» собирается, сказал он, выпускать несколько книжек в год на эзотерические темы.

- Ах, эзотерические... — улыбнулся Алье, а Бельбо покраснел.
- Ну, так сказать... герметические?
- Ах, герметические... — продолжал улыбаться Алье.

— Ну, хорошо, — сказал Бельбо. Я употребляю неправильные слова, но вы, конечно, поняли, какого типа книги.

— Ах, — с новой улыбкой отвечал Алье, — не существует типа. Существует знание. Вот что вы собираетесь сделать: открыть издательское пространство подлинному, не извращенному знанию. Для вас, вероятно, это только одно из рабочих направлений, но если мне суждено прикоснуться к этому, для меня это станет походом за истиной, поиском Грааля, *queste du Graal*.

Бельбо заговорил о том, что подобно тому как заброшенные рыболовом сети вытаскивают на берег пустые раковины и пластиковые мешки, в «Гарамон» безусловно поступят предложения сомнительной серьезности, и издательство ищет серьезного рецензента, который сможет отличить овец от козлиц, сигнализируя, в частности, обо всем, что среди брака не лишено интереса, ибо имеется дружественное издательство, которое было бы вполне в состоянии приютить у себя сочинения не столь высокого уровня... Разумеется, затраченные усилия будут надлежащим образом компенсированы.

— Я, благодарение небу, отношусь к так называемым состоятельным людям. Более того: к состоятельным, любознательным и довольно умеренным. Мне достаточно, если в результате долгих бдений раз от разу удастся найти экземпляр книги Хунрата или еще одну такую милейшую набальзамированную саламандру, или же зуб нарвала, который лично я постеснялся бы держать в коллекции, но который даже в Венской сокровищнице выставлен с табличкой «рог единорога». Мне удастся заработать на быстрой и нетрудной перепродаже больше, чем вы бы могли заплатить мне за десять лет консультирования. Я согласен просматривать ваши рукописи запросто. Я убежден, что даже в самом жалком сочинении мне попадется зерно, если не истины, то хотя бы занимательной неправды, а крайности очень часто перекликаются. Мне наскучат только самые очевидные банальности, и эта моя скука должна быть вами вознаграждена. В зависимости от испытанной мною скуки, в конце года я предоставлю вам краткий счет, в пределах оплаты чисто символической. Если же вам она покажется высокой, вы пошлете мне вместо этого ящик коллекционных вин.

Бельбо был изумлен. Он привык иметь дело со склочными и изголодавшимися консультантами. Он открыл портфель и вытащил

объемистую рукопись.

— Боюсь, что ваши представления чересчур оптимистичны. Видите, к примеру, вот это? Остальные такие же.

Алье взял в руки рукопись.

— Тайный язык пирамид... Посмотрим оглавление... Пирамидион... так. Смерть лорда Карнавана... Свидетельство Геродота. — И вернул рукопись Бельбо. — Вы сами ее читали?

— Я кратко ознакомился на днях, — сказал Бельбо.

— Тогда вы сможете проверить, правилен ли мой пересказ. — И Алье уселся за столом, погрузил руку в карман жилета, вынул оттуда табакерку, виденную мною в Бразилии, повертел ее тонкими длинными пальцами, которые до тех пор все гладили переплеты старинных книг, возвел глаза к потолочной росписи, и, как мне показалось, задекламировал текст, выученный наизусть.

— Сочинитель этой книги, наверное, вспоминает, что Пьяцци Смит открыл сакральные и эзотерические меры пирамид в 1864 году. Позвольте мне называть цифры без дробей, потому что в моем возрасте, увы, память начинает играть скверные шутки... Примечательно, что в основании пирамид заложен квадрат, сторона которого составляет 232 метра. При завершении строительства высота составляла 148 метров. Если вы переведете эти величины в египетские священные локти, получите длину основания в 366 локтей, что соответствует количеству дней в високосном году. По Пьяцци Смицу, высота пирамиды, помноженная на десять в девятой степени, равняется расстоянию от Земли до Солнца: 148 миллионов километров. Приближение неплохое, учитывая время, когда рождалась эта теория, поскольку в современной науке это расстояние принимается за 149 с половиной миллионов километров, к тому же не доказано, насколько точно нынешнее измерение. Ширина основания, разделенная на ширину одного из камней, составляет 365. Периметр основания равен 931 метрам. Разделите на удвоенную высоту пирамиды, и вы получите 3,14 — число π . Прелестно, не правда ли?

Бельбо улыбался, ошарашенный.

— Невероятно! Как же вам удалось...

— Не перебивай доктора Алье, Якопо, — взволнованно сказал Диоталлеви. Алье поблагодарил его вежливой улыбкой. Говоря, он перебежал взором по рисунку потолка, и движение его глаз не казалось

ни бездельным, ни случайным. Нет, его глаза как будто обращались кверху за подсказкой, как будто в сочетании рисунков содержалось то, что он пытался выдать за добытое из глубин своей памяти.

Таким образом, от вершины до низа основания, меры Великой Пирамиды в египетских дюймах составляют 161 000 000 000. Сколько человеческих душ жило на земле от Адама до сегодняшнего дня? Приблизительный подсчет сообщает нам результат: от 153 000 000 000 до 171 000 000 000

Пьяцци Смит, Наше наследие в Великой Пирамиде

/Plazzi Smyth, Our inheritance in the Great Pyramid, London, Isbister. 1880, p. 583/

— Воображаю, что ваш сочинитель начинает с того, что высота пирамиды Хеопса равняется квадратному корню из цифры площади каждой из сторон. Естественно, все меры снимаются в футах, более приближенных к египетскому и древнееврейскому локтю, а не в метрах, потому что метр есть абстрактная величина, изобретенная в современную эпоху. Древнеегипетский локоть составляет 1,728 фута. При отсутствии точных измерений, мы можем обратиться к пирамидиону, таково название маленькой пирамиды, расположенной на вершине большой, образывавшей ее верхушку. Пирамидион выполнялся либо из золота, либо из какого-то другого металла, блестящего на солнце. Так вот, снявши высоту пирамидиона, надо ее умножить на высоту всей пирамиды, умножить результат на десять в пятой степени, и у нас выйдет длина окружности экватора. Более того, измерив периметр основания, умножив его на двадцать четыре в третьей степени и разделив на два, получаем средний радиус земли. Мало этого: площадь основания пирамиды, умноженная на девяносто шесть на десять в восьмой степени, дает сто девяносто шесть миллионов восемьсот десять тысяч квадратных миль, то есть поверхность земного шара. Так он пишет?

Любимое выражение Бельбо в случаях, когда он изумлялся, было заимствовано им из старого американского фильма «Янки Дудль

Денди» с Джеймсом Кэгни, который он видел в синематеке, посещая курс фильмов на языке оригинала: «I am flabbergasted!» Это он выпалил и тут. Алье, надо думать, хорошо знал разговорный английский, потому что на лице его отразилось нескрываемое удовольствие. Он и не стеснялся своего тщеславного удовольствия.

— Дорогие друзья, — сказал он. — Когда господин, имя которого мне неизвестно, берется стряпать очередную компиляцию по вопросу о тайне пирамид, он способен сказать лишь то, что в наше время известно каждому младенцу. Я удивился бы, если бы у него прозвучала хотя бы какая-нибудь новая мысль.

— Значит, — переспросил Бельбо, — этот господин излагает уже устоявшиеся истины?

— Истины? — усмехнулся Алье, снова открывая коробку своих корявых, очаровательных сигар. — Quid est veritas, ^[86] хотел знать один мой старый знакомец. С одной стороны, перед нами гора разнообразных бессмыслиц. Начать с того, что если разделить точную площадь основания на удвоенную точную высоту, не пренебрегая и десятыми долями, результат получится 3,1417254, а вовсе не число π . Разница небольшая, но она есть. Кроме того, ученик Пьяцци Смита, Флайндерс Петри, измерявший и Стоунхендж, говорит, что однажды он застукал маэстро за спиливанием гранитных выступов в царской приемной: у того никак не сходились подсчеты. Наверное, это сплетни, однако такой человек, как Пьяцци Смит, в принципе не производил доверительного впечатления, достаточно было видеть, как он завязывал галстук. С другой стороны, среди всех этих нелепиц содержатся неопровержимые истины. Господа, неудобно ли подойти вместе со мною к окну?

Театральным жестом он распахнул ставни, предложил нам выглянуть и указал невдалеке, на углу между улочкой и бульварами, деревянный цветочный киоск.

— Господа, — сказал он. — Предлагаю вам самим отправиться и измерить эту будку. Вы увидите, что длина прилавка составляет 149 сантиметров, то есть одну стоимиллиардную долю расстояния между Землей и Солнцем. Высота его задней стенки, разделенная на ширину окошка, дает нам $176/56$, то есть 3,14. Высота фасада составляет девятнадцать дециметров, то есть равна количеству лет древнегреческого лунного цикла. Сумма высот двух передних ребер и

двух задних ребер подсчитывается так: $190 \times 2 + 176 \times 2 = 732$, это дата победы при Пуатье.^[87] Толщина прилавка составляет 3,10 сантиметров, а ширина наличника окна — 8,8 сантиметров. Заменяя целые числа соответствующими литерами алфавита, мы получим C10H8, то есть формулу нафталина.

— Фантастика, — сказал я. — Сами мерили?

— Нет, — ответил Алье. — Но один подобный киоск был измерен неким Жан-Пьером Аданом. Воображаю, что все цветочные киоски должны строиться более или менее одинаково. С цифрами вообще можно делать что угодно. Если у меня имеется священное число 9, а я хотел бы получить 1314, то есть год сожжения Жака де Молэ — этот день дорог сердцу каждого, кто, подобно мне, составляет часть тамплиерской рыцарственной традиции, — что я делаю? Умножаю на 146 (это роковой год разрушения Карфагена). Как я пришел к этому результату? Я делил 1314 на два, на три и так далее, до тех пор покуда не отыскал подходящую дату. Я бы мог поделить 1314 и на 6,28, что составляет собой удвоение 3,14, и пришел бы к цифре 209. Ну что ж, в этот год примкнул к антимакедонской коалиции Аттал I, царь Пергама. Годится?

— Значит, вы не верите ни в какую нумерологию, — разочарованно сказал Диоталлеви.

— Я? Я твердо верю, верю в то, что мир — это восхитительная переключка нумерологических соотношений и что прочтение числа, купно с его символической интерпретацией, — таков привилегированный путь познания. Но если весь мир, как низменный так и верховный, являет собой систему соотношений, где переключается все, *tout se tient*, вполне естественно, что и киоск и пирамида, оба представляющие собой плоды рук человека, подсознательно отображают в своем устройстве гармонию космоса. Эти так называемые пирамидологи открывают невероятно затрудненными методами линейную истину, гораздо более старую и уже известную. Логика их поиска, логика открытия — извращенная логика, потому что она основана на науке. Логика знания, напротив, не нуждается в открытиях, потому что знание просто знает, и все. Зачем доказывать то, что иначе быть бы не могло? Если секрет имеется, он гораздо глубже. Эти ваши авторы просто не идут глубже поверхности.

Воображаю, что господин, написавший этот труд, перепевает и все бредни о египтянах, якобы владевших электричеством...

— Не стану спрашивать, как вам удалось угадать.

— Вот видите? Эти люди довольствуются электричеством, как первый попавшийся инженер Маркони. Гораздо меньшим ребячеством звучало бы рассуждение о радиоактивности. Это была бы забавная конъектура, которая, в отличие от гипотезы об электричестве, способна была бы объяснить пресловутое проклятие Тутанхамона... Как им удалось поднять глыбы на пирамиды? Валуны ворочали с помощью электроразрядов? Использовали энергию атомного ядра? Египтяне открыли способ избавляться от земного притяжения, они овладели тайной парения. Новая форма энергии! Известно ли вам, что халдейскими мудрецами приводились в движение священные механизмы при помощи одного лишь звука, и что священнослужители Карнака и Фив якобы умели распахивать двери храма одним лишь своим голосом — о чем ином свидетельствует, на ваш взгляд, легенда «Сезам, откройся»?

— И что дальше? — спросил Бельбо.

— Вот то-то же, друг мой. Электричество, радиоактивность, атомная энергия, как известно настоящим посвященным, это только метафоры, поверхностный камуфляж, условные обозначения, в крайнем случае — жалкие заместители некоей более древней силы, пребывающей в забвении, которую посвященные ищут и, когда придет время, обрящут. Нам следует интересоваться, вероятно, — он помедлил, колеблясь, — теллурическими течениями.

— Чем? — спросил не помню кто из нас троих.

Алье был явно разочарован:

— Ну вот, а я надеялся, что среди ваших кандидатов хоть один мог бы сообщить мне что-то любопытное по этому поводу... Оказывается, уже довольно поздно. Ну-с, судари, договоренность достигнута, все остальное прошу простить как стариковское многоглаголение.

Когда мы пожимали руки, вошел слуга и прошептал что-то хозяину.

— А, любезная приятельница, — сказал Алье. — Я и забыл. Попросите ее подождать минуту... Нет, не в гостиной, в турецком кабинете.

Любезная приятельница, должно быть, была своим человеком в доме, потому что тем временем она уже входила в кабинет и даже не взглянув на нас, в полутьме сморкающегося дня, уверенно подошла к Алье, игриво погладила его по лицу и сказала:

— Симон, ты что, заставишь меня сидеть в приемной? Это была Лоренца Пеллегрини.

Алье легонько отодвинулся, поцеловал ей руку и сказал, указывая на нас: — Любезная моя, милая София, как вы знаете, вы дома в любом доме, который озаряете присутствием. Я просто прощался с посетителями.

Лоренца обратила внимание на нас и радостно взмахнула рукой — да я и не помню, видел ли я хоть раз ее удивленной или смущенной чем бы то ни было.

— А, как чудесно, — сказала она. — Вы тоже знаете моего друга! Якопо, как дела. Последняя фраза имела не вопросительную, а утвердительную форму. Я заметил, как побледнел Бельбо. Мы попрощались, Алье напоследок сказал, что крайне рад найти с нами общих знакомых.

— Я считаю нашу общую приятельницу одним из наиболее подлинных созданий из всех, кого мне выпало знать. В своей свежести она воплощает, позвольте сравнение, присталое старику ученому, Софию, сосланную на нашу землю. Но милая моя София, я не успел еще известить вас, что обещанный вечер откладывается на несколько недель. Я огорчен.

— Неважно, — сказала Лоренца. — Я подожду. Вы идете в бар? — Это обращение к нашей троице тоже походило скорее на приказание, чем на вопрос. — Хорошо, я задержусь здесь на полчаса, я хочу взять у Симона один из его эликсиров, вам тоже бы неплохо их попробовать, но Симон говорит, что это только для избранных. Потом я тоже приду.

Алье улыбнулся тоном снисходительного дядюшки, откланялся нам, попросил проводить к выходу.

Выйдя на улицу, мы в полном молчании направились к моей машине, влезли в нее и доехали до «Пилада». Бельбо был нем. Но у стойки бара заговорить стало просто необходимо.

— Не хотел бы я завести вас в лапы безумцу, — сказал я.

— Нет, — ответил Бельбо.

— Он человек умный и остроумный. Только живет не в том мире, что мы с вами. — И мрачно добавил немного погоды: — Почти.

*Traditio Templi сама устанавливает традицию
тамплиеровского рыцарства — духовного и
посвятительского...*

*Henry Corbin. Temple et contemplation,
Paris, Flammarion, 1980*

— Мне кажется, Казобон, я понял вашего Алье, — заметил Диоталлеви, который заказал себе у Пилада бокал белого игристого, чем поверг нас обоих в состояние тревоги относительно его психического состояния — Он интересуется тайными науками и остерегается попугаев и дилетантов. Но, как мы сегодня убедились, нагло приставив ухо, — даже презирая, он их выслушивает, критикует, вовсе не отрекаясь от них.

— Сегодня этот господин, этот граф, этот маркграф Алье, или как его там еще, произнес одну ключевую фразу, — сказал Бельбо — Духовное рыцарство. Он их презирает, но чувствует себя связанным с ними узами духовного рыцарства. Думаю, что понимаю.

— В каком смысле? — спросили мы. Бельбо пил уже третий martini с джином (виски надо пить вечером, утверждал он, потому что это успокаивает и навеивает задумчивость, а martini с джином — в конце дня — возбуждает и подкрепляет). Он заговорил о своем детстве, прошедшем в ***, как он уже однажды рассказывал мне.

— Это было между сорок третьим и сорок пятым, в период перехода от фашизма к демократии и потом снова к диктатуре Муссолини в Сало, когда к тому же в горах воевали партизаны. Когда началась эта история, мне было одиннадцать лет и я обитал тогда у моего дядюшки Карло. Раньше мы жили в городе, но в сорок третьем бомбежки усилились, и мама решила, что мы должны эвакуироваться, как тогда говорили. В *** жили дядя Карло и тетя Катерина. Дядюшка мой был потомственный земледелец, и дом в *** ему достался в наследство вместе с землей, которую он сдал в аренду некоему Аделино Канепе. Тот обрабатывал землю, собирал урожай, давил вино и отдавал половину заработанного владельцу. Разумеется, ситуация

способствовала напряженности: арендатор считал, что его эксплуатируют, а хозяин возмущался тем, что получает всего половину дохода со своей земли, Собственники ненавидели арендаторов, а арендаторы — собственников. Но они сосуществовали, как это было и с дядюшкой Карло. В четырнадцатом году он записался добровольцем в альпийские стрелки. Грубая пьемонтская натура, преданность долгу и отчизне, начала он получил чин лейтенанта, а потом и капитана. Короче говоря, в одной из битв на Карсо он оказался рядом с каким-то болваном, который допустил, чтобы в его руках взорвалась граната — не зря же их называют ручными. В общем, дядюшку уже собирались сбросить в братскую могилу, когда один из санитаров заметил, что он еще дышит. Дядю перевезли в госпиталь, где ему вынули глаз, который свисал из глазницы, отняли руку и — по словам тети Катерины — запихнули под кожу на голове металлическую пластину, потому что он лишился куска черепа. В общем, с одной стороны — шедевр хирургии, с другой — герой. Серебряная медаль, крест кавалера Итальянской Короны, а после войны — теплое местечко в государственной администрации. По окончании службы дядя Карло занял кресло директора налоговой инспекции в *** и поселился в фамильной усадьбе, недалеко от Аделино Канепа и его семьи.

Пост директора налоговой службы приобщил дядюшку к местной знати. А поскольку он был инвалидом войны и кавалером Итальянской Короны, то не мог не симпатизировать правительству, которое, по воле судьбы, в ту пору было правительством фашистской диктатуры. Но был ли дядюшка Карло фашистом? Только в той мере, как говорили в шестьдесят восьмом, в какой фашизм заботился о ветеранах, раздавал им награды и служебные должности; можно сказать, что дядя Карло был умеренным фашистом. Однако он был достаточным фашистом, чтобы его ненавидел Аделино Канепа, который по вполне понятным причинам был антифашистом. Ему приходилось ходить каждый год в контору, оформлять декларацию о доходах. Он входил в кабинет с уверенным видом, предварительно очаровав тетю Катерину, преподнеся ей в подарок несколько дюжин яиц. И вот он представал перед дядей Карло, который был не только неподкупен, как и подобает герою войны, но и знал лучше кого бы то ни было, сколько Канепа у него украл за год, и не прощал ему ни сантима. Аделино Канепа считал себя жертвой фашизма и стал распространять лживые

рассказни о дяде Карло. Жили они в одном доме: дядя на этаже для знатных людей, а Канепа — на первом. Встречались утром и вечером, но здороваться перестали. Связь поддерживала тетя Катерина, а после нашего приезда — моя мама, которой Аделино Канепа выражал большое сочувствие и понимание в связи с тем, что она приходилась свояченицей чудовищу. Дядя возвращался домой каждый вечер в шесть часов, в неизменном сером двубортном костюме, мягкой шляпе и с неп прочитанным номером «Стампы». Он шел, выпрямившись, как альпийский стрелок, устремив стальной взгляд на вершину, которую предстояло покорить. Он проходил мимо Аделино Канепы, который в это время любил сидеть на скамейке в саду и делать вид, словно не замечает дядю. Затем он подходил к дверям первого этажа и церемонно снимал шляпу перед мадам Канепа. И так каждый вечер, из года в год.

Было уже восемь часов, а Лоренца все не появлялась. Бельбо пил уже пятый martini с джином.

— Наступил 1943-й год. Однажды утром дядя Карло вошел к нам, разбудил меня громким поцелуем и сказал: «Мальчик мой, хочешь знать самую важную новость года? Они скинули Муссолини». Я никогда не мог понять, переживал ли дядя Карло по этому поводу. Он был очень честным гражданином, слугой государства. Если даже он и переживал, то не говорил об этом и продолжал собирать налоги, но уже для правительства Бадольо. Потом наступило восьмое сентября, зона, в которой мы жили, попала под контроль общественной республики, и дядя Карло снова приспособился: собирал налоги для общественной республики. В эту пору Аделино хвастал своими связями с первыми отрядами партизан, появившимися в горах, и грозил всем показательным отмщением. Мы, мальчишки, тогда не знали еще, кто такие партизаны. О них рассказывали массу историй, но никто их не видел. Говорили о вожаке монархистов — сторонников Бадольо, некоем Терци (это, конечно, была кличка, как часто практиковалось тогда, и поговаривали, что он заимствовал ее у друга Дика Фульмине из комиксов) — бывшем старшине карабинеров, который потерял ногу в первых боях с фашистами и эсэсовцами и командовал всеми бригадами в горах вокруг ***. И вот что произошло. Однажды в городке появились партизаны. Они спустились с гор и бродили по улицам, одетые кто во что горазд, с синими платками на

шее, стреляя в воздух из автоматов, чтобы объявить о своем приходе. Новость эта быстро распространилась по городку, все заперлись в своих домах, потому что не знали, что это за люди. Тетя Катерина встревожилась: похоже на то, что Аделино Канепа их друг или по крайней мере он так говорил, так вот, не причинят ли они зла дяде? Причинили. Нам рассказали, что около одиннадцати часов группа партизан с автоматами наперевес вошла в контору налоговой инспекции, арестовала дядю и увела его в неизвестном направлении. Тетя Катерина упала на кровать, изо рта ее появилась белая пена, она была уверена, что дядю Карло убьют. Достаточно одного удара прикладом по пластине на черепе — и он умрет на месте. На крики тети явился Аделино Канепа с женой и детьми. Тетка крикнула ему в лицо, что он — Иуда, выдавший дядю партизанам за то, что тот собирал налоги для общественной республики. Аделино Канепа клялся всем, что есть у него самого святого, что это неправда, но было видно, что он чувствует себя виноватым, поскольку путался в том, что говорил, и тетя его выставила. Аделино Канепа плакал, взывал к моей матери, припомнил всех кроликов и курей, которых продавал по бросовой цене, но мама замкнулась в полном достоинства молчании, а тетя Катерина все еще исходила белой пеной. Я плакал. Наконец, после двухчасовой пытки, мы услышали крики и увидели дядю Карло, едущего на велосипеде, которым он управлял одной рукой, он выглядел так, словно возвращался с прогулки. Заметив суматоху в саду, имел наглость спросить, что происходит. Он ненавидел драмы, как и все жители наших мест. Он поднялся наверх, подошел к скорбному ложу тети Катерины, которая все еще сучила исхудавшими ногами, и поинтересовался, чего это она так дергается. — А что же, все-таки, произошло? — А произошло то, что, вероятно, до партизан Терци дошла болтовня Аделино Канепы и они решили, что дядя Карло местный представитель режима, и арестовали его, чтобы преподать урок всему городку. Дядю Карло увезли на грузовике, и он предстал перед Терци, который стоял в сиянии боевых наград с автоматом в правой руке, опираясь левой на костыль. И вот дядя Карло — причем я не думаю, что это была уловка, скорее, все произошло инстинктивно, по привычке к какому-то доблестному ритуалу — щелкнул каблуками, вытянулся по стойке «смирно» и представился как майор альпийских стрелков Карло Ковассо, контуженный, инвалид войны, кавалер

серебряной медали. И Терци тоже щелкнул каблуками, тоже стал по стойке «смирно» и представился как старшина королевских карабинеров Ребауденго, командир бадольевской бригады имени Беттино Риказоли, кавалер бронзовой медали. «За что?» — спросил дядя Карло. И взволнованный Терци ответил: «Пордои, господин майор, высота 327». «Черт подери, — воскликнул дядя Карло, — я находился на высоте 328, в третьем полку. Сассо ди Стриа!» «Битва солнцестояния?» «Да, битва солнцестояния» «А помните обстрел Чинкве Дита?» «Чертова задница, помню ли я?!» «А штыковую атаку накануне дня святого Крепена?» «Да Бог ты мой!» В общем, пошли вещи такого рода. А потом безрукий и безногий шагнули навстречу друг другу и обнялись. Терци сказал: «Видите ли, кавалер, видите ли, господин майор, нам донесли, что вы собираете налоги для фашистского правительства, прислуживающего оккупантам». «Видите ли, командир, — отвечал ему дядя Карло, — у меня семья, и я получаю зарплату от центрального правительства, а оно — такое, какое есть, я его не выбирал, и что бы вы делали на моем месте?» «Дорогой майор, — согласился с ним Терцина в вашем месте я поступил бы так же, но постарайтесь хотя бы затягивать эти дела, не торопитесь.» «Постараюсь, — пообещал дядя Карло, — я ничего против вас не имею, вы тоже дети Италии и храбрые бойцы.» Я думаю, они поняли друг друга потому, что оба говорили «Родина» с большой буквы. Терци приказал выдать майору велосипед, и дядя Карло вернулся домой. Аделино Канепа не показывался несколько месяцев. Вот уж не знаю, в этом ли именно заключается рыцарство духа, но совершенно точно, что такие узы крепче всяких партий...

Ибо я есмь и первая и я последняя, я чтимая и я хулимая, я блудница и я святая.

Фрагмент Наг Хаммади 6, 2

Вошла Лоренца Пелле грини. Бельбо посмотрел на потолок и заказал последний мартини. Напряжение стало невыносимым, и я начал привставать. Лоренца меня удержала.

— Нет, нет, идемте все вместе, сегодня открывается новая выставка Риккардо, празднуется открытие нового стиля! Это потрясающий стиль, ты ведь видел, Якопо.

Я знал этого Риккардо, он околачивался в «Пиладе», но тогда я еще не мог понять, из-за чего взгляд Бельбо еще больше сгустился на потолке. После этого, прочтя файлы, я понял, что Риккардо — это человек со шрамом, с которым Бельбо не осмеливался затеять порядочную ссору.

Лоренца повторяла: пойдём, пойдём, галерея совсем недалеко от «Пилада», там намечалась настоящая гулянка, вернее даже настоящая оргия. Диоталлеви, потрясенный, сразу выпалил, что опаздывает домой, а я завяз в нерешительности, идти не хотелось, но было очевидно, что Лоренца хочет, чтобы был и я, и это дополнительно нервировало Бельбо, потому что при мне объясняться было невозможно. Но приглашение было так настойчиво, что я потащился за ними.

Мне этот Риккардо нравился довольно мало. В начале шестидесятых он малевал скучноватые картины, состоящие из переплетения черных и серых штришков, очень геометрического типа и с оптическими эффектами, от которых все прыгало в глазах. Произведения назывались «Композиция 15», «Параллакс 117», «Евклид X». В шестьдесят восьмом он выставлялся в домах, захваченных студентами, слегка поменял палитру, полюбил резкие черно-белые контрасты, мазки стали более толстыми и названия изменились в сторону «Ce n'est qu'un debut»,^[88] «Молотов», «Пусть расцветают сто цветов». Когда я вернулся в Милан, оказалось, что он

популярен в кругу, где обожают доктора Вагнера, он изничтожил черный цвет, перешел на белые щиты, где контрастно выделялись лишь разнонаправленные волокна пористой бумаги «Фабриано», и таким образом картины, как он объяснял, приобретали разнообразное настроение в зависимости от падения света. Назывались они «Апология амбивалентного», «Са»,^[89] «Berggasse»,^[90] «Яйность» и так далее.

Тогда вечером, войдя в новую галерею, я увидел, что в творческом методе Риккардо произошел качественный скачок. Экспозиция именовалась «Megale Apophasis» — «Великое Откровение». Риккардо перешел к фигуративности. Палитра его сияла. Живопись превратилась в цитатную, а так как рисовать, по моему подозрению, он не умел, думаю, что он обходился проекциями на холст диапозитивов знаменитых полотен. Ассортимент варьировался от rompiers^[91] конца прошлого века до символистов начала нынешнего. По контурам оригинала Риккардо потом наводил лоск пуантилистской техникой, играя на микроскопических оттенках цвета, и проходил точка за точкой весь цветовой спектр, так чтобы в начале пути было ярчайшее пылающее ядро, а в конце абсолютная чернота, или же наоборот, в зависимости от того мистического космологического концепта, который ему требовалось передать. Там были горы, испускавшие солнечные лучи, распыленные на тысячи кружочков нежнейших раскрасок, виднелись и концентрические небеса с намеком на прекраснокрылых ангелов, что-то очень похожее на дантовский «Рай» Доре. Названия картин — «Беатрикс», «Мистическая роза», «Данте Габриеле 33», «Верные любви», «Атанор», «Гомункулус 666». Вот откуда у Лоренцы взялась идея завести домашнего гомункула, сказал я себе. Самая здоровенная картина подписана была «София», и представляла собой что-то вроде сосульки из черных архангелов, которая на кончике пузырилась и из нее вытекало белое создание, ласкаемое ладонями синюшного цвета, перерисованными с контура, который виднеется в небе «Герники». В смысле вкуса все это выглядело сомнительно, и с близкого расстояния обляпанный холст не радовал глаз, но если отойти на два или три метра, получалось очень даже лирично.

— Я реалист старой формации, — прошипел мне Бельбо в ухо. — Могу понять только Мондриана. Бывает ли содержание в

негеометрической живописи?

— Он раньше делал геометрическую, — сказал я.

— Он делал не живопись, а сортирный кафель.

Тем временем Лоренца поздравляла и целовала Риккардо, а с Бельбо герой дня обменивался кивками на расстоянии. Толпа была изрядная, галерея была отделана под нью-йоркский «лофт», все белое, трубы обогрева и горячей воды выведены наружу под потолок. Бог знает сколько могло стоить денег подобное осквернение приличной квартиры. В одном углу система хай фай глушила окружающих восточными мотивами, что-то с участием ситара, если я правильно понял, такое, в чем не должно быть мелодии. Все безучастно проходили мимо картин к банкетным столам у дальней стены, торопясь расхватать бумажные стаканчики. Мы появились довольно поздно, в воздухе было не продохнуть от дыма, какие-то девки время от времени начинали колыхаться посередине залы, но большинство до сих пор еще болтало между собой и налегало на буфет, действительно вполне порядочный. Я уселся на диване, у подножия которого размещалась огромная чаша с компотом, и собрался начерпать некую толику, потому что не обедал. Однако посередине, на горке нарезанных фруктов, увидел четкий отпечаток ботинка. Пол вокруг весь был заплескан белым вином, и кое-кто из приглашенных с трудом поддерживал равновесие.

Бельбо завладел стаканом и равнодушно слонялся без видимой цели, похлопывая по плечу встречных. Он пытался отыскать Лоренцу.

Но все находилось в движении. Толпа была во власти круговой турбуленции — пчелиный рой в стремлении к неведомому цветку. Я, например, никого не искал, однако тоже поднялся на ноги и пустился в путь, подчиняясь импульсам, исходившим от группы. Вдалеке обрисовалась Лоренца, возгласами восторженного узнавания приветствовавшая знакомых, с поднятой головой, умышленно близоруким взором, прямыми плечами и грудью, со всей неподражаемой жирафьей повадкой.

Потом человеческий поток затиснул меня в угол у банкетного стола, прямо передо мной были Лоренца и Бельбо, спинами ко мне, наконец повстречавшиеся — может быть, случайно — и, как и я, несвободные. Не знаю, понимали ли они, что я от них близко, но в

общем галдеже никто все равно не мог бы расслышать, что говорят другие. Хотя мне было все-таки слышно.

— Ну, — говорил Бельбо. — Откуда взялся этот твой Алье?

— Он с таким же успехом твой. Почему-то тебе можно знать Симона, мне нельзя знать Симона. Логика.

— Какой он тебе Симон? Почему он тебя зовет София?

— Ну, в шутку! Мы познакомились у общих друзей. И по-моему, он очень мил. Он так целует мне руку, как будто я принцесса. И вообще он мог бы быть моим отцом.

— Как бы он тебя не сделал матерью.

Мне казалось, что я слышу собственный голос там, в Баии, когда мы были с Ампаро. Что взять с Лоренцы. Алье умеет целовать ручку молодой даме, непривычной к такому обращению.

— В чем юмор шутки про Симона и Софию? Его зовут Симон или нет?

— Юмор замечательный, можешь быть спокоен. Дело в том, что наш универсум — это результат ошибки, и немножко виновата в этом я. София — это женская половина Бога, и вообще когда-то Бог был больше похож на женщину, чем на мужчину, это вы потом обрастили его бородой и назвали Он. Я была его лучшей половиной. Симон говорит, что потом мне захотелось создать мир не спросясь, без разрешения, мне — это Софии, которая называется еще, подожди, сейчас я вспомню, ага, Эннойя. Дальше, кажется, моя мужская половина не захотела ничего создавать, наверное, струсила, а может быть даже, оказалась импотентом. Я же тогда, вместо того чтобы с ней — с ним — согласиться, захотела создать мир своими силами, ну просто удержу не было, до чего создать хотелось, это от любви, я обожаю универсум, хотя он и бестолковый. Поэтому я душа этого мира. Так говорит Симон.

— Очаровательно. Он всем бабам это говорит?

— Нет, дурачок, только мне. Он понял меня лучше, чем ты, и не стремится переделать меня по своему подобию. Он понимает, что нужно дать мне жить, как я сама хочу. Так поступила и София — бросилась сотворять мир. Однако наткнулась на первичную материю, такую тошнотворную, по-моему, она не пользовалась дезодорантами и, вообще, она сделала это не нарочно, но, похоже, именно она сотворила этого... Дему... как его?

— Уж не Демиурга ли?

— Да, его самого. Не помню, то ли Демиурга сотворила София, то ли он уже был, а она просто подтолкнула его — иди-ка, мол, дурачина, сотвори мир, а потом уж мы с тобой позабавимся. Демиург, наверное, был тупенький и не знал, как сотворить мир таким, чтоб был как надо, и вообще ему не следовало и браться за это дело, так как материя была плохая да и разрешения совать в нее свои лапы у него не было. Короче, он натворил, что мог, и София осталась во всем этом... Пленница мира.

Лоренца много говорила и пила. Многие гости начали легонько покачиваться на середине зала с закрытыми глазами, а Рикардо появлялся перед ней каждые пару минут и что-то наливал ей в стакан. Бельбо пытался помешать ему, говоря, что Лоренца уже выпила лишнее, но Рикардо смеялся, покачивая головой, а она возмущалась, утверждая, что может выпить больше Якопо, потому что моложе.

— Ладно, ладно, — злился Бельбо — Не слушай папашку. Слушай Симона. Что он тебе еще рассказал?

— Что я пленница мира, а точнее, злых ангелов... потому что во всей этой истории ангелы были плохие, они-то и подсобили Демиургу сотворить такой бордель... так вот, говорю я, эти злые ангелы держат меня у себя и не отпускают, а заставляют мучиться. Но время от времени среди людей появляется кто-то, кто меня узнает. Как Симон. Он говорит, что такое с ним уже однажды случилось, тысячу лет назад... потому что, я не сказала тебе, Симон ведь практически бессмертен... если б ты знал, все то, что он видел... — Разумеется, разумеется. А теперь лучше перестать пить. — Тс-с-с... Однажды Симон встретил меня, когда я была блудницей в Тире, в каком-то борделишке, и звали меня Еленой...

— Это он так сказал, да? А ты и довольна. «Позвольте поцеловать вам ручку, красавица-шлюшечка моего засранного мира...» Какое благородство.

— Если и была красавица-шлюха, то это Елена. К тому же в те времена, когда говорили «блудница», то подразумевали женщину свободную, ничем не связанную, интеллектуалку, которая не хотела быть домашней курицей. Ты же сам знаешь, что блудница — это была куртизанка, державшая салон. Сейчас это была бы женщина, занимающаяся связями с общественностью. Назвал бы такую

женщину шлюхой, этакой толстой распутницей из тех, что охотятся на шоферов грузовиков?

В этот момент Рикардо снова оказался рядом с ней и взял ее за локоть.

— Пойдем потанцуем, — предложил он. Они вышли на середину зала, двигаясь с отсутствующим видом, подымая и опуская руки, словно выбивая ритм на барабане. Время от времени Рикардо притягивал ее к себе и властно клал ей руку на затылок, а она следовала за ним, закрыв глаза, с разгоревшимся лицом, откинув голову назад. Прямые распущенные волосы ниспадали на плечи. Бельбо курил сигарету за сигаретой.

Потом Лоренца обхватила Рикардо за талию и медленно повела его по направлению к Бельбо, пока они не остановились прямо перед ним. Продолжая двигаться под музыку, Лоренца взяла из его рук стакан. Она держалась за Рикардо левой рукой, в правой у нее был стакан, чуть влажные глаза ее смотрели на Якопо, и могло показаться, что она плачет, но, наоборот, она улыбалась... И говорила с ним.

— И, представь себе, это было не только тогда, понял?

— Когда «тогда»? — переспросил Бельбо.

— Когда он встретил Софию. Спустя несколько веков Симон был также Гийомом Постэлем.

— Разносил письма?

— Идиот. Это был ученый эпохи Возрождения, который читал по-еврейски...

— По-древнееврейски.

— Какая разница? Он читал на этом языке так, как сейчас мальчишки читают о приключениях Мики Мауса. Ему достаточно было бросить беглый взгляд. Так вот, в одной больнице в Венеции он встретил старую и неграмотную служанку — его Джоанну. Он увидел ее и сказал себе: «Вот, я понял, она — новое воплощение Софии, Энной, она — Великая Мать Мира, сошедшая к нам, чтобы искупить весь мир с его женской душой». Постэль увез Джоанну с собой, и все считали его безумцем, а он — он хотел вызволить ее из плена ангелов, а когда она умерла, он целый час смотрел на солнце, а потом много дней не ел и не пил, весь наполненный Джоанной, хотя ее уже не было среди живых, но для него она как бы и не умирала, потому что она

всегда здесь, она прикована к миру и время от времени является или, как это сказать?.. воплощается... Правда, трогательная история?

— Я утопаю в слезах. А тебе — что, так приятно быть Софией?

— Но я ведь и для тебя тоже София, любовь моя. Помнишь, какие ужасные галстуки ты носил до знакомства со мной, а пиджак твой был обсыпан перхотью? Рикардо снова положил ей руку на затылок.

— Я могу принять участие в разговоре? — спросил он.

— Молчи и танцуй. Ты — мое орудие сладострастия.

— Согласен.

Бельбо продолжал так, будто художника не существовало:

— Итак, ты его блудница, его феминистка, которая занимается связями с общественностью, а он — твой Симон.

— Меня зовут не Симон, — заплетающимся языком объявил Рикардо.

— Не о тебе речь, — оборвал его Бельбо. Последние несколько минут мне было как-то неловко за него. Он, который всегда так скупно выражал свои чувства, сейчас разыгрывал любовную ссору при свидетеле, хуже того — в присутствии соперника. Но последняя его реплика показала, что, обнажаясь перед ним — в то время, как настоящим противником был другой — он утверждал единственным дозволенным ему способом свои права на Лоренцу. Взяв из чьих-то рук новый стакан, Лоренца сообщила:

— Но это же игра. Люблю я ведь тебя.

— Слава Богу, что не ненавидишь. Послушай, я хотел бы уйти. Что-то мой гастрит разыгрался. Я ведь все еще заложник низменной материи, и мне твой Симон ничего не обещал. Давай уйдем?

— Побудем еще немножко. Тут так хорошо. Тебе скучно? К тому же я еще не смотрела картины. Ты видел ту, на которой Рикардо изобразил меня?

— Хотелось бы мне и на тебе столько всего изобразить — вставил Рикардо.

— Ты вульгарен. Отвали. Я разговариваю с Якопо. Бог мой, Якопо, ты думаешь, что только ты один способен на интеллектуальные развлечения с твоими друзьями, а я нет? Так кто же обращается со мной как с Тирской проституткой? Ты.

— Я мог бы догадаться. Я. Это ведь я толкаю тебя в объятия старых мужчин.

— Он никогда не пытался обнять меня. Он не сатир. Тебе не нравится, что он не тянет меня в постель, а считает интеллектуальным партнером.

— И светочем.

— Вот этого ты не должен был говорить. Риккардо, уведи меня и поищем чего-нибудь еще выпить.

— Нет уж, погоди, — сказал Бельбо. — Сейчас ты мне объяснишь, правда ли ты приняла его всерьез, а я подумаю, совсем ты сошла с ума или еще не до конца. И перестань пить столько. Ты приняла его всерьез?

— Но милый, я же говорю, это такая шутка. Самое интересное в этой истории, что когда София понимает, кто есть она, она освобождается от тирании ангелов, чтобы двигаться куда хочет и быть свободной от греха...

— А, ты перестала грешить?

— Умоляю, передумай, — промурлыкал Риккардо, целомудренно целуя ее в лоб.

— Наоборот, — отвечала она снова Бельбо, не обращая внимания на художника, — все такое, что ты думаешь, это вовсе не грех, и можно делать все что угодно, чтобы освободиться от плоти и попасть на ту сторону добра и зла.

Она ткнула в бок Риккардо и отпихнула от себя. И громко выкрикнула:

— Я София, и чтобы освободиться от ангелов, я должна прострять... простирать... распространять свой опыт на все разряды греха, в том числе самые изысканные!

Легонько покачиваясь, она направилась в угол, где сидела девица в черном одеянии с подрисованными глазами и безумно бледная. Лоренца вывела девицу на середину зала и они принялись извиваться, прижавшись животами, повесив руки по сторонам тела.

— Я и тебя могу любить, — говорила Лоренца, целуя ее в губы.

Народ выстроился полукругом, все слегка возбуждилось, слышались какие-то выкрики. Бельбо сидел неподвижно и наблюдал за происходящим с видом финдиректора, пришедшего на репетицию. При этом он был мокрый от пота и у него прыгал угол левого глаза — тик, которого до тех пор я не замечал. Внезапно — с тех пор как

начался танец, прошло не менее пяти минут, причем пантомима становилась все похотливее — он отчетливо произнес:

— Прекрати немедленно.

Лоренца замерла, раздвинула ноги, вытянула вперед руки и выкрикнула:

— Я семь великая блудница и святая!

— Ты есть великая дрянь — ответил Бельбо, поднялся, сдавил руку Лоренцы за запястье и повел ее к выходу из галереи.

— Не смей, — бушевала она. — Кто тебе позволил... — И тут же расплакалась, обняв его за шею: — Миленький, я София, твоя половина, не сердись на меня за это...

Бельбо нежно обхватил ее за плечи, поцеловал в висок, пригладил ей волосы и сказал в направлении зала:

— Простите ее, она не привыкла много пить.

Раздались новые смешки. Думаю, Бельбо тоже их расслышал. Тут он встретился со мною глазами, так что сказанное им могло в равной степени предназначаться и мне, и остальным, а может быть, просто самому себе. Он сказал это почти шепотом, себе под нос, когда внимание к их персонам стало явно ослабевать.

Все еще обнимая Лоренцу, он повернулся на три четверти к залу и произнес медленно, как самое естественное в данных обстоятельствах:

— Кукареку.^[92]

Когда же Каббалистический Мозг желает сообщить тебе что-то, не думай, что он говорит пустое, вздорное, суетное; но тайну, но оракул...

Томазо Гарцони, Театр многообразных и всяких мирских мозгов

/Thomaso Garzoni, Il teatro de vari e diversi ceruelli mondani. Venezia, Zanfretti, 1583. discorso XXXVI/

Иконографический материал, собранный в Милане и Париже, нуждался в дополнениях. Господин Гарамон утвердил мою командировку в Мюнхен, в Дейчес Музеум.

Несколько вечеров я просидел в кабачках Швабинга — в этих громадных подземных криптах, где музыканты пожилые, с усами, в коротких кожаных шароварах, и любовники переглядываются сквозь дым, напитанный запахами свинины, над литровыми кружками пива, парочки втиснуты рядами за бесконечные столы. Днем же я сидел над каталогами репродукций. Иногда я выбирался из архивного зала, чтобы побродить по музею, где воспроизведено все, что человеческий гений изобрел или мог бы изобрести, нажми только кнопку, и внутри нефтяных диорам насосы приходят в движение, заходи в настоящую субмарину, вращай сколько хочешь планеты, играй в образование кислот, в ядерную реакцию — это тот же Консерваторий, но меньше готики, больше футурологии, и все забито шумливыми пятиклассниками, которых с детства учат уважать инженеров.

В Дейчес Музеум можно также досконально уяснить себе горное дело. Спускаешься по лестнице и попадаешь в шахту, состоящую из выработок, подъемников для людей и лошадей, перепутанных туннелей, по которым с натугой проползают (надеюсь, сделанные из воска) изнуренные эксплуатируемые подростки. Среди мрачных нескончаемых коридоров тут и там спотыкаешься на самом обрыве

бездонных колодцев, озноб страха пронизывает до костей, почти что чувствуется носом рудничный газ.

Я блуждал по второстепенной галерее, разуверившись уж когда-либо вновь узреть лучи дневного светила, как вдруг заметил, перевесившись через край пропасти, некоего знакомого персонажа. Лицо его было мне чем-то известно, с его серостью и с морщинами, с сединой, с совиностью век, но я смутно ощущал: есть что-то неестественное в платье, как если бы это лицо я привык видеть над форменною одеждой, как когда встречаешься со священником в штатском или с капуцином без бороды. Он ответил мне пристальным взором и тоже заколебался. Как бывает в таких случаях, последовала перестрелка быстролетными взглядами, наконец он взял быка за рога и поздоровался по-итальянски. Внезапно мне удалось мысленно вернуть его в привычный костюм. Он должен был быть окутан длиннейшим желтоватым саваном. Тогда получался настоящий господин Салон — А. Салон, таксидермист. Его мастерская соседствовала дверью с моим офисом, в коридоре бывшей фабрики, где я трудился детективом от культуры. О йес! Мы неоднократно встречались на лестнице и обменивались полуприветствиями.

— Забавно, — сказал он, протягивая руку. — Мы жильцы одного дома, а представляемся друг другу в недрах подпочвы, за тысячу миль от нашего местожительства.

Последовала светская беседа. У меня сложилось впечатление, что Салон хорошо знает, чем я занимаюсь, что, правду сказать, немало, учитывая, что это было не слишком известно и мне самому.

— Что это вы в музее техники? Ваше издательство интересуется более духовными материями, если не ошибаюсь.

— Откуда такая осведомленность?

— О, — отмахнулся он, — люди рассказывают, у меня бывает столько посетителей...

— А что, много клиентов у чучельщиков, простите, у бальзамировщиков?

— Препорядочно. Вы скажете, наверное, что у меня редкая профессия. Так все считают, а тем не менее спрос высокий, заказчиков полным-полно, и в самом разном духе. От музеев до частных коллекционеров.

— Не так часто встречаются в частных домах чучела, — сказал я.

— Не часто? Ну, зависит от того, в каких домах вы бываете... И в каких подвалах.

— А что, звериные чучела держат в подвалах?

— Многие держат. Не все экспозиции рассчитаны на солнечный свет. Бывает и на лунный... Я таким клиентам не доверяю, но работа есть работа. Я не доверяю подземельям.

— Поэтому я вас вижу в шахте?

— Врага надо знать в лицо. Я не люблю подземелий, но их изучаю. Не так уж много возможностей в этом плане. Катакомбы в Риме, вы скажете. Нет, в них нет тайны, там полно туристов, все контролирует церковь. Другое дело канализация Парижа... Вы в ней не бывали? По понедельникам, средам и в последнюю субботу каждого месяца там бывают экскурсии, вход от Пон д'Альма. Но и это в общем туристское мероприятие. Конечно, в том же Париже имеются и катакомбы, и подземные каменоломни. Не говоря уж о метро. Вы когда-нибудь были в доме номер 145 по улице Лафайет?

— Признаюсь, не бывал.

— Это не самый посещаемый район, между Гар де л'Эст и Гар дю Нор, Восточным и Северным вокзалами. Здание на первый взгляд обыкновенное. Только присмотревшись, обнаруживается, что ворота сделаны под деревянные, а на самом деле выполнены из раскрашенного железа, а за окнами скрываются комнаты, пустующие не одно столетие. Там никогда не горит свет. Однако люди идут мимо и ничего не знают.

— Чего они не знают?

— Что этот дом фальшивый. Он только фасад, оболочка, в нем нет ни крыши, ни внутренних переборок. Он пуст. Это выхлопная труба. Он служит для вентилирования и отвода паров из ближайшей станции метро. А только вы поймете это, как у вас появляется ощущение, будто вы стоите у жерла ада, что если бы только вам удалось пройти сквозь фальшивые стены, вы получили бы доступ к подземному Парижу. Бывало, я проводил долгие, долгие часы перед этими воротами, которые прикрывают врата врат, отправную станцию путешествия к центру земли. Зачем, как вы думаете, понадобилось его выстроить, этот дом?

— Чтобы вентилировать метро, вы сказали?

— Хватило бы простых отдушин. Нет, именно подобные вещи укрепляют мои подозрения. Вы меня понимаете?

Философствуя о земном мраке, он озарялся. Я спросил, в чем же таком подозреваются подземелья.

— Да потому, что если Верховники Мира существуют, им негде находиться, кроме как под землею, это истина, которую многие угадывают, но немногие решаются выразить. Может быть, единственный, кто осмелился высказать это открытым текстом, был Сент-Ив д'Алвейдре. Знаете его?

Я, скорее всего, встречал это имя в каком-то из сочинений одержимцев, но подробностей не помнил.

— Это тот, который говорит нам об Агарте — подземной резиденции царей мира, оккультном центре синархии, — сказал Салон. — Он ничего не опасается, он уверен в себе. Однако все, кто стал его открытыми последователями, были устранены за то, что слишком много знали.

Мы двигались вдоль галереи, а господин Салон все говорил и говорил мне, рассеянно поглядывая по сторонам, скользя глазами по ответвляющимся коридорам, по устьям неожиданных скважин, как будто он выискивал в темноте подтверждение своих догадок.

— Вы когда-либо задавались вопросом, почему все крупнейшие столицы в прошлом веке поспешили прокопать метрополитены?

— Чтоб решить проблемы с транспортом. Зачем же еще?

— Когда не существовало автомобильного движения и все ездили в экипажах? От человека вашего ума я рассчитывал услышать что-нибудь поинтереснее?

— А у вас есть объяснение интереснее?

— Может, и есть, — ответил Салон, мне показалось, с задумчивым, почти отсутствующим видом. Это, видимо, был сигнал к прекращению беседы. И точно, через минуту он заявил, что должен идти по делам. После чего, пожимая мне руку, задержался еще на секунду, как пораженный внезапным воспоминанием: — А кстати, этот вот полковник... как его звали, который несколько лет назад приходил в «Гарамон» говорить вам о сокровище тамплиеров? Вы о нем ничего не слышали?

Я ощутил как удар бичом от столь наглого, бесцеремонного хвастовства сведениями, которые я считал потаенными,

погребенными. Я даже не спросил, откуда ему известно об этом — так испугался. Я только ответил безразличным голосом:

— О, какая старая история, я о ней вообще забыл. А кстати: почему вы сказали «кстати»?

— Я сказал «кстати»? Ах да, конечно, мне казалось, что он отыскал что-то там в подземелье...

— Откуда вы знаете?

— Не знаю. Не помню, кто рассказывал мне об этом. Кто-то из клиентов. Но у меня откладывается в памяти все, что связано с подземельями. Причуды старика. Счастливо оставаться. Он ушел, а я остался размышлять о значении этой встречи.

В некоторых областях Гималаев, в числе двадцати двух храмов, отображающих двадцать две тайны Гермеса и двадцать две буквы некоторых сакральных алфавитов, Агарта образует Мистический Ноль, ненаходимый... Колоссальную шахматную доску, которая простирается под землю, под всеми почти областями земного шара.

Сент-Ив д'Алвейдре, Миссия Индии в Европе

/Saint-Yves d'Alveydre, Mission de l'Inde en Europe, Paris, Calmann Lefevy, 1886. p. 54, 65/

Несколько предположений на этот счет выдвинули и Бельбо с Диоталлеви. Гипотеза первая: Салон, сплетник и пустослов, возбуждающийся от намека на таинственность, в свое время был знаком с Арденти, и все тут. Или же: Салон что-то знал о судьбе Арденти и работал на тех, кто его убрал. Третья гипотеза: Салон — это информатор полиции.

Потом нас одолели всякие одержимцы, и Салон слился с ему подобными. Прошло несколько дней, и в контору к нам зашел Алье по поводу некоторых рукописей, бывших у него на отзыве. Судил он блистательно: точно и профессионально. Будучи человеком умным, он мгновенно уяснил двойную бухгалтерию «Гарамон» — «Мануций», и мы перестали чтобы то ни было от него скрывать. Теперь он работал в нашем контексте. Испепелив автора двумя-тремя смертельными репликами, он цинично заключал, что для «Мануция» работа выглядит вполне приемлемой. Я спросил его об Агарте и о Сент-Иве д'Алвейдре.

— Сент-Ив д'Алвейдре... — протянул он. — Забавная личность, не стану спорить, он с молодости общался с последователями Фабра д'Оливе. Скромный клерк в министерстве внутренних дел, но какое

тщеславие... Мы, конечно, не отнеслись слишком строго к его женитьбе на Мари-Виктуар...

Алье, конечно, не устоял перед соблазном перейти на рассказ от первого лица. Мы не моргнули глазом.

— Кто это, Мари-Виктуар? Обожаю сплетни, — подбросил дровишек в огонь Бельбо.

— Мари-Виктуар де Ризнич, она была очень хороша в годы, когда к ней благоволила императрица Евгения. Но когда она встретила Сент-Ивом, ей было уже за пятьдесят, а ему — только тридцать. Для нее мезальянс, натурально. И не только; но еще, чтобы дать ему титул, ей пришлось приобрести не помню уж где имение, принадлежавшее некогда маркизам д'Алвейдре. С тех пор наш красавчик мог похвалиться титулом, а по Парижу загуляли куплеты про жиголо. Обеспеченный пожизненной рентой, он целиком предался своему коньку. Ему втемяшилось в голову создать политическую формулу, на которой было бы основано самое совершенное общество. Синархия, противоположность анархии. Объединенная Европа, управляемая тремя европейскими советами, экономическим, юридическим и ответственным за гуманитарную сферу, то есть за религию и за науку. Просвещенная олигархия, которая свела бы на нет классовую борьбу. Мы слышали теории и похуже.

— А Агарта?

— Он рассказывал, будто в один прекрасный день его посетил таинственный афганец по имени Хаджи Шарипф, который, заметим, не мог быть афганцем, потому что это имя албанское, и открыл ему тайну местоположения Царей Мира — впрочем, сам Сент-Ив не употреблял этого выражения, это уже его последователи. Он же говорил: «Агарта», «Ненаходимое».

— Где говорил?

— В своем сочинении «Миссия Индии в Европе». Она довольно сильно повлияла на современную политическую мысль. В Агарте есть подземные города, а под городами, еще ближе к центру земли, пребывают пять тысяч пандитов, которые управляют страной — разумеется, цифра пять тысяч восходит к герметическим корням ведийского языка, как вы уже сами догадались... Каждый корень являет собой магическую иерограмму, связанную с некоей небесной потенцией и с санкцией некоей потенции ада... Центральный купол

Агарты озаряется чем-то вроде зеркал, которые пропускают лучи через энгармоническую гамму цветов, в то время как солнечный спектр обыкновенных учебников физики строится на простейшей диатонической гамме... Мудрецы Агарты изучают все сакральные языки, чтобы прийти ко всеобщему языку, Ваттан. Подступаясь к тайнам чересчур глубоким, они воспаряют вверх и раздробили бы свои головы о купол, если бы собраты не удерживали их. Они изготавливают молнии, направляют циклические течения межполярных и межтропических приливов, регулируют интерференциальные деривации на разных географических широтах и высотах земли. Они отбирают виды, и ими созданы твари хотя и мелкие, однако невиданных психических достоинств, с панцирем черепахи и с желтым крестом на этом панцире, у них по одному глазу и по одной пасти на каждой конечности. Многоногие твари, способные продвигаться в любом направлении. В Агарту, по всей вероятности, укрылись тамплиеры во время диаспоры, и оттуда ими осуществляется контролирование. Продолжать дальше?

— Но... он это всерьез? — спросил я.

— Думаю, что он принимал все это буквально. Сперва мы все считали его ненормальным, потом решили для себя, что в подобном визионерском преломлении он отобразил идею оккультного управления историей. Ведь говорят же, что история — это загадка, бессмысленная и кровавая? Но это неправильно, смысл в ней обязан быть. Обязан быть некий Разум. Поэтому люди не легкомысленные создали для себя, в ходе столетий, образы неких старшин или же царей мира, может быть, и не имеющих физического воплощения, может быть, они только функция, коллективная роль, периодическое воплощение некоего Постоянного Намерения. С которым несомненно были связаны исчезнувшие великие ордена священства и рыцарства.

— Вы в это верите? — спросил Бельбо.

— И более уравновешенные люди, чем Сент-Ив, ищут Непознанных Верховников.

— И находят?

Алье снисходительно, добродушно посмеялся и ответил:

— Какие же они Непознанные, если дадут познавать себя кому попало? Господа, у нас полным-полно работы. Мы еще не обсудили одну рукопись, это как раз трактат о секретных обществах.

— Стоящий? — спросил Бельбо.

— Как бы не так. Но для «Мануция» сгодится.

Не имея возможности открыто направлять земные судьбы, потому что правительства воспротивились бы, эта тайная ассоциация может действовать только через секретные общества... Эти секретные общества, создаваемые по мере того как в них появляется необходимость, разделены на группы, несхожие и с виду противоположные, исповедующие временами взаимопротиворе-чащие мнения, чтобы контролировать, каждую отдельно и, пользуясь абсолютным доверием, все совокупно репигиоаные, политические, экономические и литературные партии, и все они подчиняются тайному центру, и получают указания от секретной центральной организации, которая представляет собой мощный механизм, способный таким образом невидимо управлять судьбами земли.

И. М. Хене-Вронский цит. по: П. Седир, История и доктрина Розы и Креста

/J. M. Hoene-Wronski, cit.da P. Sedir, Histotre et doctrine des Rose-Croix, Rouen, 1932/

Однажды я увидел господина Салона на пороге мастерской. Внезапно и совершенно дико меня пронизала мысль: вот сейчас он ухнет, как филин. Он приветствовал меня с видом близкого друга и спросил, как дела там у нас. Я неопределенно кивнул, осклабился и пробежал к себе.

Меня снова разбудоражили думы об Агарте. В таком виде как их преподнес нам Алье, идеи Сент-Ива могли показаться соблазнительными какому-нибудь одержимцу, но ничего тревожащего не было в них. А вот в словах и лице Салона в день мюнхенской

беседы определенно было что-то беспокойное, и мне передалось это чувство.

Так что после работы я решил заскочить в библиотеку и посмотреть эту самую «Миссию».

В каталожном зале и на заказах была толпа, как всегда. Я сразился за нужный мне ящик, покопался в нем, заполнил требование и отдал его на стойку. Там мне сказали, что книга на руках, с традиционным в таких случаях библиотечным злорадством. Я опечалился, но вдруг над ухом послышался голос:

— Да есть она, я ее недавно сдавал. — Я обернулся. Передо мной был комиссар Де Анджелис.

Я узнал его, а он меня — я сказал бы, как-то подозрительно легко. Я-то сталкивался с ним в обстоятельствах для меня экстраординарных, а он меня видел полчаса в ситуации самого рядового сбора показаний. Кроме того, во времена Арденти я носил реденькую бороду, и волосы были гораздо длиннее. Ну и глаз у комиссара.

Что же, он наблюдает за мною с самого моего возвращения? Или он спец по физиогномике, в полиции их тренируют на внимание, чтоб запоминали лица, имена...

— Господин Казобон? И читаем мы одно и то же!

Я протянул ему руку:

— Ныне можете звать меня доктор. А я могу подать документы на конкурс в полицию, как вы мне в свое время советовали, и тоже начну выхватывать книги из-под носа у штатских.

— Неправда, тут как в спорте. Я прибежал первым. Не горюйте, скоро книга придет на место и вам ее выдадут. А пока что позвольте пригласить вас на чашку кофе.

Угощение от полиции меня смутило, но отказаться было бы уж очень грубо. Мы уселись в ближайшем баре. Он спросил меня, откуда интерес к индийской миссии, и мне ужасно захотелось ответить встречным вопросом: а у него откуда? — но я решил сначала защитить тылы. Я сказал, что продолжаю потихоньку разрабатывать тамплиерскую тему. А тамплиеры, согласно фон Эшенбаху, спаслись из Европы в Индию, а согласно кое-кому еще, спаслись потом в царство Агарту. Теперь можно было осторожно открываться.

— Скорее странно, с какого боку это интересуется вас.

— А как же, — отвечал он весело. — Как вы посоветовали мне книгу о тамплиерах, так я и стал понемногу любопытствовать в этом духе, а вы только что прекрасно объяснили, что от тамплиеров до Агарты один шаг.

Он меня переиграл. Ох. Но, слава Богу, тут же прибавил:

— Шучу, шучу. Я искал эту книгу по другой причине. Потому что... — и заколебался. — В общем, в нерабочее время я хожу в библиотеку. Чтобы не превратиться в робота, или чтоб не остаться чурбаном в погонах, выбирайте из двух выражений, которое больше нравится... Расскажите лучше о себе.

Я коротенько изложил автобиографию, невероятные металлы включительно. Он спросил:

— Но в этом вашем издательстве, или в его филиале, выпускают и книги на оккультные темы?

Откуда он знал о «Мануции»? Сведения, подобранные, когда его интересовал Бельбо, несколько лет назад? Или он все еще идет по следу Арденти?

— При таком количестве типчиков вроде Арденти, которые околачивались в «Гарамоне», а «Гарамон» их пытался перепихнуть в «Мануция», — сказал я, — господину Гарамону пришлось в голову сыграть на их сумасшествии. Кажется, это окупается. Если вас интересуют личности вроде старого полковника, там их пруд пруди.

Он ответил:

— Да. Но Арденти пропал. Надеюсь, остальные на месте.

— Пока да. Чтобы не сказать «увы, да». Знаете, комиссар, ужасно хочется задать вам один вопрос. Думаю, при вашей профессии пропавшие без вести, или еще хуже того, попадают к вам ежедневно. Вы всем им уделяете такое... значительное время?

Он посмотрел на меня с лукавством.

— А почему вы считаете, что я до сих пор уделяю время полковнику Арденти?

Что же, отбил прекрасно. Но если я буду поактивнее, ему ничего не останется кроме как открыть карты.

— Бросьте, комиссар, — сказал я тогда. — Вы знаете все о «Гарамоне» и «Мануции», вы идете в библиотеку за книгой про Агарту...

— А что, разве от Арденти вы что-то слышали про Агарту?

Опять касание. И действительно, Арденти говорил нам, в частности, про Агарту, если я правильно помню. Я удачно выкрутился:

— Нет, но что-то плел про тамплиеров, если помните.

— Помню, — кивнул он. Потом добавил: — Но вы не должны представлять себе так, что мы занимаемся одним делом вплоть до победного конца. Так бывает только в телефильмах. В действительности же полицейский как зубной врач, пришел пациент, поковырялся в его зубе, он ушел с билетиком на следующую неделю, тем временем появилась сотня новых. Такой случай, как с этим полковником, может находиться в архиве пусть даже и десять лет, но потом при расследовании другого дела, снимая показания с совершенно случайного человека, вдруг выходит наружу след, хлоп, мгновенно представилось все по-другому, после этого начинаешь решать задачку. Потом новый хлоп. Или никакого хлопа, и дело возвращается в архив.

— Какой же хлоп в этом смысле случился недавно?

— Вам не кажется, что такие вопросы не задают? Ничего, ничего, у меня нет секретов. Полковник выплыл совершенно неожиданно, мы держали под колпаком одного типа по абсолютно другому поводу, и заметили, что он посещает «Пикатрикс», вы, наверно, слышали об этом клубе...

— Я слышал о журнале, о клубе почти ничего. Чем они занимаются?

— Да ничем, ничем, довольно спокойное место, немножко они все чокнутые, но ничего особенного. Однако я сразу вспомнил, что у них толкся и Арденти. Вся наша профессиональность состоит в таких вещах. Вспоминать, где ты слышал имя или видел лицо, даже по прошествии десяти лет. Тогда я заинтересовался, чем сейчас занимаются в «Гарамоне». Вот и все.

— А какое отношение клуб «Пикатрикс» имеет к политической полиции?

— Не сомневаюсь, что слышу голос незапятнанной совести, но любопытничаете вы подозрительно.

— Вы же сами позвали меня пить с вами кофе.

— Это правда, к тому же у нас обоих неслужебное время. Я вам отвечу. До определенной степени в этом нашем мире все состыкуется со всем.

— Бесценная герметическая философема, — сказал себе я.

Но он продолжал:

— То есть я не хотел бы утверждать, что пикатриковцы замешаны в политике, но знаете ли... Раньше мы искали краснобригадников в коммунах, а чернотригадников в спортзалах, теперь легко может оказаться все наоборот. Странно стало в мире. Честное слово, десять лет назад работать было проще. Сейчас даже среди идеологий уже нет религии. Сколько раз я мечтал перейти в отдел наркотиков. Там хотя бы, кто торгует героином, не философствует. Там у людей устоявшаяся система ценностей.

Он помолчал еще немного с тем же нерешительным видом. Затем вытащил из кармана записную книжку размером с поминальник.

— Послушайте, Казобон, вы по работе все время встречаете странных людей. Читаете еще более странные книги. Можете помочь мне? Что вы знаете о синархии?

— Ох, вот тут вы меня подловили. Да почти ничего. Слышал этот термин в связи с Сент-Ивом, и все.

— Но что о ней вообще говорят?

— Если о ней вообще и говорят, то в мое отсутствие. Если честно, мне в ней видится что-то фашистское.

— Попали прямо в точку, многие из тезисов синархии на вооружении в «Аксьон франсэз». Но если бы на этом все кончалось, я был бы на коне. Как вижу группу, прославляющую синархию — даю ей политическую оценку. Но плохо то, что стоит углубиться в материал, натыкаешься, например, на следующее. Примерно в 1929 году некие Вивиан Постэль дю Мае и Жанна Канудо основывают группу «Полярис», которая вдохновляется мифом о Царе Мира, а затем предлагают синархический прожект: социальные службы против капиталистической прибыли, изжитие классовой борьбы при помощи кооперативного движения... Это кажется социализмом фабианского толка, нереволюционная социалистическая теория в духе лейбористских убеждений. И действительно, и «Полярис», и фабиане обвиняются в том, что они эмиссары синархического заговора, возглавляемого евреями. И кто же их обвиняет? «Ревю насьональ де сосьете секрет», журнал, обличающий юдомасонобольшевистские козни. Многие его сотрудники связаны с интегрристской правой организацией повышенной секретности — «Ля Сапиньер». Они

утверждают, что все политические революционные объединения не что иное как маскировка дьявольского ига, идеологом которого выступает оккультный комитет. Вы могли бы сказать, конечно: ну раз так, мы просто ошиблись. Сент-Ив в конечном итоге сделался идейным предтечей реформистских Групп, а правые, как им свойственно, валят все в одну кучу и расценивают все эти группы как филиации демо-плуто-социал-иудейского толка. Что же, и Муссолини занимался тем же. Но откуда берутся разговоры об оккультной подоплеке? На основании того немногого, что мне видно, «Пикатрикс» довольно-таки далек от рабоче-крестьянского движения.

— Мне тоже думается так, о Сократ. Что из этого следует?

— За Сократа мерси, но поймите, в самом деле чем больше я читаю, тем больше путается в голове. В сороковые годы рождались самые разные группы, которые именовали себя синархистами, и рассуждали о новом европейском порядке, под руководством правительства мудрейших мужей, стоящих вне каких-либо партий. К чему тяготеют все эти группы? К среде коллаборационистов Виши. Тогда, скажете вы, мы опять все перепутали, синархия — это правые. Стоп! Читаешь, читаешь, и убеждаешься, что только в одном отношении все согласны между собой: что синархия существует и таинственно управляет миром. Однако и тут выплывает некое «но».

— Что же это за «но»?

— Но 24 января 1937 года Дмитрий Навашин, масон и мартинист (что такое мартинист, я не знаю, но по-моему, какая-то Тайная секта), экономический советник Народного Фронта, бывший директор одного московского банка, гибнет от руки тайной Организации революционного и национального действия, в просторечии известной под именем «Ля Кагуль», оплачиваемой Муссолини. Объясняется это тем, что «Ля Кагуль»-де подчиняется некоей секретной синархии и Навашин убит ею за то, что осмелился проникнуть в ее секреты. Один документ, вышедший излевой политической среды, во время немецкой оккупации, изобличает некий Синархический имперский договор, как причину поражения Франции, а Договор этот якобы является порождением латинского фашизма португальского типа. Однако потом оказывается, что Договор составлен Дю Мае и Канудо, и содержит те самые идеи, которые они распространяли и пропагандировали направо и налево. Ничего тайного в этих идеях нет.

Тем не менее они же, на этот раз в качестве сверхсекретных, возникают в 1946 году в сочинении «Синархия, панорама 25-ти лет оккультной борьбы» месье Юссона, который развенчивает синархический революционный сговор левых и подписывается, погодите, где-то тут у меня это сказано... вот. Жоффруа де Шарнэ.

— А это уж вообще, — сказал я. — Де Шарнэ, это товарищ Молэ, гроссмейстера храмовников. Их сожгли в один день. Здесь, значит, у нас неотамплиер, критикующий синархию с правых позиций. Но ведь синархия-то рождается в Агарте, то есть в убежище тамплиеров!

— А я что говорил? Вот видите, вы мне подбросили еще один элемент. К сожалению, он только усугубляет путаницу. Это значит, что правые критикуют Синархический имперский договор, социалистический и тайный, который на самом деле тайным не является, но тот же самый тайный синархический договор, как мы видели, критикуется и слева. Новая интерпретация: синархия, это иезуитский заговор с целью свержения Третьей республики. Эта интерпретация принадлежит Роже Менневе, из лагеря левых. Чтобы мне жилось еще спокойнее, вот кое-какие выписки. В 1943 году в военных кругах правительства Виши, петенистских, но антинемецких, распространяются документы, свидетельствующие о том, что синархия — это нацистский комплот. Гитлер — это розенкрейцер, вдохновляемый масонами, которые, как вы сами видите, без труда переходят от юдобольшевистского заговора к немецко-имперскому.

— И этим все объясняется.

— Хорошо бы. Однако вот еще одна трактовка. Синархия — это соглашение международных технократов. Так говорит в 1960 году некий Вилльмаре, в книге «14-й заговор 13-го мая». Техно-синархический заговор ставит своей целью дестабилизацию правительств, а для этой цели вызывает войны, поддерживает и инспирирует государственные перевороты, вызывает расколы внутри политических партий, провоцируя образование внутренних течений и ересей... Этих синархов вы узнаете?

— Господи, это ИСК, Империалистический союз концернов, так о нем говорили Красные бригады несколько лет тому назад!

— Ответ на пятерку! А теперь, что должен делать комиссар Де Анджелис, когда он слышит о связях чего бы то ни было с синархией? Я спрашиваю у доктора Казобона, специалиста по тамплиерам.

— Специалист Казобон ответит, что существует тайное общество с филиалами во всем мире, которое плетет свои сети с целью распространения слуха, будто существует всемирный заговор.

— Вот вы шутите, а я...

— Я совершенно не шучу. Пойдите почитайте рукописи, которые приносят к нам в издательство. Если же вас интересует объяснение более примитивное, могу напомнить анекдот о зайке, которого не брали работать на радио за то, что он не член партии. Нужно же приписывать кому-то свои провалы, диктатурам требуется внешний враг, чтобы сплачивать подданных. Как говорил кто не помню, для каждой сложной проблемы имеется простое решение, и это решение неправильное.

— И если я найду в поезде бомбу, обвернутую в плакат, избобличающий синархию, я удовлетворюсь ответом, что речь идет о простом решении сложной проблемы?

— А что, вы находили бомбы с плакатами... Извините. Это действительно не мое дело. Хотя зачем тогда вы мне об этом говорите?

— Потому что надеюсь, что вы знаете больше моего. Потому что, наверное, для меня утешительно видеть, что и вы в этом не сечете. Вы говорите, что приходится читать слишком много психов, и вам кажется это потерей времени. Мне так не кажется, для меня сочинения ваших сумасшедших... «ваших» относятся ко всем обычным людям... могут служить важным материалом. Может быть, сочинение сумасшедшего объяснит мне, какова логика тех, кто подкладывает бомбы в поезд. Или вы боитесь стать информатором полиции?

— Нет, честное слово, не боюсь. В конце концов, искать идеи в каталогах — мое ремесло. Если мне что-то для вас попадет, я просигнализирую.

Вставая, он обронил свой последний вопрос:

— А среди этих рукописей... вам ничего не попадалось о Трис?

— Трис? Что это значит?

— Не знаю. Не то ассоциация, не то секта, понятия не имею даже существует ли она на самом деле. Я о ней слышал, и мне сейчас припомнилось по ассоциации с вашими ненормальными. Передайте привет вашему другу Бельбо. Передайте ему, что я за вами не шпионю. Просто у меня противная работа, и, к сожалению, она мне нравится.

Топая домой, я судил и рядил, кто же из нас вышел победителем. Он мне рассказал множество всего, я ему ничего не открыл. Если уж совсем сходить с ума, можно предположить, что он выудил что-то совершенно нечувствительно для меня. Но так запросто можно заработать себе что-то вроде психоза синархического заговора.

Когда я рассказал об этом случае Лии, она сказала:

— По-моему, он был вполне искренен. Просто хотел выговориться. Ты думаешь, у него в полиции много таких, кто в состоянии поддержать разговор, была ли Жанна Канудо левой или правой? Комиссар просто хотел понять, в нем ли дело, он ли не понимает, или дело в том, что это дело действительно слишком трудное. А ты не смог ответить ему единственно правильным образом.

— А что, есть правильный ответ?

— Конечно. Что и понимать нечего. Что синархия, это Бог.

— Бог?

— Бог. Человечество не выносит мысли, что наш мир получился случайно, по ошибке, потому что четыре обалдевших атома столкнулись на мокром асфальте. А где нет места случаю, там отыщется и космический заговор, и Бог, и ангелы, и дьяволы. Синархия выполняет ту же самую функцию на несколько суженном поле.

— Значит, я должен был сказать ему, что люди подкладывают в поезда бомбы из-за того, что ищут Бога?

— Я считаю, да.

Князь ада — джентльмен

Шекспир, Король Лир

/Shakespeare, King Lear, III, lv. 140/

Это случилось осенью. Я зашел на улицу Маркиза Гуальди за подписью господина Гарамона на заказе слайдов за границей. Краем глаза я заметил, что у госпожи Грации сидит Алье и роется в каталоге авторов «Мануция». Я не стал с ним здороваться, потому что и без того опаздывал.

Покончив с техническими проблемами, я спросил у Гарамона, чем занят Алье в кабинете секретарши.

— О, это гений, — отвечал Гарамон. — Что за тонкость, что за эрудиция. Позавчера мы с ним ходили ужинать с авторами, и наша сторона выглядела великолепно! Беседа! Стил! Джентльмен старой складки, настоящий аристократ, таких теперь не делают. Что за ученость, что за культура, скажу сильнее, что за информированность. Он рассказывал дивные анекдоты про исторических особ, и хотя они жили более сотни лет назад, клянусь вам, было впечатление, будто он лично знал их всех. И знаете, какую он мне подал идею по пути домой? Он с первого взгляда проник в самую душу наших приглашенных, клянусь, он раскусил их лучше, чем я! Он сказал, что не следует дожидаться, покуда авторы для «Изиды без покрывал» найдутся сами. Потеря времени, читка рукописей, и никогда не знаешь, пожелают ли они потом платить за издание. В то время как у нас есть золотые россыпи, стоит только их разработать! Картотека авторов «Мануция» за последние двадцать лет! Понимаете теперь? Мы пишем нашим драгоценным, славным и проверенным сочинителям, или хотя бы тем, кто согласился выкупить свой залежавшийся тираж со склада, мы пишем следующее: глубокоуважаемый, знаете, что мы начинаем издавать серию о знании и традициях высочайшей духовности? Столь утонченный литератор, как вы, не хочет ли испробовать силы на

неизведанных поприщах, потягаться с трудностями и так далее и так далее. Ну гений, просто гений, что я вам могу сказать. Кажется, он всех нас приглашает в это воскресенье в какой-то замок, или дворец, более того, на замечательную виллу где-то возле Турина. Кажется, намечается невообразимая программа, какой-то ритуал, церемония, шабаш, кто-то будет фабриковать золото или живое серебро или еще что-то в этом духе. Этот мир нами недостаточно изучен, дорогой Казобон, при всем уважении к тем научным занятиям, которым вы посвящаете всего себя с подлинной страстью, напротив, я весьма доволен нашим с вами сотрудничеством, — знаю, знаю, ожидается та небольшая экономическая поправка, о которой вы недавно мне напоминали, я нисколько не забыл, в свое время мы с вами все это детально обсудим. Алье сказал, что ожидается и та синьора, красивая синьора, быть может, не идеально красивая, но в ней есть стиль, что-то такое во взгляде, — эта приятельница Бельбо, как ее...

— Лоренца Пеллегрини.

— Наверное. У нее что-то с нашим другом Бельбо, не правда ли?

— Они дружат.

— А! Вот ответ настоящего джентльмена. Молодец Казобон. Но я ведь не от любопытства, я по отношению ко всем вам выступаю чем-то вроде отца и... опустим, *a la guerre comme a la guerre...* Ступайте, мой милый.

У нас действительно была назначена встреча с Алье в горах около Турина, подтвердил Бельбо. Программа — двойная. Первая часть вечера — праздник в помещении замка, принадлежащего одному состоятельному последователю розенкрейцеров. После этого Алье приглашает нас в лес, за несколько километров от замка, где намечен, разумеется на полночь, друидический ритуал, о подробностях которого он не распространялся.

— Но я вот что еще думал, — добавил Бельбо. — Нам надо бы заняться невероятными приключениями металлов. А здесь нас все время дергают. Почему бы нам не выехать накануне и не провести уик-энд в моем старом доме в ***? Там довольно мило, вы увидите, хорошие горы. Диоталлеви уже согласился, может быть, поедет и Лоренца. Разумеется, приезжайте с кем хотите.

Он не был знаком с Лией, хотя знал, что у меня кто-то есть. Я сказал, что буду один. За несколько дней до того мы с Лией

поссорились. Повод был глупый и действительно все рассосалось за неделю, но именно в ту минуту мне хотелось смыться из Милана на пару дней.

Таким образом мы появились в *** — гарамоновская троица плюс прекрасная Лоренца. В момент отъезда все чуть было не лопнуло. Лоренца пришла на место встречи, но перед посадкой в машину заявила:

— Я, наверное, останусь, чтоб не мешать вам работать. Вы поезжайте спокойно, потом увидимся, меня привезет Симон.

Бельбо, сжав пальцами руль, уставился прямо перед собой и тихо произнес:

— Садись в машину. — Лоренца села и всю дорогу держала ладонь на шее у Бельбо, который вел машину в полном молчании.

*** остался той же самой деревушкой, которую знал Бельбо во время войны. Мало новых домов, сказал он, в хозяйстве страшный спад, потому то все молодые переселились в города. Он показал нам на холмы около деревни, ныне заросшие травой, которые в старые времена все были засеяны пшеницей. Деревушка выскакивала из-за поворота неожиданно, над ней был холм, на холме вила Бельбо. Холм был низкий, он не закрывал пейзажа, обрамленного легкой яркой полосой тумана. Въезжая по горной дороге, Бельбо показал нам на противоположный холм, совершенно лысый, с капеллой на макушке, где росли еще две сосны.

— Это Брикко, — сказал Бельбо. — Неважно, что это вам ничего не говорит. Туда отправлялись на праздничный пикник в понедельник после Пасхи. Сейчас в машине можно добраться за пять минут, а в те годы ходили пешком и это было паломничество.

Именую театром [место], в котором все действия слов и мыслей, а также все особенности речей и предметов показываются как будто на публичном театре, где представляются трагедии и комедии.

Роберт Флат, Всеобщая история космоса

/Robert Fludd, Utriusque Cosmi Historia Tomi Secundi Tractatus Primi Sectio Secunda Oppenheim (?), 1620 (?), p. 55/

Мы подъехали к вилле. Назовем это виллой: господский дом, но весь первый этаж был перестроен под давяльню, в которой Аделино Канепа — тот самый злобный батрак, который в свое время донес на дядюшку партизанам — делал вино из винограда, росшего в имении Ковассо. Дом, судя по всему, стоял пустой уже много лет.

В маленьком флигеле неподалеку была еще жива какая-то бабка, как объяснил нам Бельбо — тетушка батрака Аделино, все остальные потихоньку поумирали, дядя, тетя Бельбо, сам Аделино, осталась столетняя старуха, копалась в огороде, щупала четырех кур, откармливала кабана. Земли все были проданы для уплаты налогов на наследство, за долги, кто упомнит за что. Бельбо застучал в дверь флигеля, старуха высунулась из закутка, не сразу узнала посетителя, зато потом многообразно продемонстрировала восторг и гостеприимство. От приглашения зайти к ней Бельбо все же, после объятий и ласк, отказался.

Когда мы открыли дом, Лоренца запричитала от восторга и, обнаруживая все новые лестницы, коридоры, мрачные комнаты со старинной мебелью, продолжала ликовать. Бельбо приbedнялся, говорил что-то вроде «у каждого своя Доннафугата»,^[93] но был безусловно растроган. Он сюда иногда наезжает, сказал он, правда — редко.

— Но работается тут хорошо, летом не жарко, а зимой благодаря толстым стенам холодный ветер не страшен, и в каждой комнате печки. Когда я был подростком, семья эвакуировалась из города и я жил тут, в нашем распоряжении были только те две боковые комнаты в глубине коридора. Сейчас я обживаю дядитетино крыло и начал работать в кабинете дяди Карло. — Там стоял секретер, забавная штука, лист положить почти что некуда, зато порядочно ящиков, явных и потаенных. — Сюда невозможно взгромоздить Абулафию, — сказал Бельбо, — но в те редкие разы, что я здесь бываю, я пишу от руки, как в старинные времена.

Потом он распахнул дверцу огромного шкафа.

— Вот что, когда я умру, имейте в виду, здесь все произведения моего раннего периода. Стихи, написанные в шестнадцатилетнем возрасте, планы шеститомной саги, которую я писал в восемнадцать... И прочее.

— Читаем, читаем, — захлопала в ладоши Лоренца и по-кошачьи подалась к шкафу.

— Лапы прочь, — отогнал ее Бельбо. — Читать там нечего. Я сам никогда не заглядываю. В любом случае, после смерти я явлюсь сюда и лично все сожгу.

— Да, кстати, надеюсь, привидения тут водятся?

— Теперь-то конечно. Во времена дяди Карло здесь не было привидений, жизнь была ключом. В духе георгик. Я же стал наезжать сюда, когда возобладали буколики. Приятно работать тут по вечерам, собаки лают в долине...

Он показал нам отведенные комнаты: мне, Диоталлеви, Лоренце. Лоренца осмотрела свою, похлопала по старой кровати с пудовой периной, понюхала простыни и заявила, что это похоже на нырок в бабушкину сказку, потому что простыни пахнут лавандой. Бельбо сказал, что это не лаванда, а плесень, Лоренца ответила, что не имеет значения, а потом, привалившись к стене, так что бока и бедра выступили вперед, как при сражении с флиппером, сказала:

— И что ж, я буду спать тут одна?

Бельбо отвел глаза в сторону, в стороне оказались мы, он посмотрел в другую, потом шагнул в коридор и из коридора ответил:

— Это мы решим. В любом случае хорошо, что у тебя есть куда удрать.

Мы с Диоталлеви удалились, слыша вдалеке, как Лоренца спрашивает у Бельбо, что он, ее стесняется? Он же отвечал, что если бы не показал ей комнату, она, конечно же, немедленно бы спросила, где ей прикажут спать.

— Я сделал первый ход, теперь у тебя нет выбора.

— Коварный афганец! — отвечала она. — Коли так, я решила спать себе смирно в своей келейке.

— Ладно, ладно, — отвечал он с раздражением.

— Люди приехали работать, я пойду, мы сядем на террасе.

Так мы и работали на большой террасе с виноградным навесом, под холодную минералку и литры кофе. До вечера был провозглашен сухой закон.

С террасы открывался вид на Брикко, под холмом Брикко виднелось размашистое строение с закрытым двором и футбольным полем. В пейзаж вплетались движения разноцветных фигурок: видимо, дети. Бельбо мотнул головой в ту сторону:

— Ораторий францисканцев сальской школы. Они занимаются воспитанием. Именно там дон Тико учил меня музыке. Там был оркестр.

Я вспомнил о трубе, в которой Бельбо было отказано, о рассказе про сон.

— На трубе или на кларнете?

Какую-то секунду он был охвачен ужасом.

— Как вы дога... А, ну да, я ведь вам рассказывал про сон и про трубу. Понятно... Дон Тико учил меня действительно играть на трубе, но в оркестре я играл на генисе.

— А что такое генис?

— Кто его упомнит. Давайте лучше работать.

Однако в ходе работы не раз и не два он задумывался, глядя на ораторий. У меня возникло чувство, что ради того чтобы смотреть на ораторий, он рассказывает совсем другие вещи. Например, следующую историю.

— В конце войны тут перед домом случилась одна из самых яростных перестрелок, какие можно вообразить. Дело в том, что у нас в *** существовало соглашение между фашистами и партизанами. Летом, в течение двух лет, партизаны захватывали местность, и фашисты их не беспокоили. Фашисты все были пришлые, а партизаны

— местные ребята. В случае стычек они знали, куда им бежать, знали все посадки кукурузы, лесочки и кустарниковые изгороди. Фашисты сидели практически взаперти в городе и вылезали только для проведения облав. Зимой же для партизан становилось гораздо труднее перемещаться по равнине, некуда было спрятаться, люди были видны на снегу и из приличного пулемета их можно было достать даже за километр. Поэтому партизаны уходили повыше в горы. И снова пользовались тем, что им были известны перевалы, щели и сторожки. Фашисты тогда овладевали долиной. Но вот пришла весна перед самым концом военных действий. Тут у нас фашисты еще оставались, но в город возвращаться они не хотели, как бы предчувствуя окончательную ловушку, которая ожидала их в городах и, как известно, захлопнулась двадцать пятого апреля. Думаю, что имели место кое-какие тайные переговоры и партизаны выжидали, никто не хотел вступать в бой, все знали, что скоро все так или иначе разрешится, по ночам «Радио Лондон» передавало все более утешительные известия, сплошные шифрованные сообщения для Франки, ^[94] завтра снова будет дождь, дядя Пьетро принес хлеб и далее в таком роде, может быть, ты, Диоталлеви, помнишь, как это все выглядело... В общем, кто-то что-то спутал, партизаны спустились с гор как раз в то время, когда фашисты еще не убрались, как бы то ни было, моя сестра была вот на этой террасе, вошла в гостиную и сказала нам, что какие-то двое гоняются друг за другом с пулеметом. Мы несколько не удивились, потому что нередко ребята и с одной и с другой стороны от скуки затевали военные игры, однажды в шутку кто-то выстрелил по-настоящему и пуля попала в ствол дерева въездной аллеи, у которого в тот момент стояла моя сестра. Она даже ничего не заметила, нам доложили об этом соседи, и сестре было наказано, что когда она видит, что кто-то играет с оружием, пусть скорее уходит. Вот они снова играют, сказала сестра, входя в комнату с террасы, в основном чтоб показать, что она слушается. Тогда долетел звук первой очереди. Но ее сопровождала и вторая, и третья, а потом очередей стало очень много, можно было различить сухие ружейные выстрелы, хлопки автоматов, глухие и гулкие удары — по-видимому, ручные бомбы, — и, наконец, пулеметы. До нас, по-видимому, дошло, что они уже не играют. Но у нас не было возможности обменяться соображениями, поскольку было не слышать и собственных голосов. Пим пум банг ратата. Мы залезли

под умывальник, я, сестра и мама. Потом появился дядя Карло пробравшись на карачках по коридору, чтоб сказать, что в наших комнатах находится опасно и чтоб мы шли на их половину. Мы переместились в другое крыло, где наша тетя Катерина рыдала, потому что бабушка была где-то в поле...

— И лежала лицом вниз на голой меже между двумя полями...

— А это вы откуда знаете?

— А вы мне рассказывали в семьдесят третьем году после похода на демонстрацию.

— Ну у вас и память. Впредь буду осторожнее. Ну да, вниз лицом. Отца моего тоже не было дома. Как потом мы узнали, он шел по центральной улице городка, вскочил в какой-то подъезд и не знал как выбраться, потому что на улице был самый настоящий полигон, ее простреливали из конца в конец. С башни городской управы горстка чернбригадовцев утюжила площадь из пулемета. В том же подъезде спасался бывший фашистский подеста городка. Он сказал, что побежит домой, жил он близко, только за угол свернуть. Он выждал, когда было затишье, выскочил из подъезда, поравнялся с углом и был скошен выстрелом в спину с башни горуправы. Эмоциональная реакция моего папы, который, надо сказать, помнил первую мировую войну, была такая: правильнее оставаться в подъезде.

— Этот город полон сладостных воспоминаний, я вижу, — заметил Диоталлеви.

— Ты не поверишь, — ответил Бельбо, — но они сладостные. Единственные настоящие воспоминания.

Другие вряд ли поняли, я же догадался, что он хочет сказать, а сейчас получил подтверждение. Особенно в последние месяцы, когда нас захлестнули вымыслы одержимцев, и вообще в последние годы, когда Бельбо укутывал свою разочарованность в вымыслы литературы, дни в *** оставались на особом месте в его сознании как знаки реального мира, в котором пуля означает пулю, или пролетит, или словишь, в котором враги выстраиваются стенка на стенку, и у каждого войска свой цвет, или красный или черный, или хаки или серо-зеленый, без двусмысленностей, по крайней мере, ему тогда казалось, что без них. Мертвец есть мертвец есть мертвец есть мертвец. Не то что полковник Арденти, то ли умер, то ли нет. Я подумал, что надо бы рассказать Бельбо о синархии, которая уже в те годы расплзалась

повсюду. Не синархична ли была встреча между дядей Карлом и полковником Терци, разведенными по разные стороны фронта единой, по сути, силой — идеалистической рыцарственностью? Но я не хотел отнимать у Бельбо его Комбре.^[95] Эти воспоминания были сладки, потому что говорили о единственной правде, встреченной им на пути, все сомнительное начиналось после. Беда только (как он дал мне понять) в том, что даже в моменты истины он оставался наблюдателем. Он наблюдал в воспоминаниях за тем временем, в которое наблюдал рождение не-своей памяти, а исторической памяти — памятилица тех историй, которые описать дано было не ему.

А может, все-таки имел место момент славы и решения? Ведь сказал же он:

— И вдобавок в этот день я совершил геройский поступок моей жизни.

— О мой Джон Уэйн, — сказала Лоренца. — Расскажи.

— Да ничего. Я переполз к дяде и не захотел больше ползать. Я хотел стоять выпрямившись в коридоре. Окно было вдалеке, этаж был второй, мне ничего не угрожало, о чем я всем и заявил. И я чувствовал себя капитаном, который остается на мостике, в то время как пули посвистывают и поют у него над ухом. Но дядя Карло рассвирепел и грубо дернул меня, повалив на пол, я уже готов был зареветь, потому что самого интересного меня лишили, и в этот момент послышался звон стекла, три удара, стук в коридоре, будто кто-то играл в теннис против стенки. Пуля влетела в окно, ударилась в водопроводную трубу и рикошетировала на уровне пола ровно в то место, где я был за секунду до того. Останься я там стоять, охромел бы на всю жизнь.

— Нет-нет, хромца мне не надо, — сказала Лоренца.

— Может быть, я был бы этому рад, — сказал Бельбо. И правда, ведь в том случае тоже выбирал не он. Его просто дернул дядя.

Через час он опять отвлек нас от работы.

— Потом к нам явился батрак Аделино Канепа. Он сказал, что в подвале для всех будет безопаснее. Они с дядей не разговаривали множество лет, как я вам рассказывал. Но в трагический момент в Аделино заговорил гуманизм, и они с дядей даже обменялись рукопожатием. И мы просидели больше часа в темноте между чанами, вдыхая бродильные пары, немедленно ударявшие в голову, и стрельба была от нас далеко. Потом очереди потихоньку отдалились, стрельба

доносилась как через вату. Мы поняли, что кто-то отступает, но все еще не знали кто. Пока наконец сквозь окошечко над нашими головами, выходявшее на тропинку, не послышалось на местном диалекте: — Монсу, й'е д'ла република беле си?

— Что это значит? — спросила Лоренца.

— Примерно следующее: «Милостивый государь, не могли бы ли вы быть настолько любезны, чтобы сообщить мне, пребывают ли до сего времени в окрестностях этого палаццо какие-либо приверженцы идеологии Социальной Итальянской Республики?» В те времена республика была ругательным словом. Это какой-то партизан задавал вопрос какому-то встречному, значит, тропинка снова становилась обитаемой, следовательно, фашисты убрались. Темнело. Постепенно появились сначала папа, а потом бабушка, каждый с рассказом о своем приключении. Мама и тетя готовили на скорую руку ужин, в то время как дядя и Аделино Канепа в высшей степени церемонно снова прекращали дипломатические отношения. В течение всего вечера мы слышали отдаленные очереди вдалеке, посреди холмов. Партизаны гнали бегущего противника. Мы победили.

Лоренца поцеловала его в голову и Бельбо всхлипнул носом. Он понимал, что победил не он, а актерский коллектив. Он на самом деле только смотрел фильм. Хотя на какую-то минуту, рискуя схватить рикошетную пулю, он прорвался внутрь этого фильма. Влетел прямо в кадр, как в Хеллзаппин,^[96] когда перепутываются бобины и индеец верхом на расседланном мустанге влетает на светский бал и спрашивает, куда все поскакали, кто-то машет ему «туда», и он скрывается в совсем другом сюжете.

И он взялся играть на великолепной трубе так, что окрестные горы зазвенели.

*Иоганн Валентин Андреаз, Химическое
бракосочетание Христиана Розенкрейца*

*/Johann Valentin Andreae, Die Chymische
Hochzeit des Christian
Rosencreutz, Strassburg, Zetzner. 1616, 1, p.
4/*

Мы дошли до чудесных приключений водопроводов, к этой главе была найдена гравюра шестнадцатого века из издания «Спириталии» Герона, где изображался алтарь, а на нем кукла-автомат, которая благодаря паровому устройству играла на трубе.

Я возвратил Бельбо к его воспоминаниям.

— Так что же ваш дон Тихо Браге или как его там, учитель трубных гласов?

— Дон Тико. Я так и не узнал, что такое Тико. Не то уменьшительное от имени, не то фамилия. Я после того никогда не бывал в орактории. А в свое время занесло меня к ним случайно. Вообще там служили мессы, готовили к зачету по катехизису, играли в подвижные игры и можно было выиграть картинку с блаженным Доменико Савио, это отрок в помятых штанишках из грубой материи, который на всех статуях держится за юбку дона Боско, очи возведены горе, чтобы не слышать, как его товарищи рассказывают неприличные анекдоты. Но я прознал, что дон Тико набрал духовой оркестр из ребят от десяти до четырнадцати лет. Малолетние играли на кларинах, флейтах пикколо, саксофонах сопрано, самые взрослые были в состоянии управляться с баритонами и большими барабанами. Они ходили в форме, верх цвета хаки, синие брюки, в фуражке с козырьком. Дивное зрелище. Так хотелось быть одним из них. Дон Тико сказал, что ему нужен генис.

Пауза. Бельбо смерил нас взглядом превосходства и отчеканил:

— Генисом, по имени изобретателя, на жаргоне оркестрантов называется флюгель-горн, другими словами сигнальный горн контральто ми-бемоль. Генис — самый глупый инструмент оркестра. Он играет умпа-умпа-умпа-умпап в зачине марша, а потом парапапа-па-па-па-паа ритм шага, и далее па-па-па-па-па... Но научиться на генисе можно быстро, он относится к подгруппе медных, как и труба, и его звуковая механика — упрощенная копия механики трубы. Для трубы необходимо лучше поставленное дыхание и профессиональный забор мундштука. Нужна, знаете, такая круговая мозоль, которая вырабатывается на губах, как было у Армстронга. При наличии хорошего забора экономится дыхание и звук выходит прозрачным, чистым, дутье не чувствуется — да и вообще, музыканты не дуют с раздуванием щек, это только артисты в театре делают и в шаржах рисуют.

— А труба?

— На трубе я учился играть самостоятельно, летом в послеобеденные часы, когда в оратории никого не было. Я прятался между скамей в зрительном зале. На трубе я учился из эротических побуждений. Видите дом на холме в полукилометре от оратория? Там жила Цецилия, дочка дамы-благотворительницы этого заведения. Каждый раз, когда оркестр давал представление, по праздникам после процессии во дворе оратория, но особенно когда играли в крытом зрительном зале, перед выступлением драмкружка, Цецилия с мамой находилась в первом ряду на местах для почетных гостей, рядом со старостой местной церкви. И в этих случаях программа открывалась маршем под названием «Благой почин» — «Buon principio», марш начинался трубами, трубами си-бемоль, золотого и серебряного сияния, отчищенными по торжественному случаю. Трубы играли это вступление стоя и соло. Потом они садились и вступал оркестр. Только играя на трубе, я мог бы надеяться, что меня заметит Цецилия.

— А по-другому? — спросила растроганная Лоренца.

— По-другому не существовало. Во-первых, мне было тринадцать лет, а ей тринадцать с половиной, они в тринадцать с половиной — это женщины, а мы в тринадцать — сопляки. Кроме того, она любила саксофона контральто, некоего Папи, отвратительного, облезлого, как мне казалось, и она смотрела только на него, похотливо блеющего, потому что саксофон, если это не сакс Орнетта Колмана, если он

звучит в составе оркестра, и вдобавок в руках омерзительного Папи, это инструмент (как думал я в ту эпоху) козий и коитальный, и имеет такой же голос, как у манекенщицы, спившейся и шляющейся по панели.

— Какие это манекенщицы шляются по панели?

— В общем, Цецилия не знала даже, что я существую. Естественно, когда я влекся пешим ходом вверх по склону по вечерам за молоком на горную ферму, я выдумывал восхитительные истории, как ее арестовывают Черные бригады, и как я лечу освободить ее, а пули посвистывают вокруг моей головы и псс... псс... падают в жнивье, я же открываю ей то, чего она не могла знать, а именно что под таинственной маской я руководитель Сопротивления во всем Монферрато, а она мне признается, что всегда надеялась, что это так, и тут меня охватывал нестерпимый стыд, потому что как будто струи меда разливались по всем жилам, и я клянусь вам, что даже не влажнело в паху, а это было другое, более ужасное, более великое ощущение, и вернувшись из похода, я шел исповедоваться. Думаю, что грех, любовь и слава именно это: бежишь на переплетенных простынях из окна миланского гестапо, она обвивает тебя за шею, вы двое в пустоте и она шепчет, что всю жизнь мечтала о тебе. Все прочее — только секс, копуляция, разнос нечестивого семени. Короче говоря, если бы я перешел на трубу, Цецилия не могла бы продолжать меня игнорировать, когда я вставал бы перед ней во весь рост, искрясь и сияя, а ничтожный саксофон съезживался бы, затененный мною стоящим. Труба воинственная, ангельская, апокалиптическая и победная, трубила бы атаку, а саксофон пусть пиликал бы на вечеринках пригородной шпаны, с жирными бриллиантовыми патлами, там они отплясывают под саксофон в обжимочку с потными бабенками. Я учился искусству трубы как сумасшедший, до тех пор пока не смог предстать перед доном Тико, и я сказал ему: послушайте. И я был как Оскар Левант в момент его первого прослушивания на Бродвее с Геном Келли. И дон Тико сказал: да, ты труба. Однако...

— Какой же саспенс,^[97] — сказала Лоренца. — Не томи, скажи уж, и мы переведем дух.

— Однако я должен был сам привести себе замену на генис. Поищи, сказал дон Тико. И я поискал. А должны вы знать, о возлюбленные дети, что в *** в ту эпоху жило два отребья

человечества, они были со мною в одном классе, хотя старше меня года на два, оба второгодники. Этих двух ничтожеств звали Аннибале Канталамесса и Пио Бо. В скобках: ист.

— Чего, чего? — изумилась Лоренца.

Я объяснил со знанием дела.

— Когда у Сальгари^[98] описывается реальный исторический факт (или то, что он считает действительным историческим фактом), скажем, как Сидячий Буйвол после битвы у Малого Большого Мыса поедает сердце генерала Кастера, автор вслед за изложением факта дает примечание в скобках «ист.».

— Вот-вот. В высшей степени ист, что Аннибале Канталамесса и Пио Бо действительно носили такие имена, но это еще в них не самое непозволительное. Они были отъявленные бездельники, способные только воровать комиксы из газетного киоска, тырить гильзы у тех, кто знал толк в гильзах (из-за чего солидные коллекции теряли половину ценности), и класть колбасные бутерброды на книги приключений на земле и на море, одолженные почитать у тех, кто получил их в подарок на Рождество. Канталамесса считал себя коммунистом, а Бо фашистом, оба только и ждали как бы продаться во вражеский стан за марку или рогатку, они рассказывали сексуальные истории, полные анатомических нелепиц, и заключали пари, кто из них дольше промастурбировать. Эти личности были готовы на все, почему было не попробовать с генисом? Я стал их соблазнять. Я нахваливал им оркестрантскую одежду, я водил их на выступления, намекал на возможность завоевания симпатий «Дочерей Марии»... И они попались в мои сети. Долгими днями в крытом театре, с длиннейшей тростью, какую вы могли видеть на иллюстрациях к брошюрам про миссионеров, я дрессировал их, лупя по пальцам, когда они ошибались кнопками. У гениса только три вентиля, работают пальцы указательный, средний и безымянный, в остальном все зависит, как я уже говорил, от забора мундштука. Не стану злоупотреблять вашим вниманием, милые слушатели. Настал момент, когда я смог представить дону Тико двух генисов, не то чтобы безупречных, но по крайней мере при первом показе, подготовленном мною ценой бессонных послеобеденных бдений, приемлемых. Дон Тико дал себя уговорить, разгильдяям пошили мундиры, а меня перевели на трубу. И примерно через неделю, в праздник Благоутешительницы Марии,

открывая театральный сезон премьерой «Маленького парижанина», перед опущенным занавесом, в присутствии областного начальства, я стоял во весь рост и трубил вступление «Благого почина».

— О великолепии, — произнесла Лоренца с показным выражением нежной ревности.

— А Цецилия?

— Ее не было. Может, болела. Не знаю. Не было. Он обвел взором полукруг слушателей, несомненно в тот момент чувствуя себя не то бардом, не то фигляром. Он выдержал паузу. — Через два дня дон Тико послал за мной и известил меня, что Аннибале Канталамесса и Пио Бо погубили весь вечер. Они не выдерживали ритм, в промежутках отвлекались, шпыняя и щипая друг друга, забывали вступить в нужный момент. — Генис, — сказал мне дон Тико, — это костяк всего оркестра, его ритмическая совесть, его душа. Оркестр — это паства, инструменты — овечки, дирижер — пастырь, а генис — верный рыкливый пес, держащий в повиновении овец. Дирижер смотрит прежде всего на генис, и если генис будет ему послушен, все стадо пойдет за ним. Якопо милый, я прошу от тебя воистину огромной жертвы, но ты должен вернуться к генису и стать рядом с теми двумя. У тебя есть чувство ритма, и ты мне нужен, чтобы с ними сладить. Клянусь, что как только они обретут самостоятельность, я верну тебя на трубу. — Я был кругом обязан дону Тико. Я сделал, как он хотел. На следующем празднике трубы снова стояли перед всеми нами и играли вступление «Благого почина» для Цецилии, которая слушала из первого ряда. Я же был в темноте, генис среди генисов. Что же до двух подонков, они так и не обрели самостоятельность. Меня так и не вернули на трубу. Война окончилась, я возвратился в город, забросил музыку, а что касается Цецилии, я так никогда и не узнал, какая была у нее фамилия.

— Бедненький лапочка, — сказала Лоренца, обнимая его за плечи. — Но у тебя остаюсь я.

— Я думал, ты любишь саксофонистов, — сказал Бельбо. Потом поцеловал ей руку, едва повернув голову. И снова стал серьезным. — За работу, — сказал он. — Мы должны заниматься историей будущего, а не хроникой пропавшего времени.

Вечером бурно отмечали отмену сухого закона. Элегическое настроение Якопо, похоже, проходило, и они с Диоталлеви мерились

силами: изобретали ненужные механизмы, которые после энциклопедической проверки оказывались уже изобретенными и с успехом применяемыми. В полночь, после бурно прожитого дня, было решено, что следует испытать, удастся ли уснуть в немиланском воздухе.

Я залез под одеяло в старинной комнате, простыни были влажнее, чем это казалось утром. Якопо расставил заранее по всем кроватям «монахов», то есть овальные каркасы, приподнимающие простыни, под которые подсовывают грелки на угольях. Видимо, он хотел, чтобы мы причастились ко всем радостям житья на вилле. Но когда влага рассеяна повсюду, «монах» вытягивает ее из вещей, и хотя ощущается очаровательная теплынь, ткани становятся насквозь мокрыми. Что делать. Я зажег абажур с бахромкой, из тех где должны биться кучи бабочек, дорого продавая свою жизнь, как сказал какой-то поэт, и попробовал усыпить себя чтением газеты.

Сон не шел, через час я услышал шаги в коридоре, открыванье и хлопанье дверей, и в последний раз (в последний из тех, что я слышал) дверь бабахнула с жутким грохотом. Лоренца Пеллегрини играла на нервах у Бельбо.

Тут я начал засыпать, и вдруг послышалось царапанье, на этот раз в мою дверь. Не было понятно, скребется ли зверь (ни кошек, ни собак в доме вроде не водилось), или же это какое-то приглашение, призыв, приманка. Может быть, Лоренца царапалась в дверь, потому что знала, что Бельбо за ней следит. А может, и нет. До тех пор я полагал Лоренцу чем-то вроде имущества Бельбо — по крайней мере в моем отношении к ней, — а кроме того, с тех пор, как я был с Лией, я стал нечувствителен к прочим чарам. Интригующие, почти призывные взоры, которые Лоренца то и дело метала в меня в редакции и у Пилада, подтрунивая над Бельбо и как бы ища во мне союзника или свидетеля, входили составной частью (так мне казалось) в некий шаблон поведения, а кроме того, Лоренца Пеллегрини умела смотреть на кого угодно с таким видом, как будто собиралась проверить его любовные способности, но при этом с подвохом, как бы говоря, «хочу тебя, но только чтобы доказать, что ты меня испугался». В тот вечер, слушая шарканье, шуршание ногтей по краске дверной створки, я понял совсем другое: я осознал, что желаю Лоренцу.

Тогда я сунул голову под подушку и стал думать о Лии. Хочу, чтоб у нас был ребенок, сказал я себе. И его (или ее) я сделаю трубачом, как только научится дуть.

Под каждым третьим деревом, по обеим его сторонам подвешено по фонарю, и прекрасная дева в голубых одеяниях зажигает их с помощью волшебного факела. А я задерживаюсь дольше, чем это необходимо, восхищаясь зрелищем неопишуемой красоты

Johann Valentin Andreae. Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz, Strassburg, Zetzner, 1616, 2, c.21

К полудню на террасе появилась Лоренца и с улыбкой сообщила, что в К полудню на террасе появилась Лоренца и с улыбкой сообщила, что в расписании нашла подходящий поезд, который отправляется из *** в половине первого, сделав одну-единственную пересадку; она прибудет в Милан во второй половине дня. Спросила, проводим ли мы ее до вокзала. Продолжая листать записи, Бельбо произнес:

— Кажется, Алье ждет тебя и организовал эту поездку исключительно в твою честь.

— Тем хуже для него, — отозвалась Лоренца. — Кто меня проводит?

Бельбо поднялся и сказал, обращаясь к нам:

— Я отлучусь ненадолго и скоро вернусь. После этого мы сможем остаться здесь еще на пару часов. У тебя была сумка, Лоренца?

Не знаю, разговаривали ли они по дороге на вокзал. Минут через двадцать Бельбо вернулся и без комментариев принялся за работу.

В два часа дня мы нашли уютный ресторан на рыночной площади, а выбор блюд и напитков вернул Бельбо к новым воспоминаниям детства. Однако он говорил так, словно речь шла о ком-то другом. Увы, он как-то утратил дар рассказчика, который демонстрировал совсем недавно. Мы выехали засветло, чтобы успеть на встречу с Алье и Гармоном.

Бельбо свернул на юго-восток, и теперь вид из окна машины менялся с каждым километром. Холмы ***, даже несмотря на

позднюю осень, придавали пейзажу мягкость и сладость; по мере того как мы продвигались вперед, горизонт все расширялся, несмотря на то что на каждом повороте дороги вырисовывался горный пик, к которому лепилась какая-то деревушка. Но между двумя пиками открывался безграничный горизонт, простиравшийся над прудами и равнинами, как заметил Диоталлеви, добросовестно воплощавший в слова наши наблюдения. Поднимаясь на третьей скорости, мы на каждом повороте видели огромные, уходящие вдаль волнистые просторы, которые где-то на границе плато растворялись в почти зимней дымке. Казалось, что дюны собрали равнину в складки, а мы находились в самом центре гор. Впечатление было таково, словно неумелая рука демиурга придавила вершины, казавшиеся ему чрезмерно высокими, превратив их в айвовое желе с выпирающими наружу косточками, простиравшееся до самого моря или же вплоть до гребней более высоких гор.

Мы приехали в деревню, где в баре на центральной площади должны были встретиться с Алье и Гарамоном. Узнав, что Лоренца не приехала с нами, Алье, если даже и был разочарован, не подал виду.

— Наша прекрасная незнакомка не захотела поделиться с другими своими тайнами. Ценю столь необычное целомудрие, — сказал он. Вот и все.

Мы ехали — мерседес Гарамона впереди, рено Бельбо сзади — долинами и холмами, пока не увидели в закатных лучах на гребне горы странное желтое сооружение на манер замка XVIII века, от которого отходили, как мне показалось издалека, засаженные цветами и деревьями террасы, их зелень была буйной, несмотря на время года.

Когда мы подъехали к подножью горы, то оказались на заставленной автомобилями эспланаде.

— Придется здесь оставить машины и идти дальше пешком, — сказал Алье.

Сумерки уже переходили в ночь. Подъем был освещен множеством факелов, закрепленных по обочинам тропы.

Странно, но о том, что происходило с этого момента и до самой глубокой ночи, у меня остались отчетливые и одновременно весьма хаотичные воспоминания. Позже, укрывшись в перископе, я воскресил в памяти этот вечер и заметил какое-то родственное сходство между этими двумя событиями. «Вот ты здесь, — говорил я себе, — в

неестественной ситуации, одурманенный едва уловимым затхлым запахом старого дерева, и думаешь, что находишься в могиле или в сосуде, в котором происходит превращение. Достаточно высунуть голову из кабины, и в полумраке ты увидишь, что предметы, которые сегодня днем были неподвижными, теперь шевелятся, словно элевзинские тени среди колдовских испарений. И такой же вечер был в замке: свет, неожиданности, подстерегавшие на пути, доносившиеся до меня слова и немного погоды запах, который, безусловно, был запахом ладана, — все сговорилось для того, чтобы убедить меня, будто я вижу сон, но не совсем нормальный, как бывает тогда, когда знаешь, что вот-вот проснешься».

Я не должен ничего помнить. Однако я помню все, только так, словно это было не со мной, а рассказано мне кем-то другим.

Не знаю, все ли то, что я припоминаю с такой хаотичной точностью, произошло на самом деле или же мне только хотелось, чтобы так случилось, но уверен, что именно в этот вечер в наших мыслях обрел ясные очертания План — так, как бывает, когда хочешь придать какую-то форму бесформенному переживанию, превращая в фантастическую реальность ту фантазию, которую кто-то вообразил реальностью.

— Наш маршрут носит ритуальный характер, — пояснял Алье во время подъема. — Это висячие сады, такие же, или почти такие же, как построил Соломон де Каус для Гейдельберга, точнее для Палатинатского курфюрста Фридриха V, в великом веке торжества розенкрейцеров. Света здесь немного, но так и должно быть: нужно чувствовать, а не видеть; наш радушный хозяин не передал в точности замысел Соломона де Кауса — сконцентрировал его на более тесном пространстве. Сады Гейдельберга воплощали собой макрокосмос, а тот, кто создал их здесь, является последователем микрокосмоса. Посмотрите на этот грот, украшенный раковинами и камнями... Несомненно, он очень вычурный. А де Каус имел в виду эмблему «Аталанты Бегущей» Михаэля Майера, где коралл — философский камень. Де Каусу было известно, что форма садов может влиять на небесные тела, потому что в них существуют знаки, которые своей конфигурацией повторяют гармонию Вселенной...

— Невероятно! — изумился Гарамон. — Но каким образом сад влияет на небесные тела?

— Есть такие знаки, которые склоняются друг к другу, смотрят друг на друга, обнимаются и принуждают к любви. У них нет и не может быть четкой и определенной формы. Каждый из них, в зависимости от того, что он диктует — страсть или порыв духа, — воздействует на определенные силы, как это происходит с египетскими иероглифами. Контакты между нами и божественными существами могут осуществляться только посредством печатей, символов, букв и обрядов. Исходя из тех же соображений божества обращаются к нам исключительно через сны и энигмы. Так и в случае с садами. Каждая часть этой террасы воспроизводит одно из таинств искусства алхимии, но, к сожалению, нам, как и нашему хозяину, не дано его постичь. У этого человека, который тратит все собранные на протяжении многих лет средства на построение идеограмм, не понимая их смысла, небывалая приверженность тайне, согласитесь со мной, господа.

По мере того как мы поднимались от террасы к террасе, сады меняли свой облик. Некоторые из них были похожи на лабиринт, другие имели форму эмблемы, но при этом общий рисунок нижних террас можно было увидеть, только поднявшись на верхние, так что я узрел внизу контуры короны и еще много других симметрий, которые не мог заметить ранее и которые все равно не смог бы расшифровать. Если идти между живыми изгородями, каждая терраса, вследствие действия закона перспективы, открывает определенный образ, а если смотреть с верхней террасы, то можно сделать новые открытия, которые иногда имеют совершенно противоположный смысл, чем увиденное ранее; таким образом, каждый уровень этого каскада говорил одновременно на двух различных языках.

Мы поднимались все выше и теперь увидели небольшие строения. Вот фонтан фаллической формы, который виднелся то ли из-под арки, то ли из-под портика, с Нептуном, стоящим верхом на дельфине, ворота с колоннами, напоминавшими ассирийские, и опять арка неопределенной формы, что-то вроде нагромождения треугольников и многоугольников, причем верхушку каждого из них венчала фигурка животного — лося, обезьяны, льва...

— И все это имеет какое-то значение? — спросил Гарамон.

— Несомненно! Достаточно лишь прочесть «Mundus Symbolicus» Пицинелли, содержание которого было предварено еще великими предсказаниями Альциата. Весь сад можно прочесть как книгу или

колдовское заклинание, что, впрочем, одно и то же. Если бы, господа, вы могли шепотом произносить слова, которые произносит сад, то управляли бы одной из тех неисчислимых сил, что имеют влияние и оказывают воздействие в подлунном мире. Сад — это устройство для обладания Вселенной.

Он показал нам один из гротов. Болезненное сплетение водорослей и скелетов морских животных, неизвестно — настоящих ли, из гипса ли или из камня... В глубине его виднелись туманные очертания наяды с чешуйчатым хвостом большой библейской рыбы, отдыхающей в объятиях быка в потоке воды, что текла из раковины, которую держал в лапах тритон так, как держат амфоры.

— Я хотел бы, чтобы вы уловили глубокий смысл того, что при других обстоятельствах было бы банальной водяной игрушкой. Де Каусу было хорошо известно, что если взять сосуд, наполнить его водой, закрыть отверстие и просверлить другое, даже в днище, вода не вытечет. Но если проделать отверстие еще и вверху, то вода начнет вытекать или струиться вниз.

— По-моему, это очевидно — сказал я. — Во втором случае воздух, проникая через верх, выталкивает воду вниз.

— Типичное научное объяснение, в котором причину подменяют следствием или же наоборот. Не следует задаваться вопросом — почему вода вытекает во втором случае. Вы должны подумать, почему она не вытекает в первом.

— А почему она не вытекает? — с беспокойством спросил Гарамон.

— Потому что, если бы она вытекала, в сосуде образовалась бы пустота, а природа не терпит пустоты. *Nequaquam vacui*, это был один из принципов розенкрейцеров, позабытый современной наукой.

— Впечатляюще, — оценил Гарамон. — В нашу прекрасную историю металлов эти вещи обязательно должны быть включены, Казобон! И не говорите, что вода — это не металл. Больше воображения, черт возьми!

— Простите, — обратился Бельбо к Алье, — но вы представили аргумент *post hoc ergo ante hoc*. То что следует за причиной, уже предшествовало ей.

— Не стоит рассуждать линейными категориями. Вода в этих фонтанах ведет себя иначе. Не поступает так и природа, поскольку она

не обращает внимание на время. Время — это изобретение Запада.

По дороге мы встречали других гостей. При виде некоторых из них Бельбо подталкивал локтем Диоталлеви, а тот шепотом комментировал: «Да, похожи на герметистов».

Именно среди паломников, похожих на герметистов, я повстречал господина Салона с улыбкой суровой снисходительности на лице. Держался он несколько обособленно. Я улыбнулся ему, и он ответил мне тем же.

— Вы знаете Салона? — спросил Алье.

— А вы? — ответил я вопросом на вопрос. — Что касается меня, то это совершенно естественно — я живу возле его мастерской. Что вы о нем думаете?

— Я мало его знаю. Некоторые из друзей, которым можно полностью доверять, говорят, что он — осведомитель полиции.

Вот почему Салону было известно о Гарамоне и Арденти. Какая же связь могла существовать между Салоном и Де Анжелисом? Однако я ограничился вопросом:

— А что может делать осведомитель полиции на таком приеме?

— Осведомители полиции ходят повсюду — ответил Алье. — Любое событие, о котором можно затем сочинить информацию, может стать для них полезным. Чем больше знает полиция — или же делает вид, что знает, — тем она сильнее. Неважно, насколько эти сведения правдоподобны. Самое главное, обратите внимание, — обладать тайной.

— Но зачем сюда пригласили Салона? — поинтересовался я.

— Друг мой, — промолвил Алье, — возможно, потому, что наш гость следует золотому правилу разумного рассуждения, которое гласит, что каждая ошибка может оказаться мимовольной носительницей истины. Настоящему эзотеризму не страшны противоречия.

— Вы хотите сказать, что в конце концов все эти люди приходят к взаимному согласию?

— *Quod ubique, quod ab omnibus et quod semper.* Инициация открывает горизонты непреходящей философии.

Так, философствуя, мы достигли вершины террас и оказались в начале дорожки, ведущей через раскидистый сад ко входу в здание — то ли это была вилла, то ли небольшой замок. При свете самого

большого факела, водруженного на колонну, мы увидели девушку, одетую в голубое, усеянное золотыми звездами платье, которая держала в руке трубу наподобие той, в которую дудят герольды в оперных спектаклях. К плечам девушки были прикреплены два больших белых крыла, украшенных миндалевидной формы узорами, которые были помечены в центре точкой, поэтому при определенном усилии воображения их можно было принять за глаз — совсем как в церковных мистериях, в которых ангелы выставляют напоказ свои крылья из папиросной бумаги.

Мы увидели профессора Каместра, одного из первых сатанистов, посетивших нас в издательстве «Гарамон», ярого противника Порядка Храма Восточного. Узнали мы его с трудом, поскольку он был одет, как нам показалось, довольно-таки странно, однако, как объяснил Алье, вполне в духе происходящего события: его тело было обернуто в белое льняное полотно, перевязанное красной лентой, которая перекрещивалась на груди и на спине, а на голове красовалась странная шляпа, по форме напоминавшая головной убор XVII века, в которую он воткнул четыре красные розы. Он опустился на колени перед девушкой с трубой и произнес несколько слов.

— Воистину, — прошептал Гарамон — на небе и на земле есть еще много вещей...

Мы прошли под украшенным узорами порталом, который напомнил мне вход на кладбище Стальено, Вверху, над сложной аллегорией в неоклассическом стиле, я увидел выгравированные слова: CONDOLEO ET CONGRATULOR.

Внутри было многолюдно и оживленно, гости толпились у буфета, устроенного в большом вестибюле, откуда две лестницы вели на верхние этажи. Я заметил другие знакомые лица, в числе которых был Браманти и, к моему удивлению, командор Де Губернатис, ПИСС, выпотрошенный Гарамоном, хотя, по всей видимости, ему еще не обрисовали ту ужасную перспективу, когда нужно спасать все экземпляры своего шедевра, пока их не пустили под нож, поскольку он сразу же направился навстречу моему патрону, еще издали жестами проявляя почтение и признательность. Алье тоже удостоился знаков почтения, но со стороны низкорослого человечка с фанатичным взглядом, который бросился к нему. По ярко выраженному французскому акценту мы узнали в нем Пьера, того самого, голос

которого слышали через портьеру кабинета Алье, когда он обвинял Браманти в колдовстве.

Я подошел к буфету. Там стояли графины, наполненные разноцветными жидкостями, происхождение которых я не смог определить. Я налил себе желтого цвета напиток, показавшийся мне вином; с привкусом старой наливки, он оказался не так уж плох и при этом довольно-таки крепок. Возможно, в него было что-то добавлено: у меня начала кружиться голова. Вокруг толпились герметисты, а рядом с ними виднелись суровые лица вышедших в отставку префектов; до меня долетали обрывки разговоров...

— На первой стадии ты должен научиться связываться с другими умами, затем передавать иным существам мысли и образы, заряжать местность эмоциональными состояниями, обрести власть над царством зверей. На третьем этапе попытайся спроецировать своего двойника на любую точку пространства: биолокация, как у йогов, ты должен одновременно явиться в нескольких разных обликах. Затем нужно перейти к сверхчувственному познанию растительных эссенций. И наконец, попытайся раздвоиться: здесь речь идет о том, чтобы постичь теллурическую связь тела, о том, чтобы раствориться в одном месте и появиться в другом, но полностью, повторяю, а не просто как двойник. Последняя стадия — продление физической жизни...

— А бессмертие...

— Не сразу.

— А ты?

— Для этого необходима концентрация. Не скрою, это ужасно трудно. Знаешь, мне ведь уже не двадцать лет...

Я нашел свою компанию. Они входили в комнату с белыми стенами и закругленными углами. В глубине ее, словно в музее Гревена (только в этот вечер в моем воображении возник образ алтаря, который я видел в Рио в шатре умбанды), стояли две восковые статуи почти в натуральную величину, прикрытые блестящей материей, достойные разве что очень скверного бутафора. Одна из фигур представляла восседавшую на троне даму, облаченную в безупречное или почти безупречное платье, усеянное блестками. Над ней свисали на нитках создания неопределенной формы, похожие на войлочные куклы Ленчи, которые некогда служили украшением. Из усилителя,

установленного в углу, доносились далекие звуки труб. Они были приятны, возможно какое-то произведение Габриэли, так что аудитивный эффект был намного лучше визуального. Справа, рядом с позолоченными весами, находилась еще одна женская фигура, одетая в кармазиновый бархат, подпоясанная белой лентой, с лавровым венком на голове. Алье объяснял нам значение каждой представленной здесь вещи, но я солгал бы, сказав, что слушал его внимательно. Меня больше интересовало выражение лиц многочисленных гостей, которые переходили от статуи к статуе, проявляя почтение и восторг.

— Они нисколько не отличаются от тех, которые ходят в храм, чтобы взглянуть на черную Богородицу в платье, расшитом серебряными сердцами, — шепнул я Бельбо. — Возможно, они думают, что это сама мать Христа во плоти? Нет, но и противоположной точки зрения они тоже не имеют. Наслаждаются сходством, для них зрелище — это видение, а видение представляется реальностью.

— Да, — согласился Бельбо, — но проблема состоит не в том, чтобы определить, хуже ли эти люди тех, кто ходит в храм. Я как раз раздумывал над тем, кто такие мы сами. Мы, которые верим в Гамлета больше, чем в собственного консьержа. Имеет ли право осуждать их такой человек, как я, который скитается по свету в поисках мадам Бовари, чтобы устроить ей сцену?

Диоталлеви покачал головой и шепотом произнес, что не следовало бы воспроизводить образы божественного и что эти фигуры сродни золотому тельцу. Однако он находил это забавным.

Алхимия — это благонравная проститутка, у которой много любовников, но она всех обманывает и никого не заключает в свои объятия. Она превращает глупцов в сумасшедших, богатых в нищих, философов в болванов, а обманутых в весьма красноречивых обманщиков...

*Tritheme. Annalium Hirsaugensium. Tomus II,
S. Gallo, 1690, c. 225*

Неожиданно полумрак окутал зал, а вот стены его осветились. Только сейчас я заметил, что три четверти стен занимает полукруглый экран. Когда этот экран ожил, я понял, что часть потолка и пола сделана из какого-то материала, который отражает свет, и что некоторые предметы, вначале поразившие меня своей грубоватостью — блески, весы, щит и несколько медных пластин, — тоже отражают свет. Мы оказались как бы погруженными в водную среду: кадры в ней умножались, делились на сегменты, смешивались с тенями присутствующих, пол отражал потолок, потолок — пол, и оба они — фигуры, появлявшиеся на стенах. Вместе с музыкой по залу распространялись тонкие запахи: вначале это был индийский ладан, затем какие-то другие, менее определенные запахи, которые временами бывали неприятны.

Затем полумрак превратился в непроглядную темноту, послышалось легкое бульканье вязкой жидкости, кипение лавы, и мы оказались в кратере вулкана, внутри которого клейкая и темная материя клокотала в прерывистом блеске желтых и синеватых языков пламени.

Испарялась какая-то маслянистая, липкая жидкость, чтобы через минуту вновь упасть на дно в виде росы или дождя, а изнутри исходил зловонный запах гнили, затхлости и плесени. Я вдыхал испарения могилы, мрака, Тартара, меня окружала ядовитая навозная жижа, текущая между озерами перегноя, угольная пыль, болото, менструальные выделения, дым, свинец, экскременты, кора, пена,

керосин, чернота чернее черноты, которая, слегка отступив, представила нашему взору двух рептилий — бледно-голубую и красноватую, — сплетенных, словно в объятиях любви; они кусали друг друга за хвост, образуя какую-то единую кругообразную фигуру.

Ощущение было таким, будто я перепил спиртного: я уже не видел своих спутников, они растворились где-то в полумраке, не распознавал больше фигур, сновавших вокруг меня, воспринимая их лишь как разложившиеся флюидные очертания... Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня за руку. Я знал, что этого не может быть, и все же не решался обернуться, чтобы не убедиться, что ошибся. Я ощутил запах духов Лоренцы и только теперь понял, насколько она желанна для меня. Это должна быть Лоренца. Она оказалась рядом, чтобы продолжить диалог прикосновений, поскребывания ногтей о дверь, тот диалог, который она так и не завершила вчера вечером. Казалось, что сера и ртуть соединяются, образуя страстную влагу, от которой я ощутил пульсацию в паху, впрочем, не очень бурную.

Я ждал Ребиса, ребенка-гермафродита, философскую соль, венец белого дела.

Мне казалось, что я знаю все. Возможно, все, что я успел прочесть за последние месяцы, приливом наполнило мою голову, а может быть, Лоренца передавала мне свои познания прикосновением руки, и поэтому я не переставал ощущать ее слегка влажную ладонь.

Я с удивлением заметил, что шепчу далекие имена, имена, которыми, как мне было известно, философы обозначали Белое, а я, возможно, с их помощью взывал к Лоренце; не знаю, может, я повторял их про себя словно искупительную молитву: Медь белая, Агнец непорочный, Аибатест, Альборах, Святая Вода, Ртуть очищенная, Аурипигмент, Азок, Борак, Камбар, Каспа, Белила, Свеча, Шайя, Комериссон, Янтарь, Евфрат, Ева, Фада, Ветер западный, Первооснова Искусства, Камень драгоценный Дживиниса, Алмаз, Зибах, Цива, Вуаль, Нарцисс, Лилия, Гермафродит, Хае, Ипостась, Гиле, Молоко Богородицы, Камень единственный, Луна полная, Мать, Масло животворящее, Стручок, Яйцо, Флегма, Точка, Корень, Соль Природы, Земля листовенная, Тевос, Тинкар, Пар, Вечерняя Звезда, Ветерок, Мужеподобная Женщина, Стекло Фараона, Моча Ребенка,

Гриф, Плацента, Менструация, Слуга мимолетный, Рука левая, Сперма Металлов, Душа, Олово, Сок, Сера елейная...

В смолянистом вареве, приобретшем теперь сероватый оттенок, появилась черта горизонта, ее составляли скалы и усохшие деревья, над которыми заходило черное солнце. Затем вспыхнул ослепительный свет, и возникли искрящиеся изображения, которые отражались со всех сторон, создавая эффект калейдоскопа. Повеяло литургическим, церковным запахом, у меня разболелась голова, я как бы почувствовал груз на лбу, и перед глазами предстал утопающий в роскоши зал с золочеными гобеленами: возможно, происходило свадебное пиршество, женихом был принц. Одета в белое невеста, за ними — старый король и королева на тронах, рядом — воин и еще один король, чернокожий. Перед королем небольшой алтарь, на нем — обтянутая черным бархатом книга и канделябр из слоновой кости. Рядом с канделябром — вертящийся глобус и часы, на верхушке которых возвышался небольшой хрустальный фонтан, откуда непрерывно била вода цвета крови. На фонтане, кажется, лежал череп, из его глазницы выползала белая змея.

Лоренца шептала мне на ухо слова, легкие как дыхание. Но я не слышал ее голоса.

Змея двигалась в такт грустной и медленной музыке. Сейчас старые монархи переодевались во все черное, перед ними поставили шесть накрытых крышками гробов. Послышалось несколько угрюмых звуков басовой трубы, и появился человек в черном капюшоне. Пришло время священной экзекуции, которая проходила как бы при замедленной съемке, причем король давал на нее согласие с какой-то скорбной радостью, смиренно опустив голову. Затем человек в капюшоне замахнулся топором, лезвие молниеносно начертило маятниковый путь, удар его отразился на каждой блестящей поверхности, передавшись дальше, на другие поверхности, покатались тысячи голов; и с этого момента кадры сменяли друг друга, но я уже был не в состоянии уследить за их смыслом. Кажется, все, в том числе и чернокожий король, были обезглавлены и положены в гробы, а затем зал превратился в берег моря или озера, и мы увидели, как причалили шесть освещенных кораблей, на них перенесли гробы, корабли отплыли по водному зеркалу и растаяли в темноте за линией горизонта, а тем временем запах ладана стал осязаем, поскольку

превратился в густое испарение; на какой-то миг в меня вселился страх оказаться среди приговоренных, а вокруг меня то и дело раздавался шепот: «свадьба, свадьба...»

Контакт с Лоренцой прервался, и только теперь я обернулся, чтобы отыскать ее среди теней.

А зал уже превратился в склеп или огромную гробницу, своды которой освещал небывалой величины карбункул.

В каждом углу появились женщины в одеждах девственниц, а вокруг двухэтажного котла возвышался замок на каменном цоколе, портик был похож на печь; из двух боковых башен виднелись два алембика, оканчивающихся яйцевидными колбами, а третья, центральная, башня верхушкой переходила в фонтан...

В цоколе замка видны были обезглавленные тела. Одна из женщин принесла шкатулку, вынула из нее какой-то круглый предмет и положила его на цоколь, прямо под сводами центральной башни, на вершине сразу же заработал фонтан. Прошло какое-то время, пока я узнал этот предмет: это был голова мавра, пылавшая теперь словно сухое полено, доводя воду в фонтане до кипения. Испарения, шипение, бульканье...

На этот раз Лоренца положила мне руку на затылок и стала осторожно поглаживать мне голову, как она это делала в машине с Якопо. Пришла женщина, в руках она держала золотой шар, поднесла его к печи цоколя, открыла краник и наполнила шар красной густой жидкостью. После этого сфера раскрылась, и внутри нее вместо красной жидкости оказалось большое красивое яйцо, белое как снег. Женщины достали его и установили на земле, на куче желтого песка, яйцо раскрылось, и из него вышла птица, пока еще бесформенная и вся истекающая кровью. Однако, орошенная кровью обезглавленных людей, она стала расти на наших глазах и превратилась в великолепное создание.

Теперь они отрубили голову птице и сжигали ее на небольшом алтаре до тех пор, пока она не превратилась в пепел. Кто-то замесил пепел словно тесто, которое затем уложили в две формы и поставили в печь, раздувая огонь через трубки. Наконец формы открыли. Из них вышли почти прозрачные, нежные, облаченные в плоть фигурки мальчика и девочки ростом не более четырех пядей, похожие на живые

создания, однако с глазами еще стеклянными, неорганическими. Их усадили на подушки, и какой-то старик поил их по капле кровью...

Пришли другие женщины с позолоченными трубами, украшенные зелеными коронами, и протянули одну из труб старику, он поднес ее ко рта́м двух созданий, все еще пребывающих в состоянии между растительной вялостью и сладким животным сном, чтобы вдохнуть душу в их тела... Зал наполнился светом, свет постепенно сменился полумраком, а затем — полной темнотой, которую слегка рассеивали лишь оранжевые лампочки, после чего наступил величественный рассвет, высоко и звучно запели трубы, вокруг разлился ослепительный рубиновый свет. В этот момент я потерял Лоренцу и понял, что больше не смогу ее найти.

Все стало огненно-красного цвета, который медленно перешел в цвет индиго, а затем в фиолетовый, и экран погас. Головная боль стала невыносимой.

— Мистериум Магнум, — громко и спокойно произнес стоявший рядом со мной Алье.

— Возрождение нового человека через смерть и страдания. Должен признать, отличное исполнение, даже если пристрастие к аллегориям повлияло на точность воспроизведения всех этапов. Естественно, вы видели всего лишь представление, но оно рассказывает о Вещи. И наш хозяин утверждает, что ему удалось эту вещь воспроизвести. Пойдемте, господа, посмотрим на свершившееся чудо.

И если рождаются такие чудовища, надо полагать, что это — творение природы, хотя внешне они отличаются от человека.

Paracelse. De Homunculis, в: Operum Volumen Secundum, Geneva, DeToumes, 1658, с.475

Мы вышли в сад, и я сразу же почувствовал себя лучше. Я так и не решился спросить у остальных, действительно ли приехала Лоренца. Это был сон. Но сделав несколько шагов, мы вошли в оранжерею, и я опять ощутил удушье от жары. Среди растений, в основном тропических, стояли шесть стеклянных, герметично закрытых и опечатанных колб, отлитых в форме груши или, возможно, слезы и наполненных жидкостью лазурного цвета. Внутри каждой из них плавало по существу сантиметров двадцать ростом. Мы узнали седовласого короля, королеву, мавра, воина и двух отроков — один голубой, другой розовый — увенчанных лаврами... Они совершали грациозные плавательные движения так, словно находились в родной среде.

Трудно было понять, сделаны они из пластика, воска или же речь идет о живых существах, поскольку мутная жидкость не позволяла увидеть, действительно ли их слабое дыхание настоящее или же это просто оптический обман.

— Похоже, они растут с каждым днем, — сказал Алье. — Ежедневно с утра сосуды зарывают в куче свежего навоза, конского, еще теплого, который обеспечивает самую подходящую для роста температуру. Именно поэтому Парацельс указывает, что гомункулулов необходимо выращивать при температуре лошадиной утробы. Наш хозяин утверждает, что эти гомункулуловы разговаривают с ним,веряют ему секреты, пророчат, один раскрывает настоящие размеры Храма Соломона, другой рассказывает, как изгнать демонов... Честно говоря, лично я никогда не слышал, чтобы они говорили.

У них были очень выразительные лица. Король нежно смотрел на королеву, его взгляд был полон любви.

— Хозяин говорит, что однажды утром увидел неизвестно как выбравшегося из сосуда синего отрока, который пытался откупорить сосуд своей спутницы... Находясь вне своей стихии, он с трудом дышал; его еле удалось спасти, поместив обратно в жидкость.

— Ужасно! — произнес Диоталлеви. — Вообще-то, мне бы не хотелось их иметь. Пришлось бы постоянно носить с собой эти сосуды и искать навоз. А что делать с ними летом? Оставлять на консьержа?

— Но, возможно, — заключил Алье. — они всего лишь людионы, картезианские дьяволы. Или же автоматы.

— Черт возьми, черт возьми! — пробормотал Гарамон. — Вы только что открыли для меня новый мир, доктор Алье. Дорогие друзья, нам всем не мешало бы быть смиреннее. Есть многое на небесах и на земле... Но, в конце концов, на войне, как на войне...

Гарамон был просто-напросто потрясен. Лицо Диоталлеви выражало циничную заинтересованность, Бельбо никак не проявлял своих чувств.

Желая освободиться от всяких сомнений, я обратился к нему:

— Как жаль, что Лоренца не поехала с нами, ее бы это развлекло.

— Да, жаль, — подтвердил он тоном человека, мысли которого находятся где-то очень далеко.

Лоренца не приехала. А я ощущал себя, как Ампаро в Рио. Мне было не по себе. Я чувствовал себя обманутым. Никто не подал мне агогон.

Я оставил своих спутников, вернулся в здание и, прокладывая себе путь сквозь толпу, добрался до буфета и взял какой-то прохладительный напиток, хотя опасался, что это может быть и приворотное зелье. Я искал туалетную комнату, чтобы смочить себе виски и затылок. Найдя ее, я наконец испытал облегчение. Однако, когда я оттуда вышел, меня заинтересовала небольшая винтовая лестница, и я не смог противостоять соблазну нового приключения. Быть может, хотя мне казалось, что рассудок вернулся, я продолжал искать Лоренцу.

Несчастный безумец! Неужели ты настолько наивен, что полагаешь, будто мы в самом деле откроем тебе самую великую из тайн? Уверяю тебя, каждый, кто возьмется объяснить с точки зрения обычного и литературного смысла слов то, о чем пишут философы-герметисты, тут же попадет в объятия лабиринта, из которых не сможет освободиться, и у него не будет нити Ариадны для того, чтобы найти выход.

Artephius

Я очутился в скудно освещенном зале, расположенном ниже уровня земли, стены его, как и фонтаны в парке, были украшены раковинами и камнями. В одном из его углов я обнаружил отверстие, похожее на раструб замурованной трубы, и еще издали услышал доносящиеся оттуда звуки. Я приблизился, и звуки стали более различимы, я уже прекрасно понимал слова, чистые, отчетливые, будто их произносили где-то совсем рядом. Ухо Дионисия!

Ухо, очевидно, сообщалось с одним из верхних залов и служило для подслушивания разговоров тех, кто в этот момент находился в непосредственной близости от входного отверстия.

— Мадам, я скажу вам то, чего еще никому не говорил. Я устал... Я работал с киноварью, ртутью, сублимировал спирт, ферменты, соли железа, стали и их шлаки, но не нашел Камня. Затем я приготовил укрепляющую, разъедающую и горящую воду, но результат был тот же. Я использовал яичную скорлупу, серу, купорос, мышьяк, нашатырь, соли стекла, алкалиновую, кухонную и каменную соли, селитру, натриевую соль, соль винного камня, карбонат калия, алембротскую соль, но, поверьте мне, не стоит всему этому доверять. Лучше избегать несовершенных, грубых металлов, иначе вы рискуете обмануться, как это было со мной. Я испробовал все: кровь, волосы, душу Сатурна, маркасситы, чеснок, марсианский шафран, стружки и шлаки железа, свинцовый глет, сурьму — все напрасно. Я работал над

тем, чтобы извлечь из серебра масло и воду; я обжигал серебро со специально приготовленной солью и без нее, а также с водкой, и добыл из него едкие масла, вот и все. Я употреблял молоко, вино, сычужину, сперму звезд, упавших на землю, чистотел, плаценту; я смешивал ртуть с металлами, превращая их в кристаллы; я направил свои поиски даже на пепел... Наконец...

— Что — наконец?

— Ничто на свете не требует большей осторожности, чем истина. Обнаружить ее — это все равно что пустить кровь прямо из сердца...

— Довольно, довольно, мои нервы и так уже не выдерживают...

— Вам одному я могу доверить свою тайну. Я не принадлежу ни к какому месту, ни к какой эпохе. Я существую вечно вне времени и пространства. Существуют люди, у которых нет ангела-хранителя, и я один из них...

— Но зачем же вы привели меня сюда? Послышался еще один голос:

— Ну что, дорогой Бальзамо, играем в миф о бессмертии?

— Придурок! Бессмертие не миф, а реальность!

Эта болтовня мне надоела, и я уже готов был уйти, как вдруг услышал голос Салона. Говорил он тихо, с придыханием, словно удерживал кого-то за руку. Я узнал голос Пьера.

— Да бросьте, — говорил Салон, — не станете же вы утверждать, что пришли сюда из-за этой алхимической буффонады. И не для того, чтобы подышать свежим воздухом в саду. А вы знаете, что после Гейдельберга де Каус принял приглашение короля Франции заняться очисткой Парижа?

— Очисткой фасадов?

— Он не был Мальро. Подозреваю, что речь шла о канализации. Странно, правда? Этот господин придумывал символические апельсиновые рощи и яблоневые сады для императоров, а, в сущности, его интересовали подземелья Парижа. В те времена в Париже не существовало настоящей канализационной сети. Это была путаница из выходящих на поверхность земли каналов и подземных туннелей, о которых мало что было известно. Еще во времена республики римляне знали все о своей Сюаса Махима, а через тысячу пятьсот лет в Париже никто понятия не имел, что происходит под землей. И тогда де Каус принял предложение короля, потому что хотел узнать нечто большее.

Но что? После де Кауса Кольбер решил очистить подземные стоки (это был только предлог, поскольку, заметьте, речь идет об эпохе Железной Маски) и послал туда каторжников; они отправляются в рейс по реке экскрементов, плывут по течению по направлению к Сене и беспрепятственно удаляются в своей лодке, поскольку никто не посмел встать на пути этих несчастных, источавших ужасную вонь и окруженных роем мух... Тогда Кольбер ставит жандармов у каждого выхода к реке, и каторжники нашли свою смерть под землей. В течение трех веков в Париже удалось пройти всего лишь три километра канализации. Однако в XVIII веке пройдено уже двадцать шесть километров, и произошло это как раз накануне революции. Вам это ни о чем не говорит?

— О, знаете, это...

— Дело в том, что к власти пришли новые люди, которым было известно нечто такое, чего не знали их предшественники. Наполеон отправляет целые отряды людей, которые бредут в темноте сквозь отбросы великой метрополии. Тот, кто не побоялся этой работы, обнаружил там много вещей. Кольца, золото, колье, другие драгоценности, которые неизвестно как попали в эти стоки. Я говорю о людях со здоровыми желудками: ведь они проглатывали то, что находили, а после выхода наружу принимали какое-нибудь очистительное средство и остаток жизни проводили в достатке. Было также обнаружено, что от многих домов подземные ходы ведут в канализацию.

— Ну, это уже...

— Во времена, когда содержимое ночного горшка выбрасывалось прямо в окно? И почему еще с тех времен остались туннели с боковыми ступеньками, а в их стены по обе стороны вмурованы два железных кольца, за которые можно ухватиться? Эти ходы вели к неким *tapis francs*, где собирались отбросы общества, *la pègre*, как тогда говорили, и в случае появления полиции можно было нырнуть в такой подземный ход и явиться на свет в совершенно другом месте.

— Узнаю газетных писак...

— Ах вот как? Интересно, кого вы хотите защитить? При Наполеоне III барон Хаусманн специальным декретом предписал, чтобы для каждого дома в Париже были построены автономный мусоросборник и канал, по которому отходы поступали бы в

канализационный коллектор... Это туннель два метра тридцать сантиметров высотой и метр тридцать шириной. Вы только себе представьте! Каждый дом Парижа сообщается подземным ходом с канализацией. А знаете, какова сегодня длина парижской канализации? Две тысячи километров на различных уровнях. А все началось с того, кто спроектировал в Гейдельберге эти сады...

— И что из этого?

— Вижу, у вас действительно нет желания разговаривать со мной. Или вы что-то знаете и не хотите мне сказать.

— Прошу вас, оставьте меня; вы меня здесь держите, а там меня ожидают, чтобы начать собрание.

Звук удаляющихся шагов.

До меня так и не дошло, чего хотел добиться Салон. Я огляделся вокруг, насколько мне позволяло узкое пространство между стеной, украшенной раковинами и камнями, и раструбом трубы, и у меня возникло ощущение, что я тоже нахожусь в подземелье, а надо мной сомкнуты своды, и что этот канал подслушивания ведет не иначе как в темные подземные туннели, которые сходятся в самом центре земли, где слышится поступь Нибелунгов. Меня обдало холодом. Я уже собирался уйти, как вдруг услышал еще один голос:

— Пойдем. Сейчас начинаем. В потайном зале. Позовите остальных.

Это Золотое Руно стережет трехглавый Дракон. Одна его голова произошла от воды, другая — от земли, а третья — от воздуха. И эти три головы должны быть обязательно соединены в одном, самом сильном Драконе, который сожрет всех остальных Драконов.

*Jean d'Espagnet. Arcanum Hermeticae
Philosophiae Opus, 1623, 138*

Я вернулся к своим спутникам и рассказал Алье, что слышал о каком-то собрании.

— А вы становитесь любопытным! — сказал Алье. — Но я могу вас понять. Если человек решил углубиться в тайны герметизма, он ничего не хочет упускать. Так вот, насколько мне известно, сегодня вечером должна состояться инициация нового члена Старинного и Общепринятого Ордена Розенкрейцеров.

— А можно это увидеть? — спросил Гарамон.

— Нельзя. Не положено. Не подобает. Не нужно. Однако мы поступим, как те герои греческого мифа, которые увидели то, на что не должны были смотреть, и подставим чело гневу богов. Я дам вам возможность на это взглянуть.

Он провел нас по узкой лестнице в темный коридор, отодвинул портьеру, и через закрытую застекленную дверь мы увидели расположенный ниже зал, освещенный пылающими жаровнями. Стены его были обиты камчатной тканью, расшитой лилиями, а в глубине возвышался трон с позолоченным балдахином. По обе его стороны на двух треногах стояли вырезанные из картона или пластика модели Солнца и Луны, примитивно выполненные, однако покрытые то ли оловянной фольгой, то ли металлическими пластинами, разумеется золотыми и серебряными, и это производило не наихудший эффект, поскольку каждое из небесных тел было подсвечено пламенем жаровен. Над балдахином с потолка свисала огромная звезда, сверкающая драгоценными камнями или стеклянными изразцами.

Потолок был обит синей камчатной тканью, усеянной серебряными звездами.

Перед тронем стоял длинный, украшенный пальмами стол, на котором лежала шпага, а прямо перед столом стояло чучело льва с широко раскрытой пастью. Очевидно, в голову зверя была вставлена красная лампочка, поскольку его глаза сверкали, а пасть, казалось, изрыгала пламя. Я подумал, что к этому, должно быть, приложил руку господин Салон, и наконец понял, о каких особенных клиентах он говорил в тот день в Мюнхене.

Около стола стоял Браманти, наряженный в пурпурную тунику и зеленые расшитые литургические одежды, на плечи его была наброшена белая мантия с золотой бахромой, на груди висел крест, а на голове был убор, чем-то отдаленно напоминающий митру и украшенный бело-красным султаном. Перед ним, расположившись в иерархическом порядке, стояло еще человек двадцать, тоже одетых в пурпурные туники, но без убранства для литургии. У всех на груди было что-то позолоченное, показавшееся мне знакомым. Я вспомнил об одном портрете эпохи Ренессанса: большой габсбургский нос и у пояса этот странный ягненок с бессильно свисающими ножками. Эти люди использовали его в качестве имитации Золотого Руна.

Браманти что-то говорил, воздев руки кверху, словно произносил литанию, а присутствующие вторили ему. Затем Браманти поднял шпагу, и все достали из-под туник стилеты или ножи для разрезания бумаги и скрестили их. Именно в этот момент Алье опустил портьеру. Мы увидели слишком много.

Мы удалились (на манер аллюра Розовой пантеры, как определил Диоталлеви, прекрасно информированный по части извращений современного мира) и, слегка запыхавшиеся, опять очутились в саду. Гарамон был потрясен. — Так это... масоны?

— О, — протянул Алье. — Кто такие масоны? Это последователи одного рыцарского ордена, который опирается на розенкрейцеров, а косвенно и на тамплиеров.

— Но разве все это имеет отношение к масонству? — настаивал Гарамон.

— Если то, что вы только что увидели, и имеет что-либо общее с масонством, так это то, что обряд, придуманный Браманти, является хобби для людей либеральных профессий и провинциальных

политиков. Так уж сложилось с самого начала: франкмасонство всегда сводилось к чистой спекуляции на мифе о тамплиерах. Карикатура карикатуры. Но эти господа воспринимают все безумно серьезно. Увы! Мир кишит такими поклонниками розенкрейцеров и тамплиеров, которых вы видели сегодня. От подобных людей не приходится ожидать серьезных познаний, хотя именно среди них иногда можно встретить образованного человека, достойного нашей веры.

— Однако вы бываете в их кругах? — спросил Бельбо безо всякой иронии и заметного подвоха, словно этот вопрос касался его лично. — Кому из них... извините... кому можно было бы доверять?

— Конечно же, никому! Неужели я похож на человека доверчивого? Я смотрю на них также — с хладнокровием, пониманием, интересом — как любой теолог наблюдает за неаполитанской толпой, орущей в ожидании чуда на праздник святого Януария. Эта толпа — свидетельство веры и глубокой потребности в чуде, и теолог бродит среди потных и облюндранных людей в надежде встретить святого, который сам себя не знает, который является носителем истины высшего порядка и может однажды пролить свет на тайну Пресвятой Троицы. Но при этом не следует путать Пресвятую Троицу со святым Януарием.

Он был неуязвим. Не знаю, какими словами можно охарактеризовать его герметический скептицизм, его литургический цинизм, его высочайшее неверие, позволявшее ему с уважением относиться к тем предрассудкам, которые сам он презирал.

— Все просто, — продолжил он свой ответ, — если подлинные тамплиеры оставили тайну своим продолжателям, необходимо разыскать этих людей, а сделать это проще всего в среде, где им легко скрываться и где они, возможно, сами придумывают новые обряды и мифы, чтобы действовать, не обращая на себя внимания, словно рыбы в воде. Как действует полиция, когда разыскивает беглого преступника, высочайшего класса гения зла? Она прочесывает дно, на котором обитают отбросы общества, например пользующиеся дурной репутацией бары, где обычно околачиваются мошенники мелкого калибра, не способные подняться до уровня величайших преступлений, которые по плечу разыскиваемому беглецу. Как действует стратег террора, чтобы завербовать сообщников, найти своих, обнаружить близких себе по духу? Он кружит по барам, где

собираются псевдовозбудители порядка, особи слишком низкого полета, чтобы что-нибудь возбудить, их удел — демонстративное подражание своим кумирам. Утерянный огонь ищут среди горящих углей или в лесных зарослях: там палят костры, и маленькие искорки тлеют еще под сухими ветками, торфом, полусожженной листвой. А где же лучше спрятаться настоящему тамплиеру, как не в толпе карикатур на самого себя?

Друидическими общинами можно считать общины, которые называются таковыми и преследуют цели, начертанные друидами, а также совершают инициации, обращаясь к друидизму.

M. Raoult. Les druides. Les sociétés initiatiques celtes antérieures, Paris, Rocher, 1983, с. 18

Близилась полночь, и согласно программе, составленной Алье, нас ожидал еще один сюрприз. Мы покинули дворцовые сады и продолжили нашу прогулку среди холмов.

Через три четверти часа Алье посоветовал припарковать наши машины на краю лесных зарослей. Как он пояснил, нам нужно было пробраться сквозь чащу на одну поляну, куда не было ни дороги, ни тропинки.

Мы шли немного под гору, продираясь сквозь лесные заросли; нельзя сказать, чтобы здесь было мокро, но наши ноги ступали по настилу из гниющих листьев и скользким корням. Время от времени Алье доставал карманный фонарик, чтобы сориентироваться, где лучше пройти, но после этого сразу выключал его, говоря, что не стоит уведомлять о нашем присутствии участников церемонии. Диоталлеви в какой-то момент попытался было вставить какой-то комментарий, не помню уже какой, возможно, он вспомнил о Красной Шапочке, но Алье достаточно настойчиво попросил его воздержаться.

Когда мы уже выходили из кустов, услышали отдаленные голоса. Наконец-то мы добрались до лесной поляны, освещенной рассеянным сиянием — возможно, лучинами или, скорее, светлячками, которые волнообразно двигались у самой поверхности земли и излучали слабый серебристый свет, — как будто горела какая-то летучая субстанция, холодная с химической точки зрения, заключенная в мыльные пузыри, которые витали над травой. Алье попросил нас остаться на месте, под прикрытием кустов, и не подавать признаков жизни.

— Скоро сюда придут жрицы. Друидессы. Они будут взывать к великой космической богومатери Микиль, известной в христианстве как святой Михаил. И не случайно этот святой — ангел, а значит андрогин, который мог занять место женского божества...

— А откуда они должны прибыть? — шепотом осведомился Диоталлеви.

— Из разных мест: из Нормандии, Норвегии, Ирландии... Сегодня особенное событие, а местность благоприятна для проведения обрядов.

— Почему? — спросил Гарамон.

— Потому что одни места магические, а другие нет.

— Но кто они... в повседневной жизни? — допытывался Гарамон.

— Люди. Секретари-машинистки, страховые агенты, поэтессы. Люди, которых, встретив завтра, вы можете не узнать.

Мы увидели небольшую группу людей, готовящихся к выходу на середину поляны. Я понял, что тот холодный свет исходил от маленьких фонариков, скрытых в ладонях жриц, а поскольку поляна лежала на вершине холма, то создавалось впечатление, будто они светят над самой поверхностью земли; издали я увидел, как жрицы, подходя со стороны долины, появлялись на противоположном конце поляны. На них были белые туники, развевавшиеся на легком ветерке. Они стали в круг, а на середину вышли три жрицы.

— Это три *hallouines* из Лизье, Клонмакна и Пино Торинезе, — пояснил Алье.

Бельбо поинтересовался, почему именно из этих мест, но Алье лишь пожал плечами.

— Тише, подождите. В трех словах мне не объяснить значение обряда и иерархию нордической магии. Вам придется довольствоваться тем, что я успеваю сказать. Если я не даю более пространных пояснений, то потому, что сам не знаю... или не могу вам это открыть. Я должен почитать обет молчания...

В самом центре поляны я заметил грудку камней, по своей форме напоминавшую, хотя только в общих чертах, дольмен. Возможно, эти глыбы и определили выбор места для проведения обряда. Одна из трех жриц поднялась на дольмен и подула в трубу. Эта труба, по сравнению с инструментом, который мы видели несколькими часами раньше, еще больше походила на горн для триумфального

марша Аиды. Однако из нее раздался приглушенный, мрачный звук, который, казалось, долетал откуда-то издалека. Бельбо взял меня за локоть:

— Это же настоящая рамсинга тугов под священным баньяном...

В ответ я поступил совершенно неделикатно. Я не сразу понял, что он шутит для того, чтобы не вызывать других аналогий, и бросил щепоть соли на его рану:

— Конечно, генис был бы менее волнующим.

Бельбо утвердительно кивнул.

— Потому-то я и стою здесь, что не хочу генис. Не знаю, может, именно в этот вечер он стал улавливать связь между своими видениями и тем, что случилось с ним за последние месяцы.

Алье не слышал наш разговор, но заметил, что мы перешептываемся.

— Это не сигнал и не предупреждение, — сказал он, — а определенного вида ультразвук, позволяющий установить контакт с подземными волнами. Видите, жрицы взяли за руки и стали в круг. Они таким образом создают некий живой аккумулятор, который принимает и концентрирует теллурические вибрации. Сейчас должно появиться облако...

— Какое облако? — шепотом спросил я.

— По традиции называется зеленым облаком. Немного терпения...

Я не был готов к появлению никакого зеленого облака. И вот совершенно неожиданно с земли поднялась шелковистая дымка, которую можно, было бы назвать облаком, будь она однообразной и более плотной. Однако она состояла из отдельных хлопьев, которые скреплялись в какой-то определенной точке, а затем, подхваченные дуновением ветра, взлетали, словно клубы сахарной ваты, проплывали в воздухе и снова сбивались в ком на другом конце поляны. Это было необыкновенное зрелище: иногда хлопья появлялись где-то на фоне дерева, иногда все терялось в бледноватом тумане, потом вдруг в центре поляны поднимался клуб дыма, скрывая от нашего взгляда все, что там происходило, и оставляя видимыми только край поляны и небо, где по-прежнему светила луна. Движения хлопьев были резкими, неожиданными, словно они повиновались какому-то капризному дуновению.

Сначала я подумал, что это могут быть химические штучки; затем, поразмыслив, решил, что на высоте в шестьсот метров вполне реальны настоящие облака. Они были предусмотрены ритуалом, призваны? Вполне вероятно, что нет, возможно, жрицы вычислили, что на такой высоте при благоприятных обстоятельствах у самой земли могут образовываться эти величественные облака.

Трудно было не восхищаться великолепием зрелища, тем более что одеяния жриц сливались с белизной дымки и их силуэты то появлялись, то исчезали в этой молочной субстанции, словно поглощались ею.

Наступил момент, когда облако заняло весь центр поляны, а одинокие клубящиеся шары, удлинняясь, взлетали вверх и почти полностью закрывали луну, при этом, впрочем, не превращая поляну, которая оставалась светлой по краям, в мертвенно-белую пустыню. И вдруг мы увидели, как от облака отделилась друидесса и, вытянув вперед руки, с криком бросилась к лесу; я даже подумал, что она обнаружила нас и теперь старается обратить на нас свое проклятие. Однако в нескольких метрах от нас она неожиданно изменила направление и принялась бегать вокруг белого пятна, затем исчезла в облаке с его левой стороны, чтобы через несколько минут возникнуть с правой, и опять она пробежала так близко от нас, что я смог разглядеть ее лицо. Это была сивилла с большим дантевским носом над тонким, словно расщелина, ртом, раскрывавшимся будто морской цветок, беззубым, если не считать двух резцов и нарушающего симметрию клыка. Глаза ее были быстрые, хищные, с пронизывающим взглядом. Мне послышалось или показалось — и на этот образ накладываются другие воспоминания, — что вместе с серией слов, произнесенных на языке, который я принял за гаэльский, я услышал пару заклинаний полатыни, нечто вроде «o regnia (oh, e oh! intus) et eee uluma!!!», и неожиданно облако почти полностью растаяло, поляну опять залил яркий свет, и я увидел, что ее оккупировало стадо приземистых свиней с ошейниками из недозрелых яблок. Друидесса, которая играла на трубе, все так же стояла на дольмене, потрясая ножом.

— Пошли, — сухо бросил Алье — Это все. Слушая его, я заметил, что облако нас полностью окутало, я уже почти не видел моих спутников.

— Как это, все? — послышался голос Гарамона. — Похоже, что самое интересное только начинается!

— Это все, что можно вам видеть. Остальное — исключено. Давайте уважать обряд. Пошли.

Я вошел в лес, и тут же меня обволокла окружающая нас влага. Мы шли, дрожа от холода, скользя по настилу из гнилых листьев, тяжело дыша, не разбирая пути, словно солдаты обратившейся в бегство армии. Мы добрались до дороги. Через два часа можно было уже быть в Милане. Садясь в машину Гарамона, Алье на прощание сказал:

— Извините, что прервал зрелище. Я хотел, господа, чтобы вы кое-что узнали, чтобы вы узнали кого-то, кто живет вокруг вас и для кого вы, собственно, отныне собираетесь работать. Однако больше этого вам видеть нельзя. Когда мне сообщили об этом событии, я пообещал, что не нарушу хода церемонии. Наше присутствие могло бы отрицательно сказаться на том, что последовало дальше.

— А свиньи? Что там происходит? — попробовал выведать Бельбо.

— Я уже сказал все, что мог.

- *О чем ты думаешь, когда смотришь на эту рыбу?*
- *О других рыбах.*
- *А когда смотришь на других рыб?*
- *Еще о других рыбах.*

Джозеф Хеллер. Уловка 22

/Joseph Heller. Catch 22. New-York, Simon & Schuster, 1961, XXVII)/

Из Пьемонта я вернулся обуреваемый угрызениями совести. Однако, увидев Лию, позабыл о всех своих вожделениях.

Следует сказать, что эта поездка навела меня на новые следы, и теперь меня больше всего заботило то, что я прежде этим не занимался. Я как раз главу за главой упорядочивал иллюстрации к истории металлов, и мне никак не удавалось вырваться из объятий демона аналогии, как это уже однажды случилось в Рио. Чем отличаются друг от друга цилиндрическая печь Реомюра 1750 года, инкубатор для выведения птенцов и атанор XVII столетия, эта материнская утроба, мрачная матка для выращивания Бог знает каких мистических металлов? У меня было такое ощущение, будто в пьемонтский замок, где я побывал неделю назад, перевезли весь Немецкий музей.

Мне становилось все труднее вылуцивать мир магии из того, что мы называем сегодня миром точных измерений. Я вновь сталкивался с людьми, о которых еще в школе говорили, что они несут свет математики и физики в дебри суеверий, и обнаруживал, что свои открытия они делали, опираясь, с одной стороны, на лабораторию, а с другой — на Каббалу. Возможно, всю истерию я читал по-новому, глазами сатанистов? Однако вскоре мне в руки попались подлинные тексты, где рассказывалось о том, как физики-позитивисты прямо с университетской скамьи спешили на десерт посетить сеансы медиумов и собрания астрологов и каким образом Ньютон открыл закон

всемирного тяготения, веря в существование оккультных сил (я вспомнил его исследования по космологии розенкрейцеров).

Я дал себе обещание все в науке подвергать сомнению, но теперь я не мог доверять даже мэтрам, которые учили меня во всем сомневаться. Я сказал себе, что в этом похож на Ампаро: не верю, но уступаю. Я ловил себя на размышлениях о том, что высота большой пирамиды действительно равна одной миллиардной расстояния между Землей и Солнцем, или о том, что между мифологиями кельтов и американских индейцев сами собой напрашиваются аналогии. И тогда я начинал вопрошать все, что меня окружало: дома, вывески магазинов, облака в небе, гравюры в библиотеках, умоляя раскрыть не их собственную историю, а ту, другую, которую они несомненно скрывали, но о которой можно было догадаться, исследуя их свойства и таинственную схожесть.

Меня выручила Лия, по крайней мере на какое-то время. Я рассказал ей все (или почти все) о своей поездке в Пьемонт, и с тех пор каждый вечер возвращался домой с новыми интересными данными, которые включал в свой список совпадений. Лия комментировала: «Ешь, ты стал тощий как щепка». Однажды вечером она присела к моему столу, волосы разделила посреди лба, чтобы смотреть мне прямо в глаза, руки сложила на животе, как это делают крестьянки. Она никогда не сидела так, с расставленными ногами, с юбкой, натянутой между коленями. Я подумал, что эта поза лишена привлекательности. А потом взглянул на ее лицо, и оно мне показалось как никогда светлым и нежным. Я выслушал ее — хоть сам еще не знал почему — с уважением.

— Пиф, — сказала она, — мне совсем не нравится то, как ты работаешь в издательстве «Мануций». Прежде ты собирал факты и нанизывал их словно ракушки. А теперь создается впечатление, будто ты зачеркиваешь номера в лото.

— Это только потому, что числа мне кажутся более забавными.

— Это не забава, а увлечение, это разные вещи. Смотри, ты можешь заболеть.

— Не будем преувеличивать. Кроме того, больны пока что они. Человек не становится сумасшедшим только потому, что работает санитаром в психиатрической клинике. — Это еще надо доказать, — Знаешь, я всегда с недоверием относился к аналогиям, а теперь у меня

в голове парад аналогий, какой-то Кони Айленд, Первое Мая в Москве, целый Святой Год аналогий. Я замечаю, что некоторые из них лучше, чем другие, и задумываюсь, нет ли тому объяснений.

— Пиф, — сказала Лия, — я видела твои карточки — ведь в мои обязанности входит раскладывать их по порядку. Какие бы открытия ни сделали твои сатанисты, они уже давно здесь, стоит только хорошо присмотреться.

И она похлопала себя по животу, бокам, бедрам и по лбу. Когда она сидела так, с расставленными коленями, которые натягивали юбку, то казалась крепкой и цветущей кормилицей — она, такая тонкая и гибкая, — потому что кроткая мудрость придавала ей матриархальный авторитет.

— Пиф, нет архетипов, существует тело. Живот внутри прекрасен, потому что там созревает ребенок, туда радостно влетает твой птенчик и оставляет очень вкусное блюдо, поэтому так хороши и важны пещеры, овраги, норы, подземелья и даже лабиринты, которые напоминают нашу добропорядочную и святую требуху, и если кто-нибудь захочет создать нечто весьма значимое, он добудет это нечто именно из живота, ведь ты тоже из него появился в день своего рождения; плодородие всегда связано с какой-нибудь дырой, в которой вначале что-то томится, а затем появляется маленький китаец, финик, баобаб. Однако верх всегда лучше, чем низ, поскольку, когда стоишь на голове, в мозг приливает чересчур много крови, потому что ноги воняют, а волосы нет, потому что лучше взобраться на дерево и собирать плоды, чем закончить под землей и откармливать червяков, потому что, устремляясь вверх (собственно, ты хотел идти на чердак), ты редко причиняешь себе боль, а последствия падения на землю обычно бывают весьма болезненными, а значит, верх — вместилище ангельских сил, а низ — дьявольских. Но поскольку то, что я перед тем сказала о моем красивом животике тоже правда, обе вещи соответствуют истине: низ и середина прекрасны с одной стороны, а верх — с другой, и ни всемирные противоречия, ни дух Меркурия ничего не могут тут поделаться. Огонь дает тебе тепло, а холод приносит бронхит, и если рассуждать с точки зрения ученого, жившего четыре тысячелетия назад, именно огонь обладает полезными и таинственными свойствами, тем более что на нем можно изжарить себе цыпленка. Однако холод консервирует этого же цыпленка, а если

сунешь руку в огонь, сразу же появится волдырь, о, такой огромный; так что если хочешь подумать о чем-то, что хранится тысячелетиями, как разум, то лучше это делать на вершине горы (мы уже видели, как это хорошо), или же в пещере (что тоже хорошо), или же в вечном холоде тибетских гор (что вообще прекрасно). А если хочешь знать, почему разум пришел к нам с Востока, а не, скажем, со швейцарских Альп, так это потому, что взоры твоих предков, которые просыпались еще до восхода солнца, были устремлены на восток в надежде, что солнце взойдет и не будет дождя. Что за время!

— Конечно, мама.

— А как же, малыш. Солнце хорошо уже тем, что согревает тело, и еще потому, что у него хватает ума вставать каждое утро, хорошо все то, что возвращается, а не то, что отходит и навсегда исчезает и с глаз, и из сердца. Наилучший способ вернуться туда, откуда ты вышел, не повторяя дважды пройденного пути, это идти по кругу. А поскольку единственное существо, способное свернуться в бублик, — змея, это и объясняет причину появления такого множества мифов и культов, связанных со змеей; ведь непросто представить себе возвращение Солнца, скручивая в крендель бегемота. Кроме того, если при проведении ритуала тебе необходимо воззвать к Солнцу, лучше всего перемещаться по кругу, поскольку если ты идешь по прямой линии, то всего лишь удаляешься от изначального места и церемония продлится недолго, а с другой стороны, круг — наиболее удобен для любого образца, и знают об этом даже огнеглотатели, выступающие на площадях: став в круг, все могут видеть то, что происходит в его центре, а если бы целое племя выстроилось в шеренгу как солдаты, тем, дальним, ничего не было бы видно. Вот почему круг — это движение, а движение — круговое, и циклические возвращения лежат в основе каждого культа и каждого обряда.

— Конечно, мама.

— А как же! А теперь давай перейдем к магическим числам, которые обожают твои авторы. Один — это ты, потому что второго такого нет, у тебя одна штучка, вот здесь, и у меня одна штучка, вот здесь, один нос, одно сердце, сам видишь, сколько важных вещей существует в единственном числе. Два глаза, уха, две ноздри, мои груди и два твоих яичка, две ноги, руки и половинки ягодич. Число три наиболее магическое, потому что наше тело его не знает, в нем ничего

нет в количестве трех, это должно быть очень таинственное число, которое мы приписываем Богу, где бы мы ни жили. Однако давай поразмыслим: у тебя есть одна хорошенькая штучка, у меня есть одна хорошенькая штучка — сиди и молчи, свое остроумие оставь при себе, — так вот, если эти две штучки сложить, на свет появится еще одно существо, и нас будет трое. Да неужели же нужно быть профессором университета, чтобы объявить о том, что абсолютно все народы имеют троичную структуру, говорят о троице и так далее? Не забывай, что в религии все расчеты проводятся без помощи компьютера, а наши предки были людьми из крови и костей, которые трахались точно так же, как и мы, так что все троичные структуры не представляют собой тайны, а лишь рассказывают то, что делаешь ты и что делали они. И дальше: две ноги и две руки — это четыре, ну и четыре — тоже хорошее число, ты вспомни: у животных по четыре лапы, маленькие дети ползают на четвереньках, о чем хорошо знал сфинкс. О пяти не стоит даже говорить, у нас пять пальцев на руке, а если посмотришь на свои две руки, то увидишь еще одно священное число — десять, это и понятно, ведь заповедей тоже десять, если бы, например, их было двенадцать, то священник, перечисляя их по пальцам: один, два, три... дойдя до последних, должен был бы использовать руку ризничего. А теперь посмотри на свое тело и сосчитай все части, торчащие из туловища: руки, ноги, голова и пенис, итого шесть, но у женщины — семь, именно поэтому твои авторы никогда не принимают шестерку всерьез, разве только как сумму трех, поскольку она относится только к мужчинам, которые не могут иметь семерку, и когда они командуют, то считают это число священным, забывая, что мои соски тоже торчат вперед, но — терпение. Восемь... Боже мой, у нас нет ни одной восьмерки... нет, погоди, если руки и ноги считать не одной единицей, а двумя, принимая во внимание колени и локти, то получится восемь длинных костей, торчащих из туловища, прибавь к этой восьмерке туловище — и получишь девять, плюс голова — десять. Тебе нужно лишь тело и ничего больше, чтобы получить все числа, которые захочешь, а подумай-ка об отверстиях.

— Об отверстиях?

— Да, сколько отверстий у тебя на теле?

— Ну... Глаза, ноздри, уши, рот, попа — итого восемь.

— Видишь? Еще один повод, чтобы признать восемь хорошим числом. А у меня их девять! И именно через девятое ты появился на свет, вот почему число девять более божественно, чем восемь! Хочешь, чтобы я тебе объяснила другие повторяющиеся символы? Нужно ли обнажать анатомию менгиров, о которых без усталости твердят твои авторы? Днем человек на ногах, а ночью он лежит, даже твой пенис (только не рассказывай сейчас, что он делает по ночам) работает стоя, а отдыхает лежа. Следовательно, вертикальное положение олицетворяет собой жизнь и находится в прямой связи с Солнцем, и даже обелиски тянутся вверх, как деревья, а горизонтальное положение и ночь — это сон и смерть; поэтому все боготворят менгиры, пирамиды и колонны и никто не почитает балконы или балюстрады. Приходилось ли тебе когда-нибудь слышать о древнем культе Священных Перил? Вот видишь! И опять же тому причиной строение тела, ты почитаешь вертикальный камень, даже если вас много, все его видят, а если бы все поклонялись горизонтальному предмету, он был бы виден лишь из первых рядов, а остальные толкались бы, крича: «а я, а я?!», что претит магической церемонии...

— А реки...

— Рекам поклоняются не потому, что они горизонтальны, а потому, что в них течет вода, и думаю, ты не станешь настаивать, чтобы я тебе объяснила, что связывает воду с телом... Ладно, короче говоря, мы такие, какие есть, у нас тела такие, а не другие, и поэтому мы, находясь за тысячи километров друг от друга, выбираем одни и те же символы; следовательно, все сходно, и ты сам знаешь, что люди, у которых есть хоть капля соображения, глядя на закрытую и теплую внутри печь алхимика, отождествляют ее с чревом матери, готовой произвести на свет ребенка, и лишь твои сатанисты, видя готовую вот-вот разродиться Богородицу, думают, что это намек на печь алхимика. Так и провели они тысячи лет в поисках тайного послания, а ведь все находилось рядом, достаточно было лишь посмотреть в зеркало.

— Ты всегда говоришь истину. Ты — мое Я, которое, впрочем, есть моей Душой, увиденной через твое Я. Я хотел бы открыть все тайные архетипы тела.

С этого вечера в наш язык вошло выражение «заниматься архетипами», которым мы определяли минуты нежности. Я уже засыпал, когда Лия прикоснулась к моему плечу.

— Чуть не забыла, — сказала она. — Я беременна.

Мне следовало бы прислушаться к словам Лии. Она говорила с мудростью человека, знающего, откуда берет свое начало жизнь. Спускаясь в подземелья Агарты, забираясь в пирамиду Изида без покрывал, мы приближались к Гевуре, сефире ужаса, в тот момент, когда в мире чувствовалась злость. Позволил ли я себе соблазниться хоть на миг мыслью о Софии? Моисей Кордоверо утверждает, что Женское начало лежит по левую сторону, и все его направления исходят из Гевуры... Разве что муж сумеет использовать эти способности, чтобы преобразить свою Супругу, и, сокрушив ее, направит к добру. Это как бы подтверждает мысль о том, что каждое желание должно оставаться в рамках своих возможностей. Иначе Гевура превращается в Строгость, в мрачное видение — во вместилище демонов.

Подчинить желание дисциплине... Так я и поступил в шатре умбанды, играя на агогоне и участвуя в представлении вместе с оркестром, и благодаря этому я избавил себя от возможности впасть в транс. Точно так же я поступил и с Лией, усмирив желание во имя Супруги, и был за это вознагражден в лоне моих чресел, семя мое было освящено.

Однако я не смог устоять. Вскоре Тиферет соблазнила меня своей красотой.

ТИФЕРЭТ

Мечтать о жизни в новом незнакомом городе — значит в скором времени умереть. В самом деле, мертвые обитают в другом месте, и никто не знает, где.

*Gerolamo Cardano. Somniorum Synesiorum,
Basel, 1562, 1, 58*

Если Гевура — это сефира зла и страха, то Тиферэт — сефира красоты и гармонии. По словам Диоталлеви, — освещающая созерцание, древо жизни, блаженство, пурпурная иллюзия. Это — Гармония Правила и Свободы.

И этот год стал для нас годом блаженства, шуточного извращения вселенского текста, временем совершения священного богослужения в честь обручения Предания с Электронной Машиной. Мы творили, и это нам доставляло удовольствие. Это был год создания Плана.

Для меня этот год был несомненно счастливым. Беременность Лии протекала без осложнений, а я, удачно маневрируя между издательством Гарамона и своей собственной деятельностью, научился жить без материальных проблем, мой офис так и остался в старом здании фабрики, но мы значительно обновили квартиру Лии.

Чудесное приключение металлов уже пребывало в руках корректоров и печатников. И именно в этот момент господину Гарамону в голову пришла гениальная мысль.

— Иллюстрированная история магических и герметических наук! Через какой-то год, с помощью материалов, которые поступают от всех этих сатанистов, вашей компетенции и советов такого необычного человека, как Алье, мы сможем издать книгу большого формата, четыреста богато иллюстрированных страниц, вклейки в таких цветах, что у читателя дух забьет. При этом мы сможем облегчить себе дело, запустив в работу часть иконографического материала из истории металлов.

— Да, но этот материал совершенно иного плана, — возразил я. — Что я стану делать, например, с фотографией циклотрона?

— Чего вы так переживаете? Больше воображения, Казобон, больше воображения! Что происходит в атомных механизмах, ну, в этих мегатронных позитронах, или как еще там они называются? Разваривают материю, добавляют немного швейцарского сыра, и получается кварк, черная дыра, отцентрифугированный уран или что там еще! Магия должна сделать свое дело, Гермес и Алхермес, — в общем, вы сами должны преподнести мне готовую сенсацию. Здесь, с левой стороны, должна быть гравюра Парацельса, абракадабра и алембики, конечно же на золотом фоне, а справа — квазары, смеситель тяжелой воды, гравитационно-галактическая антиматерия, — неужели я сам должен до этого додумываться? Тот, кто не способен во всем этом разобраться и барахтается как слепой в плену своих предубеждений, должен признать, что недостойн быть магом, он всего лишь ученый, который выманил тайну материи. Открывать чудеса вокруг нас, внушать, что в Монте Паломар сами не знают, что говорят...

Для поощрения моего энтузиазма он довольно ощутимо увеличил мне гонорар. Я бросился разыскивать миниатюры в «Liber Solis» Трисмозина, в «Liber Mutus» Псевдо-Луллия. Я набивал свои папки пятиконечными звездами, деревьями сефирот, деканами, талисманами. Ходил в самые забытые залы библиотек, покупал десятки книг у книготорговцев, некогда торговавших культурной революцией.

Я крутился среди сатанистов с непринужденностью психиатра, который проникся пониманием и любовью к своим пациентам и находит благотворными запахи, витающие в вековом парке его частной клиники. Вскоре такой психиатр начинает писать о психозе, а через какое-то время с этих страниц встает психоз. Психиатр не осознает, что пациенты соблазнили его, ему кажется, что он стал артистом. Так и родилась мысль о Плане.

Диоталлеви согласился участвовать в игре, потому что для него это была молитва. Что же касается Якопо Бельбо, то поначалу я полагал, что он забавляется так же, как я. И лишь теперь понятно, что игра не доставляла ему никакого удовольствия. Он участвовал в ней и не мог сдержаться, совсем как тот, кто привык грызть ногти.

А может быть, он принял правила этой игры, чтобы найти хотя бы одно ложное направление или театр без сцены, о которых он

повествует в файле под названием «Сон». Заменяющее богословие для ангела, который никогда не должен был бы появиться.

Имя файла: Сон

Не могу припомнить, было ли это одним сном, состоявшим из нескольких картин, либо несколькими снами, увиденными в течение одной ночи один за другим, или же просто смешавшимися друг с другом видениями.

Я ищу одну женщину, которую знаю, с которой был связан так сильно, что не могу понять, почему я ослабил эту связь, — все произошло по моей вине, потому что я не приходил. Мне кажется глупым то, что я упустил столько времени. Я уверен, что ищу именно ее, более того — их, она не одна, их было много, и я всех их потерял по одной и той же причине — из-за собственной лени, и удручает меня чувство неуверенности в себе, и одной из них было бы для меня вполне достаточно, поскольку я знаю, что, потеряв их, я потерял многое. Обычно я не могу решиться раскрыть свой блокнот с номерами телефонов, а если даже раскрываю его, то не могу прочесть имен — как будто у меня дальновзоркость.

Я знаю, где она живет, точнее, не знаю, знаю только, как выглядит то место, в памяти у меня запечатлелись подворотня, ступени, лестничная площадка. Я не бегаю по городу в поисках этого места, мной овладела какая-то тревога, чувствую заторможенность, не перестаю злиться на себя за то, что позволил или захотел, чтобы наши отношения угасли, — даже если это произошло просто потому, что я не пришел на последнее свидание. Я уверен, что она ждет моего звонка. Если бы я знал, как ее имя, хоть я прекрасно знаю, кто она, вот только не могу припомнить черты лица.

Временами, в наступающей полудреме, я подвергаю этот сон сомнению. Попытайся вернуть себе память, ты знаешь и помнишь все, только уже свел со всем этим счеты, или у тебя этих счетов никогда не было. Нет ничего, о чем бы ты не знал, где это находится. Ничего.

Меня мучает подозрение, что я что-то упустил, позабыл в суете о какой-то важной вещи, как забывают деньги или записку с нужными сведениями в одном из карманов брюк или в старом пиджаке, и лишь

какое-то время спустя человек осознает, что речь шла о чем-то чрезвычайно важном, решающем, единственном.

Образ города более выразителен. Это Париж, я сейчас на левом берегу, знаю, что если перейду через мост — окажусь на площади, кажется на площади Вогезов... нет, на какой-то большей по размерам, и в глубине вырисовывается здание, похожее на Мадлен. Я пересекаю площадь, обхожу костел, попадаю на улицу (на ее углу стоит антикварный книжный магазин), которая круто поворачивает направо, разветвляясь на множество улочек и переулков, и конечно же, я в Барселоне, в Баррио Готико. Надо выйти на какую-то улицу, очень широкую, ярко освещенную, и именно на этой улице, я с точностью помню, на правой стороне, в глубине глухого переулка стоит Театр.

Невозможно точно описать, что происходит в этом храме блаженства, несомненно что-то легкомысленное, веселое и вместе с тем подозрительное, как стриптиз (из-за этого я не решился навести более точные справки), и я знаю об этом достаточно, чтобы возбужденно думать о возвращении туда. Но напрасно: в окрестностях Чатам Роуд все улицы путаются.

Я просыпаюсь с сознанием того, что упустил важную для себя встречу. Не могу согласиться с тем, будто я не знаю, что же именно потерял.

Временами я вижу себя в большом деревенском доме. Он действительно велик, но я знаю, что в нем есть еще одно крыло, куда я никак не могу попасть — словно все входы в него замурованы. А в этом крыле множество комнат, которые я уже однажды видел, и невозможно, чтобы они привиделись мне в другом сне, а в этих комнатах старинная мебель и потемневшие гравюры, столики с изогнутыми ножками, на которых стоят вырезанные из картона театрики XIX века, диваны, покрытые большими расшитыми накидками, этажерки, полные книг. Все ежегодники «Иллюстрированного журнала путешествий и приключений на суше и на море», это неправда, что они совершенно истрепались, потому что их часто читали, и мама отдала их старьевщику. И я не могу понять, кто так запутал все эти коридоры и лестницы, ведь именно здесь, среди дорогих моему сердцу запахов старины, я хотел бы обустроить свое последнее пристанище.

Почему мне, как всем остальным, не снится выпускной экзамен?

Конструкция эта, высотой в шесть метров, была помещена в центре зала. Ее поверхность состояла из множества деревянных кубиков величиною с игральную кость, одни побольше, другие поменьше. Все они были сцеплены тонкими проволочками. На каждую из сторон кубиков было наклеено по кусочку бумаги, а на этих бумажках написаны были все слова их языка во всех временах, склонениях и спряжениях, но без всякого порядка... По его команде каждый ученик взялся за одну из железных рукояток, которые в количестве сорока были прикреплены к ребрам рамы, и когда они ее вдруг повернули, расположение слов совершенно изменилось. Тогда профессор приказал тридцати шести ученикам прочесть вполголоса образовавшиеся строки в том порядке, в каком они разместились на поверхности рамы; если случалось, что три или четыре слова, следовавших одно за другим, могли составить часть фразы, их диктовали остальным четырем ученикам...

J. Swift. Gulliver's Travels, III, 5

Думаю, в своих рассуждениях на тему сна Бельбо еще раз вернулся к мысли об упущенной возможности и предназначении, которое заставляет его отказаться от Момента, даже если такой подвернется, поскольку он не может его использовать. Он положил начало Плану, ибо согласился с тем, что будет создавать себе иллюзорные моменты.

Я попросил его найти какой-то текст, он принялся рыться в стопках рукописей, нагроможденных на столе без всякого порядка и вне зависимости от их объемов и размеров. Наконец он нашел то, что искал, и когда попытался вытащить нужную папку из-под горы других

рукописей, свалил их все на пол. Падая, папки раскрылись, а их содержимое разлетелось по сторонам.

— Разве нельзя было ее достать, сняв сначала верхнюю часть стопки? — заметил я.

Не стоило утруждать себя ответом, он всегда так поступал. И при этом неизменно отвечал:

— Ничего, вечером Гудрун соберет их. Необходимо, чтобы у нее в жизни было какое-то занятие, иначе она может деградировать как личность.

Однако на этот раз он натолкнулся на мою личную заинтересованность в сохранности материалов, ибо отныне я входил в число сотрудников издательства.

— Гудрун не сумеет разложить их в правильном порядке, она перепутает все рукописи.

— Диоталлеви не помнил бы себя от радости. Ведь из этого получатся совершенно иные книги, эклектичные, случайные. Это вполне соответствует логике сатанистов.

— Мы бы оказались в положении каббалистов. Целые тысячелетия, чтобы найти подходящую комбинацию. Для Гудрун вы просто отводите роль обезьяны, которая целую вечность стучит по клавишам печатной машинки. Единственная разница — время. В смысле эволюции мы ничего не выигрываем. А нет ли программы, по которой Абулафия мог бы сделать эту работу?

В этот момент появился Диоталлеви.

— Конечно, такая программа есть, — ответил Бельбо, — и теоретически она позволяет ввести до двух тысяч данных. Достаточно лишь сесть и написать такую программу. Допустим, речь идет о строках различных поэтических произведений. Программа спрашивает, какое количество строк должно иметь стихотворение, скажем десять, двадцать или сто. После этого программа проводит случайный выбор, а говоря проще, создает все новые комбинации. Даже если строк будет десять, можно получить тысячи и тысячи случайных произведений. Вчера вечером я ввел в программу строки вроде *дрожат нахолоде липы, мои веки отяжелели, если бы аспедистра пожелала, жизнь тебедают*, и так далее. И вот вам пару результатов.

Я не сплю ночами, играя на сестре,
Смерть, твоя победа
Смерть, твоя победа...
Если бы аспедистра пожелала...
Из сердца зари (о, сердце)
Если бы аспедистра пожелала...
Из сердца зари (о, сердце)
зловещий альбатрос
(если бы аспедистра пожелала...)
Смерть, твоя победа.
Дрожат на холоде липы,
Я не сплю ночами, играя на сестре,
Смотрит зловеще удов.
Дрожат на холоде липы.

— Тут есть повторы, и мне пока не удастся их избежать; похоже, это сильно усложняет программу. Но ведь повторы тоже имеют поэтическую ценность.

— Интересно, — подхватил Диоталлеви.

— Так, может быть, соединить меня с твоей машиной. А что, если я введу в нее всю Тору и потом попрошу — как это сказать? — произвести случайный выбор, сможет ли она стать как настоящая Темура и восстановить все строки Книги?

— Конечно, но только это вопрос времени. Ты сможешь получить результат через несколько веков.

Я предложил:

— А если ввести в нее несколько десятков предложений из произведений сатанистов, скажем о том, что тамплиеры бежали в Шотландию или что «Герметический Корпус» в 1460 году оказался во Флоренции, добавить к ним несколько связующих слов типа «очевидно, что...» или «таким образом, это доказывает, что...», и тогда мы сможем извлечь часть нужных нам сведений. Затем достаточно заполнить пропущенные места, а повторения истолковать как пророчества, внушение и напоминание. В самом худшем случае мы придумаем не опубликованный пока раздел истории магии.

— Гениально! — воскликнул Бельбо, — давайте займемся этим сейчас же!

— Нет, уже семь часов. Отложим до завтра.

— А я сделаю это сегодня же. Прошу вас только на минуту задержаться, нужно поднять с пола любую из двадцати страниц, и первая попавшаяся на глаза фраза станет нашей отправной точкой.

Я нагнуллся и подобрал какой-то лист.

— «Иосиф Аримафейский перевез Грааль во Францию».

— Отлично, записано! Продолжайте.

— «Следуя традиции тамплиеров, Годфрид де Буйон основал в Иерусалиме Великое Аббатство на Сионе. Дебюсси был розенкрейцером».

— Простите, — прервал нас Диоталлеви, — но необходимо также ввести несколько нейтральных данных, например что коала живет в Австралии или что Папен изобрел скороварку.

— Или что Минни обручена с Микки, — подсказал я.

— Не будем преувеличивать.

— Наоборот, будем преувеличивать. Если допустить возможность того, что во Вселенной существует хотя бы одна отправная точка, которая не является знаком чего-то иного, мы сразу же выходим за рамки герметического мышления.

— Верно. Пусть будет Минни. И если позволите, я введу ключевые данные: «Тамплиеры всегда к этому причастны».

— Это само собой разумеется, — подтвердил Диоталлеви. Мы работали так минут десять, пока не заметили, что уже действительно поздно. Однако Бельбо заверил нас, что мы можем не переживать. Он сам закончит работу. Пришла Гудрун и сказала, что пора закрываться, однако Бельбо ответил ей, что останется поработать и попросил собрать разбросанные по полу страницы. Гудрун издала нечленораздельные звуки, которые могли равно принадлежать латинскому языку и языку черемисов, но при этом абсолютно определенно выражали при этом недовольство и возмущение, и в этом виделся знак родства всех без исключения языков, произошедших от единого Адамового корня. Однако она все же выполнила поручение.

Утром Бельбо весь сиял от счастья.

— Функционирует! — восклицая он. — Функционирует и дает небывалые результаты! Он протянул нам распечатанный файл.

Тамплиеры всегда к этому причастны
То, что следует ниже, неправда
Иисус был распят при Понтии Пилате
Мудрый Ормуз основал в Египте Орден Розенкрейцеров
В Провансе есть каббалисты
Чья свадьба была в Кане?
Минни невеста Микки
Из этого следует, что
Если
Друиды поклонялись черной Богородице
Значит
Для Симона Мага София — блудница из Тира
Чья свадьба была в Кане?
Меровинги считают себя королями по праву Божьему
Тамплиеры всегда к этому причастны

— Немного туманно, — заметил Диоталлеви.

— Ты не умеешь замечать связи между словами. И не придаешь должного значения вопросу, который повторяется здесь дважды: чья свадьба была в Кане? Повторение — это магический ключ. Естественно, я это дополнил, но посвященный имеет право дополнить истину. Вот моя версия: Иисус не был распят, и именно поэтому тамплиеры не признавали распятия. Легенда об Иосифе Аримафейском скрывает непреложную истину: не Грааль, а Иисус оказался во Франции у каббалистов из Прованса. Иисус — это метафора Царя Мира, истинного основателя Розового Креста. И с кем же прибыл Иисус? Со своей женой. Почему в Евангелии не сказано, чья свадьба произошла в Кане? Да потому, что это была свадьба Иисуса, свадьба, о которой лучше было умолчать из-за всем известной грешницы Марии Магдалины. Вот почему с тех пор все просвещенные умы, начиная с Симона Мага и заканчивая Постэлем, ищут первоисточник вечно женского начала в борделях. Из сказанного несколько выше следует, что Иисус — основатель королевской династии Франции.

Если наша гипотеза верна, Священный Грааль... это род и потомство Иисуса, «Истинная кровь», которую хранили тамплиеры... В то же время Священный Грааль должен был быть, в буквальном смысле, сосудом, в который собрана и в котором хранится кровь Иисуса. Иными словами, речь идет, несомненно, о лоне Магдалины.

M. Baigent, R. Leigh, H. Lincoln. The Holy Blood and the Holy Grail, London, Cape, 1982, XIV)

— Но тебя никто не воспримет всерьез! — воскликнул Диоталлеви.

— Наоборот, он продаст несколько сот тысяч экземпляров, — расстроено сказал я. — Данная история существует, она написана, но просто с небольшими изменениями. Я говорю о книге, посвященной тайне Грааля и секретам Рэн-ле-Шато. Вместо того чтобы читать исключительно рукописи, вам следовало бы также заглядывать в то, что публикуют другие издатели.

— Святые серафимы! — возмутился Диоталлеви. — Разве я не говорил? Эта машина способна рассказать лишь о том, что другим давным-давно известно. И, осознав всю свою безутешность, он ушел.

— Неправда, от нее все-таки есть польза — Бельбо был задет за живое. — Мне в голову пришла мысль, которая раньше посещала других. Ну и что? Это называется литературным полигенезом. Господин Гарамон сказал бы, что видит в здесь лишнее подтверждение тому, что я говорю правду. Этим господам пришлось размышлять не один год, а я решил всю проблему за один вечер.

— Присоединяюсь к вам, ибо игра стоит свеч. Однако полагаю, что по правилам в программу следовало бы ввести побольше данных, не связанных с сатанистами. Проблема состоит не в том, чтобы отыскать тайные связи между Дебюсси и тамплиерами, — этим

занимаются абсолютно все. Проблема в том, чтобы показать скрытые связи, к примеру между Каббалой и автомобильными свечами.

Я просто высказал свою точку зрения, но для Бельбо это была неожиданная удача. Он признался мне спустя несколько дней.

— Знаете, вы были полностью правы. Любая отправная точка может обрести особую значимость, если она связана с другими, Эта связь изменяет всю перспективу. Она заставляет поверить в то, что за каждым сказанным или написанным словом, за каждым явлением в мире существует скрытый смысл, в котором заключена Тайна. Критерий подхода к этому объяснению очень прост: подозревать и еще раз подозревать. Можно найти скрытый смысл даже в знаке, запрещающем движение по этой улице.

— Конечно. Морализм мысли катаров. Движение здесь запрещено потому, что это предостерегает от уловок Демидурга. Двигаясь в этом направлении, не удастся отыскать Путь.

— Вчера вечером мне в руки попались правила для водителей категории В. Возможно, причиной были сумерки, а может быть, ваш рассказ, но мне казалось, что эти страницы хранят в себе Нечто Другое. А если автомобиль существует лишь как метафора создания мира? Только не следует замыкаться на его внешнем виде или ограничиваться представлением о панели приборов, нужно увидеть в нем то, что задумал Создатель, то, что скрывается под. То, что под, соответствует тому, что над. Древо сефирот.

— Я вас прошу не говорить...

— Это не я говорю, это оно говорит. И, прежде всего, карданный вал является по сути Деревом, к тому же эти слова одинаково звучат в итальянском языке. Итак, добавим мотор впереди, два передних колеса, сцепление, коробку передач, два шарнира, дифференциал и два задних колеса. Итого, десять наименований, как и десять сефирот.

— Только месторасположения у них разные.

— А кто сказал? Диоталлеви однажды говорил, что в некоторых версиях Тиферэт считается не шестой, а восьмой сефирой, и Нецах и Год расположены перед ней. Мое дерево — это древо Бельбот, иная традиция.

— Фиат.

— Давайте проследим за диалектикой Древа. На его верхушке расположен Двигатель. Omnia Movens, который, можно сказать,

является Источником Созидания. От него энергия сообщается двум Величественным Колесам — Колесу Разума и Колесу Мудрости.

— Да, если это переднеприводная машина... — Древо Бельбот прекрасно тем, что допускает метафизические альтернативы. Возьмем картину духовного космоса с передним приводом, когда расположенный впереди Мотор передает свою волю непосредственно Величественным Колесам, в то время как в материалистическом понимании существует образ деградировавшего космоса, в котором Крайний Мотор передает Движение двум Последним Колесам: из глубины космической эманации высвобождаются низкие вещества материи.

— А если у нас задние и мотор и привод?

— Это — сатанинский вариант. Соединение Величественного с Ничтожным. Бог отождествляется с движением грубой, грязной материи. Бог предстает как нереализуемое вечное стремление к Божественному. Это становится похожим на Растрескивание Сосудов.

— А может, это скорее Поломка Глушителя?

— Именно так все происходит в Абортивном Космосе, где ядовитое дыхание Архонтов распространяется в Космическом Эфире. Однако давайте не будем отвлекаться. За Мотором и двумя Колесами следует Сцепление, сефира Благодати, которая приводит в действие или же отключает поток Любви, связывающий остальную часть Древа с Высшей Энергией. Это Диск, мандала, ласкающая другую мандалу. А далее Ларчик Превратностей, или перемен, как говорят позитивисты, который является источником Зла, поскольку дает человечеству власть ускорять или замедлять непрерывный процесс эманации. Это достаточно хорошо объясняет, почему автоматическая коробка передач стоит дороже, в этом случае само Древо принимает решение, соответствующее принципу Великого Равновесия. Затем следует Шарнир, который, обратите внимание, как бы случайно носит имя великого мага эпохи Ренессанса — Кардана, и Коническая Передача — тут надо отметить оппозицию по отношению к четырем Цилиндрам мотора, — которая является Венцом (Кетер, Низшая Корона), сообщающим движение земным колесам. И здесь становится очевидным предназначение сефиры Разниц, или дифференциалов, которая с величественным чувством Прекрасного распределяет космические силы между двумя Колесами, Славы и Победы, которые в

Неабортивном Космосе (передний привод) имитируют движение, передаваемое Величественными Колесами.

— Вы предложили довольно-таки логичное объяснение. А сердце Мотора, местопребывание Единого, Венец?

— Но ведь достаточно взглянуть на это глазами посвященного. Великий Мотор оживает, когда происходит действие Всасывания и Выхлопа. В сложном Божественном дыхании первоначально участвовали только две единиц, именующиеся Цилиндрами (явный геометрический архетип), потом они подключили третий и наконец во взаимной любви и согласии — четвертый цилиндр. В процессе этого дыхания в Первом Цилиндре (первом не по иерархии, а случайно оказавшимся таковым по месту своего расположения) Поршень, или Пистон (этимологически от «Pistis Sophia»), совершает движение от Верхней Мертвой Точки до Нижней Мертвой Точки, а в это время Цилиндр наполняется энергией. Я, конечно, упрощаю, поскольку здесь надо было бы еще упомянуть об ангельских иерархиях, то есть Распределительных Клапанх, которые, как говорит мой учебник, «открывают и закрывают Просветы, соединяющие внутреннюю часть Цилиндров с каналами, которые сосут смесь»... Сердце Мотора взаимодействует с остальным Космосом только через посредство этого механизма, и здесь, я полагаю, вырисовывается, но я не хотел бы, чтобы меня считали еретиком, первичное ограничение Единого, который в определенном смысле зависит в своей созидательной деятельности от Великих Эксцентриков. Необходимо более внимательно прочесть Текст. Так или иначе, когда Цилиндр наполняется Энергией, Поршень поднимается к Верхней Мертвой Точке и создает Максимальную Степень Сжатия. Это *tsimtsum*. И здесь происходит Большой Взрыв, Взрыв и Расширение. Проскакивает Искра, смесь вспыхивает и горит, и, как сказано в инструкции, — это единственная Активная Фаза Цикла. И горе, если в Горючую Смесь попадут инородные частицы, эти *qelippot*, капли нечистой материи, такой как вода или кока-кола. Расширения не происходит или же оно происходит слабыми толчками...

— Разве «Shell» не означает *qelippot*? Следует быть внимательнее. Отныне лишь молоко Святой Девы...

— Еще посмотрим. Возможно, здесь имеет место сговор «Девяти Сестер», этих низших принципов, желающих контролировать

механизм Созидания... Во всяком случае, вслед за Расширением наступает Божественное дыхание, именуемое в древнейших рукописях Выхлопом. Поршень возвращается к Верхней Мертвой Точке и выталкивает сгоревшую бесформенную материю. И только в том случае, когда это очищение удастся, наступает Новый Цикл. Это наводит на мысль о неоплатоновском механизме Эксода и Парода, прекрасной диалектике Пути, ведущего к Вершине, и Пути Вниз.

— *Quantum mortalia pectora caecae noctis habent!* И сыновья материи никогда не отдавали себе в этом отчета!

— Вот почему все великие гностики учат нас, что стоит доверять пневматике, а не гиликам.

— К завтрашнему дню я подготовлю мистическое толкование телефонного справочника...

— Наш Казобон, как всегда, не лишен амбиций... Только здесь вы столкнетесь с неразрешимой проблемой Единого и Множественного. Не лучше ли продвигаться вперед постепенно? Исследуйте вначале механизм действия стиральной машины.

— Он говорит сам за себя. Здесь происходит алхимическое преобразование самых черных дел в дела белее белых.

Da Rosa, nada digamos agora..^[99]

Сампайо Бруно, Кавалеры любви

*/Sampayo Bruno, Os Cavaleiros do Amor,
Lisboa, Guimaraes, 1960, p. 155/*

Когда душой овладевает подозрительность, не ускользает ни один след. Теперь я находил многозначительные приметы во всем, что попадало в руки.

Я переписывался с бразильскими друзьями; вдруг в Коимбре наметился конгресс по лузитанской^[100] культуре. Скорее из желания меня увидеть, чем из уважения к моим познаниям, друзья устроили мне приглашение на этот конгресс. Лия со мной не поехала, она была на седьмом месяце. Беременность не слишком исказила контуры тонкого тела, Лия просто приняла очертания хрупкой фламандской мадонны, но поездка ей была противопоказана.

Три замечательных вечера в обществе старинных товарищей — а затем мы покатали на автобусе обратно в Лиссабон, и на ходу завязалась дискуссия, куда интереснее заехать, в Томар или в Фатиму. Томар — так назывался замок, в котором португальские тамплиеры укрывались после того, как благорасположение короля и заступничество папы спасло их от процесса и костра, и где обитали под именем Христовых Кавалеров. Я не мог пропустить тамплиерский замок. К моей радости, большинство компании прохладно восприняло идею Фатимы.

Если можно вообразить самый растамплиерский из замков — таков Томар. Поднимаешься туда по военной дороге с укреплениями, огибающей наружные бастионы, все бойницы там в форме креста, и с первой минуты вы в атмосфере крестового похода. Рыцари Креста множество столетий жили там припеваючи; предание рассказывает, что Генрих Мореплаватель и Христофор Колумб происходили из их среды, и действительно они посвятили жизнь завоеванию морей — дав основу величию Португалии. Долгое и счастливое пребывание,

выпавшее на их долю, позволило им перестраивать и расширять замок, благодаря чему к средневековому корпусу добавились пристройка времен Возрождения и барочное крыло. Я растрогался, увидев замковую церковь с ее восьмиугольной ротондой, повторяющей архитектуру Гроба Господня. Меня также заинтересовало разнообразие форм тамплиерского креста в различных регионах: я уже заметил эту вариативность, изучая разношерстную иконографию по своей теме. В то время как кресты мальтийских рыцарей оставались практически неизменными во времени и пространстве, тамплиерские, судя по всему, модифицировались под воздействием моды эпохи или традиции места обитания. Вот почему охотники за тамплиерами кидаются на кресты любой формы и всегда обнаруживают за ними засекреченных Рыцарей Храма.

Потом гид повел нас смотреть окошечко в стиле мануэлино, так называемое «жанела»: ненамного больше простой отдушины, его проем был облеплен со всех сторон морскими и подводными сувенирами, водорослями, ракушками, якорями, брамселями и швартовами — в прославление достижений здешних рыцарей на поприще океаноплавания. По сторонам окна, на чем-то вроде декоративной ленты, опоясывающей приоконные пилоны, я увидел высеченные знаки Подвязки. Как может быть символ английского ордена в португальской военной крепости? Гид не знал что отвечать, но через некоторое время, проводя нас по противоположному крылу, кажется, северо-восточному, обнаружил и показал нам знаки Золотого руна. Я не мог не подумать о тончайшей игре соответствий, объединяющих Подвязку с руном, руно с аргонавтами, аргонавтов с Граалем, Грааль с тамплиерами. Я вспоминал и бредни полковника Арденти, и какие-то страницы из сочинений одержимцев... И прямо подскочил, когда гид-португалец ввел нас в залу со сводчатым потолком, усеянным розетками. Из доброй половины розеток глядела бородатая, козлоподобная физиономия. Бафомет...

Мы спустились в крипту. От семи отлогих ступеней пол необработанного камня подкатывается к абсиде, в которой так и видится алтарь или трон Великого Магистра. Но чтоб приблизиться к нему, надо пройти под семью сводами, в середине каждого из коих — роза, каждая крупнее предыдущей, а последняя, совершенно распустившаяся, нависает над колодцем. Крест и роза в тамплиерском

монастыре, в зале, которая несомненно создавалась до розенкрейцерских манифестов! Я задал гиду несколько вопросов в этом духе, он улыбнулся:

— Знали бы вы, сколько знатоков оккультного дела паломничает сюда к нам... Говорят, это был зал для инициации...

Случайно попав в еще не отреставрированное помещение, я оказался посередине пыльной мебели и картонных коробов. Я рассеянно запустил руку в короб — вынулся растерзанный том на еврейском языке, приблизительно семнадцатого века. Что делает еврейская книга в Томаре? Гид ответил, что тамплиеры поддерживали отношения с местной еврейской общиной. И, подведя меня к окну, показал кусок французского сада с маленьким изящным лабиринтом. Творение, сказал он, еврейского архитектора восемнадцатого столетия, Самуила Шварца.

Второе свидание в Иерусалиме... А первое назначалось в Замке. Не так ли говорится в прованском завещании? О господи, вот он заветный замок, замок первого съезда. Это не Монсальват рыцарских романов, не Авалон гипербореев. Они искали место для срочной ретирады, что первым делом приходило им в голову, храмовникам из Провэнса, привыкшим командовать гарнизонами, а не перечитывать романы Круглого Стола? Отступаем на укрепленные позиции, окапываемся в Томаре. И там под именем Рыцарей Христа уцелевшие храмовники пользовались всеми благами свободы, неограниченными гарантиями, и там у них была налаженная связь со связными второго отряда!

Я ехал из Томара, из Португалии, и воображение мое полыхало. Наконец-то я прочувствовал серьезные аспекты послания, переданного нам полковником. Храмовники, перейдя на нелегальное положение, выработали План, предназначенный продлиться шестьсот лет и завершиться в сегодняшнем столетии. Тамплиеры были серьезные люди. Если они писали «замок», они действительно имели в виду серьезный замок. Действие Плана начинается в Томаре. В этом случае, какой идеальный маршрут мог быть намечен на будущее? Какая последовательность для пяти предполагающихся слетов? Места, в которых тамплиеры могли рассчитывать на радушный прием, на покровительство, единомыслие. Полковник называл нам Стоунхедж,

Авалон, Агарту — Все это глупости. Текст завещания следовало проанализировать по-новому.

Разумеется, повторял я сам себе, возвращаясь домой, речь не идет о том, чтоб открыть секрет тамплиеров, а о том, чтобы изобрести его.

Для Бельбо, по-моему, было неприятно напоминание о малоудачной истории с полковником. Тем не менее листок он мне отыскал, порывшись в самом нижнем ящике. А, так все-таки, заметил я про себя, он его хранил. Мы вместе перечитали послание провэнцев. После стольких-то лет.

Все начиналось фразой, зашифрованной согласно Тритемию: «Les XXXVI Invisibles separez en six bandes». «Тридцать шесть невидимых, разделенных на шесть отрядов». Потом шло:

a la... Saint Jean
36 p charrete de fein
6...entiers avec saiel
p... les blancs mantlax
r... s... chevaliers de Prulns pour la... j. nc.
6 fols 6 en 6 places
chascune fols 20 a... 120 a...
iceste est l'ordonatlon
al donjon li premiers
it li secunz joste iceus qui... pans
it al refuge
it a Nostre Dame de l'autre part de l'iau
it a l'ostel des popellcans
it a la plerre
3 fols 6 avant la feste... la Grant Pute.

Через тридцать шесть лет после повозки с сеном, в ночь Иоанна Крестителя, года 1344, шесть запечатанных посланий рыцарям в белых плащах, снова упорствовавшим после покаяния рыцарям из Провэна, в целях отмщения. Шесть раз шестеро в шести местностях, раз в сто двадцать лет, таков План. Первые едут в замок, потом соединяются с теми, кто ест хлеб. Потом опять в укрытие, потом опять к Нашей Владычице с той стороны реки, после этого в дом к попликанам, а

потом к камню. Как видите, в 1344 году План рекомендует тамплиерам отправляться в Замок. И действительно, они укрепляются в Томаре начиная с 1357. Теперь давайте подумаем, куда могли в это время заслать второе подразделение. Ну, раз-два-три, убегающие тамплиерчики, куда бы нам приклонить ваши буйные головы?

... Н-ну... допустим, рыцари сенной телеги высадились потом в Шотландии. — но почему оказаться в Шотландии называется «у тех, кто ест хлеб»?

Но меня уже невозможно было сразить. По ассоциативным цепочкам я мог бы участвовать в первенстве мира. Прекрасно, начинаем с любого места. Шотландия — Горная страна — друидические обряды — ночь святого Иоанна — летнее солнцестояние — костры на Ивана Купалу — Золотая ветвь... Попробуем, хотя успех не гарантирован. Что-то я читал о кострах в «Золотой ветви» Фрэзера. [\[101\]](#)

Я позвонил Лии. — Слушай, возьми, пожалуйста, «Золотую ветвь» и посмотри костры на Ивана Купалу.

Лия искала, как всегда, недолго. — Что тебя интересует? Древний ритуал, отмечен во всех странах Европы. Празднуется день, когда солнце занимает максимальную высоту над горизонтом. Святого Иоанна добавили, чтобы охристианить все это дело... — А едят хлеб? В Шотландии?

— Не написано... А, вот. Хлеб едят не на Ивана Купала, а первого мая, в ночь первомайских костров или костров, ночь Белтейн, имеется такой праздник друидического происхождения, в особенности в шотландских горных областях....

— О, вот то что надо! Едят хлеб? Сказано почему?

— Делают лепешки из пшеничной и овсяной муки и выпекают на углях. Потом какой-то ритуал, воспроизводящий доисторические человеческие жертвоприношения... Эти лепешки называются бэннок — bannock.

— Как? Скажи по буквам! — Я записал, поблагодарил, заверил, что она моя Беатриче, моя фата Моргана и еще какие-то нежности. И тут я вспомнил один пассаж из своего собственного диплома: секретное ядро ордена, согласно легенде, укрылось в Шотландии при короле Роберте Брюсе и храмовники помогли этому королю выиграть

битву при Бэннок-Берн. Король же отблагодарил их, учредив новый орден Кавалеров Св. Андрея Шотландского.

Я вытащил из шкафа пятитонный английский словарь и проверил свою догадку. Бэннок на средневековом английском (bannuc на древнесаксонском, bannach на гэльском) — это что-то вроде кекера, выпеченного на плите или на гриле, из ячменя, овса или любого другого зерна. Берн (burn) — это поток. Оставалось только перевести на французский так, как могли перевести французские тамплиеры, оповещая об обстановке в Шотландии своих провэнских компатриотов, и выходило что-то вроде Хлебного ручья, или Булочной протоки, в общем хлеб в любом случае присутствовал. Те, кто при хлебе — означало те, кто выиграл сражение на Хлебном ручье, то есть шотландская ветвь распавшегося ордена, которая в то время, когда писался текст, возможно, распространилась уже на всю территорию Британских островов. Логично, суперлогично, архилогично. Маршрут Португалия — Англия — это естественнее, чем Северный полюс — Палестина.

Пускай твои одежды будут белыми... Если ночь, засвети множество лампад, пусть они засияют... Тогда начинай переставлять буквы, по одной, или по несколько, меняй их местами, передвигай и сочетай до тех пор, пока сердце твое не станет горячо. Будь внимателен к перемещению букв и к тому, что может произойти от их смешивания. И когда ощутишь, что в сердце твоём горячо, когда увидишь, что перестановкой букв тебе удастся постичь вещи, которые иначе тебе удалось бы тебе постигнуть, ни самостоятельно, ниже обратяся к Преданию, когда ты готов воспринять наитие Божественной мощи, которая войдет внутрь тебя, напряги тогда всю глубину помысла, чтобы вообразить в твоём сердце Имя и Его Ангелов наивысших, как если бы они были человечны и находились перед тобой неподалеку.

Абулафия, Хайе Га-Олам га-Ба

— Складно, — сказал Бельбо. — А где в таком разе у них Убежище?

— Шесть ячеек, как мы уже поняли, получили приказ законспирироваться в шести местах, из которых только одно фигурирует под именем Убежища. Что нестандартно. Следовательно, можно сделать вывод, что в других местностях, например в Португалии или в Англии, тамплиеры могли жить не скрываясь, только переименовав свое имя, а вот в этом конкретном месте они должны были прятаться. Я сказал бы, что Убежищем вполне могли бы называть место, в которое схоронились тамплиеры Парижа, когда им пришлось покинуть Тампль. Вдобавок, мне кажется еще и разумным, чтобы маршрут из Англии пролегал через территорию Франции. Почему бы не предположить, что у храмовников сохранялся подпольный центр в городской черте Парижа, в тихом и спокойном

месте? Они хорошо понимали, что такое политика, и предполагали, что через два столетия многое в жизни переменится и что возможно станет и во Франции действовать при свете дня, или почти при свете.

— Ладно, пусть едут в Париж. Что потом на очереди?

— Полковник предлагал нам Шартр. Но если мы подставили в третью позицию Париж, мы не можем в четвертую помещать Шартр, потому что План должен охватывать разные государства Европы. Кроме того, сначала мы вырабатывали мистическую версию, с тем чтобы опереть на нее версию политическую. Понимаемое мистически, продвижение тайных отрядов организуется, скорее всего, по синусоиде; поэтому имеет смысл принять к рассмотрению север Германии. И что же? С той стороны воды, с той стороны реки, попросту говоря за Рейном, имеется город — не какая-то там церковь, а целый город, — посвященный Богоматери. Мариенбург.

— А с чего бы им назначать свидание в Мариенбурге?

— Потому что это город тевтонских рыцарей! У тамплиеров с тевтонами отношения не испорчены, как испорчены с госпитальерами. Те так и подстерегают, подобно стервятникам, чтобы орден окончательно разгромили, чтобы все богатства перешли к ним. Тевтонский же орден, хотя он тоже основан в пику тамплиерскому (в Палестине, германскими императорами), довольно скоро был переведен на север, чтобы остановить вторжение варваров — пруссаков. И они провернули это так удачно, что в какие-то два столетия превратились практически в империю, объединившую все балтийские территории. Они подмяли под себя Польшу, Литву и Ливонию. Они основали Кенигсберг, потерпели поражение единственный раз — от Александра Невского в Эстонии, и приблизительно в тот момент, когда тамплиеров арестовывают в Париже, тевтоны провозгласили своей столицей Мариенбург. Если действительво духовное рыцарство работало над планами завоевания мира, у тамплиеров с тевтонами могла существовать договоренность о зонах влияния...

— Знаете что я вам скажу на все это? — произнес Бельбо. — Похоже на логику. Переходим к пятой группе. Объясните теперь попликан.

— Не могу, — сказал я.

— Вы меня ужасно разочаровали, Казобон. Наверное, придется спросить Абулафию.

— Ох, нет, — отвечал я, уязвленный. — Абулафия способен подсказать неожиданные связи. Но попликане — не связь, а данное; а данные — это забота старого Сэма Спейда. О йес! Дайте мне несколько дней и ночей.

— Две недели я могу дать вам, Спейд, — отвечал Бельбо. — И если через две недели вы не представите мне попликан, будьте добры предоставить бутылку «Баллантайна» двенадцатилетней выдержки.

«Баллантайн» был мне не по карману. Через неделю в этот же час я преподносил своим хищным подельникам попликан почти что на блюдечке.

— Все элементарно. Держитесь за меня крепче. Сперва мы заскочим в четвертый век после начала нашей эры, на территорию Византии, и убедимся, что в средиземноморском ареале в это время укореняются разнообразные вероучения манихейского содержания. Начнем хотя бы с архонтиков, которых основал в Армении Петр Кафарбарухийский, о котором никто не может сказать, что у него незапоминающееся имя. Заядлые антииудаисты, они идентифицируют дьявола с Саваофом, богом иудеев, обитающим на седьмом небе. Их цель — возвыситься до Великой Светоматери, которая живет небом выше, на восьмом, для чего, по их понятию, следует откреститься и от Саваофа и от таинства крещения. Что скажете?

— Открещаемся, — потрянул головой Бельбо.

— Да? Но архонтики еще паиньки по сравнению со всеми остальными. В пятом веке возникают мессалиане, которые, кстати, продержались во Фракии аж до одиннадцатого века. Мессалиане — не дуалисты, они монархиане. Но у них активные взаимоотношения с силами ада, до такой степени, что в некоторых сочинениях они именуются борбориты — от «borboros», что означает нечисть, в честь тех непроизносимых бесчинств, которые они творили.

— А в чем состояли непроизносимые?

— Да все то же. Муж и жены собирали свои непотребства, то есть сперму и месячные крови, и в ладонях возносили к небесам и поедали как тело Христово. Если же беременела жена, отверзали ей чрево ладонью и вырывали плод и толкли его в ступе и поедали с медом и перцем.

— Мед с перцем, — покривился Диоталлеви. — Ну и гадость.

— Теперь вы знаете, каковы мессалиане, впрочем, известные также под именами стратиотиков и фибионитов, но не путайте их с барбелитами, состоящими из наассеан и фемионитов. Правда, некоторые отцы церкви полагают, что барбелиты — это как бы припозднившиеся гностики, а следовательно, дуалисты, обожавшие Великую Матерь Барбелу, и члены этого согласия называли борборианами иликиан, «детей материи», но не психиков, которые все же были попрличнее иликиан, и не пневматиков, которые в свою очередь гораздо приличнее психиков и в этой компании представляют собой что-то вроде «Ротари клуба». С другой стороны, есть мнение, что стратиотики — это не что иное, как иликиане по терминологии митраистов.

— Я не все уловил, — сказал Бельбо.

— Я вас понимаю. Но, к сожалению, эти люди не оставили документальных свидетельств. Все, что о них нам известно, известно от их ненавистников. Забудем же о них! Мне они понадобились, только чтобы показать вам, какая безалаберщина царила в это время в средиземноморском ареале. Теперь вы поймете, откуда взялись павликиане. Павликианами именовались последователи, как вы догадались, апостола Павла, к которым присоединились иконоборцы, изгнанные из Албании. Начиная с восьмого века и в течение последующих число этих павликиан стремительно умножалось, секта перерастала в общину, община в банду, банда в политическую силу и византийские императоры начали из-за них терять терпение и насылать на них имперские армии. Они же распространяются до самой границы арабского мира, обсаживают Евфрат, заполняют византийские владения по берегам Эвксинского понта. Устраивают колонии повсеместно, и мы обнаруживаем их последышей даже в семнадцатом веке, после чего их переагитировали иезуиты, хотя и до сих пор существуют какие-то общины на Балканах или что-то вроде этого. Во что же веруют павликиане? В Господа триединого, за исключением одной детали — что Творец действительно спроектировал наш мир (насколько удачно, сейчас не обсуждается). Они отрицают Ветхий завет, ниспровергают заповеди, попирают крест и не почитают Приснодеву, так как думают, что Христос воплотился непосредственно на небе и проскочил через Марию как через

водосток. Богомилы, которые частично вдохновились их идеями, заявляли даже, что Христос в Марию вошел через ухо и вышел через другое, так что она вообще ничего не заметила. Кое-кто обвиняет их в том, что они обожают солнце и дьявола и примешивают младенческую кровь ко хлебу и к вину причастия.

— Ну, не одни они.

— Самое смешное, что в то время для еретиков хождение к мессе было действительно травматогенно, впору хоть в мусульмане подаваться. Я вам коротенько охарактеризовал этих несгибаемых именно для того, чтобы пояснить, что когда в Италии и в Провансе распространились дуалисты-диссиденты, их спонтанно начали называть в честь павликиан: попеликанами, публиканами, популиканами и так далее. В Галлии, как мы читаем, употреблялась форма «попликане» — *galice etiam dicuntur ab aliquis popellcant!*

— Что и требовалось нам от них.

— Что и требовалось. Павликиане же продолжают в девятом веке вставлять пистоны византийским императорам, до тех пор, пока император Василий торжественно не присягает, что если только он доберется до их атамана по имени Хризохер (ей-богу!), который к тому времени запустил свой сброд в церковь Св. Иоанна Божьего в Эфесе и напоил коней из водосвяченной купели...

— ... дались им эти кони, — пробормотал Бельбо.

— ... он ему вставит три стрелы в башку. Он наслал на него имперские вооруженные силы, те его изловили и отрубили голову, император дождался, когда голову принесли к нему на подносе, поставил ее к себе на трюмо, на журнальный столик, не знаю в какое место, и вжих, вжих, вжих, загнал свои три стрелы, полагаю — по одной в каждый глаз и в рот.

— Ну и нравы, — сказал Диоталлеви.

— Да они не со злости, — сказал Бельбо. — Это еще один аспект веры. «Основа чаемых вещей», [\[102\]](#) а попросту говоря — выдача желаемого за действительное. Давайте дальше, Казобон, все равно наш Диоталлеви — презренный богоубийца и не понимает теологических тонкостей.

— Так вот, к чему я собственно: крестоносцы пересекались с павликианами! Они пересекались с ними около Антиохии во время первого крестового похода, в то время как павликиане воевали на

стороне арабов, а кроме того, при осаде Константинополя, когда павликианская община из Филиппополя норовила тихо сдать город болгарскому царю Иоаннице, ради того только, чтобы насолить французам, как свидетельствует Виллардуен.^[103] Вот вам искомая связь с тамплиерами и искомый ключик к загадке. Легенда говорила, что тамплиеры оказались нестойки к ереси катаров, а на самом деле тамплиеры и вравили катаров в эту ересь! Они встречались с павликианскими общинами во времена крестовых походов и наладили с ними таинственные взаимоотношения, как прежде их налаживали с мистиками и с мусульманскими еретимми. В то же время на нас работает и сама по себе теория Плана. Мистическому Пути некуда идти если не через Балканы.

— Почему?

— Потому что, по-моему, очевидно, что шестое свидание намечено в Иерусалиме. В Плане ясно сказано — объединиться у камня. Где стоит тот самый камень, который обожествляют мусульмане, и чтобы увидеть который надо снимать ботинки? Да вот же, посередине Омаровой мечети в Иерусалиме, там, где некогда был Храм храмовников! Не знаю, кто там будет заниматься организацией встречи — может быть, тамплиеры, законспирированные и закамуфлированные, а может быть, каббалисты, связанные с португальцами, но ясно одно: чтобы из Германии попасть в Иерусалим, самый короткий путь пролегает через Балканы, и именно там затаилась пятая подстава, а именно павликиане. Видите, как с каждым шагом наш План все хорошеет.

— Прелесть просто, — сказал Бельбо. — А где именно на Балканах надо было их искать? Попликан?

— Я полагаю, что самыми естественными преемниками попликан должны были выступить болгарские богомилы. Но прованские тамплиеры не могли, безусловно, предвидеть, что в самый неподходящий момент Болгария будет захвачена турками и останется под их пятой в течение пяти столетий.

— Исходя из чего, делаем вывод, что выполнение Плана сорвалось на переходе от немцев к болгарам, когда примерно?

— В 1824 году, — сказал Диоталлеви.

— Почему, извини? Диоталлеви быстро набросал следующую схему:

Португалия 1344
Англия 1464
Франция 1584
Германия 1704
Болгария 1824
Иерусалим 1944

— В 1344 году первые великие магистры каждой из шести групп обосновываются на шести установленных Планом местах. В течение ста двадцатилетнего срока в каждой группе сменяется по шести великих магистров и в 1464 году шестой магистр Томара встречается с шестым магистром английской группировки. В 1584 году двенадцатый английский магистр встречается с двенадцатым французским. Цепочка и дальше разворачивается в том же ритме и если встреча с павликианами срывается, она срывается в 1824-м.

— Предположим, что она срывается, — сказал я. — Но невозможно понять, почему столь подготовленные люди, имея на руках четыре шестых части окончательного Извещения, не смогли реконструировать его сами. Или почему, если уж сорвалось их свидание с болгарами, они не связались непосредственно со следующими партнерами.

— Казобон, — сказал на это Бельбо. — Вы действительно считаете, что провэнские конспираторы были такие дурошлепы? Если они хотели, чтобы Сообщение оставалось в тайне полных шестьсот лет, наверное, они приняли предосторожности, или я ошибаюсь? Каждый великий магистр, наверное, знает, где ему искать гроссмейстера следующей команды, но не знает, где искать всех остальных, а никто из остальных не знает, где искать представителей Предыдущих эшелонов. Стоило немцам разминуться с болгарами, и они уже не знают, где искать иерусалимитян, а иерусалимитяне не знают, где им искать и кого вообще разыскивать. Что же касается реконструкции желанной Вести по имеющимся фрагментам, это зависит от того, как были нарезаны и розданы эти фрагменты. Я думаю, не в прямой последовательности. Не хватает важного кусочка — и потерян смысл всей вообще истории, а тот, у кого кусочек на руках, не знает, что ему с ним делать.

— Подумайте только, — произнес Диоталлеви, — если их встреча не состоялась, сейчас по Европе в совершенной тайне рыскают представители всех групп, желающие и не могущие объединиться. Каждому из них совершенно ясно, что вот столечко не хватает ему до мирового господства... Как зовут этого чучельщика, о котором вы рассказывали, Казобон? Может быть, действительно существует заговор, и вся история мира — это только результат состязания за восстановление потерянного Известия? Мы их не видим, а они, невидимые, орудуют вокруг нас.

У Бельбо и у меня в голове роилось примерно то же самое, так что мы все говорили хором. Накричавшись, мы обратили внимание на то, что должно было сразу броситься в глаза. По меньшей мере два выражения из провэнского завещания, а именно: пассаж о тридцати шести невидимках и рассуждение о ста двадцати годах — всплывали и в ходе знаменитого спора о розенкрейцерах.

— К тому же розенкрейцеры — немцы, — добавил я. — Придется почитать их манифесты.

— Но вы же говорили, что они фальшивые, — сказал Бельбо.

— Ну и что? Мы тоже сочиняем фальшивку.

— Ах да, — ответил на это Бельбо. — Я почти что забыл.

Elles deviennent le Diable: debiles, timorees, vaillantes a des heures exceptionnelles, sanglantes sans cesse, lacrymantes, caressantes, avec les bras qui Ignorent les lois... Fi! Fi! Elles ne valent rien, elles sont faites d'un cote, d'un os courbe, d'une dissimula rentrte... Elles balsent le serpent... [104].

Жуль Буа, Сатанизм и магия

/Jules Bois, Le satanilisme et la magie, Paris. Chailley. 1895, p. 12/

Он действительно забывал, сейчас я понимаю. И конечно к этому времени относится нижеследующий файл, короткий и безумный.

Имя файла: Эннойя

Ты пришла ко мне домой неожиданно. У тебя была трава. Я не хотел, потому что не позволяю никаким растительным веществам вмешиваться в деятельность моего мозга (что снова ложь, потому что я курю табак и пью дистилляты из зерен). В любом случае, в шестидесятые годы, когда кто-нибудь меня втягивал в круговое сосание скользкой колбаски, пропитанной слюнями, со знаменитой последней затяжкой через булабочку, мне бывало смешно, и только.

Но вчера мне предложила это ты, и я подумал, что, вероятно, это твоя манера предлагать себя, и я закурил с верой. Мы танцевали прижавшись, как не принято уже многие годы, и вдобавок — какой стыд — под Четвертую симфонию Малера. У меня как будто бы в объятиях восходило, вызревало древнее создание, со сладостным и морщинистым ликом ветхой козы, змея, выникавшая из-под глубины моих чресел, и я тебя обожал, как старобытную и всеохватную тетку. Вероятно, я продолжал колыхаться, приединенный к твоему телу, но чувствовал, что ты возносишься в воздух, претворяешься в золото,

идешь в затворчатые двери, воздымаешь тела на воздух. Я пронзал
твое темное чрево, Megale Anaphasis, [\[105\]](#) Полонянка Ангелов.

Может быть, не тебя искал я? Может быть, до сих пор ожидаю
тебя? Всякий раз я терял тебя потому, что не мог узнать? Всякий раз я
терял тебя потому, что, узнавая, узнавал, что потеряют И куда ты
делась вчера вечером? Я проснулся, было утро и болела голова.

Все мы помним, однако, секретные намеки на период в 120 лет, которые брат А., наследник Д. и последний во второй линии наследования — живший среди многих из нас — обратил к нам, членам третьей линии наследования....

Слава Братства, в: Всеохватная и всеобщая Реформа всею целого мира

/Fama Fraternitatis, In Allgemeine und general Reformation, Cassel, Wessel. 1614/

И я кинулся штудировать оба манифеста розенкрейцеров, «Слава» и «Исповедание». Не оставил без внимания и «Химическое бракосочетание Христиана Розенкрейца» Иоанна Валентина Андреаз, потому что именно Андреаз был предположительным сочинителем манифестов.

Манифесты появились в Германии в 1614–1615 гг. То есть лет через тридцать после встречи 1584 года между французами и англичанами и почти что за сотню лет до даты, в которую была назначена встреча французов и немцев.

Я приступил к чтению не ради того, что в манифестах реально было сказано, а ради того, что в них просматривалось «между строк». Я понимал, что чтобы заставить их означать не то, что написано, я должен буду проскакать некоторые места, а другие почитать важнейшими, нежели прочие. Но именно этой системе учили нас одержимцы и их славные вдохновители! Передвигаясь в тончайшем времени Откровения, никто не обязан подчиняться дотошным и тупым требованиям логики, перебирать скучные цепочки причин-следствий. И то сказать, при буквальном восприятии розенкрейцерские манифесты — просто дикое нагромождение абсурда, загадочности, противоречий.

Поэтому они не могли означать то, что означали при первочтении. Следовательно, они не являлись ни призывом ко глубинной духовной

перестройке, ни рассказом о жизни бедолаги Христиана Розенкрейца. А следовательно, они были зашифрованным текстом, который можно было читать наложив определенную сетку. Сетка закрывает одни пространства и оставляет на воле другие: как зашифрованное завещание провэнцев, где имели значение только начальные буквы слов. У меня сетки не было, но достаточно было вообразить ее. Вообразить сетку — значит просто читать с недоверием.

В том, что манифесты излагали прованский План — не было сомнений. Гробница С. Р. (явная аллегория здания Гранж-о-Дим, в ночь 23 июня 1344 года!) хранит в себе тайное сокровище, завещанное грядущим поколениям, «добро... заложенное на сто двадцать лет». Что этот клад — не денежного порядка, тоже не может быть двух мнений. Тексты не только открыто насмеяются над простодушной алчностью алхимиков, но и явно говорят, что под обещанным добром имеется в виду огромное историческое свершение. И если кому-то остается еще что-то непонятно, вступает в дело второй манифест, который подчеркивает, что нельзя пренебрегать обетованием, сулящим *miranda sextae aetatis* (чудеса шестого, окончательного объединения!). И снова повторяется: «О если бы угодно было Богу донести до нас свет своего шестого Светильника... если бы возможно было прочесть все в единой Книге! и читая, если бы возможно было понять и вспомнить все, что бывало... Сколь было бы отрадно, если бы возможно стало преобразить посредством пеня (то есть чтения вслух Извещения!) скалы (*lapis exillls!*) в жемчуга и в драгоценные камни...» И говорилось о тайных секретах, и о правительстве, которое могло бы быть установлено в Европе, и о «великом деянии», которое следовало совершить...

Говорилось о том, что С. Р. побывал в Испании (и в Португалии?) и указал тамошним ученым, как можно «подступиться к истинным знакам — *Indicia* — грядущих столетий, но все втуне». Почему втуне? И чего ради немецкая тамплиерская рота в начале семнадцатого века публично обнародовала ревниво оберегаемые тайны? Решили «засветиться», чтобы таким образом компенсировать сбой, произошедший в эстафете?

Никто не может отрицать, что в манифестах указываются те же самые этапы Плана, которые выделил Диоталлеви. Первый брат, о смерти которого говорится, вернее говорится, что он «преодоле

предел», — брат И. О. Умирает он в Англии. Следовательно, кто-то победоносно добрался до места первого свидания. Далее речь идет о второй и о третьей линиях наследования. И до этих пор все, казалось бы, спокойно: вторая линия, то есть английская, встречается с третьей, французской, в 1584 году, и ясно, что люди, пишущие в начале семнадцатого века, могут говорить только о том, что имеет отношение к первым трем группам. В «Химической свадьбе», написанной Валентином Андреаэ в юношескую пору, то есть раньше, чем манифесты (хотя и они относятся к 1616 году) упоминаются три великолепных храма, три места, которые, по всей видимости, уже были задействованы.

В то же время меня не покидало ощущение, что манифесты говорят о том же самом хотя и теми же словами, но не с тем настроением, и в их интонации чувствуется какая-то тревога.

Отчего, скажем, столь упорно повторяется в них рассуждение о том, что времена созрели, что момент настал, невзирая на врагов, которые расставили ловушки и пустили в ход все свое лукавство для того, чтобы «случай» не сбылся? Какой еще случай? Говорится, что конечной целью С. Р. выступал Иерусалим, но туда он не смог добраться. Почему? Хвалят арабов за то, что они обмениваются посланиями, в то время как германцы не умеют помогать друг другу. И намекают на «более крупную группу, которая хочет все пастбище только для себя». То есть речь идет не просто о том, что кто-то собирается нарушить План ради своих собственных интересов, а о том, что План действительно уже нарушен.

В «Славе» говорится, что вначале некто выработал магическое письмо (ну да, конечно — провэнское послание!), но что Господни часы отбивают каждую минуту, «в то время как нашим не удастся отыграть и часы». Кто же не сумел уловить биение Божиих часов, кто не прибыл на нужное место в необходимую минуту? Обиняками ведется рассказ о некоем изначальном союзе братьев, которые могли бы обнародовать некую тайную философию, однако предпочли вместо этого распространиться по миру.

Манифесты явно намекают на случившуюся неприятность, в них ощущается неуверенность, чувство потери. Братья первых линий причащения все устроили так, чтобы их сменяли на посту «достойные последователи», однако положили правилом «содержать в тайне место

своего погребения... так что и доселе мы не знаем, где же они погребены».

Что скрывается под этой аллегорией? Что осталось и доселе неизвестным? Какого «погребения» до нас не дошел адрес? Безусловно, манифесты были написаны из-за того, что какая-то информация пропала, и всех тех, кто случайно мог бы располагать сведениями по данному вопросу, приглашали срочно объявиться, заявить о себе.

Невозможно не признать, что именно в этом смысл завершения «Славы»: «Снова обращаемся ко всем ученым Европы... с просьбой благосклонно соответствовать нашему предложению... оповестить нас о своих мыслях... Ибо хотя мы до сих пор и не оглашаем имена наши... Кто бы ни донес до нас собственное имя, получит возможность беседовать с нами гласно и вживе, или же — если к тому возникнут препятствия — тогда в письменной форме».

Именно то, к чему стремился в свое время и полковник, публикуя свою версию. Он хотел заставить кого-то прервать молчание.

Итак, имел место некий гэп, пауза, провисание, неувязка. На гробнице С.Р. была помещена не только надпись «Post 120 annos patebo» — напоминание о необходимой периодичности встреч, — но и «Nequaquam vacuam», что следовало понимать не как «пустоты нет», а как «пустоты не должно быть». А между тем создалась пустота! Пустоту следовало срочно заполнить!

Но тут я опять остановился и снова спросил себя: почему же подобный разговор возникает в Германии, где в любом случае четвертая линия должна была терпеливо дожидаться своей законной очереди? Немцы не могли сокрушаться в 1614 году по поводу несостоявшейся встречи в Мариенбурге, потому что Мариенбург был намечен на 1704 год!

Единственный возможный вывод из всех возможных — это что германцы жаловались на то, что не сумела состояться предыдущая встреча!

Вот он, ключ к разгадке! Немцы четвертой линии жаловались на то, что англичане второй линии разминулись с французами третьей! Ну конечно, все дело в этом. В тексте, если присмотреться, содержатся аллегории по-детски прямолинейные. Когда открывают гробницу С. Р., обнаруживают подписи братьев первого и второго кругов, но не

третьего! Португальцы и британцы налицо, но куда подевались французы?

Розенкрейцеры выходили на поверхность, снимали маску и рисковали всем на свете, потому что это был для них единственный способ спасти от развала План.

Мы даже не знаем с определенностью, владели ли Братья второй линии теми же сведениями, что были у Братьев первой, и не знаем, были ли они допущены к познанию всех секретов.

Слава Братства, в: Всеохватная и всеобщая Реформа всего целого мира

/Fama Fraternalis, in Allgemeine und general Reformation Cassel, Wessel. 1614/

Все это я изложил с энтузиазмом, и как Бельбо, так и Диоталлеви согласились, что секрет манифестов был предельно ясен даже для самого последователя оккультиста.

— Итак, все понятно, — сказал Диоталлеви. — Мы уперлись на идее, что эстафета прервалась на переходе от германцев к павликианам, а на самом деле это случилось в 1584 году, между Англией и Францией.

— Но с какой стати? — спросил Бельбо. — Есть у нас объяснение, по какой такой причине англичанам не удалось организовать встречу с французами? Ведь англичане знают, где находится Убежище, они-то единственные это и знают.

Бельбо нуждался в подсказке. Поэтому он запустил Абулафию, которую предварительно зарядил всевозможными пословицами и поговорками, стишками, всем, что попало под руку. Абулафии было приказано выдать последовательность двух заложенных данных. На выход поступило следующее:

Минни — это невеста Микки Мауса
Тридцать дней в ноябре, апрель-июне, сентябре

— Ну, что скажете? — подытожил Бельбо. — У Минни свидание с Микки Маусом, но они договорились на тридцать первое сентября, и

вот бедный Микки Маус...

— Стоп, стоп, у меня потрясающая мысль! — заорал я. — Такое действительно могло случиться, но только не тридцать первого сентября, а пятого октября 1582 года!

— Что, что?

— Григорианская реформа календаря! Господи, да вот же оно. В 1582 году вступает в силу григорианский календарь, отменяется юлианский, и для выравнивания счета исчезают десять дней из месяца октября — с пятого по четырнадцатое!

— Но свидание во Франции назначалось на 1584-й, и не на октябрь, а на Иванову ночь — 23 июня, — сказал Бельбо.

— Это да, это конечно... Однако если я правильно помню, реформа вступила в силу не сразу и не повсеместно. — Я помчался к стеллажу, где у нас находился Объединенный вечный календарь. — Вот-вот. Смена календаря предписывается начиная с 1582 года, и тем самым отменены дни с 5 по 14 октября, но это имеет значение в основном для папы. Во Франции реформу проводят в 1583 году и отменяют дни с 10 по 19 декабря. В Германии в это время раскол церквей, католические области присоединяются к реформе в 1584-м, как например Богемия, а протестантские тянут до 1775-го, представляете, почти двести лет тянут, не говоря уж о том, что делается в Болгарии, но о чем, кстати, рекомендуется помнить, — там григорианский календарь вступает в силу только в 1917-м! Теперь посмотрим Англию... Реформа была проведена в 1752-м! Естественно! Ведь они ненавидели папистов, англикане, — и сумели продержаться около двух столетий. Ну вот, теперь нам понятно, что там произошло между ними. Франция упразднила десять дней в конце 1583 года и к июню 1584-го все уже к этому привыкли и думать забыли. Но в Англии-то вместо 23 июня 1584-го было всего только 13-е! С другой стороны, настоящий англичанин, пусть даже и тамплиер, не станет обращать внимание на разные материковые глупости. Они же до сих пор ездят задом наперед и не выучили десятичной системы мер. Они, конечно, прибыли на свидание в полном составе 23 июня 1584 года, да только было уже третье июля... Французы прождали их напрасно и разошлись недовольные. Может быть, они прождали целую неделю и разошлись за несколько часов до прибытия британцев — кто знает? Может быть, и те в свою очередь проторчали там неделю в

полном недоумении? Ясно одно — два великих магистра потеряли друг друга из виду.

— Восхитительно, — отозвался Бельбо. — Похоже, так оно и было. Но почему закопошились немецкие розенкрейцеры, а вовсе не англичане?

Чтобы ответить на этот вопрос, я попросил еще сутки сроку. Я перерыл свою драгоценную картотеку и на следующий день появился в редакции, лопаюсь от гордости. След! след был найден, пусть даже и минимальный, но Сэму Спейду достанет и этого, потому что ничто не ускользает от его ястребиных очей. Я пришел доложить, что как раз около 1584 года Джон Дии, маг и каббалист, придворный астролог английской королевы, получает задание разработать и внедрить григорианскую систему летосчисления!

— Англичане встретились с португальцами в 1464 году. После этого, по всему судя, британские острова охватила настоящая каббалистическая лихорадка. Обрабатывается информация, полученная на первой встрече, и ведется подготовка к следующему свиданию. Джон Дии — основная фигура этого магически-герметического возрождения. Он формирует личную библиотеку в четыре тысячи томов, и она такова, что ее как будто составляли провэнские тамплиеры. Его книга «*Monas Ieroglifica*» («Иероглифическая монада») как будто непосредственно повторяет «*Tabula smaragdina*» — «Скрижаль изумрагдову» — библию алхимиков. Что же делает Джон Дии начиная с 1584 года и далее? Он читает «Стеганографию» Тритемия! И читает ее в рукописи, потому что первое печатное издание появилось только в начале семнадцатого века. Вот он, Великий Магистр английского разряда, он находится под опасным шагом, это почти что мат: сорвалась заветная встреча. Дии пытается понять, что же произошло, в чем коренится ошибка. А так как он прекрасный астроном, довольно скоро до него доходит, в чем дело, и он хлопает себя по лысине и вопит: какой же я кретин, господи ты боже! И хватается изучать григорианскую реформу (обеспечив себя госзаказом от Елизаветы), чтобы придумать, как помочь беде. Но беде помочь нельзя, время упущено. Он не знает, на кого имеет смысл прямо выходить во Франции. Остается среднеевропейский ареал, где у него достаточно знакомых. Прага Рудольфа II в те времена — сплошная алхимическая лаборатория. Действительно, в эти самые

годы Дии отправляется в Прагу и встречается с Хунратом, сочинителем «Амфитеатра вечной науки» («Amphitheatrum sapientiae aeternae»), включающего аллегорические гравюры, в которых чувствуется влияние как Андреаэ, так и розенкрейцерских манифестов. Какие контакты удалось завязать Дии? Я не знаю. Сокрушенный раскаянием по поводу своей непростительной ошибки, он умирает в 1608 году. Но это не страшно, потому что тем временем в Лондоне уже ячинает активно действовать персонаж, который, по мнению молвы, принадлежит к розенкрейцерам и в частности говорит о розенкрейцерах в своей «Новой Атлантиде». Я имею в виду Фрэнсиса Бэкона.

— Что, Бэкон действительно говорит о розенкрейцерах? — поинтересовался Бельбо.

— Не вполне. Но некий Джон Хейдон переписывает «Новую Атлантиду», называя ее «Священная земля», и там действуют розенкрейцеры. Нам все это годится и в таком виде. Мы-то понимаем, что если Бэкон не говорит открыто, это из-за конспирации, то есть как если бы он говорил.

— А кто не верит, холера ему в бок.

— Вот именно. И как раз по инициативе Бэкона все теснее сближаются английские и немецкие конспираторы. В 1613 году состоялось бракосочетание между Елизаветой, дочерью Иакова I, в тот момент правившего Англией, и Фридрихом V, пфальцграфом-избирателем Рейнским. После смерти Рудольфа II Прага перестает быть самым подходящим местом, им становится Гейдельберг. Великокняжеская свадьба превращается в апофеоз тамплиерских аллегорий. Во время лондонских церемоний всю режиссерскую часть берет на себя Бэкон, им поставлена аллегория: нисхождение духовной кавалерии с поталением рыцарей на вершине горы. Очевидно, что Бэкон, будучи преемником Дии, стал Великим Магистром английской тамплиерской ячейки...

— ... а так как он несомненно является также и подлинным автором пьес Шекспира, надо бы нам теперь пересмотреть весь корпус шекспировской драматургии, которая, натурально, говорит не о чем ином как о Плане, — сказал Бельбо. — Ночь святого Иоанна — сон в летнюю ночь... Не понимаю, каким образом до сих пор все это могло

оставаться незамеченным. Сейчас меня поражает прежде всего ясность почти невыносимая...

— Нас губил рационалистический подход, — кивал Диоталлеви. — Я всегда это говорил.

— Дайте слово Казобону, пусть он выскажется до конца, потому что, по-моему, он разработал замечательную теорию.

— Ничего замечательного. Я уже кончаю. После лондонской части торжеств наступает часть гейдельбергская. Соломон де Каус выстраивает для графа-избирателя висячие сады. Гвоздем представления выступает аллегорическая колесница, несущая Язона-жениха, а на двух мачтах корабля, сооруженного на колеснице, укреплены символы Подвязки и Золотого Руна. Думаю, вы не забыли, что то же сочетание эмблем я обнаружил в замке Томар... Все совпадает. В течение года после этого появляются розенкрейцерские манифесты. Это знак того, что английские тамплиеры, воспользовавшись помощью своих немецких друзей, забросили наживку в европейском масштабе, надеясь увязать звенья оборвавшейся цепочки. — Но какова конкретно их цель?

Nos invisibles pretendus sont (a ce que l' on dit) au nombre de 36, separez en six bandes. [\[106\]](#)

Ужасающие соглашения, заключенные между димолом и предположительными невидимыми

/Effroyables pacions faictes entre le diable et les pretendus Invisibles Paris, 1623, p. 6/

Скорее всего, ведут двойную игру. С одной стороны, направляют сигналы французам, а с другой, взаимосвязывают нити, разрозненные в немецкой среде, вероятно, пострадавшей в результате лютеранской реформации. Именно в Германии и происходит самое скандальное недоразумение. Оно состоит в том, что после выхода манифестов, году к 1621-му, их сочинители получили слишком много ответов...

Я процитировал те самые названия бесконечных летучих книжонок, затрагивавших данную тему, которыми мы так замечательно потешались далекой ночью с Ампаро, в Салвадоре.

— Скорее всего, среди этих графоманов есть и люди, которым что-то известно, но они теряются в преизбытке сумасшедших, исступленно толкующих каждую букву манифестов, а может быть — и провокаторов, цель которых — сорвать всю операцию, а по большей части — растяп... Англичане пытаются вмешаться в дискуссию, навести порядок, не случайно Роберт Фладд, другой английский тамплиер, в течение года пишет целых три работы, предлагая единственно верную интерпретацию манифестов. Но процесс уже пошел, он не поддается контролю, в Европе вспыхивает тридцатилетняя война, пфальцграф-избиратель разбит испанцами, Пфальцграфство и Гейдельберг разграблены ордами победителей, Богемия в огне... Англичане тогда переключаются на Францию, пробуют разобраться хотя бы там. Вот почему в 1623 году манифесты розенкрейцеров объявляются в Париже, обращая к французам приблизительно те же самые призывы, которые прежде они Посылали

к немцам. И что же мы читаем в одной из парижских книжечек, обличающих розенкрейцеров и написанных кем-то из тех, кто либо их сильно подозревал, либо пытался просто подтасовать карты? Что розенкрейцеры — обожатели дьявола, это уж само собой, и это не имеет значения, но поскольку в любой клевете бывает доля истины, значение имеет одна деталь: если верить обвинителям, тамплиеры гнезятся в Марэ.

— Ну и что?

— Вы не помните планировку Парижа? Марэ — это квартал Храма и в то же время еврейское гетто! Не говоря уже о том, что в этих книжечках сообщается, что розенкрейцеры связаны с сектой иберийских каббалистов алумбрадос! Не исключено, что антирозенкрейцерская литература, якобы направленная против тридцати шести невидимых, на самом деле нацелена на то, чтобы попросту выявить их. Габриэль Ноде, библиотекарь Ришелье, издает свое «Предписание французам относительно истинности историй о розенкрейцерах». Что же в нем предписывается? И кто таков предписывающий? Пресс-атташе тамплиеров третьего эшелона — или авантюрист, замешавшийся в чужую игру? С одной стороны, он вроде бы старается выставить тамплиеров как дьяволопоклонников, а с другой — повсеместно разбрасывает тонкие намеки на толстые обстоятельства. Скажем, на то, что розенкрейцеров насчитывается еще в активе целых три коллегии. И точно, после третьего эшелона, как мы знаем, существуют где-то на свете еще три. Автор дает совершенно фантастические адреса (к примеру сказать — Индия, плавучие острова), но в то же время пробалтывается, что одна из коллегий расположена в подземельях Парижа.

— Вам кажется, что этого хватает для объяснения тридцатилетней войны? — спросил Бельбо.

— Несомненно, — ответил я. — Ришелье получает конфиденциальную информацию от Ноде, ему тоже хочется поучаствовать в этой истории, но он допускает ошибку, применяет военную силу, тем самым еще больше мутит воду. Но я бы не преуменьшал значение еще двух фактов. В 1619 году собирается капитул Кавалеров Христовых в Томаре. После сорока шести лет молчания! Предыдущий капитул собирали в 1573 году, за несколько лет до намеченного 1584: это значит, что на повестке дня, по-

видимому, стояла подготовка к путешествию в Париж совокупно с англичанами; а после появления розенкрейцерских манифестов в Томаре снова проводится слет, очевидно с целью разработки единой линии действия — примыкать ли к кампании англичан или пробовать другие дороги.

— И это необходимо, — поддержал меня Бельбо. — Эти люди потерялись в лабиринте. Кто выбирает один закоулок, кто другой. Кричат все, и слушая отголоски, не могут ничего понять — чужой ли это вопль или эхо собственного выкрика... А чем заняты в это время павликиане и иерусалимитяне?

— Если бы мы знали! — отозвался Диоталлеви. — Могу сказать только, что именно в этот период в Европе распространяется лурианская каббала и впервые выдвигается формула о «разбитых сосудах». То есть именно тогда возникает представление о Торе как о неоконченном сказании. Есть одно сочинение польских хасидов, и там написано: если бы произошло еще одно событие, все буквы переставились бы по-иному. При этом имейте в виду: каббалисты недовольны, что немцы захотели опередить свое время. Верная последовательность шагов и порядок, описанный в Торе, так и остались сокрытыми, их же ведаёт Пресвятой, да славится Его имя. Но не будем, не будем, а то я договариваюсь до глупостей... Если уж и священная каббала вовлечена в этот План...

— Если План существует, в него должно быть вовлечено все. Или он всеобщ, или никчемн, — сказал Бельбо. — Однако Казобон собирался рассказать еще о каком-то сигнале...

— Да. Точнее, о некоей серии сигналов. Еще до того как провалилась встреча 1584 года, Джон Дии начал заниматься картографическими изысканиями и поощрять отправку морских экспедиций... Сотрудничая с кем? Да с Педро Нуньесом, космографом королевского дома Португалии! Дии отправляет разведгруппы на поиски северо-западного пути в Китай,^[107] вкладывает деньги в предприятие некоего Фробишера, который отклоняется к полюсу и возвращается, везя эскимоса, которого все принимают за монгола. Дии подзуживает Фрэнсиса Дрейка на все его лихачества, включая кругосветное мореплавание, и надеется организовать также путешествие на восток, потому что на востоке лежит начало любого

окультурного знания, а в день отплытия не помню уж какой экспедиции заклинает ангелов...

— И что все это означает в нашем контексте?

— Да по всей видимости, Дии не столько интересовался открытием новых мест, сколько их картографическим отображением, именно поэтому он привлек к сотрудничеству Меркатора и Ортелиуса, великих картографов. Больше всего это похоже на то, как если бы по обрывкам Известия, которыми располагает, он догадался, что дело идет о некоей карте, и даже догадался, что тайна и есть карта, и после этого стал пытаться составить карту своими силами! Я выражусь и гораздо сильнее, как сказал бы господин Гарамон. Возможно ли вообще, чтобы ученый такого калибра прошляпил столь очевидную вещь, как расхождение календарей? Бросьте. Он все это подстроил нарочно. Он надеялся расшифровать Завещание без чужой помощи и обвести конкурентов вокруг пальца. Мне кажется, что именно в этот момент, начиная с Дии, впервые является мысль, что секреты можно разгадывать самостоятельно — при помощи либо магии, либо науки, — не дожидаясь, пока сбудется План. Возникает синдром нетерпения. Так рождается класс буржуазии, класс завоевателей, и так погибает принцип солидарности, на котором держалась вся духовная кавалерия. Если это зародилось еще у Дии, что говорить о Бэконе. С тех самых пор англичане рвутся к открытию секрета, используя все возможные достижения новейшей науки.

— А немцы что же?

— Немцы? Их мы и дальше отправим по дороге традиции. Благодаря чему получим объяснение не менее чем двухсотлетнему периоду истории философии: англосаксонский эмпиризм против романтического идеализма...

— О, так мы поэтапно переоткрываем историю человечества, — сказал Диоталлеви. — Мы с вами переписываем Книгу. Интересно, интересно!

Еще один занимательный пример криптографии был предъявлен миру в 1917 году одним из лучших историографов Бэкона, доктором Альфредом фон Вебером-Эбенгоффом из Вены. Следуя той же самой системе, которая была уже применена к произведениям Шекспира, исследователь приложил ее к произведениям Сервантеса... Проводя свое исследование, он обнаружил потрясающее вещественное доказательство: первый английский перевод «Дон Кихота», выполненный Шелтоном, содержит исправления от руки, внесенные Бэконом. Ученый сделал вывод, что имеющийся английский текст и является истинным подлинником романа и что Сервантесу принадлежит только его перевод на испанский язык.

Ж. Дюшоссуа, Бэкон, Шекспир или Сен-Жермен?

/J. Duchaussoy, Bacon, Shakespeare ou Saint-Germain.? Paris, La Colombe, 1962, p. 122/

В том, что в последующие дни Якопо Бельбо кинулся читать самым запойным образом исторические работы, относившиеся ко времени тамплиеров, сомневаться не приходится. Потом он поделился с нами выводами, пересказал голую суть своих пестрых фантазий, и мы обнаружили для себя немало полезных рабочих гипотез. Теперь, однако, я знаю, что он писал на Абулафии гораздо более сложную повесть, и в ней лихорадочная пляска цитат переплеталась с его собственной личной мифологией. Получив возможность перетасовывать фрагменты чужой жизни, он наконец почувствовал, что способен описать, под этим прикрытием, собственную. Нам он об этом файле ни разу не говорил.

Мы же об этом ничего не знали. И меня гложет сомнение: то ли он, собравшись с духом, экспериментировал со своими возможностями использовать вымысел, то ли, подобно сатанисту, отождествлял себя с Великой Историей, которую выворачивал наизнанку.

Имя файла: странный кабинет доктора Дии

Я уже давно забыл, что являюсь Талботом. Во всяком случае, с тех пор, как решил называться Келли. По правде, я лишь подделал документы, как, впрочем, и все. Люди королевы беспощадны. Чтобы скрыть мои бедные обрезанные уши, я вынужден носить черную ермолку, и все бормочут, что я — маг. Ну и пусть. Такая известность приносит доктору Дии процветание.

Я поехал к нему в Мортлейк. Он как раз изучал какую-то карту. Дьявольский старец и не подумал выйти за пределы общих фраз. Зловещие молнии в лукавых глазах, костистая рука, глядящая козлиную бородку.

— Это манускрипт Роджера Бэкона, — сообщил он — Мне его одолжил император Рудольф II. Вам известна Прага? Советую побывать в этом городе. Там вы смогли бы обнаружить нечто, что изменило бы вашу жизнь. *Tabula locorum rerum et thesaurorum absconditorum Menabani...*

Я бросил беглый взгляд на образец транскрипции тайного алфавита. Но доктор тут же спрятал манускрипт под кипой других пожелтевших листов. Жить во времени и в среде, где каждый листок, даже если он только что — с бумажной фабрики, желтеет!

Я показал доктору Дии некоторые пробы пера, в основном мою поэзию, посвященную *Dark Lady*. Сияющее изображение из моего детства, темное, ибо поглощено мраком времени и ускользает от меня. И моя трагическая импровизация, история Лимонадного Джо, который возвращается в Англию в свите сэра Уолтера Ролея и находит отца убитым братом по кровосмешению. Белена.

— Фантазии вам не занимать, Келли, — сделал вывод Дии, — и вы нуждаетесь в деньгах. Есть юноша, кровный сын человека, имя которого я не смею произнести даже мысленно... так вот, этот юноша мечтает о славе и чести. Он страдает от недостатка способностей, и вы, оставаясь в укрытии, будете его душой. Пишите и живите в тени

его славы; только вы и я будем знать, что эта слава принадлежит вам, Келли.

Итак, я многие годы провел над составлением сюжетов, которые королева и вся Англия приписывали этому бледному молодому человеку. If I have seen further it is by standing on ye sholders of a Dwarf. Мне было тридцать лет, и никто меня не убедит, что это наилучший период жизни.

— Вильям, — сказал я ему, — отрасти волосы, чтобы закрыть уши, это тебе больше идет.

У меня был план (подстроиться под него?). Можно ли жить, ненавидя Потрясателя копьем, если сам являешься таковым? That sweet thief which sourly robs from me.

— Спокойно, Келли, — говорил мне Дии, — возвеличиваться, оставаясь в тени, — это привилегия тех, кто готовится покорить мир. Кеере а Lowe Profyle. Вильям будет одним из наших обличий.

И он открыл мне — ох, только частично — правду о Космическом Заговоре. Тайна тамплиеров!

— А место? — спросил я.

— Ye Globe.

Я уже давно ложился спать с петухами, но однажды в полночь, копаясь в личной шкатулке Дии, я обнаружил формулы и хотел призвать ангелов, как это делал он во время полнолуния. Дии нашел меня свалившимся в самом центре круга Макрокосма; я чувствовал себя так, словно меня отстегали кнутом. На лбу — пятиконечная звезда Соломона. Теперь я должен еще больше натягивать на глаза свою ермолку.

— Ты еще не знаешь, как это делать, — рассвирепел Дии. — Не лезь сюда, а то я прикажу вырвать тебе ноздри. I will show you Fear in a Handful of Dust...

Он поднял костлявую руку и произнес страшное слово: Гарамон! Мне казалось, что меня сжигает внутренний огонь. Я убежал (в ночь).

Потребовался целый год, чтобы Дии простил меня и посвятил мне свою Четвертую Книгу Тайн, «post reconciliationem kellianam».

Этом летом меня поглотила страсть к абстракции. Дии вызвал меня в Мортлейк, кроме меня там были Вильям, Спенсер и аристократического вида молодой человек с бегающим взглядом, Фрэнсис Бэкон. He had a delicate, lively, hazel Eie. Doctor Dee told me it

was like the Eie of a Viper. Дии открыл нам часть правды о Космическом Заговоре. Речь шла о встрече в Париже франкского крыла тамплиеров и соединении обеих частей карты. Туда отправились Дии и Спенсер в сопровождении Педро Нуньеса. Мне и Бэкону он доверил конверты с некоторыми документами — под клятвенное обещание вскрыть их только, если они не вернутся. Они вернулись, осыпая друг друга оскорблениями.

— Это невозможно, — говорил Дии. — План математичен, он досконален, как моя «Иероглифическая Монада». Мы должны были их встретить, это была ночь святого Иоанна. Терпеть не могу, когда меня недооценивают.

Я спросил:

— О какой ночи святого Иоанна вы говорите — их или нашей?

Дии стукнул себя по лбу и разразился страшными ругательствами.

— О, from what power hast thou this powerful might? Бледный Вильям тут же записал эту фразу, подлый плагиатор. Дии лихорадочно рылся в альманахах и эфемеридах.

— О, Боже! Как я мог быть таким глупым? — Он стал бранить Нуньеса и Спенсера: — Неужели я один должен обо всем думать? Из тебя космограф, как из козьей задницы труба! — синий от злости, рычал он на Нуньеса. И добавил: — Амазаниэль Зоробабель!

Нуньес попятился, словно его боднул в живот невидимый баран, и, бледный, рухнул на землю.

— Дурак, — бросил Дии.

Спенсер, белый как стена, с трудом вымолвил:

— Можно бросить приманку. Я заканчиваю сейчас поэму, аллегорию на королеву фей и хочу ввести рыцаря-розенкрейцера... Разрешите мне закончить. Настоящие тамплиеры объявятся, они поймут, что мы знаем, и вступят с нами в контакт...

— Я тебя знаю, — ответил Дии. — Пока ты напишешь и люди прочтут твою поэму, пройдет пятилетие и даже больше. Но мысль о приманке не так глупа.

— Почему вы, доктор, не свяжетесь с ними с помощью ваших ангелов? — спросил я.

— Глупец! — на сей раз ругательство было обращено ко мне. — Ты не читал Тритемия? Ангелы адресата являются, чтобы объяснить послание, которое он получит. Мои ангелы — это не конные

посыльные. Французов мы пропустили. Но у меня есть план. Я знаю, как найти кого-нибудь из немецкой линии. Надо ехать в Прагу.

Послышался шум, поднялась тяжелая портьера из камчатной ткани, и мы увидели прозрачную руку, а затем появилась Она, Гордая Дева.

— Ее королевское величество! — воскликнули мы, падая на колени.

— Дии, — изрекла Она, — я знаю все. Не думайте, что мои предки спасли рыцарей, чтобы затем даровать им власть над миром, Я требую, слышишь, требую, чтобы в конце концов тайна стала достоянием Короны.

— Ваше королевское величество, я жажду добыть тайну. Любой ценой. И я этого хочу для Короны. Я должен найти других ее хранителей, если не существует более короткого пути, но когда они по глупости откроют мне то, что знают, я без труда уничтожу их с помощью кинжала или aqua tofana.

На лице Королевы-Девы появилась ужасная улыбка.

— Хорошо, мой добропорядочный Дии... Я хочу немного — только полной Власти. А если тебе будет сопутствовать успех, ты добудешь Подвязку. А тебе, Вильям, — и она обратилась с похотливой нежностью к малому паразиту, — еще одна Подвязка и еще одно Золотое руно. Следуй за мной.

Я прошептал на ухо Вильяму:

— Perforce I am thine, and that is in me... Вильям наградил меня взглядом, полным елейной признательности, и скрылся за портьерой. Je tiens la reine!

Я был с Дии в Золотой Праге. Мы ходили по узким, смрадным улочкам недалеко от еврейского кладбища, и Дии приказал мне быть осторожным.

— Если распространится известие о несостоявшейся встрече, другие группы начнут действовать на свой страх и риск. Я боюсь евреев, иерусалимиты имеют здесь, в Праге, слишком много агентов...

Был вечер. Блестел голубоватый снег. Перед мрачным входом в еврейский квартал приткнулись лотки рождественской ярмарки, а между ними возвышалась затянутая красным сукном и освещенная чадящими факелами мерзкая сцена театра марионеток. Мы прошли под аркадой из тяжелых камней, около бронзового фонтана, по

решеткам которого свисали ледяные сталактиты, и нам открылся новый проход. Над старинными порталами — позолоченные головы львов держали в пастях бронзовые кольца. Какая-то легкая вибрация приводила в движение эти стены, какие-то необъяснимые звуки скатывались по низким крышам и текли по водосточным трубам. Дома, эти тайные обитатели, обнажали свою призрачную жизнь... Старый ростовщик, завернутый в длинную, поношенную одежду, слегка задел нас, и мне показалось, что я услышал его шепот: «Опасайтесь Атанасиуса Перната...» Дии пробормотал:

— Я опасуюсь совсем другого Атанасиуса...

И теперь мы добрались до Золотой Улочки... Вдруг здесь (и до сих пор при этом воспоминании уши, которых у меня больше нет, начинают гореть под потертой шапочкой) во мраке нового неожиданного перехода перед нами предстал гигант, отвратительное серое существо, опирающееся на сучковатую, витую палку из белого дерева. Его лицо было лишено всяческого выражения, а тело покрыто зеленовато-бронзовым панцирем. От этого создания исходил резкий запах сандала. Меня охватил смертельный ужас, под действием чар я окаменел, впившись взором в стоявшее передо мной существо. Я ни на минуту не мог отвести взгляда от туманного облака, обволакивающего его плечи, мне с трудом удалось различить хищное лицо египетского ибиса, а за ним — множество лиц, кошмаров моего воображения и памяти. Контуры этого призрака расширялись и сокращались во мраке прохода, как если бы медленное дыхание заставляло колыхаться всю его фигуру... И, о ужас, когда я опустил взгляд, то вместо ног увидел на снегу бесформенные культы, серая и бескровная плоть которых была вывернута и поднималась до лодыжек концентрическими набухшими складками. О мои алчные воспоминания...

— Голем! — объяснил Дии.

Он воздел руки к небу, и черная одежда с широкими рукавами сползла на землю, образуя *singulum*, пуповину, которая соединяла положение рук в воздухе с поверхностью и глубинами земли.

— Jezebel, Malkuth, Smoke Gets in Your Eyes! — промолвил он.

И сразу же Голем рассыпался как песочный замок под дуновением ветра, нас почти ослепили частицы его глиняного тела, которое распалось в воздухе на атомы, и тут же у наших ног появилась маленькая кучка пепла. Дии нагнулся, пошарил своими тощими

пальцами в этой пыли, вытащил оттуда маленький свиток пергамента и спрятал его у себя на груди.

В это время из мрака вынырнул старый раввин в замусоленной круглой шапочке, напоминающей мою ермолку.

— Думаю, что это доктор Дии, — сказал он.

— Here Comes Everybody, рабби Леви. Я рад вас видеть!

А тот продолжал:

— Вы случайно не видели существо, бродившее в этой местности?

— Существо? — переспросил Дии удивленно. — Кем созданное?

— К черту, Дии, — огрызнулся рабби Леви. — Это был мой Голем.

— Ваш Голем? Ничего о нем не знаю.

— Берегитесь, доктор Дии, — промолвил побледневший рабби Леви. — Вы затеяли игру, которая вам не под силу.

— Не знаю, о чем вы говорите, рабби Леви, — пожал плечами Дии. — Мы здесь для того, чтобы изготовить несколько унций золота для вашего императора. Мы не какие-то дешевые некроманты.

— Возвратите мне хотя бы пергамент, — взмолился рабби Леви.

— Какой пергамент? — удивился Дии с дьявольской наивностью.

— Будьте прокляты, доктор Дии! — воскликнул раввин. — Воистину вам не увидеть зари нового века.

И он удалился в ночь, бормоча под нос угрюмые согласные и не вставляя ни единой гласной. О, Дьявольский и Святой язык!

Дии стоял, прислонившись к влажной стене перехода, лицо его было землистым, волосы взъерошенными.

— Я знаю рабби Леви, — произнес он. — Я умру пятого августа 1608 года по грегорианскому календарю. А вы, Келли, поможете мне осуществить мой план. Именно вам надлежит довести его до конца. Помните: *Gilding pale streams with heavenly alchymy*. Я это запомнил, а Вильям — со мной и против меня.

Он больше ничего не сказал. Белесая туча, которая терлась спиной об оконные стекла, желтый дым, который терся спиной об оконные стекла, слизывали грани вечера. Мы уже были в другом переходе, беловатые пары исходили от решеток, отсюда были видны развалины с кривыми стенами, ритмичные градации туманного разума... А когда я спускался на ощупь по какой-то лестнице (с неестественно

прямоугольными ступенями), то заметил силуэт старика в выцветшем рединготе и высоком цилиндре. Дии его тоже увидел.

— Калигари! — воскликнул он. — Это дом мадам Сосострис. The Famous Clairvoyante! Быстрее!

Мы ускорили шаг и оказались у двери халупки на слабоосвещенной, зловеще семитской улочке.

Мы постучали, дверь отворилась как по волшебству. Мы вошли в просторную прихожую, обрамленную семиглавыми подсвечниками, выпуклыми четырехгранниками, веером расположенными звездами Давида. Старые скрипки цвета лака древних картин лежали кучей у входа на длинном анаморфичном столе. С высокого свода пещеры свисало чучело большого крокодила, слегка раскачиваемое вечерним ветерком в слабом свете единственной лучины, а может быть, множества — или ни одной. В глубине, перед чем-то вроде палатки или балдахина, под которым стоял tabernaculum, бормоча без передышки семьдесят два Имени Бога и богохульствуя, молился Старец. Вдруг на меня сошло озарение Нуса, и я понял, что это Генрих Кунрат.

— Приветствую тебя, Дии, — промолвил он, повернувшись и прервав молитву. — Чего ты хочешь?

У него был вид набитого соломой броненосца, игуаны без возраста.

— Кунрат, — сказал Дии, — третья встреча не состоялась. Кунрат разразился страшным проклятьем: — Lapis Exillis! И что же?

— Кунрат, ты мог бы бросить приманку и связать меня с немецкой линией тамплиеров.

— Посмотрим — произнес Кунрат. — Я могу попросить Майера, который имеет большие связи при дворе. Но тогда ты мне откроешь тайну Девственного Молока. Самой секретной Печи Философов.

Дии улыбнулся. О, какая божественная улыбка у этого Мудреца! Затем он сложил руки как для молитвы и прошептал:

— Когда ты захочешь видоизменить и растворить в воде или в Девственном Молоке сублимированную ртуть, помести ее на тонкую металлическую пластину между выступами и кубком с Вещью, старательно растертой, не прикрывай его, но сделай так, чтобы горячий воздух охватывал обнаженную материю, подогрей все на огне от трех углей и поддерживай этот огонь в течение восьми солнечных

дней, затемними и тщательно растирай на мраморе, пока материя не станет неощутимой. После этого помести ее в стеклянный алембик и продистиллируй в *Valneum Mariae* над чаном с водой, но расстояние между алембиком и водой должно быть не более двух пальцев, алембик надо подвесить в воздухе и одновременно разжечь огонь под чаном. Тогда, и только тогда материя живого серебра, находясь в этом горячем и влажном чреве, хоть и совершенно не касаясь воды, сама превратится в воду.

— Мэтр, — воскликнул Кунрат, падая на колени и целуя костлявую, прозрачную руку доктора Дии. — Мэтр, я сделаю так. А ты получишь то, что тебе нужно. Запомни эти слова: Роза и Крест. Ты их еще услышишь.

Дии завернулся в свою длинную одежду так, что виднелись лишь его сверкающие и злобные глаза.

— Пошли, Келли, — сказал он. — Этот человек теперь наш. А ты, Кунрат, держи Голема подальше от нас, пока мы не возвратимся в Лондон. А после пусть Прага превратится в один пылающий костер для казни.

Он собрался уходить. Кунрат, все еще стоящий на коленях, подполз к нему и схватил за полу одежды.

— Однажды к тебе, возможно, придет один человек. Он захочет написать о тебе. Будь ему другом.

— Дай мне Власть, — прошептал Дии с таким выражением на изможденном лице, которое трудно описать, — и его судьба будет обеспечена.

Мы вышли. Область пониженного давления атмосферы перемещалась с Атлантического океана на восток в направлении антициклона, расположившегося над Россией.

— Едем в Москву, — сказал я.

— Нет, — ответил Дии, — возвращаемся в Лондон.

— В Москву, в Москву, — шептал я иступленно.

— Ты хорошо знал, Келли, что никогда туда не доберешься. Тебя ждет Башня.

Мы возвратились в Лондон. Доктор Дии сказал:

— Они стремятся прийти к Решению раньше нас. Келли, ты напишешь для Вильяма что-нибудь... какую-то дьявольскую инсинуацию, намекающую на них.

Чрево демона, я это хорошо сделал, но Вильям испортил текст и все перенес из Праги в Венецию. Дии охватил черный гнев. Но бледный, похотливый Вильям чувствовал себя неуязвимым под крылом королевской наложницы. Я время от времени передавал ему свои лучшие сонеты, а он нагло требовал все новых и новых — для Нее, для Тебя, my Dark Lady. Как ужасно слышать твое имя, произносимое устами этого фигляра (я не знал что, этот человек с душой, обреченной на двойное проклятие, искал ее через Бэкона).

— Достаточно, — сказал я ему. — Я устал созидать в тени твоей славы. Пиши сам!

— Я не могу, — ответил он, и у него был взгляд человека, увидевшего Лемура, — мне не позволяют.

— Кто — Дии?

— Нет, Верулам. Ты разве не видишь, что отныне он дергает за все веревки? Он заставляет меня писать произведения, которыми затем будет похвально как своими. Ты не понял, Келли, что именно я — настоящий Бэкон, но потомки этого никогда не узнают. О, паразит! Как я ненавижу этого приспешника Сатаны!

— Бэкон — ничтожество, но он талантлив — заметал я. — Почему он не пишет сам?

Я не знал, что у него не было времени. Нам это стало известно лишь через несколько лет, когда Германию отхватил психоз розенкрейцеров. И тогда, собрав воедино разрозненные намеки, слова, которые раньше так неохотно соскальзывали с его уст, я понял, что автором манифестов розенкрейцеров был он. Именно он писал под вымышленным именем — Иоганн Валентин Андреаэ! Тогда я не понимал, для кого писал Андреаэ, но теперь, во мраке камеры, в которой томлюсь, более ясновидящий, чем дон Изидро Пароди, теперь-то я знаю. Сказал мне это Соапез, мой тюремный товарищ, бывший португальский тамплиер: Андреаэ писал рыцарский роман для какого-то испанца, который в то время также находился в застенках. Я не знаю почему, но этот замысел пригодился бедному Бэкону, который хотел войти в историю как неизвестный автор приключений рыцаря из Ла Манчи и поэтому попросил Андреаэ тайно написать это произведение, сам Бэкон хотел выдать себя за настоящего неизвестного автора, чтобы, оставаясь в тени, наслаждаться (но зачем, зачем?) триумфом другого.

Однако я отвлекаюсь от темы, мерзну в этой камере, и у меня болит большой палец на ноге. Я пишу при слабом свете керосиновой лампы последние произведения, которые мир узнает под именем Вильяма.

Доктор Дии умер, шепча: «Света, больше Света» и прося зубочистку. Он сказал: *Qualis Artifex Regeo!* Его убил Бэкон. Много лет назад, задолго до того как умерла королева с разбитыми душой и сердцем, Верулам в определенном смысле очаровал ее. Теперь черты ее лица исказились, она похудела и уподобилась скелету. Вся еда ее состояла из кусочка белого хлеба и супа из цикория. На бедре висела шпага, и в минуты гнева она с силой вонзала ее в гардины и в обивку стен своих уединенных покоев. (А если бы за такой гардиной был кто-нибудь и подслушивал? Или крыса, крыса? Хорошая мысль, старик Келли, следует ее записать). Находящуюся в таком состоянии старуху Бэкон без особого труда убедил в том, что это он — Вильям, ее внебрачный сын: он предстал перед королевой на коленях, и она, уже слепая, покрыла его овечьей шкурой. Золотое Руно! Говорят, что он нацеливался на трон, но я знаю, что его интересовало совсем другое — захватить План. И тогда он стал виконтом Сент-Олбанским. И, чувствуя в себе силу, устранил Дии.

Королева умерла, да здравствует король... Отныне я стал неудобным свидетелем. Меня завлекли в ловушку однажды вечером, когда *Dark Lady* наконец могла стать моей и танцевала в моих объятиях, находясь во власти трав, вызывающих видения, она, вечная София с морщинистым лицом старой козы... Он ворвался с группкой вооруженных мужчин, приказал завязать мне глаза платком, и я сразу же понял: купорос! И как Она смеялась, как ты смеялась, *Pin Ball Lady* — *oh maiden virtue rudely strumpeted, oh gilded honor shamefully misplac'd!* — когда он касался тебя своими хищными руками, а ты называла его Симон и целовала его зловеший шрам... В Башню, в Башню, — смеялся Верулам. С тех пор я валяюсь здесь, в компании с человеческим призраком, который называет себя Соапез, и тюремщики знают меня только как Лимонадного Джо. Я глубоко, с горячим рвением изучал философию, право и медицину, а также, увы, теологию. А теперь я здесь, бедный, бедный сумасшедший, и знаю столько же, сколько и раньше.

Через бойницу я наблюдал за королевской свадьбой и рыцарями с красными крестами, гарцевавшими под звуки труб. Я должен был быть там и играть на трубе. Цецилия знала об этом, и еще раз лишила меня вознаграждения, которое ожидало меня у цели. Играл же Вильям. А я, скрытый в тени, писал для него.

— Я тебе подскажу, как отомстить, — прошептал Соапез; в этот день он открылся в своей настоящей сущности: бонапартистский аббат, много веков назад помещенный в эту могилу для живых.

— Ты выберешься отсюда? — спросил я.

— If... — начал он, но сразу же умолк.

Выстукивая ложкой по стене таинственную азбуку, которую, по его словам, получил от Тритемия, он начал передавать послание кому-то в соседней камере. Графу де Монсальват.

Прошли годы. Соапез упорно стучал в стену. Теперь я знаю для кого и с какой целью. Его звали Ноффо Деи. Деи (по какой таинственной Каббале Деи и Дии звучат похоже? Кто донес на тамплиеров?), осведомленный Соапезом, разоблачил Бэкона. Что он сказал, мне неизвестно, но через несколько дней Верулам был арестован. Его обвинили в содомии, поскольку говорили (меня бросает в дрожь при мысли, что это правда), что ты, Dark Lady, Черная Дева друидов и тамплиеров, ты есть не что иное, как вечный гермафродит, творение ученых рук, но чьих? Сейчас, сейчас я уже знаю: рук твоего любовника, графа де Сен-Жермена! Но кто же такой Сен-Жермен, как не сам Бэкон (сколько всего знает Соапез, этот непризнанный тамплиер, имеющий множество жизней...)?

Верулам вышел из тюрьмы и благодаря магическим штучкам вновь обрел расположение монарха. Сейчас, по словам Вильяма, он проводит ночи на Темзе, в «Пиладз Паб», играя на этой странной машине — изобретенной по его просьбе жителем Нолы, который из-за него сгорел на костре в Риме и которого перед тем он вызвал в Лондон, чтобы вырвать у него секрет, — на астральной машине, пожирательнице обезумевших шаров, которую, через бесконечные миры, в сиянии ангельского света, непристойными движениями торжествующего зверя напирая лобком на ее корпус, чтобы вызывать смену небесных тел в расположении Деканов и понять последние тайны ее великого преобразования и даже тайну Новой Атлантады, он

назвал Готтлибской машиной, пародируя таким образом священный язык Манифестов, приписываемых Андреаэ...

— Ах, — воскликнул я (*s'ecriatil*), сознание пронзительно-ясное, но слишком поздно и напрасно, а сердце громко бьется под кружевами корсета: вот почему он забрал у меня трубу, этот амулет, талисман, космическую связь, которая имела власть над злыми духами. Что он может замышлять в своем Доме Соломона?

«Поздно, повторил я себе, — он получил слишком большую власть».

Говорят, что Бэкон умер. Соапез уверяет меня, что это ложь. Никто не видел его трупа. Он живет под вымышленным именем, бок о бок с ландграфом де Гессе, посвященный в самые строгие тайны и, следовательно, бессмертный, готовый продолжать свое мрачное сражение за триумф Плана — триумф его имени и под его контролем.

После этой гипотетической смерти меня посетил Вильям — как всегда, со своей улыбкой лицемера, которую не скрыла от меня даже решетка. Он спросил, почему в сонете 111 я написал о каком-то Красильщике, и процитировал стих: «*To What It Works in, Like the Dyer's Hand...*»

— Я никогда не писал этих слов, — возразил я. И это было правдой... Ясно: их включил Бэкон перед тем, как исчезнуть, подавая какой-то таинственный знак тем, кто в будущем должен дать приют Сен-Жермену как эксперту по тинктурам... Я думаю, что когда-нибудь он попытается убедить мир в том, что именно он написал произведения Вильяма. Каким все становится очевидным, когда смотришь из мрака камеры!

Where Art Thou, Muse, That Thou Forget'st So Long? Я чувствую себя разбитым, больным. Вильям ждет от меня нового материала для своих беспутных клоунад в *Globe*.

Соапез пишет. Я заглянул через его плечо. Чертит какие-то непонятные слова: *Rivverun, past Eve and Adam's...* Закрывает листок, присматривается ко мне, видит, что я бледнее Духа, читает в моих глазах Смерть. Шепчет мне:

— Отдохни. Не бойся. Я буду писать вместо тебя. Он так и делает, это маска маски. Я медленно угасаю, а он забирает мой последний свет, свет темноты.

При том, что намерения он имеет благие, весь дух его и все его пророчества несомненно одушевляются дьяволом... Его речи способны соблазнить многочисленных любознательных людей и нанести большой ущерб и бесчестье церкви Господа Нашего.

Характеристика на Гийома Постэля, направленная Игнатию Лойоле отцами иезуитами Сальмероном, Лоостом и Уголетто, 10 мая 1545 года

Точнее, Бельбо говорил с нами об этом, но очень сдержанно, ограничившись сжатым пересказом мотивов и связей и, разумеется, затушевав личностный компонент. Он даже попытался сделать вид, что мотивы и связи подсказала ему сама машина, Абулафия. Я действительно и до Бельбо уже читал где-то предположение, что Бэкон является тайным автором розенкрейцерских манифестов. Меня поразил скорее другой факт, упомянутый Бельбо: что Бэкон был виконтом Сент-Альбанским!

Что-то загудело у меня в голове, какое-то воспоминание, связанное опять же со знаменитым, ныне полузабытым дипломом о тамплиерах. Всю ночь я копался в старых конспектах.

— Господа, — торжественно обратился я на следующее утро к сообщникам, — мы не можем изобретать связи. Наше дело их обретаать. Они существуют. Когда Святой Бернад подал идею созвать свой знаменитый собор для легитимизации тамплиеров, среди членов оргкомитета мероприятия числился приор Сент-Альбанский. Святой Альбан, кстати говоря — это первый британский мученик, евангелизатор британских островов, и родился он в Веруламе, поместье Бэкона. Святой Альбан, кельт и несомненный друид, посвященный в тайны, как и сам Святой Бернад.

— Этого мало, — сказал Бельбо.

— Погодите. А приор Сент-Альбанский, о котором я говорил до того, становится настоятелем Сен-Мартен-де-Шан, аббатства, в котором будет впоследствии учрежден Консерваторий Науки и Техники!

Бельбо не выдержал.

— Дьявольщина!

— И не только, — продолжал я как ни в чем не бывало. — Еще и сам Консерваторий задумывался как памятник Фрэнсису Бэкону. 25 брюмера III года республики от Конвента поступает приказ Комитету народного образования — подготовить и опубликовать полное собрание сочинений Бэкона. А 18 вандемьера того же года тот же Конвент принимает законопроект об учреждении Дома науки и искусства, в котором бы воплотилась идея Дома Соломона, описанного Бэконом в «Новой Атлантиде»: место, где собраны все известные технические изобретения человеческого рода.

— Ну и что? — спросил Диоталлеви.

— А то, что в Консерватории висит Маятник, — ответил Бельбо. По вопросу Диоталлеви я понял, что Бельбо не вводил его в курс своих соображений на тему о маятнике Фуко.

— Всему свое время, — сказал я тогда. — Маятник будет изобретен и установлен лишь в девятнадцатом веке. Пока что пренебрежем.

— Пренебрежем? — перебил Бельбо. — Вы что, никогда не видели изображения Иероглифической монады Джона Дии, талисмана, в котором сосредоточена вся мудрость подлунного мира? Что это, по-вашему, не Маятник?



— Прекрасно, — ответил я. — предположим, нам удастся установить соответствия между этими фактами. Но какой переход от Сент-Альбана к Маятнику?

И я нашел переход за несколько дней и принес им его в зубах.

— Значит, приор Сент-Альбанский — настоятель Сен-Мартен-де-Шан. Таким образом аббатство становится филотамплиерским центром. Бэкон, через свое имение, налаживает тайные связи с друидами, последователями Святого Альбана. В то же время учтем, что когда Бэкон начинает в Англии свой творческий путь, во Франции его же оканчивает Гийом Постэль. (Бельбо чуть заметно скривился, и я вспомнил разговор на вернисаже Рикардо, когда он сказал, что Постэль ассоциируется с тем, кто похитил у него Лоренцу. Но это была сиюминутная реакция.) — Постэль изучает еврейский язык, желая доказать, что это праматерь всех языков, и переводит «Зогар» и «Багир»; он завязывает отношения с каббалистами, разрабатывает проект всепланетного мира, сходный с проектами розенкрейцерских групп в Германии, а также пробует устроить военный союз короля Франции с султаном, посещает Грецию, Сирию, Малую Азию, изучает арабский язык, одним словом — повторяет духовный маршрут Христиана Розенкрейца. Не случайно он подписывается во многих случаях «Розисперг» — «прыщущий росой». В то же время Гассенди^[108] в своей «Проверке Фладдовой философии» говорит, что Розенкрейц происходит не от розы, а от росы («рос»). В одной рукописи он говорит о некоей тайне, которую надлежит хранить, пока не созреют времена, и добавляет «не пометайте бисер ваш пред свиньями». А знаете, где еще появляется это евангельское выражение? На фронтисписе «Химического бракосочетания»! Вдобавок Святой отец Марине Мерсенн, обличая розенкрейцерца Фладда, говорит, что тот — из такого же теста, такой же великий безбожник, как и Постэль. С другой стороны, почти что достоверно известно, что Дии и Постэль встречались в 1550 году, но тогда они еще не знали, да и откуда бы им узнать, что именно они и станут теми двумя Великими Магистрами, которых План обяжет встретиться в 1584-м. Вдобавок ко всему, Постэль заявлял, вы только послушайте! что как прямой потомок старшего отпрыска патриарха Ноя, притом что Ной — родоначальник кельтского племени и следовательно, цивилизации друидов, король Франции имеет непосредственное право на титул Царя Мира. Именно так: Царя Мира, того самого, который в Агарте, но употребляет он этот термин тремя столетиями раньше! Бог с ним, с Постелем, и с его странной биографией, потому что в определенный момент он втюрился в старушку по имени Иоанна, назвал ее Божественной

Софией, видимо, подвинулся рассудком. Учтем при этом, что у него имелись довольно солидные недоброжелатели, которые аттестовали его псом, калоедом, мерзостным отродьем, клоакой ересей и вместилищем легиона демонов. Несмотря на это, и даже несмотря на старушку любовницу, инквизиция не считала его еретиком. Он проходил у инквизиторов по статье *amens*, что переводится как «блаженненький». Делаем вывод, что этого человека не трогают, потому что за его спиной — тень какой-то могущественной группировки. В скобках для Диоталлеви добавляю, что Постэль любил путешествовать по Востоку и являлся современником Исаака Лурии, а дальше Диоталлеви пусть делает выводы какие хочет. Да. Так вот в 1564 году (когда Дии сочинил свою «Иероглифическую монаду»), Постэль отрекается от еретических блудней и удаляется искупать вину... угадайте куда? В монастырь Сен-Мартен-де-Шан! Как легко понять, он хочет провести двадцать лет в ожидании 1584-го.

— Это уж точно, — кивнул Диоталлеви.

Я летел дальше.

— Да вы понимаете, что у нас вся картина на ладони? Постэль — гроссмейстер французского ядра, он дожидается встречи с ядром английским, но умирает в 1581 году, за три года до условленной встречи. Выводы. Во-первых, ляпсус с 1584 годом происходит, в частности, потому, что нет надежного человека, такого как Постэль, способного вовремя предусмотреть и откорректировать нелепицу с календарями. Второе, Сен-Мартен — это место, где тамплиеры испокон веков чувствовали себя как дома и где поселился их уполномоченный представитель, ожидая выхода на связь. Сен-Мартен-де-Шан — это и есть «Укрытие»!

— Ну просто одно к одному.

— Вот именно. В год несостоявшегося свидания Бэкону еще всего только двадцать лет. Дожив до 1621 года, он принимает титул виконта Сент-Альбанского. Спрашивается: почему его вдруг так потянуло к имению предков и ко всему с этим связанному? Мы не знаем. Однако в этом же году кто-то выдвигает против него облыжное обвинение в коррупции и Бэкон попадает в тюрьму. Очевидно, Бэкон раскопал нечто, что могло внушать страх. Внушать кому? Не будем забывать, что к этому времени Бэкон уже твердо уверен, что Сен-Мартен — ключевая точка, и собирается разместить именно там свой Дом

Соломона — лабораторию, в которой можно работать, проводить эксперименты, с тем чтобы раскрыть секрет Плана.

— Но, — спросил Диоталлеви, — через кого осуществлялся контакт между наследниками Бэкона и деятелями Великой французской революции?

— Сейчас сказали бы — через масонов, — пробормотал Бельбо.

— Феноменально! Ведь именно об этом говорил нам в свое время и Алье!

— Ох, придется нам заняться масонами. Что представляют из себя логи в то время?

От вечного сна... не убежит никто, кроме тех, кто еще при жизни сумел обратить свой дух к высшему совершенству. Посвященные (Адепты) находятся на пределе этого пути. Следуя указаниям памяти — анамнезу, по выражению Плутарха, — они обретают свободу, дорога их пряма, увенчанные, они отправляют тайно-совершительные действия и видят на земле иных, кто не был посвящен и кто не очистился, их толкотню и давку в грязи и в сумерках.

Юлиус Эвола, Герметическая традиция

/Julius Evola, La tradizione ermetica, Roma, Edizioni Mediterranee. 1971, p. 111/

Я нахально вызвался составить в самые сжатые сроки примерную хронологическую таблицу. Лучше бы я этого не обещал. Меня захлестнуло море книг, наполненных историческими сведениями и герметическими сплетнями, и понял, сколь непростое дело отличать достоверное от фантастического. Я проработал как автомат в течение семи дней и к концу недели у меня в руках был совершенно непроходимый перечень различных сект, лож и группировок. Не скрою, что при этом занятии не раз и не два я подскакивал как ужаленный, обнаружив известные мне имена в совершенно неожиданной компании, сталкиваясь с поразительными хронологическими совпадениями. Перебелив список, я показал его коллегам.

1645. Лондон: Эшмол основывает Незримый колледж розенкрейцерского толка.

1662. Из Незримого колледжа рождается Королевское общество, а из Королевского общества, как всем известно — масонство.

1666. Париж: Академия наук.

1707. Рождается Клод-Луи де Сен-Жермен, [\[109\]](#) если он действительно рождается.

1717. Основана Великая Лондонская ложа.

1721. Андерсон составляет Конституцию английского масонства. Будучи посвящен в Лондоне, Петр Великий учреждает ложу в России.

1730. Монтескье, будучи в Лондоне проездом, вступает в ложу.

1737. Шевалье де Рамзай заявляет о связи масонства с тамплиерством. Появляется шотландский обряд, отныне и впредь находящийся в конфликте с Великой Лондонской ложей.

1738. Фридрих — в то время наследный принц Пруссии — вступает в масоны. Становится покровителем энциклопедистов.

1740. Примерно в это время появляются ложи во Франции: в Тулузе — Ложа Верных Шотландцев, в Бордо — Коллегиум Высоких Князей Королевской Тайны, Двора Суверенных Предводителей Храма в Каркассоне, Филадельфийцев в Нарбонне, Капитула Розенкрейцеров в Монпелье, Верховных Посвященных Истины...

1743. Первое появление на публике графа Сен-Жермена. Лионская ложа изобретает ступень Рыцаря Кадоша, чье назначение — месть за тамплиеров.

1753. Виллермоз открывает ложу Совершенной Дружбы.

1754. Мартинес Пасквинес (Мартен де Паскуалли) основывает Храм Элус Коэн (возможно, позднее — в 1760).

1756. Барон фон Гунд учреждает Строгое Наблюдение Тамплиеров. Некоторые утверждают, что эта ложа возникла под влиянием Фридриха II Прусского. Впервые возникает разговор о Неведомых Старшинах. Кое-кто утверждает, что Неведомыми Старшинами были Фридрих и Вольтер.

1758. В Париж прибывает Сен-Жермен и предлагает свои услуги королю в качестве химика, специалиста по крашению и краскам. Он бывает у Помпадур.

1759. Формируется Совет Императоров Востока и Запада, который спустя три года составляет Конституцию и Бордоский устав, откуда поведет свое начало Древний и Принятый шотландский обряд (официально он начинает свою деятельность только с 1801). Характерной чертой шотландского обряда является увеличение числа верхних степеней вплоть до тридцати трех.

1760. Сен-Жермен и его двусмысленная дипломатическая Голландии. Он должен скрываться, в Лондоне его арестовывают и затем отпускают. Дом Пернети основывает Общество иллюминатов в Авиньоне. Мартинес Пасквинес учреждает Орден Кавалеров Избранных Каменщиков Мира.

1762. Сен-Жермен в России.

1763. Казанова встречается с Сен-Жерменом в Бельгии. Там он именуется Де Сюрмон и превращает простую монету в золотую.

1768. Виллермоз входит в общество Элус Коэн, основанное Пасквинесом. Печатается, с апокрифическим местом публикации — Иерусалим, — книга «Развенчание наиболее тайных секретов высших степеней масонства, или же Истинное розенкрейцерство»: в книге говорится, что ложа розенкрейцеров находится на горе Гередон в шестидесяти милях от Эдинбурга. Пасквинес встречается с Луи-Клодом Сен-Мартеном, который впоследствии станет знаменит под именем Неизвестного Философа. Дом Пернети становится библиотекарем прусского короля.

1771. Герцог Шартрский, впоследствии знаменитый как Филипп Эгалите, становится Великим Магистром Великого Востока, потом Великого Востока Франции, и пытается объединить все ложи, встречая сопротивление лож шотландского обряда.

1772. Пасквинес переезжает в Санто-Доминго, а Виллермоз и Сен-Мартен основывают Суверенный Ритуал, который сделается впоследствии Великой Шотландской Ложей.

1774. Сен-Мартен удаляется от дел, чтобы стать Неизвестным Философом, а один из делегатов Строгого Послушания Тамплиеров предпринимает переговоры с Виллермозом. Рождается Шотландская директория провинции Овернь. Из Овернской директории образуется Шотландский Исправленный обряд.

1776. Сен-Жермен, под именем графа Уэлдона, представляет химические проекты Фридриху II. Создается Общество Филафетов для объединения всех герметических обществ. Ложа Девяти Сестер, в которую входят Гильотен и Кабанис, Вольтер и Франклин. Вейсгаупт кладет начало баварским иллюминатам. По некоторым данным, он был посвящен неким датским купцом, Кельмером, возвратившимся из Египта, который будто бы — не кто иной как таинственный Альтотас, учитель Калиостро.

1778. Сен-Жермен встречается в Берлине с Домом Пернети. Виллермоз учреждает Орден Добродетельных Кавалеров Града Святого. Строгое Послушание Тамплиеров сливается с Великим Востоком при условии, что будет соблюдаться Шотландский Исправленный обряд..

1782. Большой съезд всех секретных обществ в Вильгельмсбаде.

1783. Маркиз Томэ учреждает Обряд Сведенборга.

1784. Сен-Жермен якобы погибает, устраивая для ландграфа Гессе фабрику по производству красок.

1785. Калиостро учреждает Мемфисский обряд, который впоследствии превратится в Древний и Первобытный Мемфисско-Мисраимский обряд и в котором количество высших степеней будет доведено до девяноста. Вспыхивает инспирированный Калиостро скандал с ожерельем королевы. Дюма передает этот эпизод как масонский заговор с целью дискредитации монархии. Орден иллюминатов в Баварии, подозреваемый в революционной деятельности, подпадает под запрет.

1786. Мирабо проходит инициацию у баварских иллюминатов в Берлине. В Лондоне выходит манифест

розенкрейцеров, приписываемый Калиостро. Мирабо пишет письмо Калиостро и Лафатеру.

1787. Во Франции около семисот лож. Публикуется «„Проект“ Вейсгаупта», где предлагается такой тип тайной организации, в которой каждый член знает только своего непосредственно вышестоящего.

1789. Начало Французской революции. Кризис французских лож.

1794. Восьмого вандемьера депутат Грегуар представляет в Конвенте проект Консерватория Науки и Техники. Музей будет создан в соборе Сен-Мартен-де-Шан в 1799 году по решению Совета Пятисот. Герцог Брунsvик требует роспуска лож под предлогом, что некая злокачественная секта распространила среди них свою заразу.

1798. Арест Калиостро в Риме.

1801. В Чарльстоне оповещается об официальном учреждении Древнего и Принятого Шотландского Обряда, с тридцатью тремя степенями.

1824. Послание от венского двора французскому правительству: донесение о деятельности тайных обществ, таких как абсолюты, индипенденты, Высокая Вента карбонариев.

1835. Каббалист Эггингер утверждает, что встретил Сен-Жермена в Париже.

1846. Венский литератор Франц Граффер публикует мемуар о встрече его брата с Сен-Жерменом в 1788–1790 гг. Сен-Жермен принимает посетителя, листая книгу Парацельса.

1865. Основание Розенкрейцерского общества в Англии (по другим свидетельствам — 1860 или 1867). В него вступает Булвер-Литтон, автор розенкрейцерского романа «Занони».

1868. Бакунин основывает интернациональный Альянс социалистической демократии, вдохновленный, по мнению некоторых, обществами баварских иллюминатов.

1875. Елена Петровна Блаватская основывает Теософическое общество. Выходит ее книга «Изида без покрывал». Барон Спедальери провозглашает себя членом Великой ложи Одиноких Горных Братьев, Иллюминатом-Братом Древнего и Восстановленного Ордена Манихеев и Великим Иллюминатом Мартинистов.

1877. Мадам Блаватская говорит о влиянии Сен-Жермена на теософию и о том, что среди его физических воплощений (реинкарнаций) были Роджер и Фрэнсис Бэконы, Розенкрейц, Прокл, Святой Альбан. Великий Восток Франции отказывается от обращения к Великому Архитектору Вселенной и провозглашает свободу совести в абсолюте. Великий Восток порывает отношения с Великой Ложей Англии и принимает решительно светский, радикальный характер.

1879. Основание Розенкрейцерского общества в США.

1880. Начало деятельности Сент-Ива д'Алвейдре. Леопольд Энглер проводит реорганизацию иллюминатов Баварии.

1884. Лев XIII в своей энциклике «Роду Человеческому» осуждает масонство. Отход от масонства католиков, приход рационалистов.

1888. Станислас де Гуайта основывает Каббалистический орден Розенкрейцеров. Учреждение в Англии Герметического ордена Золотой Зари. Одиннадцать градаций — от неопита до Ipsissimus'a.^[110] Император ложи — Мак-Грегор Матерс. Его сестра была женой Бергсона.

1890. Жозефен Пеладан отходит от Гуайты и основывает общество «Роза+Крест Католиков Храма и Грааля», приняв при этом имя Сар Меродак. Распря между розенкрейцерами Гуайты и адептами Пеладана известна под названием «Войны двух роз».

1891. Папюс публикует «Методический трактат об оккультных науках».

1898. Алейстер Кроули посвящен в орден Золотой Зари. Потом им будет основан самостоятельный Телемский орден.

От Золотой Зари отпочковывается орден Утренней Звезды, адептом которого становится Йейтс.

1909. В Америке Спенсер Льюис «возрождает к жизни» Древний Мистический орден Розы и Креста и в 1916 году с успехом демонстрирует в одном отеле превращение куска цинка в золото. Макс Гиндель основывает Розенкрейцерское общество. Затем основываются Розенкрейцерский Лекторий, Первородные Братья Розы-Креста, Герметическое Братство, Храм Розы-Креста.

1912. Анни Безан, ученица Блаватской, учреждает в Лондоне орден Храма Розы-Креста.

1918. В Германии рождается общество Туле.

1936. Во Франции открывается Великий Приорат де Голь. В «Тетрадах полярного братства» Энрико Контарди ди Родино рассказывает, как его посетил граф де Сен-Жермен.

— Что все сие означает? — спросил Диоталлеви.

— Не спрашивайте у меня. Вам нужны были факты. Я их подобрал.

— Надо бы проконсультироваться с Алье. Бьюсь об заклад, что даже он не знает всех этих организаций.

— Что? Он этим кормится. Ему ли не знать. Но все-таки можно устроить ему проверочку. Прибавим несуществующую секту. Свежеоснованную.

Я вспомнил странный вопрос Де Анджелиса — слышал ли я когда-либо об организации ТРИС. И выпалил: — Например, Трис.

— А что будет значить Трис? — спросил Бельбо.

— Предположим, это акроним. Значит, его можно разгадать, — сказал Диоталлеви. — Зачем иначе мои раввины изобретали Нотарикон? Подождите... Тамплиеры-Рыцари Интернациональной Синархии. Каково?

Нам понравилось, и список был благополучно завершен.

— Между прочим, этих сект столько, что изобрести новую не каждому удастся, — промурлыкал Диоталлеви в порыве заслуженной гордости.

Чтобы дать самую сжатую характеристику французского масонства XVIII века, только одно слово подходит к ситуации: дилетантам.

Рене Ле Форестье, Франкмасонство тамплиерское и оккультистское

/Rene Le Forestier, La Franc-Maconnerie Templiere et Occultiste Paris, Aubler, 1970, p. 2/

На следующий вечер мы пригласили Алье к Пиладу. Хотя новое поколение его посетителей ввело в обиход пиджаки и галстуки, все же появление нашего гостя в костюме-тройке маренго, в крахмальной сорочке и с золотой булавкой на галстуке произвело впечатление. Слава богу еще, в шесть часов народу у Пилада никогда не бывает слишком много.

Алье вогнал Пилада в пот своим заказом: марочный коньяк. Коньяк все-таки нашелся, но на самой верхней полке выставочного стеллажа, и покрытый многомесячным наростом пыли.

Говоря с нами, Алье любовался на просвет оттенком напитка, согревал его в ладонях, посверкивая золотыми запонками египетского рисунка. Мы показали ему свой список, сказав, что это сводный каталог писаний одержимцев.

— Что тамплиеры связаны с древнейшими ложами строителей-каменщиков, восходящими ко временам постройки Соломонова Храма, это общеизвестно. Так же общеизвестно, что тогда же каменщики объединились в память подвига архитектора этого храма, Хирама, ставшего жертвой таинственного убийства, и поклялись отомстить за него. Когда началось преследование тамплиеров, многие из рыцарей Храма безусловно влились в артели мастеров-каменотесов, причем мотив мести за Хирама отождествился с отмщением за Жака де Молэ. С другой стороны, в восемнадцатом веке в Лондоне существовали ложи настоящих каменотесов, так называемые деятельные ложи, и со

временем скучающие джентльмены, самого респектабельного состояния, привлеченные традиционными ритуалами, наперебой начали просить о вступлении в них. Таким образом деятельное масонство, состоящее из каменщиков-рабочих, превратилось в созерцательное масонство, состоящее из каменщиков символических. В этой обстановке некий Дезагюлье, распространитель идей Ньютона, оказывает влияние на одного протестантского священника, Андерсона, который составляет Конституцию Ложи братьев каменщиков, действующего толка, и кладет начало мифу о масонских обществах как корпорациях, имеющих четырехтысячелетнюю историю и ведущихся от основателей Соломонова Храма. Таковы истоки масонской атрибутики, маскарадных костюмов: всех этих фартуков, угольников, молотков. Но, может быть, именно по этой причине масонство становится модой, привлекает дворянство, в частности, как новое украшение генеалогического дерева и герба. Но еще сильнее им очаровывается мещанство, которое благодаря членству в ложе не только становится на равную ногу с благородными, но даже получает возможность нацепить шпагу... О нищета нарождающегося современного мира!

Благородным требуется среда, в которой они могут общаться с новыми производителями капитала, а последние — разумеется — стремятся облагородиться...

— Кажется, тамплиеры появляются несколько позже.

— Рамзай был первым, кому удалось установить с ними прямой контакт, однако у меня нет никакого желания об этом говорить. Подозреваю, что он это делал по наущению иезуитов. Именно его стараниями появилось на свет шотландское крыло масонского движения.

— В каком смысле шотландское?

— Шотландский обряд — не что иное, как франко-германское изобретение. Лондонские масоны установили три градации членства: подмастерье, компаньон и мастер. Шотландские масоны увеличили количество степеней, что означало увеличение уровней посвященности и тайны... Фатоватых по натуре французов это едва не свело с ума...

— Но что же это за тайна?

— Никакой тайны, конечно же, не было. Если бы она существовала (или если бы они ею владели), это служило бы подтверждением необходимости столь сложной градации инициации. Рамзай же увеличивает количество степеней инициации для того, чтобы внушить людям, будто ему доверена какая-то тайна. Можете себе представить, какую дрожь должен был испытывать доблестный лавочник, полагая, что может наконец стать князем мщения...

Алье был щедр на сплетни о каменщиках. И как обычно, он незаметно перешел к рассказу от первого лица.

— В те времена во Франции уже сочиняли *couplets* о новой моде на *frimasons*, ложи появлялись как грибы после дождя, в них входили архиепископы, монахи, маркизы и купцы, а члены королевской семьи удостоивались чести быть великими магистрами. Членами ложи Строгого Наблюдения Тамплиеров, созданной подозрительным типом фон Гундом, были Гете, Лессинг, Моцарт и Вольтер; ложи появлялись в среде военных, в полках составлялись планы заговоров с целью мести за Хирама и поговаривали о неизбежности революции. Для других же масонство было *societe de plaisir*, своего рода клубом, символом общественного статуса. Там можно было встретить кого угодно: Калиостро, Месмера, Казанову, барона Хольбаха, д'Аламбера... Энциклопедистов и алхимиков, либертинов и герметистов. Это стало особенно заметно в период революции: члены одной и той же ложи оказались в разных лагерях, и казалось, что великая их дружба готова была навсегда кануть в Лету...

— А не существовало ли разногласий между Великим Востоком и Шотландской Ложей?

— Только на словах. Вот вам пример: в ложу Девяти Сестер вошел Франклин, который старался навязать ей мирскую направленность. Его интересовали исключительно поддержка американской революции... В то же время одним из ее великих магистров был граф де Мильи, который занимался поисками эликсира долголетия. Но поскольку он был глупцом, то во время своих экспериментов отравился и умер. Кроме этого, господа, вспомните Калиостро: с одной стороны, он придумывал египетские обряды, а с другой — был втянут в аферу с колье королевы, скандал, инспирированный новыми руководящими классами для того, чтобы дискредитировать *Ancien Regime*. И Калиостро завяз в этом по уши,

понимаете? Постарайтесь себе представить, с какими людьми приходилось иметь дело...

— Похоже, это было нелегко, — с пониманием произнес Бельбо.

— Но кто были эти бароны фон гунды, искавшие Неведомых Старшин? — спросил я.

— В период разгула мещанского фарса появились группы людей с совершенно различными целями, которые, чтобы привлечь большее количество последователей, отождествляли себя с масонскими ложами, но при этом преимущественно преследовали цели инициации. В это время и состоялась дискуссия о Неведомых Старшинах. Фон Гунд, к сожалению, не был серьезным человеком. Поначалу он убеждает своих последователей в том, что Неведомыми Старшинами были Стюарты. Затем решает, что целью Ордена является выкуп имущества тамплиеров, и собирает для этого средства где только возможно. Но их постоянно не хватает; он попадает в лапы некоего Штарка, утверждавшего, что получил от настоящих Неведомых Старшин, живущих в Санкт-Петербурге, секрет производства золота. Вокруг фон Гунда и Штарка толкуются теософы, алхимики, новоиспеченные розенкрейцеры, и все они избирают великим магистром самого безупречного аристократа — герцога Брауншвейгского. Тот сразу понимает, что оказался в скверной компании. Один из членов Тамплиеров Строгого Наблюдения ландграф де Гессе обращается к графу де Сен-Жермену, полагая, что тот сможет получать для него золото, впрочем, не станем затрагивать эту тему — в те времена приходилось потворствовать капризам могущественных людей. Но верхом всего было то, что этот человек выдавал себя за святого Петра. Лафатер, находясь однажды в гостях у ландграфа, даже устроил сцену герцогине Девонширской, считавшей себя Марией Магдалиной.

— А что же эти виллермозы, эти мартинесы пасквинес, которые создавали одну секту за другой?

— Пасквинес был авантюристом. В одной из своих тайных комнат он производил теургические опыты, и духи ангелов являлись ему в виде полос света или иероглифов. Виллермоз воспринял это всерьез, поскольку был энтузиастом своего дела, честным, но наивным. Его увлекала алхимия, он не переставал думать о Великом Деле, которому должны посвятить себя избранные, чтобы определить точное

соотношение шести благородных металлов, изучая смысл шести букв первого имени Бога, которое Соломон сообщил своим избранникам.

— И что?

— Виллермоз создает многочисленные секты послушников и одновременно становится членом многих лож, как это было принято в те времена, он находится в постоянном поиске последнего откровения, опасаясь, что оно вьет себе гнездышко каждый раз в новом месте, что было правдой, а возможно, и единственной истиной на свете... Таким образом, он попадет в число Избранных Коэна Пасквинеса. Но в 1772 году Пасквинес исчезает, отправившись в Санто-Доминго, и, бросив свои начинания, оставляет их на волю случая. Почему он убегает? Думаю, он завладел какой-то тайной и не захотел делиться ею с другими. Во всяком случае, мир праху его, он отправился туда, куда заслуживала его черная душа...

— А что же Виллермоз?

— В те годы все мы были потрясены смертью Сведенборга, человека, который мог бы многому научить больной Запад, если бы только Запад прислушался к нему; а тем временем наш век мчался навстречу революционному безумию, дабы удовлетворить амбиции третьего сословия... Итак, именно в это время Виллермоз услышал от фон Гунда о Строгом Наблюдении Тамплиеров и был восхищен. Ему сказали, что тамплиер, который себя обнаружил, основав, скажем, публичную организацию, уже не может быть тамплиером, однако следует принять во внимание, что XVIII век был эпохой безмерной доверчивости. Виллермоз вместе с фон Гундом пытается создать сочетания различных организаций, следы которых можно увидеть в вашем списке, господи, и так продолжается до тех пор, пока фон Гунда не разоблачили: оказывается, он был из тех, кто способен удрать, прихватив общественную кассу, и герцог Брауншвейгский изгоняет его из организации.

Алье еще раз заглянул в список.

— Ах да! Я совсем забыл о Вейгаупте. Баварские Иллюминаты благодаря своему названию поначалу привлекали значительное количество одаренных умов. Но этот Вейгаупт был анархистом, сегодня мы бы сказали — коммунистом, и, господи, если бы вы только знали о маниакальных увлечениях людей этого круга: государственные перевороты, смещение с трона государей, реки крови... Однако

заметьте: Вейгаупт вызывает у меня восхищение, но не своими политическими воззрениями, а тем, что сумел хорошо продумать концепцию функционирования тайного общества. Оказывается, можно иметь прекрасную идею хорошо продуманной организации, а цели — туманные. В общем, герцог Брауншвейгский считал своим долгом привести в порядок ту путаницу, что осталась после фон Гунда, и пришел к выводу, что к тому времени в германской среде свободных каменщиков существовало по крайней мере три враждующих между собой течения: одно объединяло в себе сапиентистов и оккультистов, включая нескольких розенкрейцеров, в другом собрались рационалисты, а третьим было революционно-анархистское движение Баварских Иллюминатов. Тогда он предложил различным орденам и обрядам собраться в Вильгельмсбаде для «конвента», как говорили в те времена. Им было предложено дать ответ на следующие вопросы. Действительно ли Орден произошел от старинного общества, и если да, то от какого? Действительно ли существуют Неведомые Старшины, которым доверена древняя традиция, и если да, то кто они? Каковы настоящие цели Ордена, предполагается ли конечной целью его деятельности восстановление Ордена Тамплиеров? И так далее, включая вопрос, должен ли Орден заниматься оккультными науками. Виллермоз с энтузиазмом отзывается на этот призыв: наконец он сможет получить ответы на вопросы, которые честно пытался разрешить всю свою жизнь... И вот тогда происходит этот случай с де Местром.

— С которым из них? — спросил я — С Жозефом или с Ксавье?

— С Жозефом.

— С реакционером?

— Если он и был реакционером, то лишь в незначительной степени. Станный человек. Заметьте, господа, этот защитник католической церкви именно в то время, когда папские буллы клеймят масонство, вступает в ложу под названием «Жозефус и флорибус». Более того, он принимает масонство, когда в 1773 году папа выступает с посланием против иезуитов. Конечно же, де Местру более близки ложи шотландского типа, конечно же, он не относится к числу мещанских иллюминистов, иными словами — к просветителям, он — один из иллюминатов. Прошу вас обратить внимание на это различие, поскольку итальянцы называли иллюминистами якобинцев, в то время

как в других странах это слово применялось к ревнителям старых традиций, — странная путаница...

Потягивая коньяк, он достал сделанный из почти белого металла портсигар и угостил нас *cigarillos* необычной формы («Мне их изготавливает специалист из Лондона, — объяснил он, — как и сигары, которые вы, господа, курили у меня, они превосходны, Прошу», — он говорил, устремив взгляд в воспоминания).

— Де Местр... Это был человек изысканного ума, и слушать его было настоящим наслаждением для души. В некоторых кругах инициантов он приобрел большой авторитет. И все же в Вильгельмсбаде он обманул всеобщее ожидание, направив герцогу письмо, в котором решительно отрицает преемственность по отношению к тамплиерам, ставит под сомнение существование Неведомых Старшин, полезность эзотерических наук. Основанием для его отречения послужила верность католической церкви, но его аргументы достойны мещанского энциклопедиста. Когда герцог прочитал письмо в кругу наиболее приближенных лиц, никто не захотел в это поверить. Теперь де Местр утверждает, что целью Ордена является лишь духовное обновление и что церемониалы и традиционные ритуалы служат лишь для того, чтобы удержать мистический дух в состоянии пробуждения. Он восхваляет новые символы масонов, но утверждает, что образ, который представляет слишком много вещей, не представляет собой ничего. А это, простите, уже противоречит великой традиции герметизма — символ есть тем полнее и могущественнее, чем более он неясен, трудно постигаем, иначе — где же душа Гермеса, Тысячеликого бога? По поводу Ордена Тамплиеров де Местр высказывался, что скаредность его породила, скаредность и погубила, вот и все. Савойец не мог не помнить того, что Орден был уничтожен с благословения папы. Никогда не следует доверять католическим легитимистам, как бы ни была сильна их склонность к герметизму. Заявление относительно Неведомых Старшин было действительно смешно: они не существуют, потому что никто их не знает. Ему возразили: их никто не знает, ибо иначе они не были бы неведомыми. Не кажется ли вам его логика немного странной? Удивительно, что столь верующий человек может быть настолько глух к существованию тайны. Наконец де Местр призвал: давайте вернемся к Евангелию и отречемся от Мемфисского безумия.

Он предложил нам всего лишь тысячелетиями неизменную линию Церкви. Теперь вы понимаете, в какой атмосфере проходил съезд в Вильгельмсбаде. С уходом такого авторитета, как де Местр, Виллермоз оказался в меньшинстве, и в лучшем случае можно было достичь компромисса. Ритуал тамплиеров был сохранен, а вопрос о происхождении замят; короче говоря — полное поражение. Именно тогда шотландское течение упустило удобный случай: если бы дела пошли по-иному, возможно, история грядущего века выглядела бы совершенно иначе.

— А позже? — спросил я. — Уже ничего нельзя было починить?

— А что можно было, пользуясь вашим выражением, починить?..

Три года спустя один евангелистский проповедник, некий Ланце, примкнувший к Баварским Иллюминатам, погибает в лесу от молнии. При нем найдены инструкции Ордена, в дело вмешалось баварское правительство, обнаружило, что Вейсгаупт готовил антиправительственный заговор, и на следующий год Орден прекратил свое существование. Более того, опубликованы записки Вейсгаупта, содержащие предполагаемые планы Иллюминатов, и это дискредитировало всех французских и германских неотамплиеров... Следует отметить, что Иллюминаты Вейсгаупта придерживались взглядов проякобински настроенных масонов и специально проникли в неотамплиеровское течение, чтобы его погубить. Эта злая сила совершенно не случайно привлекла на свою сторону Мирабо, трибуна революции, Могу я быть с вами откровенен?

— Конечно.

— Люди, подобные мне, ищущие связей между разрозненными нитями Предания, недоумевают, когда думают о позапрошлом веке, масонских съездах, собраниях и конференциях. Кто-то угадал тайну, но не открыл ее братьям, кто-то что-то знал, но говорил пустое! А потом время истекло, сделалось поздно, налетел вихрь французской революции, закружилась, как собачья свара, суматоха позднего девятнадцативечного оккультизма. Перечитайте свой список. Что за свистопляска доверчивости, подозрительности, взаимных подкусываний, разоблачений, секретных сведений, которые у всех на устах. Я называю это театр оккультизма.

— Как я понял из ваших слов, оккультизм — синоним недостоверности? — спросил Бельбо.

— Прежде всего, никак нельзя смешивать оккультистское и эзотерическое. Эзотеризм есть изыскание сведений, которые передаются исключительно посредством символов, непостижимых для профанов. Оккультизм же понятие, возникшее в девятнадцатом веке, это верхняя часть айсберга, незначительная видимая доля эзотерического знания. Тамплиеры были действительно посвящены: это доказывается именно тем, что даже под пытками они не выдали своего секрета. Мощная завеса тайны, созданная ими, убеждает нас в том, что они действительно располагали секретным знанием, а также в том, что располагать подобным знанием завидно. Оккультисты же — эксгибиционисты. Как говорил Пеладан, раскрытый секрет инициации совершенно бесполезен. К сожалению, сам Пеладан был не инициатом, а оккультистом. Девятнадцатое столетие — век доносительства. Каждый торопится разгласить секреты магии, теургии, каббалы, тарокко. Они-то сами, думаю, этим секретам верили.

Алье продолжал просматривать наш список, то и дело сострадательно всхмыкивая.

— Елена Петровна. Душа женщина. К сожалению, ни разу в жизни не сказала ничего, кроме тех вещей, о которых написано на всех стенах. Де Гуайта. Книгочей и наркоман. Папюс, его принимают всерьез? — И вдруг застыл с бумагой в руке. — Трис. Откуда вы получили это сведение? Из какой рукописи?

Ишь ты, подумал я, его на мякине не проведешь. Пришлось заметать следы:

— Знаете, сколько текстов мы пересмотрели для этого списка, большинство их мы уже выбросили, они были неудобоваримы. Где-то в этой куче, наверное, был и Трис... Бельбо, вы не помните часом, откуда он взялся?

— Нет, не помню. А вы, Диоталлеви?

— Теперь уже трудно восстановить. А что, это важно?

— Это совершенно неважно, — заверил его Алье. — Просто об этой организации я никогда не слышал... Вы действительно не помните, где она цитировалась?

Мы были в отчаянии, но нам не удавалось припомнить. Алье вытащил из жилетного кармана часы. — Какая жалость, я опаздываю на следующую встречу. Прошу вас меня извинить.

Когда он вышел, мы дружно загалдели.

— Теперь все ясно. Англичане забросили масонскую удочку, чтобы объединить всех посвященных Европы и попробовать провести в жизнь бэконовскую идею.

— Но это удалось им только наполовину. Предложение бэконииан оказалось настолько заманчивым, что привело к результатам, противоположным их ожиданиям. Так называемое шотландское крыло восприняло запланированное объединение как прекрасный случай им самим восстановить сбившуюся последовательность. И шотландцы обратились к немецким тамплиерам.

— Алье считает эту ситуацию непостижимой. Со своей точки зрения, он прав. Она постижима лишь для нас; только нам известно, что же происходило на самом деле: то есть что мы хотим, чтобы на самом деле происходило. По этой системе, резиденты в различных странах наперебой бросились действовать. Я, скажем, не исключаю, что Мартен де Паскуалли — был агентом томарской группировки. Англичане изгнали из своего состава шотландцев, которые по сути дела — французы. Среди французов, в свою очередь, образовались два подразделения: филобританское и филогерманское. Масонство служило всем этим группам камуфляжем, крышей, предоставляя возможность агентам разных групп (вот только чем занимались тем временем павликиане и иерусалимитяне, это знает один Бог) съезжаться и пересекаться в любых сочетаниях, пытаясь выцарапать друг у друга обрывки спецсведений.

— Масонство это как Американский бар в фильме «Касабланка»! — сказал Бельбо. — Смотрите, мы опровергли общепринятую теорию. Оказывается, масонство — это не тайное общество!

— Какое там тайное. Это порто-франко, вроде Макао. Только вывеска. Тайна-то была не у них.

— Бедные масоны.

— Прогресс требует жертв. Согласитесь, однако, что нам удастся даже доказать имманентную рациональность истории.

— Рациональность истории есть результат удачного переписывания Торы, — сказал Диоталлеви. — Хвала Всевышнему за то, что ниспосылает нам удачу, и да будет хвалим до скончания времен.

— Да будет, — согласился Бельбо. — Что же мы имеем? Бэконииане завладели аббатством Сен-Мартен-де-Шан, франко-

германское неотапливание развалилось на мириады различных сект... А мы до сих пор не придумали, в чем же состоит тайна.

— Пора бы вам придумать, — сказал Диоталлеви.

— Вам? Мы все, и ты, дорогой, по уши в этой истории, и если не выпутаемся из нее с честью — опозорены навеки.

— Перед кем?

— Перед историей, перед судом Истины.

— Quid est veritas?^[111] — спросил Бельбо.

— Мы, — отвечал я.

Есть трава, которая называется Чертогонною у Философов. И доказано, что лишь ее семенем изгоняются дьяволы и их наваждения. Была трава дана некоей юнице, которую ночами беспокоил дьявол, и трава обратила дьявола к бегству.

Иоанн Рупескиоса, Трактат о пятой сущности

/Johannes Rupescissa. Tractatus de quinta essentia, II/

В последующие дни я забросил План. Беременность Лии подходила к сроку и я, когда мог, старался быть с нею. Лия меня успокаивала — говорила, что еще рано, еще не время. Она посещала курсы подготовки к родам, я как мог вникал в смысл ее упражнений. Лия отвергла возможность, предоставляемую чудодейственной наукой, узнать заранее пол младенца. Пусть это будет неожиданностью. А я думал: пусть будет, как она хочет. Я касался ее живота, не пытаюсь представить себе, что в нем находится и что выйдет из него на свет божий. Мы решили называть его Оно.

Единственное, что я пытался — определить собственную степень участия. — Ведь Оно и мое тоже, — говорил я Лии. — Что же, я буду как в кино, шагать взад и вперед по коридору, прикуривая сигарету от сигареты?

— Пиф, только это и остается. На определенном этапе действовать позволено только мне. Ты еще и некурящий... как быть с тобой, просто не знаю.

— Как же быть со мной?

— Тебя следует привлекать как до, так и после. После, в частности, ты сможешь взяться за его воспитание, тем более если это мальчик. Ты будешь лепить его по своему подобию, создавать у него хороший эдипов комплекс, когда настанет момент — с улыбкой подчинишься ритуальному отцеубийству, не будешь разводить

трагедию, в нужную минуту приведешь его в свой занюханый офис, покажешь свои карточки, верстку необыкновенных приключений металлов и скажешь: сын мой, придет день, когда все это станет твоим.

— А если девочка?

— Скажешь: дочь моя, в один прекрасный день все это перейдет к твоему балбесу мужу.

— А каким образом меня можно использовать «до»?

— Ты будешь считать время. Дело в том, что от схватки до схватки проходит определенное время и тут важно не сбиться, потому что по мере того, как сокращаются интервалы, приближается срок. Будем считать вместе, ты будешь задавать ритм. Как гребцы на каторжных галерах. Раз-два-взяли, мы вместе будем помогать, чтобы Оно вылезло из своей темноты на свет божий. Бедняга-бедняга. Сидит себе спокойно, насосалось соков как спрут, все ему бесплатно, и вдруг битте-дритте, пожалуйста рожаться, оно вытаращит глаза и заорет: куда это я попало?

— Не такое уж бедняго. Оно еще господина Гарамона не видело... Давай попробуем посчитать.

Мы взялись за руки в темноте. Считая вслух, я в то же время думал: Оно, родившись, оправдает всю глупую болтовню одержимцев. Бедные одержимцы целыми ночами разыгрывали химические свадьбы, ломали голову, удастся ли породить восемнадцатикаратное золото и окажется ли философский камень ляписом экзиллисом, несчастным глиняным Граалем, а мой Грааль — вот он, почти получен из драгоценного Лииноного горнила.

— Вот-вот, — кивала Лия, держа руку на своем круглом горячем сосуде, — тут и настаивается заложенное тобой прекрасное сырье. Твои алхимики что говорят на этот счет, что происходит в посудине?

— Там клопочут меланхолия и сернистая земля, черный свинец и сатурново масло бурлят в темном чреве — это Стикс: размягчение, томление, перетиранье, разжижение, смешивание, налитывание, затопление. Уनावоженная почва, зловонная могила...

— Что они, все импотенты? Не знают, что там прячется «белорозовое диво, и пречисто, и красиво»?

— Нет, они это учитывают, но твой живот для них всего лишь метафора, передающая тайну...

— Не существует никакой тайны, Пиф. Известно во всех деталях, как формируется Оно со всеми лапками, глазками, печеночками, селезеночками...

— Господи, сколько должно быть печенок. Оно что — ребенок Розмари?

— Это я для красного словца. Но вообще мы должны быть готовы принять Его даже если Оно двухголовое.

— Еще бы. Я научу обе головы играть дуэты для тромбона и кларнета... Хотя нет, необходимы четыре руки, а это чересчур. С другой стороны, какой вышел бы пианист! Брр. Что за разговорчики. Как бы то ни было, даже и моим одержимцам известно, что в этот день в клинике намечается Белое Деяние, Добрая алхимия, после заклинаний будет нарождаться Ребис, это андрогин, двоуполоый гомункул...

— Вот только нам двоуполого не хватало. Слушай лучше, давай назовем его Джулио/Джулия, как моего дедушку, хорошо?

— Ладно, звучит хорошо, я согласен.

Эх, если бы я на этом остановился. На Белом Деянии, добром гримуаре, дать бы его всем адептам Изиды без покрывал, объяснить им, что секретум есекреторум не надо больше разыскивать, что прочтение жизни не предполагает никаких запятанных смыслов, то-то и оно-то, всего-то и делов-то, в животах всех на свете Лий, в родильных палатах, на соломенных подстилках, у реки на светлой отмели, на песочке — а философские камни, выходящие из «экзилия»-«изгнания», святые Граали — это обезьянки с болтающимся обрывками пуповины, оружие в руках у доктора, получая шлепки по заду. Незнаемыми Старшинами в данном случае выступали мы с Лией, и не такими уж неизвестными, ибо наше порождение готовилось узнать нас довольно скоро, и кстати, без всякой помощи этого дуролома де Местра. [\[112\]](#)

Нет бы тогда остановиться. Но мы — одержимые дьявольскою гордыней — захотели сыграть в прятки с дьявольскими духовидцами, доказать им, что раз пошло на космический заговор, мы придумаем им такой, что космичнее не бывает.

— Поделом тебе, — твердил я про себя тогда вечером, — вот сиди теперь, трясись, жди, чем кончится дело под маятником Фуко.

Я сказал бы, конечно, что эта монструозная помесь не исходит из материнского лона, но несомненно от какого-либо Эфиальта, от какого-либо инкуба, или от иного ужасающего демона, и что зачата она была грибом, зловонным и ядовитым, детищем фавнов и нимф, более подходящим на демона, нежели на человека.

Афанасий Кирхер, Подземный мир

/Athanasius Kircher, Mundus Subterraneus, Amsterdam, Jansson, 1665, II, pp. 279–280/

В тот день я хотел остаться дома, чуяло мое сердце. Но Лия потребовала, чтоб я не изображал принца-консорта и шел на работу.

— Время еще не наступило, да и мне надо пойти по делам. Пиф, отправляйся.

Перед самой дверью конторы я заметил, что приоткрывается дверь мастерской чучельщика. Высунулся господин Салон в своем желтом рабочем фартуке. Я остановился поздороваться, он пригласил меня войти, и я решил посмотреть, что же такое чучельная мастерская.

Когда-то, по всей видимости, это была нормальная квартира, но Салон, сломал все внутренние переборки, и теперь сразу от входа открывался грот неопределенных, весьма обширных размеров. По непонятной архитектурной прихоти это крыло строения имело двускатное перекрытие, и свет проникал в помещение искоса, через потолок. Стекла в окнах были или матовые, или очень грязные, а может быть, Салон поставил в них защитные шторы; или, что ли, нагромождения предметов (страх пустоты выступал лейтмотивом декора) способствовали какой-то особой пасмурности освещения. К тому же это темное пространство было заполнено, как в лабиринте, стеллажами старинной аптеки, среди которых открывались арки, а за ними — лазы, ходы, закоулки. Доминирующим цветом был

коричневый: коричневые стены, полки, потолок, и коричневым казался смешанный свет, получаемый от затененного дневного и от старых светильников, пятнами тут и там освещавших поверхности. Первое впечатление было — как будто попал в скрипичную мастерскую, в которой все мастера перемерли еще во времена Страдивариуса, а пыль с тех пор все откладывается и откладывается на округлых пузах контрабасов.

Потом, постепенно приспособив глаза, я увидел, что нахожусь, как, собственно, и надо было ждать, в окаменевшем зоопарке. Какой-то медведь карабкался по искусственному дереву, глаза его блистали стеклом, у меня под боком гнезился насупленный отупелый сыч, а впереди по столику шагала ласка — а может быть, и куница, или же хорек. Посередине стола возвышался доисторический скелет незнакомого мне ископавра.

Это, судя по рентгену, мог быть гепард, или пума, или пес огромных размеров, на скелете в разных местах были намотаны пучки пакли, костяк армирован железом.

— Дог одной богатой и чувствительной дамы, — хихикнул Салон. — Он останется с ней навеки, такой точно, каким был в лучшее время их супружеской жизни. Видите, как это делается? Спустив шкуру с трупа, мездру натирают мышьяковым мылом, потом кости мочат и вываривают. Видите, там целая полка берцовых костей, под нею — ребра и заготовки грудных клеток. Имеют вид, правда? Кости скрепляются при помощи металлической проволоки; когда скелет собран весь, я сажаю его на раму, потом подкладываю себе, использую довольно часто или папье-маше, или гипс. И под конец обтягиваю кожей. Моя работа противостоит и силе смерти, и силе тления. Вот этот филин, например, правда, похож на живого?

Я посмотрел и понял, что отныне любой живой филин покажется мне мертвым, побывавшим в руках Салона и обретшим склеротическую вековечность. Глядя в лицо бальзамировщика этих фараонских зверомумий, на его кустистые брови, серые скулы, я пытался распознать, жив ли он сам или же являет собою лучший образец своего собственного искусства.

Чтобы удобнее рассмотреть его, я попятился на один шаг назад и почувствовал, что меня гладят по затылку. В ужасе обернувшись, я увидел, что привел в движение маятник.

Огромная потрошенная птица болталась у меня перед носом, подвешенная на железной палке, протыкавшей ее насквозь. Прут проходил, ломая череп, в распахнутую грудную клетку, и там было видно, что где некогда находились сердце и зоб, железный штырь расходился, образуя перевернутый трезубец. Самый массивный из зубов протыкал то место, в котором должны были бы помещаться кишки, а потом нацеливался в землю, напоминая шпагу. Два же боковых крюка пронизывали насквозь лапы птицы и симметрично высывались среди когтей. Птица мерно качалась, а три сквозных острия легонько намечали на полу траекторию, которую они процарапали бы, будь движение сильнее.

— Отличный экземпляр царского орла, — сказал Салон. — Но с ним еще работы на несколько дней. Я как раз подбирал глаза. — И он показал мне коробку, наполненную роговицами и стеклянными зрачками. Палач, вырвавший глаза у святой Лючии, помер бы от зависти. За всю свою карьеру он не накопил столько реликвий. — Здесь возни-то побольше, чем с насекомыми. Тем что надо? Коробку да булавочку. А беспозвоночным, например, требуется уже и формалин.

Я задыхался в этой атмосфере морга.

— Интересная у вас работа, — промямлил я, а про себя все думал о той живой твари, которая трепетала внутри Лииной утробы. Ледяным холодом меня просквозила еще одна мысль: если Оно умрет, сказал я себе, я хочу его похоронить в земле, чтоб кормило червей, удобряло почву, хотя бы в этом Оно будет живо...

Тут меня всего передернуло, а Салон продолжал бормотать, вынимая из далекого шкафа очень странное создание. Сантиметров тридцати длиной, оно являло собою самого настоящего дракона, рептилию с большими перепончатыми крыльями черного отлива, с петушьим гребнем и распахнутой пастью, вашпигованной мельчайшими зубами, как теркой.

— Правда, красиво? Это мое творение. Я использовал саламандру, летучую мышь, змеиную чешую. Это подземный дракон. Вот по такому образцу... — Он показал мне на другом столе толстый том инфолио, переплетенный в старинный пергамент и с кожаными застежками. — Стоило бог знает каких денег. Я вообще не библиофил. Но эту книгу все-таки хотелось иметь. «Подземный мир» Афанасия

Кирхера, первое издание, 1665 год. Вот он и дракончик. Вылитый наш, не правда ли? Он живет в стремнинах вулканов, как свидетельствует почтенный Кирхер, а этот иезуит знал все: известное, неизвестное и невозможное...

— Вы всегда занимаетесь подземельями, — произнес я, вспоминая нашу с иим беседу в Мюнхене и разговор, который донесло до меня ухо Дионисия.

В ответ он распахнул свой атлас на другой странице. Изображение земного шара в разрезе — почернелая набухшая шишка, проникнутая паутиной пылающих вен, змееподобных и ярких.

— Если только Кирхер был прав, в недрах земли скрывается не меньше троп, чем те тропы, которыми изборождена ее поверхность. Все, что совершается в мире природы, питается теплом, испускаемым отсюда. — (Я же думал о Черном деянии, о Лии, ее чреве, в котором сокрыто Оно, готовящееся извергнуться из вулкана) — А в мире людей все, что осуществляется, отсюда берет начало.

— Это кто говорит, Кирхер?

— Нет, Кирхер пишет только о мире природы... Однако примечательно, что вторая половина этой книги посвящена алхимии и алхимикам и что именно здесь, вон, видите, где отмечено место, содержатся обвинения против розенкрейцеров. В трактате о подземном мире? Причем тут розенкрейцеры? Кирхер прекрасно знал, какая связь между ними. Дело в том, что последние тамплиеры убежали в подземельное царство Агарту...

— и до сих пор живут там... — продолжил я.

— ... да, до сих пор, — отрезал Салон. — Не в Агарте, так в других катакомбах. Может, прямо под нашими ногами. Теперь вот и в Милане прокопали метро. А кому это выгодно? Кто руководил работами?

— Полагаю, инженеры-метростроевцы, — ответил я.

— Ну-ну, продолжайте прятать голову в песок. А тем временем ваше дорогое издательство публикует книги весьма непроверенных личностей. Сколько евреев среди ваших авторов?

— Мы не смотрим в штаны нашим авторам, — резко ответил я.

— Я не антисемит, можете не думать. У меня есть и друзья евреи. Я только говорю о некоторых евреях...

— О каких, к примеру?

— Знаем о каких.

Он открыл свой чемоданчик. В невообразимом беспорядке там были навалены воротнички, резинки, кухонные принадлежности, кокарды с гербами разных училищ, там была даже монограмма царицы Александры Феодоровны и орден Почетного Легиона. Во всех этих изображениях он в своем безумии находил печать Антихриста, в форме либо треугольника либо двух взаимоналоженных треугольников.

Александр Шейла, Сергей А. Нилус и протоколы

/Alexandre Chayla, Serge A. Nilus et les Protocoles La Tribune Juive, 14 mai 1921. p. 3/

— Я, — продолжал он, — родился в Москве. Именно там, в России, во времена моей молодости появились секретные документы евреев, в которых открытым текстом говорилось: чтобы поработить государства земного шара, следует работать под землей. Послушайте. — Он потянулся за тетрадкой, куда от руки были выписаны какие-то цитаты. — «У нас в запасе такой терроризирующий маневр, что самые храбрые души дрогнут: метрополитеновые подземные ходы — коридоры будут к тому времени проведены во всех столицах, откуда они будут взорваны со всеми своими организациями и документами стран». «Протоколы Сионских мудрецов», документ номер девять.

Мне тут же начало казаться, что коллекция позвонков, коробка с глазами, кожи, растянутые на распялках, — все это доставлено сюда непосредственно из Дахау. О, что за чушь, передо мною просто ностальгический старикан, который всю жизнь лелеет и холит дорогие сердцу памятки русского антисемитизма.

— Если я правильно помню, в этом тексте речь идет о заговоре некоторых евреев, не всех, с целью мирового господства. Но почему под землей?

— По-моему, это естественно! Тайная сеть сооружается в тайне, не при свете же дня. С незапамятных времен это всем очевидно. Господство над миром означает господство над подмирным миром. Власть над подземными токами. Мне вспомнился вопрос Алье, когда мы впервые были у него в кабинете, и еще то, как друидессы из Пьемонта взывали к теллурическим течениям.

— Почему кельты устраивали свои святилища в недрах земли, выкапывали галереи, подводившие к подземной скважине? — продолжал Салон. — Скважина эта доходила вплоть до радиоактивных пластов, это ясно. Как построен Глэстонбери?^[113] Разве это не знаменитый остров Авалон, откуда берет начало миф о Граале? И кто же выдумал Грааль, если не евреи?

Снова этот Грааль, господи боже мой. Сколько можно о Граале, Грааль есть на свете только один, и он — это мое Оно, и Оно заряжается от радиоактивных пластов Лииноного лона и, может быть, уже сейчас начинает продвигаться в шурфе шахты, может быть, Оно уже на позиции пуска, а я торчу здесь среди засушенных сычей, сто из которых подошли, а сто первый притворяется живым.

— Все соборы выстроены там, где кельты устанавливали свои менгиры.^[114] Зачем им было зарывать в землю камни, притом что это стоило стольких усилий?

— А зачем египтянам было тратить усилия на пирамиды?

— Вот именно. Антенны, термометры, зонды, иглы, как те, которыми пользуются лекари в Китае, вонзая их в жизненные центры человеческого тела, в ключевые узлы. В центре земли располагается ядерный реактор, очень похожий на солнце, то есть, скорее всего, самое настоящее солнце, вокруг которого осуществляется вращение вещества по различным траекториям. Так формируются подземные токи. Кельты знали, где их находить и как ориентировать. А Данте-то, Данте! Что он подразумевает в своем рассказе о спуске к солнцу? Вы поняли меня, дорогой друг?

Дорогим другом мне быть не очень хотелось, однако я продолжал его слушать. Джулио/Джулия, мой Ребис, заключенный, словно Люцифер, в утробе Лии, но Оно, рано или поздно поднимется на дыбы

и устремится вверх и так или иначе выйдет наружу. Ведь Оно создано для того, чтобы выбраться из утробы и поведать всем о своей чистой тайне, а не для того, чтобы нырять головой вниз и искать там какую-то гнусную тайну. Салон продолжал свой монолог: мне казалось что он, рассказывает выученный наизусть текст:

— Вы знаете, что такое английские leys? Если вы облетите Англию на самолете, то увидите, что все святые места соединены прямыми линиями, сеткой линий, которые охватывают всю территорию и которые по-прежнему видимы, потому что по ним в дальнейшем были проложены дороги...

— Если существовали святые места, они должны были быть соединены дорогами, а для дорог выбирался кратчайший и прямой путь...

— Да? А почему тогда птицы мигрируют именно вдоль этих линий? Почему эти линии соответствуют траекториям летающих тарелок? Речь идет о тайне, которая была утрачена в период римского завоевания, однако еще остались люди, которые в нее посвящены...

— Евреи, — подсказал я.

— И они в том числе. Первейшим принципом в алхимии является VITRIOL: *Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem.*

Lapis exillis. Мой Камень, который медленно возвращается из изгнания, из своего сладкого, гипнотического изгнания во вместительном сосуде Лии, не ища иных глубин, мой прекрасный белый Камень, который тоскует по поверхности... Мне хотелось броситься домой, к Лие, ожидать вместе с ней появления Вещи. В помещении Салона стоял затхлый пещерный запах, а пещеры — это начала, которые следует покинуть, а не цели, к достижению которых надо стремиться. И все же я слушал Салона, а в моей голове уже клубились новые чертовские мысли о Планах. В ожидании единственной Истины в этом подлунном мире я придумывал новую ложь. Я был слеп, как живущие под землей животные.

Я вострепнулся. Необходимо было выбраться из этого туннеля. Я должен идти, — сказал я. — Мне жаль, но это необходимо. Может быть, потом прочитаю себе что-нибудь по этой теме...

— Да все, что написано по этой теме, лживо, как душа Иуды! То, что я вам рассказываю, мне известно от отца...

— Геолога?

— О, нет, — осклабился Салон. — Мой отец... стыдиться мне здесь нечего, да и дело давнее... работал в Охране. Непосредственно под началом легендарного Рачковского. [\[115\]](#)

Охрана (OCHRANA), это что-то наподобие КГБ; Рачковский... Кто это такой? Кто это был с похожим именем? Вот это да... Таинственный гость пропавшего полковника, граф Раковски... Хватит, хватит, главное — не делать ставку на простые совпадения. Я же не набиватель дохлых тварей. Я порождатель живых.

Когда возобладает Белизна в материи Великого Деяния, значит, Жизнь возобладала над Смертью, Царь воскрес. Земля и вода претворились в Воздух, это правление Луны, их Отрок рожден... Тогда материя усваивает такую степень устойчивости, что Огонь уже не в силах уничтожить ее... Когда художник видит совершенную белизну, философы говорят, что следует разорвать все книги, потому что они становятся бесполезны.

Дом Ж. Пернети, Мифо-герметический словарь

/Dom J. Pernety, Dictionnaire mytho-hermetique Paris, Bauche, 1758, «Blancheur»/

Я поспешно забормотал извинения. Кажется, что-то вроде «моя девушка на днях рожает». Салон пожелал ей благополучного разрешения, судя по виду, недоумевая, кто же является отцом. Я помчался домой вдохнуть свежего воздуха.

Лии не было. На столе в кухне записка: «Дорогой Пиф, у меня отошли воды. Тебя нет в конторе. Еду в больницу на такси. Приходи скорее, мне одной страшно».

Паника охватила меня. Я ведь должен быть вместе с Лией, чтобы не сбиться со счета, я должен был быть у себя в кабинете, на телефоне, в пределах досягаемости. Я виноват во всем, и Оно родится мертвым, Лия тоже умрет вместе с Оным... Оно... Салон сделает чучела из обоих.

Вошел я в клинику как будто у меня лабиринтит, спрашивал все у тех, кто не мог знать ничего, два раза попал не в то отделение, встречные безусловно знали, где сейчас рожает Лия, но мне не говорили, а говорили, чтобы я не сходил с ума, потому что тут все рожают.

Наконец, не знаю каким путем, я оказался в палате. Там была Лия, бледная, перламутровой белизны, и улыбалась. Кто-то упрятал ее челку под белую шапочку. Впервые в жизни я увидел чело Лии во всем великолепии. Рядом лежало Оно.

— Это Джулио, — сказала она.

Мой Он. Его сделал и я тоже. И не из клочков разрезанных трупов, не из мышьякового мыла. Он был абсолютно комплектный и с пальцами.

Я потребовал, чтоб распаковали.

— Какой замечательный пистолетик, и какие близнята у него здоровенные! — потом я поцеловал Лию в открытый лоб. — Все твоя заслуга, все зависело от сосуда.

— Конечно моя заслуга, мерзкий тип. Я считала одна.

— Зато я считаюсь с тобой во всем. В конечном счете... — кое-как острил я.

Подземный народец достиг максимального знания... Если бы наше безумное человечество затеяло войну против них, они были бы способны взорвать поверхность планеты.

Фердинанд Оссеидовски, Звери, люди и боги

/Ferdinand Ossendowski, Beasts, Men and Gods, 1924, V/

Я был все время дома с Лией и малышом после их выхода из больницы, потому что, приехав домой, меняя пеленки Джулио, она вдруг заплакала навзрыд и заявила, что совершенно не в состоянии со всем этим справиться. Нам потом объяснили, что это предусмотрено во всех учебниках, и что после невероятной эйфории по случаю победы — то есть родов — наступает ощущение отчаяния и ответственности не по силам. В те дни, слоняясь по квартире с чувством полнейшей собственной ненужности, в особенности для грудного вскармливания, я прочитал все, что мне попало под руку о подземных токах Земли. Выйдя на работу, я попытался обсудить это с Алье. Каким-то особенным жестом он дал понять, что ему скучно.

— Бледные метафоры, которые должны быть намеком на змея Кундалини. Даже китайские геоманты искали в земле следы дракона, но при этом теллурический змей символизировал просто змея инициатического. Богиня отдыхает около свернувшегося клубком змея, спит, погруженная в летаргический сон. Кундалини слегка подрагивает, издавая нежный свист и соединяя тяжелые тела с телами легкими.словно водоворот или водная турбина, словно половина слога ОМ.

— Но на какую тайну намекает змей?

— На тайну теллурических течений. Но тех, настоящих.

— А что такое настоящие теллурические течения?

— Великая космологическая метафора и намек на змея.

«К черту этого Алье, — подумал я. — Мне известно на эту тему больше, чем ему».

Я прочитал свои записи Бельбо и Диоталлеви, и у нас больше не осталось никаких сомнений. Нам удалось добыть для тамплиеров достойную их тайну. Это было наиболее экономичное и элегантно решение, достоинство которого состояло в том, что начали подходить друг к другу все элементы нашей тысячелетней мозаики.

Итак, теллурические течения, не были для кельтов секретом: о них им поведали уцелевшие после катастрофы жители Атлантиды, эмигрировавшие — частью в Египет, а частью в Бретань.

А жители Атлантиды обо всем этом узнали от наших предков, которые прошли от Авалона через континент Му и добрались до пустыни в центре Австралии — во времена, когда все континенты были соединены, составляли превосходную Пангею, так что можно было беспрепятственно путешествовать. Если бы только они сумели прочесть (как это умеют аборигены, хранящие, впрочем, молчание) таинственный алфавит, начертанный на большом массиве Айерс Рок, то мы бы уже добрались до Объяснения. Айерс Рок является антиподом огромной горы (неизвестной), которая и есть Полюс, но настоящий, инициатический Полюс, а не тот, до которого может добраться любой исследователь из породы земных обывателей. Как это обычно бывает, совершенно ясно каждому, кто не ослеплен западными псевдонауками, видимого Полюса на самом деле не существует, а существует тот, который не может увидеть никто, кроме нескольких посвященных, которые держат рот на замке.

И все же кельты полагали, что достаточно было найти глобальный план течений. Вот почему они воздвигали мегалиты: их менгиры были радиоизмеряющими приборами, играли роль стержня, были электрическими розетками, установленными в местах разветвления течений. Leys определяли направление обнаруженного течения. Дольмены служили камерами конденсации энергии, где друиды, используя свои геомантические способности, пытались экстраполировать целостную систему. Кромлехи, Стоунхендж — это микро-макрокосмические обсерватории, где, исследуя расположение светил, пытались определить расположение течений, поскольку, как утверждает «Скрижаль измарагда», то, что над, изоморфно с тем, что под.

Однако проблема заключается не в этом или по крайней мере не только в этом. И вторая часть уцелевших жителей Атлантиды поняла это. Тайное познание египтян перешло от Гермеса Трисмегиста к Моисею, который и не думал передавать его своей голытьбе с брюхами, набитыми манной: он им оставил десять заповедей, которые те хотя бы могли уразуметь. Аристократичную же по духу истину Моисей зашифровал в Пятикнижии. Вот это и поняли каббалисты.

— Вы только подумайте, — сказал я, — все было уже написано, как в открытой книге, и соответствовало по значимости Храму Соломона, а хранителями тайны были розенкрейцеры, составлявшие Великое Белое Братство, то есть секту эссенов, которые, как известно, посвятили в свои тайны Иисуса, что стало причиной Его распятия, которое иначе никак нельзя объяснить...

— Несомненно, а страсти Христовы — это аллегория, предвестие суда над тамплиерами.

— Конечно. А благодаря Иосифу Аримафейскому тайна Иисуса попадает, или возвращается, в страну кельтов. Но эта тайна, конечно же, еще не полная, христианским друидам известен лишь ее фрагмент, что объясняет эзотерическое значение Грааля: что-то существует, но что именно — мы не знаем. О том, что это, о том, что Храм говорил уже в полном изложении, догадывается лишь небольшая группа оставшихся в Палестине раввинов. Они поведали об этом инициатическим мусульманским сектам — суфиям, исмаилитам, мутакалламинам. А от них это знание переходит к тамплиерам.

— Наконец тамплиеры. А то я уже начал беспокоиться.

Мы окончательно лепили План, он словно глина поддавался нашему воображению. Тамплиеры, думал я, должно быть, открыли секрет земных токов в те долгие бессонные ночи, обнявшись с напарником по коню, в пустыне, в сухоте, под свист неумолимого самума... Или вырвали этот секрет по словечку, по шепотку у тех, кто был знаком с тайной космической концентрации, что заключена в Черном Камне Мекки, в этом наследии вавилонских кудесников, ибо становилось ясно, что при этой гипотезе Вавилонская башня представляла собой не что иное, как попытку — увы, чересчур скоропалительную и, по вине гордыни, безуспешную — возвести менгир мощнее всех менгиров. Но в любом случае, даже не развалились эта башня, все равно вавилонское конструкторское бюро обсчиталось,

потому что, как продемонстрировал славный иезуит отец Кирхер, если бы постройка и была победоносно завершена, из-за ее избыточного веса земная ось перекосилась бы на девяносто или более градусов, и таким образом наш несчастный земной шар, который планировали увенчать стоячим приапическим фаллосом, оказался бы перевернутым, с болтающимся бесплодным отростком, поникшим, опавшим, смехотворным, как мартышечий хвост, — Шекинах, [\[116\]](#) затерянная в провалах антарктического Мальхута, [\[117\]](#) в общем — хлипкий иероглиф, посмешище пингвинов.

— Но все-таки, какой же секрет открыли эти тамплиеры?

— Спокойно. Они открыли и мы откроем. На сотворение мира давалось семь дней. Время еще есть.

Земля есть магнетическое тело; и действительно, как открыли некоторые ученые, это цельный большой магнит, как утверждал Парацельс еще триста лет тому назад.

Е. П. Блаватская, Изида без покрывал

/H. P. Blavatsky, Isis Unveiled. 1877, I, p. XXIII/

Мы постарались, и кое-что вышло. Земля есть огромный магнит, О'кей? Сила и направление тока регулируются воздействием небесных сфер, сезонами года, прецессией равноденствий, космическими циклами. Поэтому система токов переменна. Все токи концентрируются вокруг каких-то электрических зарядов. Точно так растут волосы на голове у человека: на макушке — завихрение. Если установить на макушке земли мощный передатчик, появится возможность направлять, посылать, отклонять теллурические течения под коркой всей планеты. Тамплиеры поняли, что весь секрет — не столько в том, чтоб иметь полнейшую карту течений, сколько в том, чтобы найти критическую точку, макушку, пуп, пульт, Пупок земли, Омфалос, Центр мира, Командную вышку. Все алхимические нравоучения, хтонический спуск черного дела, электрический разряд белого дела были всего лишь понятными для посвященных символами этого многовекового поиска, успешный исход которого стал бы красной стадией и означал бы абсолютное познание и головокружительную власть над планетарной системой течений. Тайна, настоящая тайна алхимиков и тамплиеров состоит в определении Источника этого внутреннего ритма, столь же ужасного и регулярного, как дрожь змея Кундалини, еще не изученного в большинстве своих проявлений, однако действующего исправно, как часы, в определении Источника единственного, настоящего Камня, когда-либо упавшего с небесных высей, — Великой Матери-Земли. Это-то и хотел понять Филипп Красивый. Это и объясняет

исполненные злости домогательства инквизиторов по поводу таинственного поцелуя «в нижние части спины». Им нужна тайна Кундалини. Здесь и речи не было о содомских грехах!

— Великолепно, — сказал Диоталлеви. — Ну а кто научится направлять теллурические токи, что он с ними будет делать? Лампочки вкручивать?

— Да что вы, — закричал я, — не понимаете этого открытия? Подобная станция позволяет организовать и дождь и засуху, устраивать ураганы, землетрясения и моретрясения, раскалывать континенты, утапливать острова (гибель Атлантиды несомненный результат одного такого испытания), выравнивать леса и воздвигать горы. Как же вы не понимаете? Не нужны атомные бомбы, вредные, кстати, и для того, кто их кидает. Вы просто сядете за пульт, позвоните президенту Соединенных Штатов: завтра, к примеру, прошу положить мне под коврик три триллиарда долларов, а не то — независимость Латинской Америке! Гавайям! Взорвем все твои ядерные арсеналы! Или вот тебе: сдвиг Сент-Андреас окончательно сдвинется, Калифорния отвалится и Лас-Вегас придется переделывать в ресторан-поплавок.

— Вообще-то Лас-Вегас в Неваде.

— Какая разница. Контролируя тектонические процессы, можно отломать и Неваду, и Колорадо, все что угодно. Можно еще позвонить в Верховный Совет. Дорогие товарищи, прошу выслать на мой адрес всю икру из Волги и переоборудовать Сибирь мне под промышленный холодильник, не хотите — попрощайтесь с вашим Уралом, мы его провалим, а Каспий разольем, Литву и Эстонию пустим в дрейф и затопим в Марианской впадине.

— Да, — сказал Диоталлеви. — Сделать можно много. Переписать всю Землю как Тору. Прилепить Японию к Панаме.

— Вот будет паника на Уолл-стрит. — Это вам не космические войны. И не превращение металла в золото. Направляете соответствующий заряд туда, куда нужно, доводите до оргазма внутренности Земли, заставляете их сделать за десять секунд то, на что ей понадобились бы миллиарды лет, — и весь Рурский бассейн превращается в бриллиантовые залежи. Элифас Леви говорил, что познание флюидных приливов и всеобщих течений составляет тайну всемогущества человека.

— Похоже на то, — согласился Бельбо, — это все равно что превратить всю Землю в одну минную камеру. Совершенно очевидно, что Райх был тамплиером.

— Все, кроме нас, были тамплиерами. К счастью, нам удалось сделать это открытие. Теперь мы имеем перед ними временное преимущество.

Так что же на самом деле сдержало тамплиеров после того, как они овладели тайной? Знать — это еще не все, надо уметь свои знания использовать. Пока же, наученные сатанинским святым Бернардом, тамплиеры заменили менгиры, бесполезные кельтские стержни, готическими соборами, куда более чувствительными и мощными, в которых были склепы, заселенные Черными Богородицами, и которые находились в прямом контакте с радиоактивными слоями; они покрыли всю Европу сетью передающе-принимающих станций, которые обменивались друг с другом информацией о силе и направлении движения флюидов, о настроении и напряжении течений. — Как я могу догадываться, тамплиеры провели радиоразведку в Новом Свете, отыскивали серебряные руды, организовали вулканические взрывы, а потом при помощи Гольфстрима подогнали серебро к португальскому побережью. Томар стал брокерской конторой, в Восточном лесу устроили погреба. Вот истоки богатства тамплиеров. Это, конечно, жалкие крохи по сравнению с их возможностями. Однако чтобы возможности в настоящем масштабе использовать, требовались такие технические достижения, к которым человечество могло бы приблизиться разве что лет через шестьсот.

Значит, тамплиеры выдумали и запрограммировали свой План таким образом, чтобы их наследники, к тому времени как созреют технологические предпосылки, получили бы указание: в каком месте должны они разыскивать Пуп мира. Но как распределялись фрагменты этого указания между тридцатью шестью уполномоченными? Что, по кусочку на каждого? Разве надо столько кусочков для того чтобы сообщить, что Пуп земли обретается, скажем, в Баден-Бадене, Виннипеге или Кондопоге?

Использовалась карта? Но на карте, как ни верти, в какой-то точке проставлен крестик. И у кого на руках кусочек с крестиком, тот знает все и не нуждается в чужих подсказках. Нет, что-то посложнее они

должны были придумать. Мы прошевелили мозгами несколько дней, потом Бельбо решил обратиться к Абулафии. Машина ответила, как всегда, нашими собственными фразами:

Гийом Постэль скончался в 1581.
Бэкон был виконтом Сент-Альбанским.
В Консерватории висит маятник Фуко.

Значит, настал момент приискать работу для маятника Фуко.

Через несколько дней у меня было готово довольно изящное решение. Один из одержимцев принес к нам в издательство книгу о герметических смыслах кафедральных соборов. По мысли нашего сочинителя, создатели собора в Шартре однажды пронаблюдали за отвесом со свинцовым грузиком, свисавшим с замкового свода, и без труда пришли к заключению о том, что земля вращается. Вот вам причина осуждения Галилея, вставил Диоталлеви: церковники почуяли в нем тамплиера. Нет, возразил ему Бельбо. Кардиналы, которые засудили Галилея, были тамплиерскими агентами, посланными в Рим, и они поторопились заткнуть рот проклятому тосканцу, компрометировавшему тамплиерство, из тщеславия разбалтывавшему тайны за четыреста лет до того срока, на который программировалось увенчание Плана.

В любом случае эта гипотеза объясняла, чего ради под своим Маятником мастера-каменщики Шартра прочертили лабиринт (стилизованное изображение хитросплетений земли). Мы отыскивали гравюру этого лабиринта. Солнечные часы, роза ветров — аппарат кровообращения — слизистые следы сонного скольжения Мирового Змея. Обобщенный символ перемещения.

— Хорошо, давайте предположим, что так и было: тамплиеры прибегли к какому-то маятнику, чтобы указать, где макушка земли. Вместо лабиринта, который, как ни крути, — абстракция, клали на пол карту земли и смотрели, куда качается маятник. Но где следует подвешивать этот маятник?

— Где? Само собой разумеется: в Сен-Мартен-де-Шан, в Укрытии!

Карта — это не местность.

Альфред Кошибски, Наука и здоровье

/Alfred Korzybski. Science and sanity, 1933: 4 ed., The International Non-Aristotelian Library. 1958, II, 4, p. 58/

— Представьте себе положение в картографии во времена тамплиеров, — сказал я — В том веке были в ходу арабские карты, на которых, между прочим, Африка находилась вверху, а Европа — внизу; навигационные карты, выполненные довольно точно, и карты трех-четырёхсотлетней давности, которые еще считались годными для школ. Заметьте, для того чтобы определить, где находится Центр мира, нет необходимости иметь точную карту в нашем понимании этого термина. Достаточно, чтобы она выполняла одно условие: будучи сориентированной, показала Центр в той точке, где Маятник будет освещен 24 июня, на заре. А теперь слушайте внимательно: предположим, чисто теоретически, что пуп Земли находится в Иерусалиме. На наших современных картах Иерусалим расположен в строго определенном месте, хотя даже сегодня это зависит от типа проекции. Но у тамплиеров была карта, лишь Бог знает как сделанная. Какое это для них имело значение? Не Маятник зависит от карты, а именно карта зависит от Маятника. Вы следите за ходом моей мысли? Это может быть самая бессмысленная карта в мире, лишь бы только, когда ее расположат определенным образом под Маятником на рассвете 24 июня, вещей луч солнца указал точку, где именно на этой карте, а не на какой-либо другой, появится Иерусалим.

— Но это не разрешает нашу проблему, — сказал Диоталлеви.

— Конечно нет, как и проблему Тридцати Шести Невидимых. Потому что, если вы не возьмете соответствующую карту, ничего не получится. Попробуем представить карту, ориентированную канонически, где восток означает направление апсиды и запад — направление нефа; именно так ориентированы церкви. А теперь

выскажем первую пришедшую в голову гипотезу: в это фатальное утро Маятник должен находиться над какой-то зоной, расположенной, грубо говоря, на востоке, почти у границ юго-восточного квадранта. Если бы мы имели дело с часами, то сказали бы, что Маятник укажет на пять часов двадцать пять минут. Согласны? А теперь смотрите. Я пошел за историей картографии. — Вот, номер один, карта XII века. Она повторяет структуру Т-образных карт, вверху — Азия с земным Раем, слева — Европа, справа — Африка, и здесь же, за Африкой, они поместили Антиподов.



Номер два, карта, вдохновитель которой — «Somnium Scipionis» Макроба, в различных вариантах эта карта просуществовала до XVI века. На ней Африка несколько сплющена. А теперь внимательно смотрите: сориентируйте обе карты одним и тем же способом — и вы увидите, что на первой пять часов двадцать пять минут соответствуют Арабии, а на второй — Новой Зеландии, так как в этой точке имеются антиподы. Можно все знать о Маятнике, но если неизвестно, какой

картой пользоваться, — дело проиграно. Послание содержало сверхзашифрованные инструкции о месте, где можно найти нужную карту, возможно, созданную только для этой цели. Итак, в послании говорилось, где эту карту искать, в каком манускрипте, в какой библиотеке, в каком аббатстве или замке. И могло даже случиться, что Дии, или Бэкон, или кто-либо еще восстановил послание, кто знает. Может быть, в послании говорилось, что карта находится в таком-то месте, но за это время, учитывая то, что происходило в Европе, аббатство могло сгореть, его могли разрушить или же карту похитили и спрятали неизвестно где. Может быть, кто-то располагает картой, но не знает, для чего она служит, или же знает, но не точно, и бродит по свету в поисках того, кому она понадобится. Представьте весь этот круговорот предположений, все эти ложные следы, послания, которые читают так, словно в них речь идет о карте, хотя говорится вовсе о другом, и послания, в которых говорится о карте, но читают их так, словно там описывается, скажем, производство золота. Возможно, были и такие, которые пытались непосредственно восстановить карту на основе предположений.

— Каких предположений?

— Например, микро-макрокосмических сообщений. Вот еще одна карта. Вы знаете, где я ее нашел? Она помещена во втором трактате «Всеобщая История Космоса» Роберта Фладда. Не следует забывать, что Фладд — это человек, связанный с розенкрейцерами в Лондоне. Итак, — что делает наш Роберт Флактибус, как он любил себя называть? Он представляет уже не карту, а странную проекцию всего земного шара со стороны полюса, конечно мистического полюса, и следовательно с точки зрения идеального Маятника, подвешенного на идеальный замок свода. Это действительно карта, задуманная для размещения под Маятником! Это же неоспоримая очевидность; не понимаю, как случилось, что никто еще до этого не додумался...

— Потому, что приспешники дьявола медлительны и еще раз медлительны, — сказал Бельбо.

— Поэтому мы втроем являемся единственными достойными наследниками тамплиеров. Но я продолжу: вы узнали схему? Это подвижное соединение из тех, что использовал Тритем для шифрования своих посланий. Это не карта. Это проект устройства для испытания различных вариантов, для изготовления альтернативных

карт, пока не найдут настоящую. И Фладд говорит об этом в легенде: это эскиз «инструмента», над ним еще надо работать.

— Но разве это не тот же Фладд, который упрямо отрицал вращение Земли? Как он мог думать о Маятнике?

— Мы имеем дело с посвященными. Посвященный отрекается от того, что знает, и лжет, чтобы скрыть тайну.

— Это-то и должно объяснить, — говорит Бельбо, — почему Дии имел так много хлопот с этими королевскими картографами. Не потому, что хотел узнать «истинную» форму мира, а потому, что стремился восстановить из всех ложных карт ту единственную, которая ему будет полезна и, следовательно, будет единственно настоящей.

— Неплохо, очень неплохо, — сказал Диоталлеви — Дойти до истины, правильно восстанавливая ложный текст.

*Основное занятие этой Ассамблеи, и самое
наиболее полезное, должно состоять — как мне видится
— в разработке натуральной истории согласно
указаниям Бэкона (Веруламия).*

Христиан Гюйгенс, письмо к Кольберу

*/Christian Huygens, Oeuvres Completes, La
Haye, 1888–1950, VI p. 95–96/*

Занятия шести тайных групп не исчерпывались поиском той единственно верной карты, которую следовало расположить под маятником. Вполне возможно, что тамплиеры в тех двух первых обрывках Указания, которые попали к португальцам и к англичанам, намекали на какой-то маятник, но представления о маятниках в их эпоху бытовали исключительно расплывчатые. Одно дело — раскачивать на длинной нитке свинцовое грузило, и совсем другое — построить механизм такой степени точности, чтобы можно было рассчитать его положение в миг, когда в окно собора попадает первый луч утреннего солнца 24 июня — то есть с точностью до доли сантиметра и доли секунды. На совершенствование конструкторских методов тамплиеры и прикинули приблизительно шесть столетий. Бэконовская команда начала работу в этом направлении и планомерно подключала к ней каждого посвященного, которого ей удавалось завербовать.

Не случайно человек розенкрейцеров — Соломон фон Каус — пишет для Ришелье трактат на тему о солнечных часах. После этого, от Галилея и далее — безудержная гонка за точностью, совершенствование измерительных устройств. Все это делалось под предлогом использовать часы для вычисления географических широт, однако в 1681 году Гюйгенсу бросается в глаза, что маятник, точно действовавший в Париже, оказывается неточным в Кайенне, и он понимает, что это можно объяснить изменением центробежной силы, связанным с вращением Земли. Когда он публикует свой «Часовой

механизм», в котором развивает соображения Галилея о маятнике, кто немедленно приглашает его в Париж? Кольбер, тот самый, который пригласил в Париж и Соломона де Кауса, чтобы поручить ему подземные работы! Когда в 1661 году Accademia del Cimento предвосхищает выводы Фуко, Леопольд Тосканский за пять лет отпускает ее и вскоре получает из Рима в качестве скрытой компенсации шляпу кардинала.

Но это не все. Охота за маятником продолжается и в последующие века. В 1742 году (за год до первого задокументированного появления графа де Сен-Жермена) некто Де Мэран представляет памятную записку о маятниках в Королевскую Академию наук; в 1756 году (когда в Германии был принят Устав тамплиеров) некто Буге пишет «sur la direction qu'affectent tous les fils a plomb».

Я нашел фантазмагорические названия — хотя бы произведения Жана-Батиста Био 1821 года «Recueil d'observations geodesiques, astronomiques et physiques, excecutees par ordre du Bureau des Longitudes de France, en Espagne, en France, en Angleterre et en Ecosse, pour determiner la variation de la pesanteur et des degres terrestres sur ie prolongement du meridien de Paris». Во Франции, Испании, Англии, Шотландии! И в отношении меридиана Сен-Мартена! А публикация в 1823 году сэром Эдвардом Сэбином «An Account of Experiments to Determine the Figure of the Earth by Means of the Pendulum Vibrating Seconds in Different Latitudes»? А этот таинственный граф Федор Петрович Литке, который в 1836 году публикует результаты своих исследований о поведении маятника во время морского путешествия вокруг света? Для Императорской Академии наук Санкт-Петербурга! Почему и русские тоже? А что, если тем временем еще одна группа, явно бэконианской складки, замыслила разгадать секрет планетарных тяготений без карты и без маятника, а просто идя по пути тамплиеров, то есть вслушиваясь что есть сил снова, как вслушивались те, в сердцебиение подземного Змея? Тогда укладываются в строку все разглагольствования Салона! Действительно, почти в то же время, когда работал Фуко, индустриальный мир, порождение бэковианской мысли, начинает бурение метрополитеновых шурфов в самом сердце европейских метрополисов.

— Это точно, — настаивал Бельбо. — Деятнадцатый век просто одержим подземельями. Жан Вальжан, Фантомас, Жавер и Рокамболь только и делают что лазают по туннелям и клоакам. Да господи, если подумать, весь Жюль Верн стоит на этом! Его книги — сплошное инициационное откровение о секретах подполья! Путешествие к центру земли! Двадцать тысяч лье под водой! Пещеры таинственного острова! Подземное царство Черной Индии! Полезно было бы нанести на карту все жюльверновские маршруты и несомненно мы увидим извивы тектонического Змия, восстановим схему мегалитических Яший для каждого континента. Наш друг Жюль Верн изучал вдоль и поперек сетку силовых трансгрессий.

Я решил подбросить дровишек в огонь.

— А как зовут главного героя «Черной Индии», помните? Джон Гарраль! Это анаграмма Грааля.

— Вот что значит свежий глаз практического человека. Мы, слава богу, не какие-нибудь книгочеи. Мы подходим к делу просто. Робур Завоеватель — Robur-le Conquerant R. C. — Роза и Крест. «Робур», прочитанное навыворот, дает «Рубор» — рубиновый цвет розы.

Филеас Фогт. В этом имени — уже вся программа: эас — по-гречески имеет мысль всеобщности (так же как пан — и поли-), так что Филеас это то же, что Полифил. Что касается фамилии Фогт, по-английски она означает туман... следовательно Верн принадлежал к тайной ложе «Le Brouillard» — «Тумана». Он в частности был до такой степени любезен, что проинформировал нас о взаимоотношениях между этой ложей и розенкрейцерами, ибо что такое есть его герой, благородный путешественник по имени Филеас Фогт, если не Роза + Крест? А кроме этого, разве он не принадлежит к Реформ — Клубу, инициалы которого, R. C., совпадают с реформаторским РозенКрейцерством? Реформ-Клуб находится на Пэлл-Мэлл, таким образом снова возникает мотив «Сна Полифила». [\[118\]](#)

*Мишель Лами, Жюль Верн,
инициированный и инициатор*

*/Michel Lamy, Jules Verne, initiee
initiateur, Paris, Payot, 1984, pp. 237–238/*

Восстановление заняло у нас много дней. Мы прерывали работу, чтобы сообщить друг другу о последних связях, мы просматривали все, что попадало под руку: энциклопедии, газеты, комиксы, каталоги издательских фирм, читали по диагонали, выискивая ассоциации, переворачивали букинистические лавки, обнюхивали газетные киоски, с головой погружались в манускрипты сатанистов, мы спешили в нашу контору, чтобы с триумфом бросить на стол новейшую находку. Когда я вспоминаю эти недели, все дело кажется мне грозным и неистовым, как фильм Лэрри Сэмона, где действие происходит с рывками и прыжками, где двери открываются и закрываются со сверхзвуковой

скоростью, в воздухе летают торты с кремом, где мы видим погони по лестницам вверх и вниз, сталкивающиеся старые автомобили, обваливающиеся полки стеллажей в бакалейной лавке и груды консервных банок, бутылок, головок сыра, брызги сельтерской воды, взрывающиеся мешки с мукой. И наоборот: когда я вспоминаю перерывы, мертвые периоды, то есть остальную жизнь, кружившуюся вокруг нас, то все могу снова прочесть, как если бы это происходило в замедленном темпе. План формировался в ритме, характерном для художественной гимнастики, это напоминало медленное вращение дискобола, осторожные движения толкателя ядра, длительные перерывы между ударами мячика во время игры в гольф, минуты бесполезного выжидания в бейсболе. Как бы то ни было, каков бы ни был ритм, судьба нас награждала: кто хотел найти связи, всегда и везде их находил, мир — это сетка, водоворот свойств, каждая вещь отсылает к другой, каждая вещь объясняет другую...

Я ничего не сказал об этом Лие, чтобы не раздражать ее, я не обращал внимания даже на Джулио. Проснувшись ночью, я осознал, что Рене Картезиус — это R.C. и что он тратил слишком много энергии на поиск розенкрейцеров, а затем — на опровержение информации о том, что нашел их. Откуда такая одержимость Методом? Метод служил для отыскания тайны, которая околдовала всех посвященных Европы... Кто прославлял готическую магию? Рене де Шатобриан. А кто написал во времена Бэкона «Steps to the Temple»? Ричард Крэшоу. А наконец, Раниери де Кальсабиджи, Рене Шар, Раймонд Чандлер? А Рик из Касабланки?

Данное знание, не утраченное, по крайней мере в материальном его аспекте, богобоязненные мастера переняли от монахов Сито... В прошлом веке они были известны под именем Компаньонов Французской башни. Это к ним обратился Эйфель для выполнения своего проекта.

Луи Шарпантье, Тайны Шартрского кафедрального собора

/Louis Charpentier, Les mysteres de la cathedrale de Chartres, Paris, Laffont, 1966, pp. 55–56/

Итак, мы видим, что вся история нового времени наполнена хлопотливыми кротоми, роющими под земной корой, разведывающими планету изнутри. Но внедрялась наряду с этой и другая, встречная методология, внедрялась теми же бэкониянами, и результаты их работы находились на глазах у всех, но никто ничего не замечал... Перерывалось подполье, велась разведка в глубинных складках, однако кельты и тамплиеры не ограничились бурением скважин, они еще вдобавок и втыкали повсюду шипы высотой до самого неба, чтоб пересылать сигналы от мегалита к мегалиту и улавливать взаимовлияние звезд...

Эта мысль овладела умом Бельбо в одну бессонную ночь. Он высунулся в окно и увидел над крышами Милана, очень вдалеке, сигнальные огни телевизионной вышки. Скромная, неброская башня Вавилона. И тогда Бельбо понял все.

— Эйфелева башня, — объявил он нам на следующее утро. — Как мы об этом до сих пор не догадались? Металлический мегалит. Это менгир последних кельтов, самый высокий и самый полый шпиль из всех полых готических шпилей. Зачем и кому понадобилась в Париже подобная бессмысленная каланча? Затем, что это небесный зонд, антенна, принимающая информацию со всех секретных передатчиков,

установленных на поверхности нашего глобуса: от статуй острова Пасхи, от памятников Мачу-Пикчу, от статуи Свободы на Бедлоу'з Айленд, установленной по желанию члена секретного общества Лафайета; от Луксорского обелиска, от самой высокой вежи Томара, от колосса Родосского, который продолжает посылать сигналы со дна порта, где его все ищут и все не находят, от храмов, затерянных в брахманских джунглях, от бастионов Великой Китайской стены, с вершины Айерс Рок, от колокольни Страсбургского собора, которой восхищался член секретного общества Гёте, от гигантских статуй «храма американской демократии» — горы Рашмор (о сколь о многом сумел догадаться еще один член секретного общества, Хичкок!), от антенны, установленной на крыше Эмпайр Стейт Билдинг, и объясните мне, на какую империю намекает эта постройка, плод деятельности американского тайного общества, если не на империю Рудольфа Пражского! Парижская же башня получает информацию из подполья и сравнивает ее с той, которая приходит из поднебесья. А кто создал первый, ужасающий кинематографический портрет Эйфелевой башни? Рене Клер в фильме «Париж уснул». Р. К., как вы видите сами.

Нам надлежало перечислить всю историю мировой науки. Становились предельно ясны тайные пружины космической гонки сверхдержав, становилось понятно, зачем понадобились все эти орды спутников, мотающихся по своим орбитам и в сотый и в тысячный раз фотографирующих с неба земную поверхность, ловящих неуловимые признаки энергетических натяжений, подводных токов, перемещений тепловых масс. Чтобы переговариваться между собой, им и понадобился Эйфель, понадобился Стоунхедж...

Забавное совпадение: издание инфолио 1623 года, публикуемое от имени Шекспира, содержит ровно тридцать шесть произведений.

У. Ф. Ч. Уигстон, Фрэнсис Бэкон против фантоматической капитана Шекспира: розенкрейцерский маскарад

/W. F. C. Wigston, Francis Bacon versus Phantom Captain Shakespeare: The Rosicrucian Mask, London, Kegan Paul. 1891, p. 353/

Обмениваясь результатами наших фантазий, мы все время ощущали какую-то неловкость, несостоятельность ассоциаций и натянутость дедукций, и если бы нас по-серьезному приперли, мы первые бы устыдились собственных завираний. Но мы жили в атмосфере расслабленности, создаваемой общим согласием (молчаливым, как поневоле вынуждает ситуация полной ироничности), что наша цель — попросту сочинить пародию на чужую логику.

Однако все было не так. В те бесчисленные часы работы, которые каждый из нас посвящал подготовке к общим коллоквиумам (посвящал с чистой совестью, убеждая себя, что всего-навсего подбирает шарики в игре пародийных бус), мозг наш тихой сапой приучался комбинировать, сопоставлять, связывать что угодно с другим чем угодно, а для того, чтоб автоматизировать этот процесс, мозг вырабатывал себе привычки. Думаю, что так в определенный момент уничтожаются различия между привычкой притворяться, что веруешь — и привычкой верить. Так происходит со шпионами: они проникают в секретные службы противника, привыкают думать как противник — это для них единственное спасение, — и не подлежит сомнению тот факт, что через некоторое время они частично преходят на сторону противника, которая уже стала их стороной. Или с теми, кто живет

одинок, за единственного друга принимая собаку: они разговаривают с ней с утра до вечера, вначале пытаются понять логику ее действий, затем воображают, что собака понимает их логику, сначала они замечают, что собака робка, затем — что ревнива, еще позже — что она обидчива, и наконец начинают постоянно на нее злиться, устраивать сцены ревности. Они уверены, что собака стала подобной им, в действительности же они сами уподобились ей; они горды, считая, что очеловечили ее, а на самом деле — сами особачились. Может, благодаря тому, что я постоянно соприкасался с Лией и с ребенком, из всей нашей троицы я был наименее затронут этим процессом. Я был убежден в том, что владею ситуацией, я чувствовал себя как тогда во время камлания в Бразилии с музыкальной палочкой — агогоном: на стороне тех, кто порождает эмоции, а не тех, кто им подвергается. Насчет Диоталлеви тогда я ничего не понимал, и сейчас только понял, что Диоталлеви переиначивал свое тело, приспособившись мыслить по-одержимому. Что же касается Бельбо, то Бельбо переиначивал уже не тело, а свое сознание. Я приучался — Диоталлеви разрушался — Бельбо совращался. И все мы постепенно утрачивали тот интеллектуальный свет, который дает возможность отграничивать подобное от тождественного, метафору от вещи. Утрачивали ту таинственную и блистательную мыслительную способность, которая позволяет нам говорить, что кто-то «озверел», но не думать при этом, что у него выросли клыки и когти. Больной же, говоря «озверел», видит перед собой нечто лающее, хрюкающее, ревущее.

Будь мы не в таком возбуждении, конечно, заметили бы состояние Диоталлеви. Оно началось примерно в конце весны — начале лета. Он выглядел похудевшим, но не нервно-подтянутым, как бывает смотрится человек, пролазавший недели три по горным кручам. Его нежная кожа альбиноса приобрела желтоватый оттенок. Если бы мы это и заметили — решили бы, что это из-за того, что он просидел отпуск над своими раввинскими свитками. Но мы ничего не заметили. Думали о другом.

Именно в тот период нам удалось наконец привести к общему знаменателю и деятельность групп, не имеющих отношения к бэконнианскому крылу.

К примеру, современная масонология полагает, что баварские иллюминаты, ставившие своей целью уничтожение наций и дестабилизацию государств, повлияли основополагающим образом и на анархизм Бакунина, и на самый марксизм. Какая детскость. Иллюминаты были провокаторами, которых заслали к тевтонам бэконииане. Маркс и Энгельс, начиная знаменитый Манифест 48-го года более чем красноречивой фразой «Призрак бродит по Европе...», имели в виду совсем не их. Вы задумайтесь лучше, откуда эта готическая символика? Коммунистический манифест с саркастической издевкой намекает на погоню за призрачным Великим Планом, будоражащим историю Европы вот уже которое столетие! Всем, кто гонится за Планом, как бэкониианам, так и тамплиерам, Маркс предлагает альтернативный вариант. Маркс был евреем, и вполне возможно, отправлялся от комплекса идей геройских или сафедских раввинов. Но распространив свое мировоззрение на весь богоизбранный народ, он дал мировоззрению захватить себя настолько сильно, что у него отождествился Шекинах (народ, рассеянный по Царству) с пролетариатом. Так Маркс предал упования своих вдохновителей, извратил основные тенденции иудейского мессианизма. И таким путем пришел к следующему: храмовники всех стран, соединяйтесь. Все карты рабочим. Кто был ничем, тот станет всем. Какую еще историческую базу надо подводить под коммунизм?

— Хорошо, — говорил на это Бельбо, — но и у бэконииан наблюдаются отдельные трудности, вы не находите? Некоторые из них стартуют на всех парах, навстречу сциентистской мечте, и залетают в безвыходные тупики. Загляните в конец династии. Эйнштейн, Ферми и вся компания, те кто ищут разгадку тайны в сердце микрокосма, что они изобрели? Ошибку. Вместо теллурической энергии, чистой, природной, наукоемкой, они открыли энергию атома, грязную, опасную и технически громоздкую...

— Пространство-время, заблуждение Запада, — вторил Диоталлеви.

— И утрата Центра. Вакцины, пенициллин как карикатурная подмена эликсира долгожительства, — поддакивал я.

— Ошибался и другой тамплиер, Фрейд, — продолжал Бельбо. — Вместо того чтобы исследовать катакомбы физической подпочвы, он копается в колодцах психического подсознания, как будто бы эту

тематику не исследовали до него алхимики, да так, что полнее не придумаешь.

— Но это же ты, — обрушился на него Диоталлеви, — настаиваешь на том, чтоб печатать доктора Вагнера. По мне, психоанализ, это только для невротиков.

— Да, а пенис — это только фаллический символ, — подытожил я. — Послушайте, господа, не теряйте драгоценного времени. Мы ведь еще не знаем, куда пристроить как павликиан, так и иерусалимитян.

Но еще до того как мы начали подбираться к разрешению этих нелегких вопросов, перед нами встало новое препятствие в лице группировки, которая вроде бы не имела отношения к тридцати шести невидимым, однако вступила в игру на довольно раннем этапе и повредила программы остальных команд, внеся ощутимый элемент беспорядка. Я имею в виду иезуитов.

Барон фон Гунд, Шевалье Рамзай... и многие другие, основавшие ступени этих ритуалов, работали по инструкциям генерала иезуитов... Тамплиерство и есть иезуитство.

*Письмо Мадам Блаватской от Чарльза Сотрана 32 *** А и Р. R. 94 ***.*

Мемфис К. Р. Х К. Кадош, М. М. 104 Eng. и прочая и прочая.

Члена тайного Английского Братства Розенкрейцеров, а также прочих секретных обществ, II. 1.1877; в: Isis Unveiled, 1877, II, p. 390

Мы их встречали довольно часто, уже со времен первых манифестов розенкрейцеров. В 1620 году в Германии появляется «Rosa Jesuitica», где упоминается, что символ розы был католическим и имел отношение к Деве Марии еще до того, как стал символом розенкрейцеров и предполагалось, что оба ордена должны быть солидарны, а розенкрейцеры — только одна из новых формулировок иезуитской мистики, используемых населением реформированной Германии.

Я припоминаю слова Салона о том, с какой злостью отец Кирхер ставил к позорному столбу розенкрейцеров, и это в то время, когда он говорил о глубинах земного шара.

— Отец Кирхер, — сказал я, — является центральным персонажем этой истории. Почему этот человек, который столько раз доказывал, что умеет быть наблюдательным и что он обладает вкусом к экспериментам, утопил пару хороших идей в тысячах страниц немислимых гипотез? Он переписывался с лучшими английскими учеными, и в каждой его книге поднимаются типичные проблемы розенкрейцеров. Он делает вид, будто противопоставляет себя им, а на

самом деле стремится присвоить их идеи, представить их версию в качестве своей, враждебной Реформе. В первом издании «Fama» господин Хазельмайер, приговоренный иезуитами к галерам за свои реформистские идеи, непрерывно подчеркивает, что настоящими добрыми иезуитами являются они, розенкрейцеры. Ну хорошо. Кирхер пишет свои тридцать с чем-то томов, чтобы доказать, что настоящими добрыми розенкрейцерами являются иезуиты. Иезуиты попытаются наложить руку на План. Отец Кирхер хочет изучать маятники, и он делает это, но по-своему, изобретя планетарные часы, чтобы знать точное время в каждом из филиалов Братства, разбросанных по всему свету.

— Но как иезуиты узнали, что существует План, ведь тамплиеры погибли, но не признавались? — спросил Диоталлеви.

Ответ, что иезуиты всегда знают на йоту больше дьявола, ничего не стоил. Мы хотели иметь более подходящее объяснение.

Вскоре мы его нашли. И снова Гийом Постэль. Листая историю иезуитов Кретино-Жоли (сколько мы насмеялись над этим несчастным именем!), мы установили, что Постэль, охваченный мистическим неистовством и жаждой духовного возрождения, прибыл в 1544 году к святому Игнатию Лойоле в Рим. Игнатий принял его восторженно, но Постэлю не удалось отвлечься от своих навязчивых идей, своей каббалистики, своего экуменизма, что не могло прийтись по вкусу иезуитам, и менее всего им нравилась идея наиболее *fixe*, ради которой Постэль не пошел бы ни на какие уступки, а именно — что Властелином Мира должен стать король Франции. Игнатий был святым, но святым испанским.

Таким образом, в один прекрасный момент произошел разрыв: Постэль покинул иезуитов или иезуиты выставили его за дверь. Но если Постэль был иезуитом, хоть и короткий период времени, то должен был поведать святому Игнатию, которому поклялся в послушании *perinde ac cadaver*, о своей миссии. «Дорогой Игнатий, — вероятно, сказал он ему — знай, что, принимая меня, ты принимаешь тайну Плана тамплиеров, недостойным французским представителем которых я являюсь. Мы даже будем вместе ожидать третьей мирской встречи 1584 года, будем ожидать *ad majorem Dei gloriam*».

Итак, благодаря Постэлю и его минутной слабости иезуиты узнали о тайне тамплиеров. Такой секрет надо использовать. Святой

Игнатий отходит в вечное блаженство, но его последователи не спускают глаз с Постэля. Они хотят знать, с кем он встретится в этом роковом 1584 году. Увы, Постэль умирает раньше, и даже то, что в момент смерти у его изголовья (как утверждает один из наших источников) находился неизвестный иезуит, ни к чему не привело: иезуиты так и не узнали, кто является его преемником.

— Извините, Казобон, — вмешался Бельбо, — по-моему, здесь что-то не стыкуется. Если все это так, то иезуиты не могли знать, что в 1584 году встреча не состоялась.

— Однако не следует забывать, — заметил Диоталлеви, — что, по словам язычников, иезуиты были людьми, сделанными из железа, и нелегко было водить их за нос.

— О, если речь идет об этом, — признал Бельбо, — один иезуит съест с кашей двух тамплиеров за завтраком и двух за обедом. Они тоже были распущены, и не раз, при этом надо добавить, что к их роспуску были причастны все правительства Европы, однако они все еще существуют.

Надо было влезть в шкуру иезуита. Что делать иезуиту, если Постэль выскальзывает из рук? У меня сразу возникла идея, но такая дьявольская, что даже наши сатанисты, я полагаю, не смогли бы ее проглотить: движение розенкрейцеров придумано иезуитами!

— После смерти Постэля, — предположил я, — иезуиты (а известно, как они были коварны) с математической точностью рассчитали путаницу с календарями и решили взять на себя инициативу. Они устраивают гигантскую мистификацию с розенкрейцерами, точно просчитав, что в результате этого получится. Среди экзальтированных людей, попавшихся на крючок, неожиданно появляется некто из числа подлинных представителей ядра. Можно представить себе гнев Бэкона: Фладд, глупец, ты не мог держать язык за зубами?! Но, виконт, My Lord, я думал, что это наши... Кретин, разве я не учил остерегаться папистов? Это тебя надо было сжечь, а не несчастного из Ноли!

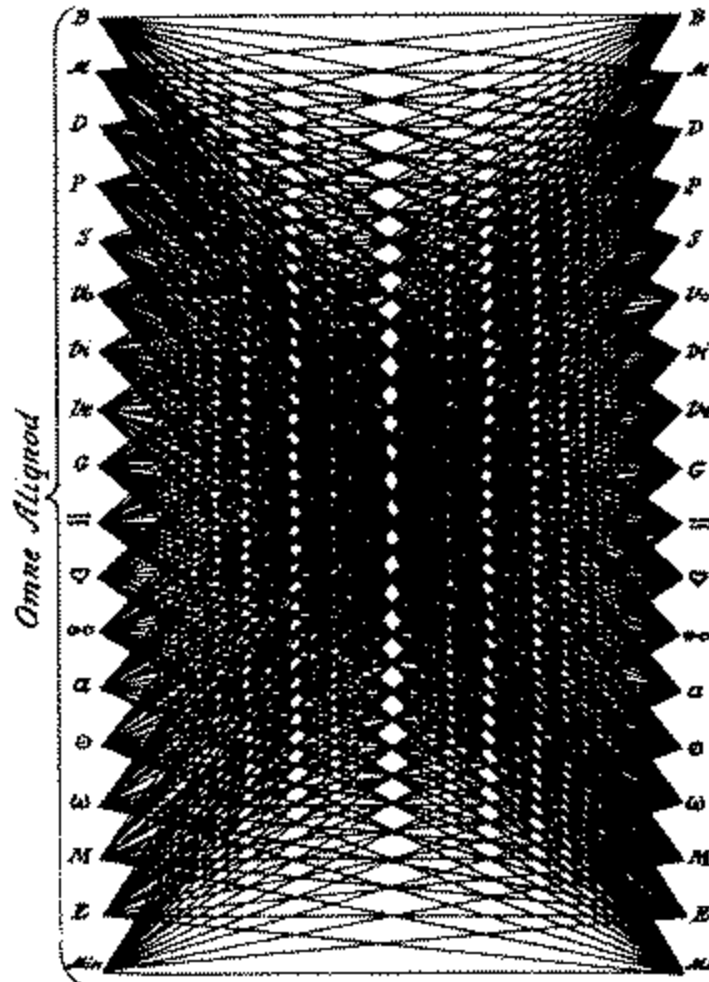
— В таком случае, — сказал Бельбо, — почему иезуиты или работавшие на них их католические полемисты нападали на розенкрейцеров как на еретиков и одержимых дьяволом, когда те переместились во Францию?

— Надеюсь, вы не предполагаете, что иезуиты работали так прямолинейно? Иначе, что это были бы за иезуиты?

Мы долго обсуждали мое предложение и наконец единодушно решили, что лучше всего придерживаться первоначальной гипотезы: розенкрейцеры были приманкой, подброшенной французам бэконистами и немцами. Но как только появились манифесты, иезуиты почуяли, чем пахнет. И немедленно включились в игру, чтобы смешать все карты. Очевидно, что целью иезуитов было воспрепятствовать соединению английской и немецкой групп с французской. И здесь любая хитрость была хороша, даже самая подлая.

Одновременно они собирали всякие доносы, накапливали информацию и скрывали это... где? «В Абулафии», — пошутил Бельбо. Но Диоталлеви, который в это время сам добывал документы, сказал, что не стоит шутить. Иезуиты абсолютно точно конструировали огромный, сверхмощный электронный калькулятор, который должен был дать заключение по поводу скрупулезно собранной столетней галиматьи, обрывков правды и лжи.

— Иезуиты, — сказал Диоталлеви, — поняли то, о чем ни бедные тамплиеры из Провэна, ни бэконовское крыло еще не имели представления, то есть что можно добиться восстановления карты посредством комбинаторики, используя операции, предвосхищающие операции самых современных электронных мозгов! Иезуиты первыми изобрели Абулафию! Отец Кирхер изучил все трактаты по искусству комбинаторики начиная с Луллия. И посмотрите только, что он опубликовал в своем «Ars Magna Sciendi»...



— Мне это напоминает кружева, выполненные крючком — заметил Бельбо.

— Ну, нет же, господа, это все возможные перестановки с n -элементами. Расчет с факториалом, как в «Сефер Йецира». Размещения и перестановки — сама основа Темуры.

Так оно и было. Одно дело создать расплывчатый проект Фладца, чтобы найти карту исходя из полярной проекции, другое — знать, сколько нужно проб и суметь их сделать, чтобы прийти к оптимальному решению. А прежде всего, одно дело создать абстрактную модель всех возможных перестановок и совсем другое — сконструировать машину, способную привести эти перестановки в действие.

Как Кирхер, так и его ученик Скоп проектируют маленькие механические органы, приспособления для перфокарт, компьютеры

ante litteram, основанные на бинарном счете. Каббала, применимая к современной механике.

IBM: Iesus Babbage Mundi, Iesum Binarium Magnificamur. AMDG: Ad Maiorem Dei Gloriam? И далее: Ars Magna, Digitale Gaudium! IHS: Iesus Hardware & Software!

В лоне наигустейших сумерек возникает сообщество новых существ, знающих друг друга не видясь, понимающих друг друга не объясняясь, помогающих друг другу не дружась... Это сообщество заимствует от иезуитов слепое подчинение, от масонства — испытания и внешний церемониал, от тамплиеров — тягу к подземельям и невообразимую смелость... Что суть все деяния графа Сен-Жермена, как не подражание Постэлю, у которого была мания состаривать свой возраст?

Маркиз де Люше, Изыскание о секте иллюминатов

/Marquis de Luchet, Essai sur la secte des illumines, Paris, 1789, V et XII/

Иезуиты поняли, что если необходимо дестабилизировать противника, то наилучшим способом будет создать тайные секты, дожидаться, пока туда вступят опасные энтузиасты, и затем всех их арестовать. Или же, если вы опасаетесь заговора, организуйте его сами и таким образом все, кто мог бы к нему примкнуть, попадут под ваш контроль.

Я вспомнил замечание, которое Алье высказал относительно Рамзая, первым установившего прямую связь между масонством и тамплиерами: он намекает на то, что Рамзая связывало нечто с католическими кругами. Действительно, уже Вольтер обвинял Рамзая в том, что он человек иезуитов. На факт рождения английского масонства иезуиты откликнулись из Франции появлением шотландских неотамплиеров.

Это позволяет понять, почему в ответ на заговор в 1789 году некто маркиз де Люше анонимно опубликовал свое знаменитое «Essai sur la secte des illumines», где атакует иллюминатов всех сортов — Баварских и любых других: невзирая на то, были ли они анархистскими

антиклерикалами или мистическими неотамплиерами, он сваливает их всех в одну кучу (невероятно, как все кусочки нашей мозаики постепенно и наилучшим образом становятся на место!), вплоть до павликиан, не говоря уже о Постэле и Сен-Жермене. Он сокрушается о том, что эти формы мистицизма тамплиеров лишают вероятности масонство, которое, напротив, было обществом по-настоящему смелых и честных людей.

Бэконисты придумали масонство, как «Рикс Бар» в фильме «Касабланка», иезуитские неотамплиеры уничтожили их идею, а Люше был направлен в качестве киллера для уничтожения всех групп, которые не были бэконовскими, Но при этом мы должны учитывать и другой факт, который бедному Алье не внушал доверия. Почему де Местр, человек иезуитов, за добрых семь лет до появления маркиза де Люше, направился в Вильгельмсбад, чтобы посеять раздоры между неотамплиерами?

— Движение неотамплиеров успешно развивалось в первой половине восемнадцатого века, — сказал Бельбо, — а к концу века оказалось в плачевном состоянии. Во-первых, потому, что им завладели революционеры, для которых все — между Богом Разума и Высшим Существом — подчинялось тому, чтобы обезглавить короля, считал Калиостро; а во-вторых, потому, что в Германии в дело вмешались немецкие принцы (и прежде всего — Фридрих Прусский), цели которых, несомненно, совпадали с целями иезуитов. Когда мистический неотамплиеризм, кем бы он ни был придуман, создал «Волшебную флейту», люди Лойолы решили от него избавиться, и это вполне нормально. Совсем как в сделках: приобретаешь компанию, перепродаешь, ликвидируешь, доводишь до банкротства, увеличиваешь ее капитал, — все это зависит от общего плана, тебя не заботит, чем закончит простой консьерж. Или как со старой машиной: когда она перестает ездить, ты отправляешь ее на свалку.

Невозможно найти в настоящем масонском кодексе другого Бога, кроме Мани. Это бог масона-каббалиста, старинных розенкрейцеров. Бог масонов-маргинистов... С другой стороны, все непотребства, приписываемые тамплиерам, в точности те же самые, что и непотребства, приписываемые манихеям.

Аббат Баррюэль, Воспоминания, полезные для истории якобинства

/Abbe Barruel, Memoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme Hamburg, 1798, 2.13/

Стратегия иезуитов стала нам совершенно понятна, когда мы открыли отца Баррюэля. Этот святой отец в 1797–98 годах, в качестве реакции на французскую революцию, выпустил свои знаменитые «Воспоминания, полезные для истории якобинства», самый настоящий роман-фельетон, сюжет которого начинается, вот так совпадение, именно тамплиерами. После костра, на котором погиб Молэ, храмовники, оказывается, переформировались в подпольную секту, целью которой было уничтожение монархии и папства и установление всемирной республики. В восемнадцатом веке они подчинили себе франкмасонство, сделали масонство своим орудием. В 1763 году была создана литературная академия, в которой участвовали Вольтер, Тюрго, Кондорсе, Дидро и Д'Аламбер, встречавшиеся в доме барона Гольбаха, там они до того доконспирировались, что в 1776 году произвели на свет якобинцев. Якобинцы, разумеется, были и остались марионетками в руках опытных закулисных дел мастеров, баварских иллюминатов — цареубийц от рождения.

Не мытьем, так катаньем. Расщепив масонство на две части при помощи Рамзая, иезуиты теперь снова его объединили, чтобы жахнуть прямо в лоб.

Книга Баррюэля кое-какое впечатление по себе оставила. Не случайно в Национальном архиве во Франции хранятся по меньшей мере две полицейских сводки о подпольных сектах, заказанные Наполеоном. Эти рапорты подписаны неким Шарлем де Беркхаймом, который, как обычно делают в секретных службах, черпал тайные сведения из широко опубликованных материалов — и не нашел ничего лучшего, как передраť для первого рапорта — книгу маркиза Люше, а для второго — книгу Баррюэля.

Разоблачения о хитрых иллюминатах и секретном Совете Неведомых Верховников, способных поработить мир, до того леденили кровь и действовали на воображение, что Наполеон ни секунды не колебался: он решил войти в их число. Потребовав, чтоб его брата Жозефа назначили Великим Магистром Великого Востока, он и сам, по свидетельствам ряда источников, вступает в контакт с масонством, а по свидетельству еще некоторых — становится значительным лицом в ордене. Непонятно только в каком. Возможно, на всякий случай во всех сразу.

Что было известно Наполеону — это нам неизвестно, но не будем забывать, что он провел довольно много времени в Египте и кто знает с какими мудрецами имел возможность беседовать в тени пирамид. Как бы то ни было, каждому ребенку понятно, что знаменитые сорок столетий, глядящих на него с высоты пирамид — прозрачный намек на герметическую традицию.

Известно ему должно было быть достаточно много, поскольку в 1806 году он созывает ассамблею французских евреев. Официальный предлог — самый банальный: ограничить ростовщичество, заручиться поддержкой израэлитов как нацменьшинства, раздобыть новые инвестиции... Но это не объясняет, с какой стати Наполеону понадобилось называть ассамблею Великим Синедрионом — не для того ли чтобы символизировать идею директории Верховников, более или менее Неведомых? На самом же деле хитроумный корсиканец хотел вычислить представителей иерусалимского крыла; как минимум цель его была — собрать в единое место потерявших друг друга конспираторов.

— Не случайно в 1808 году войска маршала Нея стоят в Томаре. Чувствуете связь?

— Мы только и делаем, что чувствуем связи.

— В тот момент Наполеон, намереваясь победить Англию, фактически контролирует все европейские центры, а через посредство французских евреев — и иерусалимскую ветвь. Кого ему еще не хватает?

— Павликиан.

— Вот то-то же. А мы-то не можем понять, куда скрываются все это время павликиане! Вот Наполеон нам и поможет. Он пошел ловить павликиан туда, где они водятся: в Россию!

Веками замкнутые в славянском ареале, болгарские павликиане естественным образом реорганизовались, составив собой, под разнообразными наименованиями, русские мистические секты. Один из самых влиятельных советников Александра Первого, князь Голицын, был связан с мартинистскими организациями. И кого еще мы находим в России, за двенадцать лет до нашествия Наполеона, в качестве полномочного посла Савойского дома, с миссией установления контактов с мистиками Санкт-Петербурга? Де Местра!

В тот период он уже отошел от любых организаций иллюминатского толка, в его представлении они составляли нечто единое с иллюминатами — просветителями, ответственными за кровавую баню Французской Революции. И говорил очень часто, почти текстуально цитируя Баррюэля, о сатаническом союзе, нацеленном на завоевание мира. Скорее всего имелся в виду Наполеон. Поэтому если наш великий реакционер предлагал свои услуги для обольщения мартинистских группировок, это скорее всего потому, что он почувствовал, что они, хоть и вдохновляясь теми же источниками, что французское и немецкое неотамплиерство, на самом деле являлись носителями исконного духа, не развращенного Западом: духа павликианства.

Однако план, задуманный Местром, кажется, так и не был реализован. В 1816 году иезуитов выгнали из Санкт-Петербурга и де Местр возвратился в Турин.

— Хорошо, — сказал, выслушав это, Диоталлеви. — Мы обнаружили павликиан. Теперь уберем из нашей схемы Наполеона, который, как мы догадываемся, так и не осуществил свою программу, иначе бы с острова Святой Елены он одним щелчком мог бы испепелить своих сажателей. Что же дальше произошло между всеми этими персонажами? Их столько, что впору рехнуться.

— Из них самих половина точно рехнулась, — сказал Бельбо.

О как прекрасно, что вы развенчали адские секты, готовящие путь Антихристу... Но есть, есть еще одна секта, которую почти не затронули — лишь в самой малой степени.

*Письмо капитана Симонини аббату Баррюэлю
«Чивильта каттолика», 21.10.1882*

Поведение Наполеона по отношению к евреям оказало огромное влияние наезуитов, заставило их в корне переменить пропаганду. В «Воспоминаниях» Баррюэля о евреях не было ни слова, ни намека. Но в 1806 году распространяется письмо Баррюэлю некоего капитана Симонини, который сообщает ему, что Мани^[119] был евреем, точно так же как и Горный старец, и что масонов основали евреи, и что евреи пронизали собой все секретные организации, существующие на земле.

Письмо Симонини чрезвычайно ловко поставило в трудное положение Наполеона, который как раз тогда обращается к Великому Синедриону. Скорее всего, его обращение взволновало также и павликиан, потому что именно в это время Священный Синод Московской православной церкви возвестил: «Наполеон замыслил ныне объединить всех евреев, которых гнев Господен разметал по лицу земли, чтобы с помощью ненавистников имени христианского и пособников его нечестия, ниспровергнуть церковь Христову и похитить священное имя Мессии».

Наш добрый Баррюэль тут же воспринял идею и пришел к выводу, что заговор является не просто масонским, а жидомасонским. Кроме всего прочего, идея подобного сатанинского Komplota была полезна для атаки на нового врага — Высокую Венту карбонариев, а через них — на антиклерикалов, боровшихся за объединение Италии, от Мадзини до Гарибальди.

— Но все это происходило в начале прошлого века, — сказал Диоталлеви. — Основная же антисемитская кампания развернулась в его конце, когда были опубликованы так называемые «Протоколы

Сионских мудрецов». Эти протоколы возникли в русском ареале. Работа павликиан.

— Разумеется, — подхватил Бельбо. — Как мы чувствуем, на этой стадии иерусалимская группировка расчленена на три ветви. Первая, в лице испанских и провансальских каббалистов, вдохновляет собой неотамплиерские течения, вторая сливается с бэкониианской струей и порождает мощный слой ученых и финансистов. Именно против них так злобствуют иезуиты. Но есть еще третий подвид иерусалимитян, именно они волею судеб оказываются в России. Русские евреи большею частью — мелкие торговцы промышленляют и дачей денег под залог, поэтому местные крестьяне их недолюбливают. Большая их часть (поскольку еврейская культура — это культура Книги и почти все евреи умеют читать и писать) пополняет собой ряды либеральной и революционной интеллигенции. Павликиане же мистичны, мечтательны, реакционны, накрепко связаны с феодалами-землевладельцами и многие из них пробрались ко двору. Естественно, между ними и иерусалимитянами связей быть не может. Поэтому они заинтересованы в дискредитировании евреев, а через евреев — как они научились у иезуитов — они могут поразить и своих зарубежных противников, неотамплиеров и бэконииан.

Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для Сиона хитростью... Проникая в недра встречаемых им на пути государств, Змий пожирает все государственные нееврейские силы по мере их роста. Это же должен он делать и в будущем, при точном следовании предначертаниям плана, до тех пор пока цикл пройденного им пути не сомкнется с возвратом главы его на Сион... не сосредоточит в сфере своего круга всей Европы, а через нее и остальной мир....

С. Нилус, Великое в малом, перепечатка в сб. «Луч света» 1920

Идея Бельбо показалась нам годной. Оставалось выяснить, кто занес «Протоколы» в Россию.

Один из наиболее влиятельных мартинистов конца прошлого века, Папюс, обратил Николая II во время его визита в Париж, потом отправился в Москву и привез с собою некоего Филиппа — Филиппа Низье Ансельма Вашо. Тот, одержимый дьяволом в возрасте шести лет, в возрасте тринадцати — целитель, лионский магнетизер, очаровал как Николая, так и его истеричку жену. Филипп был принят при дворе, назначен врачом при Петербургской военной академии, генералом и статским советником.

Тогда его противники решают противопоставить ему личность не менее харизматичную, с тем чтобы подорвать его престиж. И тут всплывает Нилус.

Нилус был бродячим монахом, который в иноческом одеянии бродил (естественно: что еще делать бродячему?) по лесам, трясая пророческою бородою, имел двух жен, одну дочку и одну ассистентку — или же любовницу, — и вся компания заслушивалась его пророчествами. Отчасти вождь народа, из тех, которые потом сбегают вместе с кассой, отчасти бесноватый, типа тех, кто кричит, что «конец

уже близок». И действительно, его идефикс являлись происки Антихриста.

План тех, кто решил воспользоваться Нилусом, состоял в том, чтобы рукоположить его в попы, с тем чтобы далее поженить (женой меньше, женой больше) на Елене Александровне Озеровой, придворной даме царицы, и сделать исповедником монаршей четы.

— Я человек незлой, — сказал на это Бельбо, — но у меня складывается впечатление, что ликвидация царской фамилии была чем-то вроде дезинфекции от тараканов.

В общем, в какой-то момент споспешники Филиппа обвиняют Нилуса в распутстве, и Бог судья, так ли уж они неправы. Нилусу пришлось оставить придворную жизнь, и тут кто-то пришел ему на помощь, подсунув текст «Протоколов». Поскольку никто не в состоянии был отличать мартинистов (последователей Сен-Мартена) от мартенистов (последователей Мартена де Паскуалли, того самого, которого не любил Алье) и поскольку Паскуалли, согласно расхожему слуху, был евреем, — дискредитируя евреев, можно было дискредитировать мартинистов, а дискредитируя мартинистов, ликвидировать Филиппа.

Ради этого и был опубликован первый, неполный вариант «Протоколов» в 1903 году, в газете «Знамя», которую редактировал воинствующий антисемит Крушеван. В 1905 году, с благословения государственной цензуры, этот первый вариант, дополненный, был перепечатан в книге «Причина наших зол», изданной, как принято считать, неким Бутми, — Бутми вместе с Крушеваном участвовал в основании «Союза русского народа», более известного как черные сотни, в «Союз» вербовали уголовных преступников, а занимались они погромами и правотеррористскими покушениями. Бутми еще не раз публиковал этот текст, теперь уже под собственным именем, под заглавием «Враги рода человеческого — Протоколы происходящие из тайных архивов Центральной канцелярии Сиона».

Но это все только подступы, пробы пера. Полное же издание «Протоколов», которое будет переиздано потом во всем мире, выходит в 1905 году в книге Нилуса «Великое в малом: Антихрист. Близ есть, при дверях», Царское село, издано под эгидой тамошнего отделения Красного Креста. Нарративное обрамление представляет собой широкую мистическую перспективу. Книга оказывается в руках царя.

Митрополит Москвы предписывает ее чтение во всех московских церквях.

— Но как связаны, — спросил я, — эти протоколы с нашим Планом? Если действительно предположить, что они имеют значение, читать их, что ли?

— Нет ничего проще, — отвечал Диоталлеви. — Они всегда в продаже, не в одном, так в другом магазине. Их постоянно перепечатывают. Как бы с возмущенным пафосом, из чувства исторического долга, но в конечном счете, даже с удовольствием. — Таковы уж эти язычники.

У нас нет соперников... Одни иезуиты могли бы с нами сравняться, но мы их сумели дискредитировать в глазах бессмысленной толпы, как организацию явную, сами со своей тайной организацией оставшись в тени.

Протоколы сионских мудрецов, пр. V

Протоколы — цикл из двадцати четырех программных заявлений, приписываемых Сионским Мудрецам. Намерения этих Мудрецов выглядят довольно противоречиво, то они желают упразднить свободу печати, то разжигают либертинские настроения. Они критикуют либерализм, но при этом замысленные ими действия соответствуют шаблону, который обычно в представлении левой прессы эквивалентен программе международного капитала, включая такие элементы, как использование спорта и школ для оболванивания широких масс. Они раскрывают технику достижения мирового господства, восхваляют могущество золота. Намереваются способствовать революциям в различных странах, играя на имеющемся недовольстве и мороча народ либеральными идеями, но они же желают и поддерживать неравноправие. Они рассчитывают установить повсюду президентские правительства, по сути — марионеточные в руках Мудрецов. Они собираются разжигать войны, увеличивать производство оружия и (как справедливо указывал Салон) строить метрополитены (подземки!) для того, чтобы иметь возможность заминировать большие города.

Они заявляют, что цель оправдывает средства, и стремятся усугубить антисемитизм как ради того, чтобы самим держать в кулаке бедных евреев, так и для того, чтобы разжалобить иноверцев невыносимыми еврейскими мучениями (способ расточительный, говорил Диоталлеви, но эффективный). Они безыскусно признают, что «нам свойственны неудержимая честолюбия, жгучия жадности, беспощадная мести, злобная ненависти» (пример изысканного мазохизма, ибо тем самым досконально воспроизводится расхожее клише о злобном еврее, давно вошедшее в арсенал антисемитской

прессы и украшающее собою обложки всех до одного изданий данного текста), а еще они требуют отменить изучение классической литературы и древней истории.

— В общем, — подытожил Бельбо, — Сионские мудрецы это команда мудозвонов.

— Не все так думают, — сказал Диоталлеви. — Эту книгу воспринимали более чем серьезно. Меня другое удивляет. Выдавая себя за еврейский глобальный заговор, насчитывающий много столетий, они тем не менее пикируются исключительно с мелкими французами конца прошлого века. Я уверен, что намек на «наглядное обучение», призванное оглуплять народную массу, относится к программе народного просвещения Леона Буржуа, у которого в правительстве было девять масонов. В другом отрывке предлагается избирать на государственные должности людей, скомпрометированных в Панамской афере; скорее всего, это — в огород Эмиля Лубе, который в 99-м становится президентом Франции. Разглагольствования о метро восходят к тому факту, что в конце века правые газеты возмущались тем, что в Компани дю Метрополитен было слишком много акционеров-евреев. Поэтому можно предположить, что этот текст составлен во Франции в последнее десятилетие девятнадцатого века, одновременно с делом Дрейфуса, с целью скомпрометировать либеральный фронт.

— Меня удивляет вовсе не это, — перебил его Бельбо, — а *deja vu*. [\[120\]](#) Смак всей истории в том, что рассказывается тайная программа завоевания мира, а мы эту программу уже знаем. Попробуйте убрать указанные Диоталлеви отсылки на реалии прошлого века, заменить подземелья метро подземельями Провэна, и всякий раз вместо слова еврей пишите тамплиер, и всякий раз вместо Сионских Старичков пишите Тридцать шесть невидимок... Ребята, это вылитое Провэнское завещание!

Вальтер сам умер иезуитом: а было ли у него хоть малейшее подозрение?

Ф. Н. де Бонневиль, Иезуиты гонимые масонами и кинжал их, сломленный масонами

/F. N. de Bonneville, Les Jesuites chasses de la Maconnerie et leur poignard brise par les Macons, Orient de Londres, 1788, 2, p. 74/

У нас все было перед самым носом. Сколько же времени нам понадобилось, чтоб понять очевидное! Все очень просто: в течение шести столетий шесть групп бились за осуществление Провэнского плана, и каждая группа знала идеальную схему этого плана, и каждая группа считала, что схему выполняют ее неприятели!

После того как розенкрейцеры показали во Франции, иезуиты вывернули их план наизнанку: дискредитируя розенкрейцеров, они опосредованно били по бэкониянам, то есть по нарождающемуся английскому масонству.

Когда иезуиты изобрели неотамплиерство, маркиз де Люше заявил, что-де неотамплиеры и есть исполнители Плана. Тогда иезуиты решили избавиться и от неотамплиеров, а для этого использовать Баррюэля; скопировали в его книге план того же самого Люше, но только приписали План всем франкмасонам вместе взятым.

Контрнаступление бэкониян. Проанализировав тексты либеральной, антиклерикальной полемики, мы можем убедиться, что все, начиная от Мишле и Кине и кончая Гарибальди и Джоберти, — все приписывали знание Плана иезуитам (может быть, эта идея исходила от тамплиера Паскаля и его товарищей). Эта тема сделалась особенно популярной по выходе «Вечного жида» Эжена Сю, где имеется удачный персонаж — коварный месье Роден, квинтэссенция иезуитского мирового заговора. Обратившись к творчеству Сю, мы, кстати, обнаружили там еще более драгоценный материал: текст,

казавшийся переписанным (но на самом деле с опережением на пятьдесят лет) с «Протоколов», слово в слово. Речь идет о последней главе «Народных тайн». Здесь дьявольский замысел иезуитов объясняется во всех его преступных деталях в некоем документе, который отправляет генерал ордена Руутаан (лицо историческое) месье Родену (герой, перешедший из «Вечного жида»). Рудольф фон Герольштейн (персонаж, перешедший из «Парижских тайн») завладевши документом, передает его демократам: «Вы видите, дорогой Лебрен, как искусно сплетена эта адская интрига, какие чудовищные несчастья, какое невыносимое засилье, какой ужасный деспотизм сулит она Европе и миру, если к несчастью окажется проведенной в жизнь».

Неотличимо от предисловия Нилуса к «Протоколам». Тот же Сю приписывал иезуитам девиз, который в «Протоколах» приписывается евреям — «Цель оправдывает средства».

Нас не должны просить умножать доказательства, ибо вполне очевидно, что эта степень розенкрейцерская была хитроумно введена начальниками масонства... Самая сущность ее доктрины, ее ненавистничества и ее святотатственного обращения к учению каббалы, гностиков и манихеев свидетельствует о принадлежности ее авторов — то есть о том, что это еврей-каббалисты.

*Монс. Леон Мерэн (Братство Иисуса),
Франкмасонство — синагога Сатаны*

*/Mons. Leon Meurin, S.J., La Franc-
Maconnerie, Synagogue de Satan, Paris,
Retaux, 1893, p. 182/*

С появлением «Народных тайн» иезуиты поняли, что «Завещание» вменяется в вину именно им, и, прибегнув к тактике защиты, которая еще никогда никем не применялась, завладели письмом Симонини и обвинили в авторстве «Завещания» евреев.

В 1869 году Гужено де Муссо, известный автор двух книг о магии XIX века, издает свое произведение под названием «Les Juifs, le judaisme et la judaisation des peuples chretiens», где утверждает, что евреи используют Каббалу и поклоняются Сатане, в свете того, что тайные связи напрямую ведут от Каина к гностикам, тамплиерам и масонам. Де Муссо получает специальное благословение от папы Пия IX.

Однако история Плана, воспетая Сю, была подхвачена другими людьми, которые не были иезуитами. Много лет спустя произошла невероятная, почти криминальная история. «Таймс» после появления «Протоколов», которые он воспринял очень серьезно, в 1921 году представил информацию о том, что один русский помещик, по убеждениям монархист, укrywшийся в Турции, приобрел у бывшего

офицера тайной русской полиции, беженца, поселившегося в Константинополе, старые книги, среди которых было издание без обложки, но на корешке можно было прочесть надпись «Жоли», и с предисловием 1864 года. Оно, похоже, являлось литературным источником «Протоколов». «Таймс» в результате поисков, проведенных в Британском Музее, обнаружил оригинал книги Мориса Жоли «Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли», изданной в Брюсселе (однако была сделана ссылка на Женеву, 1864 год). Морис Жоли не имел ничего общего с Кретино-Жоли, но необходимо было исследовать эту аналогию, определенно имевшую какое-то значение.

Книга Жоли представляла собой либеральный памфлет на Наполеона III, в котором Макиавелли, воплощавший собой цинизм диктатора, ведет спор с Монтескье. За эту революционную инициативу Жоли был арестован, провел пятнадцать месяцев в тюрьме и в 1878 году покончил жизнь самоубийством. Программа евреев из «Протоколов» почти слово в слово повторяла то, что Жоли вложил в уста Макиавелли (цель оправдывает средства), а через Макиавелли — в уста Наполеона. И все же «Таймс» не обратил внимания (зато это сделали мы) на то, что Жоли совершенно беспардонно скопировал документ Сю, появившийся на свет по крайней мере на семь лет раньше.

Писательница-антисемитка, некая Неста Вебстер, увлеченная теориями заговора и Неведомых Настоятелей, в свете того, что «Протоколы» стали банальной и глупой копией, блеснула гениальной интуицией, которая может быть свойственна только истинному иницианту или искателю инициантов. Согласно ее версии, Жоли был инициантом и в совершенстве знал план Неведомых Настоятелей, но поскольку он ненавидел Наполеона III, то приписал авторство плана ему, однако это не означает, что план не существовал бы независимо от Наполеона. А поскольку план, описанный в «Протоколах», в точности соответствует планам, которые обычно составляют евреи, значит, он и является еврейским планом. Нам же оставалось лишь исправить ход рассуждений мадам Вебстер, следуя ее собственной логике: поскольку План полностью соответствовал плану, который должны были придумать тамплиеры, он и принадлежал тамплиерам.

А впрочем, наша логика основывалась на фактах. Нам очень понравилось дело с пражским кладбищем. Оно было связано с именем

некоего Германа Гедше, занимавшего скромный пост почтового служащего в Прусской империи. Этот человек уже однажды опубликовал сфабрикованные документы с целью дискредитации демократа Вальдека, которого обвинял в попытке покушения на короля Пруссии. После того как подлог был обнаружен, он стал редактором печатного органа консервативно настроенных крупных собственников «Die Preussische Kreuzzeitung». Затем под псевдонимом сэра Джон Рэтклифф принялся сочинять сенсационные романы, в том числе издал в 1868 году «Viarritz». Именно в этом произведении он запечатлел оккультистскую сцену, которая разыгралась на пражском кладбище, весьма похожую на собрание иллюминатов, описанное Дюма в «Джузеппе Бальзамо», где Калиостро, предводитель Неведомых Настоятелей, среди которых находится Сведенборг, замышляет заговор с подвесками королевы. На пражском кладбище собрались представители двенадцати колен Израиля, чтобы обсудить план покорения мира.

В 1876 году в одном русском памфлете была приведена сцена из «Viarritz», но так, словно событие это имело место в жизни. То же самое сделает в 1818 году во Франции журнал «Le Contemporain». При этом утверждалось, что информация почерпнута из достоверного источника, а именно — от английского дипломата сэра Джона Редклиффа. В 1896 году некий Бурнан в своей книге «Les Juifs, nos contemporains» повторяет описание сцены на пражском кладбище, уверяя, что подрывную речь произнес великий раввин Джон Ридклиф. Позже утверждали, что, наоборот, настоящего Ридклифа привел на это фатальное кладбище Фердинанд Лассаль, еврей и социалист.

Все эти планы более или менее соответствуют планам, описанным несколько ранее, в 1880 году «Журналом Исследований Еврейства» (антисемитским), где опубликовано два письма, авторство которых приписывалось евреям, жившим в XV веке. Евреи из Арле, подвергшись преследованиям, обращаются за помощью к своим братьям из Константинополя, а те им отвечают: «Любимые Моисеевы братья, если французский король заставляет вас принять христианство, вам ничего не остается, как это сделать, однако сохраните закон Моисеев в ваших сердцах. Если же вас лишат вашего состояния, сделайте так, чтобы дети ваши занимались торговлей и тем самым понемногу отбирали состояние у христиан. Если же будут

покушения на вашу жизнь, пусть ваши дети станут врачами и фармацевтами, дабы могли отбирать жизнь у христиан. Если разрушат ваши синагоги, пусть ваши дети станут канониками и церковнослужителями, чтобы разрушить их церкви. Если же вы подвергнетесь другим унижениям, пусть ваши дети станут адвокатами и нотариусами, и, вмешиваясь в государственные дела всех стран, вы сможете поработить христиан, обрести владычество над миром и отомстить им за все». Все сходилось, как ни крути, на плане иезуитов и на его истоке — провэнском завещании. Какие-то мелочи, несущественные отклонения. Как же, как же мы привяжем План к «Протоколам»? Или, может, заявить, что «Протоколы» сложились как миф, сами собой? Что одна и та же абстрактная легенда о заговоре мигрировала из страны в страну, почти не изменяясь? Мы уже было отчаялись найти недостающее звено, которое связало бы нашу замечательную концепцию с Нйлусом, как наконец на нашем горизонте замаячил Рачковский, начальник кошмарного Охранного отделения, тайной полиции царя.

Прикрытие всегда необходимо. В скрытности — большая часть нашей силы. Поэтому мы должны всегда укрываться под именем какого-либо иного общества.

Новейшие работы Спартака и Филона в ордене Иллюминатов

/Die neuesten Arbetten des Spartacus und Philo in dem Illumitnaten-Orden. 1794, p. 165/

Именно в эти дни, перечитывая наших любимых одержимцев, мы выяснили, что граф Сен-Жермен среди прочих своих псевдонимов именовался также Ракоши, по крайней мере именно так называет его посол Фридриха II в Дрездене. А ландграф Гессенский, при дворе которого Сен-Жермен якобы скончался, утверждал, что граф был трансильванского происхождения и прозывался Рагоцкий. К этому в рукописи добавлялось, что Коменский посвятил свою «Пансофию» (произведение явно розенкрейцерского толка) некоему ландграфу (ландграфов в этом исследовании хватало) по фамилии Раговский. Последний кусочек смальты: я лично, копаясь у букиниста на Замковой площади в Милане, нашел немецкое сочинение о масонстве, анонимное, в котором рука неизвестного приписала изнутри на крышке переплета, что настоящим автором этого труда является Карл Авг. Раготский. Учитывая, что Раковски была фамилия того невыясненного индивида, который, похоже, уколошил полковника Арденти, становилось ясно, каким образом мы сумеем нанизать на шампур Глобального Заговора и нашего дорогого графа Сен-Жермена.

— А не слишком много чести проходимцу? — озабоченно переспросил Диоталлеви.

— Нет, нет, — отвечал Бельбо, — он сюда полагается. Как соевый соус в китайской кухне. Нет соевого соуса — кухня не китайская. Посмотрите на Алье, он в этих делах съел собаку. Не подделывается

же он под Калиостро или Виллермоза. Сен-Жермен — квинтэссенция Гомо Герметикуса! Г... в квадрате!

Петр Иванович Рачковский. Жизнерадостен, напорист, вкрадчив, разумен и хитер, гениальный очковгиратель. Мелкий функционер — связывается с революционными группами — в 1879-м арестовывается тайной полицией с обвинением укрывательства друзей-террористов, покушавшихся на генерала Дрентельна. Переходит на сторону полиции и записывается (ах вот как!) в черную сотню. В 1890 году изобличает в Париже организацию, которая фабриковала бомбы для русских покушений, и ухитряется арестовать на русской территории не менее шестидесяти трех террористов. Через десять лет вскроется, что все бомбы были сделаны его людьми.

В 1887 году распространяется письмо некоего Иванова, покаявшегося революционера, который заверяет, что большинство террористов — евреи. В 1890 году появляется еще одна «исповедь старого революционера», обвиняющая революционеров, эмигрировавших в Лондон, в том, что они британские агенты. В 1892 году выходит фальшивка якобы от имени Плеханова, утверждающая, что предыдущий документ был инспирирован руководством «Народной воли».

В 1902 году предпринимаются попытки учредить франко-русскую антисемитскую лигу. Для успеха предприятия Рачковским применяется техника наподобие розенкрейцерской. Он пускает слух, будто подобная лига существует, и начинает ждать, чтобы кто-нибудь ее создал. Но он использует и другую тактику: умело перемешивает вымысел с правдой, и поскольку правда, на первый взгляд, работает ему во вред, никто не сомневается в истинности вымысла. Он пускает гулять по Парижу загадочное обращение к французам с призывом поддержать Патриотическую Русскую Лигу, основанную в Харькове. В этом обращении он указывает на себя самого как на предположительного противника этой лиги и увещевает себя самого, Рачковского, переменить позицию. В частности он обвиняет себя самого в использовании компрометантных фигур, таких как Нилус, что чистая правда.

На каком основании «Протоколы» могут быть атрибутированы Рачковскому?

Покровителем Рачковского был министр Сергей Витте, прогрессист, пытавшийся превратить Россию в современную страну. За каким чертом прогрессисту Витте понадобилось опираться на реакционера Рачковского, знает только Господь, но мы уже ничему не удивлялись. У Витте имелся политический противник, некий Илья Цион, издавна атаковавший его публичными заявлениями, больше всего напоминавшими пассажи из «Протоколов». Но в писаниях Циона не было намеков на еврейскую угрозу, да и откуда им быть — он сам был крещеным евреем. В 1897 году по приказу Витте Рачковский проводит обыск на даче у Циона в Териоках и находит памфлет Циона, своей идеей восходящий к книге Мориса Жоли «Диалог в аду между Монтестье и Макиавелли», которую принято считать прототипом «Сионских мудрецов». Частично в памфлете присутствует и материал Эжена Сю. Витте приписываются воззрения «Макиавелли» — Наполеона III. Рачковский — не зря он гений фальсификации — заменяет Витте на евреев и широко распространяет текст. Имя Циона великолепно подходит для данной цели, пробуждая аллюзии со словом Сион. В этом случае слово дано крупному деятелю еврейской науки и политики, предостерегающему от еврейского же заговора. Так и рождаются «Протоколы». Вскорости этот текст попадает в руки некоей Ульяны или Устиньи Глинки, которая связана в Париже с кругом мадам Блаватской. В свободное от работы время она доносит на русских революционеров, эмигрировавших во Францию. Безусловно, Глинка — агент павликиан, павликиане связаны с аграриями и в их интересах убеждать царя, что программы Витте соответствуют программам международного заговора евреев. Глинка доставила документ генералу Оргеевскому, а тот через командующего императорской гвардией передал его прямо в руки самому царю. У Витте начались неприятности.

Таким манером Рачковский в своем антисемитском раже добился — чего же? Немилости для своего же покровителя. А вслед за этим и для себя. И действительно, вскоре после этого его следы теряются. Сен-Жермен, по всей очевидности, двинулся дальше, к новым переодеваниям, перевоплощениям. А наша история приобрела приятный, симметричный абрис, потому что она дополнительно оперлась на целый комплекс фактов, истинных — говаривал Бельбо — не менее, чем истинен Бог.

Все это мне приводит на память Де Анджелиса с его синархией. Красота всей этой истории — нашей истории, я хочу сказать, но вполне вероятно, и Истории, о которой рассуждает Бельбо с лихорадочным взором, с расчетами в руках, — красота в том, что группировки, борющиеся между собой не на жизнь, а на смерть, изничтожают друг друга, используя каждая оружие своего противника.

— Первый долг настоящего шпиона, — подытоживал я, — это ославить шпионами тех, к кому его заслали.

Бельбо сказал мне на это:

— Я помню один случай в ***. На закате в долине я почти всегда видел, на черной машине «Балилла», некоего Ремо, может, какое-то похожее имя. Черные усы, черные кудри, черная рубашка, черные зубы — гнилые до невероятия. Он целовал девушку. Мне было брезгливо думать о черных зубах, которые целовали такую белую, такую милую вещь, не помню даже ее лица, но она была дева и блудница, иначе говоря вечная женственность. И я содрогался в душе своей. — Он мгновенно перешел на дурашливо-высокий штиль, чтоб затушевать трогательность воспоминания. — И в душе вопрошал без устали, отчего этот Ремо, чернбригадник, шляется без всякого страха по округе даже тогда, когда *** не занято фашистами. Мне на это отвечали, что о нем поговаривают, будто он заслан партизанами. Верьте не верьте, но однажды я выхожу и вижу ту же черную «Балиллу» и те же черные зубы, и ту же целуемую блондинку, но одет он был уже в красный галстук и в зеленую униформу. Он перешел в гарибальдийскую бригаду, и все его обнимали и у него было новое имя, боевая кличка Иксдевятъ, как у героя Алекса Раймонда, о котором он читал в «Вестнике приключений». Молодчина Иксдевятъ, кричали все, а я ненавидел его еще пуще, потому что он теперь обладал девицей по всенародному мандату. Однако кое-кто поговаривал, что он был фашистским шпионом, засланным к партизанам, думаю, что поговаривали те, кто завидовал ему из-за этой девицы, в общем, разговоры были и Иксадевятъ подозревали...

— Чем же кончилось?

— Простите, Казобон, почему вас так интересуют мои дела?

— Потому что они приняли форму рассказа, а рассказ есть коллективное воображаемое.

— Хорошо излагаете. Ладно. Однажды с утра Иксдевять вышел за пределы околотка, может быть, он назначил девице свидание в лесочке, может быть, он наконец собрался с духом выйти за пределы вечного жалкого петтинга и показать ей, что его мужской прибор не настолько дупловат, как зубы, — извините, но я до сих пор не в состоянии его любить, — в общем, фашисты его зацапали, отвезли в город, и на следующий день, в пять утра на рассвете, расстреляли.

Пауза. Бельбо смотрел на свои руки, пальцы были соединены как на молитве. Потом он развел их и продолжил:

— Он доказал, что не был заслан фашистами.

— Мораль басни?

— Все басни обязаны иметь мораль? Тогда, наверное, так: что для того, чтоб доказать что-набудь, лучше всего умереть.

Ego sum qui sum. [121].

Исход, 3,14

Ego sum qui sum. An axiom of hermetic philosophy.
[122].

*Г-жа Блаватская. Изиды без покрывал, с.
1.*

— *Кто ты такой? — вместе спросили триста
голосов, и одновременно двадцать шпаг сверкнули в
руках сидевших ближе других призраков...*

— *Ego sum qui sum, — ответил он.*

Alexandra Dumas. Joseph Baisamo, II

Я встретился с Бельбо на следующее утро.

— Вчера мы сочинили неплохие страницы для романа с продолжением, — сказал я ему. — Но если мы хотим создать более достоверный План, возможно, следует больше придерживаться действительности.

— Какой действительности? — переспросил он — Может, только беллетристика и способна отразить настоящую реальность. Нас обманули.

— Кто?

— Нам внушили, что, с одной стороны, существует настоящее искусство, изображающее типичных персонажей в типичных ситуациях а с другой — беллетристика, представляющая нетипичных героев и нетипичные ситуации. Я считал, что настоящий денди никогда не полюбит ни Скарлетт О'Хара, ни Констанцию Бонасье, ни тем более Перлу ди Лабон. Я развлекался такой литературой, чтобы выйти за тесные рамки жизненных правил. Мне она нравилась возможностью неожиданных поворотов. Так вот, это не так.

— Не так?

— Нет. Пруст был прав: скверная музыка отражает жизнь лучше, чем «Missa Solemnis». Искусство обманывает нас и успокаивает, оно подсовывает нам мир таким, каким его видят артисты. Беллетристика, внешне созданная для развлечений, представляет мир таким, каким он есть на самом деле, или по крайней мере таким, каким он будет. Женщины больше похожи на Миледи, чем на Лючию Монделла, Фу Манчу более реален, чем Мудрый Натан, а История больше напоминает историю, рассказанную Сю, чем ту, в научных предсказаниях Гегеля. Шекспир, Мелвилл, Бальзак и Достоевский писали такую литературу. В жизни действительно случается то, что когда-то уже было описано в книгах.

— Это потому, что легче подражать беллетристике, чем настоящему искусству. Требуется немало усилий, чтобы стать Джокондой, а стать Миледи не представляется трудным в силу нашей природной склонности к легкости.

Диоталлеви, до сих пор молчавший, заметил:

— Посмотрите на нашего Алье. Для него легче подражать Сен-Жермену, чем Вольтеру.

— Да, — согласился Бельбо, — в глубине души женщины считают Сен-Жермена более привлекательным, чем Вольтера.

Несколько позже я обнаружил файл, в котором Бельбо в литературной форме подводил итог нашим заключениям. Я говорю «в литературной форме» потому, что понимаю: для него было забавой восстановить этот эпизод, добавляя на свое усмотрение несколько связующих фраз. Я не могу припомнить всего, что он там цитировал, все случаи плагиата и заимствований, однако многие строки этого неистового коллажа показались мне знакомыми. В очередной раз убегая от тревог, которые несет История, Бельбо писал и возвращался к жизни посредством того, что написал.

Имя файла: возвращение Сен-Жермена

Пять веков назад длань мщенья Всемогущего направила меня из глубин Азии в эти земли. Я приношу с собой ужас, горе и смерть. Смелее вперед, ведь нотариусом Плана являюсь я, хотя другим это не известно. Мне приходилось видеть вещи и похуже, а ухищрения в

Варфоломеевскую ночь стоили мне куда больших усилий, чем то, что предстоит сделать сейчас. О, почему мои губы змеятся в этой дьявольской улыбке? Я тот, кто я есмь, если только проклятый Калиостро не отнял у меня все до последнего волоска.

Однако триумф уже близок. Когда я еще был Келли, Соапез всему меня научил в лондонской Башне. Тайна состоит в том, чтобы уметь становиться кем-то другим.

При помощи искусных интриг мне удалось запереть Джузеппе Бальзаме в крепости Сан-Лео и завладеть его тайнами. Я больше не существую как Сен-Жермен, и все думают, что я — граф Калиостро.

На всех часах города пробило полночь. Какая неестественная тишина! В этом молчании нет ничего достойного внимания. Вечер прекрасен, хоть и очень холодный: луна на высоком небе ледяным светом освещает самые недоступные улочки старого Парижа. Должно быть, десять часов вечера: колокол аббатства Блэк Фрайерс своими ударами недавно отметил наступление восьми часов. Ветер заставляет мрачно скрипеть железные флюгеры на унылой поверхности крыш домов. Плотный слой облаков покрывает небо.

Капитан, мы держимся на плаву? Нет, наоборот, тонем. Проклятье, скоро «Патна» потонет; прыгай, Лимонадный Джо, прыгай! Разве не отдал бы я бриллиант величиной с орех, лишь бы избавиться от этого страха? Держи круче к ветру, прочнее удерживай штурвал, ставь бизань, брамсель и все что хочешь, нас ждет погибель, внизу дует настоящий ветер!

Я скриплю зубами, и смертельная бледность охватывает мое восковое лицо зеленоватым пламенем.

Как оказался здесь я, человек, ставший воплощением мести? Черти в аду лишь презрительно улыбнулись бы слезам существа, угрожающий голос которого так часто заставлял их дрожать от страха во чреве их огненной бездны.

А, вот и факел.

На сколько ступенек я спустился, чтобы оказаться в этой норе? На семь? На тридцать шесть? Каждый камень, к которому я прикасался, каждый мой шаг таили в себе иероглиф. Когда я его найду, Тайна окажется в моих руках. Затем останется лишь ее расшифровать, а решение станет Ключом к Посланию, которое лишь одному

посвященному, и только ему, сможет ясно поведать, какова же природа Энигмы.

Энигму от ее решения отделяет всего один шаг, и в ее блистательном свете возникает Иерограмма, которая позволяет истолковать вопросительную молитву. После этого всем станет известно об Арканах, вуали, саване, египетском гобелене, за которыми скрывается Пятиконечная Звезда. А отсюда — к свету, чтобы сообщить Пятиконечной Звезде Скрытый Смысл, Каббалистический Вопрос, на который не многие смогут дать ответ, чтобы громогласным голосом объявить о Непостижимом Знаке. Склонившись над ним, Тридцать Шесть Невидимых должны будут дать ответ и пояснить Руны, смысл которых открыт лишь для сынов Гермеса, и только им будет дана Печать Насмешки, Маска, за которой скрывается то, что они хотят обнажить, — Мистический Ребус, Высшая Анаграмма...

— Сатор Арепо! — кричу я голосом, который бы заставил задрожать даже гром.

Отложив в сторону колесо, которое он так уверенно держал своими руками убийцы, Сатор Арепо поспешил предстать предо мной. Я узнаю его, впрочем, я и так подозревал, кто он такой. Это Лучано, калека-экспедитор, которого Неведомые Настоятели назначили исполнителем моей гнусной и кровавой задачи.

— Известно ли тебе, Сатор Арепо, — насмешливо поинтересовался я, — какой окончательный ответ скрыт в Высшей Анаграмме?

— Нет, граф, — неосторожно ответил он, — и я хочу это услышать из твоих уст.

Мои бледные губы искривляются от адского хохота, гулко раздающегося под древними сводами.

— Мечтатель! Только настоящий инициант знает, как этого не знать!

— Да, учитель, — ответил тупой калека-экспедитор. — Как вам будет угодно. Я готов.

Мы в подземных трущобах Клиньянкура. В эту ночь я прежде всего отомщу тебе, первой тебе, которая научила меня благородному ремеслу преступника. Я должен отомстить тебе за то, что притворяешься, будто любишь меня, и что еще хуже — сама веришь в это, и лишенным имен врагам, с которыми ты проведешь ближайший

уикенд. Лучано, ненужный свидетель моих унижений, подставит мне свое плечо — единственное — а затем умрет.

В полу норы устроен люк в подземелье, Резервуар, подземный кишечник, используемый с незапамятных времен для хранения контрабандного товара. Подземелье необыкновенно сырое, поскольку стены его соприкасаются с парижской канализацией, лабиринтом преступного мира, и от этого соседства они источают несказанную вонь; перегородка настолько тонка, что достаточно при помощи Лучано, вернейшего слуги в преступных делах, проделать в стене отверстие, и вода хлынет в подвал, заставив обрушиться и так шатающиеся стены, Резервуар соединится с канализацией, где сейчас плавают толстые гниющие крысы, и тогда темная поверхность подземелья, что сейчас виднеется сквозь люк, станет преддверием ночной гибели: далеко-далеко Сена, затем — море...

Из люка свешивается веревочная лестница, закрепленная за верхний край, на которой, почти касаясь воды, устраивается с ножом Лучано: одна рука его крепко ухватилась за верхнюю перекладину, вторая сжимает огромный нож, а третья готова схватить жертву. «А теперь сиди тихо и жди, — говорю я ему, — увидишь, что будет».

Я убедил тебя убрать всех мужчин со шрамами — пойдем со мной, будь навеки моей, давай избавимся от этих назойливых существ, я хорошо знаю, что ты их не любишь, сама об этом говорила, мы будем только вдвоем, ты и я, да еще подземные течения.

Ты как раз вошла, надменная, словно весталка, скрюченная и сварливая, как ведьма — о, адское видение, ты, от которой содрогается вся моя многовековая утроба и грудь сжимается в тисках желания, о, пленительная мулатка, ведущая меня к гибели. Я разрываю тонкую батистовую сорочку, которая украшала мою грудь, ногтями прорываю в ней кровавые борозды и ощущаю, как страшный жар обжигает мне губы, холодные, словно длань змия. Я не в силах сдержать глухой рев, который поднимается из самых глухих закоулков моей души и прорывается сквозь галерею моих звериных зубов — мое «я», кентавр, изрыгаемый из глубин Тартара — и почти не слышно, как лет саламандра, я же подавляю рев и приближаюсь к тебе с ужасающей улыбкой на лице.

— Дорогая моя София, — говорю я мягко и вкрадчиво, как способен говорить лишь тайный шеф Охранки, — иди сюда, я ждал

тебя, давай вместе скроемся во мраке, — и ты смеешься липким смешком, сморщившись, предвкушая наследство или добычу, рукопись «Протоколов», которую можно будет продать царю... Как хорошо ты умеешь скрывать под этим ангельским личиком свою сатанинскую природу; ты, целомудренно прикрытая андрогинными джинсами, почти прозрачной сорочкой, которая прячет позорную лилию, выжженную на белой коже твоего плеча палачом из Лилля!

Прибыл первый дурак, которого я заманил в эту ловушку. Я с трудом различаю черты его лица, скрытого капюшоном, но он показывает мне знак тамплиеров из Провэнса. Это Соапез, наемный убийца группы из Томара.

— Граф, — говорит он, — долгожданный момент наступил. Слишком долго мы были рассеяны по свету. У вас есть последняя часть послания, у меня — та, которая появилась в самом начале Великой Игры. Но это уже другая история. Давайте объединим наши силы, а остальные... Я завершаю фразу за него:

— ...А остальные пусть идут к чертям. Подойди к центру зала, брат мой, там стоит ларец, а в нем то, что ты ищешь столько веков. Не бойся темноты, она не угрожает, а защищает.

Этот дурачок двигается почти на ощупь. Глухой, едва уловимый звук. Он упал в люк, и Лучано, поймав его у самой воды, вонзает острое ножа, молниеносно подрезает горло, потоки пузырящейся крови вливаются в клокочущую навозную жижу.

Стук в дверь.

— Это ты, Дизраэли? — Да, я, — отвечает незнакомец, в котором мои читатели без труда узнают великого магистра английской группы, находящегося уже на самой вершине власти, но постоянно неудовлетворенного. Он произносит:

— My Lord, it is useless to deny, because it is impossible to conceal, that a great part of Europe is covered with a network of these secret societies, just as the superficies of the earth is now being covered with railroads... [\[123\]](#)

— Ты это уже говорил в Палате Общин 14 июля 1856 года, я все помню. Перейдем, однако, к делу.

Бэконовский еврей цедит сквозь зубы ругательства. Он продолжает:

— Их слишком много. Тридцать Шесть Невидимых превратились уже в триста шестьдесят. Умножь на два — и получишь семьсот двадцать. Вычти сто двадцать лет, по истечении которых открывается дверь, и получишь шестьсот, как во время атаки под Балаклавой.

Чертовски разумный человек, для которого цифры не представляют никакого секрета.

— И что из этого?

— У нас есть золото, а у тебя — карта. Давай объединим наши силы, и мы будем непобедимы.

Жестом, полным величия, я указываю на несуществующий ларец, и ему, ослепленному вожделением, кажется, что он его действительно видит в темноте. Идет, падает.

Зловещий блеск лезвия Лучано, и несмотря на темень, я замечаю, как в застывших зрачках англичанина замерло удивление. Правосудие свершилось.

Жду третьего — предводителя французских розенкрейцеров Монфокона де Вильяра, готового предать тайну общества, о чем я уже предупрежден.

— Я граф де Габалис, — представляется этот фатоватый лжец.

Мне потребовалось немного слов, чтобы направить его шаги навстречу судьбе. Он проваливается, и жаждущий крови Лучано делает свое дело.

Ты улыбаешься мне в темноте, говоришь, что ты — моя, а значит, моя тайна станет твоей. Обольщайся, обольщайся, отвратительная карикатура Шехины. Да, я твой Симон, но подожди, ты еще не знаешь главного. А когда ты это узнаешь, то перестанешь знать.

Что еще добавить? Один за другим появляются остальные.

Отец Бресциани сообщил, что от немецких иллюминатов должна прибыть Бабетта Интерлактен, правнучка Вайсхаупта, великая дева швейцарского коммунизма, которая выросла среди попоек, грабежей и крови, специалист по вытягиванию на свет Божий самых тайных секретов, вскрытию посланий без видимого нарушения печатей, подношению ядов по приказу своей секты.

Входит прекрасный молодой демон преступности, одетая в шубу из меха белого медведя, длинные белокурые волосы струятся из-под дерзкой меховой шапочки, надменный взгляд, на лице — маска презрительности. Я без труда помогаю ей добраться до своей гибели.

О, ирония языка, этого дара, которым природа снабдила нас, чтобы мы могли умалчивать о таинственных извилинах нашей души! Иллюминатка становится жертвой Мрака. Я слышу, как она богохульствует, когда Лучано трижды вращает нож в ее сердце. Deja vu, deja vu...

Очередь Нилуса, который на минуту поверил в то, что будет обладать и царицей, и картой. Ты жаждал Антихриста, подлый, сластолюбивый монах? Он перед тобой, но ты не догадываешься об этом. И я направляю его, слепого, осыпая тысячами мистических иллюзий, к поджидающей его гнусной ловушке. Лучано крест-накрест вспарывает ему грудь, и Нилус погружается в вечный сон.

Я должен преодолеть вековое недоверие к последнему — Мудрецу Сиона, который, как утверждают, является Агасфером, Вечному Жиду, бессмертному, как я. В его слащавой улыбке сквозит недоверие, на бороде еще не высохла кровь нежных христианских созданий, которых он, следуя обычаю, зверски убивает на пражском кладбище. Ему известно, что я Рачковский, одолеть его можно только хитростью. Я даю ему понять, что в ларчике находится не только карта, но еще и необработанные бриллианты, которые нужно украсть. Я знаю, какой властью обладают бриллианты над этой богоубийственной тварью. Он направляется к своему предназначению, подталкиваемый жадностью, и к своему Богу, жестокий и мстительный, богохульствуя в минуту смерти, пронзенный, как Хирам, и трудно ему посылать проклятия — он даже не может произнести имени своего Бога.

Как я был простодушен, полагая, что завершил Великое Дело!

Словно от порыва ветра дверь норы снова распаивается, и появляется фигура с мертвенно-бледным лицом, руками, сложенными на груди, и с бегающим взглядом, человеку этому никогда не скрыть своей природы, поскольку одет он в черные одежды своей черной Братии. Отпрыск Лойолы!

— Кретино! — восклицаю я, введенный в заблуждение.

Он поднимает руку жестом лицемерного благословения.

— Я не есть тот, кто есть, — отвечает он мне с улыбкой, в которой нет ничего человеческого.

И это правда, они всегда прибегали к такой технике. Временами отрицают даже сами перед собой собственное существование, а потом

кричат о могуществе своего ордена, чтобы запугать людей нерадивых.

— Мы всегда не те, какими вы нас себе представляете, сыновья Велиала (говорит сейчас этот оболъститель государей). Но ты, о Сен-Жермен...

— А откуда тебе известно, кто я на самом деле? — спрашиваю я, потрясенный. Он угрожающе осклабился:

— Я знал тебя еще раньше, когда ты всеми силами пытался отдалить меня от смертного одра Постэля, когда под именем аббата Хербли я помог тебе завершить одно из твоих перевоплощений в самом сердце Бастилии (о, я до сих пор ощущаю на лице эту железную маску, на которую обрекла меня Братия при помощи Кольбера!), я знал тебя еще тогда, когда следил, как ты плетешь сети заговора вместе с Хольбахом и Кондорсе...

— Родэн! — словно пораженный молнией воскликнул я.

— Да, Родэн, тайный генерал иезуитов! Тот самый Родэн, которого ты не заманишь в ловушку, как ты это сделал с остальными простофилями. Знай же, о Сен-Жермен, нет на свете таких преступлений и таких губительных ловушек, которых мы не изобрели бы до вас во славу Бога нашего, что оправдывает все средства! А сколько венценосных голов заставили мы пасть в ночь, после которой не наступил рассвет, путем куда более искусного обмана, дабы обрести владычество над миром. А теперь ты хочешь помешать мне, находящемуся в шаге от цели, прибрать к нашим алчным рукам тайну, которая в течение пяти веков движет мировой историей?

Говоря так, Родэн становится ужасен. На лице этого отпрыска Игнатия можно увидеть следы всех кровожадных амбиций, святотатства и мерзостей, которые были присущи папам эпохи Возрождения. Я хорошо вижу: им владеет неудовлетворенная жажда власти, от которой бурлит его зловонная кровь, вгоняя его в пот и распространяя вокруг него тошнотворный запах.

Как нанести удар этому последнему врагу? Внезапно мне на помощь пришла интуиция, которая могла быть наживкой лишь для тех, перед которыми вот уже долгие века человеческая душа обнажена.

— Посмотри на меня, — сказал я. — Я тоже Тигр!

Одним рывком я вытолкнул тебя на середину зала, содрал с тебя сорочку, разорвал плотно облегающую броню, которая скрывала прелести твоего бронзового брюха, теперь ты в бледном свете луны,

проникающем через приоткрытую дверь, выпрямляешься, более красивая, чем змий, соблазвивший Адама, гордая и сладострастная, девственница и проститутка, облаченная лишь в силу своего тела, ибо нагая женщина — вооруженная женщина.

Египетская газовая ткань покрывает твои густые волосы, грудь волнуется под легким муслином. Вокруг маленького лба, выпуклого и упрямого, обвилась золотая змейка с изумрудными глазами, угрожая с твоей головы тройным рубиновым жалом. О, эта твоя туника из черного газа, отсвечивающая серебристыми искорками, стянутая шарфом, расшитым мрачными ирисами, вся в черных жемчужинах! Твой манящий, выступающий лобок — выбритый, чтобы взоры любовников могли наслаждаться наготой, достойной статуи! Твои соски, изнеженные кисточкой невольницы из Малабара, окрашены тем же кармином, который обагрят губы, манящие к себе словно открытая рана!

Родэн тяжело дышит. Длительное воздержание, жизнь, проведенная в мечтаниях о могуществе, умножают охватившую его непреодолимую страсть. При виде этой прекрасной и доступной королевы с черными, как у демона, глазами, округлыми плечами, благоухающими волосами, с белоснежной, нежной кожей Родэна охватило вождление, страстное желание познать неведомые ему доселе ласки, несказанное наслаждение, и он весь внутренне содрогнулся, как леший, подглядывающий за обнаженной нимфой, которая смотрит в воду, куда канул Нарцисс. Стоя напротив света, я представляю себе его безумную гримасу. Родэн напоминает сейчас окаменевшую Медузу, вылепленную в стремлении познать запоздалую мужественность, и теперь, ему на погибель, он весь охвачен пламенем вождления; он натянут, как лук, который должен сломаться от такой силы натяжения.

Вдруг он падает на пол, пресмыкаясь перед этим видением, и вытягивает вперед руку, словно умоляя о капле живительного эликсира.

— О, как ты красива! — хрипит он. — О, эти маленькие зубки молодой волчицы, которые так сверкают, когда ты открываешь твой алый пухлый ротик... О, твои большие изумрудные глаза, которые то искрятся, то изнемогают в истоме. О, демон желаний!

Еще бы, негодяй, ведь теперь она колыхает бедрами, обтянутыми прозрачной синеватой тканью, и выставляет лобок, чтобы довести флиппер до последней стадии безумства.

— О, видение, будь моим, — выкрикивает Родэн, — будь моим хоть на одну секунду и озари этим мигом жизнь, проведенную в служении ревнивому божеству, успокой вспышкой сладострастия вечность в пламени, куда толкает меня один твой вид. Умоляю тебя, прикоснись губами к моему лицу, о моя Антинея, моя Мария Магдалина, ты, которую я желал при виде впадавших в экстаз праведниц, которую я страстно желал, лицемерно восхищаясь ликами девственниц, о моя Богиня, ты красива, как солнце, светла, как луна, и я отрекаюсь от Бога и его святых, от самого Римского Понтифика, и даже более — отрекаюсь от Лойолы и преступной клятвы, связывающей меня с Братством, молю тебя об одном-единственном поцелуе, и пусть после этого я умру!

Он продвинулся еще на один шаг вперед на заскорузлых коленях, с сутаной, задравшейся на бедрах, с рукой, вытянутой к этому недостижимому счастью. Вдруг он упал на спину, и казалось, что глаза вылазят у него из орбит. Ужасные конвульсии исказили его черты — так выглядят лица мертвецов, через которых пропустили разряд электрического тока. На губах появилась синеватая пена, а изо рта вырывалось придушенное, с присвистом дыхание, как при достигшей своей последней стадии водобоязни, потому что в фазе пароксизма эта ужасная болезнь сатириазис, как удачно заметил Шарко, возмездие за развратную жизнь, принимает такие же формы, что и бешенство.

Это конец. Родэна душит беспричинный смех. После чего он замертво валится на пол и превращается в остывающий труп.

В один миг он лишился рассудка и умер проклятым. Я ограничился тем, что подтянул тело к люку, осторожно, чтобы не запачкать свои высокие лакированные остроносые башмаки о грязную сутану последнего врага.

В уносящем жизни ноже Лучано на этот раз нет надобности, но мой опричник уже не способен контролировать свои действия. Он с хохотом протыкает ножом уже бездыханное тело.

Теперь я подвожу тебя к самому краю люка, лаская твою шею и волосы на затылке, и когда ты склоняешься над ямой, чтобы полюбоваться, что там происходит, спрашиваю:

— Ты довольна своим Рокамболом, моя неприступная любовь?

И когда ты сладострастно киваешь мне в ответ и язвительно смеешься, источая слюну, которая капает в бездну, я совсем незаметно сжимаю пальцы, что ты делаешь, любимый, ничего, София, я убиваю тебя, я стал уже Джузеппе Бальзамо, и ты мне больше не нужна.

Испустив дух, любовница Архонтов камнем падает в воду. Лучано ударом ножа подтвердил приговор моих безжалостных рук, и я сказал:

— А теперь можешь выйти оттуда, верный вассал моей проклятой души.

Когда он, поднимаясь, повернулся ко мне спиной, я всадил ему между лопаток тонкий стилет с треугольным лезвием, который не оставляет почти никаких следов. Он сваливается вниз, я закрываю люк и покидаю нору, оставляя за собой восемь трупов, которые одному мне известными каналами плывут по направлению к Шатле.

Я возвращаюсь в свою маленькую комнатку в пригороде Сент-Оноре и смотрю в зеркало. «Вот, — говорю я себе, — я и стал Властелином Мира». Со своей башни я управляю Вселенной. Иногда от осознания своего могущества я испытываю легкое головокружение. Я господин энергии. Я опьянен всевластием.

Увы, жизнь мстит без промедления. Несколько месяцев спустя, в самом глубоком склепе замка в Томаре я, теперь уже безраздельный обладатель тайны подземных течений и господин шести священных мест, давних Тридцати Шести Невидимых, последний из последних тамплиеров и Неведомый Настоятель над всеми Неведомыми Настоятелями, решил сочетаться браком с прекрасной Цецилией, андрогинным существом с ледяным взглядом, от которого меня уже ничто не отделяет. Я нашел ее два века спустя, после того, как у меня ее забрал человек с саксофоном. И вот она уверенно ступает, удерживая равновесие, по спинке скамьи, голубая и белокурая, а мне до сих пор неизвестно, что скрывается у нее под воздушным тюлем. Часовня вырублена в скале, над ее алтарем висит будоражащая картина, на которой представлены мучения грешников в чреве ада. Угрюмые монахи в капюшонах пропускают меня, я пока не чувствую тревоги, очарованный иберийской фантазией...

Но — о ужас! — полотно поднимается, а за ним, за этим прекрасным творением какого-то Арчимбольдо из бандитского притона, расположена еще одна часовня, похожая на ту, где я

нахожусь, и там перед другим алтарем на коленях стоят Цецилия, а около нее — мой лоб покрывается холодным потом, волосы становятся дыбом — что это за человек, выставляющий напоказ свой шрам? Это тот, настоящий Джузеппе Бальзаме, которого кто-то освободил из карцера Сан-Лео!

А я? В эту минуту самый старший из монахов отбрасывает назад свой капюшон, и я узнаю жуткую улыбку Лучано, который неизвестно как спасся от моего стилета, от сточных вод и грязи, перемешанной с кровью; потоки должны были унести этого воскресшего покойника в молчаливую глубь океана, а он стоит передо мной и перешел на сторону врагов из жажды мести.

Монахи сбрасывают свои одежды и предстают передо мной в доспехах и белых мантиях, на которых огнем горят кресты. Это же тамплиеры из Провэнса!

Они хватают меня и заставляют обернуться назад: со спины ко мне приближается палач в сопровождении двух безликих помощников; мою голову засовывают в нечто, похожее на гарроту, и клеймят раскаленным железом, как всех узников — мерзкая улыбка Бафомета навсегда останется у меня на плече; теперь я уже понимаю, что сделано это для того, дабы я занял место Бальзаме в Сан-Лео, иначе говоря, вернулся бы на место, предназначенное мне много веков назад.

«Но ведь они должны узнать меня, — говорю я себе, — и поскольку все полагают, что я — этот заклеенный, то кто-то придет мне на помощь, по крайней мере мои сообщники, — невозможно подменить одного узника другим так, чтобы этого никто не заметил, ведь мы живем не во времена Железной Маски... Иллюзии! Я понимаю это, как только палач наклоняет мою голову над медным тазом, от которого исходят зеленоватые испарения... Купорос!»

Мне завязывают тряпкой глаза и тычут мое лицо в разъедающую жидкость, невыносимая режущая боль; кожа на щеках, на носу, на подбородке стягивается, трескается и облезает за один миг, и когда, потянув за волосы, мою голову приподнимают, лицо оказывается неузнаваемым: табес, оспина, невыразимая пустота, гимн отвращению; и я вернусь обратно в карцер, как возвращается множество беглецов, у которых хватает смелости обезобразить себя, чтобы не быть узнаваемыми.

— А-А-А-А-А-А-А-А! — в бессилии кричу я, и как сказал бы повествователь, с моих губ, сгнивших губ, срывается одноединственное слово, возглас надежды: Избавление!

Но избавление от чего, мой старый Рокамболь, я хорошо знал, что не должен стараться стать героем! Твои ухищрения обернулись возмездием. Ты издевался над писателями, произведения которых были посвящены обману, иллюзиям, а сейчас сам пишешь, используя машину в качестве алиби. Ты обольщаешься, когда слушаешь себя с экрана, и воображаешь, что эти слова принадлежат кому-то другому, думаешь, что остаешься зрителем, а на самом деле попал в ловушку и стараешься оставить хоть какой-то след на песке. Ты осмелился изменить текст романа мира, а роман мира втягивает тебя в свой сюжет, который придумали другие.

Лучше бы ты остался на своих островах, Лимонадный Джо, а она бы считала тебя мертвым.

Национал-социалистическая партия не выносила тайных обществ, поскольку сама была тайным обществом со своим великим магистром, своей расистской гносеологией, своими ритуалами и своими инициациями.

Rene Alleau, Les sources occultes du nazisme, Париж, Grasset, 1969, С.214

Кажется, именно в это период Алье ускользнул из-под нашего контроля. Это выражение употребил Бельбо, произнеся его неестественно равнодушным тоном. Лично я снова приписал это ревности. Влияние Алье на Лоренцу было его навязчивой идеей, с которой он молча боролся, а вслух смеялся над влиянием, которое Алье оказывал на Гарамона.

Возможно, в этом была и наша вина. Алье начал привлекать Гарамона на свою сторону почти год назад, со дня алхимического праздника в Пьемонте. Гарамон доверил ему картотеку ПИССов, чтобы он выловил в ней новые жертвы для увеличения каталога «Изиды без покрывал»; он советовался с ним по каждому вопросу и, несомненно, каждый месяц аккуратно выписывал чек на его имя. Гудрун, которая временами отправлялась в разведывательное путешествие в конец коридора, за стеклянную дверь, ведущую в туманное, непроницаемое королевство «Мануция», доносила нам озабоченным тоном, что Алье практически занял кабинет госпожи Грации, диктовал ей письма, приглашал новых посетителей в кабинет Гарамона, короче говоря — и здесь от волнения Гудрун теряла еще больше гласных, — вел себя, как ее шеф. Нам следовало бы пораньше призадуматься, почему Алье проводит столько времени над списками адресов авторов издательства «Мануций». У него было достаточно времени, чтобы обнаружить новых ПИССов, которые могли бы взяться за написание книг для «Изиды без покрывал». А вместо этого он продолжал писать, разговаривать с людьми, проводить совещания. Но,

по существу, мы сами склонили его к тому, чтобы он вышел из-под нашей опеки.

Бельбо устраивала эта ситуация. Чем больше значил Алье на улице Маркиза Гуальди, тем меньше Алье присутствовал на улице Синчero Ренато, а это означало, что тем менее вероятным было то, что один из неожиданных визитов Лоренцы Пеллегрини — при которых он с каждым разом зажигался все больше и больше, не пытаюсь скрыть своего возбуждения, — может быть прерван неожиданным появлением «Симона».

Такое положение дел устраивало и меня, поскольку я равнодушно относился к «Изиде без покрывал», — меня все больше затягивала история магии. Мне казалось, что у сатанистов я обучился всему, чему мог обучиться, и я отдал в руки Алье все контакты (и договоры) с новыми авторами.

Диоталлеви тоже не имел ничего против в том смысле, что создавалось впечатление, будто жизнь все более теряла для него значение. Когда теперь я все вспоминаю, то осознаю, что мы тогда не замечали, с какой угрожающей быстротой он худел, и не раз приходилось видеть, как он сидел в кабинете, склонившись над какой-то рукописью, вперив взгляд в пустоту; мне казалось тогда, что ручка вот-вот выскользнет у него из рук. Это была не дрема, а крайняя степень истощения.

Однако существовала еще одна причина, по которой нас устраивало, чтобы Алье появлялся у нас все реже и реже, отдавал нам не понравившиеся ему рукописи и затем скрывался в конце коридора. На самом деле нам не хотелось, чтобы он слышал, о чем мы говорим. Если бы нас спросили, почему, мы ответили бы, что из чувства стыдливости или деликатности, ведь мы занимались пародированием метафизики, в которую он так или иначе верил. А, по существу, речь шла о недоверии, постепенно мы обрели естественное самообладание людей, которые осознают, что располагают тайной, и шаг за шагом оттесняли Алье в толпу профанов, поскольку мы все трое медленно и со все уменьшающимся количеством улыбок познавали то, что сами изобрели. Кроме того, как говорил Диоталлеви в редкие моменты хорошего настроения, теперь, когда мы создали настоящего Сен-Жермена, мнимый Сен-Жермен нам не нужен.

Внешне Алье не принимал нашей сдержанности на свой счет. Он весьма вежливо и изысканно приветствовал нас, а затем исчезал. С аристократизмом, граничащим со спесью.

В один из понедельников я довольно-таки поздно появился в издательстве, и ожидавший меня с нетерпением Бельбо попросил зайти к нему, пригласив также и Диоталлеви.

— Важные новости! — заявил он.

Он готов был продолжить, но тут вошла Лоренца. Бельбо разрывался между радостью от ее прихода и нетерпеливым желанием поведать нам о своей находке. Почти тотчас же раздался стук в дверь, и на пороге появился Алье.

— Не хочу вам мешать, прошу вас, сидите. Не имею права прерывать совещание. Хотел бы только предупредить нашу дорогую Лоренцу, что я нахожусь в другом конце коридора, у господина Гарамона. И надеюсь, у меня есть возможность пригласить ее в полдень на рюмку шерри в мой кабинет.

В его кабинет! На этот раз Бельбо вышел из себя. По крайней мере настолько, насколько у него получалось выходить из себя. Дождавшись, когда Алье закрыл за собой дверь, он сквозь зубы процедил:

— *Ma gavte la nata!*

Лоренца, которая все еще махала рукой вслед Алье, с веселым видом поинтересовалась, что это значит.

— Это на туринском диалекте. Означает: «вытащи свою пробку» или, если тебе так больше понравится, «извольте вытащить вашу пробку». Когда имеешь дело с чванливой и высокомерной особой, то предполагается, что ее раздувает от собственной спеси, словно воздушный шар, и что все это самомнение и спесь держат ее тело в надутом состоянии благодаря вставленной в сфинктер пробке, которая обеспечивает все это аэростатическое величие, а значит, предложив собеседнику ее вытащить, вы хотите, чтобы он выпустил из себя воздух, чему нередко сопутствует пронзительный свист и уменьшение внешней оболочки до жалкого состояния истощенного, бескровного призрака былого величия.

— Я не знала, что ты настолько вульгарен!

— Теперь будешь знать!

Разыграв обиду, Лоренца вышла. Я знал, что Бельбо от этого стало только хуже: вспышка гнева успокоила бы его, но демонстрация наигранной обиды заставляла думать, что и проявления страсти у Лоренцы всегда театральны. Наверное, поэтому он почти сразу же решительно произнес:

— Давайте продолжим.

Он хотел сказать, что пора продолжить работу над Планом, взяться за него серьезно.

— Что-то мне не хочется, — признался Диоталлеви. — Я себя неважно чувствую. Болит вот здесь, — он притронулся к животу. — Думаю, у меня гастрит.

— Скажите пожалуйста, — возмутился Бельбо, — а у меня что — не гастрит? От чего у тебя может быть гастрит? От минеральной воды?

— Вполне возможно, — Диоталлеви с трудом выдавил улыбку. — Вчера вечером я поступил неразумно. Я привык к «Фугги», а не удержался и выпил «Сан Пеллегрино».

— Будь осторожен, такие излишества тебя погубят. Однако продолжим: я уже два дня умираю от желания все вам рассказать. Мне наконец стало известно, почему вот уже несколько веков Тридцать Шесть Невидимых не могли определить вид карты. Джон Дии ошибся, и нам необходимо пересмотреть всю географию. Мы живем внутри полый Земли, окруженные земной оболочкой. И Гитлер понимал это.

Нацизм — это период, когда дух магии овладел рычагами материального прогресса. Ленин говорил, что коммунизм — это социализм плюс электрификация. В некотором роде гитлеризм — это обезьянчание плюс танковые дивизии.

Pauwels u Bergier. Le matin des magiciens. Париж, Gallimard, 1960, 2, VII

Бельбо удалось вставить в План даже Гитлера.

— Что написано пером, не вырубишь топором. Доказано, что основатели нацизма были связаны с тевтонским неотамплиерством.

— Это преувеличение.

— Я ничего не выдумываю, Казобон, по крайней мере в этот раз!

— Спокойно, разве мы хоть когда-нибудь что-либо выдумывали? Мы всегда исходили из объективных данных, во всяком случае из общепризнанных фактов.

— Точно так же мы поступим и в этот раз. В 1912 году на свет появился Германенорден, проповедовавший ариософию, то есть философию превосходства арийской расы. В 1918 году некий барон фон Зеботтендорф создает филиал этого движения под названием Туле Гесселльшафт — тайное общество, энную вариацию Строгого Наблюдения Тамплиеров, но с очевидными расистскими, пангерманскими и проарийскими чертами. А в тридцать третьем этот же Зебеттендорф напишет, что именно он посеял зерна, которые затем взрастил Гитлер. Еще одна деталь: свастика появилась как раз в кругах Туле Геселльшафт. И кто же вошел в Туле с момента его основания? Рудольф Гесс, проклятый вдохновитель Гитлера! А за ним Розенберг! И сам Гитлер! Кстати, возможно, вам приходилось читать в газетах о том, что в своей камере в Шпандау Гесс по-прежнему занимался эзотерическими науками. В двадцать четвертом фон Зебопендорф издает брошюру об алхимии, где отмечает, что первые эксперименты по расщеплению атома служат подтверждением истинности Великого Дела. И он пишет роман о розенкрейцерах! Кроме того, возглавляет

астрологический журнал «Astrologische Rundschau», а Тревор-Ропер написал, что нацистские бонзы во главе с Гитлером и пальцем не пошевелят, пока им не составят гороскоп. Похоже, в 1943 году они обратились за помощью к группе медиумов для того, чтобы узнать, где находится арестованный Муссолини. Короче говоря, все нацистская элита была связана с тевтонским неооккультизмом.

Казалось, Бельбо совершенно позабыл о размолвке с Лоренцей, и я помогал ему в этом, подталкивая к продолжению нашего разговора.

— Вообще-то говоря, в этой связи можно подумать о гипнотическом влиянии Гитлера на толпу. Внешне он был плюгавенький, с писклявым голосом, как же ему удавалось доводить всех этих людей до исступления? Похоже, он обладал способностями медиума. Возможно, какой-то местный друид обучил его, как вступать в контакт с подземными течениями. И он стал как бы стержнем, биологическим менгиром. Он передавал энергию течений своим приспешникам, собравшимся на стадионе в Нюрнберге. Некоторое время это ему удавалось, а потом его батареи иссякли.

Всему миру: я заявляю, что Земля внутри полая и пригодна для жизни; она содержит некое число твердых сферических тел, концентрично расположенных, то есть одно тело помещено в другое, и что Земля открыта на обоих полюсах на широте двенадцати или шестнадцати градусов.

Ж. Клев Симмес, пехотный капитан, 10 апреля 1818 года,

цит. в: «Sprague» Кана и Лея, Lands Beyond, Нью-Йорк, Rinehart, 1952, X

— Примите мои комплименты, Казобон: у вас оказалась точная интуиция, хотя вам многое неизвестно. Единственной непреодолимой страстью Гитлера были подземные течения. Гитлер был сторонником теории полой Земли, Hohlweltlehre.

— Дети мои, я ухожу, у меня разыгрался гастрит, — сказал Диоталлеви.

— Подожди, сейчас будет самое главное. Земля внутри полая, мы обитаем не снаружи, не на выпуклой коре, а внутри, на вогнутой ее поверхности. То, что мы считаем небом, представляет собой клубок газа, в котором местами встречаются светящиеся зоны, этот газ наполняет внутреннюю полость земного шара. Все астрономические измерения должны быть пересмотрены согласно этой теории. Небо не бесконечно и обладает своими границами. Солнце, если оно действительно существует, размерами не больше того, что мы видим. Это всего лишь тридцатисантиметровая частичка, находящаяся в центре. Об этом уже подумывали греки.

— Это все ваши выдумки, — устало произнес Диоталлеви.

— Это никак не назовешь моими выдумками! С этой идеей выступил в начале XIX века в Америке некий Симмес. Затем, к концу века она была подхвачена другим американцем, Тидом, который опирался на эксперименты в области алхимии и на книгу Исаяи. А

после первой мировой войны эта теория была усовершенствована одним немцем, имени которого я не могу припомнить, а лишь могу сказать, что он стал создателем движения Hohlweltlehre, которое, о чем говорит само название, отстаивало принцип полого строения Земли. Итак, Гитлер и его приспешники находят, что теория полой Земли полностью соответствует их принципам, говорят, что некоторые снаряды «фау-1» не попадали в цель потому, что их траектория была рассчитана исходя из предпосылки, что Земля имеет вогнутую форму, а не выпуклую. Сам Гитлер полагал, что он является Властелином Мира, а нацистский верховный штаб — это Неведомые Настоятели. А где должен жить Повелитель Мира? Внизу, в подземелье, а не наверху. Исходя именно из этой теории Гитлер решает переиначить порядок научных поисков, концепцию окончательной карты и способ трактовки Маятника! Необходимо заново собрать шесть групп и с самого начала пересмотреть все подсчеты. Давайте рассмотрим принцип гитлеровских завоеваний... Первым из них стал Данциг, который по замыслу должен был предоставить ему контроль над традиционными местами пребывания тевтонской группы. Затем наступает время Парижа и Эйфелевой башни, где с помощью Маятника он вступает в контакт с синархическими группами, и в дальнейшем вводит их в правительство Виши. После этого Гитлер обеспечивает себе нейтральность, а по сути, союзничает с португальской группой. Четвертая цель очевидна — Англия, однако нам известно, что здесь не все было так просто. Параллельно он развязывает войну в Африке, желая достичь Палестины, но и в этом случае его ждет поражение. Тогда, завоевав Балканы и Россию, он добивается подчинения себе павликианских территорий. Когда ему кажется, что у него в руках находятся четыре шестых части Плана, он направляет Гесса с тайной миссией в Англию с предложением о перемирии. И поскольку последователи Бэкона не позволяют поймать себя на крючок, на Гитлера снисходит «озарение»: теми, кто обладает наиболее значительной частью тайны, могут быть лишь извечные враги, евреи. И нет необходимости отправляться на их поиски в Иерусалим, где их осталось не так уж много. Фрагмент послания иерусалимской группы находится вовсе не в Палестине, а в руках одной из групп еврейской диаспоры. Все это и объясняет Великое Жертвоприношение.

— В каком смысле?

— Задумайтесь на минуту. Представьте себе, что вы хотите совершить акт геноцида...

— Прошу тебя, — взмолился Диоталлеви, — это уже чересчур, у меня болит желудок, я ухожу.

— Подожди, ради Бога, когда мы говорили о том, как тамплиеры потрошили сарацинов, тебе это было интересно, потому что с тех пор прошло немало времени; а теперь тебя одолевает морализм маленького интеллигентишки. Мы как раз стараемся пересмотреть основные пункты Истории, и ничто не должно нас пугать!

Мы почувствовали себя в плену его энергии и позволили ему продолжать.

— В геноциде евреев особенно поражает медлительность в использовании метода: поначалу их держат голодными в лагерях, затем раздевают донага, затем душ, после чего длительное старательное хранение гор трупов, передача в архив одежды, списывание личных вещей... Этот метод не был бы рациональным, если бы речь шла только об убийстве. Рациональным он становится лишь тогда, когда речь идет о поиске, о поиске текста, который один из миллионов людей, представитель иерусалимской группы Тридцати Шести Невидимых, хранил где-нибудь в одежде, во рту, вытатуированным на коже... Только поисками Плана можно объяснить непонятную бюрократию геноцида! Гитлер ищет у евреев отправную мысль, благодаря которой с помощью Маятника он мог бы обнаружить точку, где под вогнутым сводом полый Земли пересекаются подземные течения, которые именно в этой точке, заметьте, как совершенна эта концепция, переходят в небесные течения, а это уже материализация, если можно так сказать, тысячелетних предположений герметистов через теорию полый Земли: то, что под, соответствует тому, что над! Тайнственный Полюс совпадает с Сердцем Земли, тайный замысел небесных тел — это то же, что и тайный замысел жителей подземной Агарты, между небом и адом больше не существует никакой разницы, а Грааль, *lapis ex illis*, превращается в *lapis ex coelis* в том смысле, что становится философским Камнем, который представляет собой оболочку, предел, границу, хтоническую матку небес! Гитлер полагал, что когда ему удастся найти эту точку в пустом центре Земли, который совпадает с центром неба, он станет властелином мира, Королем которого он себя считал по праву расовой принадлежности. Вот

почему до самого последнего момента в глубине своего бункера, он надеялся отыскать Таинственный Полюс.

— Довольно! — заявил Диоталлеви. — Теперь мне действительно совсем плохо. У меня сильные боли.

— Ему действительно плохо, и не из-за идеологической полемики, — поддержал я его.

Кажется, до Бельбо это дошло только теперь. Он вскочил с места и бросился на помощь другу, который держался за край стола и, казалось, вот-вот потеряет сознание.

— Прости, старина, я, кажется, увлекся. Надеюсь, тебе стало плохо не от моего рассказа? Разве мы не обмениваемся такими анекдотами вот уже двадцать лет? Однако я вижу, тебе действительно плохо, может, это на самом деле гастрит? В таком случае достаточно одной таблетки гастрофарма. И грелка. Пошли, я помогу тебе добраться домой, и лучше всего вызвать врача. Береженного Бог бережет.

Диоталлеви заверил, что может добраться домой сам, на такси, и что он еще не при смерти. Ему необходимо было полежать. Да, он обещал сразу же вызвать врача. И вовсе не рассказ Бельбо довел его до такого состояния — еще вчера вечером он чувствовал себя очень неважно. От последних слов Бельбо, кажется, стало легче, и он проводил Диоталлеви до такси.

Вернулся он с озабоченным видом.

— Я только теперь задумался над тем, что вот уже несколько недель у этого парня скверный вид. Круги под глазами... Но, Боже, я уже десять лет назад должен был умереть от цирроза, но со мной ничего, а он живет как аскет, и у него гастрит, а может, еще что похуже; думаю, что это язва. К черту План. Мы все живем ненормальной жизнью.

— Полагаю, боль прекратится после таблетки гастрофарма.

— Я тоже так думаю. Но лучше, чтобы он к животу приложил грелку. Будем надеяться на его благоразумие.

Qui operatur in Cabala... si errabit in opere aut non purificatus accesserit, deurabitur ab Azazale.

Pico della Mirandola. Conclusiones Magicae

В конце ноября у Диоталлеви был приступ. На следующий день мы надеялись увидеть его на работе, но он позвонил и сказал, что его забирают в больницу. Доктор нашел, что симптомы его болезни не внушают опасений, но все же лучше провести обследование.

Мы с Бельбо связывали его болезнь с Планом, работа над которым зашла слишком далеко. Намеками мы убеждали друг друга, что подобная причина бессмысленна, но все равно не могли избавиться от чувства вины. Во второй раз мы с Бельбо оказались союзниками: однажды мы солидарно молчали (не отвечая на вопросы Де Анжелиса), а сейчас вместе говорили слишком много. Было глупо считать себя виновными в случившемся — тогда мы еще были в этом уверены, — но все же нам было как-то не по себе. Так, в течение месяца, а может и больше, мы не говорили о Плате.

Две недели спустя появился Диоталлеви и небрежным тоном заявил, что попросил у Гарамона отпуск для оздоровления. Ему предложили лечение, но он не очень распространялся по этому поводу, сказал только, что раз в два-три дня должен появляться в клинике и что после курса лечения, по его мнению, он немного ослабел. Не знаю, можно ли было ослабеть еще больше: лицо его теперь было того же цвета, что и волосы.

— И заканчивайте с этим делом, — добавил он. — Как видите, оно вредит здоровью. Это месь розенкрейцеров.

— Не беспокойся, — ответил, улыбаясь, Бельбо, — мы так надерем задницу твоим розенкрейцерам, что они оставят тебя в покое. Достаточно одного щелчка пальцами.

Лечение Диоталлеви продлилось до начала следующего года. А я погрузился в историю магии — настоящей, серьезной, а не такой, как наша, думал я. Гарамон как минимум раз в день появлялся на нашей территории и справлялся о Диоталлеви.

«Прошу вас, господа, сообщайте обо всем, что необходимо: лично я и все наше издательство постараемся сделать все возможное для нашего драгоценного друга. Для меня он как сын, даже более — как брат. Во всяком случае, слава Богу, мы живем в цивилизованной стране и, что бы там ни говорили, у нас превосходная социальная защита».

Алье проявил большую заботу: спросил у нас название клиники и перезвонил доктору, своему близкому другу (а кроме того, сказал он, брату одного ПИССа, с которым он поддерживает весьма сердечные отношения). Лечению Диоталлеви будут уделять особое внимание.

Лоренца тоже была обеспокоена. Она почти каждый день заходила в издательство Гарамона и интересовалась новостями. Прежде это сделало бы Бельбо счастливым, а теперь стало причиной весьма мрачного заключения. Бывая здесь, Лоренца ускользала от него, поскольку приходила не к нему.

Незадолго до Рождества я услышал обрывок разговора. Говорила Лоренца: «Вот увидишь, там прекрасный снег, и у них очень уютные комнатки. Ты сможешь покататься на лыжах. Ну?» Из этого я сделал вывод, что они собираются вместе встретить Новый год. Но на следующий день после праздника святой Епифании Лоренца появилась в коридоре издательства и Бельбо сказал ей: «С Новым годом!», а когда она попыталась его поцеловать, он увернулся.

Выйдя отсюда, мы добрались до страны, название которой Милестр... где, говорят, обитал один по имени Старец с Гор... И приказал он возвести на самых высоких горах, окружавших равнину, высокую и толстую стену окружностью в XXX миль, а вход образовывали двое оккультных врат, которые были прорублены в каменной горе.

Odorico da Pordenone. De rebus incognitis, Impressus Esauri, 1513, разд.21, с.15

Однажды, в конце января я шел по улице Маркиза Гуальди и увидел, что из издательства «Мануций» выходит Салон.

— Я пришел поболтать со своим другом Алье, — объяснил он мне.

С другом? Насколько мне помнится праздник в Пьемонте, Алье отзывался о нем далеко не по-дружески. Что же это могло означать — желание Салона сунуть свой нос в дела «Мануция» или же Алье использовал его Бог знает для какой связи?

Он не дал мне времени на размышление, предложив вместе выпить аперитив, и мы оказались у Пилада. Прежде мне никогда не приходилось его видеть в этих краях, однако он приветствовал старика Пилада так, словно они были давними знакомыми. Мы присели за столик, и он поинтересовался, как у меня дела с историей магии. Он и об этом знал! Я попытался выяснить, что ему известно о полрой Земле и об этом Зеботтендорфе, которого цитировал Бельбо. Он рассмеялся:

— Да, верно, что среди ваших посетителей есть немало сумасшедших. Об этой истории с полрой Землей я ничего не знаю. Что же касается Зеботтендорфа, то это был престранный тип... Он осмелился вдолбить в голову Гиммлеру и его компании самоубийственные для немецкого народа идеи.

— И что это были за идеи?

— Восточные сказки. Этот человек держался подальше от евреев и просто обожал арабов и турок. А известно ли вам, что на столе

Гиммлера кроме «Mein Kampf» постоянно лежал Коран? В молодости Зеботтендорф увлекся какой-то турецкой инициатической сектой и принялся изучать исламскую гносеологию. Произносил «Фюрер», а думал при этом о Старце с Гор. А когда они все вместе создали СС, то думали об организации, которая полностью походила бы на ассасинов... Подумайте, почему во время первой мировой войны Германия и Турция заключили между собой союз...

— Но откуда все это известно вам?

— Кажется, я вам уже говорил, что мой бедный папочка работал на Охранку. Так вот, помню, в то время царская полиция была весьма обеспокоена деятельностью ассасинов, и первый сигнал подал Рачковский... Затем их оставили в покое, поскольку ассасины не были евреями, которые представляли собой главную опасность. Евреи вернулись в Палестину и заставили остальных выбраться из пещер. Однако история, о которой мы говорим, достаточно туманна, так что давайте поставим на этом точку.

Он сделал вид, словно жалеет о том, что сказал уже слишком много. Однако здесь произошла еще одна странная вещь, После всего того, что случилось, теперь я совершенно уверен, что это мне не привиделось, но тогда, глядя округлившимися глазами на то, как Салон, выйдя из бара, встретился на углу улицы с человеком явно восточного типа, я подумал, что у меня начались галлюцинации.

Как бы там ни было, Салон рассказал мне достаточно много, чтобы возбудить мое воображение. Старец с Гор и ассасины не были для меня неизвестными, в своей диссертации я даже однажды посвятил им несколько слов, приписывая тамплиерам связь с ними. Как мы могли об этом забыть?

Таким образом, я снова заставил работать свой мозг, а еще больше — пальцы, перебирая карточки со старыми записями, и меня озарила такая мысль, что я уже не мог сдерживаться.

Утром я ворвался в кабинет Бельбо.

— Они во всем ошибались! И мы во всем ошибались!

— Спокойнее, Казобон, Кто? О, Боже мой, вы опять о Плане! — Он секунду в нерешительности помолчал. — Знаете, у меня неприятные новости о Диоталлеви. Сам он ничего не говорил, и тогда я позвонил в клинику, но там мне кроме общих фраз не захотели ничего сказать, потому что я не его родственник, а у него нет

родственников, кто же тогда о нем побеспокоится? Мне не понравились их недомолвки. Они сказали, что это что-то не представляющее особой опасности, однако терапевтического лечения недостаточно и лучше поместить его в больницу на какой-то месяц для хирургического вмешательства... Короче, они не хотят говорить все как есть, и эта история все больше начинает мне не нравиться.

Я не знал, что сказать в ответ, и принялся что-то листать, дабы отвлечь Бельбо от цели своего триумфального появления. Но он не выдержал первым. Был похож на азартного игрока, неожиданно увидевшего колоду карт.

— К черту! — воскликнул он. — К сожалению, жизнь продолжается. Говорите, что там у вас?

— Они ошибались. И мы ошибались во всем или почти во всем. Так вот: Гитлер действительно делал то, что делал, с евреями, однако потерпел в этом полный провал. В течение долгих веков почти во всем мире оккультисты изучали древнееврейский язык, пытались использовать знания, полученные в каббалистике, и максимум, что они могли вынести из этого — какой-то гороскоп. А почему?

— Ну... Потому что иерусалимская рукопись до сих пор где-то укрыта от посторонних глаз. Кроме того, насколько нам известно, никто не видел часть послания, находящуюся у павликиан...

— Такой ответ больше подошел бы Алье, но не нам. У меня есть кое-что получше. Евреи во всей этой истории ни при чем.

— В каком смысле?

— Евреи не имеют никакого отношения к Плану. И не могли иметь. Давайте попытаемся представить себе положение, в котором находились тамплиеры сначала в Иерусалиме, а затем в европейских командориях. Французские рыцари встречаются с рыцарями немецкими, португальскими, испанскими, итальянскими, английскими, и вместе они ведут дела с византийцами, особенно со своими противниками — турками. С этими противниками они не только сражаются, но, как мы уже это видели, ведут переговоры. Речь шла о вооруженных силах, разговоры велись между дворянами на основе равенства. А кем были палестинские евреи в то время? Религиозным, этническим и расовым меньшинством, к которому толерантно, со снисходительным уважением относились арабы и с которым весьма скверно обращались христиане: не следует забывать,

что во время различных крестовых походов они по пути не раз сгоняли их в гетто, где происходила резня. Так можно ли предположить, что тамплиеры могли обмениваться тайной информацией с евреями, которых они на дух не переносили? Никогда в жизни! А в европейских командориях евреи занимались в основном ростовщичеством; их считали людьми подлого сословия, с которых можно драть шкуру и которым не следует доверять. Неужели, говоря об отношениях между рыцарями, думая о плане, составленном в рыцарском духе, можно себе представить, что тамплиеры из Провэна связывали его осуществление с гражданами второго сорта? Никогда в жизни!

— Однако как тогда быть с магией эпохи Возрождения, с магией, которая придавала такое большое значение изучению Каббалы?..

— Волей случая мы приближаемся к третьей встрече, царит нетерпение, все ищут кратчайший путь, древнееврейский казался священным и таинственным языком, каббалисты занимаются своими делами, и у них другие цели, а тридцать шесть, разбросанные по всему миру, решают, что непонятный язык может хранить Бог знает какие тайны. Именно Пико делла Мирандола провозгласил: *nullanomina, ut significativa et in quantum nomina sunt, in magico opere virtutem habere non possunt, nisi sint Hebraica*. И что из этого? Пико делла Мирандола был кретином.

— Это еще неизвестно!

— Кроме того, его не допускали к участию в Плате, поскольку он был итальянцем. Что он мог знать? Еще хуже обстоят дела у таких, как Агриппа, Рейхлин, и у всей этой отвратительной компании, которая сразу же бросилась по ложному пути. Я лишь восстанавливаю историю этого ложного пути, ясно? Мы позволили себе поддаться влиянию Диоталлеви, который втянул нас в каббалистические сети. Он играл Каббалой, а мы вставили в План евреев. А если бы Диоталлеви был так же увлечен китайской культурой, неужели мы вставили бы в План китайцев?

— Возможно.

— А я думаю, что нет. Но незачем рвать на себе волосы, мы попали в ловушку, так же как и все остальные. Ошибка, возможно, была допущена еще во времена Постеля, Через двести лет после Провэна они узнали, что шестая группа находится в Иерусалиме. А это не так.

— Но, простите, Казобон, мы сами пересмотрели версию Арденти и решили, что встреча на камне должна была состояться не в Стоунхендже, а в мечети Омара.

— И мы ошиблись. Существует еще немало камней. Нужно подумать о каком-то городе, заложенном на камне, на вершине горы, на скале, на утесе, где-то над бездной... Шестая группа ждет своего часа в Аламутской крепости.

И явился Каирос со скипетром в руке, означавшим царственность, и передал его первому созданному богу, и взял тот его и сказал: «Твое тайное имя будет из 36 букв».

Hasan-i Sabbah, Sargozast-i Sayyid-na

Закончив таким образом свое бравурное выступление, я должен был дать пояснения. И я делал это в течение нескольких последующих дней, объясняя долго, детально и при помощи документов, выкладывая за столиком у Пилада одно доказательство за другим, Бельбо следил за ходом моей мысли со все более туманящимся взглядом, прикуривая одну сигарету за другой и каждые пять минут отставляя очередной стакан, в котором не оставалось ничего, кроме нескольких кубиков льда, и Пилад спешил его наполнить.

Первыми источниками были те, в которых появились первые упоминания о тамплиерах — от Жерара Страсбургского до Жуанвиля. Тамплиеры входили в контакты, иногда в конфликты, а чаще всего — в тайные перемирия с ассасинами Старца с Гор.

Эта история действительно выглядит совсем непросто. Начинается она после смерти Магомета, когда произошел раскол между суннитами — приверженцами обычной трактовки законов — и сторонниками Али, зятя Пророка и мужа Фатимы, который увидел, что он лишается главного наследства. Именно группа учеников Али, которые признавали *shi'a*, образовали крыло исламских еретиков, шиитов. Эта инициатическая доктрина видела постоянство откровения не в обычной медитации над словами Пророка, а в самой личности Имама, властелина, главы, богоявления, Царя Мира.

Итак, что же произошло с этим еретическим крылом ислама, которое было наиболее подвержено влиянию эзотерических доктрин средиземноморского бассейна, от манихеев до гностиков, от последователей неоплатонизма до последователей иранской мистики, и всех прочих течений, за историей развития которых на Западе мы следили долгие годы? Это была длинная история, и нам не удалось в

ней разобраться, тем более что различные авторы и арабские протагонисты имели необычайно длинные имена, а для транскрипции наиболее серьезных текстов использовали диакритические знаки; и поздним вечером мы уже не могли увидеть разницу между именами Абу 'Абди'л-ла Мухаммад б. 'Али ибн Раззам ат-Та'и аль-Куфи. Абу Мухаммад 'Убайяду'л-лах. Абу Му'ини'д-Дин Насир ибн Хосров Марвази Кобадияни (думаю, что для арабов столь же сложно постичь разницу между Аристотелем, Аристоксеном, Аристархом, Аристидом, Анаксимандром, Анаксименом, Анаксагором, Анакреонтом и Анахарсисом).

Одно не вызывало сомнений. Шиизм раскололся на два течения: одно, называемое двухдесятичным, которое ожидает прихода своего Имама, и другое — исмаилиты, которое зарождается в королевстве фатимидов в Каире, а позже, после различных перипетий, утверждается как реформированный исмаилизм в Персии благодаря действиям такого привлекательного, таинственного и беспощадного человека, как Хасан Саббах. Именно на юго-востоке от Каспийского моря, в Аламутской крепости, Орлином Гнезде Хасан основывает свой первый центр и устанавливает свой непоколебимый трон.

Именно там Хасан окружает себя своими единомышленниками или федаинами, до смерти преданными ему, которых он использовал для политических убийств как орудие *ghihad haḥī* — тайной священной войны. Федаины, или как их там называли, впоследствии стали печально известны под названием ассасинов, сегодня не вызывающим положительных эмоций, но тогда оно звучало великолепно и было эмблемой целой плеяды монахов-воителей, во многом напоминавших тамплиеров, готовых умереть за свою веру. Духовное рыцарство.

Аламутская крепость и одновременно замок — это Камень. Она построена на высокогорном гребне длиной в четыреста метров и шириной в несколько шагов, максимум тридцать; человеку, приближающемуся к ней по Азербайджанской дороге, она казалась естественной горной стеной, ослепительно белой при палящем солнце, лазурной при пурпурном закате, бледной на рассвете и кроваво-красной при восходе солнца, а в некоторые дни она как бы растворялась в облаках или же сверкала молниями. По верхним краям стен можно было с трудом различить едва уловимые очертания искусственно созданных четырехугольных башен, которые снизу

казались обломками скал, устремившихся ввысь на сотни метров и угрожающе нависавших над дорогой; наиболее доступный склон представлял собой осыпь камней, на которую до сих пор не могут подняться археологи. В те времена попасть на гору можно было только по скрытой крутой лестнице, вырубленной в скале так, как вырезают мякоть червивого яблока, для защиты которой достаточно было одного-единственного лучника. Непрístupная, головокружительно устремленная к Миру Иному крепость Аламут, гнездо ассасинов. Туда можно было добраться лишь верхом на орле.

Именно там царствовал Хасан, а после него те, кого именуют Старцами с Гор, и первым среди них был его мрачный преемник Шинан.

Хасан изобрел свой способ безраздельного господства как над своими людьми, так и над противником. Врагам он объяснял, что если они не подчинятся его воле, то будут убиты. А от ассасинов невозможно было скрыться. В период, когда крестоносцы еще сражались за обладание Иерусалимом, первый везирь султана Низам-аль-Мульк был убит наемником, вонзившим в него кинжал, когда султана в паланкине несли к женам. Убийца был переодет в дервиша. Атабек Химс при выходе из своего замка для пятничной молитвы был окружен вооруженными до зубов охранниками, но все же его убили наемники Старца.

Шинан решает убить христианина, маркиза Конрада Монферратского, и приказывает двум своим людям затесаться среди неверных, научиться их языку и перенять их обычаи, загодя пройдя нелегкую подготовку. Во время торжественного богослужения, проводимого епископом Тирским в честь ничего не подозревающего маркиза, они, переодевшись монахами, набросились на Конрада и ранили его. Одного из ассасинов тут же прикончили телохранители, а второй укрылся в церкви, дождался, когда туда внесут раненого, завершил свое грязное дело и тут же скончался с ощущением полного блаженства.

Как утверждали арабские историки, принадлежавшие к сунне, а затем христианские летописцы от Одерика Порденонского до Марко Поло, Старец изобрел ужасный способ превращать своих самых верных людей в непобедимые боевые механизмы, преданные ему до последнего вздоха. Усыпленных молодых людей приносили на

вершину горы, где доводили до изнеможения, подсовывая вино, женщин, цветы, устраивали безумные пиры, окуривали гашишем, от которого происходит название секты. И когда они больше не могли обходиться без блаженства этого искусственно созданного подобия Рая, их во время сна выносили из крепости и ставили перед альтернативой: иди и убей, и тогда Рай, который ты только что покинул, будет навсегда твоим; если же ты этого не сделаешь, то навсегда возвратишься в геену обычной жизни.

И они, окуренные наркотиками, убийцы, обреченные на смерть, подчинялись его воле, приносили себя в жертву.

Как их боялись, чего только не рассказывали о них крестоносцы безлунными ночами при свисте самума! Как восхищались тамплиеры этими зверьми, поработанными желанием страдать, они готовы были широко раскрыть для ассасинов свои кошель, а требовали взамен лишь символическую дань, следуя игре взаимных уступок, братства по оружию, вспарывая друг другу животы на полях сражений, а после предаваясь дружеским беседам, в которых делились своими мистическими видениями, магическими формулами и тонкостями алхимии...

От ассасинов тамплиеры переняли тайные обряды. И только трусливая тупость не позволяла королевским бальи и инквизиторам короля Филиппа понять, что плевок на крест, поцелуй в зад, черный кот и поклонение Бафомету были не чем иным как подражанием другим обрядам, которые исполняли тамплиеры под влиянием гашиша, первого таинства, которое они познали на Востоке.

Итак, становится ясно, что План зародился и должен был зародиться только там: от людей из Аламута тамплиеры узнали о подземных течениях, с людьми из Аламута они встретились в Провэне и организовали тайный заговор Тридцати Шести Невидимых; именно поэтому Христиан Розенкрейц предпринял путешествие в Фес и по другим местам Востока, поэтому к Востоку обратился Постэль, именно поэтому у Востока, у Египта, страны исмаилитов-фатимидов, маги Возрождения заимствовали имена божеств, включенных в План, — Гермеса, Гермеса-Тота или Тота, и мошенник-Калиостро создавал свои обряды на манер египетских. А иезуиты, эти иезуиты, оказались не столь глупы, как мы предполагали, во главе с Кирхером сразу же набросились на изучение иероглифов, коптского и других

восточных языков, а древнееврейский был только прикрытием и данью моде того времени.

Эти тексты не предназначены для простых смертных... Гностическое восприятие — это путь лишь для избранных... Поскольку в Библии сказано: не мечите бисер перед свиньями.

Kamal Jumblatt. Интервью в Le Lug, 31.3.1967

Arcana publicata vilescunt: et gratiam prophanata amittunt. Ergo: ne margaritas obijce porcis, sou asinus substerne rosas.

Johann Valentin Andreae. Die Chymische Hochxit des Christian Rosencreuli,

Страсбург, Zetzner, 1616, фронтиспис

Где же искать того, кто смог бы ждать на камне в течение шести веков и кого надо было ждать на камне? Конечно, Аламут в конце концов пал во времена монгольского нашествия, но секта исмаилитов продолжала свое существование на всем пространстве Востока: с одной стороны, они смешались с нешиитским суфизмом, с другой — породили ужасную секту друзов, а с третьей — уцелели вместе с индийскими хаджами, сторонниками Ага Хана, пребывавшими невдалеке от того места, где находится Агарта.

Однако мне удалось обнаружить еще одну прелюбопытную вещь. В эпоху правления династии Фатимидов понятия древних египтян о герметизме были как бы открыты заново благодаря академии Гелиополиса в Каире, где был воздвигнут Дом Наук. Дом Наук! Так что же вдохновило Бэкона на создание его Дома Соломона, который должен был стать моделью для Консерватория?

— Да, это верно, верно, больше нет никаких сомнений, — промолвил совершенно опьяневший Бельбо. И вдруг встрепенулся. — А что же каббалисты?

— Это всего лишь параллельная, никак не пересекающаяся с первой история. Иерусалимские раввины почувствовали, что между тамплиерами и ассасинами что-то происходит, и испанские раввины, которые кружили по Европе и делали вид, что хотят одалживать под проценты деньги разным командориям, тоже что-то пронюхали. Они не были посвящены в тайну и, решив сохранить национальное достоинство, собрались разгадать ее собственными силами. Как это: мы, Богоизбранный Народ, и не ведаем Тайны Тайн? И трах-бах, зарождается традиция каббализма, самоотверженная попытка представителей всех существующих на свете диаспор жить и действовать так, словно им все известно и они господствуют над всеми.

— Однако, поступая так, они заставили христиан поверить в то, что им действительно все известно.

— И в определенный момент кто-то допускает грубейшую ошибку. Путаает Исмаил с Израилем!

— В таком случае Баррюэль, «Протоколы» и все остальное — не что иное, как результат путаницы в согласных.

— Шесть миллионов евреев убито по вине Пико делла Мирандолы.

— Или же, возможно, существует другая причина. Богоизбранный народ занялся толкование Книги. И тем самым распространил некую навязчивую идею. А остальные, не найдя ничего в Книге, решили отомстить. Люди опасаются тех, кто ставит их лицом к лицу с Законом. Но почему же ассасины не дали знать о себе раньше?

— Да что вы, Бельбо! Представьте себе, насколько был опустошен этот регион со времен Лепантского сражения. Ваш Зебботендорф хорошо понимает, что надо что-то искать среди турецких дервишей, однако к этому времени Аламут больше не существует, а дервиши укрылись неведь где. Они выжидают. И вот их час пробил, они поднимают голову в период исламского ирредентизма. Вставив в План Гитлера, мы отыскали одну из достоверных причин второй мировой войны. А сделав действующими лицами Плана Аламутских ассасинов, бросаем луч света на все, что произошло за этот период в районе между Средиземным морем и Персидским заливом. И именно здесь может существовать ТРИС, Тамплиеры-рыцари Интернациональной Синархии, общество, целью которого может быть восстановление

ранее утраченных контактов между духовным рыцарством различных вероисповеданий.

— Или же оно разжигает конфликты, дабы все это заблокировать и самому половить рыбку в мутной воде. Это ясно. Итак, мы приблизились к концу нашей работы по исправлению Истории. Неужели в момент высшей истины Маятник укажет на то, что Центр Мира находится в Аламуте?

— Это было бы преувеличением. Лично я предпочитаю этот последний пункт оставить в подвешенном состоянии.

— Подвешенным, как Маятник.

— Если вам так нравится. Нельзя во всеуслышанье заявлять о том, что нам может взбрести в голову.

— Конечно, конечно. Достоверность прежде всего.

В это вечер только я мог гордиться тем, что мне удалось придумать красивую историю. Я сравнивал себя с эстетом, использовавшим плоть и кровь окружающего мира для создания Прекрасного. С этого момента Бельбо был лишь моим адептом. Как все, не потому, что был просвещен, а *faute demieux*.

Claudicat ingenium, delirat lingua, labat mens.

Lucretius. De rerum natura, III, 453

Возможно, именно в эти дни Бельбо попытался разобраться во всем, что с ним произошло. Однако беспощадность самоанализа не смогла отвести от него зло, которое стало уже привычным,

Имя файла: А если бы?

Придумывать План: План оправдывает твое существование настолько, что перестаешь чувствовать собственную ответственность даже за сам План. Достаточно бросить камень и спрятать руку за спину. Если бы действительно существовал План, не было бы неудач.

Цецилия так и не досталась тебе, потому что архонтам было угодно, чтобы Аннибале Канталамесса и Пио Бо не справились с самым симпатичным из духовых инструментов. Ты убежал от банды с Канальчика, потому что деканы хотели тебя сохранить для другого искупительного жертвоприношения. А человек со шрамом обладает более могущественным талисманом, чем твой.

План и виновник. Некое подобие мечты. *An Deus sit*. Если так, то из-за него.

Вещью, адрес которой я потерял, есть не Конец, а Начало. Это не объект, которым обладаю я, а субъект, который обладает мной. Общая боль, половинчатая радость, о чем еще говорит Миф? Двойной восьмисложный стих.

Чья это была мысль, самая успокаивающая из когда-либо существовавших? Ничто не сможет разубедить меня в том, что мир — это порождение мрачного бога, а я — продолжение тени этого бога. Вера ведет к Абсолютному Оптимизму.

Да, верно, я прелюбодействовал (или не прелюбодействовал), но это Бог не сумел решить вопрос Зла. Ну-же, давайте растолчем плод в ступе с медом и перцем. Так угодно Богу.

Если уж надо верить, то пусть это будет религия, которая не внушает тебе чувства вины. Какая-то неизвестная религия, окутанная дымкой, подземная, не имеющая конца. Как роман, а не как теология.

Пять путей и одна-единственная цель. Какое расточительство! Лабиринт, наоборот, ведет куда угодно и никуда. Чтобы красиво умереть, нужно роскошно жить.

Один лишь злой Демиург может вызвать в нас ощущение того, что мы сами хороши. А что если космического Плана нет? Какой фарс жить в изгнании, хотя никто тебя не изгонял! И быть в изгнании в несуществующем месте.

А что если План действительно существует, но тебе никогда не суждено его разгадать?

Когда религия бессильна, помогает искусство. Его придумывает План, метафора непознаваемого. Даже заговор, составленный людьми, может заполнить пустоту. Они не издали «Сердце и страсть», потому что я не принадлежу к тамплиерской клике.

Жить так, как будто План существует — вот камень философов. If you cannot beat them, join them. ^[124] Если План существует, достаточно к нему присоединиться...

Лоренца испытывает меня. Смирение. Если бы у меня хватило смирения воззвать к ангелам, даже не веря в них, и начертать подходящий круг, моя душа была бы спокойна. Может быть.

Поверь, что тайна существует, и ты почувствуешь себя посвященным. Это ничего не стоит.

Создать огромную надежду, которую невозможно будет искоренить, потому что у нее нет корней. Несуществующие предки никогда не придут к тебе сказать, что ты их предал. Религия, которую можно наблюдать, бесконечно ей изменяя.

Как Андреаз: придумать ради забавы, будто ты сделал величайшее в истории открытие, а когда остальные начнут ломать над этим голову, поклясться остатком жизни, что ты здесь не при чем.

Создать истину с размытыми очертаниями: как только кто-то попытается дать ей точное определение, изгнать его. Оправдывать лишь тех, кто высказывается еще более туманно, чем ты. *Jamais d'ennemis a droite.*

К чему писать книги? Лучше переписать Историю, которая впоследствии станет реальностью.

Почему бы вам не перенестись в Данию, господин Вильям Ш.? Лимонадный Джо, Иоганн Валентин Андреаз, Люкматье изборозил Зондский архипелаг между Патмосом и Авалоном, от Белой Горы до Минданао, от Атлантиды до Фессалоник... Никейский собор, Ориген отрезает себе яйца и показывает их, окровавленные, отцам Города Солнца, скрипевшему зубами Хираму, который грызет filioque, filioque, в то время как Константин вонзает свои хищные когти в пустые орбиты Роберта Фладда, смерть, смерть евреям в Антиохийском гетто, Dieu et mon droit, реет хоругвь, к черту офитов и борборитов с их ядовитыми борборизмами. Пусть грянут трубы и появятся Благочестивые Рыцари из Святого Города с головой мавра, насаженной на пику, Ребис, Ребис! Магнитный ураган, разрушай Башню. Рачковский воет над обгоревшим трупом Жака де Молэ.

У меня не было тебя, но я могу уничтожить эту историю.

Если проблема заключается в отсутствии бытия, если бытие — это то, что выражается столь различными способами, то чем больше мы говорим, тем больше существует бытие.

Мечта науки — чтобы бытия было немного, сконцентрированного и определенного. $E=mc^2$. Ошибка. Чтобы еще в самом начале спастись от вечности, необходимо, чтобы бытие существовало как попало, кстати и некстати. Как змея, завязанная узлом пьяным матросом. Безвыходность.

Придумывать, придумывать неистово, не заботясь о связности, до тех пор, пока невозможно будет ничего резюмировать. Простая передача эстафеты от одной эмблемы к другой, из которых одна непрестанно поясняет другую. Расщепить мир на сарабанду цепи анаграмм. И затем поверить в Необъяснимое. Разве не в этом состоит правильное чтение Торы? Истина — это анаграмма еще одной анаграммы. Анаграмма = великое искусство. Это должно было произойти в те дни, Бельбо решил серьезно воспринять мир сатанистов не от чрезмерности веры, а от ее недостатка.

Униженный своей неспособностью к созиданию (в течение своей жизни он использовал свои несбывшиеся желания и ненаписанные страницы, первые из которых были метафорой по отношению ко вторым и наоборот, как вывеску своей предполагаемой, неосязаемой трусости), он понял, что, строя План, он творит. Влюбился в своего

Голема, и это служило ему утешением. Жизнь — его собственная и жизнь всего человечества — как произведение искусства и отсутствие искусства — искусство лжи. *Le monde est fait pour aboutir? unlivre (faux)*. Однако человечество свято старается верить в эту фальшивую книгу — поскольку само же ее написало — и если бы заговор действительно существовал, то он не был бы подлым, одолимым и инертным.

Здесь истоки того, что случилось потом, а именно тот способ применения заведомо нереального Плана в борьбе с казавшимся вполне реальным противником. Чуть позже, когда он понял, что План окутывает его со всех сторон так, как если бы действительно существовал, или почувствовал, что он, Бельбо, сделан из того же теста, из которого слепил свой План, он отправился в Париж, словно у него там была назначена встреча с откровением, с избавлением.

Преследуемый в течение многих лет каждодневными угрызениями совести из-за того, что до сих пор общался только с им самим созданными призраками, он испытывал облегчение при мысли о возможности увидеть призраки, которые становятся реальностью, известной еще кому-то помимо него, даже если этот кто-то был Врагом. Может, он поехал, чтобы броситься в пасть волка? Конечно, поскольку этот волк обретал очертания, становясь более реальным, чем Лимонадный Джо, а может, и Цецилия или даже Лоренца Пеллегрини.

Испытывая терзания из-за стольких упущенных встреч, Бельбо чувствовал, что сейчас его ожидает настоящая встреча, такая, что даже из трусости он не может махнуть на нее рукой: его приперли к стене. Измышляя, он создал зародыш реальности.

Список 5: шесть маек, шесть пар подштанников и шесть носовых платков — до сих пор продолжает интриговать ученых: почему не занесены носки?

Вуди Аллен, Список Меттерлины, в сб. «Сводя счеты».

/Woody Allen, Getting Even, N.Y., Random House, 1966, «The Metterling List», p.8/

Примерно в это же время, около месяца назад, Лия решила, что мне необходимо отдохнуть. Не меньше месяца. У меня загнанный вид, как выразилась она. Наверное, План меня измотал. И нашему ребенку, по терминологии бабушек, требовался воздух. Мы взяли у друзей ключи от их домика в горах.

Мы отправились не сразу. Надо было закончить дела в Милане, и к тому же Лия сказала, что нет лучше отдыха, чем дома, когда уверен, что скоро уедешь отдыхать.

В эти дни я впервые заговорил с Лией о Плане. До того она слишком была занята ребенком. Ей было известно только в общих чертах, что мы с Бельбо и Диоталлеви разгадываем какой-то кроссворд, корпим днями и ночами, но подробности я ей не рассказывал, особенно после того как она прочла мне лекцию о психозе совпадений. Наверное, мне было немножко стыдно.

Теперь же наконец я изложил ей План во всех мельчайших подробностях. Она знала о трагедии с Диоталлеви, и я не мог отделаться от ощущения вины, как будто бы я совершил что-то недозволенное, поэтому, рассказывая, я постоянно подчеркивал, чем это все является в конечном счете: бравада, игра. Лия сказала:

— Пиф, мне эта история не нравится.

— А разве не красиво?

— Сирены тоже были красивые. Послушай. Что ты думаешь о своем подсознательном?

— Ничего. Даже неизвестно, есть ли оно вообще.

— Вот именно. Началось с того, что один венский бездельник для развлечения приятелей выдумал кучу Эгов, Суперэгов и Оно, серию снов, которых никто никогда не видел, и ораву маленьких Гансов, которых не было на свете. К чему это все привело? Миллионы людей с готовностью превратились в невротиков. Тысячи других людей пользовались и пользуются этим для личного обогащения.

— У тебя, Лия, мания преследования.

— Не у меня, а у тебя самого.

— Хорошо, у нас у обоих мания преследования, но хотя бы с одним фактом ты не можешь не согласиться. Мы исходили из записки Ингольфа. Извини, когда у тебя оказывается в руках завещание тамплиеров, хочется расшифровать его, нет? Может быть, мы немножко утрировали. Хотелось позлить всех прочих расшифровщиков... Но послание-то налицо.

— Начнем с того, что налицо только то, что ты знаешь от своего Арденти, который классический врун и мошенник. И вообще это ваше послание, посмотреть бы еще на него.

— Нет ничего проще, вон в верхней папке.

Лия взяла листок, просмотрела его спереди и сзади, наморщила нос и отодвинула челку, чтобы получше разглядеть первую зашифрованную половину. Потом она спросила:

— Это все?

— А тебе мало?

— Мне вполне хватит. Мне надо два дня на это дело.

Когда Лия заявляет, что ей требуется два дня, обычно это для того, чтобы продемонстрировать, что я балбес. Я говорю, что это плохая привычка, но она отпирается:

— Если я убеждаюсь, что ты действительно балбес, и все равно тебя люблю, значит, это настоящее чувство.

В течение двух дней мы к этой теме не возвращались, да по правде сказать, Лии почти что не было дома. Вечерами она сидела скорчившись в углу и что-то писала, а потом рвала.

Потом мы отправились в горы. Наш сын целый день барахтался на лужайке, вечером Лия уложила его спать, приготовила ужин и велела мне есть как следует, потому что я худ как скелет. После ужина

она попросила смешать ей двойной виски, много льда и мало соды, закурила сигарету, что она делает очень редко, и произнесла речь.

— Дорогой Пиф, сейчас я попробую доказать тебе, что самые простые объяснения — всегда правильные. Этот ваш полковник сказал, что Ингольф нашел послание в Провэне. Не будем подвергать сомнению посылку. Пусть действительно он спустился в подземелье и действительно откопал вот это, — и она постучала пальцем по французским строкам. — Но никто не доказал, что он добыл там шкатулку, осыпанную бриллиантами. Согласно записям Ингольфа, он продал какой-то ларец. Почему бы и нет, старая вещица, ему могли заплатить совсем немного, ниоткуда не следует, что он жил потом на эти деньги. Наверное, имел какую-то ренту.

— А почему шкатулка, по-твоему, была дешевая?

— Потому что внутри в ней находилась обыкновенная товарная квитанция! Смотри же сам, давай посмотрим вместе ваш священный тамплиерский текст!

a la... Saint Jean
36 p charrete de fein
6... entiers avec salel
p... les blancs mantiax
r... s... chevaliers de Prulns pour la... j. nc.
6 fois 6 en 6 places
chascune fois 20 a... 120 a...
iceste est l'ordonatlon
al donjon il premiers
it il secunz joste iceus qui... pans
it al refuge
it a Nostre Dame de l'autre part de l'iau
it a l'ostel des popellcans
it a la pierre
3 fois 6 avant la feste... la Grant Pute

— Ну?

— Господи, ну почему вам не пришло в голову хотя бы раз взять в руки путеводитель по этому самому Провэну? Первое, что там

сообщается — что здание Гранж-о-Дим, в котором была найдена записка, это было место традиционного сбора купцов, а Провэн являлся главным центром знаменитых шампанских ярмарок. Здание Гранж-о-Дим стоит на улице Святого Иоанна. В Провэне торговали чем угодно, но особенно бойко — сукнами, которые назывались draps или dras, и каждая штука запечатывалась печатью — гарантией качества. Второй специализацией Провэна были розы, алые розы, завезенные крестоносцами из Сирии. Такие знаменитые, что когда Эдмон Ланкастер женился на Бланке д'Артуа и принял титул графа Шампанского, он выбрал своим гербом алую розу Провэна, откуда и происходит война Алой и Белой розы, поскольку у Йорков на щите была белая.

— Откуда ты все это знаешь?

— Из буклета, изданного туристским бюро Провэна и который дают даром в туристском агентстве. Но это не все. В Провэне имеется замок под названием Донжон, а также есть Хлебные ворота — Porteaux-Pains, — есть Церковь Прибежища — Eglise du Refuge, — есть, как легко догадаться, целый ряд церквей, называющихся Нотр-Дам, по ту и эту стороны реки, а также была, а может быть, есть до сих пор улица Круглого Камня — там была установлена «налоговая плита», и туда подданные короля сносили десятинные деньги. Есть улица Белых Плащей и, наконец, улица Grande Putte Muse, нетрудно понять происхождение названия, проще говоря — квартал борделей. — А попликане?

— А в Провэне была община катаров, которых потом, как положено, всех сожгли. Даже и главный инквизитор происходил из них же, из покаявшихся катаров, Роберт Похотливец. Поэтому не удивительно, что имелось в городе какое-то место, связанное с памятью катаров — павликиан — попликан, а особенно после того как катаров ликвидировали.

— Но в 1344 году их еще не ликвидировали...

— Да с чего же ты взял, что бумага восходит к 1344 году? Твой полковник предлагал читать «через тридцать шесть лет после сенного воза». Действительно в то время сокращение «р» с апострофом означает «post» — «после», но если «р» без апострофа, это значит «рго» — то есть «за». Написал эту бумажку обыкновенный купец, и содержится в ней попросту перечень сделок на ярмарке, на улице

Святого Иоанна (а вовсе не в Иванову ночь), и тридцать шесть — это тридцать шесть сольдов, денье или какие у них там ходили деньги, что являлось сговоренной ценой одной или каждой телеги сена.

— А как же сто двадцать лет...

— Почему «лет»? Из-за сокращения «а»? Я взяла словарь сокращений и увидела, что в ту эпоху употреблялся особый значок для аббревиатуры «денье» или «динариев» — в одном написании похоже на дельту, а в другом на тэту, в общем неподготовленный человек легко принимает это за «а», в особенности если он уже где-то читал насчет ста двадцати лет, в любом попавшемся очерке по розенкрейцерству, «post 120 armos patebo!» Ну а после этого... полковника уже понесло. «It» он читает как «iterum», хотя «iterum» сокращали «itm», а «it» могло означать только «item», иначе говоря «то же самое», и широко используется в повторяющихся списках. Купец, по всей видимости, должен был развезти клиентам букеты провэнских роз, вот что значит строка «г. s... chevaliers de Pruins». А там, где полковник видел vainjance (потому что искал рыцаря мщения — Кадоша), разумнее читать joinchée — «турнир». Розы употреблялись для украшения головных уборов, из них делали цветочные ковры для представлений и праздников. Вот как я предлагаю читать завещание тамплиеров:

На улице Св. Иоанна
по 36 грошей за повозку сена.
Шесть новых штук сукна, с печатями
на улицу Белых Покрывал.
Розы крестоносцев для турнира: шесть букетов по шесть в
шесть мест,
за каждый 20 денье, итого 120 денье.
Заказы таковы:
сначала в Замок.
То же к Хлебным Воротам,
то же к Церкви Оплота,
то же к Церкви Богоматери за рекой,
то же к старому дому павликиан,
то же на улицу Круглого Камня.
И три букета по шесть перед этим праздником в квартал
куртизанок,

потому что и им, бедняжкам, тоже хочется нарядиться на праздник, украсив цветами шляпки.

— Ох, — сказал я. — По-моему, ты права.

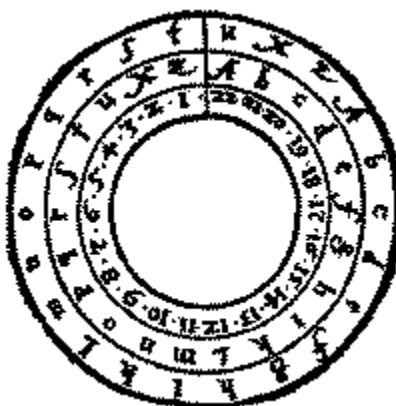
— Права, права. Товарный чек и никаких сомнений.

— Погоди. Пускай товарный чек. Но зашифрованное сообщение ведь говорит о тридцати шести неуловимых.

— Совершенно верно. Вашу квитанцию я разобрала за полчаса, а над чертовой шифровкой провозилась два дня. Пришлось заказывать Тритемия в библиотеке. Сначала я пошла в Амброзиану, потом в Тривульциану, и там и там меня, как полагается, протомили бог знает сколько времени — ты знаешь, чего стоит получить книгу в отделе редкостей. В конце концов все оказалось довольно просто. Прежде всего, очевидно, что «les 36 Invisibles separez en six bandes» — это не тот французский язык, на котором писал купец. Вы ведь сами обратили внимание на то, что это выражение использовано в памфлете семнадцатого века, когда розенкрейцеры появляются в Париже. Но дальше вы рассуждаете в точности как любимые вами «одержимцы»: сообщение зашифровано по Тритемию, значит, Тритемий заимствовал метод у тамплиеров, а если у тамплиеров есть фраза, бытовавшая в розенкрейцерских кругах, значит, план, приписываемый розенкрейцерам, на самом деле изобретен тамплиерами. Что сделал бы любой здравомыслящий человек? Перевернул ваше рассуждение. Если послание зашифровано по Тритемию, значит, оно создано после Тритемия. Если в нем использованы выражения семнадцатого века — оно написано после семнадцатого века. Какова самая простая гипотеза? Что Ингольф, разгадывая прованскую запись и будучи, как впоследствии и полковник, помешан на герметизме, из сочетания тридцати шести и ста двадцати немедленно вообразил себе розенкрейцеров. А будучи помешан еще и на тайнописи, он начал баловаться переводом найденного им текста на язык Тритемия. Это простое упражнение. Он взял Криптосистему Тритемия и записал свою любимую розенкрейцерскую фразу.

— Остроумно, но не более доказательно, чем конъектуры полковника.

— Хорошо. Смотри, смотри дальше. Сама-то абракадабра, использованная Ингольфом, не взята непосредственно из Тритемия! Да, слова выдержаны в том же любимом ассиро-вавилонском-каббалистическом вкусе, но сами слова не те. Так, может быть, Ингольфу нужны были определенные буквы и на втором, и на третьем, и на четвертом местах? Может, он захотел перепижонить самого Тритемия? Я довольно долго крутила разные ободочки этих его колесиков, потом, слава богу, догадалась.



У Тритемия можно обнаружить сорок главных криптосистем: в одной имеют значение лишь начальные буквы, в другой — первая и третья буквы, в следующей — одна заглавная буква считается, а следующая нет и так далее; при желании можно придумать еще сотню таких же систем. Что же касается десяти малых криптосистем, то полковник учел лишь первый круг, самый простой, Однако последующие действуют по принципу второго круга, и вот тут ты

располагаешь копией. Представь себе, что внутренний круг можно вращать таким образом, что заглавная буква А начинает совпадать с какой-нибудь буквой внешнего круга. Таким образом, ты получишь систему, где А записывается, как Х и так далее; и другую систему, где А соответствует букве U и так далее... Имея двадцать две буквы в каждом круге, ты получишь не десять, а двадцать одну криптосистему, и останется лишь двадцать вторая, в которой А соответствует А...

— Не станешь же ты утверждать, что для каждой буквы каждого слова ты использовала двадцать одну систему...

— В придачу к моим извилистым мозгам мне сопутствовала удача. Поскольку самые короткие слова состоят из шести букв, совершенно ясно, что значение имеют лишь только первые шесть букв, а остальные написаны так, для красоты. Почему именно шесть? Я предположила, что Ингольф зашифровал первую, затем одну пропустил, зашифровал третью, а после пропустил еще две и зашифровал шестую. Если для первой буквы он применил систему номер один, то для третьей — систему номер два, и мне это показалось логичным. Тогда я прибегла к системе номер три для шестой буквы, и получилась осмысленная фраза. Не исключаю, что Ингольф использовал также и другие буквы, однако трех совпадений мне показалось вполне достаточно, так что дальше ты вполне сможешь продолжить эту работу сам. — Не томи меня. Что у тебя получилось? Посмотри на текст, я подчеркнула в нем буквы, которые он использовал — первую, третью, шестую:

Kuabris
Defrabax
Rexulon
Ukkazaal
Ukzaab
Urpaefel
Taculbain
Habrak
Hacoruin
Maquafel
Tebrain
Hmcatuin

Rokasor
Himesor
Argaabil
Kaquaан
Docrabax
Reisaz
Reisabrax
Decaiquan
Oiquaquil
Zaitabor
Qaxaop
Dugraq
Xaelobran
Disaeda
Magisuan
Raitak
Huidal
Uscolda
Arabaom
Zipreus
Mecrim
Cosmae
Duquifas
Rocarbis

— Первое колесико и вся последовательность первых букв — это мы уже знаем от полковника. А теперь посмотри, что получается, если выписать подряд все третьи буквы и прочитать их через второе колесико: «chambre des demoiselles, l'aiguille creuse...»

— Погоди, я это знаю, это же...

— En aval d'Etretat — La Chambre des Demoiselles — Sous le Fort du Frelosse — Aiguille Creuse.^[125] Фраза, которую расшифровывает Арсен Люпен, раскрывая тайну Полого Шпиля! Помнишь, в Этрета на берегу моря возвышается Полый Шпиль — природой созданная крепость, в которой можно жить внутри, и там что-то связано с тайным оружием Юлия Цезаря, которым он завоевал Галлию, а потом оно перешло к французским королям. Источник сверхъестественного

могущества Арсена Люпена. Как известно, люпенологи никак не могут забыть об этом тайном оружии, обшарили все в этом Этрета, ищут подземелья, анаграммируют каждое слово в книгах Леблана...

— Ну, мои одержимцы сказали бы на это, что значит, еще тамплиеры знали тайну полого шпиля, а Леблан ее прознал от кого-то... Послание могло быть написано в четырнадцатом веке...

— Да-да, я была к этому готова. Но, слава богу, есть еще шестые буквы. Попробуем первое-второе-третье колесико. С помощью третьего появляется связный текст! Пожалуйста: *merde j'en ai marre de cette steganographie*. «Я уж охренел от этой стеганографии». Это тоже написано в четырнадцатом веке? Нет, мой бедный Пифчик, Ингольф заигрался, как и вы, а идиот полковник принял эту игру за чистую монету.

— Но почему же тогда Ингольфу убрали?

— А откуда известно, что его убрали? Ингольфу надоело сидеть в Оксере, смотреть на провизора и на плаксивую дочку. Он мог податься в Париж, перепродать парочку старых книжек, найти себе вдовушку... Сколько людей выходит в ларек за папиросами и не возвращается к жене.

— А полковник куда провалился?

— Да ведь и в полиции не знали точно, убили его или нет. Может быть, после очередного мошенничества ему пришлось срочно делать ноги. Сейчас его фамилия Дюпон и он стоит продает Эйфелеву башню американскому туристу.

Я не мог сразу сдать все позиции.

— Лия, пускай послания тамплиеров вообще не было. Так ведь тем более изумительный План мы сочинили! Мы ведь сами говорили, что это фантазия! Но разве она не чудесна?

— Он не чудесен, ваш План. Он чудовищен. У людей не возникает желания снова сжигать Трои после чтения Гомера. После Гомера возникает чувство, будто пожара Трои как бы никогда не бывало, никогда не будет — или, можно сказать, он «будет быть» всегда. У Гомера множество смыслов, именно благодаря тому, что Гомер ясен, прозрачен. А твои розенкрейцерские манифесты не ясны и не прозрачны. Это утробное урчанье, а прикидывается речью. Сколько народу разбирало эту речь, столько раз находили в ней что хотели. В Гомере нету тайн. В вашем Плане тайны есть, да еще в нем полно

противоречий. Поэтому тысячи дураков поверят в ваш план, их вера будет крепче меди. Выбросьте все, и поскорее. Гомер не мухлевал. Вы мухлюете. Вас послушаются все. Никто не слушал Земмельвайса, [\[126\]](#) когда тот говорил врачам дезинфицировать руки перед тем как братья за рожениц. Он говорил неинтересно. Люди охотнее верят в лосьоны против лысины. Люди инстинктивно чувствуют, что в таком лосьоне сочетаются взаимоисключающие реальности, что в нем отсутствует логика и отсутствует честность. Но так как им говорили, что Бог загадочен и неизъясним, нелогичность — это именно то качество, которое, по их мнению, присуще Богу. Нелогичное для них означает — близкое к чуду. Вы придумали лосьон против лысин. Мне не нравится, это плохая игрушка.

Не то чтобы этот разговор испортил наш отпуск в горах. Мы очень много гуляли, я читал серьезные книги, я в первый раз так подолгу занимался ребенком. Но между мною и Лией осталось что-то недосказанное. С одной стороны, Лия разгромила меня по всем статьям и теперь ей было жалко, что я унижен. С другой, она не была убеждена, что ей удалось меня убедить.

И действительно, мне не хотелось расставаться с Планом, я не мог его выбросить, я слишком с ним сжился.

Прошло еще несколько дней, и одним прекрасным утром, проснувшись, я решил сесть на единственный поезд, довозивший до Милана. (В Милан я попал как раз вовремя, чтоб ответить на телефон, когда звонил из Парижа Бельбо. Так завязалась детективная часть, которая еще до сих пор не получила развязки.)

Лия была права. Следовало нам поговорить раньше. Но я бы ее все равно не послушал. Я ведь прожил рождение этого Плана как момент Тиферэта — а это сердце сефиротического тела, соитие правила и свободы. Говорил Диоталлеви, что Моисей Кордовский предупреждает нас: «Кто тщеславится своею Торой перед простецами, то есть перед всем народом Иеговы, побуждает Тиферэт тщеславиться перед Мальхутом». Но каков есть Мальхут — то есть Земное царствие в его ослепительной простоте, — я понимаю только теперь. Успею понять еще, но, наверно, уже не успею пережить истину.

Лия, не знаю, увидимся ли. Если нет, последняя память о тебе — ты сонная, тогда утром, свернулась клубочком под одеялом. Я поцеловал тебя и не сразу, но вышел.

НЕЦАХ

*Заметил, черный пес бежит по пашне?..
Кругами, сокращая их охваты,
Все ближе подбирается он к нам...
Все меньше круг. Он подбегает.* [\[127\]](#)

Фауст, 1, За воротами

Все, что происходило, когда я был за городом, в особенности в последние дни перед моим возвращением, я представлял себе только по файлам Бельбо. Из них, в свою очередь, только один казался ясным, был выстроен в хронологическом порядке и выглядел дневниковой записью — последний, написанный им, скорее всего, перед самым Парижем, специально для меня или для кого-то другого, кто — случись непоправимое — захочет разобраться, что же произошло. Другие же отрывки, написанные им для внутреннего пользования, как всегда, не поддавались легкой интерпретации. Только я, уже не новичок в его конфиденциальном диалоге с Абулафией, мог их расшифровать, или хотя бы предложить правдоподобные конъектуры.

Было начало июня. Бельбо ходил как сумасшедший. Врачи наконец уяснили, что единственными родственниками Диоталлеви являются он и Гудрун, и наконец что-то сказали. На вопросы типографов и корректоров Гудрун теперь отвечала односложным — на «а» — раскрытием рта, не выговаривая табуированное название болезни.

Гудрун ходила к Диоталлеви ежедневно, и думаю, действовала ему на нервы своими мокрыми от сочувствия глазами. Он все знал, но стыдился, чтобы знали другие. Говорить ему было трудно. Бельбо пишет в дневнике: «Лицо — одни скулы». Волосы выпадали, но это из-за химиотерапии. Бельбо пишет в дневнике: «Руки — одни фаланги».

Думаю, что в ходе их раздумчивых бесед Диоталлеви понемногу давал понять Бельбо то, что потом сформулировал открыто, когда они увиделись в последний раз. Бельбо начинал понимать, что увлечение

Планом — злостное, что может быть — План и есть Зло. Тем не менее, вероятно, для того чтобы объективировать План и вернуть ему подлинное измерение — измерение чистой мнимости, — он занес его в компьютер последовательно, элемент за элементом, в форме воспоминаний полковника. Получилась исповедь посвященного, открывающего самый последний секрет. Для Бельбо это была терапия: он возвратил в литературу, пускай в литературу плохую, то, что не принадлежало жизни.

Но 10 июня случилась некая ситуация, переворотившая всю его душу. События рассказаны весьма несвязно, я попытался их воссоздать.

Итак, Лоренца попросила его отвезти ее в машине на Ривьеру, где ей требовалось забрать у подруги неизвестно что — документ, справку, какую-то ерунду, которую с тем же успехом можно было переслать экспресс-почтой. Бельбо согласился, обалдевший от счастья при мысли провести воскресенье с ней на море.

Они поехали в это место, я точно не понял куда, в районе Портофино. Бельбо передавал не детали, а чувства, сквозь строки невозможно было рассмотреть пейзаж, видны были только напряжение, резкость, нервозность. Лоренца забрала что ей было надо (Бельбо ждал в баре), а потом предложила пообедать в рыбном ресторане с террасой, выходящей на море.

С этого момента рассказ становится еще более путаным, точечным, бесформенные куски диалогов кучей, без абзацев и кавычек, как будто писалось по самому свежему следу, в надежде поймать за хвост какие-то божии искры. В общем, понятно, что они доехали докуда возможно на машине, а потом долго спускались пешком к морю по типичным лигурийским кустейшим тропкам, цветучим и репейным, и продрались к ресторану. Чуть они уселись, как на столике рядом увидели «Зарезервировано для доктора Алье».

Вот так совпадение, сказал, вероятно, Бельбо. Очень неприятное совпадение, отвечала, очевидно, Лоренца. Не хочется, чтобы Алье видел ее здесь и с Бельбо. Почему не хочется, что в этом такого, разве Алье имеет основания ревновать? Ну причем основания, просто из деликатности, он звал меня пообедать, я сказала, что занята, теперь получается, что я вру. То есть как это врешь, ты занята со мною, этого

надо стыдиться? Не стыдиться, а просто, с твоего позволения, я привыкла тактично обращаться с людьми.

Короче, они ушли из ресторана и начали карабкаться назад, но Лоренца вдруг застыла на месте, навстречу спускались знакомые, Бельбо их не знал, приятели Алье, они не должны ее видеть. Унизительная сцена, она над стремниной, поросшей оливами, опираясь на прутья плетеного парашюта, с газетой, окутывающей лицо — лопается от нетерпения немедленно узнать, что же происходит в мире, и он в классических десяти шагах от нее, с сигаретой, случайный путешественник-прохожий.

Сотрапезники Алье миновали, но теперь, заявила Лоренца, идя дальше по этой тропинке, они налетят на него самого, и налетят непременно. Бельбо бубнил: наплевать, ну и налетим, что такого. А то, отвечала Лоренца, что минимальный такт. Единственный выход — подниматься к машине прямо через заросли, цепляясь за колючки. Задыхательное возлезание по раскаленным оливковым уступам, Бельбо оторвал подметку. Лоренца подзуживала: ну разве не прелестно, так гораздо романтичнее, конечно, если курить без продыху, обязательно будет одышка.

Дойдя до машины, Бельбо сказал, что раз так, возвращаемся в Милан. Нет, сказала Лоренца, если Алье опаздывает, мы с ним пересечемся на автостраде, он узнает твою машину, смотри какая хорошая погода, давай двинемся вглубь от побережья, это будет очаровательно, выберемся на римскую автостраду и поужинаем в окрестностях Павий.

Да что мы не видели в этой Павий, да ты представляешь себе, что значит съехать тут с дороги, это значит, посмотри на карту, что придется карабкаться по серпантину до Ушио, потом блуждать по Апеннинам, останавливаться в Боббио, потом неизвестно как добираться до Пьяченцы, ты сошла с ума, нам придется еще похлеще, чем Ганнибалу и слонам. Ты существо без всякого полета, отвечала Лоренца, и подумай только, сколько очаровательных ресторанчиков прячется там в долинах. На подъезде к Ушио знаменитая «Мануэлина», фрутти дель маре, двенадцать звездочек по котировке «Мишлена».

«Мануэлина» была битком набита, желающие поесть караулили возле столиков, где дожевывался десерт. Лоренца сказала, не имеет

значения, тут на каждом километре будет по сто пятьдесят волшебных местечек. В ресторан они попали, когда там закрывали кухню, было это в чудовищной дыре, название которой, по меткому определению Бельбо, постыдились бы нанести даже на военную карту, и пришлось им есть переваренные макароны с баночной тушенкой. Бельбо ломал себе голову, что же скрывается под всем этим, не случайно же Лоренца привела его в ресторан, где ожидался Алье, она явно хотела кого-то подразнить, он не мог понять, его или другого, она же отвечала ему, что у него идефикс.

После Ушио они стали искать путь на большую дорогу, и когда пересекали выжженную солнцем деревушку, напоминавшую пустынностью Сицилию в воскресенье во время сиесты в эпоху Бурбонов, большая черная собака выбросилась сбоку им наперерез, пытаясь попасть четко под колеса. Бельбо ударил ее бампером, на первый взгляд, ей ничего не сделалось, но когда они выскочили из машины, стало очевидно, что у бедной твари кровь в паху, и что-то непонятное розовое — trebuха, гениталии? — высовывается из пуха, и она воет и, кажется, блюет. Подтянулись воскресающие поселяне, начали митинговать. Бельбо хотел знать, где хозяин, чтобы возместить убытки, но у пса хозяина не было. Пес представлял собою, наверное, десять процентов кворума в этом богом забытом месте, но не было известно, есть ли у него родственники, хотя в лицо его знали все. Поступило предложение позвать сержанта полиции, прикончить пса и покончить с делом.

Отправились за сержантом, тут появилась какая-то любительница животных. У нее шесть кошек. Знать не знаю кошек, тут собака, выпалил Бельбо, она сдыхает, я тороплюсь. Кошки или собаки, нужно иметь немножечко совести, отвечала синьора. Никакого сержанта. Общество защиты животных или больница, в соседней деревне есть медпункт, животное удастся вернуть к жизни.

Солнце зависало вертикально прямо над Бельбо, Лоренцей, машиной, собакой и остальными, заката не предвиделось никогда, у Бельбо было чувство, что он вышел без штанов, но не получалось проснуться. Синьора не ослабляла хватку, о сержанте можно было только мечтать, собака кровоточила и выпускала слабые стоны. Стенанья, выговорил филолог внутри Бельбо. Синьора на это: понятно, стенанья, а вы чего добивались, бедный песик, нельзя было

ехать внимательно? В деревне между тем разворачивался демографический бум, Бельбо, Лоренца и пес оказались самым любопытным спектаклем за много, много воскресений. Девушка с мороженым спросила, не они ли организуют для телевидения телеконкурс Мисс Лигурийские Апеннины. Бельбо попросил ее отойти, не то он сделает с нею то же, что сделал с собакой. Девчонка заголосила, из-за ее спины выступил участковый врач со словами, что в дело замешана его дочь и что Бельбо не знает, с кем имеет дело. Блиц-обмен извинениями, знакомство, выясняется, что медик опубликовал «Дневник провинциального врача» у знаменитого «Мануция» в Милане. Тут Бельбо раскололся и дал понять, что занимает изрядный пост в «Мануции», теперь доктор требовал, чтобы Бельбо и Лоренца у него отужинали, Лоренца вне себя от ярости вонзала острый локоть ему под ребра, не хватало нам попасть в газеты, любовники-собакоубийцы, нельзя было трепать языком поменьше?

Солнце палило в голову отвесно, в то время как колокол брякал к вечеру (очевидно, мы в Последней Туле, комментировал Бельбо сквозь зубы, солнце шесть месяцев подряд от полуночи до полуночи, а сигареты закончились), пес добросовестнодох, никто им не интересовался, Лоренца откуда-то извлекла предчувствие приступа астмы, Бельбо окончательно уверился, что космос был ошибкой Создателя. Неизвестно как попала в мозг и затрепетала спасительная идея. Они поедут просить о помощи в ближайший районный центр. Зоофилка была «за» руками и ногами, езжайте быстрее, возвращайтесь поскорее, господину, который работает у поэтического издателя, она не может не доверять, ей тоже больше нравится реклама, если она в рифму.

Бельбо сунул ключ в машину, ближайший райцентр они пролетели без остановки, Лоренца продолжала проклинать любых тварей, которыми Господь испакостил землю, начав в первый день и закончив в пятый, Бельбо был согласен, но шел еще дальше, активно критикуя также и результаты шестого дня, а заодно — в увлечении — ругнул и седьмой, день отдыха, сказав, что более кошмарного дня, чем воскресенье — сегодняшнее, к примеру, — не было, не будет и не может быть.

Они полезли на Апеннины, но притом что на карте все выглядело близко, на практике путь занял множество часов, в Боббио они не

стали останавливаться, вечером добрались до Пьяченцы. Бельбо совсем выдохся, он очень надеялся на ужин с Лоренцей и поскорее снял большой номер в единственной свободной гостинице напротив вокзала. Они поднялись в комнату и Лоренца заявила, что в подобной обстановке она ни за что не уснет. Бельбо ответил, что пойдет искать другой отель, пусть дадут ему только пять минут, чтобы сойти в бар и принять дозу мартини. В баре не было мартини, был только итальянский коньяк. Бельбо поднялся в комнату, Лоренцы не было. На стойке портье его дожидалась записка: «Милый, я обнаружила чудесный поезд в Милан. Бегу. Увидимся на неделе».

Бельбо домчался до вокзала, перрон был абсолютно пуст. Как в вестерне. Ночь он провел в Пьяченце. Думал купить детектив, но даже станционный газетный киоск и тот был заперт. В гостинице нашелся только журнал Туринг Клуба.

На его несчастье гвоздем номера было описание дивного путешествия по той самой апеннинской трассе, которую они только что промахали. В воспоминаниях Бельбо — уже успевших пожухнуть, как мемуар многолетней давности — вставала сухая, солнцем съеденная почва, пыльная, закиданная мусором. На глянце туристского журнала развесистые райские сады манили под свою сень, стоило бы пройти сто верст в железных ботинках, только бы попасть в подобную сказку, напоминающую Самоа Лимонадного Джо.

Могут ли люди собственными руками погубить свою жизнь только из-за того, что они наехали на собаку? А вышло именно так. Бельбо решил той ночью в Пьяченце, что уйдя обратно с головою в План, как в убежище, он будет гарантирован от провалов. Внутри Плана никто другой — только он будет иметь право распоряжаться, кто, с кем, когда и как.

Должно быть, этим же вечером он решил отыграться на Алье, хотя непонятно, за какие преступления. Он решил заманить Алье в План, не ставя его о том в известность. С другой стороны, для Бельбо было очень типично искать отыгрышей, единственным свидетелем которых мог быть только он сам — не из застенчивости, а из недоверия к тем свидетелям, которые не являлись им самим. Заманенный в План Алье мог бы считаться уничтоженным, он стал бы дымом, изошел бы, как огонь свечи, сделался нереальным, как тамплиеры, розенкрейцеры и сам Бельбо.

Это не очень будет трудно, размышлял Бельбо. Мы сумели свести к нужному масштабу Бэкона и Наполеона, мы ли не усмирим Алье? Отправим и его на поиски Карты. От Арденти и постыдного воспоминания, с Арденти связанного, я уже сумел отделаться, поселивши его в вымысел лучший, чем был его. Так же рассчитаемся и с Алье.

Думаю, он серьезно в это уверовал. Так много может разочарованное желание. Этот его файл кончался единственно возможным образом — единственной цитатой, объединяющей всех тех, кого жизнь победила: *Vin ich ein Gott?* — Какой я бог?^[128]

Какова же природа того тайного влияния, которое проводится через посредство прессы, и что стоит за подрывными группировками, окружающими нас? Различные ли орудуют силы или же существует единый Центр, некая группа, руководящая остальными, узкий круг истинных посвященных?

Неста Уэбстер, Тайные общества и подрывные движения

Nesta Webster, Secret Societies and Subversive Movements,

London, Boswell, 1924, p. 348

Может, он забыл бы о своем намерении. Может, ему хватило бы выполнить его на бумаге. Может, достаточно было бы немедленно увидеться с Лоренцей, им снова овладело бы желание, а желание заставило бы пойти на перемирие с жизнью. Вместо этого как назло в понедельник утром к нему в офис ввалился Алье в облаке колониальных одеколонов, с улыбками и зарезанными рукописями и со словами, что прочитал он эти бумаги во время прелестного уик-энда на Ривьере. Бельбо был отброшен в объятия давешнего бешенства. Тогда-то он окончательно решился выставить Алье дураком, заставить его пойти поискать молочные реки, кисельные берега да камень белгорюч.

И поэтому с видом ведуна он дал понять тому, что вот уже лет десять охраняет мучительную тайну, тайну секретного ордена. Рукопись была доверена ему одним полковником, Арденти, которому удалось разгадать секрет плана тамплиеров... Полковник был похищен или убит кем-то, кому удалось завладеть и его бумагами, но — вообразите себе! — в тот день из «Гарамона» полковник выходил, унося под мышкой фиктивный текст, намеренно запутанный, полный

ошибок, фантастический и инфантильный, который был годен только чтобы показать, что полковник в течение своей жизни имел отношение к прованскому документу и к расшифровкам Ингольфа; именно это, по-видимому, усиленно искали похитители. А другая-то папочка, гораздо более тонкая, где лежал всего десяток страниц, обнаруженных в бумагах покойного Ингольфа, — оставалась во владении Бельбо.

— Какая забавная ситуация, — отреагировал Алье, — расскажите же поподробнее.

И Бельбо, о, он ему рассказал! Рассказал весь наш План точно в том виде, в каком мы его изобрели, и выдал за вычитанный в той мифической рукописи. Он даже добавил, еще более таинственным и конфиденциальным шепотом, что некий полицейский, по имени Де Анджелис, действуя самостоятельно, почти нашарил ключ к разгадке, но дело было спасено герметическим запирательством его, Бельбо... можно сказать... пожалуй, действительно можно так сказать... Бельбо, Хранителя Самого Великого Секрета человечества. Секрета, который в конечном развитии равняется секрету Карты мирового господства.

И тут он выдержал недурную паузу, полную подтекста, как все хорошие паузы. Нерешительность на пороге самого главного признания — верный способ проиллюстрировать неподдельность предыдущих признаний. Бельбо исходил из посылки, что для любого, кто действительно исповедует тайную традицию, оглушительнее всего — молчание.

— О, как любопытно, как любопытно, — промурлыкал Алье, вытащив из жилета табакерку и показывая, что занят совсем не тем. — А... эта карта?

А Бельбо бормотал про себя: старый вуаер, возбуждаешься, да? Так тебе и надо с твоим сенжерменским шармом, мало тебе хваленых трех крапленых карт! Да ты ведь готов закупить Колизей у первого щелкопера, который перепрощельжил тебя! Сейчас-то я тебя отправлю на три карты, на поиски Карты, к черту в зубы, ты у меня улетишь далеко и надолго, и очень надеюсь, не выберешься обратно из утробы земли, сгинешь там в стремнинах, хряснешься башкою о Южный Полус какого-нибудь кельтского колуна.

И с еще более тет-а-тетным видом:

— Разумеется, к рукописи прилагалась и карта, то есть ее подробное изложение, и отсылка к оригиналу. Это совершенно

поразительно, вы представить себе не можете, до какой степени проста разгадка этой проблемы. Эта карта существовала всегда и была доступна всем, и на нее смотрели кто угодно, тысячи людей проходили перед нею ежедневно, в течение столетий. С другой же стороны, принцип ориентирования до того элементарен, что достаточно запомнить простую схему и карту можно воспроизвести в любой момент и в любом месте. Настолько элементарно и настолько непредсказуемо... Представьте себе — это я привожу только в качестве примера, — как если бы карта была нанесена на пирамиду Хеопса, расписана во всех подробностях у людей на виду, а между тем в течение столетий люди разгадывают и отгадывают архитектуру пирамиды, расшифровывают ее тайные смыслы, но не замечают невероятной, сияющей простоты. Какой шедевр невинности. И коварства. На что оказались способны тамплиеры.

— Вы меня заинтересовали. Позвольте на нее взглянуть?

— Должен признаться, я уничтожил и те десять страниц и карту. Я был испуган, это ведь объяснимо, не так ли?

— Не может быть, чтобы вы уничтожили документы подобного значения...

— Уничтожил, но я ведь говорил вам — на самом деле секрет элементарен. Вся карта у меня здесь, — и он тыкал пальцем себе в голову, и давился смехом, вспоминая школьный анекдот про немца, учившего итальянский язык по десять слов в день — «Фее слова стесь, у меня в джопе». — Вот уже больше десяти лет как эта тайна вся содержится здесь — он опять тыкал в голову, — в форме наваждения, и я страшусь даже и самой мысли о той безграничной власти, которая стала бы моею, если бы я решился принять наследство Тридцати шести невидимых. Теперь вы понимаете, почему я добился от «Гарамона» новых серий — «Изида без покрывал» и «История чародейства»? Я жду ответа от того, кто способен понять. — После чего, увлекаемый разыгрываемой ролью, издеваясь над разыгрываемым Алье, процитировал ему почти дословно фразы, которыми Арсен Люпен завораживает Ботреле в эпилоге «Полого шпиля»: «В некоторые минуты моя власть кружит мне голову. Я опьяняюсь силой и авторитетом».

— Ну-ну, мой любезный друг, — отвечал Алье. — А что, если вы опрометчиво уверовали в бредни безумца? Вы убеждены, что рукопись

подлинная? Почему вы не доверяете моему опыту? Если бы вы знали, сколько подобных откровений мне приходилось изучать в моей жизни, и если в чем-то я преуспел, то именно в доказательстве их несостоятельности. Мне хватило бы одного взгляда, чтоб уяснить, стоит ли вообще говорить об этой карте. Я смею тщеславиться некоторой квалификацией — небольшой, но все же, — именно в области традиционной картографии...

— Доктор Алье, — оборвал его Бельбо, — вы первый должны были бы напомнить мне, что секрет тайного общества, рассекреченный, не имеет смысла. Я промолчал столько лет, помолчу еще немного.

И он молчал. Алье в свою очередь, купился он на эту дешевку или нет, подходил к своему ампулу серьезно. Он привык иметь дело с непроницаемыми тайнами и, надо думать, проникся сознанием, что уста Бельбо не отверзнутся более — отныне и до скончания времен.

В эту минуту вошла Гудрун и сообщила, что совещание в Болонье намечается на среду на двенадцать.

— Вы можете выехать на Трансьевропейском экспрессе утром в среду, — добавила она.

— Обожаю этот экспресс, — сказал Алье. — Но предпочтительно заранее заказывать места. Особенно в нынешнюю пору года.

Бельбо ответил, что и в последнюю минуту можно всегда найти сидячее место, в крайнем случае в вагоне-ресторане, где подается еще и завтрак.

— Что ж, надеюсь, вам это удастся, — подвел итог Алье. — Болонья очень хороша. Хотя в июне там жарко...

— Я пробуду не больше трех часов. Еду по поводу книги об эпиграфике, у нас возникли проблемы с иллюстрациями... — После чего Бельбо выпустил последний снаряд. — Я ведь еду по работе, а не в отпуск. Но в отпуск я уйду скоро, чтобы быть свободным в день летнего солнцестояния... Кто знает, вдруг я все-таки решусь... Но все, что сказано, должно остаться между нами. Я поделился с вами как с другом.

— О, молчать я умею, умею даже лучше, чем вы. В любом случае позвольте вас поблагодарить за откровенность. — И с этими словами Алье откланялся.

Бельбо после этой встречи пришел в благостное настроение. Налицо была полная победа его астральной нарративности над жалкостью и постыдностью подлунного мира.

На следующий день Алье позвонил по телефону.

— Простите меня, дорогой друг. Я хотел просить вас о небольшой любезности. Как вы знаете, я иногда занимаюсь старинными книгами — что-то приобретаю, что-то продаю. Нынче вечером прибывает из Парижа дюжина переплетенных томов, восемнадцатый век, книги довольно дорогие, и я их должен непременно доставить моему клиенту во Флоренции не позднее чем завтра. Я сам собирался отвезти их, но некоторые неотложные занятия задерживают меня в Милане и не позволяют уехать. Я подумал о следующем решении. Вы ведь завтра собирались в Болонью? Я приду к вашему поезду, примерно за десять минут, и передам вам небольшой чемоданчик, вы положите его в сетку над головой и спокойно выйдете в Болонье, ни о чем не думая. Может быть, подождете, пока все выйдут из купе, чтобы мы были уверены. — Во Флоренции мой клиент во время остановки войдет в вагон, заберет чемодан — и все в порядке. Конечно, не хотелось беспокоить вас... Но если вы можете оказать мне эту услугу, я вам буду благодарен всю жизнь.

— Ради бога, — отвечал Бельбо. — Только как ваш клиент во Флоренции узнает, куда я положил чемодан? — Как видите, я оказался предусмотрительнее вас и уже зарезервировал вам билет, место 45, вагон 8. Я заказал до самого Рима, поэтому ни в Болонье, ни во Флоренции на это место никто не сядет. Как видите, в компенсацию за неудобства, которые я вам причиняю, вы получаете и некоторое удобство: ехать на своем месте, без сюрпризов. Я не позволил себе выкупить билет, чтобы вы не думали, что я собираюсь рассчитывать за любезность таким неделикатным способом.

Что значит настоящий джентльмен, сказал себе Бельбо. Пришлет мне ящик марочных вин. Пить за его сволочное здоровье. Вчера я его испепелял, сегодня оказываю ему любезность. Что делать, отказать невозможно.

Во вторник утром Бельбо поехал на вокзал загодя, заплатил за билет и встретился с Алье у вагона номер 8, тот был с чемоданом, довольно тяжелым, но не громоздким.

Бельбо уложил его в сетку над креслом 45 и уселся у окна со своей стопкой газет. Главной новостью дня были похороны Берлингуэра. Через некоторое время в кресле рядом устроился какой-то бородач. Бельбо даже подумал, что уже его где-то видел (задним умом, пытаясь угадать где, ему пришло в голову — на друидическом празднике в Пьемонте, но уверен он не был). К отходу поезда купе наполнилось до отказа: все шесть мест.

Бельбо хотелось читать, но мешал господин с бородкой, лезший ко всем с разговорами. Начал он с жары и несовершенства системы кондиционирования, а также с наблюдения, что в июне непонятно, одеваться ли по-летнему или по-весеннему. Он пришел к выводу, что самое лучшее — это легкий пиджак, как у Бельбо, и спросил, английская ли это фирма. Бельбо отвечал, что действительно английская, «Берберри», и продолжил чтение. — Это лучшие вещи, — не унимался его сосед, — но ваш еще особенно хорош тем, что на нем нет золотых пуговиц, которые обычно пришивают на блейзеры. И позвольте мне заметить, что у вас удивительно удачно подобран цвет галстука, темно-красный, к этому пиджаку. — Бельбо поблагодарил и попытался читать. Господин с бородой продолжал выступать об основных принципах сочетаемости галстуков с костюмами, Бельбо читал. Я знаю, думал он про себя, что всем в купе мое поведение кажется хамским. Но я езжу в поездах не ради человеческих отношений. Их у меня чересчур много и на суше.

Тогда господин переменял тему. — Сколько вы газет читаете, и всех направлений. Наверное, вы связаны с юриспруденцией или с политикой. — Бельбо отвечал, что нет, он работает в издательстве, специализирующемся на книгах по арабской метафизике. Целью было — затерроризировать нападающего. Тот был очевидно затерроризирован.

После этого появился контролер. Он спросил, почему у Бельбо билет до Болоньи, а место зарезервировано до Рима. Бельбо сказал, что передумал ехать в Рим и едет в Болонью. — Как хорошо, — сказал господин с бородкой, — когда можно себе позволить менять намерения в последнюю секунду, не задумываясь, что позволяет и чего не позволяет ваш кошелек. Как я вам завидую. — Бельбо осклабился и отвернулся к окну. Теперь, сказал себе он, все купе на меня смотрит как на растратчика, возможно, предполагают, что я ограбил банк. В

Болонье Бельбо поднялся и собрался выходить. — Смотрите не забудьте чемоданчик, — сказал его попутчик. — Нет, за ним зайдет один человек во Флоренции, — отвечал Бельбо. — Вот что, присмотрите за ним, пожалуйста, если можете. — Не беспокойтесь, — отвечал бородатый. — Можете на меня положиться.

Бельбо возвратился в Милан в тот же день вечером, поднялся к себе в квартиру с банкой консервированного мяса и пачкой крекеров, включил телевизор. Говорили, естественно, про Берлингуэра. То, другое известие проходило поэтому почти что под сурдинку, перед самым концом известий.

Утром этого дня на трансъевропейском экспрессе на отрезке Болонья-Флоренция, в вагоне 8, один пассажир выразил беспокойство насчет другого, сошедшего в Болонье, чей чемоданчик оставался в их купе в сетке. Действительно ли за чемоданом собирались зайти во Флоренции, не по этой ли схеме действуют обычно террористы?

Волнение скоро охватило остальных едущих в купе. В какой-то момент первый пассажир, с бородой, заявил, что у него не выдерживают нервы. Лучше совершить ошибку, чем погибнуть; пусть позовут начальника поезда. Начальник поезда остановил состав и известил железнодорожную полицию. Не знаю точно как разворачивались дальнейшие события, неподвижный поезд на горном перегоне, пассажиры, слоняющиеся вдоль путей, появление саперного взвода... Чемоданчик со всеми предосторожностями открыли и обнаружили там взрывное устройство, запрограммированное на время прибытия во Флоренцию. Мощности хватало на несколько десятков человек.

Полиции не удалось отыскать пассажира с бородкой. Может быть, он пересел в другой вагон и вышел во Флоренции, потому что не хотел, чтоб его славили во всех газетах. Публиковалось обращение к нему с просьбой помочь следствию.

Другие пассажиры великолепно помнили того человека, который подкинул чемодан. Он принадлежал к тому типу, который вызывает подозрения с первого взгляда. Одет он в синий английский пиджак без золотых пуговиц, с темно-красным галстуком. Старался вести себя скромно, отказывался поддерживать разговор, видно было, что надеется проскочить незамеченным. Однако проговорился, что работает в газете, в журнале или в каком-то месте, которое имеет отношение (и

тут мнения свидетелей расходились) к метану, физике или метемпсихозу. Но все твердо помнили, что в деле замешаны арабы.

Все квестуры и районные отделения полиции подняты по тревоге. Уже поступают первые сигналы с мест. Задержаны двое граждан Ливии в Болонье. Художник угрозыска создал фоторобот — он занимал теперь всю плоскость голубого экрана. Фоторобот не был похож на Бельбо, но Бельбо был похож на этот фоторобот.

Бельбо больше не задавал себе вопросов. Тип с чемоданчиком был именно он. Он позвонил по телефону Алье, но там не брали трубку.

Был уже поздний вечер, он не знал как ему выйти из квартиры, принял снотворное и лег спать. Следующий день начался с поисков Алье. Напрасно. Он спустился купить газеты. Слава богу, похороны занимали весь первый лист, и его физиономия находилась на внутренних страницах. Он отправился домой, подняв воротник, и только тут заметил, что на нем все тот же синий блейзер. Без бордового галстука, и на том спасибо.

Пытаясь разобраться во взаимосвязи происшедших фактов, он услышал телефон. Незнакомый голос, иностранец, с каким-то балканским выговором. Медоточивая речь, как будто звонящий не имеет ни к чему отношения и телефонирует из самых добрых чувств. Бедный господин Бельбо, говорил этот голос, как же вам не повезло. Никогда нельзя соглашаться служить курьером для других, не зная, что содержится в передаче. Как же будет неприятно, если кто-нибудь сообщит в полицию, что гражданин с сорок пятого места — это и есть наш Бельбо.

Конечно, от подобного крайнего шага кое-кого можно и удержать, в том случае если наш Бельбо согласится сотрудничать. Например, если он сообщит по-хорошему, где находится тамплиерская карта. А так как в Милане становится для Бельбо жарко, потому что во всех газетах указано, что таинственный покушитель выехал именно из Милана, почему бы не перенести дальнейший обмен мнениями на нейтральную территорию, скажем, в Париж? Почему бы не назначить друг другу свидание в книжной лавке Слоан в Париже, на улице Мантихор, 3, через неделю? Хотя, с другой стороны, имело бы смысл, чтобы Бельбо отправился в путь немедленно, пока его не опознали. Книжный магазин Слоан, улица Мантихор, 3. В полдень в среду 20 июня его будет ждать там знакомое лицо — тот самый господин с

бородю, с которым они вели такие дружеские разговоры в поезде. Этот господин научит Бельбо, где ему встретиться с остальными друзьями, после чего постепенно, в тесной дружеской компании, в его распоряжении несколько дней для подготовки к летнему солнцестоянию, он спокойно расскажет все, что знает, отведет душу, и все закончится безболезненно. Улица Мантихор, дом 3, запомнить нетрудно.

Сен-Жермен... Тонок, остроумен... Говорил, что владеет любыми секретами... Он часто пользовался для своих появлений волшебным зеркалом, которое составляло часть его славы... Поскольку он вызывал с помощью катоптрических эффектов ожидаемые тени, почти всегда узнаваемые, его связь с загробным миром была доказанной вещью.

Le Culte de Кантеле, Секты и тайные общества

/Le Coulteux de Canteleu, Les sectes et les societes secretes, Paris, Didier, 1863, pp. 170–171/

Бельбо совершенно запутался: все было абсолютно ясно. Алье поверил в его историю, захотел его карту, подстроил ловушку и теперь держит его в кулаке. Или Бельбо отправляется в Париж рассказывать все, что знает (о том, что он ничего не знает, знал только он; я уехал, не оставив адреса, Диоталлеви умирал), или же на него спускают со сворки всю полицию Италии.

Как Алье мог унизиться до такой грязной проделки? Зачем ему это? Схватить за шиворот старого дурака, отвести в квестуру, только таким образом Бельбо сможет выбраться из этой сумасшедшей истории.

Он вызвал такси и отправился в переулок у площади Пиола, в знакомый особнячок. Окна закрыты, на ограде картонный прямоугольник квартирного бюро: СДАЕМ. Да что ж это делается. Ведь еще на прошлой неделе Алье обитал тут, отвечал на телефон... Бельбо обратился в соседний особняк.

— Этот господин? Переехал только вчера. Не знаю, куда именно он переселился, мы с ним едва раскланивались, он вел уединенную жизнь и вообще, кажется, его никогда не бывало в Милане.

Оставалось квартирное бюро. Но там даже имени Алье никогда не слышали. Особняк был нанят в свое время одной французской фирмой. Платежи поступали регулярно, через банк. Контракт был расторгнут нанимателем в одностороннем порядке за двадцать четыре часа, причем клиент потерял право на возвращение залоговой суммы. Все отношения с клиентом совершались в письменной форме, представителем французской стороны выступал господин Рагоцкий. Больше в бюро ничего не знали.

Так. Не укладывается в голове. Раковский или Рагоцкий, в любом случае — таинственный знакомый пропавшего полковника, разыскиваемый проницательным следователем Де Анджелисом, разыскиваемый Интерполом, спокойно нанимает себе дома в Милане. В нашем воображении Раковский полковника Арденти выступал реинкарнацией Рачковского из Охранки, а тот в свою очередь — воплощением вездесущего Сен-Жермена. Но Алье-то был при чем?

Бельбо возвратился в издательство, проскользнул к себе в кабинет и сел думать.

Было от чего сойти с ума, и Бельбо был уверен, что он с него уже сошел. И рассказать некому, и спросить совета невозможно. Вытирая пот, он машинально перекладывал рукописи на столе, последнюю поступившую стопку — и на случайной странице ему бросилось в глаза имя Алье.

Он уставился на первый лист. Сочинение очередного одержимца. «Вся правда о графе Сен-Жермен». Вернулся к странице в середине. Там сообщалось, что согласно биографии Шакорньяка, Клод-Луи де Сен-Жермен^[129] выдавал себя за господина де Сюрмона, графа Солтыкова, мистера Уэллдона, маркиза де Бельмар, князя Ракоши или Рагоцки и так далее, однако подлинные его фамильные имена были граф де Сен-Мартен и маркиз д'Алье — по названию пьемонтского имения его предков.

Прекрасно, теперь Бельбо мог быть совсем спокоен. Мало того что полиция его ловит по неопровержимому обвинению в терроризме, мало того что План оказался правдой, да еще и Алье улетучился за сорок восемь часов, но ко всему вдобавок этот Алье — никакой не псих ненормальный, а бессмертный граф Сен-Жермен собственной персоной, и никогда ни в малейшей степени не пытался это скрывать. Единственное, что оставалось чистой правдой в водовороте лжи,

который бурлил вокруг него — это его имя. Хотя нет, имя тоже было неправдой, Алье был не Алье, но не имело значения, кем он был на самом деле, так как в течение многих лет он вел себя как действующее лицо истории, которую мы выдумали гораздо позже.

В любом случае альтернатив не имелось. После исчезновения Алье Бельбо не мог указать полиции лицо, вручившее ему чемодан. Если даже полиция поверила бы ему, выходило, что чемодан он получил от человека, находящегося в розыске по обвинению в убийстве, и что он этому находящемуся давал работу в течение как минимум двух лет. Хорошее алиби.

Но хуже того. Чтобы элементарно интерпретировать случившиеся события, которые и без того напоминали детектив — а между тем необходимо было их разъяснить, как для себя, так и для полиции — следовало отправляться от таких предпосылок, которых никак не могло быть. То есть надо было принять за данность, что План, изобретенный нами, совпадает тютелька в тютельку, вместе с финальным аккордом — выдуманной погоней за нереальной Картой — с действительно существующим Планом, в котором на самом деле участвуют и Алье, и Раковский, и Рачковский, и Рагоцкий, и господин бородач, и Трис, и так далее вплоть до провэнских тамплиеров, и что полковник, таким образом, был прав. Но это означает, что прав он был ошибаясь, потому что в конечном счете План, выработанный нами, был не тот, что предложенный им, а если был прав его План, был неправ наш, и наоборот, а если был прав наш, то зачем понадобилось Раковскому десять лет тому назад похищать у полковника неправильный План?

От одного только чтения записей Бельбо, занесенных в Абулафию, мне хотелось колотиться головой о стенку. Чтобы увериться, что хотя бы стенка существует реально. Я представлял себе, как должен был чувствовать себя он-то, Бельбо, в тот день и в последующие дни. А между тем на этом его повесть не кончалась.

Пытаясь хоть что-нибудь узнать, он телефонировал Лоренце. Ее тоже не было. Он не сомневался, что больше Лоренцу не увидит. В определенном смысле Лоренца была креатурой, выдуманной Алье. Алье же был креатурой, выдуманной Бельбо, а кем был выдуман он, Бельбо, Бельбо не знал. Он опять развернул газету. Единственное, что абсолютно несомненно: фоторобот — это он. Чтобы снять последние

колебания, именно в эту минуту поступил еще один звонок. Тот же балканский акцент и те же рекомендации. Встреча назначена в Париже.

— Кто вы такие? — прокричал Бельбо.

— Мы из Трис, — ответил голос. — Что такое Трис, вы знаете лучше нас.

Тогда Бельбо решился. Он снял телефон и позвонил Де Анджелису. На коммутаторе не хотели соединять, Бельбо даже подумал, что комиссар больше там не работает. Но в конце концов его переключили на кабинет Де Анджелиса.

— Кого мы слышим, доктор Бельбо, — произнес комиссар каким-то саркастическим тоном. — Вы застали меня совершенно случайно. Сижу на чемоданах.

— Чемоданах? — в ужасе подскочил Бельбо при этом слове.

— Да, перехожу на работу в Сардинию. Надеюсь, там спокойнее.

— Доктор Де Анджелис, я должен поговорить с вами о важном деле. О той истории...

— Какой истории?

— С пропажей полковника. И насчет еще... Помните, когда-то вы спрашивали Казобона, знает ли он, что такое Трис. Так вот, я слышал о Трис. Я должен сообщить вам очень важные...

— Не надо сообщать мне ничего. Меня это уже не касается. И вообще, вам не кажется, что вы немного затянули?

— Да, я готов признать, я кое о чем умолчал тогда, давно. Но сейчас я вам все расскажу.

— Нет, доктор Бельбо, ничего мне не рассказывайте. Прежде всего мне хотелось бы, чтоб вы знали, что наш разговор сейчас прослушивается, а те, кто прослушивает, пусть знают, что я ничего не слышал и слышать не хочу. У меня двое детей. Маленьких. И мне дали понять, что с ними может что-нибудь случиться. И продемонстрировали, что это не шутки. Вчера утром, когда моя жена завела машину, у нее взорвался багажник. Заряд был очень маленький, хлопучечный, но этого хватило, чтобы показать: если захотят, смогут. Я пошел к начальнику и сказал, что до сих пор всегда исполнял свой долг, и делал больше, чем обязан делать, но что я не герой. Я даже могу отдать свою жизнь, но не жизнь жены и не жизнь детей. Я попросил о переводе. А потом пошел и сказал перед всеми нашими,

что я трус, что я обделался со страху. И сейчас повторяю то же самое вам и тому, кто нас подслушивает. Я погубил свою карьеру, я потерял уважение к себе. Выражаясь красиво, я пожертвовал честью, но спас жизнь своим близким. Все говорят, что в Сардинии очень красиво, и мне не надо будет собирать деньги на отдых, чтобы посылать детей летом к морю. До свидания.

— Погодите, дело очень серьезное, я попал в ужасное положение...

— Да? Очень рад это слышать. Когда я просил вас о помощи, вы мне ее не оказали. Ни вы, ни ваш приятель Казобон. А сейчас, когда вы попали в положение, вспоминаете обо мне. А я тоже в положении. Так что вы опоздали. Вы, наверное, считаете, что ваша полиция должна вас беречь? Ну и обращайтесь в полицию. К моему сменщику.

Бельбо повесил трубку. Все просчитано. Они отняли у него возможность обратиться к единственному полицейскому, который бы ему поверил.

Потом он подумал, что в конце концов Гарамон, со своими знакомствами в высших сферах — префекты, квесторы, начальники во всевозможных министерствах, — мог бы помочь ему.

Гарамон выслушал его весьма любезно, в нескольких местах перебивая вежливыми восклицаниями вроде «да что вы говорите», «подумать только» и «мне кажется, что я слушаю роман, более того, новеллу». Потом он соединил ладони, впери в Бельбо взор, полный безграничной симпатии, и проговорил:

— Юноша, позвольте мне называть вас именно так, я ведь мог бы быть и отцом вашим, ну, отцом вряд ли, потому что я еще молод, скажу более, моложав, но мог бы быть вашим старшим братом, надеюсь, вы согласитесь с этим. Говорю я от чистого сердца, и знакомы мы с вами издавна. У меня сложилось впечатление, что вы перевозбуждены, находитесь на пределе сил, с измотанными нервами, скажу сильнее, утомлены. Не думайте, что я не ценю ваших усилий, мне известно, что вы душою и телом преданы работе в нашем издательстве, и настанет день, когда это будет учтено, в терминах, скажем так, материальных, потому что и об этой стороне дела думать не зазорно. Но сейчас бы я на вашем месте взял на какое-то время отпуск. Вы говорите, что находитесь в некоторой щекотливой ситуации. Откровенно говоря, я бы не драматизировал, хотя, позвольте мне заметить, для нашего

реноме было бы огорчительно, если бы один из наших сотрудников, позвольте мне сказать даже, из самых лучших, оказался бы замешан в некую нелепую историю. Вы говорите, что кто-то приглашал вас для объяснений в Париж. Я не требую от вас подробностей, я вам просто верю, таков уж я по натуре. Так что же? Почему бы не поехать, чтобы все выяснилось раз и навсегда? Вы сообщаете, что вступили в отношения — как бы это выразиться — конфликтуальные... с господином Алье, истинным джентльменом. Я не требую отчета о том, что же именно произошло между вами, и в любом случае не придавал бы особой важности случайному совпадению имен, которое произвело на вас столь разительное впечатление. Сколько людей на этом свете носит фамилию Жермен или Джермани; что же из этого? Если Алье приглашает вас в Париж, чтобы во всем разобраться, откровенно говоря, почему бы вам не съездить? Это ведь не конец света. В отношениях между людьми ценнее всего простота и откровенность. Поезжайте в Париж, и если у вас есть что-то на сердце, не запирайтесь. Что на уме, то пусть будет и на языке. К чему все эти секреты! Доктор Алье, если я правильно понимаю, огорчается, что вы не хотите рассказать ему, где лежит какая-то хартия, картинка, картонка или карта — я не понял, о чем конкретно речь, но, в общем, у вас она есть, и вам все равно она ни к чему, а, может быть, нашему другу Алье она понадобилась для научной работы. Мы ведь должны помогать друг другу, тем самым и развитию культуры. Разве вы не согласны с этим? Так уступите ему эту картонку, эту карту, этот атлас мира, меня не интересует знать, чего конкретно вы не поделили. Если он так о ней беспокоится, значит, должна быть тому некая причина, безусловно уважительная причина, как-никак мы имеем дело с джентльменом до мозга костей. Поезжайте в Париж, и увидите: доброе рукопожатие — и тяжесть с души вон. И не расстраивайтесь по мелочам. В любом случае вы прекрасно знаете: если вам хоть в чем-либо понадобится помощь, достаточно только обратиться ко мне. — После этого Гарамон нажал на переговорное устройство: — Госпожа Грация... Ну вот, ее нет. Когда нужно, ее не бывает на месте. Что прикажете делать. У вас свои огорчения, но если бы вы только знали, что приходится выносить мне. Я с вами прощаюсь, если вы увидите в коридоре госпожу Грацию, попросите ее зайти сюда. И прошу вас, хорошенько отдыхайте.

Бельбо вышел в коридор. Госпожи Грации не было на месте, он увидел, как загорелась красненькая лампочка на персональной линии Гарамона. Тот кому-то звонил. Бельбо не смог удержаться (я уверен, что он в первый раз в жизни пошел на подобный поступок). Он поднял трубку и услышал обрывок разговора. Гарамон извещал кого-то:

— Не беспокойтесь. Мне кажется, я его убедил. Он поедет в Париж... Ну что вы, это мой долг. Не случайно ведь мы с вами являемся членами одной и той же духовной кавалерии!

Значит, и господин Гарамон составлял собой часть тайны. Какой же тайны? Той самой, которую он один, Бельбо, был способен поведать миру. И которая не существовала.

Наступал уже вечер. Бельбо отправился к Пиладу, поболтал там с кем-то у стойки, злоупотребил алкоголем. На следующее утро он пошел к своему единственному другу, единственному, который еще был на свете. К Диоталлеви. За помощью к человеку, который в это время умирал.

И от этой последней их беседы внутри Абулафии остался лихорадочный пересказ, в котором я не мог разобрать, какие слова принадлежали Диоталлеви, какие — Бельбо, потому что и тот и другой заговаривались, выборматывая единственную правду, понимая, что миновало то время, когда было можно драпироваться вымыслом.

И случилось рабби Измаилу бен Элиша, и его ученикам, уча книгу Йецира, ошибиться в движениях и зашагать обратно, и ушли все они по пояс в землю, из-за силы букв.

Лже-Саадия, Комментарий к Сефер Йецира

Никогда он не видел его таким альбиносом, хотя уже не было ни волос ни ресниц ни бровей. Напоминало бильярдный шар.

— Извини, — сказал он. — Поговорим о моих делах?

— Валяй. У меня нет дел. Есть Удел. С большой У.

— Я слышал, что нашли новый метод лечения. Эта хворь быстро развивается у двадцатилетних, а у тех, кому под пятьдесят, она идет медленно, тем временем разработают правильную терапию.

— Говори за себя. Мне еще не под пятьдесят. У меня молодой организм и мне полагается более быстрая смерть. Ты видишь, мне трудно говорить. Рассказывай свое дело, я пока отдохну.

Из уважения, из повиновения, Бельбо рассказал ему свое дело. И тогда заговорил Диоталлеви, булькая, как Оно в научно-фантастическом фильме. Он был и видом похож на Оно — прозрачностью, отсутствием границ между внутренностью и внешностью, между кожей и мясом, между клейким белым пухом, вылезавшим из пижамы, вспученной на животе, и клейковинным клубом нутра, который только рентген-лучи или последняя стадия болезни умеют прорисовать с такою четкостью.

— Якопо, я лежу здесь и не знаю, что делается в мире. Поэтому я не могу судить о том, что ты мне рассказываешь сейчас, происходит ли это только внутри тебя или вне тебя. В любом из случаев, кто-то стасовал, смешал и переиначил слова Книги сильнее, чем позволено.

— Что это значит?

— Мы согрешили против Слова, сотворившего и удерживающего мир. Ты терпишь наказание за это, так же как и я. Между нами нет различий.

Появилась сиделка, подала ему что-то для смачивания губ, сказала Бельбо, что утомлять больного не надо, но Диоталлеви взбунтовался:

— Оставьте в покое. Я должен сказать ему Истину. Вы владеете Истиной?

— Ох, ну и вопрос, что вам сказать, прямо не знаю...

— Тогда идите. Это мой друг, я говорю ему важную вещь. Послушай, Якопо. Как внутри человеческого тела имеются члены, суставы и органы, так же и в Торе, понятно? И как внутри Торы есть члены и суставы, так же и в теле.

— Ладно.

— Рабби Меир, когда он учился у рабби Акибы, подмешивал витриоль ^[130] к чернилам, и учитель не говорил ничего. Но когда рабби Меир спросил у рабби Измаила, добро ли он делает, тот ему ответил: сын мой, будь осмотрителен в своем труде, потому что это труд Господен, и если ты потеряешь хотя бы букву или лишнюю букву напишешь, ты испортишь весь мир... Мы хотели переписать Тору, но не боялись недописать или приписать, буквой больше или меньше...

— Мы же в шутку...

— Шутки недопустимы с Торой.

— Но мы шутили над историей, над тем, что писано другими.

— Может ли писание, творящее мир, не быть Книгой? Дай мне немного воды, нет, не в стакане, намочи платок. Спасибо. Теперь слушай. Перемешивая буквы Книги, мы перемешиваем мир. От этого никуда не уйти. Любой книги, даже букваря. Разве типы вроде твоего доктора Вагнера не утверждают, что у того, кто играет со словами, анаграммами и переворачивает вверх дном словарь, черная душа и он ненавидит своего отца?

— Это не совсем так. Эти типы — психоаналитики и говорят так, чтобы заработать. Они не имеют ничего общего с твоими раввинами.

— Имеют, имеют, все они раввины. И все они говорят об одном и том же. Ты думаешь, что раввины, размышляя о Торе, имели в виду какой-то свиток? Они говорили о нас, о тех, кто хочет обновить свое тело при помощи языка. Теперь слушай. Чтобы обращаться с буквами Книги, нужно быть очень набожным, а мы такими не были. Любая книга прошита именем Бога, а мы составляли анаграммы из всех книг истории и не молились. Молчи и слушай. Тот, кто занимается Торой, поддерживает мир в движении, а когда читает или переписывает

заново, поддерживает в движении свое тело. Ибо нет такой части тела, у которой не было бы эквивалента в мире... Намочи платок, спасибо. Если ты нарушаешь Книгу, ты нарушаешь мир, если нарушаешь мир, то нарушаешь тело. Вот чего мы не поняли. Тора выпускает какое-нибудь слово из своей оболочки, оно является на мгновение и сразу же прячется. И является оно только тому, кто его любит. Это можно сравнить с очень красивой женщиной, которая прячется в своем жилище, в глухой комнатухе. У нее единственный возлюбленный, о существовании которого никто не подозревает. И если кто-то другой захочет ее изнасиловать, схватить ее своими грязными лапами, она взбунтуется. Она знает своего любовника, приоткрывает дверь и показывается на мгновение. И тут же снова прячется. Слово Торы открывается только тому, кто его любит. А мы, мы хотели говорить о книгах без любви и в шутку... Бельбо снова смочил ему губы платком.

— Ну и что?

— А вот что: мы захотели сделать то, что нам не было позволено, к чему мы не были готовы, Манипулируя словами Книги, мы хотели создать Голема.

— Не понимаю.

— Ты уже не можешь понять. Ты — пленник твоего создания. Но твоя история происходит все еще во внешнем мире. Не знаю как, но ты можешь выпутаться. Со мною же все обстоит иначе. Я экспериментирую на своем теле с тем, что мы делали шутки ради в Плате.

— Не говори глупостей, все дело в клетках...

— А что же такое клетки? Месяц за месяцем, как набожные раввины, мы произносили разные комбинации букв Книги, GCC, CGC, GCG, CGG. То, что говорили наши губы, заучивали наши клетки. А что сделали мои клетки? Они придумали другой План и теперь движутся по своему усмотрению. Мои клетки придумывают историю, которая отличается от истории человечества. Мои клетки усвоили, что можно ругаться, анаграммируя Книгу и все книги мира. И они научили этому мое тело. Они совершают инверсию, транспозицию, альтерацию, пермутацию, создают невиданные доселе и лишённые смысла клетки или клетки, смысл которых противоположен здравому. Должен ведь быть правильный смысл и смысл ошибочный, иначе наступает смерть. Но они, они играют без веры, вслепую. Якопо, пока

я мог еще читать, лежа тут, я читал словари. Изучал историю слов, чтобы понять, что произошло с моим телом. Для нас, раввинов, это обыкновенный путь. Ты когда-нибудь думал, что риторический термин «метатеза» — двойник онкологического «метастаза»? Что такое метатеза? Это когда вместо «Логос» говорят «голос». Это Темура. Словарь же говорит, что метатеза означает сдвиг, подмену. А метастаз означает изменение, сдвиг. До чего глупы словари. Тот же самый корень — либо от глагола «метатифеми» либо от глагола «мефистеми». Но «метатифеми» означает «ставлю в середину, переношу, перемещаю, подменяю»... А «мефистеми» значит «перемещаю, передвигаю, изменяю, схожу с ума». Вот так мы все и сошли с ума. И в первую очередь обезумели клетки моего тела. Поэтому я умираю, Якопо, и ты это знаешь.

— Ты говоришь так потому, что болен.

— Я говорю так потому, что наконец я понял, что случилось в моем организме. Я изучаю его день за днем, знаю, что в нем происходит, но не могу на него воздействовать, клетки больше не подчиняются мне. Я умираю потому, что убедил свои клетки в том, что правил никаких нет, что с любым текстом можно делать все что угодно. Я потратил жизнь на то, чтоб убедить в этом себя, в первую очередь свой мозг. И мой мозг передал полученное убеждение непосредственно им, моим частицам. Почему я теперь могу надеяться, что они окажутся осторожнее моего мозга? Я умираю от того, что мы оказались свободнее любых допустимых пределов.

— Послушай, то, что происходит с тобой, не имеет никакого отношения к Плану...

— Разве? А с тобой почему происходит то, что происходит? Мир повел себя в точности как мои частицы.

Он затих, обессиленный. Тут вошел доктор и прошипел тихим голосом, что невозможно подвергать подобному стрессу умирающего человека. Бельбо вышел, и это был последний раз, когда он видел Диоталлеви.

Хорошо, пишет дальше он, пусть меня разыскивает полиция по тем же причинам, по которым у Диоталлеви рак. Бедный мой друг. Но я-то, у которого рака нет, что я должен делать? Ехать в Париж выяснять закономерности образования новообразований?

Но он сдался не сразу. Просидев взаперти четыре дня, он пересмотрел свои файлы, фразу за фразой, ища в них объяснения. Потом он записал все, что с ним было, как будто составил завещание, заповедав сказанное самому себе, Абулафии, мне или любому, кто сумел бы это прочесть. И наконец, во вторник он улетел в Париж.

Я думаю, что Бельбо отправился в Париж, чтобы сказать им там, что секретов нет и не бывало, что единственный секрет, который существует — это дать возможность клеткам следовать за инстинктивной мудростью мира, что те, кто ищет секретов под поверхностью, доводят мир до отвратительного канцера. И что отвратительнее и глупее всех был он сам, который ничего не знал и выдумал целый мир. Он имел бы на это право, если бы за это он готов был заплатить дорогую цену. Но чересчур издавна он приучился к мысли, что является трусом. И Де Анджелис подтвердил ему, что героев в этом мире почти нет.

В Париже он, видимо, вышел на связь с Теми и осознал, что Те не собираются верить его словам. Слова были слишком просты, а Те добивались от него откровений, угрожая смертью. Бельбо не имел для них откровений и — последняя из его трусостей — страшился умереть. И тогда он попытался бежать, замечая следы, и позвонил мне в Милан по телефону. Но тут его схватили.

Это урок на будущее. Когда ваш враг опять появится, поскольку он не под последней своей личиной, сорвите ее резко, и в особенности не ходите искать в подземельях.

*Жак Казот, Влюбленный дьявол,
1772 (страница отсутствует в
последующих изданиях)*

/Jacques Casotte, Le diable amoureux/

А сейчас, спрашивал я себя в квартире Бельбо, кончая читать его признания, что следует делать мне? К Гарамону идти нет смысла, Де Анджелис уехал, Диоталлеви сказал все, что он имел сказать. Лия далеко отсюда в доме без телефона. Сейчас шесть утра субботы 23 июня, и если чему-то предстоит случиться, это случится сегодня ночью в Консерватории науки и искусства в Париже.

Я должен принять быстрое решение. Почему, спрашивал я себя в тот вечер в перископе, я не принял решение сделать вид, будто ничего не случилось? Передо мной были записки сумасшедшего, пересказывавшего свои словопрения с другими сумасшедшими, или же с умирающим, находившимся в супервозбуждении и в супердепрессии. Не было точно известно, звонил ли мне Бельбо действительно из Парижа, или из пригорода Милана, или из автомата напротив дома. Почему надо было влезать в историю, которая вполне могла оказаться фантазией и никак меня не касалась?

Но эти вопросы приходили мне в голову значительно позднее, в перископе, когда ноги мои затекали, дневной свет убывал, и меня охватывал неестественный страх, более чем объяснимый, когда человеческое существо оказывается ночью, в одиночестве, в абсолютно пустом музее. Утром того же дня, однако, я не испытывал страха. Только заинтересованность. И, может быть, чувство долга, можно даже сказать, чувство дружбы.

Я пришел к выводу, что должен отправляться в Париж, не вполне понятно для чего, но чтобы не бросать Бельбо в одиночестве. Может быть, он только меня и ждал. Может, он только на то и надеялся, что я появлюсь таинственно ночью в пещере тугов,^[131] и когда Суйодхана^[132] занесет свой жертвенный нож над его грудью, я ворвусь под своды храма с моими верными сипаями, у которых ружья заряжены железной мелочью, и спасу его, и он окажется в безопасности.

К счастью, у меня были деньги. В Париже я взял такси и поехал на улицу Мантихор. Таксист долго чертыхался, потому что улицы с таким названием не было даже в таксистских справочниках, и действительно, шириной она была с коридор поезда, в районе, где прежде протекала река Бьевр, засыпанная ныне, за церковью Сен-Жюльен-Ле-Повр. Такси туда не смогло въехать, я вышел на углу и нырнул в щель.

В щели меня поразило прежде всего, что в ней не было ни единой двери, ни единого входа, но потом я обнаружил за выступом лаз, это и был вход в магазин. Номер дома по улице Мантихор действительно был 3, невзирая на то, что ни первого, ни второго домов не существовало. Витриной и в то же время источником света в магазине служила верхняя половина входной двери. На полках внутри двери несколько десятков книг, только-только чтобы создать атмосферу. На нижней полке несколько кладоискательных вилок, пыльные упаковки воскурений, маленькие не то восточные не то латиноамериканские амулеты. Множество колод тарокко, разнообразных по рисункам и типам.

Внутри было не лучше. Куча книг на стеллажах и на полу, в глубине столик и продавец, посаженный туда, похоже, только чтобы подсказывать описывающим стандартную фразу о том, что он выглядел еще древнее, чем его книги. Он копался в растрепанном рукописном реестре, не обращая ни на что внимания. С другой стороны, не на что было обращать: только два посетителя оживляли собой магазин, сбрасывая лавины пыли с шатких полок при попытке вытащить какой-нибудь том, как правило без обложки, в который они надолго углублялись, всем видом показывая, что пришли не покупать, а читать.

В единственном простенке, не заставленном шкафами, красовался большой плакат. Кричащие краски, какие-то лица в жирно обведенных кружочках, похоже было на плакаты мага Гудини. «Маленький Цирк Невероятного. Мадам Олкотт и ее связи с Невидимым». Оливкового цвета почти мужское лицо, двумя крыльями черные волосы сходятся в узел на макушке, где-то я ее уже видел. «Дервиши Вопленники и их священная пляска», «Мини-Монстры, или Потомки Фортунио Личети» — сборище уморительно безобразных уродцев. «Алекс и Денис, Гиганты Авалона. Тео, Лео и Гео Фоксы, Камуфляж Гектоплазмы».

Книжная лавка Слоан действительно во всем шла навстречу покупателям, предлагая даже билеты в цирк, есть куда сводить дитяню, прежде чем истолочь его в ступке.

Раздался звонок телефона, и старик сдвинул стопку листков, чтобы дотянуться до трубки. «Да, мсье, — заговорил он, — именно так». Несколько минут он слушал молча, сначала утвердительно кивая головой, потом лицо его приняло растерянное выражение, но, я бы сказал, что все это адресовалось посетителям, как если бы все могли слышать то, что слышал он, а он не хотел нести за это ответственность. Затем выражение лица его стало возмущенно-шокированным, как у всех парижских торговцев, когда у них спрашивают то, чего нет в их магазине, или у администраторов гостиниц, когда они сообщают вам, что свободных номеров нет. «О нет, мсье. Ах, это... Нет-нет, мсье, мы этим не занимаемся. Понимаете ли, мы торгуем книгами, можем дать вам справку о каталогах, но вот это... Это очень личные вопросы, а мы... Ну... знаете, по этим вопросам скорее всего можно обратиться к кюре или... если хотите, к экзорцистам. Да-да, я знаю, бывают и среди нашего брата случаи, когда этим занимаются... Но только не мы. Нет, в самом деле, описания мне недостаточно, и все же... Сожалею, мсье. Что? Да... если хотите. Это известное место, только не спрашивайте моего мнения. Именно, именно, знаете ли, в таких случаях доверие — это все. К вашим услугам, мсье».

Два других посетителя ушли.

Мне было не по себе. Я попытался кашлем привлечь к себе внимание книготорговца и проинформировал его, что ищу приятеля, завсегда эта лавка, господина Алье. Старец посмотрел на меня с изумлением. Может быть, добавил я, он известен не под именем Алье,

а скажем как Раковский, Солтыков или... Тот посмотрел на меня еще пристальнее, щуря глаза, без всякого выражения, и заметил, что у меня странные знакомые со многими именами. Я сказал тогда, что не имеет значения, что я спрашивал просто так. Погодите, сказал он, сейчас должен прийти сюда мой компаньон, вероятно, он знает того господина, которого вы ищете. Да, да, посидите, там в глубине магазина есть стул. Я позвоню, наведу справки. Он поднял трубку, накрутил номер и о чем-то заговорил приглушенным голосом.

Казобон, сказал я сам себе, ты еще глупее Бельбо. Чего ты теперь ждешь? Чтобы нагрянули Те Самые, какая интересная встреча, вот здесь и друг Якопо Бельбо, идите, идите же сюда поближе, не бойтесь...

Я вскочил, распрощался и выбежал. За одну минуту промчавшись по улице Мантихор, я оказался в лабиринте кривых улочек, обрывавшихся на набережной Сены. Идиот, продолжал шептать я, чего ты хотел достичь? Приехать в Париж, разыскать Алье, взять его за шиворот, тот бы извинился, произошло недоразумение, вот вам ваш приятель, мы его не попортили. На это ты рассчитываешь? Теперь им известно, что ты тоже в Париже.

Было около часу. Вечером что-то должно было произойти в Консерватории. Что мне было делать? Я шел по улице Сен-Жак и то и дело оборачивался. Вдруг мне показалось, что какой-то араб меня преследует. С чего я взял, что он араб? Отличительная черта арабов в том, что они арабами не кажутся, я имею в виду в Париже, в Стокгольме другое дело.

Поравнявшись с какой-то гостиницей, я вошел и попросил комнату. Идя с ключом по деревянной лестнице, на втором этаже которой была балюстрада, я свесился посмотреть вниз и увидел, что «араб» вошел за мной и направился к стойке. Потом в коридоре я заметил каких-то людей, которые вполне могли бы быть арабами. Ничего странного, в этом районе, должно быть, на каждом шагу гостиницы для арабов. Ну и что из этого?

Я вошел в комнату. Она оказалась приличной и даже с телефоном, жалко только, что я не знал кому позвонить.

Я лег и забылся беспокойным сном часа на три. После этого встал, умылся холодной водой и отправился по направлению к Консерваторию. Теперь мне ничего другого не оставалось, я должен

был войти в музей, дожидаться часа закрытия, спрятаться и сидеть до полуночи.

Это я и сделал. Полночь уже приближалась, я находился в перископе, чего-то ждал.

Нецах для некоторых толкователей — сефира Сопротивляемости, Выносливости и беспредельного Терпения. И точно, впереди было Испытание. Но по другим толкователям, это сефира Победы. Победы кого? Полагаю, что в этой истории о проигравших, где Бельбо проиграл одержимцам, одержимцы Бельбо, а Диоталлеви проиграл собственным клеткам, я был единственным победителем. Я упрятался в перископе, я знал о тех, те не знали обо мне. Первая часть моего замысла развернулась точно по плану.

Ну, а вторая? Она тоже пройдет по моему плану или же по Плану, который уже принадлежит не мне?

ГОД

Для наших Церемоний и Ритуалов в Храме Розового Креста нам служат две длинные и красивые Галереи. В одной мы размещаем модели и образцы всех редчайших и совершеннейших изобретений, в другой — Статуи величайших Изобретателей.

*John Heydon. The English Physitians Guide:
Or A Holy Guide, London, Ferns, 1662,
Предисловие*

Я находился в перископе уже слишком долго. Было, наверное, часов десять или половина одиннадцатого. Если что-то должно случиться, то произойдет это в нефе, перед Маятником. Значит, мне пора было спуститься и поискать укрытие, которое стало бы хорошим наблюдательным пунктом. Если я приду туда поздно, после того, как Они уже войдут (через какой вход?), Они меня заметят.

Спуститься. Выпрямить ноги... Вот уже несколько часов я не мог думать ни о чем другом, но теперь, когда я могу, когда было самое время двинуться с места, я чувствовал себя словно парализованным. Мне надо было в темноте пройти через зал, осторожно пользуясь карманным фонариком. Сквозь оконные стекла сочился слабый ночной свет, и я здорово ошибался, когда представлял, что в лунном сиянии музей выглядит пугающе. Если бы я позабыл об осторожности, то свалился бы, столкнув при этом на пол какой-нибудь стеклянный или металлический экспонат. Время от времени зажигая фонарик, я чувствовал себя как в кабаре «Крейзи Хорз», когда внезапно вспыхивающий луч света выхватывает из темноты — к сожалению — не обнаженное тело, а какие-то винты, болты, подпорки.

А если вдруг лучик моего фонарика наткнется на живое существо, на чей-то силуэт, на посланца Властелинов, идущего за мной по пятам? Кто закричит первым? Я прислушался. Зачем? Ведь я шел бесшумно, едва касаясь пола. Значит, он тоже.

Еще днем я внимательно изучил расположение залов и был уверен, что даже в темноте сумею найти монументальную лестницу. В действительности же я шел почти на ощупь и в конце концов заблудился.

Возможно, я снова и снова проходил по одним и тем же залам, возможно, я никогда отсюда не выйду, а может быть, это блуждание среди лишенных смысла машин было ритуалом.

Правда же заключалась в том, что я не хотел идти вниз, а стремился оттянуть время встречи.

Я вышел из перископа после долгой и беспощадной борьбы с самим собой. Все эти часы, мысленно возвращаясь к ошибке, совершенной нами в последние годы, я пытался понять, почему безо всякой разумной причины я отправился на поиски Бельбо, который оказался здесь по еще менее разумной причине. Но как только я выставил ногу за пределы перископа, все изменилось. Скользя по залам, я размышлял как бы чужим умом. Я стал Бельбо. И как Бельбо, который уже приблизился к концу своего длинного пути к озарению, я знал, что любой предмет на этой земле, будь он самый мерзкий из всех, должен быть прочитан как иероглиф другого предмета, и нет ничего Другого, более реального, чем План. О да, я хитрец, достаточно было вспышки, одного взгляда в проблеске света, чтобы я все понял. Со мной так просто не совладать.

...Двигатель Фромана: вертикальная конструкция с ромбовидным основанием словно анатомический воск, через который просвечивают искусственные ребра, в нее заключены множество катушек, всяких батареек, выключателей, всех этих штуквин, как их там, черт побери, называют в школьных учебниках, приводимых в движение трансмиссионным ремнем, связанным со шкивом через зубчатое колесо... Для чего она могла быть нужна — эта машина? Ответ очевиден: для измерения теллурических токов.

Аккумуляторы. Что они аккумулируют? Нельзя отделаться от мысли о Тридцати Шести Невидимых в качестве упрямых секретарей (хранителей тайны), стучащих по ночам на своих записывающих тамбуринах, чтобы извлечь из них хоть один звук, одну искру, один вызов, которые протянулись бы диалогом между одним ребром и другим, между бездной и поверхностью, от Мачу-Пикчу к Авалону, бип, бип, бип, быстро, быстро, быстро. Памерсиэл, Памерсиэл, я

поймал колебание, ток Му 36, ток, которому брахманы поклонились как слабому дыханию Бога, подсоединяю контакты, включаю микро-макрокосмический контур, под земной корой дрожат все корни мандрагоры, слышу пение Вселенской приязни, конец связи.

Бог мой, на равнинах Европы пускали друг другу кровь армии, папы сыпали анафемами, встречались императоры, гемофилы и кровосмесители, в охотничьем домике дворцовых садов — и все это, чтобы заслонить роскошным фасадом работу тех, кто в Доме Соломона вслушивался в слабые призывы Центра Мира.

Они были здесь, чтобы управлять этими гексатетраграмматическими псевдотермическими электрокапиллярными машинами (так, наверное, сказал бы Гарамон), и время от времени один из Них изобретал вакцину или лампочку, чтобы оправдать чудесное приключение металлов, однако задача состояла совсем в другом, и вот все Они собрались здесь в полночь, чтобы запустить эту статическую машину Дюкрете — прозрачное колесо, похожее на патронташ, а сзади — два дрожащих шарика, удерживаемые двумя дуговыми палочками. Возможно, они тогда соприкасались и из них вылетали искры, Франкенштейн надеялся, что так он сможет дать жизнь своему Голему, но нет, нужно ждать другого сигнала: рой, рой, старый крот...

...Швейная машинка (как же она отличается от тех, на рекламных плакатах, где с ней соседствуют пилюли для увеличения бюста и большой орел, который парит над горами, а в его когтях — Робур Завоеватель, R.C.). Но если ее привести в движение, начнет вращаться колесо, колесо — кольцо, кольцо... а что делает тот, кто прислушивается к кольцу? На табличке написано: «токи, индуцируемые земным полем». Какое бесстыдство — а ведь это могут прочесть даже дети, когда приходят сюда в послеобеденные часы, — настолько человечество уверено, что движется в другом направлении. Можно испробовать все, можно идти на высший эксперимент, утверждая, что речь идет о механике. Властители Мира дурачили нас веками. Выводили в поле, окружали, прельщали Заговором, а мы писали поэмы, восхваляющие паровоз. Я ходил взад и вперед, представлял себя совсем маленьким, микроскопическим, и тогда я стал бы путешественником, обалдевшим на улицах механического города, ощерившегося металлическими небоскребами. Цилиндры, батареи,

лейденские банки одна на другой, карусель двадцать сантиметров высотой, *tourniquet électrique a attraction et repulsion*. Талисман для стимулирования токов симпатии. *Collonade étincelante formée de neuf tubes*, гильотина, а в центре — это было похоже на печатный станок — свисали крюки, поддерживаемые стойловыми цепями. Печатный станок, в который можно сунуть руку, голову, предназначенные для сплющивания. Стекланный колокол, приводимый в движение двухцилиндровым пневматическим насосом, что-то вроде алембика, снабженного снизу чашей, а справа — медным шаром. В нем Сен-Жермен готовил тинктуры для гессенского ландграфа.

Стойка для трубок со множеством маленьких клепсидр с вытянутыми сужениями, при виде которых в воображении всплывали женщины Модильяни, в середине какое-то непонятное вещество, в двух рядах по девять, верхние куполы на разной высоте, словно маленькие монгольфьеры, готовые взмыть в воздух, но удерживаемые на земле шаровидным балластом. Прибор для изготовления Ребиса — на глазах у всех.

Отдел стекла. Я уже был здесь. Зеленые флаконы, хозяин-садивист предлагает мне концентрированные яды. Железные машины для производства бутылок, открывающиеся и закрывающиеся двумя рычагами, а если бы кто-то вместо бутылки сунул туда руку? Щелк, как это делают огромные плоскогубцы, эти ножницы, эти скальпели с изогнутыми остриями, которые можно вставить в сфинктер, в уши, в матку, чтобы извлечь из нее еще теплый зародыш, а затем растолочь его с медом и перцем и удовлетворить жажду Астарты... Теперь я шел через зал с большими витринами, различал кнопки для включения спиральных буров, которые неумолимо движутся к глазам жертвы. Колодец и Маятник. Это почти карикатура, как бесполезные машины Голдберга, как пресс для пыток, в котором Деревянная Нога держал Микки Мауса, *engrenage extérieur a trois pignons* триумф механики эпохи Возрождения, Бранка, Рамелли, Дзонка, мне были знакомы эти шестерни, я использовал их в чудесных приключениях металлов, но сюда они были помещены позже, в прошлом веке, готовые приструнивать бунтарей после завоевания мира, тамплиеры научились у ассасинов, как заставить замолчать Ноффо Деи, [\[133\]](#) когда удастся его схватить обвисшие конечности врагов Властителей Мира перекрутятся в направлении солнца подобно свастике Зеботтендорфа, все готово,

Они ждут знака, все на глазах у всех, План стал публичным достоянием, но никто не сможет его разгадать, скрипучие глотки поют свой завоевательский гимн, великая оргия ртов с единственным зубом, губы смыкаются в гримасе, и создается впечатление, что все зубы в одно мгновение выпали на землю.

В конце концов я очутился перед *emetteur a etincelles soufflees*, который спроектирован специально для Эйфелевой башни, чтобы обмениваться сигналами времени между Францией, Тунисом и Россией (тамплиеры из Провэнса, павликиане и ассасины из Феса-Фес не в Тунисе, а ассасины были в Персии, и потом, нельзя играть в утонченность, когда живешь в витках Утонченного Времени), и я уже видел эту чудовищную машину, выше меня самого, с проделанными в стенках отверстиями, воздухозаборниками; кто хотел убедить меня, что это — радиоприемник? Ну да, я уже видел ее, я проходил там сегодня днем, Бобур!

На наших глазах. А действительно, для чего был предназначен этот огромный громоздкий ящик в центре Лютеции (Лютеция, дыра для моря подземной грязи), там, где раньше находилось Чрево Парижа с его хоботами, захватывавшими воздушные потоки, с этим безумием труб, желобов, этим ухом Дионисия, открытым внешней пустоте, чтобы посылать звуки, послания, сигналы к центру земного шара и возвращать их, изрыгая информацию из ада? Сначала Консерваторий как лаборатория, потом Башня как антенна, наконец, Бобур как глобальное приемо-передающее устройство. Неужели кто-то думает, что установил эту гигантскую присоску, чтобы позабавить четверку заросших и дурно пахнущих студентов, желающих послушать последнюю модную пластинку через вставленный в ухо японский наушник? На наших глазах. Бобур как ворота подземного царства Агарты, как памятник все возрождающимся синархическим справедливостям. А те — два, три, четыре миллиарда Тех, они не знают об этом или стараются не знать. Глупые и гилики. А пневматики в течение шести веков обращены к своей цели.

Внезапно я очнулся на главной лестнице и спустился по ступеням, еще больше насторожившись. Приближалась полночь. Мне нужно было спрятаться в моем наблюдательном пункте до Их прихода.

По-моему, было часов одиннадцать или около того. Я пересек зал Лавуазье, не зажигая фонарик, все еще под властью воспоминаний о

послеобеденных галлюцинациях, и вошел в галерею с моделями железных дорог.

В нефе уже кто-то был. Я видел колышущиеся слабые огоньки. Послышались звуки быстрых шагов, шум переставляемых предметов.

Я погасил фонарь. Успею ли я добраться к будке охранника? Я проскользнул вдоль стендов с моделями поездов и вскоре добрался до статуи Грамма, в трансепте. Статуя возвышалась на деревянном кубическом постаменте (кубический камень Эзода!), словно охраняя вход в хоры. Я помнил, что моя статуя Свободы должна находиться прямо за его спиной.

Передняя стенка пьедестала была откинута, образуя своего рода мостик, по которому можно было выйти из вентиляционной шахты. И действительно, оттуда появился человек с фонарем, возможно газовым, с цветными стеклами. Фонарь отбрасывал на лицо красноватый свет. Я влип в угол, и он меня не заметил. К нему приблизился кто-то с хоров. «Поторопитесь-сказал он подошедшему — они будут через час».

Итак, это был авангард, который готовил все необходимое для ритуала. Если их немного, я смогу ускользнуть к Свободе незамеченным. Пока не пришли тем же путем Они, Бог знает откуда и сколько. Я долго сидел затаившись, следя за отблесками фонарей в церкви, за чередованием света и тени. Я вычислял, когда они отдалятся от Свободы настолько, чтобы я оказался в тени. В какой-то момент я рискнул проскользнул вдоль левого бока Грамма, с трудом прижимаясь к стене и втягивая живот. Хорошо, что я худой как щепка, Лия... Я подбежал и втиснулся в будку.

Чтобы не обнаружить себя, я уселся на пол, скрючившись, как зародыш. Сердце билось учащенно, а может, это стучали зубы.

Нужно расслабиться. Я равномерно задышал носом, постепенно заглатывая воздуха все больше. Без сомнения, именно так во время пыток можно сознательно вызвать обморок, чтобы не чувствовать боли. И в самом деле, я почувствовал, как медленно погружаюсь в объятия Подземного Мира.

Наше дело — тайна внутри тайны, тайна чего-то, что остается скрытым, тайна, которую лишь другая тайна может изъяснить, это тайна на тайне, которая тешится тайной.

Джафар аль-Саид, шестой Имам

Я медленно возвращался в сознание. Слышались звуки, тревожно мерцали блики. Меня мучили задеревеневшие ноги. Я постарался подняться тихонько, без всякого шума, ступни оперлись на отмель, заселенную морскими ежами. Русалочка, ау! Совершенно бесшумно я перемялся с ноги на ногу, встал на цыпочки, опустил на пятки. Пытка стала выносимое. Только тогда, высунув осторожно голову из будки, я посмотрел налево, направо и убедился, что моя засада остается в тени. Я мог видеть, не будучи видимым.

Неф освещался повсюду. Свет шел от фонарей, теперь их было несколько десятков, по фонарю у каждого участника бала, число которых прибывало каждую минуту. Они выныривали из постаamenta памятника Грамму, проходили через бывший соборный хор и устраивались в нефе. Господи, сказал я себе, что за шабаш на Лысой Горе, нарисованный Диснеем!

Они не галдели, а шептались, но все совокупно производили какой-то назойливый шум, как в театре, когда статисты вразнобой бормочут «чтоговоритькогданеочемговорить».

Слева от меня фонари были расположены на земле полукругом, дорисовывая приплюснутой дугою восточную выпуклость абсиды, достигая окраиной этого как бы полукруга статуи Паскаля. Под статуей располагался пылающий жертвенник, на который постоянно подбрасывали травы, эссенции. Дым пробирался ко мне в будку, драл горло, приводил меня в состояние тупого перевозбуждения.

На фоне трепета фонарей я заметил, что посередине хора колыхалась какая-то штука, какая-то тонкая и подвижная тень.

Маятник! Маятник не болтался теперь на своем месте под крестовиною купола. Он был прицеплен, и не он, а другой, бывший

больше, к замку свода над хором. Шар стал крупнее, трос, державший его, толще, он напоминал корабельный канат или витой кабель.

Маятник был такой же громадный, какой проектировался в свое время для Пантеона. Было похоже, как будто я смотрел на Луну в телескоп.

Они реконструировали его в том же виде, в каком тамплиеры испытали его впервые, за полтысячелетия до Фуко. Чтобы позволить маятнику качаться свободно, они к тому же убрали некоторые предметы, добавив к амфитеатру хора свой грубый фонарный полукруг, антистрофу — сцену.

Я недоумевал: как же Маятник ухитряется сохранять постоянную энергию? Ведь под половым покрытием хора не вмонтирован, как на прежнем месте, магнитный амортизатор? И тут же увидел как. У окраины хора, рядом с двигателями Дизеля, находился человек, который, в любой момент готовый, как кот, совершить прыжок в зависимости от изменений колебательного плана, — мягким движением руки добавлял шару, всякий раз когда шар проносился в радиусе его действия, новый небольшой импульс, точно рассчитывая силу толчка длинных и гибких пальцев.

Он был во фраке, как Мандрейк. Немного погодя, получше разглядев всю его команду, я понял, что это фокусник, иллюзионист «Маленького цирка мадам Олкотт», профессионал, умеющий великолепно дозировать энергию нажима, с железными запястьями, с привычкою работать на микроскопических различиях. А может быть, он даже был способен сквозь тонкие подметки своих лакированных туфель прочувствовать течения Земли и привести свои руки в соответствие тайной жизни шара и тайной жизни Земли, на призывы которой реагировал шар?

Его окружение. Чуть погодя я рассмотрел и их тоже. Они проскальзывали между автомобилями нефа, проныривали около дрезин и мотоциклов, почти что перекатывались в потемках, кто подтаскивал трон и покрытый красным сукном стол заседаний в широкую галерею в дальнем конце нефа, кто примащивал дополнительные фонари. В своей мелкости, в ночном мельтешенье они ковыляли, как рахитичные дети, и я заметил у одного, проходившего рядом, монголоидные черты лица и лысый череп. Это были Мини-

Монстры мадам Олкотт, мерзейшие карлики-уроды, которых я видел на плакате в лавке Слоан.

Цирк собрался тут в полном составе, труппа, пожарные и коверный персонал. Я увидел Алекса и Дениса, Гигантов Авалона, затянутых в ремни из черной кожи с нашлепками, действительно гигантских, белокурых: они стояли прислонившись к громадному Обеиссану, крестом сложивши руки, выжидая.

Не было времени пытаться рассмотреть остальное. Вошел некто с большой торжественностью, властным жестом призвал к порядку. Я узнал Браманти лишь по его кровавой тунике, белому плащу и митре, которые видел во время знаменитого мистического вечера в Пьемонте. Браманти приблизился к жертвеннику, плеснул на него что-то, всех обдало чадом и вслед за этим жирная белая волна дыма и аромата распространилась по всей зале. Как тогда в Рио, подумал я, как тогда в Пьемонте на алхимическом балу. А у меня нет агогона. Я завесил платком рот и ноздри, как противогазом. Но все тщетно: Браманти задвоился в моих глазах, а Маятник стал скакать передо мною сразу во множестве направлений, как в луна-парке.

Браманти начал выкликать:

— Алеф бет гимель далет ге вав заин хет тет йод каф ламед мем нун самех айин пе цади коф рейш шин тав!

Толпа отвечала молитвенно:

— Пармесиэль, Падиэль, Камуэль, Азели-эль, Бармиэль, Гедиэль, Азириэль, Мазериэль, Дорхтиэль, Узиэль, Кабари-эль, Райзиэль, Зимизэль, Армадиэль...

Браманти снова махнул, и некто отделился от толпы, преклонил колено у ног священнодея. Только на мгновение мне удалось увидеть его лицо. Это был Риккардо, человек со шрамом, художник.

Браманти допрашивал его, а тот произносил ответы, откликаясь наизусть затверженными формулами ритуала.

— Кто ты есть?

— Я адепт, еще не допущен до высочайших секретов ТРИС. Я готовился в молчании, в медитации, сопредельной тайне Бафомета, и в сознании, что Великое Деяние творится о шести нетронутых печатях и что только перед окончанием мы узнаем тайну седьмой печати.

— Как ты был принят?

— Взойдя по перпендикуляру к Маятнику.

— Кто тебя принял?

— Мистик-Легат.

— Ты узнал бы его?

— Нет, ибо он был маскирован. Мне известен в лицо только Рыцарь на одну ступень выше меня, а тому известен лишь Измеритель на ступень выше его ступени, и так каждому известен лишь один. И я желаю того же.

— Quid facit Sator Агеро?

— Tenet Opera Rotas.

— Quid facit Satan Adama?

— Tabat Amata Natas. Mandabas Data Amata, Nata Sata.

— Ты доставил женщину?

— Да, она здесь. Я передал ее тому, кто был мне указан. Она готова.

— Ступай же и будь готов.

Диалог проходил на весьма приблизительном французском. Покончив с этим, Браманти сказал:

— Братья, мы собрались во имя Единого Ордена, Ордена Неизвестного, к которому до вчерашнего дня вы и не ведали, что принадлежите, а принадлежали к нему всегда! Поклянемся же. Анафема профанаторам тайны! И анафема сикофантам Оккультного, анафема тем, кто сделал позорищем Ритуалы и Таинства!

— Анафема!

— Анафема Невидимому Коллегиуму, ублюдкам Хирама и вдовицы, и магистрам оперативным и спекулятивным Великой лжи Востока и Запада, Древней, Принятой и Исправленной, Мисраиму и Мемфису, Филатетам и Девяти сестрам, Строгому наблюдению и Порядку Храма восточного, Иллюминатам Баварии и Авиньона, Кавалерам Кадоша, Избранным Козна, Совершенному Дружеству, Рыцарям Черного Орла и Святого Града, Розенкрейцерам Англии, Каббалистам Златорозового Креста, Золотой Заре, Католическому розенкрейцерству Храма и Грааля, Утренней Звезде, Светилу Аргентинскому и Телемскому, Вриль и Туле, анафема древним и мистичным узурпаторам наименования Великого Белого Братства, Наблюдателям Храма, анафема всем Коллегиумам и Приоратам Сиона и Галлий!

— Анафема!

— Кто бы по простоте, по повелению, из прозелитизма, расчета либо же по злой воле ни был инициирован в ложу, коллегииум, приорат, капитул, орден, которые незаконно апеллируют к Неведомым Верховникам и Старшинам мира, да отречется этой же ночью и да испросит в исключительном порядке принятия духовного и телесного в ряды единственного истинного наблюдения, ТРИС, Тамплиеров-Рыцарей Интернациональной Синархии, в триединый и тринософский мистический и секретный орден Кавалеров Синархов Возрождения Тамплиерства!

— Под сению крил твоих!

— Пусть же войдут местодержатели тридцати шести постов высшей тайной иерархии! И в то время как Браманти выкликал одного за другим избранных, они входили в литургических одеждах, каждый неся на груди Золотое Руно.

— Кавалер Бафомета, Рыцарь Семи Нетронутых Печатей, Кавалер Седьмой Печати, Кавалер Тетраграмматона, Рыцарь Каратель Флориана и Деи, Рыцарь Атанора... Достопочтенный Измеритель Вавилонского Столпа, Достопочтенный Измеритель Великой Пирамиды, Достопочтенный Измеритель Кафедральных Соборов, Достопочтенный Измеритель Храма Соломона, Достопочтенный Измеритель Садов Палатинских, Достопочтенный Измеритель Храма Города Солнца...

Браманти выкликал титулы, а их носители группами вступали в зал, и я, как ни силился, не успевал различить их по титулам, однако несомненно в числе первой дюжины вошли Де Губернатис и старик из книжной лавки Слоан, профессор Канестрис и другие, виденные мною на мистическом празднике в Пьемонте. По-видимому, степень Кавалера Тетраграмматона относилась к господину Гарамону, он вошел чопорный, иератичный, полный сознания своей новой роли, подрагивающими руками он то и дело ощупывал свой нагрудный знак Золотого Руна. Тем временем Браманти продолжал: — Мистик-Легат Карнака, Мистик-Легат Баварии, Мистик-Легат Барбелогностиков, Мистик-Легат Камлота, Мистик-Легат Монсегюра, Мистик-Легат Сокровенного Имама... Верховный Патриарх Томара, Верховный Патриарх Килвиннинга, Верховный Патриарх Сен-Мартен-де-Шан, Верховный Патриарх Мариенбада, Верховный Патриарх Невидимой Охраны, Верховный Патриарх In partibus Скалы Аламута...

Как легко догадаться, Великим Патриархом Невидимой Охраны являлся Салон, такой же сероликий, но без своего халата, сегодня он красовался в желтом облачении вроде туники с кровавым подбоем. За ним следовал Пьер, психопомп Люциферовой церкви, имевший на груди, в отличие от всех, не орден Золотого Руна, а стилет в позолоченных ножнах. Тем временем Браманти продолжал:

— Великий Иерогам Алхимического Бракосочетания, Великий Психопомп Родоставрос, Великий Референдарий Тайного Тайных, Великий Стеганограф Иероглифической Монады, Великий Коннектор Астрального и Взаимного космоса, Великий Смотритель Гробницы Христиана Розенкрейца... Неуловимый Архонт Земных токов, Неуловимый Архонт Полого Земного Шара, Неуловимый Архонт Мистического Полюса, Неуловимый Архонт Лабиринтов, Неуловимый Архонт Маятника Маятников... — Браманти выдержал паузу, и, как мне показалось, с неудовольствием возвестил последнего члена совета: — Неуловимейший из Неуловимых Архонтов, Раб Рабов, Смирнейший Секретарь Эдипа Египетского, Ничтожный Посланник Верховников Мира и Вратарь Агарты, Последний Кадильщик Маятника, Клод-Луи, граф Сен-Жермен, князь Ракоши, граф Сен-Мартен, маркиз Алье, властелин Сюрмона, маркиз Уэллдон, маркиз Монферрат, Эмар и Бельмар, граф Солтыков, кавалер Шёнинг, граф Цароги!

В то время как прочие располагались на галерее, в президиуме, лицом к маятнику и к общему собранию, рассевавшемуся в нефе, вошел господин Алье, в синем в полоску двубортном костюме, с бледным и замкнутым ликом, ведя за собою, как ведут душу умершего по тропинке Аида, бледную, как он, и как будто одурманенную наркотом, одетую в одну только белую полупрозрачную тунику, Лоренцу Пеллегрини с разметанными по плечам волосами. Я увидел ее в профиль, в то время как она проходила, нежная, изможденная, как прелюбодеица прерафаэлитов. Слишком прозрачная, чтоб не возбудить в очередной раз моего желания.

Алье подвел Лоренцу к жертвеннику, вблизи от статуи Паскаля, погладил ее по отсутствующему, задумчивому лику и подал знак Гигантам Авало-gia, чтобы они приблизились и поддержали Лоренцу. Потом направился к столу и уселся лицом к своей пастве, и мне он был

виден прекрасно, в то время как вынимал из жилетного кармана табакерку и вращал ее пальцами в безмолвии, прежде чем заговорить.

— О братья, о кавалеры. Вы собраны потому, что в эти дни Мистические Легаты оповестили вас о слете, и следовательно, всем вам известна причина, объединившая нас тут. Мы должны были бы собраться в ночь 23 июня 1945 года. Может быть, некоторые из вас в тот год еще не были рождены на свет — я хочу сказать, не существовали в своей сегодняшней ипостаси. Я пригласил вас сюда, потому что после шести сотен лет мучительнейших блужданий мы обнаружили того, кто знает. Как он узнал — и узнал больше, чем знаем мы — это тревожащая тайна. Но добавлю, что среди нас присутствует — и ты не мог бы не быть тут, не правда ли, мой любопытный друг, однажды уже раскаявшийся в излишнем любопытстве? — итак, открою вам, что среди нас присутствует некто, кто мог бы рассказать, откуда знает Тот. Арденти!

Полковник Арденти — и это был именно он, в том же вороновом оперении, хотя немного одряхлевший — протолкался между зрителями и встал перед столом, за которым заседал грозный Судия. Между ним и подсудимым, как непреодолимая преграда, со свистом прорезал воздух справа налево и обратно тяжелый шар Маятника.

— С тех пор как мы не видимся, о брат мой, — усмехнулся Алье, — я слышал, что ты не сумел удержаться и разгласил секретные сведения. Так как же? Ты знаешь, что сказал нам заключенный, и он говорит, что узнал от тебя. Значит, ты знал это и таил от нас.

— Граф, — отвечал Арденти. — Заключенный лжет. Мне унижительно признаваться, но честь превыше всего. История, которую я ему доверил, не та, в которую посвятили меня сейчас Мистические Легаты. Истолкование Послания — да, это верно, Посланием я занимался, и этого я не потаил от вас тогда, несколько лет назад, в Милане, — его истолкование Послания для меня ново. Я не был бы способен прочесть его так, как читает заключенный, и поэтому я искал помощи. И должен сказать, что этой помощи от него не получил, напротив, встретил лишь недоверие, вызов и угрозы... — Может быть, он собирался сказать что-то еще, но глядя на Алье, он глядел также и на Маятник, оказывавший на него завораживавшее влияние. В гипнотическом трансе он пал на колени и смог произнести только: — Прошу пощады, ибо не знаю.

— Ты пощажён, ибо знаешь, что не знаешь, — сказал ему Алье. — Ступай. И так, о брата, заключённый знает много того, о чём не знал ни один из нас. Он даже знает, кто такие мы, а мы узнали это от него. Следует действовать безотлагательно, ибо скоро начнёт рассветать. Оставайтесь же здесь в медитации, пока я удалюсь, чтобы снова беседовать с заключённым и чтоб вырвать у него признание.

— А, нет, месье граф! — Пьер выступил на просцениум, глаза его горели. — У вас было два дня, вы с ним говорили, с нами это не обсуждалось, и он не видел ничего, не говорил ничего, не слышал ничего, как три обезьяны. О чём вы хотите опять его спрашивать, сейчас, в эту ночь? Нет, нет, сюда, перед всеми, перед нами, немедленно!

— Успокойтесь, мой милый Пьер. Я распорядился доставить сюда сегодня ту, которую чту как совершеннейшее воплощение Софии, как мистическую связную между миром заблуждения и Верховным Огдоадом. Не дознавайтесь, как и почему, но при помощи этой посредницы заключённый заговорит. Скажи всем этим людям, кто ты такая, София!

И Лоренца, в том же сомнамбулическом трансе, почти что с трудом выговаривая слова:

— Я семь... блудница и святая...

— А, вот какие штуки, — ощерился Пьер. — С нами тут сливки мировой инициации, а надо прибегать к девкам! Нет уж, сюда его, к Маятнику, и быстро!

— Не будем ребячиться, — настаивал Алье. — Мне нужен час времени. С чего вы взяли, что он будет красноречив у Маятника?

— Будет красноречива его смерть! Человеческую жертву! *Le sacrifice humain!* — заревел Пьер, обращаясь к залу. И зал подхватил хором:

— *Le sacrifice humain!*

Салон сделал шаг вперед:

— Граф, ребячество ни при чём, правота на стороне брата. Мы же не полиция...

— Уж вы бы на эту тему молчали... — парировал Алье.

— Мы же не полиция и не считаем для себя употребимыми известные методы дознания. Не думаю в то же время, что могли бы возыметь действие жертвоприношения духам подземного мира. Если

бы они хотели подать нам какие-либо знаки, у них имелось достаточно времени. Они не подали знаков. Кроме заключенного, знал еще кое-кто, не считая того, кого не стало. Так вот, нынешней ночью в нашей власти провести очную ставку заключенного с теми, кто знали и даже... — тут он хихикнул, буравя Алье прищуренным взглядом из-под кустоватых бровей, — провести их очную ставку с самими нами, вернее с некоторыми из нас...

— На что вы намекаете, Салон? — спросил Алье дрогнувшим, внезапно севшим голосом.

— Если позволит господин граф, я сейчас поясню, — заговорила мадам Олкотт. Это была она, я узнал ее по фотографии на плакате. Землистое лицо, оливковые одежды, лоснящиеся от масел черные косы, собранные на макушке, мужской прокуренный голос. Мне еще в магазине Слоан померещилось что-то знакомое в этом портрете, и сейчас я наконец понял: это была та друидесса, которая налетела на нас на мистическом празднике в Пьемонте.

— Алекс и Денис, приведите заключенного.

Она скомандовала так решительно, ропот толпы в нефе был так очевидно солидарен с нею, два гиганта так мощно двинулись по ее приказу, передоверив Лоренцу двум мелким Мини-Монстрам, что Алье сжал ладонями подлокотники кресла и не осмелился ей противоречить.

Мадам Олкотт подала знак своим человечкам, и между статуей Паскаля и Обеиссаном вмиг были установлены три кресла, на которые толпа гномов заботливо усадила троицу медиумов. Все трое — темнокожие, мелкокостные, поджарые, с огромными белыми глазами.

— Это близнецы Фокс, которые вам, граф, отлично известны. Тео, Лео, Гео, сядьте на места и готовьтесь к сеансу.

В эту минуту снова вступили в зал Гиганты Авалона, ведя за локти Якопо Бельбо. Тот едва достигал головою до их плеча. Мой бедный друг был до дурноты бледен, с многодневной небритостью, руки его были связаны за спиною, рубашка раскрыта на груди. Войдя в задымленное помещение, он хлопал глазами, пытаясь что-нибудь рассмотреть. По-видимому, его не удивила собравшаяся в зале компания иерофантов, он, наверное, за последние дни насмотрелся чего угодно и не поражался ничему.

Но его поразили перевешенный с места Маятник. Гиганты же, не давая ему взглянуть, тащили его прямехонько к трибуне Алье. Оттуда он не мог видеть Маятник, мог только слышать, как он с несильным свистом прорезал воздух за его плечами.

Лишь на мгновение он обернулся — и увидел Лоренцу. Он вздрогнул, хотел было ее окликнуть, попробовал вывернуться, но Лоренца, раскрытыми глазами смотревшая прямо на него, казалось, его не узнавала.

Бельбо повернулся к Алье, очевидно чтобы спросить, что они сделали с Лоренцей, но не успел. Из дальнего края нефа, оттуда, где размещалась в музее касса и лотки с каталогами, послышалась трескотня барабанов и визгливые звуки флейт. Неожиданно дверцы четырех автомобилей открылись и оттуда вышли четверо существ, которых я тоже уже видел на том же самом цирковом плакате в книжном магазине Слоан.

Фетровые шапки без полей, напоминавшие фески, широкие черные плащи, застегнутые до самой шеи, Дервиши Вопленники восставали из автомобилей, как ожившие трупы, подымающиеся из саркофагов, опускались на четвереньки и ползли по направлению к магическому кругу. В глубине все те же музыканты играли теперь уже медленную музыку, и настолько же медленно дервиши прихлопывали ладонями по полу и кивали головами.

Из кабины аэроплана Бреге, как муэдзин из минарета, высунулся пятый дервиш и запел заклинания на непонятном языке, подвывая, скуля, переходя на высокие ноты, а музыканты снова ударили в барабаны, задавая все более нарастающий ритм.

Мадам Олкотт наклонилась над своими медиумами Фоксами и нашептывала им какие-то ободрительные призывы. Все трое, пытаясь войти в транс, казалось, вросли в сиденья, вцепившись руками, закрыв глаза, потя. Все мускулы и тела и лица у них были напряжены.

Мадам Олкотт обратилась к высокому собранию.

— Сейчас мои славные малыши приведут сюда кое-кого, кто знает.

И выдержав паузу, возвестила:

— Эдвард Келли, Генрих Кунрат и... — еще пауза — Граф Сен-Жермен! В первый раз за наше знакомство я увидел, что и Алье теряет

самообладание. Он вскочил из-за стола и с кулаками бросился на Олкотт и уродцев, молотя их как тесто, он кричал:

— Гадина, сволочь, ты сама знаешь, что это неправда... — И крикнул, повернувшись к нефу: — Это подтасовка! Обман! На помощь!

Но никто не шевельнулся. Только Пьер занял место в кресле и сказал:

— Продолжим, мадам.

Алье успокоился. Он взял себя в руки и отошел в сторону, слившись с толпой.

— Ну-ну, — бросил он с вызовом, — давайте попробуем. Мадам Олкотт взмахнула рукой, словно давая старт гонке. Звуки, исходившие от инструментов и звучавшие все более проникновенно, разбились на какофонию диссонансов, барабаны били, не придерживаясь ритма, танцовщики, которые уже начали двигать туловищем взад и вперед, вправо и влево, поднялись, сбросили с себя накидки и вытянули руки, как бы готовые взлететь. Застыв на миг, они вновь закружились вокруг своей оси, используя левую ногу как точку опоры, задрав голову кверху, устремив застывший взгляд в одну точку. Повинуясь вращению, их складчатые одежды раздулись колоколом, напоминая цветы, терзаемые ураганом.

В это же время медиумы скрючились, словно от боли, напряженные лица их исказила гримаса, слышалось хриплое дыхание, казалось, что они пытаются освободить свои кишечники, но безуспешно. Свет от жаровни ослаб, и прихвостни мадам Олкотт погасили все фонари, стоявшие на полу. Церковь освещалась лишь фонарями в нефе.

Постепенно свершалось чудо. Из рта Тео Фокса показалась какая-то беловатая пена, которая медленно затвердевала, такая же пена, хоть и с небольшой задержкой, вытекала изо рта его братьев.

— Так, так, малыши — вкрадчиво нашептывала мадам Олкотт, — давайте, еще немного, вот так...

Танцовщики пели прерывающимися, истеричными голосами, головы их раскачивались и вдруг падали на грудь, крики, которые они издавали, были поначалу конвульсивными, а потом перешли в хрипение.

Казалось, что из медиумов сочится с потом какая-то газовая субстанция, постепенно уплотняющаяся. Она была как лава, как белок, который, медленно высвобождается; субстанция, извиваясь, поднималась и опускалась, змеиными движениями ласкала их плечи, грудь, ноги. Я уже не мог понять, откуда все это исходит: из пор кожи, изо рта, из ушей, из глаз? Толпа напирала, оттесняя медиумов в сторону танцовщиков. Что до меня, то весь мой страх улетучился. Уверенный, что смогу раствориться в толпе, я покинул укрытие и еще больше погрузился в атмосферу испарений, которые распространялись под сводами.

Медиумов окутывало какое-то люминисцентное молочное облако неясных очертаний. Субстанция была в стадии отделения от них и принимала амебовидные формы. От облака одного из братьев отделилось нечто вроде острия, которое изогнулось и снова впилося в его тело, как птица, которая норовит клюнуть. На кончике острия образовались два нароста, похожие на рожки улитки...

Глаза у танцовщиков были закрыты, на губах — пена, все так же кружась на одной ноге, они начали, насколько позволяло пространство, двигаться вокруг Маятника, чудом не пересекая его траекторию. Кружась все скорее они сбросили свои колпаки, выпустив на волю длинные черные волосы, а головы их, казалось, вот-вот оторвутся от туловища. Они закричали так же, как в тот вечер в Рио, хоу-у, хоу-у, хоу-у-у-у...

Белые формы становились все отчетливее, одна из них приняла очертание, похожее на фигуру человека, другая была фаллосом, колбой, змеевиком, а третья все больше походила на птицу, на сову с большими глазами и торчащими ушами, с крючковатым клювом, как у старой учительницы естественных наук. Мадам Олкотт спросила первую форму:

— Келли, это ты?

Форма издала звук. Говорил явно не Тео Фокс, а чей-то далекий голос, с трудом произнесший:

— Now... I do reveale, a... a mighty Secret if you marke it well...

— Да, да, — настаивала мадам Олкотт.

Голос продолжал:

— This very place is call'd by many names... Earth... Earth is the lowest element of All... When thrice yee have turned this Wheele about...

thus my greate Secret I have revealed... Тео Фокс приподнял руку, как бы моля о пощаде.

— Расслабься, только чуть-чуть, держи это... — сказала мадам Олкотт. Затем обратилась к силуэту совы. — Я узнаю тебя, Кунрат, что ты нам скажешь?

Сова начала производить звуки:

— Hallelu... Jaah... Hallelu... Jaah... Was...

— Was?

— Was helfen Fackein Licht... Oder Briln... so die Leut... nicht sehen... wollen...

— Мы хотим, — настаивала мадам Олкотт, — скажи нам, что ты знаешь...

— Symbolon kosmou... ta antra... kai tan enkosmion... dunameon erithento... oi theologoi...

Лео Фокс тоже был на пределе сил, голос совы становился все слабее. Лео свесил голову и едва сохранял форму. Неумолимая мадам Олкотт призывала его держаться и обратилась к последней форме, которая к этому моменту тоже приняла человекоподобный вид.

— Сен-Жермен, Сен-Жермен, это ты? Что ты знаешь?

И силуэт завел какую-то мелодию. Мадам Олкотт приказала музыкантам убавить грохот, танцовщики больше не выли, хотя и продолжали кружиться, готовые свалиться от усталости. Форма пела:

— Gentle love this hour be friends me...

— Это ты, я узнаю тебя, — подбадривала мадам Олкотт, — говори, скажи нам, где, что...

И форма продолжала:

— Была ночь... Я прихожу, закутав голову льняным покрывалом, я нахожу железный алтарь и кладу на него таинственную ветвь... О, мне показалось, что я падаю в пропасть... галереи из черных каменных глыб... я спускаюсь под землю...

— Это ложь, ложь — кричал Алье, — братья, вы все знаете этот текст, это «Tres Sainte Trinosophie», написал его я. Любой может прочитать это, заплатив шестьдесят франков! Он набросился на Гео Фокса и стал трясти его за руку.

— Прекрати, мошенник — завопила мадам Олкотт — ты убьешь его!

— Плевать! — зарычал Алье, стаскивая медиума с кресла. Гео Фокс попытался удержаться, хватаясь за собственные выделения, потекшие пеной на пол. Потом рухнул в вязкую слизь, которую он продолжал изрыгать, и вытянулся без признаков жизни.

— Прекрати, безумец, — кричала мадам Олкотт, хватая Алье за руки. Потом обратилась к двум другим братцам: — Держитесь, мои маленькие, они должны еще говорить. Кунрат! Кунрат, скажи ему, что вы не поддельные.

Лео Фокс, спасая жизнь, пытался вновь проглотить сову. Мадам Олкотт забежала за его спину и сжимала ему виски, подчиняя своей воле. Сова, заметив, что сейчас исчезнет, обратилась к своему же изрыгателю.

— Фай, Фай, Дьявол, — шипела она, намериваясь выклевать ему глаза.

Лео Фокс захрипел, как будто ему перерезали сонную артерию, и повалился на колени. Сова исчезла, превращаясь в мерзкую грязь («фи-и-и, фи-и-и», — посвистывала она), и туда же упал медиум, задохнувшись в липкой массе. Взбешенная мадам Олкотт обратилась к храбро державшемуся Тео:

— Говори, Келли, ты слышишь меня? Келли молчал. Он силился оторваться от медиума, который теперь вопил так, будто у него вырывали внутренности, и пытался подобрать то, что произвел, махая руками, словно крыльями. — Келли, безухий мерзавец, не вздумай плутовать — орала мадам Олкотт.

Но Келли, которому все не удавалось оторваться от медиума, теперь пытался задушить его. Он стал похож на жевательную резинку, от которой последний из братьев Фокс пытался отклеиться, но усилия были напрасны. Наконец Тео тоже рухнул на колени, закашлялся, постепенно смешиваясь с ужасной, пожирающей его массой, затем покатился по полу, дергаясь так, словно его охватило пламя. То, что только что было Келли, покрыло его сначала словно саваном, чтобы через минуту умереть, разжижаясь, и оставить его на полу, опустошенного, уменьшенного до половины самого себя — детская мумия, набальзамированная Салоном. В этот же миг четверо танцовщиков разом остановились, замахали высоко поднятыми руками, в несколько секунд захлебнулись тем, что стекало с них потоком, и свалились, твякая, как щенки, и прикрывая головы руками.

На галерею вернулся Алье, промокая вспотевший лоб платком, который извлек из нагрудного кармана пиджака. Он дважды вздохнул и положил в рот белую пастилку. Затем призвал всех к тишине.

— Братья, рыцари! Вы видели, какой гадости хотела подвергнуть нас эта женщина. Возьмем же себя в руки и вернемся к моему плану. Дайте мне один час, и после этого я приведу пленника.

Мадам Олкотт, побежденная, наклонилась над своими побитыми медиумами в печали, делавшей ее почти похожей на человека. Но Пьер, который наслаждался сценой битвы, скрестивши руки и усевшись на троне, видимо, решил, что настал момент действовать.

— Это пустяки, — сказал он. — Имеется только одно средство. *Le sacrifice humain!* Заключенного ко мне!

Завороженные его энергией, гиганты Авалона ухватили Бельбо, изумленно наблюдавшего за дракой, и подтолкнули его к Пьеру. Тот с легкостью жонглера вскочил на ноги, поднял трон, поставил его на стол и передвинул всю конструкцию на самую середину хора. Потом он поймал на лету Маятник, с усилием задержал шар и остановил его. Все произошло в одну секунду — и как будто выполняя мизансцену (а может быть, во время драки они действительно договорились о ролях?), гиганты взобрались на подиум, подняли в воздух Бельбо, поставили на трон, и один из гигантов обернул вокруг его шеи, двоекратно, железный трос, служивший Маятником, в то время как другой принял в ладони шар и осторожно положил его на край стола.

Браманти бросился к этой импровизированной виселице, весь пылая великолепием в багряной сутане, и гнусливо затынул:

— *Exorcizo igitur te per Pentagrammaton, et in nomine Tetragrammaton, per Alfa et Omega cui sunt in spiritu Azoth, Saddal, Adonal. Jotchavah. Eleazereie! Michael, Gabriel, Raphael, Anael, Fluat Udor per spiritum Eloim! Maneat Terra per Adam Iot-Cavah! Per Samael Zebaoth et In nomine Eloim Gibor, veni Adramelech! Vade retro Lilith!*

Бельбо прямо стоял на своем табурете с канатом на шее. Гиганты отпустили руки, его незачем было удерживать. Если бы он сделал хотя бы один только шаг, он обрушился бы со своей неверной подставки и петля затянулась бы на его горле.

— Идиоты, — надрывался Алье. — Как мы теперь его опятьотрегулируем? — Его больше всего интересовал Маятник.

Браманти прошипел с улыбкой:

— Не стоит вам беспокоиться, граф. Мы не смешиваем ваши чародейские краски. Мы создали Истинный Маятник, именно так он задумывался Теми Самыми. Он сам себя отрегулирует. И в любом случае, чтоб побудить некую Силу действовать, нет ничего полезнее хорошего человеческого жертвоприношения.

До этой минуты Бельбо, как я видел, дрожал. Но тут он расслабился, я бы не сказал — успокоился, но оглянулся направо, налево, впервые окинул взглядом весь цирк с неподдельным любопытством. Думаю, что именно в эту минуту, следя за словесной дуэлью противников, видя перед собой поверженные тельца гномов, по их сторонам — дервишей, которые все еще дергались в конвульсиях, видя расхристанных Великих Местодержателей, еще не отошедших после перепалки, он снова вступил во владение основным своим характерным качеством, а именно чувством юмора.

И именно в эту минуту — я совершенно уверен — он принял окончательное решение не дать себя перепугать. Может быть, он интуитивно испытал чувство превосходства, наблюдая с высоты, из режиссерской ложи, за дикой свалкой гран-гиньольных паяцев, в то время как публика в дальних рядах, потеряв интерес к прискучившей картине, обменивалась шипками и пинками, как его товарищи по оркестру, недоделанные Аннибале Канталамесса и Пио Бо?

Потом он увидел Лоренцу и взгляд его снова стал тревожен. Лоренца находилась в объятиях гигантов, сотрясаемая дрожью. Она, кажется, снова пришла в себя. Она плакала.

Не знаю, старался ли Бельбо не показывать Лоренце своего страха, или же просто такова была его естественная реакция перед угрозами этой шайки: презрение, даже пренебрежение и превосходство. Он стоял спокойно, с высоко поднятой головой, с открытой на груди рубахой, со связанными за спиной руками, гордо, как человек, которому неведомо чувство страха.

Успокоенный спокойствием Бельбо, смирившийся — что поделать — с нарушением священного ритма шара, все еще уповающий на открытие секрета, чувствуя себя близким к цели поиска всей жизни, если даже не множества жизней, твердо намеренный снова прибрать к рукам бразды правления своими сотоварищами, Алье снова заговорил, обращаясь к Якопо:

— Ну вот что, Бельбо, решайтесь. Вы видите, что находитесь в ситуации, мягко говоря, затруднительной. Кончайте ломать комедию.

Бельбо ничего не ответил. Он смотрел в другую сторону, как будто из деликатности не желая показывать, что слышит разговор, адресованный не ему и долетевший до его слуха по случайности.

Алье настаивал убедительным голосом, как если бы имел дело с ребенком:

— Я понимаю и вашу сдержанность, и даже, как догадываюсь, вашу осмотрительность. Вам неприятно было бы обнаружить тайну настолько интимную, настолько, если можно так выразиться, щекотливую, в присутствии плебеев, которые минуту назад являли собой столь оскорбительное зрелище. Ну что же, ваш секрет вы можете поверить одному только мне, на ухо. Сейчас я вам помогу сойти и уверен, что в ответ вы шепнете мне на ухо одно слово, одно только слово.

Бельбо в ответ:

— Вы уверены?

Тогда Алье переменил тон. Впервые — опять — за все время я увидел его трансформацию в жреца, оракула, вершителя власти. Он заговорил так, как будто бы и на нем было египетское одеяние, какие были у его приятелей. Я чувствовал, до чего это ненатурально, он как будто бы пародировал тех самых, которых до сих пор не снисходил удостоить даже самого презрительного состардания. Но в то же время оказалось, что он прекрасно владеет лексиконом, потребным для этой еще не репетированной роли. По какому-то своему расчету — ибо подобное поведение не оправдывалось ни инстинктом, ни здравым смыслом — он втягивал Бельбо в постановку дурацкой мелодрамы. Он лицедействовал, лицедействовал неплохо, потому что Бельбо, кажется, не почувствовал подначки и принимал за чистую монету речь своего собеседника, как будто бы и не ждал от него ничего другого.

— Сейчас ты заговоришь, — вещал Алье, — ты все скажешь и не сможешь оставаться непричастным нашей великой игре. Храня молчание, ты теряешь надежду. Заговорив, причастишься победе. Ибо истинно, истинно говорю тебе, нынешней ночью ты, и я, и все, кто здесь с нами, пребываем в сефире Год, в сефире великолепия, величия и славы. Год управляет всеми магиями церемониалов и ритуалов. Год — это миг, в который приоткрывается вечность. Этот миг мечтан мною

множество столетий. Ты все скажешь и присоединишься к тем единым, которые после твоего откровения смогут себя провозгласить Господами Мира. Смирись же, и будешь вознесен. Ты скажешь, потому что так желаю я, скажешь, потому что я так повелеваю, и слова мои крепки, да будет как нарекаю!

А Бельбо ответил на эту речь:

— Да вынь у себя пробку.

Алье, хотя и ожидал отпора, от этого оскорбления побледнел.

— Что он ответил? — визжал истеричный Пьер, вытягивая шею и прыгая.

— Не хочет, — перевел ему Алье. И он пожал плечами, как бы сдаваясь перед непреложностью обстоятельств, и бросил Браманти:

— Он ваш.

На что Пьер, вне себя:

— Довольно, довольно, человеческую жертву, приносим жертву!

— Да, пусть он умрет, мы все равно отыщем разгадку, — клокотала в припадке мадам Олкотт, бросившая своих уродцев, и кидалась на Бельбо.

В то же самое время бросилась к нему и Лоренца. Она вывернулась из лап гигантов и подбежала к ногам Бельбо, к основанию виселицы. Она широко разводила руками, как будто стараясь остановить безумие, и выкрикивала сквозь слезы: — Вы все что, с ума посходили? Ну разве так делают? — Алье, который уже было покидал помещение, остановился в нерешительности, потом вернулся к Лоренце и стал рядом с ней.

Все остальное произошло в одну секунду. У мадам Олкотт растрепались черно-лиловые космы, отливавшие сполохами пламени, как у медузы, и она пыталась впиться когтями в господина Алье, вцепиться в лицо, сшибить с ног, разорвать в пароксизме злости. Алье, пятась от нее, запнулся ногою о жертвенник, покатился кубарем, как дервиш, и со всего размаху ухнул головой об один из автомобилей, после чего осел на землю с лицом, залитым кровью. Пьер в ту же самую минуту выхватил кинжал и кинулся на Лоренцу, я мог видеть его со спины, я не сразу понял, что происходит, но внезапно Лоренца склонилась к ногам Бельбо с восковым лицом, а Пьер высоко поднял кинжал с воплем: «Наконец, sacrifice humaine!» И завыл, обратясь к толпе: «Г'а Cthulhu! Г'а S'ha-t'n!»

Толпа же, напиравшая из нефа, прорвала кордоны, кто-то повалился на пол, другие его топтали, в опасности оказалась модель автомобиля Кюньо. Я расслышал — во всяком случае, мне так показалось, и наверное, я не в состоянии был бы выдумать настолько гротескную подробность — голос Гарамона, повторявшего:

— Господа, господа, что же это за манеры...

Браманти, в упоении, на коленях перед безжизненной Лоренцей, выкрикивал:

— Асар, Асар! Кто это сжал мое горло? Кто пригвоздил меня к полу? Кто это пронзил мое сердце? Я недостойн переступить порог дома Маата!

Может быть, продолжения никому и не было надо, и может, жертвоприношения Лоренцы для них вполне бы и хватило, но посвященные топтались и топтались в пределах прежнего магического круга, ставшего доступным с тех пор как был обездвижен Маятник, и кто-то — готов поклясться, что это был Арденти, — неловко увертываясь от толчков, натолкнулся на стол, покрытый алым драпом, и стол буквально, как любят писать, ушел из-под ног Бельбо, накренился и рухнул, в то время как под влиянием того же импульса сам Маятник пришел в резкое, решительное движение, увлекая за собою жертву. Петля затянута под весом шара и захлестнула, крепко и надежно шею моего злосчастливого друга, и он оказался в воздухе, вытянувшись вдоль натянувшегося Маятника, и, толчком отшвырнутый к восточной оконечности хора, теперь возвращался, разлучившись с жизнью (надеюсь!), в направлении моей будки.

Толпа, гудя и толкаясь, вновь отхлынула к бортам арены, оставляя пространство чуду. Фокусник, приставленный противостоять амортизирующим силам, опьяненный чудодейственным возрождением шара, вновь вступил в свою функцию, придавая дополнительный импульс теперь уже непосредственно телу повешенного. Ось колебания установилась по диагонали от направления моего взгляда к одному из окон собора, несомненно к тому самому, где в витраже имелась прогалина, через которую спустя некоторое время должен был заглянуть в храм первый луч просыпающегося солнца. Я уже не видел тела Бельбо, оно не пролетало передо мною, но думаю, что предметы в пространстве расположились именно так, как я думаю, и что траектория, которую он вычерчивал, имела следующий вид.

Шея Бельбо составила собой как бы дополнительную сферу, расположенную на протяженности троса, опускавшегося с замка свода, и... как бы это описать? в то время как металлический шар стремился направо, голова Бельбо (еще один шар) отклонялась налево, а потом наоборот. Довольно значительный отрезок две сферы двигались в различных направлениях, и таким образом фигура, которую Маятник выкраивал из пространства, составляла уже не прямую линию, а треугольник. Но в то время как голова Бельбо следовала натяжению каната, его тело — наверное, перед последним спазмом, со спастической подвижностью деревянной марионетки — прочерчивало в воздухе особую траекторию, независимую от головы, от каната и от расположенного ниже шара, руки в одну сторону, ноги в другую — и меня не покидало чувство, будто кто-то сфотографировал эту сцену фоторужьем Мейбриджа, запечатлев на пластинке все фазы движения в их последовательности в пространстве, закрепив, во-первых, две экстремальные точки, которых достигала в своем колыпании голова в каждый отдельно взятый период времени, во-вторых — две точки останова шара, затем — точки перекрещивания идеальных тросов, независимых один от другого и соединенных каждый со своим шаром, и промежуточные точки, описываемые краями плоскости колебания туловища и ног. Если бы это все оказалось на одной пластинке, то Бельбо, повешенный на Маятнике, я утверждаю, воплотил бы собою размещенный в пустоте чертеж дерева сефирот, вобрав в себя, в свое последнее мгновение, все существование всех возможных миров и наметив в своем последнем странствии десять этапов бескровного дуновения, фазы нисхождения Божественного в мир.

Потом, в то время как силою колебаний продолжали гулять вверх и вниз эти траурные качели, так сложились между собою векторы и таким образом перетекла энергия, что тело Бельбо застыло неподвижно в пространстве, а отходивший от него канат и шар продолжали качаться туда и сюда от его тела и до земли, в то время как верхний отрезок — соединявший тело Бельбо с замком свода — стал отвесен и неподвижен, как металлическая палка. Благодаря этому Бельбо, отрешившись от земного мира, полного заблуждений, и от его суеты, превратился сам, именно он, Бельбо, его существо, в ту Точку Отсчета, в Недвижную Ось, в то Место, на которое опирается крыша мира, в то время как под его ногами продолжалось обычное

шевеление, и там двигались канат с шаром, от полюса к полюсу, без покоя, и земля вечно убегала из-под них, вращаясь, как и они, подставляя взору каждый раз новый континент, и потому этот шар, как ни силился, не мог бы указать, и никогда не сможет, где находится Пуп Земли.

В то время как орда одержимцев, замерев на несколько мгновений перед видением чуда, снова принялась голосить, я сказал себе: вот теперь история действительно окончена. Если Год — это сефира Славы, Бельбо прожил свою порцию славы. Один только отважный поступок — и он навеки слился с Абсолютом.

Идеальный маятник состоит из очень тонкой нити, не поддающейся ни сжатию, ни скручиванию, длиной L , к центру тяжести которой подвешен груз. Если речь идет о шаре, то центром тяжести является центр шара, если речь идет о человеческом теле, то этот центр находится в 0,65 м от его верхней точки. Если рост повешенного 1,70 м, его центр тяжести расположен на высоте 1,05 м от его ног, и длина L выражается именно таким числом. Это означает, что если голова вместе с шеей равна 0,30 м, то центр тяжести расположен на $1,70 - 1,05 = 0,65$ м от головы и на $0,65 - 0,30 = 0,35$ м от шеи повешенного. Период малых колебаний маятника, определенный Гюйгенсом, выражается формулой (1):

где L представлено в метрах, $p = 3.1415927$, $g = 9.8 \text{ м/с}^2$. Из примера (1) получаем:

т. е. приблизительно (2):

Заметьте, что T не зависит от веса повешенного (равенство людей перед Богом)... Двойной маятник с двумя грузами, подвешенными к одной нити... При воздействии на A , A начинает колебаться, но через какое-то время останавливается, и начинает колебание B . У соединенных маятников различны масса и длина, от одного к другому передается энергия, однако время колебаний энергии неодинаково... Такие блуждания энергии наблюдаются также, если вместо того, чтобы придать свободное движение маятнику A , раскачав его, мы будем и далее периодически воздействовать на него, прилагая какую-то силу.

Это означает, что если на повешенного будут направлены порывы (регулярные) ветра, то через какое-то время повешенный прекратит раскачиваться, а маятник Фуко продолжит колебания, как если бы он был прикреплен к повешенному.

Отрывок из личного письма Марио Сальвадори. Колумбийский университет, 1984

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{L}$$

$$T = \frac{2 \times 3.1415927}{\sqrt{9.8}} \sqrt{L}$$

$$T = 2\sqrt{L}$$

Это место не обещало мне более никаких откровений. Я воспользовался суматохой, чтобы пробраться к статуе Грамма.

Пьедестал был еще открыт. Я проскользнул вовнутрь, сошел по ступенькам и оказался на маленькой, освещенной единственной лампочкой площадке, от которой вела крутая каменная лестница. Преодолев ее, я вошел в затемненный коридор с довольно высоким сводом. Сначала трудно было понять, где я и откуда доносится плеск воды. Потом глаза мои привыкали к темноте. Это была канализация, своего рода поручень страховал от того, чтобы я не упал в воду, но не мешал вдыхать отвратительные запахи, смесь химии с органикой. Во всей этой истории по меньшей мере одно было правдой — парижские стоки, Стоки Кольбера, Фантомаса или де Кауса.

Я шел по самому большому каналу, не сворачивая в темные ответвления и надеясь узреть какой-либо знак, который укажет мне, где следует прервать эту прогулку по подземелью. Во всяком случае я удалился на внушительное расстояние от Хранилища, и по сравнению с тем царством ночи канализация Парижа несла облегчение, свободу, чистый воздух, свет.

Перед глазами стояло одно только видение: иероглиф, начертанный в музее мертвым телом Бельбо. Я не мог понять, чему соответствовал этот рисунок. Сейчас я знаю, что это физический закон, но то, как я это узнал, придает случившемуся еще большую символичность. Здесь, в загородном доме Якопо среди множества его записей я нашел письмо, в котором на его вопрос было дано разъяснение по поводу того, как действует маятник и как он поведет себя, если к нити подвесить еще один груз. Так что, кто знает, как давно Бельбо думал о Маятнике, представлял его и Синаем, и Голгофой. Он не стал жертвой недавно созданного Плана, он подготовил свою смерть в воображении задолго до этого, не зная — так как был уверен, что не имеет права на творчество, — что его навязчивые мысли предвосхищали действительность. А может быть, он выбрал себе именно такую смерть, чтобы доказать самому себе и другим, что даже у негениев воображение всегда творческое.

В каком-то смысле, проигрывая, он выиграл. Или проиграл все; кто готов к такому единственному способу победить? Все проиграл тот, кто не понял, что речь шла совсем о другой победе. Но в субботу вечером я этого еще не открыл.

Идя по каналу, amens, как Постэль, может быть, заблудившийся в тех же потемках, я вдруг увидел знак. Висевшая на стене и светившая более ярко лампа вырывала из темноты времянку, которая вела к деревянному люку. Я рискнул и попал в подобие подвала, заваленного пустыми бутылками, от него отходил коридорчик с двумя сортирами — один с маленьким мужчиной, а другой с маленькой женщиной на двери. Я — снова в мире живых.

Я остановился, с трудом переводя дух. Только сейчас в мыслях возникла Лоренца. И теперь плакал уже я. А Лоренца уплывала далеко-далеко из моих жил, так, будто никогда ее и не было. Я не мог даже вспомнить ее лицо. Она была самой мертвой в этом мире мертвых.

В конце коридора я нашел еще одну лестницу и дверь, за которой было помещение, заполненное дымом и дурными запахами, какая-то забегаловка, харчевня, восточный бар: цветные официанты, потные клиенты, жирные шашлыки и кружки пива. Я вышел за дверь как некто, кто уже был здесь и просто ходил помочиться. Никто не обратил на меня внимания, разве что человек за кассой, подавший мне, когда я

появился, едва уловимый знак полузакрытыми глазами, словно говоря, мол я все понял, проходи, я ничего не видел.

Если бы око могло заметить демонов, населяющих мир, существование стало бы невозможным.

Talmud, Berakhoth, 6

Я вышел из бара и оказался под фонарями ворот Сен-Мартен. Восточной была забегаловка, из которой я только что выбрался, восточными были и магазины вокруг, все еще освещенные. Запах кускуса и пряностей, толпа. Масса молодежи, с голодными лицами, многие тащили спальные мешки. Я не мог войти в кафе чего-нибудь выпить, и спросил у какого-то парня, что происходит. Демонстрация, на завтра готовилась большая демонстрация против закона Савари. Приезжали автобусами.

Какой-то турок-друг, наверняка переодетый исмаилит, на ломаном французском завлекал меня в места определенного сорта. Ни за что! Подальше от Аламута! Мне не известно, кто кому служит. Остерегаться!

Я пересек перекресток. Сейчас слышны лишь мои собственные шаги. Чем хороши большие города, так это тем, что стоит отойти на несколько метров, и ты уже в одиночестве.

Однако внезапно, пройдя несколько домов, я заметил слева Консерваторий — бледную массу в ночи. Снаружи — полное совершенство. Памятник, погруженный в сон праведника. Я продолжал двигаться на юг, по направлению к Сене. Передо мной была какая-то цель, но четко я ее не представлял. Хотелось спросить у кого-нибудь, что же произошло.

Бельбо умер? На небе ни облачка. Навстречу мне идет группа студентов. Все молчат, словно под властью *genius loci*. Слева — силуэт церкви Сен-Николя-де-Шан.

Иду дальше по улице Сен-Мартен, пересекаю улицу Медведей, широкую, похожую на бульвар, боюсь сбиться с пути, хотя, впрочем, я его не знаю. Осмотревшись, вижу справа, на углу, две витрины Издательства розенкрейцеров. Эти витрины не освещены, однако

благодаря уличному фонарю и карманному фонарику, мне удастся разглядеть, что там выставлено. Книги и предметы. История евреев, граф де Сен-Жермен, алхимия, тайные дома розенкрейцеров, послание строителей соборов, катары, Новая Атлантида, египетская медицина, храм Карнака, Бхагавад-Гита, реинкарнация, розенкрейцеровские кресты и канделябры, бюсты Изиды и Озириса, ладан в коробочках и в таблетках, карты Таро. Кинжал, оловянный нож для бумаги с круглой рукояткой и с печатью Розового Креста. Чем они занимаются, хотят меня высмеять?

Теперь я прохожу перед фасадом Бобура. Днем здесь шумит деревенская ярмарка, но в этот час площадь почти пустынна, лишь кое-где разрозненные молчаливые и сонные группки, редкий свет brasseries. Все правда. Большие вентиляционные шахты, поглощающие энергию земли. Может быть, толпы, которые заполняют площадь днем, служат для создания вибрации, герметическую машину надо кормить свежатинкой.

Церковь Сен-Мерри. Напротив — книжный магазин Ля Вуивр, на три четверти оккультистский. Главное — не впасть в истерию. Я сворачиваю на Ломбардскую улицу, чтобы не столкнуться с выводком скандинавских девушек, со смехом выходящих из еще открытого бистро. Замолчите, разве вы не знаете, что Лоренца умерла?

Но умерла ли она? А если это я умер? В Ломбардскую улицу перпендикуляром врезается улица Фламелья, в конце которой видна белая башня Сен-Жак. На пересечении этих улиц — книжная лавка «Аркан 22», карты Таро и маятники. Алхимик Николя фламель, книжный магазин алхимиков и башня Сен-Жак: с белыми львами у основания, этот бесполезный памятник поздней готики над Сеной дал в свое время название эзотерическому журналу. В башне Паскаль проводил опыты по определению веса воздуха, да, впрочем, и сейчас в ней на высоте 52 метров находится метеорологическая лаборатория. Возможно, прежде чем возводить Эйфелеву башню, они начинали именно здесь. Есть же привилегированные районы. И никто этого не замечает.

Я возвращаюсь к Сен-Мерри. Снова громкий девичий смех. Не хочу видеть людей. Обхожу церковь по улице Монастыря Сен-Мерри — дверь в трансепт, старая, из неотесанного дерева. Слева открывается вид на площадь, прилегающую к Бобуру, освещенную

дневным светом. Просторное место с бассейном или искусственным прудом, на поверхности которого колышутся машины Тенгели и прочие разноцветные творения человеческих рук, являя вид невсамделишного развала зубчатых колес, а на заднем плане я замечаю нагромождения труб и широко раскрытых пастей Бобура — будто брошенный у стены, обвитой плющом, «Титаник», который потерпел крушение в лунном кратере. Там, где не повезло соборам, огромные лайнеровы люки перешептываются с Черными Девами. Их могут открыть лишь те, кто знают, как совершить путешествие вокруг Сен-Мерри. Так что нужно продвигаться, я вышел на след, я обнажаю одну из Их козней в самом центре Города-Света, заговор обскурантов.

Сворачиваю в улицу Судей-Консулов и снова оказываюсь перед фасадом Сен-Мерри. Не знаю почему, но что-то побуждает меня зажечь фонарик и направить его свет на портал. Цветистая готика, соединенные друг с другом арки.

И вдруг, ища то, что не ожидал найти, я вижу его на архивольте портала.

Бафомет. Как раз там, где сходятся полуарки; на вершине первой сидит голубка Святого Духа во всей славе своих каменных лучей, а на вершине второй — окруженный молящимися ангелами он, Бафомет, со своими ужасными крыльями. На фасаде церкви. Без всякого стыда.

Почему здесь? Потому что мы недалеко от Храма. А где находится Храм или то, что от него осталось? Возвращаюсь, иду на северо-восток и выхожу на угол улицы Монморанси. В 51-м номере — дом Николя Фламелья. Между Бафометом и Храмом. Искушенный химик наверняка знал, с кем ему придется считаться. Перед домом неясно какой эпохи — «Таверна Николя Фламелья» — roubeltes, полные омерзительной гадости. Дом старый, отреставрированный для туристов, для сатанистов низшего сорта, гиликов. Рядом — american bar с рекламой компьютеров «Apple»: «Берегитесь, клопы!» Soft-Hermes. Dir Temurah. Я на улице Тампль, иду по ней до пересечения с улицей Бретань, где находится скверик Тампля, унылый, как кладбище, некрополь принесенных в жертву тамплиеров.

Иду по улице Бретань до пересечения с улицей Вьей-дю-Тампль, на которой, после перехода через улицу Барбетт, попадаются странные магазины, где продают электролампочки необычной формы — в виде

уток, листов плюща. Слишком нарочито современны. Меня этим не возмешь.

Улица Фран-Буржуа: я уже в Марэ и знаю, что скоро появятся старые кошерные мясные лавки. Что общего у евреев с тамплиерами теперь, когда мы установили, что их место в Плана занимают Аламутские ассасины? Зачем я здесь? Я ищу ответ? Нет, я просто хочу подальше убежать от Хранилища. Либо же я неосознанно направляюсь в какое-то место, знаю, что оно не может быть здесь, но пытаюсь вспомнить, где оно, как Бельбо, когда искал во сне чей-то забытый адрес.

Навстречу движется непристойная на вид группа. Злой смех, идут гурьбой, вынуждая меня сойти с тротуара. На мгновение становится страшно — а вдруг они посланы Старцем с Гор и явились сюда именно за мной. Но нет, они исчезают в ночи, однако говорят на иностранном языке, в котором сквозит шиитство, талмудизм, коптство — и все со змеиным шипением.

Навстречу попадают андрогинные фигуры в длинных широких плащах. Плащи розенкрейцеров. Проходят мимо, сворачивают на улицу Севинье. Ночь полностью вступила в свои права. Я убежал из Хранилища, чтобы возвратиться в город обычных людей, и я замечаю, что город обычных людей задуман как катакомбы со специально выделенными маршрутами для посвященных.

Плетется пьяный. Может быть, он притворяется. Остерегаться, все время остерегаться. Еще один открытый бар, официанты в длинных до пят фартуках уже убирают стулья и столы. Я едва успеваю войти, и мне подают пиво. Выпиваю кружку залпом и заказываю еще одну. «Что, жажда замучила?» — заговаривает один из них. Однако без дружелюбия, с подозрением. Еще бы не замучила, с пяти часов ни глотка, хотя жажда может мучить, даже если ты и не провел ночь под маятником. Идиоты. Я расплачиваюсь и ухожу, пока они не запечатлели в памяти мою внешность.

Вот я уже на углу площади Вогезов. Иду под аркадой. Что это был за старый фильм, в котором раздавались одинокие шаги Матиаса, сумасшедшего убийцы, бродившего ночью по площади Вогезов? Я останавливаюсь. Кто-то идет за мной? Конечно, нет, они тоже остановились. Достаточно поставить пару витрин, и аркада превратится в залы Хранилища.

Низкие своды XVI века, полнопрофильные арки, галереи гравюр и антиквариата, мебель. Площадь Вогезов, такая низкая со своими старыми рифлеными, выщербленными, облезлыми калитками, люди, которые живут здесь, не трогались с места сотни лет. Люди в желтых накидках. Площадь, на которой живут одни таксидермисты. Выходят из дому лишь ночью. Они знают плиту на тротуаре — колодец, через который можно проникнуть в Мир Подземный. На глазах у всех.

«Союз сбора взносов социального страхования и пособий многосемейным, номер 75». Новый подъезд, наверняка здесь живут богатые, но рядом — старая облупленная дверь, как на улице Синчери Ренато. Затем, под номером 3, недавно обновленная дверь. Чередование гиликов и пневматиков. Сеньоры и их рабы. Здесь, где тузы прибиты к чему-то, что должно быть аркой. Ясно: тут раньше располагалась книжная лавка оккультистов, а теперь ее нет. Выселили целый квартал. Эвакуировали за ночь. Так же поступил и Алье. Теперь они знают, что кто-то знает, и начинают уходить в подполье.

Я на углу улицы Бираг. Вижу бесконечную линию портиков, и ни души вокруг. Я предпочел бы темноту, однако на тротуар льется желтый свет ламп. Я мог бы закричать, но никто не услышал бы меня. Сидя в тишине за закрытыми окнами, через которые не проникает и капля света, таксидермисты, одетые в свои желтые плащи, только издевательски ухмыльнулись бы.

Но нет, между портиками и сквериком, в центре площади, стоят машины, скользят редкие тени. Однако отношения не становятся от этого любезнее. Мне пересекает дорогу большая немецкая овчарка. Черная собака одна ночью. Где же Фауст? Может быть, он послал верного Вагнера выгулять пса?

Вагнер. Вот мысль, которая крутилась у меня в голове, не выходя наружу. Доктор Вагнер, вот кто мне нужен. Он скажет, что все это неправда, что Бельбо жив, а Трис не существует. Какое облегчение я бы почувствовал, если бы узнал, что сошел сума.

Я покидаю площадь чуть ли не бегом. За мной едет какая-то машина. Нет, она просто ищет место для стоянки. Я спотыкаюсь о мешки с мусором. Машина паркуется. Они ехали не за мной. Выхожу на улицу Сент-Антуан. Хорошо бы взять такси. Оно вдруг является, как по заказу. Я говорю водителю:

— Авеню Элизе-Реклю, 7.

Je voudrais etre la tour, pendre a la Tour Eiffel.

Blaise Cendrars

Я не знал, где я, и не осмеливался спросить у шофера, потому что если кто-нибудь берет в такую пору такси, значит едет домой, иначе он как минимум — убийца. К тому же таксист ворчал: в центре было еще полно этих проклятых студентов, везде как попало припаркованы автобусы, дерьмо и все тут, если б от него зависело, всех — к стенке, есть смысл удлинить путь. Он объехал практически весь Париж, прежде чем наконец высадил меня у дома номер семь на какой-то пустынной улице.

Никакой доктор Вагнер на табличке не значился. Может быть, семнадцать? Или двадцать семь? Я сделал две-три попытки, потом пришел-таки в себя. Неужели я, предполагая, что мне удастся отыскать нужный подъезд, собирался действительно стащить доктора Вагнера с постели в столь поздний час, чтобы рассказать ему свою историю? Я оказался здесь по той же причине, по которой блуждал от заставы Сен-Мартен до площади Вогезов. Я убегаю. А теперь я убежал с того места, к которому убежал из Хранилища. Мне нужен был не психоаналитик, а смиренная рубашка. Или хорошая порция сна. Или Лия. Чтобы она взяла мою голову, крепко прижала между грудью и подмышкой и промурчала: «Веди себя прилично».

Что я искал: доктора Вагнера или авеню Элизе-Реклю? Почему теперь я вспомнил имя, которое мне попало, когда собирал материалы для Плана. Это был кто-то из прошлого века, написавший уж теперь и не припомню какую книгу о земле, недрах, вулканах, некто, совавший нос под предлогом занятий академической географией в Мир Подземный. Один из них. Я бегу от них, а они все время у меня за спиной. Мало-помалу, в течение нескольких столетий они заняли весь Париж. И весь остальной мир.

Нужно возвращаться в гостиницу. Найду ли я еще такси? По моим предположениям, я мог находиться где-то на окраине предместья. Я направился к месту, откуда струился более сильный, рассеянный свет и

было видно небо. Сена? И вот, дойдя до угла, я увидел ее. Слева. Я должен был предвидеть, что она здесь, что притаилась поблизости, в этом городе названия улиц содержат недвусмысленное послание, вас все время предупреждают, тем хуже для меня, если я не подумал об этом.

Она была здесь, мерзкий паук из мертвой материи, символ, инструмент их мощи. Мне следовало бы бежать, но я чувствовал, как она манит меня притягивает к паутине, кивая головой снизу вверх и наоборот, я уже не мог охватить ее одним взглядом, я был практически в середине, меня рассекали тысячи ее полос, казалось, что меня бомбардируют железные занавесы, падающие со всех сторон, стоило ей хоть чуточку сместиться, и она раздавила бы меня одной из своих чудовищных лап.

Башня. Я находился в единственном месте города, откуда не было видно, как ее дружеский профиль выныривает из океана крыш, фривольный, как на картинах Дюфи. Она была надо мной, уносила над моей головой. Я чувствовал, где находится ее верхушка, но ходил сначала вокруг, а потом в пределах ее основания, зажатый между ее ступнями, я видел ее подколенки, живот, головокружительный лобок, представлял перпендикулярный кишечник, соединенный в одно целое с пищеводом, который помещался в шее этого политехнического жирафа. Несмотря на ажурность, она обладала свойством тушить свет вокруг себя, и по мере того как я двигался, она показывала мне в разной перспективе различные пещерные своды, выступающие из сумерек как в телеобъективе.

Справа от нее, на северо-востоке, на горизонте появился лунный полумесяц. Временами башня брала его как бы в рамку, создавая эффект оптического обмана, свечения одного из своих колченогих экранов, но стоило мне сдвинуться, и формат экранов менялся, луна исчезала, сливаясь с металлическими ребрами, животное сжевывало, переваривало ее, растворяло в другом измерении. Гиперкуб. Четырехмерный куб. Сейчас, через скопление арок, я видел движущийся свет, даже два, красный и белый мигающие огни, вероятно самолет, который ищет, где сесть — в Руасси или в Орли, Но вдруг-кто-то сдвинулся: то ли я, то ли самолет, то ли башня — огни исчезли за какой-то балкой, я ждал, что они появятся снова в другом просвете, но увя. У башни было сто окон — все они подвижные, и

каждое выходило на собственный участок пространства-времени. Ее бока не разграничивали эвклидовы сгибы, а разрезали космическую ткань, вызывали катастрофы, листали страницы параллельных миров.

Кто сказал, что при помощи этой Нотр-Дам Париж подвешен к потолку Вселенной? Наоборот, она была предназначена для того, чтобы подвесить Вселенную на своей стреле — и это естественно, разве она не является эрзацем Маятника?

Как бишь ее называли? Суппозиторием-одиночкой, полым обелиском, славой проволоки, апофеозом мостовых быков, воздушным алтарем какого-то идолопоклоннического культа, пчелой в центре розы ветров, печальной, как руины, уродливым колоссом цвета ночи, бесформенным символом ненужной силы, чудом абсурда, бессмысленной пирамидой, гитарой, чернильницей, телескопом, длинной, как речь министра, древним божеством и современным чудищем... Вот кое-что из того, чем она есть, и если б я обладал шестым чувством Властителей Мира, то опутанный пучками ее голосовых связок, усеянных полипами болтов, я услышал бы сейчас, как хрипло она исполняет музыку сфер. Сейчас Башня высасывала волны из сердца полой земли и передавала их всем менгирам на свете. Корневище склепанных суставов, шейный артроз, протез протеза — какой ужас! Если б они захотели сбросить меня в бездну, то с того места, где я находился, им пришлось бы метнуть меня к вершинам. Не приходилось сомневаться, что я возвращался из путешествия к центру земли и пребывал в состоянии антигравитационного головокружения антиподов.

Нет, нам это не приснилось, перед моими глазами предстало неопровержимое подтверждение Плана, но пройдет немного времени, и Башня сообразит, что я шпион, враг, песчинка в механизме, коего она является образом и двигателем, незаметно распустив какой-нибудь из ромбов своих тяжелых кружев, она поглотит меня, я исчезну в складках ее небытия, перенесенный в иные миры.

Если я еще немного пробуду под ее сплетениями, ее огромные когти сомкнутся, изогнутся, как клыки, и всосут меня, после чего животное вновь примет притворную позу преступной и зловещей точилки для карандашей.

Еще один самолет: этот не летит ниоткуда, она выродила его между первым и вторым позвонками костлявого мастодонта. Я

присматривался к ней, и была она без конца, как замысел, ради которого она появилась на свет. Если бы мне удалось остаться здесь, не опасаясь, что меня сожрут, я мог бы следить за ее перемещениями, за ее медленными вращениями, наблюдать за ее почти неуловимой манерой разбираться и вновь собираться под холодным дуновением потоков. Несомненно, Властители Мира знают, что она — геомантическая фигура, и в ее незаметных для глаза метаморфозах они читают важные сигналы, постыдные приказы. Башня вращается над моей головой, словно ввинчиваясь в Мистический Полюс. Или нет, она неподвижна как магнитный стержень, и вращает небосвод. Это привело к такому же головокружению.

«Как она, однако, здорово держится, эта Башня, — думал я — издали приветливо строит глазки, но если приблизиться, попытаться проникнуть в ее тайну, она убьет тебя, заморозит твои кости, и для этого ей всего-то и нужно, что показать бессмысленный ужас, из которого она сделана. Теперь я знаю, что Бельбо умер и что План — настоящий, потому что настоящая сама Башня. Если мне не удастся убежать, убежать снова, я не смогу это никому рассказать. Пора бить тревогу».

Какой-то шум. Стоп, возвращаемся к действительности. На полной скорости мчится такси. Одним рывком мне удастся высвободиться из магического пояса, я машу руками и бросаюсь вперед, рискуя попасть под колеса, потому что машина затормозила лишь в последний миг, будто нехотя, а по дороге шофер расскажет мне, что, когда ему случается проезжать ночью под Башней, он боится ее и прибавляет газу. Почему? — спрашиваю я. — Потому что... потому что страшно, вот и все.

Я быстро добрался до гостиницы. Пришлось долго звонить, чтобы разбудить портье, который валился с ног ото сна. Я сказал себе: «Теперь ты должен выспаться. Остальное — завтра». Я выпил несколько таблеток снотворного, достаточно, чтобы отравиться. Что было потом — не помню.

*Die Narrheit hat ein grosses Zeit;
Es lagert bei ihr alle Welt,
Zumal wer Macht hat und viel Geld.* [\[134\]](#)

Sebastian Brent, Das Narrenschiff, 46

Я проснулся в Два часа в полном обалдении, как после каталепсии. Я помнил абсолютно все, но не имел никакой уверенности в том, что то, что я помнил, это правда. Первой моей идеей было побежать за газетой, потом я сказал себе, что в любом случае, даже если бы рота репортеров оказалась в Консерватории сразу после событий, новости не успели бы выйти в сегодняшних утренних газетах.

И вдобавок, Парижу было не до того в тот день. Я сразу же все узнал от дежурного, как только спустился выпить кофе. Город волновался, многие станции метро не работали, в критических ситуациях полиция применяла оружие, студентов было слишком много и они вели себя нагло.

Я нашел в телефонном справочнике телефон доктора Вагнера. Я даже попробовал позвонить, но, естественно, в воскресенье ему нечего было делать в кабинете. Как бы то ни было, я должен был вернуться в Консерваторий. В воскресенье, как известно, он открыт и после обеда.

Латинский квартал бурлил. Проходили какие-то оравы со знаменами. На Иль-де-Сите никого не пропускала полиция. Издалека доносились выстрелы. Видимо, так это смотрелось в шестьдесят восьмом. На уровне Сент-Шапель, надо думать, кончилась потасовка, в воздухе чуялся слезоточивый запах.

Где-то рядом протарахтела очередь, интересно, это студенты или правоблюстители. Люди вокруг меня припустились, все мы забежали за какую-то решетку, впереди встала шеренга полицейских, а на улице совершалось рукоприкладство. Что за позор, сию тут с полысевшими буржуями, пережидаю революцию, дожили.

Потом я отыскал свободную дорогу, кружа по второстепенным улицам в районе бывшего чрева Парижа, и пробился к улице Сен-Мартен. Консерваторий был открыт для публики, в белоснежном дворе на фасаде красовалась плита: «Консерваторий науки и техники, основанный согласно постановлению Конвента от 19 вандемьера года III... в бывшем монастыре Сен-Мартен-де-Шан, построенном в одиннадцатом столетии». Все в обычном порядке, нормальное по воскресеньям оживление, нечувствительное к студенческому празднику свободы.

Я вошел — по воскресеньям пропускали бесплатно — и все было в точности так, как вчера до пяти дня. Смотрители, посетители, Маятник висел из привычной точки... Я стал искать следы того, что происходило накануне, но если это и происходило, кто-то постарался уничтожить все следы. Повторяю, если это происходило.

Не помню, как я провел остаток этого дня. Не помню даже, что я думал, блуждая по переулкам, вынуждаемый то и дело сворачивать в сторону, чтоб не оказаться в гуще драки. Позвонил в Милан, для чего не знаю. Пожав плечами, набрал номер Бельбо. Потом номер Лоренцы. Потом «Гарамон», где никого не могло быть в воскресенье. Я убеждал себя: если сегодняшняя ночь была сегодня, значит, все это произошло вчера. Но от позавчера до сегодня лежала непреодолимая бездна.

Ближе к вечеру я почувствовал голод. Хотелось покоя, чего-то хорошего. Возле Форум-дез-Аль я вошел в ресторан, манивший «свежей рыбой». Даже слишком. Меня усадили перед аквариумом. Мир в нем был до того ирреален, что лишь ухудшил мою неприкаянность. Ничто не случайно. Рыба смотрит астматическим исихастом, ^[135] у которого скудеет вера и который винит Всевышнего за то, что тот недооделил универсум смыслом. Саваоф-Саваоф, отчего ты так лукав, что подзуживаешь меня верить, будто тебя нету? Подобно гангрене, плоть распространяется по миру... Другая рыба очень похожа на Минни, длинные ресницы и ротик сердечком. Минни — невеста Микки Мауса. Буду есть салат фоль с рыбой хэддок, мягкой, как филе ребенка. С медом и с перцем. Павликиане — передо мной. Вот рыба-планер, зависла среди кораллов, как аэроплан Бреге — широкие рукоплесканья чешуекрылого чудища, сто против одного, что она углядела свой зародыш гомункула, покинутый на доньшке проколотого атанора, брошенного в мусорный бак напротив дома

алхимика Николя Фламелья. За нею следом рыба тамплиер, облицованная чем-то черным, не теряет надежды отомстить Ноффо Деи. Она толкает астматичного исихаста, который держит курс, сосредоточенно и сердито, на Невыразимое. Отвожу взгляд от водяной стихии, и через улицу вижу вывеску другого ресторана, CHEZ R... У Розенкрейцера? У Рейхлина? У Розиспергиуса? У Рачковскирагоцицароги? Знаки знаков знаков знаков...

Посмотрим. Единственный способ сбить с панталыку дьявола — заставить его поверить, будто ты не веришь. Незачем долго анализировать мой обратный бег по Парижу, видение Эйфелевой башни. По выходе из Консерватория, после того что я там видел или уверовал, что видел, любое городское зрелище любому показалось бы кошмаром. Это нормально. Но что же на самом деле я видел в Консерватории?

Мне было необходимо поговорить с доктором Вагнером. Не знаю почему, я был абсолютно убежден, что это панацея. Лечение речью.

Как мне удалось приблизить сегодняшнее утро? Кажется, я был в каком-то кинотеатре на «Даме из Шанхая» Орсона Уэллса. Когда дошло до сцены с зеркалами, я не выдержал и вышел. А может быть, и этого не было, может, и это я придумал.

Дожив до утра, в девять часов я позвонил доктору Вагнеру, пароль «Гарамон» помог преодолеть оборону секретарши, доктор вроде бы помнил про меня, выслушав поток аргументов о сугубой срочности, он сказал приходить немедленно, в девять тридцать, до начала приема. Очень любезно, человечно, подумалось мне.

Не исключено, что и визит к доктору Вагнеру мне привиделся. Секретарша заполнила на меня карточку, взяла гонорар вперед. К счастью, авиабилет у меня был в оба конца.

Кабинет небольших пропорций, никакой кушетки. Окна открыты на Сену, силуэт Эйфелевой башни. Доктор Вагнер встретил меня с профессиональной обходительностью, в сущности все верно, сказал я себе, я ведь сейчас не его издатель, а пациент. Широким и радушным жестом он пригласил меня усесться напротив, с другой стороны стола, как сажают подчиненных в кабинете начальства.

— Ну-с? — Сказавши это, он нажал на кнопку, вращающееся кресло крутнулось, и доктор оказался ко мне спиной. Голова его

поникла, руки, кажется, он сцепил на животе. Мне оставалось только говорить.

И во мне прорвалось что-то, разверзлись хляби, хлынули речи, все до доньшка, с начала до конца, все, что я думал тому назад два года, и год тому назад, и что я думал о Бельбо, и что (как мне думалось) думал Бельбо, и все, что связано с Диоталлеви. И в особенности что происходило с нами накануне, ночью Святого Иоанна.

Вагнер ни разу не перебил меня, ни разу не поддакнул, не удивился. Можно было бы даже предположить, что он мирно проспал весь наш сеанс. В этом, по-видимому, состояла его методология. Я же говорил. Лечение речью.

Потом я замолк и стал ждать. Его речь, его ответ, его слово должны были меня спасти.

Вагнер медленно, медленно поднялся с кресла. Так и не глянув в мою сторону, он обошел письменный стол и стал у окна. И так стоял и смотрел через стекло, сцепив за спиною кисти, в глубокой задумчивости. В молчании прошло десять, пятнадцать минут.

Потом, все так же продолжая стоять спиною, бесцветным, спокойным, увещательным тоном он произнес:

— Monsieur, vous etes foui. ^[136]

И продолжал пребывать в неподвижности. И я тоже. Прошло еще пять минут, и я понял, что больше ничего не будет. Прием окончен.

Я вышел, не прощаясь. Секретарша одарила меня широчайшей улыбкой. И я снова оказался на авеню Элизе Реклю.

Было одиннадцать. Я сложил свои вещи в гостинице и отправился в аэропорт, надеясь на удачу. Удачи не было, пришлось прождать два часа, тем временем я позвонил в Милан в «Гарамон», за счет абонента, потому что у меня не оставалось ни монетки. Ответила Гудрун, реагировала она еще более тупо, чем обычно, мне пришлось проорать три раза одно и то же, прежде чем она сказала уи, йес, что она готова платить.

Гудрун плакала. Диоталлеви умер в ночь с субботы на воскресенье в двенадцать часов.

— И никто, никто из друзей не пришел попрощаться, я только что с похорон, что же это творится, господи! Даже господина Гарамона не было, сказали, что он за границей. Только мы с Грацией, Лучано и какой-то господин весь в черном, борода, курчавые локоны и огромная

шляпа, потусторонний тип. Непонятно откуда взялся. Вы-то куда делись, Казобон? И где Бельбо? Что вообще происходит?

Я пробормотал что-то невразумительное и повесил трубку. Меня уже вызывали по радио. Надо было срочно садиться в самолет.

ЙЕСОД

Социальная теория заговора... есть результат ослабления референции к Богу, и соответственно возникшего вопроса: «Кто на его месте?»

Карл Поппер, Конъектуры и опровержения

/Karl Popper, Conjectures and refutations, London, Routledge. 1969, I, 4/

Полет мне пошел на пользу. Я не только отделался от Парижа, но и оторвался от подземного мира, и даже от наземного, от поверхности Земли. Небо и горы, даже летом покрытые снегом. Одиночество на высоте десяти тысяч метров и то чувство опьянения, которое обычно возникает в полете благодаря перепаду давления и незначительной турбуленции. Я подумал, что только в воздухе снова ощутил твердую почву под ногами. И я решил подытожить ситуацию. Сначала перечислю пункт за пунктом в записной книжке, а потом закрою глаза, откинусь и обдумаю записанное.

Прежде всего я решил переписать неоспоримые очевидности. Неопровержимо, что Диоталлеви умер. Мне об этом сообщила Гудрун. Гудрун всегда была и продолжает оставаться абсолютно непричастной к нашей истории, она бы в ней ничего не поняла, и следовательно, она единственная говорит совершенно истинные вещи. Далее. Действительно Гарамона не было на месте в Милане. Конечно, он мог находиться где угодно, но тот факт, что в Милане его нет и не было в предыдущие дни, дает возможность предположить, что он находился в Париже, где я его и видел.

В то же время отсутствует и Бельбо.

Будем исходить из предположения, что виденное мною в субботу вечером в соборе Сен-Мартен-де-Шан происходило на самом деле. Может быть, не именно так, как это увиделось мне под наркотическим влиянием музыки и курений. Но, допустим, что-то происходило. Это как в истории Ампаро. Возвратившись домой, Ампаро вовсе не была уверена, что она действительно была одержима Помбой Жирой. Но

она знала точно, что в павильоне умбанды побывала, и знала, что, будучи в павильоне, уверовала — или же повела себя так, как будто уверовала, — будто Помба Жи́ра действительно ею овладела.

Так. Далее, то, что мне сказала Лия в горах, справедливо, ее прочтение стопроцентно убедительно, послание из Провэна — это товарная квитанция. Не было никаких совещаний тамплиеров в здании Гранж-о-Дим. И не было Плана и не было послания.

Товарная квитанция для нас явилась кроссвордом с незаполненными клетками и без текстовых подсказок. Так что мы стали заполнять клетки, чтобы все крестословья совпадали. Нет, не годится, сравнение некорректно. В кроссвордах перекрещиваются слова и в этих словах на перекрестьях должны оказываться одинаковые буквы. В нашей игре мы перекрещивали не слова, а понятия и факты, а следовательно, правила сочетания были другие, по сути дела правил было три.

Во-первых, понятия сопрягаются по аналогии. Не существует критериев, чтобы знать с самого начала, хороша аналогия или плоха, ибо любая вещь напоминает любую другую вещь под определенным углом зрения. Например, картофель перекликается с яблоком, потому что оба растительные и круглые. Яблоко со змеем — по библейской ассоциации. Змея с кренделем, если змею закрутить хорошенько, крендель со спасательным кругом, спасательный круг с океаном, океан с мореплавательной картой, карту печатают на бумаге, туалетная бумага, туалет с одеколоном, одеколон со спиртом, спирт с алкоголем, алкоголь с наркотиками, те со шприцем, шприц с дыркой, дырка с ямкой, ямка с грядкой, грядка с картошкой — и круг замкнулся.

Второе правило об этом и говорит: если в конце концов, *tout se tient*, все сходится, значит, игра засчитывается. От картошки к картошке мы проследили путь истины.

Третье правило: ассоциации не должны быть слишком свежими, надо, чтобы кто-нибудь когда-нибудь не менее чем однажды, а лучше многожды, о них уже говорил. Только таким образом связи кажутся истинными: они выглядят очевидными.

В сущности, это была идея господина Гарамона: книги одержимцев не должны содержать ничего нового, должны повторять уже известное, иначе как поддерживать древнее Предание?

И мы действовали по правилам. Ничего не изобретали, только сопоставляли имеющиеся кусочки. Так же действовал и Арденти, только он сопоставлял кусочки нелепо, а кроме того, будучи менее культурным человеком, он располагал меньшим количеством кусочков.

А у Тех кусочки были, но не было самого кроссворда. К тому же мы и на этот раз оказались шустрее их.

Я вспоминал фразу, которую сказала мне Лия в горах, когда ругала за то, что мы придумали опасную игру: «Люди мечтают о Планах, стоит им почуять запах, и они сбегаются, как стая хищников. Ты выдумываешь, а они верят. Не надо раздувать воображаемое больше, чем оно есть».

В конечном счете, всегда бывает так. Молодой Герострат терзается, потому что не знает, как сделаться знаменитым. Потом он смотрит фильм, в котором тщедушный мальчик стрелял в звезду кантри мюзик и им занялись газеты. Готово дело, наш герой идет и убивает Леннона.

То же самое с ПИССами. Как заделаться печатаемым поэтом и войти в энциклопедию? Гарамон отвечает: только заплати. ПИСС о таком никогда раньше не думал, но поелику существует план «Мануция», он готов войти в этот план. Он уверен, что ожидал встречи с этим планом с самых молодых ногтей, он только не знал, что план существует.

Следовательно, мы изобрели несуществующий План, а Эти не только уверовали в него, но и убеждены вдобавок, что они в Планах находились внутри, с самых давних времен, то есть они посчитали осколки своих проектов, беспорядочные и жалкие, за этапы нашего Плана, составленного в соответствии с неопровержимой логикой аналогий, сходств и подозрений.

Но если стоит только выдумать План — и он осуществляется другими, значит, План как если бы действительно существовал, более того, отныне он существует.

Отныне и впредь орды одержимцев станут рыскать по миру в поисках этой самой карты.

Мы посулили карту личностям, которые старались преодолеть свои угрюмые фрустрации. Какие? Меня навел на ответ последний из файлов Бельбо. Чувства провала не было бы, если бы План существовал действительно. Было бы чувство поражения, но не по

собственной вине. Сдаться пред лицом космического заговора не стыдно. В этом случае ты не трус, а мученик.

Ты же не жалуешься на то, что смертен, что ты жертва бесчисленных микроорганизмов, над которыми не властен, ты не несешь ответ за нехваточие ладони ног, за отвалившийся хвост, за то, что волосы и зубы не отрастают заново, за нервные клетки, которые не восстанавливаются, за сосуды, которые склеротизируются. Все это вина Завистливых Ангелов.

То же самое относится и к повседневной жизни. Это как с крахами на бирже. Они случаются потому, что все одновременно совершают по какой-то ошибке, и все ошибки взятые вместе приводят к возникновению паники. Потом люди с более слабой нервной системой пробуют дознаваться: но кто же устроил весь этот заговор, кому он был выгоден? И плохо, если не удастся отыскать того врага, который сплел заговор. Не отыскавши, ты во власти чувства вины. Вернее, поскольку у тебя чувство вины, ты выдумываешь врага с заговором, и даже много врагов, много заговоров. Чтобы победить их, тебе нужен собственный заговор. И чем дальше ты выдумываешь чужие заговоры как причины твоего смятения, тем сильнее ты в них влюбляешься и свой собственный выковываешь по их мерке. То же самое происходило, когда иезуиты и бэконииане, павликиане и неотамплиеры ставили в вину друг другу выдуманные ими самими планы.

Тогда Диоталлеви говорил:

— Конечно, надо обвинить других в том, что делаешь ты сам. И так как ты делаешь вещи заведомо омерзительные, мерзость переходит на тех других. В то же время, так как другие на самом деле хотели бы делать именно те мерзостные вещи, которые делаешь ты, они идут тебе навстречу, давая понять, что да, действительно то, что ты им приписал, это то самое, чего они всегда желали. Бог ослепляет тех, кого желает погубить, надо только немножечко помочь ему.

Заговор, если он должен быть заговором, секретен. Должен быть секрет, зная который, мы излечимся от фрустрации, потому что либо этот секрет приведет нас к спасению, либо знание этого секрета для нас отождествляется со спасением. Но существует ли столь сиятельный секрет?

Существует, при условии чтоб нам не знать его никогда. Разоблаченный, он разочарует нас, и только. Разве не говорил Алье о тяготении к таинственности, переполнявшем собой эпоху Антонинов? А ведь как раз незадолго до того явился некто, кто заявил о себе как о сынове Божиим, который воплотился и искупает грехи человеческого рода. Мало ли этого? И обещал каждому спасение, достаточно только полюбить ближнего. Мало ли такой тайны? И в приписке к завещанию сообщал еще, что любой, кто сумеет произнести правильные слова в правильное время, сможет претворить кусок хлеба и полстакана вина в плоть и кровь сына Божия и питаться тем, что получит. Такая загадка не заслуживала бережного отношения? И побуждал отцов церкви предположить, а впоследствии и провозгласить, что Господь одновременно и един и троиствен, и что Дух нисходит от Отца и Сына, а вовсе не Сын от Отца и Духа. Что это, фразочка для иликов?^[137] И при всем при том эти люди, у которых спасение было, можно сказать, протяни руку, do it yourself — ноль внимания. Потому что: как так, больше нету секретов? Что за разочарование. И ну снова истерически рыскать на быстроходных либурах вдоль и поперек по Средиземноморью, искать другого потаенного знания, для которого все эти догмы, цена которым тридцать сребреников, выступали бы не более чем внешним камуфляжем, незамысловатой басней для нищих духом, тайносмысленным иероглифом, подмигиванием пневматикам. Тайна Божественной Троицы? Больно плоско, должно же быть что-нибудь посерьезнее под этой тайной.

Кто-то, мне кажется Рубинштейн, когда его спросили, верует ли он в Бога, сказал: — Ах, нет, я верю в нечто гораздо большее... — И сказал кто-то другой (Честертон?): с тех пор как люди больше не веруют в Бога, это не значит, что они не веруют ни во что, а значит, они веруют во все.

«Все» не означает «еще более» таинственный секрет. Нет «еще больших» секретов, потому что как только они открываются, они становятся маленькими. Есть только пустые секреты.

Тайны, которые ускользают. Секрет растения ятрышник состоит в том, что оно означает тестикулы и оказывает на них действие, а тестикулы означают знак зодиака, знак зодиака — иерархию ангелов, иерархия ангелов — музыкальную гамму, гамма — связь между настроениями и так далее. Посвящение — это значит познавать и

никогда не останавливаться, очищать вселенную от шелухи: представим себе бесконечную луковицу с центром повсюду, но не имеющую нигде края поверхности, или же луковицу в виде ленты Мебиуса.

Настоящий посвященный — тот, кто знает, что самая сильная тайна — тайна без содержания, ибо никакому врагу не удастся заставить его ее признать и ни одному правоверному не удастся ее от него скрыть.

Теперь динамика ночного ритуала у Маятника представлялась мне более логичной, последовательной. Бельбо утверждал, что владеет тайной, и тем самым приобрел власть над Ними. Их стремлением, даже со стороны такого искушенного человека, как Алье, который сразу же затрубил всеобщий сбор, чтобы выудить ее у него. И чем упорнее Бельбо отказывался открыть ее, тем сильнее Они верили, что тайна эта велика. Чем отчаяннее он клялся, что не владеет ею, тем больше Они убеждались, что он знает ее и что это настоящая тайна, ибо в противном случае Бельбо раскрыл бы ее.

На протяжении веков поиск этой тайны был для них цементирующим средством — будь то в разгар отлучений от церкви, междоусобных войн или боевых вылазок. Теперь они намерены ее познать. Две вещи приводили в ужас: то, что тайна может просто разочаровать, и что когда ее узнают все, она уже не будет тайной. Будет их концом.

Вот тогда-то Алье почуял, что если Бельбо заговорит, то узнают все, и он — Алье — потеряет туманную ауру, которая давала ему Божественный дар и власть. Если бы Бельбо доверился только ему, то Алье остался бы бессмертным Сен-Жерменом, — дарованная ему отсрочка смерти совпадала с отсрочкой тайны. Он попытался принудить Бельбо раскрыть ему тайну на ухо, а когда понял, что это невозможно, то спровоцировал его, возвестив о капитуляции, а главное — приняв самодовольный вид. О, как хорошо старый граф знал его, ему было известно, что у людей из этих районов упрямство и боязнь показаться смешным сильнее самого страха. Он вынудил его принять вызов и сказать «нет» окончательно. Остальные — боялись того же.

И потому одержимцы убили Бельбо. Конечно, при этом они утратили карту. Но у них впереди столетия, чтобы разыскивать ее, а

зато они сохранили всю свежесть своего слабосильного, слюноточивого желания.

Тут я вспомнил, что мне рассказывала в свое время Ампаро. До того как приехать в Италию, она прожила несколько месяцев в Нью-Йорке, и там она жила в таком квартале, где можно было снимать без декораций телефильм из жизни угрозыска. Тем не менее она часто возвращалась одна часа в два ночи. И когда я ее спросил, не боялась ли она сексуальных маньяков, она поделилась со мной своим методом. Когда маньяк подкрался к ней и выказал свои намерения, она взяла его под ручку и сказала:

— Коли так, пошли в койку.

Маньяк в ужасе ретировался.

Сексуальный маньяк не желает секса, он желает его желать, ну максимум воровать его, но безусловно при неучастии жертвы. Когда тебя ставят прямо перед сексом и говорят: здесь Родос, здесь, прыгай, разумеется, ты удерешь без оглядки, иначе что ты за маньяк, Господи прости.

Мы же подзуживали, возбуждали их желания, предлагали им секрет, пустее которого не бывает, потому что не только не знали секрета и мы тоже, но мы еще вдобавок и знали, что наш секрет совершенно пуст.

Самолет летел над Монбланом, и пассажиры все бросились к левому борту, чтобы обязательно полюбоваться глупым прыщом, выскочившим на фоне дистонии подземных сосудов. Я же думал, что если все, о чем я думал сейчас, правда, тогда, наверное, и подземных течений тоже не существует, раз уж не существует послания рыцарей из Провэнса. Но история расшифровки Плана, в том виде, в каком мы ее расшифровали, все равно не что иное, как История человечества.

Я возвращался памятью к последнему файлу Бельбо. Но в таком случае, если естество настолько пусто и хрупко, что держится только на иллюзиях тех, кто разыскивает его тайну, действительно, — как кричала Ампаро тогда вечером в палатке после своего позора, — значит, нет раскрепощения, значит, все мы рабы, дайте хозяина, мы его заслужили...

Невозможно. Этого не может быть, потому что Лия убедила меня, что есть и нечто другое, у меня имеется доказательство, оно называется Джулио, и в данную минуту оно ковыляет по лужайке,

тянет за хвост козу. Невозможно еще и потому, что Бельбо дважды ответил «нет».

Первое «нет» он сказал Абулафии и всем тем, кто собирался проникнуть в ее тайну. «У тебя есть ответ?» — было спрошено. Настоящий ответ, ключ к познанию, состоял в слове «нет». Вот она правота: не только магического слова не существует, но и мы его не знаем. Кто сумеет признать это, сумеет и узнать что-то, так же как сумел узнать что-то я.

Второе «нет» он произнес в субботу вечером, отвергая спасение, которое ему предлагалось. Он мог бы изобрести какую угодно карту, пересказать любую из тех, которые показывал ему я, во всяком случае при их идиотской подвеске Маятника эти проходимцы никакого Пупа земли никогда бы не обнаружили, а если и обнаружили бы, им понадобились бы десятилетия, чтоб убедиться, что пуп не тот. Но нет, Бельбо не захотел унижаться, он предпочел умереть.

Не то чтобы он не хотел унижаться перед перевесом силы. Ему претило унижение перед отсутствием смысла. А это означает, что он каким-то образом знал, что при всей хрупкости естества, при том, что бесконечно и бесцельно наше исследование мира, существуют некие вещи, имеющие больше смысла, чем другие.

Что же чувствовал Бельбо, может быть, даже в последнюю минуту, что придало ему силы противостоять последнему безнадежному файлу, и не подчинять свою судьбу тому, кто ниспосылает взамен какой-то там План? Что он понял там, наконец, что дало ему силы проиграть свою жизнь, причем так, как будто бы нечто, что он должен был знать, зналось им издавна, только не замечалось до тех пор? И как будто пред ликом этого его единственного, верного, абсолютного секрета, все, что происходило в Консерватории, было бесповоротно глупо; и глупо, раз уж на то пошло, было настаивать на том, чтоб продолжать жить?

Мне недоставало чего-то, какого-то звена цепочки. Я знал о Бельбо почти все, жизнь и смерть и героические деяния, не знал только одной вещи.

В аэропорту, разыскивая паспорт, я нащупал в кармане ключ от сельского дома Бельбо. В прошлый четверг я захватил его вместе с ключом от городской квартиры. Я вспомнил, как мы были у него в гостях и он показал нам шкаф, набитый бумагами, и сказал, что там

содержится его полное собрание сочинений юношеского периода. Может быть, Бельбо написал что-то такое, чего не может быть в Абулафии, и это что-то захоронено в шкафу в ***?

Никаких оснований не было приходиться к подобному выводу. Неплохое основание, сказал я себе, — чтоб поверить в этот вывод. Учитывая весь предыдущий опыт.

Я нашел на стоянке свою машину, сел в нее и отправился в ***.

Я не застал даже столетней родственницы Канепы, сторожихи или кем там она им приходилась, которую мы видели в прошлый приезд. Может быть, и она умерла за это время. Никого нет здесь. Я прошел по старинным комнатам, пахнет сыростью, мне даже подумалось, что надо установить «монаха» в какой-нибудь из спален. Но какой смысл разогревать постель в июне, стоит только открыть окна, все прогреет воздух летнего вечера.

Сразу после захода солнца не было луны. Ее не было и в Париже ночью в субботу. Она взошла очень поздно, я вижу малюсенький ее ломтик — меньший, чем в Париже, — только сейчас, когда она медленно поднимается над самыми низкими холмами, в проеме между Брикко и соседним желтоватым, может быть, уже окошенным горбом.

Думаю, что приехал я сюда около шести часов вечера, было совсем светло. Я не привез никакой еды, но, блуждая по дому, в кухне я обнаружил окаменевший окорок, подвешенный на балке. Так я поужинал, запивая водою, часов около десяти вечера. Теперь меня мучит жажда, я притащил наверх в библиотеку дяди Карло пузатый графин с водой, пью из горлышка, каждые десять минут спускаюсь за новой порцией на первый этаж к раковине. Сейчас, наверное, часа три. Но свет у меня погашен, и трудно разглядеть циферблат. Я думаю, глядя в окно. Мелькают как будто светлячки, это падающие звезды скользят по округлым бокам холмов. Редко-редко машины проезжают, спускаются в лог, карабкаются на горные отроги. Когда Бельбо был мальчишкой, подобных зрелищ не наблюдалось. Машин не было, дорог не было, не было огней, был комендантский час.

Я открыл шкаф с Бельбовыми бумагами сразу же по приезде. Кучи и кучи рукописей, все от школьных заданий первого класса до множества блокнотов со стихами и с прозой периода отрочества. В отроческую пору все писали стихи, настоящие поэты потом уничтожили стихи этого периода, а плохие их опубликовали. Бельбо

был слишком строг к себе, чтоб держаться за них, и слишком незащищен, чтоб уничтожить. Он похоронил их в огромном шкафу дяди Карло.

Я читал несколько часов. И еще несколько часов, вплоть до нынешней минуты, я раздумывал над содержанием последнего прочитанного текста, который попался мне в руки, когда я почти что готов был сдать.

Не знаю, когда Бельбо написал этот текст. Для этой рукописи характерно нагромождение различных почерков, вернее сказать, вариантов одного и того же почерка в различные эпохи. Как будто бы писалось это рано, в шестнадцать-восемнадцать лет, а потом исправлялось в двадцать, в тридцать, потом еще раз снова в сорок, а может быть и позднее. До той поры, покуда автор вообще не забросил писать, не считая баловства с Абулафией, к которой не имели отношения эти строки, их нельзя было унижать электронной трансформацией.

Когда читаешь это, кажется, что попадаешь в давно известное пространство, в жизнь городка *** 1943–1945 гг., дядя Карло, партизаны, ораторий, Цецилия, труба. Я знал пролог этой пьесы, навязчивые мотивы Бельбо нежного, Бельбо пьяного, грустного и страдающего. Литература памяти, как нам было хорошо известно, — последнее прибежище бездарностей.

Но я сейчас не литературный критик, я еще раз поработаю Сэмом Спейдом, разыщу недостающую улику.

И вот мне удалось найти текст-разгадку. Это, кажется, последняя страница жизни Бельбо в ***. После этого не происходило уже ничего.

И зажжен был венец трубы, я увидел, как отверзлось отверстие купола и сияющая стрела огня низринулась из зияния в зев трубы и вверглась внутрь тел, лишенных жизни. После того, отверстие снова закрылось и труба была удалена.

Иоганн Валентин Андреаэ, Алхимическое бракосочетание Христиана Розенкрейца

/Johann Valentin Andreae, Die Chymische Hochzeit des Chrtstian Rosencreutz, Zetzner, 1616, 6. pp. 125–126/

В тексте имеются пропуски, зачеркивания, замазывания, провалы. Восходит все, кажется, к апрелю сорок пятого года. Немецкие армии были уже разбиты, местные фашисты разбегались. В любом случае *** находился под контролем партизан. После последней схватки, той самой, о которой нам рассказывал два года тому Якопо, которая происходила практически у них в доме, разные партизанские бригады назначили всеобщий слет в *** с тем, чтобы оттуда двинуться на город. Они ждали условного пароля от «Радио Лондон», что означало бы, что и в Милане все подготовлено к восстанию.

Участвовали и гарибальдийские бригады, командовал ими некий Рас, чернобородый великан, обожаемый народом. Они ходили в разношерстном обмундировании, формой им служили красный шейный платок и красная звезда на груди, и вооружены были тоже как придется, кто с допотопной винтовкой, кто с автоматом трофейного происхождения. Бадолианские войска выглядели совершенно иначе, синие платки, форма хаки, вроде английской, и новешенькие короткоствольные автоматы «стен». Союзники заваливали бадолианцев всяким добром с воздуха по ночам, а перед этим вот уже два года непременно появлялся каждый вечер таинственный Пипетто, английский разведывательный самолет, неведомо что разведывавший,

учитывая, что ни одного огня не было заметно окрест на десятки километров.

Между гарибальдийцами и бадолианцами особой любви не было, говорили даже, что в ночь после решающего сражения бадолианцы, преследуя фашистов, кричали «Да здравствует король!», но те оправдывались, что-де по привычке закричишь что угодно, особенно когда прешь в атаку, и что совершенно необязательно из этого следует, что они монархисты и что они тоже понимают, что король очень во многом был неправ. Гарибальдийцы в ответ хмыкали, что, может быть, и действительно, когда бежишь со штыком наперевес, заорешь и король и Савойя, но не тогда же, когда воюешь в городских условиях короткими перебежками, да что там, и без того ясно, что бадолианцы просто продались англичанам.

Было в любом случае достигнуто что-то вроде соглашения, потому что требовалось объединенное командование для похода на город, и выбор пал на командира Терци, у которого была под началом лучше всего обученная бригада. Он был старше всех, воевал еще в первую мировую, это был герой, и он пользовался доверием у командования союзников.

Довольно скоро вслед за этим, думаю — за несколько дней до начала миланского восстания, бригады отправились отбивать наш город. Мы ждали известий, известия были хорошие, операция удалась, бригады торжественно возвращались в ***, но были убитые, говорили даже, будто в сражении был убит Рас, а Терци как будто ранен.

Ближе к вечеру послышался шум автомашин, пение солдат, люди выбежали на площадь, с шоссе сворачивали первые подразделения, поднятые кулаки, знамена, машут оружием из окон машин и из кузовов грузовиков. По дороге сюда их уже закидали цветами, на машинах горы цветов.

Неожиданно раздался крик: Рас, Рас! И вот он Рас, бог весть как держится на переднем бампере доджа, всклокоченная борода, ключья черной просоленной шерсти вылезают из рубахи, распахнутой на груди, хохочет, приветствует толпу.

Вместе с Расом слезает с доджа и Рампини, близорукий мальчишка, игравший в нашем оркестре, он немного был старше нас, сгинул три месяца назад, говорили — пошел к партизанам. И

действительно, вот он с ними, с красной косынкой на шее, в куртке хаки, синие брюки — форма нашего оркестра, но еще у него имелся пояс, кобура, а в кобуре пистолет. Через толстые стекла, которые столько раз служили посмешищем старым товарищам по ораторию, ныне он разглядывал роившихся девиц взглядом Флэша Гордона. Якопо подумал, интересно, есть ли на площади Цецилия.

В течение каких-нибудь получаса площадь вся заполнилась партизанами, толпа громогласно выкрикала Терци, добивалась речи. Терци вышел на балкон местной управы, опираясь на свой костыль, бледнолицый, и несильно махнул, чтобы замолчали. Якопо ожидал крупной речи, потому что все его детство, как положено в те времена, состояло из крупных и значительных речей Муссолини, из которых следовало заучивать наиболее показательные части, в школе требовали этого, а следовательно, заучивалась любая речь полностью, потому что несущественного дуче не говорил ничего.

Грянула тишина. Терци заговорил сорванным голосом, слышалось плохо. Он сказал так:

— Соотечественники, друзья. После огромных трудностей... мы теперь с вами. Вечная память павшим. Все. И он удалился.

А толпа надрывалась, кричала, партизаны размахивали оружием, пулеметами, автоматами, винтовками, девяносто первыми, от восторга пускали очереди, гильзы разлетались по сторонам, а ребята кидались под ноги военным и штатским, потому что подобного урожая в дальнейшем ожидать им было неоткуда, и вообще вся война грозила закончиться через неделю.

Однако убитые действительно были. По печальному совпадению, оба из Сан-Давиде, крошечной деревушки на вершине горы, и семьи хотели погрести их наверху, на старинном кладбище.

Партизанское командование запланировало торжественные похороны, стройся поротно, повозки в траурном убранстве, духовой оркестр района, пресвитер из районного собора. Плюс к тому оркестр оратория.

Дон Тико согласился с энтузиазмом. Прежде всего, сказал он, потому, что он всегда питал антифашистские чувства. Кроме того, перешептывались оркестранты, потому, что вот уже год он заставлял всех учить траурные марши, надо же было хоть когда-нибудь их обкатать на публике. А к тому же, добавляли злыязыкие поселяне,

хочет, чтоб потускнела и стерлась в памяти история с исполнением «Юного фашиста».

С «Юным фашистом» («Джовинецца») история случилась такая. Много месяцев назад, до того как появились партизаны, оркестр дон Тико возвращался с какого-то незапамятного официального концерта и повстречал патруль Черных Бригад. — Сыграйте «Юного фашиста», святой отец, — распорядился капитан, поигрывая пальцами по прикладу автомата. Что делать, как любили говаривать классики? Дон Тико сказал: ребята, тут нам нет резона, остаться бы живу. Он задал темп своей палочкой, и отвратительные нестройные вопли труб и барабанов огласили окрестности ***, и бродячий цирк пересек *** из конца в конец, изрыгая такую какофонию, которая лишь от полного отчаяния могла быть принята за «Юного фашиста». Позор на наши музыкантские головы. За то, что поступились принципами, говаривал впоследствии дон Тико, но в основном за то, что играли хуже некуда. Слова священнослужителя и вдобавок антифашиста. Что ж, искусство действительно не прощает.

Якопо тогда не было. У него был тонзиллит. Были только Аннибале Канталамесса и Пио Бо, и, разумеется, их весомый вклад сыграл решающую роль в падении фашистского режима. Но для Бельбо проблема состояла в другом, во всяком случае в период, когда он писал эти строки. Ему опять не случился повод узнать, хватило ли бы у него духу сказать «нет». Я думаю, именно поэтому Бельбо нашел свою смерть на маятнике Фуко.

Ну в общем, похороны были назначены на воскресенье. На церковной площади собрались все: Терци с военными, дядя Карло и местная административно-интеллигентская прослойка с медалями за прошлую войну. Уже не имело значения, кто из них был фашистом, а кто не был, речь шла о долге памяти героям. Служители церкви, районный духовой оркестр в темных костюмах, катафалки, лошади под черными чепраками и повсюду белый, серебряный, черный цвета. Возница был наряжен как наполеоновский маршал, в треуголке, пелерине и громадном плаще той же расцветки, что убранство лошадей. И тут же был оркестр оратория, фуражки, куртки хаки и синие штаны, он шел сияя медью, чернея деревом и рассыпая искры от тарелок и барабанов.

От *** до Сан-Давиде пять или шесть километров все извивами и в гору. Дорога, которую гуляющие пенсионеры проходили за воскресенье, партия в шары, несколько фляжек вина, привал окончен, еще километр, еще винишка, еще сыграем, и так вплоть до самой церкви на вершине горы.

Несколько километров в гору — не так уж страшно для того, кто присаживается отдохнуть в тенечке, может быть, даже вполне осуществимо прошагать этот путь в колонне по два, ружье на плечо, глядя перед собою, вдыхая свежайший воздух ранней весны. Но попробуйте идти в гору дую в трубу, мускулы щек затвердевают, пот ручьями катится по лицу, дыхания не хватает. Районный духовой оркестр был к этому приучен всей жизнью, но для мальчишек из команды дона Тико это было огромное испытание. Они выдержали погеройски, дон Тико бороздил палочкой воздух, кларины причитали, саксофоны завывали, баритоны и трубы захлебывались в агонии, но они одолели весь путь до самой деревни, до подножия погоста. С полдороги Аннибале Канталамесса и Пио Бо только притворялись, будто что-то играют, но Якопо свято блюл свою функцию пастушеской овчарки, под благословляющим оком дона Тико. В дуэли с районным духовым оркестром они не спасовали, и это подтвердили и Терци и другие командующие бригадами: спасибо, ребята, вы сделали большое дело.

Командир с синим платком на шее и с радугой нашивок за две мировые войны сказал тогда: — Святой отец, ребята свое отдудели, пусть идут в деревню. Под конец поднимайтесь к погосту. Дадим вам грузовик, он развезет по домам. Тут все набились в остерию, и музыканты из духового оркестра, заматерелые на сотне процессий, без зазрения наказывали себе немереные порции почек и красного вина. Застолье обещало растянуться до вечера. Мальчики дона Тико, со своей стороны, столпились около стойки, где хозяин подавал колотый сладкий лед, зеленый, как химический опыт. Лед с размаху проваливался в горло, отчего ломило посередине лба, как при синусите.

Наглотавшись, вся компания потянулась наверх на кладбище, где их ждал грузовичок. Шумно влезали в кузов, и уже все были в машине, стояли, прижавшись друг к другу, толкаясь инструментами, когда на паперть кладбища вышел тот же самый командир и крикнул:

— Святой отец, для церемонии финала нам нужна труба, для торжественного отбоя. Это всего пять минут.

— Труба, — негромко, профессионально скомандовал дон Тико. Но недостойный обладатель привилегии, к тому времени уже изошедший ядовито-сахарным потом и целиком нацеленный на домашний обед, жалкий мужлан, чувствительный к обаянию прекрасного, к идеям и к солидарности идей, Начал гнусить, что уже поздно, что его обещали отвезти домой, что у него уже кончилась слюна, и так далее и в подобном духе, вгоняя в краску дона Тико, которому было совестно перед командиром.

В эту минуту Якопо, увидев как воочию в полуденном мареве пленительный образ Цецилии, сказал:

— Если он мне даст трубу, пойду я.

Признательность в сияющем взгляде дона Тико, потное облегчение гадостного трубоносца. Обмен инструментами, как при смене караула.

И Якопо поднялся по ступеням кладбища, ведомый психопомпом с нашивками за Аддис-Абебу. Все вокруг ослепляло белизной, раскаленная на солнце стена, гробницы, цветущий кустарник живой изгороди, риза завершающего обряд священника, коричневели только поблекшие фотографии на надгробных крестах. И выделялись цвета знамен, окружавших две вырытые могилы.

— Парень, — сказал командир. — Ты становись тут, со мною рядом, и по команде играй смирно. Потом по команде отбой. Все понял?

Понял-то все. Только Якопо до тех пор ни разу в жизни не играл смирно и не играл отбой.

Он держал трубу, прижав ее правым локтем, прижимая к ребрам, раструбом немножко книзу, как держат карабины, и ждал сигнала, подбородок вверх, живот втянут, грудь выдвинута вперед.

Терци кончал свою неяркую речь, состоявшую из коротких фраз. Якопо думал: когда надо будет играть, я подниму глаза к небу, и солнце выслепит глаза. Но так умирают трубачи, и поскольку смерть дается только однажды, имеет смысл умереть хорошо.

Потом командир прошептал ему:

— Давай. — И начал набирать в грудь воздух для «Сми-и-и». А Якопо не знал, как играется «Смирно».

Мелодическая структура, вероятно, должна была быть другая, в тот момент из Якопо вылилось что-то вроде до-ми-соль-до, но заскоружлым сыновьям войны, по-видимому, этого хватило. В последнее «до» он вошел наново захвативши воздух, так чтобы мочь продержаться его как можно дольше, чтобы дать этому «до» возможность — как написано у Бельбо — долететь до самого солнца.

Партизаны замерли по стойке смирно. Замерли как умерли, мертвее мертвых.

Двигались только гробокопатели, слышен был шорох опускаемых в ямы канатов, шуршание обратного их выматывания, концы хлестнули по дереву. Это был до такой степени слабый шелест, что он напоминал трепетанье луча на поверхности сферы, нужное лишь для того, чтобы подчеркнуть, что на уровне Сфер ничто не изменяется никогда.

Потом с рывкообразным притопом была выполнена команда «на плечо!». Пресвитер произнес последние молитвы, кропя усопших, командиры приблизились к открытым могилам и каждый бросил горсть земли. В ту минуту неожиданная команда разорвала тишину очередями в воздух, тарах-та-тах, и ошарашенные птицы ринулись ввысь с зацветающих деревьев. Но и это не стало движеньем, это все еще было, как если бы то же остановленное мгновение увиделось из нескольких различных перспектив, а видеть мгновение всегда — совсем не означает видеть его в то время, как проходит время.

Поэтому Якопо оставался бездвижен, даже гильзы, катавшиеся вокруг его ботинок, не имели значенья, и трубу он не опустил, не взял под мышку, а продолжал держать у рта, держал пальцы на клапанах, вытянувшись по «смирно», устремивши по диагонали раструб в поднебесье. Труба продолжала звучать.

Его длиннейшая финальная нота так и не прервалась. Неощутимая для посторонних, из раструба вылетала эта нота, как легчайший ветерок, эта воздушная струйка, которую он непрерывно направлял в отверстие вдува, держа язык меж полуоткрытых губ, но не припадая к латунной присоске. Инструмент он стремил в вышину, но не опирал на лицо, а удерживал одним лишь только напряжением локтей и предплечий.

Якопо из-за того продолжал испускать эту иллюзию ноты, что ему явно чувствовалось: в эту минуту он удерживает нить, приковавшую

солнце. Светило прекратило свой бег, зависло в бесконечном полдне, который мог продолжаться и вечность. И все зависело от Якопо, стоило ему оборвать контакт, выпустить нитку, и солнце отскочило бы прочь, как отскакивает мячик, а вместе с ним отлетели бы и день, и событие этого дня, и это действие, не делящееся на фазы, эта последовательность без «досель» и «после», протекавшая неподвижно лишь потому, что подобное ее состояние находилось в распоряжении его желать и мочь.

Если бы он перестал выдувать зачин новой ноты, раздался бы звук разрыва, гораздо более страшный, нежели очереди, которые ошарашили слух Бельбо. Все часы пошли бы тарыхтеть снова, содрогаясь в тахикардии.

Якопо вожделел всей душою, чтобы командир никогда не скомандовал «отставить». Я могу и отказаться, убеждал он себя, и тогда все продолжится навеки, так что надо держать дыхание, покуда возможно.

Думаю, что он вошел в то состояние оглушенности и головокружения, которое охватывает ныряльщика, желающего продержаться на глубине и продлить инерционное движение, которое в конечном итоге утягивает его на дно. До такой степени, что строки, читаемые мною в тетради, передавая его тогдашнее ощущение, перебиваются астматическими задыханиями, разрываются многоточиями, ковыляют сквозь зияния. Но ясно чувствуется, что в эту минуту — нет, он не говорит этого, но это вполне очевидно — в эту минуту он обладал Цецилией.

Дело в том, что Якопо Бельбо тогда не мог сознавать — не признавал он и после, пища о самом себе несознающем — что в то мгновение он окончательно и на всю жизнь отпраздновал все свои алхимические бракосочетания, с Цецилией, с Лоренцей, с Софией, с землею и с небом. Единственный, может быть, среди всех смертных он совершил во всей полноте Великое Деяние.

Никто не говорил еще ему тогда, что Грааль является чашей, но является и копием, и что труба, подъятая как кубок, в то же время является и оружием, орудием сладострастнейшего господства, устремленным в небеса и привязывающим Землю к Мистическому полюсу, Землю к единственной твердой точке, которую мироздание

когда бы то ни было имело: точке, которую сотворил он сам, на эту бесконечную минуту, своим дуновением.

Диоталлеви еще не рассказал ему тогда, что можно пребывать в Йесоде, в сефире Основания, в замке сочетания вышней арки, выгнутой луком, чтобы посылать стрелы в меру Мальхута, который есть цель Йесода. Йесод — капля, упавшая со стрелы, которая питает дерево и плод, это *anima mundi*,^[138] в ней мужественная сила, порождая, связывает между собою все состояния вещества. Уметь развязать этот Пояс Венеры значит исправить ошибку Демиурга.

Как можно прожить всю жизнь, отыскивая свой Случай и не замечая, что решающий момент, тот, который оправдывает рождение и гибель, был тобой уже прожит? Он не вернется, но он сбылся, неотвратимо, полно, блистательно, благородно, как любое откровение.

В этот день Якопо Бельбо глядел в глаза Истине. Единственной, которая в его жизни была ему явлена, ибо истина, которую он воспринял, это что истина быстролетна (впоследствии она превращается просто в комментарий). Именно поэтому он стремился укротить нетерпение времени.

Тогда он этого еще не понимал, конечно. И не понимал, ни когда писал об этом, ни когда решил об этом больше не писать.

Я понял это сегодня вечером: необходимо, чтобы автор умер, для того чтобы читатель открыл для себя истину.

Наваждение Маятника, которое преследовало Якопо Бельбо в течение всей его взрослой жизни, было — как утерянный во сне адрес — отображением другого мгновения, закрепленного в сознании, потом вытесненного, в которое он действительно прикоснулся к потолочному своду мира. И это, то есть мгновение, когда он затормозил пространство и время, выпустив свою стрелу Зенона,^[139] не было ни знаком, ни симптомом, ни аллюзией, ни фигурой, ни сигнатурой, ни загадкой; оно было тем, чем было, и не выдавало себя за иное, было мгновением, в которое нет отсрочки и уравниваются все счета.

Якопо Бельбо не понял тогда, что его миг был ему даден и его должно было хватить на всю оставшуюся жизнь. Он его не опознал и провел остаток своих дней в поисках иного, пока не погубил себя. А может быть, он что-то и подозревал, иначе не возвращался бы так часто к воспоминанию о трубе. Но труба ему помнилась в виде утраты, а между тем на самом деле она некогда была ему дана.

Думаю, надеюсь, молюсь, что Якопо Бельбо наконец понял это в минуту, когда он умирал, повиснув на Маятнике, понял — и обрел покой.

Потом было скомандовано «отставить». Он все равно не мог уже бороться, потому что дыхания больше не было. Тогда он оборвал связь и выдул единственную ноту, высокую, убывающей интенсивности, нежно гаснущую, подготавливающую мир к той печали, которая в него приходила.

Командир сказал затем:

— Все в порядке, парень. Можешь идти. Сыграл молодцом.

Пресвитер устремился к выходу, партизаны вышли через заднюю калитку, где дожидались их бронемашины, могильщики заровняли ямы и тоже отправились восвояси. Якопо вышел последним. Он не решался оставить место счастья.

На площадке грузовичка с оркестрантами не было.

Якопо подумал, как же так, дон Тико никогда бы не бросил его. По прошествии времени напрашивается логичное объяснение, а именно что кто-нибудь заверил дона Тико, что паренька доставят до дому партизаны. Но Якопо тогда на месте подумал — и не так уж он сильно ошибался — что между «смирно» и «отставить» протекло слишком много столетий, и ребятам пришлось бы ждать его до глубокой старости, до седины, до смерти, и прах их успел бы расточиться в мире, став частью того легчайшего тумана, который синевою осенял отлогую ширь холмов.

Якопо был один. За спиной — совершенно пустое кладбище, к животу прижата труба, впереди — перепады холмов, курившихся все более синим тоном один за другим, как черничное варенье в огромном тазу, и не видно концов-краев до самого горизонта. Мстительно над головой вертикально палило сорвавшееся с цепи солнце. Он решил, что станет плакать.

Но неожиданно появился катафалк с печальным автомедонтом, выраженным, как генерал наполеоновского войска, цвета сливок, черноты и серебра, и с упряжкой коней в каких-то варварских масках, с прорезями для глаз, и в квадратных до земли пополах, так что каждая сама по себе казалась катафалком. На повозке витые колонки поддерживали ассиро-греко-египетский балдахин, изузоренный

золотом. Человек в треуголке придержал коней, поравнявшись с одиноким трубачом, и Якопо спросил его:

— Может быть, подвезете?

Гробовоз оказался добродушным. Якопо уселся на козлы с ним рядом, и телега мертвых повлекла его оттуда в царство живых. Харон безмолвно погонял своих лошадок, на ухабах телега подскакивала, Якопо, иератичный, выпрямленный, на козлах, крепко зажав трубу под мышкой, глядел из-под сверкающего козырька, полный сознания своего нового неожиданно обретенного смысла.

Так они спустились с холмов, на каждом повороте открывалась новая ширь виноградников, голубоватый отлив опрысканных купоросом листьев, каждый раз в ослепляющем мареве, и после несосчитанных перевалов они причалили в ***. Пересекли главную площадь, окруженную портиками, пустынную, как только пустыни быть могут площади городков в окрестностях Монферрато в два часа пополудни в воскресенье. Мальчик из одного с Якопо класса, выглянув из окна, выходявшего на площадь, обнаружил Бельбо на колеснице, труба зажата под локтем, взгляд вперед в бесконечность, и жестом отдал ему почесть искреннего восхищения.

Якопо вернулся в семью, не захотел ни обедать, ни рассказывать. Он притулился в углу террасы и стал играть на трубе, как будто бы под сурдину, выдыхая тихонько, чтобы не потревожить спокойный послеобеденный сон других.

Отец вышел к нему на террасу и беззлобно, с той легкостью, которая присуща людям, понимающим законы жизни, сказал ему:

— Через месяц, если все будет в порядке, мы возвратимся в город. В городе играть на трубе невозможно. Хозяин нас выгонит с квартиры. Поэтому с трубой ты начинай прощаться. Если ты действительно интересуешься музыкой, мы возьмем тебе учителя фортепьяно. — И увидев блестящие глаза Бельбо: — Ну что ты, дурачина. Ты хотя бы понимаешь, что закончились плохие времена?

На следующий день Якопо возвратил трубу дону Тико. Через две недели семья оставила ***, возвращаясь в будущее.

МАЉХУТ

Но от чего я вовсе отчаиваюсь, это когда вижу неких бессмысленных и глупых кумиропоклонников, которые... подражают изысканности культа Египта; и ищут божество, о котором не имеют никакой понятия, в извержениях, мертвых и неодухотворенных телах; тем самым они глумятся не только над теми божественными, прозорливыми блюстителями, но также и над нами; и что еще хуже, при этом торжествуют, видя, что их безумные обычаи уважаются... Пусть не гнетет это тебя, Мом, сказала Изиды, потому что суждена роком превратность сумерек и света. Однако худо то, ответил Мом, что они убеждены, что свет там, где они.

Джордано Бруно, Изгнание торжествующего зверя

/Giordano Bruno, Spaccio della bestia trionfante, 3e/

Я должен бы быть в покое. Я ведь понял. Ведь говорил же кто-то из этих, что спасение наступает, когда достигнуто полное понимание?

Я все понял. И я должен бы быть в покое. Кто говорил, что покой рождается из созерцания порядка, из порядка познанного, давшего радость, реализованного без остатка, что это радость, триумф, прекращение усилия? Все мне ясно, проадрачию, и око почиет на всем и на каждой части, и видит, как части споспешествуют целому, и проимцавт сердцевину, где течет лимфа, где дыхание, где корень всех «почему»...

Я должен бы быть изнурен покоем. Из окна кабинета дядюшки Карло я смотрю на холмы и на край лунного диска, начинающего восход. Толстая спина Брикко, более нежные хребты других гор, служащих ему фоном, рассказывают историю медленных сонливых

ворочаний матери земли, которая, позевывая и потягиваясь, лепила слоеные пироги «синеющих планов в угрюмом сиянии сотни вулканов», этим стишкам Дзанеллы обучают в школе. Никакого глубинного управления подземными токами. Земля периодически пробуждалась от спячки и замещала одну поверхность другой. Где прежде щипали травку трилобиты, диаманты. Где прежде почковались диаманты, лозы. Это логика морены, лавины, провала. Смещения одного камушка довольно, случайности, чтобы камень покатился ниже, оставил по себе пустоту (отсюда разговор о *hotter vacui!*), другой спешит заполнить пустое место, третий летит за ним. Все на поверхности. Поверхности на поверхности на поверхности. Мудрость Земли. Мудрость Лии. Пропасть — засасывание плоскости. Как можно обожать засасывание?

Но почему-то от понимания покой ко мне не приходит. За что любить Фатум, если он убивает тебя так же, как Провидение или Заговор Архонтов? Может быть, я все еще не до конца все понял, мне не хватает связывающего звена, интервала.

Где я читал, что в заключительное мгновение, когда жизнь, поверхность на поверхности, напивается опытом, тебе все становится известно, и тайна и власть и слава, и зачем ты рожден, и почему умираешь, и как все могло бы произойти совершенно иначе? Ты умудрен. Но высшая мудрость, в это мгновение, состоит в том, чтобы знать, что ты узнаешь все на свете слишком поздно. Все становится понятно тогда, когда нечего понимать.

Я сейчас знаю, каковы Законы Царства, бедного, отчаявшегося, расхристанного Мальхута, куда укрылась Мудрость, пробираючись ощупью, чтобы отыскать свою утраченную ясность. Истина Мальхута, единственная истина, сияющая в ночи сефирот, это та Мудрость, которая нагой открывается в Мальхуте, и открывает, что ее тайна состоит в том, чтобы не бывать, если только не на мгновение, и вдобавок не на последнее. Потом за тобой начнут Другие.

А с Другими и одержимцы, будут искать бездну, где укрывается тайна, которая есть их безумие.

Между отрогами Брикко тянутся сотни борозд, сотни виноградных лоз. Я их знаю, я помню множество подобных им в мои времена. Ни одна доктрина нумерологии не доказала, карабкаются ли лозы вверх или слезают вниз. Между бороздами, но только нужно

ходить там босыми ногами, чуть замозолевшею стопою, по привычке с самых малых лет, встречаются персиковые деревья. Эти желтые персики, которые растут только между лозами, трескаются при нажатии пальцем, и косточка сама вылетает со скрипением, чистейшая, как после химической обработки, не считая толстеньких белых червячков мяса, держащихся на каком-то атоме. Ты можешь есть эти плоды, почти что не ощущая бархатистости кожи, от которой обычно пронизывает дрожь от языка до самого паха. Некогда здесь паслись динозавры. Потом принадлежащая им поверхность была накрыта другой поверхностью. И все же, как Бельбо в минуту, когда он трубил перед строем, я, вкусываясь в такой персик, понимал все Царство и съединялся с Оным. Все что впоследствии, одна хитроумность. Изобретай, изобретай План, Казобон. Этот план изобретает кто попало, чтобы объяснить динозавров и персики.

Я понял. И уверенность в том, что понимать было нечего, должна по идее гарантировать мой покой и мой триумф. Однако я тут, понявший все на свете, а Они за мной гонятся, полагая, что я обладаю откровением, которого они глухо вожделеют. Недостаточно понять, если другие понять отказываются и продолжают выведывать. Они меня ищут, наверное, они обнаружили мои следы в Париже, знают, что я в этом доме, до сих пор хотят карту. И когда я скажу им, что никакой карты нет, они ее хотеть не перестанут. Что и говорить, прав был Бельбо, иди к чертовой матери, идиот несчастный, что ты хочешь, укокошить меня? И все тут? Ну давай, но что карты-то нет, от меня ты не узнаешь, каждый должен дойти своим умом до определенных вещей.

Очень больно мне думать, что я не увижу Лию и ребенка, мое Оно, моего Джулио, мой Философский камень. Но камни умеют жить без нас. Может быть, он как раз сейчас переживает свой Случай. Он нашел мячик, муравья, травинку, и увидел в том, что нашел, бездну, а в бездне рай. Он тоже узнает это слишком поздно. Это хорошо, это правильно. Пусть он проживает вот так, один, день своей жизни. Дьявол. До чего же больно. Ну ладно, как только умру, я о нем забуду.

Ночь глубока, я вылетел из Парижа сегодня утром, я оставил слишком много следов. Они уже успели догадаться, где я укрываюсь. Скоро они будут здесь. Хотел бы я успеть записать все то, что я передумал от сегодняшнего обеда до сейчас. Но Они прочитают и

выведут из написанного очередную мрачную теорию и употребят очередную вечность на старания расшифровать тайный посыл, который я якобы спрятал в рассказ своей истории. Этому невозможно верить, скажут они, этот человек рассказывает только о том, как он нас дурачил. Нет, возможно, он сам того не понимает, но Тайное посылает нам шифровки через его злостную беспамятность.

Написал я или нет, неважно. Они все равно будут искать второй смысл, даже в моем молчании. Так уж они сделаны. Они слепы к Откровению. Мальхут есть Мальхут и все тут. Но попробуйте это им объяснить. У них нет веры.

Так уж лучше оставаться здесь, ждать, любоваться холмами. Они очень красивые.



notes

Примечания

И видно: в о время, как свет Бесконечности (Эн-Соф) прежде простирался в виде прямой линии посреди бесконечной пустоты, ныне же не тем образом Оно вниз направилось и устремилось. Оно распространялось очень медленно. Да будет так сказано: сперва Оно распространялось как луч света, но затем таинственно возвратилось в самое начало своего распространения и сделалось как колесо круглым кругло.

— Изложение мысли равви Исаака Бен-Соломона Ашкенази Лурия (1536–1572), учившего под именем Ари, отца новейшей каббалы, принадлежащее его ученику Хаиму Виталю («Древо жизни», 1,4).

Мандала — круг, диск, шар — один из основных сакральных символов в буддийской мифологии.

(Здесь и далее — примечания редакции).

3

Пятиконечная звезда (*лат.*).

Враждебные Богу и человеку духи — мироправители, слуги дьявола (*христ. мифол.*)

Имя детектива в романе «Мальтийский сокол» американского писателя Дэшила Хэммета (1894–1961).

6

Колдовское ритуальное действо (*Браз.*)

Жак Лакан (1901–1981) — французский философ, теоретик структурного психоанализа

О, деликатный доктор Лавуазье (*англ.*)

Герон Александрийский (около II в. д.н. э) — древнегреческий математик.

Морские ванны (*лат.*)

Плерома (*греч.* — полнота) — в доктрине гностицизма — совокупность эонов, каждый из которых являет собой персонификацию одного из аспектов абсолютного божества.

В обратном порядке (*франц.*). Также, название романа Ж. К. Гюисмаиса, 1884, герой которого скрывается от реальности в сон.

Сефира (мн. ч. сефирот) — ключевое понятие каббалы, каждое из десяти мистических слов, объединяемых по схеме дерева, человеческого тела, семисвечника и пр., послуживших сотворению мира. По смыслу близко греческому «Логос» (см. рисунок в начале романа).

Ради этой-то надобности милосердно от ангелов к нам фигуры, буквы, черты и гласы не раз ниспосланы и обозначены, для нас, смертных, изумительные и невиданные, ничего как будто бы на привычном употребляемом нами языке не значащие, однако же в глубинах разума нашего пробуждающие высочайший восторг, благодаря упорному их умственному постижению, соединенному с любованием ими и обожанием их.

Искусство забвения (*лат.*).

Ordnung muss sein — порядок должен быть (*нем.*).

Атланта бегущая. Основной трактат по алхимии в форме эмблем с подписями.

«Книга Творения» — название двух древнееврейских трактатов о сотворении мира Богом посредством сочетания двадцати двух букв алфавита, с использованием структуры «дерева сефирот» и «тридцати двух тайных путей творения». Воспринималось и как руководство к творению чудес. Исходный текст для многих разновидностей мистицизма.

Восток, восходящий (*лат.*).

«Слава» (*лат.*).

«Коллегия братства» (*лат.*).

Первая буква еврейского алфавита, в каббале означает эн-соф — безграничную, чистую божественность.

Иегуда Леон из пермутаций.

В исходе многосложных вариаций,
Составил Имя, что есть Ключ и Дверь,
И Божество, и Эхо, и Дворец...

Х. Л. Борхес, Голем (испанск.).

*(Здесь и далее переводы стихов, кроме специально оговоренных,
Е. А. Костюкович.).*

Amor fati (*лат.*) — любовь к року, выражение стоиков. У Ницше — радостное принятие судьбы сверхчеловеком.

Древнегреческий философ II в.н. э., последователь Платона.

Исход 3-14. 2

Джеймс Альфред ван Аллен (род. в 1914 г.) — американский физик, открывший пояса радиации, опоясывающие Землю.

Три дамы к сердцу подступили вместе,
Расположась кругом, Затем что в нем самом
Любви угодно было воцариться

Данте, канцона CIV, 1.

Перев. Е. Солоновича

*(изменено Е. Костюкович «Три донны» вместо
«Три дамы»).*

Речь идет об аллегориях Справедливости, Правды и Законности

Тех женщин, что я знал,
на горизонте тень:
Их жесты жалобны и взоры их печальны,
Как семафоры под дождем...

Блез Сандрар.

Finis Austriae — кризис австро-венгерской империи накануне первой мировой войны (термин С. Цвейга).

Джордже Баффо (1694–1768) — итальянский поэт.

Роман английской писательницы Джордж Эллиот (1819–1880).

Для этого случая (*лат.*).

Новые поэты (*poeti novi*) I в. до н. э. — Валерий Катон, Лициний Кальв, Катулл. Определение Цицерона.

Под сению крил твоих. Господи (Псалмы 56-2).

Слава Братства (*лат.*) — устав ордена розенкрейцеров.

Продвижение науки (*англ.*).

Магистры, братие во Храме,
Кто неусыпными трудами
Его расширил, укрепил
И золотом обогатил —
Где все они? Что с ними случилось?

*Хроника-продолжение «Романа о Фовеле» Жерве
дю Бю (нач. XIV в)*

И я в Аркадии (*лат.*)

Итало Бальбо (1896–1940) — известный авиатор, министр авиации в правительстве Муссолини.

Храмом Соломона латинские хронисты называли мечеть Аль-Акса, выстроенную в XI веке и ставшую после завоевания крестоносцами Иерусалима церковью Святого Гроба Господня.

Христово воинство (*лат.*)

Роман о тамплиерах французского писателя Пьера Клоссовского, написанный в 1965 г.

Жан де Жуанвиль (1224–1317) — участник и летописец крестовых походов, возглавляемых Людовиком IX (Святым Людовиком).

Верь крепче и греши сильнее (*лат.*)

Пистолет, излюбленный политическими террористами.

1773 г., эпизод борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость.

Жак Массю — французский генерал, командир французских парашютистов во время войны в Алжире (1954–1962).

Под брашном, пожираемым скотом
И им влекомы, в чреве полнотравном
Тягся вои звучны копием...

Вольфрам фон Эшенбах (примерно 1170–1220) — немецкий поэт-миннезингер

Камень. (Матфей 16.18).

Катары — члены еретических сект.

Краем света (*лат.*).

Одно из основных каббалистических сочинений, написанных в средние века, приписываемое разным авторам.

...грааль до того тяжеловесен,
что никому из грешных человек
не поднять его вовек.

*Вольфрам фон Эшенбах, Парцифаль, IX, 477
(старонемецк.).*

...чтобы рыцарям Грааля
вопросов не задавали.

*Вольфрам фон Эшенбах, Парцифаль, XVI, 819
(старонемецк.).*

Спасите слабую Айшу от головокружения Нахаша, спасите жалостную Хеву от миражей чувствительности, и пусть хранят меня Херувимы (*франц.*)

Египетское божество, покровитель умерших, часто изображался в виде человека с головой собаки или шакала.

Черная книга, используемая для заклинаний.

Unheimlich — тревожащий (термин Фрейда) (*немецк.*).

61

Явлюсь через 120 лет (*лат.*).

Horror vacui — страх пустоты (*лат.*).

Граф Сен-Жермен (? — 1784) — известный французский авантюрист, прославился как блестящий рассказчик, считается учителем Калиостро.

Рассказ Борхеса «Фунес, чудо памяти» опубликован в 1944 году.

Women power — сильная позиция женщины — лозунг движения за эмансипацию на Западе в 60–70-е гг. XX в. (*англ.*).

От лат. *votum* — жертва, приношение по обету.

Мысль, разум, дух — одно из понятий древнегреческой философии.

Имеется ввиду картина Сальвадора Дали.

Явлюсь через 120 лет (*лат.*)

El pueblo unido jamas sera vencido — Народ — будь един — и ты непобедим — лозунг левых манифестаций (*исп.*)

animula vagula blandula — душенька летучая чудная — из стихотворения императора Адриана (II в. н. э.) (*лат.*).

Намек на сочинение Декарта «Рассуждение о методе...» (1637).

Искаженная цитата из Ш. Бодлера, «Вступление» к «Цветам зла». Исходный перев. Эллиса («Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник...»).

Молчание после кличей (*лат.*)

Валентиниане... не имеют большей заботы, нежели скрыть, что они проповедуют: всегда же проповедуют, скрывают... Если же просят от них доброй воли, они с открытым лицом и с высоко поднятой бровью — «она велика» — отвечают. Ожидают ли от них топких разъяснений, они двусмысленными речами доказывают то, что составляет всеобщее убеждение. Утверждаешь ли, что им ведомо нечто — всякое знание отрицают... Лукавство их таково, что они скорее убеждают, нежели учат. Тертуллиан, «Против валентиниан» (лат.)

Бейделус, Демеймес, Адулекс, Метукгайн, Атин, Ффекс, Уквизуз, Гадикс, Соль, Приди быстро со своими духами. Пикатрикс, рукоп. Слоан (*лат.*).

Пер. М. Л. Лозинского.

Тем лучше для вас (*англ.*)

Персонажи книг Марселя Пруста.

Раздел этики, в котором рассматриваются проблемы долга и должного.

Психоанализ? он в том, что, мои дорогие друзья, между мужчиной и женщиной... дело не клеится (*франц.*)

В средневековье верили, будто прикосновение французского короля лечит от болезней.

Геомантия — гадание по земной поверхности; Геровиталь — лекарство от старения, Радамес — собственное имя египетских фараонов; Меркурий — ртуть (*лат.*).

Девять книг предсказаний пролицательницы Сивиллы куманской, записанных на пальмовых листьях.

Древнеримский философ-неоплатоник III–IV в.н. э.

Что есть истина? Иоанн, 18,38 — оставшийся без ответа вопрос Пилата Христу.

В 732 году при Пуатье франки одержали победу над арабами.

«Это только начало» (*франц.*).

Оно (*франц.*).

Улица в Вене, на которой жил Фрейд.

Пожарников (*франц.*). В искусстве: художники-интерпретаторы банальных затасканных сюжетов.

Крик отчаяния главного героя в «Учителе Гнусе» Г. Манна.

Доннафугата — семейный замок в романе «Леопард» Дж. Томази ди Лампедуза.

«Франко Франки» — подпольная антифашистская организация, основанная в Турине в мае 1944 года.

Родовой дом героя-повествователя Марселя Пруста.

Нелзароррпн («Все кувырком») — фильм (1941) Генри Поттера, ироничный по отношению к условностям кинематографа.

От англ. *suspense* — неизвестность, ожидание.

Эмилио Сальгари (1863–1911) — популярный в свое время итальянский прозаик, писавший в духе Ж. Верна и Дюма-отца.

О Розе мы тогда не говорили... (*португ.*).

Лузитания — старинное название Португалии.

Джеймс Джордж Фрэзер (1854–1941) — английский этнограф, знаток древних религий, шотландец по происхождению. В «Золотой ветви» описал мифы и ритуалы древних религий.

Данте, Рай XXIV, 64.

Жоффруа де Виллардуен (~1150–1220) — французский хронист, автор сочинения «Завоевание Константинополя», посвященного Четвертому крестовому походу, в котором он сам участвовал.

— Они — женщины — становятся Дьяволом: слабые, оробелые, дерзостные в исключительный час, бесконечно кровоточащие, плачущие, ласкающие, с руками, не ведающими правил... Фи! Фи! Они ничего не стоят, они сотворены из ребра, из одной изогнутой кости, из вновь явленного притворства... Они целуются со змеем... (*франц.*).

Megale Anaphasis — «Великое Изъяснение» — одно из главных сочинений философа-гностика Симоиа Волхва (I в. н. э.).

Наши предположительные невидимые существуют (судя по тому, что о них говорится) в числе 36, разделенные на шесть групп.

Средневековое название Китая.

Пьер Гассенди (1592–1655) — французский философ, математик, астроном.

Казобон контаминирует: известны Клод-Луи де Сен-Жермен (1707–78) — военный деятель, и легендарный граф Сен-Жермен, настоящее имя которого неизвестно.

Превосходная степень от *ipse* — сам (*лат.*).

Что есть истина? — (*лат.*).

Жозеф де Местр (1753–1821) — французский писатель и религиозный философ.

Глэстонбери — аббатство в юго-восточной Англии, где расположена старейшая в Англии христианская церковь (VI в.). По преданию здесь находится могила короля Артура.

Древние каменные памятники, иногда достигающие большой высоты (разновидность мегалитов).

Петр Иванович Рачковский (1853–1911) — полицейский чин, руководитель отделения русской тайной полиции в Париже.

Изгнанная, рассеянная по свету нация (*иврит*).

Царства (*иврит*).

«Сон Полифила» (1499) — аллегорическое произведение, приписываемое Франческо Колонне (1432–1527?), сюжет которого — мистический путь героя (Полифила — влюбленного в даму Полию, т. е. в цитате этимология неправильная) по саду и дворцу.

Мани (216–277) — иранский религиозный философ, вероучитель и пророк, родом из Вавилонии, считавший своими предтечами Зороастра, Будду и Христа. Основоположник манихейства.

Уже виденное, повторение (*франц.*).

Я есмь Сущий (*лат.*).

Я есмь Сущий (*лат.*). Аксиома герметической философии (*англ.*).

Мой господин, это бесполезно отрицать, ибо невозможно скрыть, что большая часть Европы покрыта сетью этих тайных обществ, подобно тому, как поверхность Земли сейчас покрывается рельсами...
(англ.)

Если ты не можешь их победить — присоединись к ним (*англ.*)

Пониже Этрета — Комната Дев — Под фортом Фрелоссе —
Полый шпиль (*франц.*).

Игнац Филипп Земмельвайс (1818–1865) — венгерский врач-акушер. Установил причину послеродового сепсиса.

Перевод Б. Пастернака.

Перевод Б. Пастернака. — Фауст, 1, Ночь.

См. прим. 108 к ч VI, гл. 75.

Казобон контаминирует: известны Клод-Луи де Сен-Жермен (1707–78) — военный деятель, и легендарный граф Сен-Жермен, настоящее имя которого неизвестно.

Vitriolum (среднее, *лат.*) — купорос (белый — цинковый, синий — медный, зеленый — железный, красный — никелевый). В алхимии — символ магической власти (*Visitabis Interiora Terrae, Rectificando Inveniens Occultam Lapidem, Veram Medicinam* — «Сойдя в недра земли, очищая отыщешь таинственный камень, истинное лечение»).

От thugs (*англ.*) — разбойники, головорезы.

В индуистской мифологии — Су йодхана — воплощение демона зла Кали.

Деи, Ноффо (XIV в.) — лжесвидетель, обвинитель на процессе тамплиеров.

У Дури множество палат;
Толпятся в них и стар и млад,
Все, кто могущ, и кто богат. *(нем.)*.

Себастьян Брант, «Корабль дураков».

Исихаст — приверженец исихазма, учения о единении с Богом через «очищение «сердца» слезами и сосредоточение сознания в себе самом.

Месье, вы безумны (*франц.*).

Согласно разделению, бытовавшему у гностиков, люди делятся на иликов (телесных), психиков (душевных) и пневматиков (духовных).

Душа мира (*лат.*).

«Стрела» — апория (парадокс) древнегреческого философа Зенона Элийского (~490–430 до н. э.), доказывающая невозможность движения.